نظامی گنجوی

НИЗАМИ ГЯНДЖЕВИ

I





НИЗАМИ ГЯНДЖЕВИ

نظامی گنجوی

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

В ТРЕХ ТОМАХ

ТОМ
I

АЗЕРБАЙДЖАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ
ИЗДАТЕЛЬСТВО

ББК С(Аз)1
Н61

Собрание сочинений
в трех томах

Том I

НИЗАМИ ГЯНДЖЕВИ

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

В ТРЕХ ТОМАХ

ТОМ ПЕРВЫЙ

*

ЛИРИКА

СОКРОВИЩНИЦА ТАЙН

ПЕРЕВОД С ФАРСИ
К. ЛИПСКЕРОВА и С. ШЕРВИНСКОГО

ХОСРОВ И ШИРИН

ПЕРЕВОД С ФАРСИ
К. ЛИПСКЕРОВА

БАКУ
АЗЕРНЕШР
1991

Н $\frac{4702060102\text{-}35}{М651(07)—91}$ 167—91
ISBN 5-552-00911-8

ББК С(Аз)1
© Азернешр, 1991

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ

Алиев Р. М.
Анар
Бунятов З. М.
Караев Я. В.
Ибрагимов М. А.
Мамед Джафар
Мирахмедов А. М.
Набиев Б. А.

Составитель, автор вступительного слова,
комментарии проф. Р. М. Алиев

НИЗАМИ ГЯНДЖЕВИ

Гениальные творения великого сына азербайджанского народа Низами Гянджеви составляют одну из самых ярких страниц золотого фонда мировой литературы и занимают почетное место в ряде нерукотворных памятников, созданных великими умами человечества.

История не творит беспрерывно. В ней великие и незабываемые мгновения редки. Обычно «из миллионов людей, составляющих народ, родится только один гений, из миллионов... прошедших часов только один становится подлинно историческим звездным часом. Зато, если в искусстве явится гений, он останется жить в веках, если пробил звездный час, он предопределяет грядущие годы и столетия» [1]. Низами — один из самых ярких гениев не только азербайджанского народа, но и всего человечества. Он — редчайший феномен, в котором сосредоточились все лучшие генетические качества — талант, ум, совесть, честь, прозорливость и ясновидение, искони присущие нашему народу.

Народы Ближнего и Среднего Востока еще при жизни Низами осознали глобальное, общечеловеческое значение его творчества, ибо оно изменило направление художественного мышления и создало подлинную художественную литературу. Творчество Низами стало неотъемлемой частью духовной жизни не только Азербайджана, но и всей Средней и Передней Азии, Закавказья, Индийского субконтинента, Ирана, а ныне народов всего мира.

Одна из особенностей общечеловеческого значения творений великих художников заключается в том, что они жизненны, ибо их смысл, красота, величие, заложенное в них страстное желание сделать людей счастливыми раскрываются по мере развития общечеловеческой культуры, повышения уровня цивилизации в мировом масштабе, ибо с диалектическим развитием человеческий внутренний взор становится зорче и ярче, видятся неисчислимые грани подобных нерукотворных памятников. Творчество Низами — тому очевидное подтверждение. Если до XVII в. его поэзия была объектом подражания, восхищения и многочисленных исследований в основном для народов Ближнего и Среднего Востока, то, начиная с указанного периода, она постепенно становится достоянием народов Европы, Америки, Азии и Африки. Его роль в развитии человеческой цивилизации можно сравнить лишь с миссиями таких гигантов человеческого духа, как Аристотель, Авиценна, Данте, Шекспир и Пушкин, которые

[1] *Цвейг Стефан.* Звездные часы человечества.— М., 1963. С. 6.

стали своего рода катализаторами художественного и философского мышления всех времен.

Низами — один из родоначальников великих идей и философских учений, как гуманизм, идеология раскрепощения человеческой личности, автономности его чувств и помыслов, независимости его воли от неотвратимой воли провидения и предначертаний сверхъестественных сил. Он впервые в истории человечества обожествил прекрасный мир чистых порывов человеческой души, создал стройную теорию возвышенной любви, которая впоследствии трансформировалась в европейской литературе XIX в. в учение разумного эгоизма. Наконец, он — основоположник художественного учения об утопическом обществе, где нет ни классов, ни классовых раздоров, где господствуют всеобщее равенство, счастье и братство, где люди умирают не от болезней, а только естественной смертью, от старости. Творчество Низами предопределило характер дальнейшего развития литературы не только Азербайджана, но и многих народов Ближнего и Среднего Востока, писавших на тюркском, персидском, урду, курдском, таджикском и других языках. Об этом ясно свидетельствует тот факт, что на протяжении восьми столетий творения Низами в разные эпохи воспринимались поэтами, писателями, художниками и мыслителями как произведения современные, как живые соучастники художественного творчества данной эпохи. Каждая поэма Низами — целый мир в движении. Этот мир не подвержен законам тления и старения, он молодеет и всё пышнее расцветает из века в век. По мере развития общечеловеческой культуры расширяется и сфера влияния Низами, увеличивается круг его читателей, из года в год умножается число мастеров изящной словесности, живописи, музыки, обращающихся к творчеству Низами, черпающих вдохновение из бездонной сокровищницы его духовного и поэтического наследия.

В чем же секрет вечной молодости творений Низами, давно уже ставших фактом литературной жизни России, Франции, Германии, Англии, Америки, Японии и многих других стран? В том, что великий художник слова и мыслитель своей волшебной кистью отобразил такие нетленные человеческие мечты и чаяния, такие непреходящие чувства и движения души, которые извечны и которые будут живы, пока живет человечество. Эти чувства и чаяния так же изначальны, как небосвод с мириадами звезд. Несмотря на то, что все прошедшие поколения прекрасно сознавали величие Низами, его роль в этическом, эстетическом и художественном формировании личности, несмотря на то, что бессмертные образы Лейли и Меджнуна, Фархада и Ширин, Бахрам-Гура и его семи красавиц, Александра Македонского составляли неотъемлемую часть духовного бытия общества, наука до сих пор слишком мало сделала для воссоздания творческой и личной биографии поэта. И потому сведения о жизни поэта, факты его биографии так скудны. С тех пор прошло около восьми веков, многочисленные войны, нашествия, стихийные бедствия погребли бес-

ценные сокровища труда, ума, таланта и гения многих народов. Достаточно вспомнить, что всего через несколько лет после смерти поэта по всему Ближнему и Среднему Востоку пронесся всепожирающий ураган монгольского нашествия, который превратил цветущие города и села в руины. Дикие завоеватели, предав огню и мечу великую культуру, которая создавалась совместным трудом многих народов на протяжении нескольких столетий, прервали нормальный ход развития этих народов на длительное время. В огне пожарищ и под развалинами погибли сотни тысяч бесценных рукописных книг, вместивших в себя драгоценный опыт жизни и мысли наших предков, их воззрения и взгляды на настоящее и будущее, их мечты, идеалы, жизнеописания великих людей и исторические хроники.

Низами устоял в этом разрушительном натиске времени. Его главные творения дошли до нас, хотя и понесли весьма ощутимый урон. Все сохранившиеся рукописи произведений поэта, являющиеся основными источниками сведений о нем, переписаны уже после монгольского нашествия, в XIV веке, то есть спустя почти двести лет после их создания.

За это время его творения подвергались основательной переработке переписчиков, многочисленным изменениям и переделкам. Почти все даты и большинство биографических данных о нем искажены. Многие замечательные лирические стихотворения просто не дошли до нас.

Еще хуже обстоит дело с произведениями современников Низами — поэтов, писателей, историков и географов. Из сочинений мастеров художественного слова, ученых, живших и творивших в одно время с великим поэтом, уцелели в лучшем случае лишь отдельные отрывки. А сохранись они полностью — и перед нами засверкала бы яркими красками картина всей культурной жизни, атмосфера эпохи Низами.

Низами жил и творил в XII веке — в эпоху необычайно обильную событиями, сыгравшую важную роль в истории азербайджанского народа, унаследовавшего богатую культуру античного мира и мусульманского Востока. В состав арабского халифата в то время входили многочисленные народы Ближнего и Среднего Востока, Азии и Африки, и все они в той или иной мере сыграли свою роль в создании богатейшей и синкретической мусульманской культуры, развитии науки и искусства. Это была эпоха, когда Азербайджан играл роль одного из важнейших культурных и экономических центров Востока.

Как известно, Сельджукская империя была создана в середине XI века огузско-тюркскими племенами, сыгравшими значительную роль в формировании этнического состава азербайджанского народа. В дальнейшем эта империя распалась на многочисленные самостоятельные государства, постоянно враждовавшие между собой. Эти государственные образования управлялись атабеками — «отцами-воспитателями», опекунами сельджукских султанов. В середине XII в. один из азербайджанских атабеков, выдающийся государственный деятель и полководец Шамс ад-Дин

ил-Дениз объединил под своей властью все эти разобщенные княжества и создал мощное государственное образование с центром в Азербайджане. Города Гянджа и Нахичевань стали в то время не только столицами атабеков Азербайджана, но и крупнейшими культурными и торговыми центрами Ближнего и Среднего Востока.

В период расцвета государства атабеков Азербайджана широкое развитие получили экономические связи с Россией, Византией, Китаем, Индией, Африкой, арабским Востоком. Со всех концов мусульманского мира знаменитые поэты и писатели, ученые, зодчие, художники начали стекаться в Азербайджан, где процветали науки, искусство, поэзия. Несмотря на стихийное бедствие — землетрясение, которое незадолго до рождения Низами, в сентябре 1139 г., почти полностью разрушило Гянджу и унесло около трехсот тысяч жизней, город был быстро восстановлен и превратился в один из процветающих экономических и культурных центров. Третьим по величине после Гянджи и Нахичевани центром этого региона стал Ширван, которым управляли ширваншахи. Государство Ширваншахов хотя номинально и входило в состав государства атабеков, но фактически вело самостоятельную политику и поддерживало тесные экономические и дипломатические связи с Грузией. Так, дочь знаменитого грузинского царя Давида Строителя (ум. в 1125) Тамара была женою ширваншаха Минучихра III (1106—1160) и матерью знаменитого ширваншаха Ахсатана I (1160—1196), по просьбе которого Низами написал одну из своих лучших поэм «Лейли и Меджнун».

Благодаря искусной внешней политике и возросшему могуществу атабеков со второй половины и до конца XII века в Азербайджане царил относительный мир, наступило долгожданное затишье, когда народ мог заниматься созидательным трудом.

В этот период в стране, кроме широко известных городов Гянджи, Ардебиля, Ширвана (Шемахи), Тебриза, Байлакана, Барды, Баку, Шамхора, в которых жили сотни тысяч жителей, существовали десятки других городов с населением от 30 до 100—600 тысяч человек. Рост городов повлек за собой переход к оседлой жизни огромной массы кочевников, бурное развитие ремесел и начавшееся расслоение городского населения.

В городах быстро развивались текстильное, металлообрабатывающее, гончарное и другие ремесла, находившиеся на высоком для того времени уровне, которого Европа сумела достичь лишь в начале XVI в. Ремесленники в городах объединялись в цеха, среди них постепенно происходила имущественная дифференциация. Владельцы мастерских, мастера и подмастерья стояли уже на разных ступенях общественной лестницы.

Особо привилегированный слой городского населения Азербайджана в этот период составляло купечество, в руках которого сосредоточились огромные богатства. Азербайджанские купцы вели обширную торговлю со многими странами Востока и Запада.

Отмечается и подъем сельского хозяйства. Страна, основу земледелия

которой составляло искусственное орошение, была покрыта сетью наземных и подземных каналов; ежегодно возводились новые дамбы, рылись тысячи кяризов (подземных каналов) и колодцев; сооружались подземные галереи большой протяженности. Росла и сама культура земледелия, что способствовало ежегодному приросту сельскохозяйственной продукции.

В стране происходили также большие перемены и в социальном плане. К середине XII века рабский труд уже не играл значимой роли в общественном производстве. Развитие феодализма и феодальных производственных отношений шагнуло так далеко, что уже начался процесс миграции крестьянства в город.

Другим показателем социального сдвига был процесс «обуржуазирования» самих феодалов. Крупные земледельцы оставляли свои земли и втягивались в городскую жизнь. К этому их побуждала постоянная нужда в денежных средствах и услугах ремесленников и купцов, составлявших основное ядро городского населения. Феодалы и владельцы крупных наделов, проживавшие в городах, образовали особый класс «земско-городской знати», как их называл И. П. Петрушевский. Они стали заниматься торговлей и в скором времени оказались связанными «не только с местной торговлей, но и с транзитной караванной торговлей».

Большие изменения происходят и в общественно-культурной жизни, идеологии тогдашнего феодального общества. Как известно, к началу XII века ортодоксальный ислам, господствовавший над всеми общественными институтами и освящавший тогдашний социально-экономический строй, неоднократно подвергался критике со стороны многочисленных учений, провозглашенных передовыми мыслителями и философами, поэтами и писателями, теософами и религиозными реформаторами.

Философские учения Халладжа и Иби-Сины, Хайяма и Насира Хосрова, система образного мышления Абу-л-Ала Гянджеви, Фалаки Ширвани, Хагани, Байлакани, воззрения различных религиозных сект, проникновение во все сферы идеологической жизни самого распространенного в то время учения — суфизма и введение его в рамки официального ислама Мухаммедом Газзали — все это ярко свидетельствует о постепенном ослаблении феодальной идеологии и зарождении новых религиозных и социальных концепций.

Таким образом, в Азербайджане и сопредельных с ним странах в период домонгольского нашествия развитие феодальных отношений достигло весьма высокого уровня и была создана почва для появления основ последующей, более высокой социально-экономической формации. Однако этому не суждено было сбыться из-за нашествия монголов, которое на несколько столетий приостановило поступательное развитие общества.

Другим важным событием описываемого периода, которое, на наш взгляд, во многом предопределило дальнейший ход развития истории,

были крестовые походы, столкнувшие два почти изолированных до этого друг от друга мира — Европу, только начинавшую вступать на путь культурного развития, и Азию, многие народы которой, обладая уже тысячелетним историческим опытом, достигли к тому времени выдающихся успехов на поприще науки и культуры. В ходе крестовых походов, захватив Иерусалим и другие города Палестины и Сирии, крестоносцы основали свои государства, распределив захваченные земли между рыцарями-феодалами. Следует отметить, что европейцы очень быстро вступили в контакт с верхушкой местного населения и, как сообщают источники, вскоре «христовы воины», приехавшие освободить «святую землю», установили широкие торговые связи с мусульманскими купцами и состоятельными слоями населения. В результате общения с Востоком, продолжавшегося более 170 лет, европейцы вывезли с собой не только много награбленного золота, серебра, шелка, драгоценных тканей, ковров, произведений искусства, но и новую культуру градостроительства, земледелия, ремесленного производства. Нет сомнения, что почерпнутая на Востоке культура в значительной степени способствовала ускорению общего исторического процесса развития Европы. Если нашествие монголов на страны Средней Азии и Кавказа надолго задержало их дальнейший прогресс, то крестовые походы, напротив, ускорили социально-экономическое и культурное развитие Европы. Монгольское нашествие и крестовые походы способствовали тому, что Азия и Европа как бы поменялись историческими ролями: Европа стала тем, чем она стала, а Передний, Ближний и Средний Восток — тем, чем они не стали бы при нормальном ходе исторического развития.

Бурный культурный и экономический подъем в домонгольский период обусловили и изменения в эстетических вкусах и духовных потребностях людей. В эту эпоху были созданы все предпосылки, которые впоследствии породили эпоху Возрождения (Ренессанса) в Европе. Ренессанс означал освобождение личности, ее внутреннего мира, помыслов от гнета религиозных предрассудков, признание ее независимости от господства сверхъестественных сил. В искусстве и поэзии это нашло выражение в обращении к внутреннему миру отдельного человека, личности. Ярким доказательством того, что в области духовной жизни все предпосылки для Ренессанса были полностью созданы в Азербайджане, может служить творчество Низами. В его замечательных творениях впервые нашли свое выражение и совершенное художественное воплощение проснувшийся интерес к человеческой личности и гуманизм, составляющие основное содержание Ренессанса. Ко времени вступления Низами на литературную арену в результате вышеуказанных исторических и культурных факторов постепенно изживало себя стремление к созданию таких монументальных эпопей, как «Шахнаме» («Книга царей») Фирдоуси, в которых главными героями выступали история, судьба правителей, а народ являлся лишь исполнителем их воли. Многие художники слова уже начали сознавать, что

прошло время подражания «Книге царей», что ее герои неизбежно должны уступить место на исторической сцене.

Низами одним из первых осознал эту истину. Обладая гениальным даром предвидения, он понял, что требования и вкусы века изменились. Теперь, чтобы идти в ногу со временем, удовлетворить запросы читателей, нужны были «слова о страсти».

Поэт поставил перед собой задачу: сделать героем своих произведений личность, раскрыть внутренний мир человека во всей его сложности, передать столкновение велений разума человека и влечений его души. Говоря словами самого Низами, «страсть замесить со сладостной приправой для всех отравленных любовною отравой». И это ему блестяще удалось. Он «с такой ясностью явил страсть, что все пристрастившиеся к ней припали к стихам его». В произведениях Низами уже не события и судьба властвуют над человеком, подавляют его, а желания человека способны изменить и повлиять на ход событий.

Творчество Низами знаменовало собой коренное обновление тематики поэзии последующих веков. Раскрепощение личности, освобождение ее воли от диктата провидения, фаталистических предрассудков, стройная теория гуманизма — все это неотъемлемые черты бессмертной поэзии Низами.

Крупнейшие поэты Средней Азии и Ирана в эпоху Низами группировались в основном при дворе атабеков. Такие выдающиеся азербайджанские поэты, как Абу-л-Ала Гянджеви, Хагани, Фалаки, Иззаддин Ширвани составляли ширванскую придворную поэтическую плеяду. В Гяндже при дворе атабеков жили и творили крупнейшие азербайджанские мастера художественного слова Муджираддин Байлакани, ал-Устад Абу-Бакр ибн Хосров, Захираддин Шамкури, а также знаменитые поэты из Средней Азии и Ирана — Асираддин Ахсикати, Захираддин Фарйаби, Ашхари Нишапури и др.

Ширванская плеяда поэтов во главе с Хагани и знаменитые гянджинские поэты создали новую школу, ознаменовавшую возникновение так называемого «азербайджанского стиля» в персоязычной литературе. Находясь в таком окружении, было нелегко отойти от канонов, узаконенных властью традиции и практикой поэзии того времени. Это требовало от поэта немало смелости и, конечно, могучего таланта.

Низами обладал этими качествами. Он был истинным поэтом, творцом нового и глашатаем непреходящих общечеловеческих идей, сознававшим всю ответственность своей миссии. Поэт в понимании Низами — это пророк, учитель народа, его поэтическое слово должно служить утверждению истины, справедливости, быть источником красоты и мудрости. Поэтому Низами категорически отказался от служения царям и сильным мира сего. И в поэме «Лейли и Меджнун» в специальной главе «Отказ от служения царям» поэт во весь голос заявил:

О жалованье царском позабудь,
Бродягою — слугой царя не будь.
С царем общенье бедами богато,
Он, как огонь, а ты — сухая вата!
Он полон света, но, чтобы не сжег,
От этого огня ты будь далек!

(Перевод *Н. Хатунцева*)

Как отмечалось выше, Низами жил и творил в столице Аррана — Гяндже. Арран, как и другие области Азербайджана — Ширван и Южный Азербайджан,— испокон веков был населен азербайджанцами. Как отмечают арабские, иранские и тюркоязычные историки и ученые еще в XI веке этот регион был населен азербайджанцами и другими тюркоязычными племенами. Арабский историк и путешественник Ибн Аарак еще в 1070 г. писал, что «Гянджа является великой столицей тюрков (азербайджанцев)». Насави, знаменитый историк Хорезмшаха Джалалад-Дина Мангбурны, неоднократно отмечал, что «в Арране и Мугане тюрки, словно муравьи, неисчислимы» [1].

В результате тщательных исследований сочинений Низами, произведенных в свое время М. А. Расулзаде и другими, точно установлена национальность поэта. Он — тюрок-азербайджанец из Гянджи. Принадлежность поэта к гянджинским тюркам установлена тем, что тюркские слова, употребленные в «Хамсе», приведены в азербайджанском произношении (например, «мунджук» вместо «бунджук» и др.).

Начиная с первой половины X в. персидский язык стал основным литературным языком. Как известно, после арабского нашествия в середине VIII в. и исламизации Ирана, Средней Азии, Азербайджана и сопредельных стран официальным письменным (научным, религиозным, литературным) языком стал арабский язык. Он не вытеснил из обихода местные языки и наречия, но интеллигенция была вынуждена усвоить его. Азербайджанские, иранские и среднеазиатские ученые и литераторы создали на арабском языке немало значительных произведений. Начиная с первой половины VIII в. народы покоренных стран (Абу-Муслим в Иране, Муканна в Средней Азии, Бабек в Азербайджане) восстали против арабского владычества и в результате длительной борьбы обрели фактическую свободу и самостоятельность.

В Иране и Средней Азии, как и в других местах, возникли государственные образования, которые, признавая власть халифата, фактически были самостоятельны. Из них наибольшего могущества и почти полной независимости достигло государство Саманидов, основанное в конце IX века в Средней Азии с центрами в Бухаре и Самарканде. Постепенно Саманиды покорили почти все области Ирана и Средней Азии. Одним из ощутимых результатов антиарабского движения иранских и среднеазиатских народов во главе с Саманидами явилось постепенное вытеснение арабского языка. Его место занял язык «фарсие дари» (придворный фарси), язык народа Саманидского государства, ставший официальным литературным языком на всей территории государства.

[1] Mehmed Emin Resulzade Azerbaycan şairi Nizami, Ankara, 1951. C. 26.

Со всех концов Ирана и Средней Азии талантливые поэты, ученые, писатели стекались к саманидскому двору. Замечательные мастера слова во главе со знаменитым Рудаки создали в этот период ряд выдающихся произведений (лирика Рудаки, ученые труды Авиценны, героическая поэма «Шахнамэ» или «Книга царей» Фирдоуси и др.), вошедших в золотой фонд мировой литературы. Таким образом, к концу X века фарси прочно занял главенствующее место в области поэзии. В X веке после падения Саманидского государства возвысилась тюркская по происхождению династия, получившая известность как «владетели Газны» (Газна — столица основанного ими государства), газневиды. После прихода газневидов к власти язык фарси, казалось, утратит свое значение и сойдет со сцены. Однако произошло обратное. Газневиды, культурный уровень которых был очень низок, были вынуждены принять культуру иранских народов, а следовательно, и язык фарси. При дворе газневидов сосредоточились многие выдающиеся поэты, ученые, историки, благодаря таланту которых язык фарси расцвел еще пышнее. Во время правления другой тюркской династии — сельджуков, сменившей газневидов, язык фарси, по мере расширения их владений, еще больше распространился и стал официальным литературным языком не только на территории Ирана и Средней Азии, но и в Азербайджане, и в Малой Азии.

Правда, язык фарси в свою очередь тоже был чужд многим народам — неиранцам. Имелись некоторые попытки ввести тюркские языки в литературный обиход. Так, на одном из тюркских наречий в 60-х годах XI века на территории современной Киргизии была написана большая поэма под названием «Кудатку билик». Однако эти попытки не увенчались успехом. Язык фарси много столетий господствовал в области художественной и вообще письменной литературы.

Низами и все его современники также писали на фарси. Безусловно, все творения Низами органически входят в золотой фонд всей персоязычной литературы, созданной на огромной территории Ирана, Азербайджана, Средней Азии, Афганистана, Индийского субконтинента и т. д. Но вместе с тем следует отмести всякие попытки считать его персидским или таджикским поэтом. Он азербайджанский поэт, ибо его гений взращен Азербайджаном и его древним народом.

Поэт неоднократно провозглашал, что он — тюрок (азербайджанец) [1]. В своей поэме «Семь красавиц», жалуясь на современников и земляков, он писал:

[1] Вплоть до тридцатых годов нашего века азербайджанцев звали тюрками.

Торкийэмра дэр ин hэбэш нэхэрэнд
Лачэрэм дугбаje-хэш нэхорэнд.

Моего тюркства в этой Абиссинии не покупают,
Потому [естественно] вкусной окрошки [моей] не едят.

(Подстрочный перевод)

Этот бейт, содержащийся во всех изданиях и не вызывающий никакого сомнения в подлинности, прежде всего говорит о том, что Низами по национальности был тюрком (азербайджанцем).

Жалуясь на жителей Гянджи, которую в приступе отчаяния он сравнивает с Абиссинией, употреблявшейся в тогдашней литературе как символ мрака, невежества и мракобесия, поэт хочет сказать, что он тюрок и его красивые, прекрасные стихи, вкусные, как национальная пища тюркских народов, не ценятся на его родине, ибо желудки титулованных покупателей неспособны переварить такой прекрасной еды, как дугба (окрошка).

Низами беспредельно любил свой народ, глубоко чтил и боготворил его и своим творчеством стремился доказать, что его народ способен на подвиг и высокие духовные порывы.

Как известно, во времена Низами между тюркоязычными народами еще не существовало четкой дифференциации. Несмотря на наличие целого ряда различий и специфических способностей, всю огромную массу тюркоязычных народов, расселившуюся на громадном пространстве, звали тюрками. Тюрками звали также и азербайджанцев. И когда Низами говорит «тюрок», он подразумевает свой народ — азербайджанцев. Если же он имеет в виду среднеазиатских, дальневосточных тюрков, то каждый раз подчеркивает это соответствующим определением: «торк-е чин» (китайский тюрок), «торк-е хотан» (тюрок из Хотана), «торк-е халлах» (халлахский тюрок), «торк-е чигил» (тюрок из Чигила), хырхыз, туркмац и т. д.

В своих творениях Низами неоднократно употребляет это слово, вкладывая в него различные положительные оттенки и значения.

«Тюрок» в словаре Низами прежде всего служит для обозначения справедливости, правосудности, доброты и гуманности. В рассказе из «Сокровищницы тайн» о сельджукском султане Санджаре и оскорбленной его деспотической властью старухе, возмущенной нарушением справедливых, добрых тюркских традиций, поэт пишет:

Доулете-торкан ке болеиди керефт
Мемлекет ез дадпесенди керефт
Чон ке то бидаджери первери
Торк неи hендуje-гареткери.

Держава тюрков, которая возвысилась,
Обрела власть благодаря любви к справедливости.
Раз ты творишь беззаконие (тиранию),
То ты не тюрок, а вор — индус.

(Подстрочный перевод)

По мысли поэта, если тюркский правитель несправедлив, неправосуден, значит он не тюрок, а лишь выдает себя за него.

Далее, «тюрок» в словаре Низами также духовный вождь, руководитель, мудрый глава государства. Так, в своих многочисленных славословиях, чтобы подчеркнуть величие пророка Мухаммеда, он называет его Тюрком. Таким же образом поступает поэт, когда хочет подчеркнуть величие своего любимого героя Александра Македонского.

Для Низами тюрок всегда герой, полководец, богатырь, непобедимый воин. Примечательно, что сложные слова «торктази» («тюркское нападение») и «торктаз» («тюркское нападение», а также «нападающий по-тюркски»), образованные с помощью «торк» (тюрок) и основы настоящего времени глагола «тахтэн» («совершать набег»), поэт всегда употребляет в смысле «неотразимое нападение», «богатырская атака», «беспощадная битва», а также в значении «отважный богатырь, натиск которого невозможно отразить», «неотразимый ратник». Эти слова у Низами не имеют отрицательного оттенка, хотя многие поэты употребляли их в смысле «грабительские набеги».

В словаре Низами одно из широко распространенных значений слова тюрк — «белая, белый», «красивая, красивый», «изящная, изящный» и т. д. В подобных значениях это слово употреблялось и до Низами. Однако Низами расширил диапазон этих значений, он стал употреблять их не только для обозначения белизны и красоты людей, но и для выражения абстрактной, субстантивизированной красоты и белизны.

Особое место в словаре Низами занимает тюрчанка-азербайджанка. Для поэта она символ необычной, божественной красоты, неотразимой прелести, тонкой грации, стройности и ослепительной белизны. Но больше всего восхищало поэта целомудрие тюрчанок, их свободолюбие и необыкновенная преданность семье и очагу.

Прекрасное знание родного языка нашло отражение во многих исконных азербайджанских словах, использованных Низами в своих творениях, таких, как «алачыг» (шатер), «мунджуг» (бусы), «ушаг» (мальчик), «йатаг» (конвой) и т. д.

В предисловии к поэме «Хосров и Ширин» поэт среди тюрков выделяет особое сословие — «торкан-е галам» — «тюрки пера», т. е. тюркские писатели, «пишущие тюрки». Сам Низами как раз и был одним из таких гениальных «пишущих тюрков», чье могучее перо создало бессмертные памятники художественного слова.

Низами был прогрессивно мыслящим поэтом и вместе с тем благочестивым мусульманином, а по своему воспитанию, по заложенному в нем с детства мироощущению и воззрениям — интернационалистом. Выражаясь словами Саади, он прекрасно понимал, что:

Все сыны Адама — члены единого организма,
Ибо они сотворены из единой материи.

Вместе с тем одна из примечательных особенностей творческого гения Низами-интернационалиста заключалась в том, что, создавая свои бессмертные образы, он придавал им азербайджанский национальный колорит и характер, если даже прототипы его исторических героев были представителями других стран и народов.

Воспевая национальный дух, мудрость, мужество и благородство азербайджанцев, поэт возвышал их, наделяя высокими общечеловеческими качествами.

* * *

Родился Низами в Гяндже; развалины этого древнего города находятся в пяти километрах от Кировабада (ныне переименованного в Гянджу). Датой его рождения принято считать 1141-й год. Однако исследование автобиографического указания, содержащегося в поэме «Хосров и Ширин», позволяет сделать иной вывод. В главе «В оправдание сочинения этой «книги» говорится:

Мой знаешь гороскоп? В нем — лев, но я сын персти,
И если я и лев, я только лев из шерсти.
И мне ли на врага, его губя, идти?
Я лев, который смог лишь на себя идти! [1]

Из этих строк явствует, что поэт родился под созвездием Льва. В другом месте он указывает, что в начале работы над поэмой ему было сорок лет, а он начал ее в 575 году по мусульманскому (лунному) календарю. Значит, Низами родился в 535 году. В этом году солнце находилось в созвездии Льва с 17 по 22 августа. Переводя эти данные на современное летосчисление, мы с достоверностью устанавливаем, что Низами родился между 17 и 22 августа 1140 года.

Низами — прозвище поэта, буквально означающее «упорядочиватель слов». Собственное имя его Ильяс. Отца поэта звали Юсуф, деда — Заки ад-Дин, а прадеда — Муайяд фид-Дин. Подобные имена на средневековом мусульманском Востоке давали видным представителям ученого сословия и духовенства. Как видно, поэт рос в культурной и довольно знатной семье. Кстати, и мать его, «курдская госпожа» («курдская княжна»), также происходила из знатного рода бывших правителей Гянджи Шеддадидов.

Дядя поэта, Омар, имевший титул «хадже», который в те времена присваивался высшим сановникам государства, по-видимому, служил при дворе атабеков — правителей Азербайджана в Гяндже.

Несмотря на свою родовитость, семья Низами не обладала большим достатком. Но все же она нашла возможность дать юноше блестящее для того времени образование. Еще в детстве он выучил Коран, который впоследствии неоднократно цитировал в своих произведениях, знал мусульманское право, предания о Мухаммеде и весь комплекс дисциплин, входивших в круг «адаб» (образованность).

В те времена для продолжения учения представители состоятельных семей, как правило, отправлялись в знаменитое училище «Низамийя» в Багдаде или в Дамаск, Мекку, Каир и другие города.

Однако Низами никуда не ездил, он продолжал пополнять свое образование в родном городе, благо в 50-х годах XII века в Гянджу со всех стран стекались крупнейшие ученые, поэты, писатели, зодчие. Книги, которые читал поэт, то есть рукописные копии произведений по различным областям науки, написанные в самых отдаленных краях мусульманского мира, переводы, интерпретации произведений античных авторов, арабо- и персоязычные поэтические сборники украшали библиотеки Гянджи и были доступны поэту. Он изучал арифметику, алгебру, высшую математику, геометрию, астрономию, химию, минералогию, медицину, логику, географию, историю, поэтику, стихосложение и т. д.

Познания Низами в области астрономии поражают даже современных специалистов. В своих поэмах «Лейли и Меджнун», «Семь красавиц» и других поэт перечисляет и профессионально характеризует небесные светила, многие из которых стали известны европейской науке лишь после открытия телескопа.

Шарообразность земли, автономность каждой планеты («каждая звезда — отдельный мир, который имеет свою землю и небо»), строение «вечно крутящегося небосвода», «закон сохранения вещества», «вечность мироздания», «сущность и структура всех четырех стихий» — все постиг его пытливый ум. Ему было известно также, что Сатурн имеет свое кольцо, которое в Европе было открыто гораздо позже Галилеем [1]. Низами, конечно, не сам дошел до этих истин, но его знания свидетельствуют о том, что он был в курсе всех достижений науки своего времени. Как говорил сам поэт, он «за короткую жизнь прошел все науки — от кольца Сатурна до центра земли и стал кладезом знаний всех предметов».

В отличие от большинства современников, Низами занимался астрономией не ради предсказания судеб, а ради постижения тайн природы. Поэт не верил в астрологию и в звездочетов, которые неизменно входили в свиту царей и правителей, он открыто отрицал влияние звезд на человеческие судьбы. Он писал в «Семи красавицах»:

Разве доброе и злое людям от светил?
Сами звезды под влиянием злых и добрых сил...

[1] *Гянджеви Низами.* Собрание сочинений в пяти томах. Т. 2.— М.: «Художественная литература», 1985. С. 41.

[1] См.: *Мамедбейли Г. Д.* Низами как передовой ученый своего времени.— В сб.: Низами. Баку, 1940, С. 103—107.

М. Ф. Ахундов адыны
Азәрбајҹан Республика
КИТАБХАНАСЫ

...Среди многих звездочетов разве ты встречал
Одного, кто путь по звездам к кладу отыскал?

(Перевод *В. Державина*)

Во времена поэта термин «алхимия» означал мистическую веру в химические соединения, которые отождествлялись со ступенями духовного развития человека, «науку» превращения одних элементов в другие, например меди в золото и т. п. Вместе с тем алхимия внесла немалый вклад в науку о строении материи, исследование ее структуры экспериментальными методами. Отвергая фантастический аспект алхимии, Низами ценил ее истинно научный аспект. В его сочинениях часто встречаются специфические химические термины и описания химических анализов. Он так говорил об этой науке: «тому, у кого во власти находится химия, нет нужды поддаваться на уловки алхимиков».

Необычайно глубоки и разнообразны были познания Низами и в области медицины. Он был знаком с трудами античных врачей — Галена, Рази, Исхака ибн-Хунайна, Авиценны. Рецепты и советы Низами для поддержания здоровья нередко поражают своей точностью и современных медиков.

Поэт изучал и историю культурных народов — древних и средневековых. Он хорошо знал историю античного мира, арабского халифата, доисламскую историю иранских народов, историю и этнографию многочисленных тюркских племен, рассеянных на огромном пространстве от Китая до Средиземного моря. Ему были известны «Республика», «Законы», «Тимейос» Платона, труды Фалеса Милетского, Аполлония Тианского, Порфирия Тирского и др. Как свидетельствуют многочисленные источники, настольными пособиями поэту служили труды ат-Табари, ал-Балазури, ал-Йакуби, Ибн-Кутайбы, Баль'ами, Ибн-Фаддана, аль-Мас'уди и других арабо- и персоязычных историков, откуда черпал он свои знания о разных народах.

Низами пополнял свое образование и при тесном общении с представителями различных народов — грузинами, персами, евреями. Так, сведения о Руси он черпал не только из книг, но и, без всякого сомнения, из бесед с русскими купцами, которые были основными поставщиками пушнины на гянджинский рынок. Приведенные в поэме «Искендер-наме» русские собственные имена «Чудра», «Ерема», «Купала», слово «князь», конечно, были почерпнуты поэтом в непосредственном общении [1].

В своих произведениях поэт обнаруживает знание Библии и христианской литературы. Тут, видимо, ему помогали многочисленные христианские ученые армянского, греческого и грузинского происхождения, постоянно жившие в Гяндже. Ведь Гянджа издавна славилась как международный центр. Еще в X веке арабский географ и путешественник Ибн-Хаукал писал о ней: «Город Джанза красивый, богатый и населенный. Это поселение, заполненное людьми до тесноты, и жители его щедры, мягкого нрава, благорасположенные, ласковые и любящие иностранцев и ученых» [1].

[1] Об искажении русских имен в рукописях произведений Низами см.: Алиев Рустам. О проблеме восстановления подлинных текстов произведений Низами.— Литературный Азербайджан, 1979, № 8. С. 129.

Видимо, поэт знал некоторые языки христианских стран. В «Искендер-наме» он прямо указывает на это:

Много слов золотых в разных списках сверкало,
А тех списков, мной найденных, было немало.

В каждом списке сыскал ценных множество слов,
И в убранство стиха я облек свой улов.

В письменах пехлевийских читал я указы,
За еврейскими взял христианские сказы.

(Перевод *К. Липскерова*)

Прежде чем приступить к написанию какой-либо поэмы, Низами вел тщательную подготовительную работу. Он добывал из самых отдаленных уголков мусульманского мира рукописи, сопоставлял их и лишь после всестороннего освоения темы приступал к ее поэтической обработке. Так, в начале поэмы «Семь красавиц» Низами пишет:

Но, творенье создавая, все же я хотел,
Чтобы блеском небывалым сказ мой заблестел.

Углубился я в сказанья, стал вникать во тьму
Тайн, рассеянных когда-то по свету всему.

На арабском прочитал я все и на дари,
Книгу Бухари прочел я, книгу Табари.

Чтобы не было пробелов, не было потерь
Переполненных хранилищ отпирал я дверь.

Пехлевийские в подвалах свитки я искал,
Со свечою — по листку их бережно сшивал.

И когда все книги предков изучал я сам,
Изощрился, окрылился быстрый мой калам.

(Перевод *В. Державина*)

Здесь трудно очертить круг познавательных интересов Низами. Его интересовали и глобальные проблемы мироздания, и частные вопросы строения материи, и причины образования гор и океанов, и тончайшие

[1] *Левиатов В. Н.* Эпоха Низами.— В кн.: Низами. Сборник первый. Баку, 1940. С. 50.

нюансы человеческой души. Результаты своих наблюдений поэт всегда вкладывал в уста героев, философов и мыслителей прошлого, образы которых он воссоздал в своих творениях. Поэт оставался в пределах опытного знания до тех пор, пока его пытливый ум не останавливался перед проблемами, неразрешимыми таким путем, и лишь в трактовке этих проблем его сознание апеллировало к религии [1].

Молодой Ильяс с юношеских лет увлекался поэзией. Кроме своего родного азербайджанского, который тогда назывался «тюрки» (тюркский), Низами блестяще владел арабским и персидским языками. Если «тюрки» служил обиходным, разговорным языком (основная масса населения Гянджи и всего Аррана была тюркоязычной), то арабский был языком науки и религии, а персидский — языком поэзии. Он изучал и запоминал стихи доисламских и послеисламских арабских поэтов и писателей: Имрул-Кайса (500—540), ал-Ахтала (640—710), ал-Фараздака (641—732), Джарира (653—733), Башшара ибн-Бурда (714—784), Абу Нувваса (762—813), Ибн ал-Мукаффы (724—759), Сахла ибн-Харуна (VIII век), Абу-л-Фараджа ал-Исфахани (897—967), Ибн-Кутайбы (828—889), ал-Джахиза (775—868), ал-Мутанаббн (915—965), Ибн ал-Мутазза (863—908), Абу-л-Ала ал-Маари (976—1058) и других, следы знакомства с творчеством которых можно обнаружить в произведениях поэта. Еще основательней Низами изучал персоязычную литературу. Творения Рудаки (ум. в 940 г.) и Фирдоуси (936—1020) были его настольными книгами. Он изучал творчество и таких выдающихся мастеров слова газневидского двора, как Унсури (ум. в 1040-х годах), Фаррухи (ум. в 1037 или 1038 г.), Манучихри (ум. в 1040 или 1041 г.), Масуд Са'д Салмана (1046—1121), поэтов Санаи (1080—1131), Ансари (1006—1089), поэтов сельджукского двора: Му'иззи (XI век), Фахр ад-Дина Гургани (XI век), великолепного мастера касыды Анвари (ум. в 1187 г.), виртуоза четверостиший Омара Хайяма (1049—1221) и других поэтов. Особое внимание он уделял творчеству соотечественников, которые в середине XII века первенствовали в литературе Ближнего и Среднего Востока.

Низами были известны не только шедевры творчества Катрана Табризи (1010—1085), Абу-л-Ала-Гянджеви (XII век), Фалаки Ширвани (1108—1146), Иззаддина Ширвани (XII век), но и непревзойденного мастера касыды Хагани (ум. в 1199 г.). Он знал наизусть многие их стихотворения. Ведь в те времена существовало неписаное правило: молодые поэты, прежде чем приступить к сочинению собственных стихов, обязаны были выучить наизусть двадцать тысяч строк из произведений классиков и десять тысяч строк из произведений современников.

Низами начал пробовать свои силы на поэтическом поприще уже в юношеские годы. Огромное поэтическое дарование помогло ему, еще совсем молодому, очень быстро завоевать большую популярность среди

[1] См.: *Бертельс Е. Э.* Низами и Физули.— М., 1962. С. 109.

читателей. На это поэт указывает неоднократно. Его нежные лирические газели распевали во многих городах не только Азербайджана, но и Средней Азии и Ирана. Перед поэтом открывалась блестящая возможность придворной карьеры.

В его произведениях содержится несколько прозрачных намеков на то, что когда-то, по молодости лет, он чуть было не поддался искушению блестящей придворной жизни. Но, быстро очнувшись от этих соблазнов, он признал, что все мирское преходяще, что «небосвод этот — лишь старая вдова, а мир этот — пожелтевший плод» и, следовательно, не стоит привязываться к «тленному и преходящему». Чтобы подавить в себе «мирские страсти», он в молодости занимался «подвижничеством», «умерщвлением своей плоти».

В конце 60-х годов произошло важное событие в жизни Низами. В руки правителя Дербенда Дара ал-Малик ал-Адила Музаффара сына Мухаммада сына Халифа (примерно с 1155 по 1170 год) попала юная пленница, тюрчанка из кыпчаков по имени Ашпаг («белая», «беленькая», в арабской передаче Афак). Музаффар, соблазнившись красотой девушки, хотел, как это было принято в те времена, украсить ею свой гарем. Но свободолюбивая, гордая, целомудренная Афак, как и все ее соплеменницы, принявшие ислам и еще не успевшие отвыкнуть от своей былой независимости и свободы (об этом поэт напишет впоследствии подробнее, во второй книге «Искендер-наме»), не покорилась воле правителя Дербенда. Ни уговоры, ни подарки, ни угрозы не могли сломить волю Афак — она не поладила со своим господином.

Не сумев покорить целомудренную невольницу, Музаффар решил подарить ее поэту в качестве гонорара за касыду. Этим подарком он, может быть, хотел достичь две цели: наказать поэта и посмеяться над ним за его слишком навязчивые наставления и поучения, вручив ему строптивую и гордую рабыню, и вместе с тем унизить и Афак, подарив ее бедному поэту и лишив, таким образом, «шелковых» нарядов и изысканных яств. Однако Музаффар просчитался. Сам того не желая, он оказал литературе огромную услугу: осчастливил великого поэта.

Это событие произошло в 1170 году. Тридцатилетний поэт, покоренный Афак, впервые в жизни испытал настоящую любовь. Гордую и красивую тюрчанку Низами ввел в свой дом не как невольницу, а как законную и почитаемую жену.

Афак не была образована, но зато обладала незаурядным умом, внутренней культурой, прекрасно знала народные сказания и песни, героические легенды своего народа. Ее рассказы об обычаях и нравах соплеменников позднее нашли отражение в поэмах Низами.

Афак сыграла заметную роль в судьбе поэта. Она вдохновила его на создание пленительных женских образов Ширин, Нушабе, Нистандаржахан. В 1174 г. Афак подарила поэту сына Мухаммада. Эти годы, годы любви и семейного счастья, были самой светлой порой в жизни Низами.

В этот период он как бы обрел себя, достиг совершенства в избранной им миссии глашатая социальной справедливости. У него окончательно сложились общественные идеи и художественные навыки, эстетические воззрения. Молодой поэт решил систематизировать свои гуманистические взгляды в едином произведении. Примерно во второй половине 1176 г. он приступил к созданию своей первой дидактической поэмы «Сокровищница тайн» («Махзан ал-Асрар»). Поэт завершил ее, как он сам указывает в конце сочинения, в 1177 г.

В 1178 или 1179 г. скончалась Афак. Ее смерть нанесла Низами глубокую рану. Описывая кончину главной героини поэмы «Хосров и Ширин», где Низами возвеличил женщину, которую в мусульманском мире до этого ценили лишь как продолжательницу рода и источник наслаждения, поэт с глубокой душевной болью говорит о своей покойной супруге. В последней поэме («Искендер-наме») поэт вспоминает ее так, будто совсем недавно расстался с ней.

Потеряв Афак, поэт перенес всю свою любовь на сына Мухаммада, воспитанием которого он занимался лично. В большинстве своих поэм Низами посвящал сыну специальную главу под названием «Наставления моему сыну Мухаммаду». Эти наставления имеют важное значение для понимания педагогических взглядов поэта. Нравственные идеалы, которые Низами хотел привить своему сыну и всему подрастающему поколению, отличаются удивительной чистотой, благородством и общественной значимостью.

В 1180 г. Низами приступил к написанию поэмы «Хосров и Ширин», в 1188 — завершил свой другой шедевр — поэму «Лейли и Меджнун», в 1197 он закончил поэму «Бахрам-наме», вошедшую в литературный обиход под названием «Семь красавиц».

Работа над «Искендер-наме», самой большой и самой монументальной поэмой, протекала в последние годы жизни поэта. В 1199 г. первая ее часть «Книга о славе» («Шараф-наме») была готова, а в 1201 г. была завершена и вторая часть — «Книга о счастье» («Икбал-наме»).

Дата смерти Низами до сих пор оставалась не уточненной. Однако существуют данные, позволяющие решить этот вопрос.

Кто-то из близких Низами, быть может, его сын, описал кончину поэта и включил эти строки во вторую книгу романа об Искендере, в главу, посвященную смерти античных философов — Платона, Сократа, Аристотеля. В этом описании указан возраст автора «Искендер-наме»:

Шестьдесят было лет и три года ему,
И шесть месяцев сверх,— и ушел он во тьму,
Все сказав о мужах, озарявших своими
Поученьями всех, он ушел вслед за ними.

Если 63 с половиной лунных года выразить в современном летосчислении (лунный год на 10 дней меньше солнечного), то можно довольно точно определить, что поэт умер в июне 1202 г.

* * *

Творческая деятельность Низами началась с лирики, главными видами которой были газели и касыды. Из-за отсутствия хронологических данных мы почти лишены возможности выяснить, к какому этапу творческого пути поэта относятся те или иные газели и касыды, ибо он писал их до конца жизни. Уже в 1188 г., как видно из поэмы «Лейли и Меджнун», Низами был автором «Дивана» (сборника стихов), включавшего в себя, по утверждению некоторых средневековых биографов поэта, около двадцати тысяч строк. Однако до нас дошло всего около двух тысяч строк, причем принадлежность поэту многих из них оспаривается.

Основными жанрами персоязычной литературы X и XI вв. были эпический и лирический. В силу специфических условий, в которых жили и творили средневековые поэты, социального статуса, предписывавшего им целый ряд обязанностей, подавляющую часть классической литературы составляет придворная поэзия, относящаяся к лирическому жанру. Основными формами лирического жанра были касыда, газель, кыт'а, рубаи (четверостишия), а также строфическая разновидность касыда и газели — таджи'-банд и таркиб-банд.

Средневековые поэты, как правило, жили при дворцах шахов, правителей и у высокопоставленных сановников. Поэты в основном существовали за счет меценатства феодальной знати, и поэтому литературная жизнь была сосредоточена и развивалась в дворах шахов, султанов и их сановников. Это обстоятельство, в свою очередь, предопределяло содержание и тематику поэтических произведений и художественный метод самих мастеров слова. Основная задача придворного поэта, постоянно жившего при дворе или наездами посещавшего те или другие дворы, «временного» одописца, заключалась в славословии, в восхвалении своего господина. Своими искусными одами он должен был доказать моральное право на власть своего шаха или султана, его мужество, отвагу, щедрость, правосудие и незаменимость. Однако придворная поэзия не ограничивала себя чисто политической деятельностью — поддержанием, оправданием и прославлением правящей династии и ее главы. Роль поэта при дворе не исчерпывалась этим, она была значительно сложнее. Меценат оплачивал не только литературную продукцию, но и своеобразную «службу настроения», которая тоже входила в обязанности придворного стихотворца.

«Поэзия и музыка — с их помощью... средневековые дворы традиционно решали такую важную проблему, как организация досуга и празднеств» [1].

---

[1] *Ворожейкина З. Н.* Исфаханская школа поэтов и литературная жизнь Ирана в предмонгольское время.— М., 1984. С. 86.

«Царь поэтов» и другие приближенные мастера слова, завоевавшие доверие и симпатии правителя, занимали важное место в его свите и собраниях. Они не только услаждали слух своего господина пышными и торжественными одами, но и выполняли роль «наладчика» его настроения. Своей находчивостью, остроумием, к месту произнесенным экспромтом или шуткой они старались поддерживать на соответствующем уровне дух своего мецената, а иногда своими выразительными стихами внушали им те или иные политические мысли, наталкивали их на свершение тех или иных действий и мероприятий. Для иллюстрации этой мысли достаточно вспомнить историю с поэтом Рудаки и саманидским эмиром Насром.

Эта история подробно описана в труде старшего современника поэта, по прозвищу тоже Низами, но Низами Арузи Самарканди. В своем сочинении «Собрание редкостей или четыре беседы» (Перевод с персидского С. И. Баевского и З. Н. Ворожейкиной, под редакцией и предисловием А. Н. Болдырева. Москва, ИВЛ, 1963, с. 61—63) Низами Арузи рассказывает о том, что могущественный эмир из рода Саманидов Наср ибн Ахмед зиму всегда проводил в столице Бухаре, а на лето он переезжал в Самарканд или один из городов Хорасана. И вот, в какой-то из годов настала очередь Герата. Герат и его окрестности настолько понравились Насру, что он на четыре года задержался там. Когда наступало лето, он говорил: «Вернемся в столицу зимой», а когда наступала зима, он говорил: «Поедем летом». И так сезон за сезоном он все откладывал, и... люди истомились и подступила к сердцу тоска по родине. В падишахе они не видели желания трогаться с места: в голове его — только климат Герата и в сердце любовь к Герату. В разговоре он сравнивал Герат с раем и превозносил его больше, чем китайских кумиров. Они знали, что у него в мыслях и эту весну провести здесь.

Тогда начальники войска и вельможи государства пришли к устаду Абу Абдаллаху Рудаки. А для падишаха среди его приближенных не было никого влиятельнее и приятнее для беседы. Сказали: «Мы дадим тебе пять тысяч динаров, если ты придумаешь средство, чтобы падишах сдвинулся с этой земли. Потому что сердца наши заполнила тоска по детям, и души наши готовы покинуть тело от страстного желания увидеть Бухару»...

Рудаки согласился, ибо он постиг биение пульса эмира и изучил его темперамент; поэтому знал, что прозой на него не повлиять, и обратился к поэзии. Он сочинил касыду и утром, когда эмир опохмелялся, вошел к нему и сел на свое место. И когда музыканты умолкли, он взял чанг и в ладу ушшак запел эту касыду:

Мулияном вдруг пахнуло на меня
Верный друг, далекий друг зовет меня.

Потом берет ниже и поет:

Шелком стелется сухой песок Аму,
Под копытом осыпаясь и звеня.
Волны пенные Джейхуна рады нам,
Волны крупы лижут взмыленным коням
Мир тебе, навеки мир, о Бухара!
Князь торопится к тебе, коня гоня.
Бухара небесный свод, а месяц — князь
Он восходит, красотою нас маня.
Бухара — цветущий сад, князь — кипарис.
Кипарис вернется в сад к исходу дня.

Когда Рудаки дошел до этого бейта, эмир почувствовал такое волнение, что поднялся с трона, как был без сапог, вложил ноги в стремена скакуна, приготовленного у ворот, и помчался в Бухару. Так что шальвары и сапоги почти два фарсанга везли за эмиром следом, до Буруна, и только там он надел их на ноги и ни разу не натянул поводьев до самой Бухары.

А Рудаки эти пять тысяч динаров получил от войска в двойном размере».

Основной формой восхваления главы царствующего дома, как отмечалось выше, была к а с ы д а (касыда — по-арабски буквально означает «преследование какой-то цели», «стремление к чему-либо»). Эта стихотворная форма возникла у арабов еще в глубокой древности и была почти единственным поэтическим жанром и стихотворной формой вплоть до конца VII в.

Структура касыды с постоянной тематикой, стереотипными сюжетами и мотивами, феноменами бесподобности восхваляемого сложилась еще в доисламской поэзии арабов. Основными сюжетами касыды были: 1) описание покинутой стоянки возлюбленной; 2) описание встречи с возлюбленной, ее перекочевки, расставание с ней; 3) описание пути, мерной ходьбы верблюда, скакуна, животных пустыни и разные пейзажи. Все это составляло вступительную часть касыды. Затем поэт переходил к основной части — к славословию (м а д х) по адресу своего племени или же самовосхвалению или же к поношению (хаджв, хаджа, замы) враждебного племени, его вождя или кого-либо из его членов. По окончании этой части поэту оставалось упомянуть свое прозвище (т а х а л л у с) и завершить стихотворение. В дальнейшем содержание вступительной части, которая называлась «н а с и б», «т а ш б и б» или «т а г а з з у л» претерпело изменения. Во второй половине VIII в. покинутое становище в значительной степени уступило свое место описанию городской улицы или квартала, в котором жила возлюбленная, вишным мотивам (хамрийят), прославлению аскетизма и воздержанности (зухдийят) и изложению философско-мистических размышлений.

Перейдя в персоязычную литературу в конце IX в., касыда не претерпела особых изменений. Вступительная часть касыды — насиб (ташбиб или тагаззул) обычно носила чисто лирический характер и, кроме некоторых формальных признаков, ничем не отличалась от позднейшей газели.

Насиб посвящался описанию возлюбленной, природы, винопития и пирушек, утренних похмелий, сезонов года (обычно весны, лета и осени), а также прославлению аскетизма, воздержанности и мистических настроений. Иногда насиб представлял собой шараду — загадку (л у г з). Первый бейт касыды, как и газели, назывался матла (буквально: «место восхода», «восход») и состоял обязательно из двух парнорифмующихся полустиший. После окончания насиба следовала фигура перехода к славословию (мадху), так называемый г у р и з г а х. После гуризгаха начиналась главная часть касыды — мадх (славословие). Здесь уже прославлялось не племя, а величие восхваляемого (мамдуха) правителя, султана, шаха, сановника или какого-нибудь высокопоставленного лица. Поэт должен был своим мадхом — славословием не только оправдать моральное право восхваляемого — мамдуха на власть, петь дифирамбы мнимым его доблестям, величию, щедрости, отваге и т. д., но и увековечить его имя (та'бид). Так как касыды писались по случаю значительных событий в жизни героя (например, в связи с праздниками, победами над врагами, завершением какого-нибудь строительства, днем рождения, больших охот, рождением детей и т. д.), то вступление — насиб носило соответствующий характер. Так, касыды, сочиненные по случаю новогоднего праздника — Новруза (22 марта), снабжались насибами, посвященными приходу весны, пробуждению природы и т. д., а в насибах касыд, написанных по случаю военных побед, прославлялись могущество, военное искусство или стихийные силы природы, которые сметали со своего пути все.

По окончании славословия поэт излагал окольным путем или прямо свою просьбу (т а л а б или к а с д) о вознаграждении, после чего следовала фигура т а' б и д (по-арабски буквально: «увековечивание») — пожелание вечного царства, вечных успехов и здоровья мамдуху (восхваляемому) [1]. Наконец, шел раздел (за четыре, пять бейтов до конца), в котором поэт упоминал себя, называл свое прозвище (тахаллус), как бы ставя свою подпись под произведением.

Раздел м а д х а (славословия) мог варьироваться сатирой, поношением по адресу врага поэта, и тогда касыда называлась «х а д ж в» или «з а м м» или же э л е г и е й, о п л а к и в а н и е м мамдуха или одного из его близких и родных, и тогда касыда называлась «марсийя» или «риса».

Содержание и назначение касыды накладывали свой отпечаток на ее общий тон и поэтическую стилистику.

Исключительное место в творчестве средневековых поэтов занимают и касыды, посвященные с а м о в о с х в а л е н и ю (фахрийя), в которых авторы превозносили свой талант, стиль, новшество, которые они привнесли в поэзию и т. д. У Низами также есть большая касыда в двух частях,

[1] *Шиддфар Б. Я.* Образная система арабской классической литературы.— М., 1974. С. 11 и далее.

которая по формальным признакам принадлежит к разряду фахрийя. В действительности же самовосхваление в этом стихотворении чередуется самобичеванием, самокритикой, и в результате создается исключительно выразительный автопортрет.

Размеры касыды не были канонизированы. Они могли содержать от 25—30 до 150 и более бейтов. Рифмовалась она по сквозной системе: аа, ба, ва и т. д.

Второй наиболее распространенной формой лирического жанра была газель. Процесс оформления газели как самостоятельной жанровой формы получил свое окончательное завершение в XIII веке в творчестве выдающегося персидского поэта Саади Ширази. Но уже в диванах многих поэтов X и XII вв. можно найти целые разделы, включающие газели, хотя во многих из них еще строго не соблюдены все элементы, которые определяют эту стихотворную форму. И у Низами не все газели полностью отвечают формальным требованиям этого жанра. В некоторых из них отсутствует «макта» — заключительное или предпоследнее двустишие, в котором приводится прозвище (тахаллус) поэта. В иных газелях вместо макта мы находим посвящение, то есть упоминание имени какого-нибудь шаха, правителя или другой высокопоставленной особы, кому посвящается стихотворение. Такие стихотворения скорее всего представляют собой не газель, а насиб, который начал выступать в качестве самостоятельной стихотворной формы, в которой разрабатывалась любовная лирическая тема. Таким образом, лишь определенную часть дошедших до нас лирических стихотворений поэтов XII в., в том числе и Низами, если подходить к ним с чисто формальной точки зрения, можно назвать газелями. Не случайно сам Низами называл эту стихотворную форму то насибом, то газелью. Но если определять их с точки зрения содержания, тематики, общего настроя, то они, безусловно, отвечают всем признакам, характеризующим эту жанровую форму.

Основной темой газели является описание любви: изображение красоты возлюбленной, ее капризов и жестокости, прелестей и недоступности, переживаний и страданий влюбленного, силы и глубины его чувств, верности и постоянства, тоски и грусти, вызываемых разлукой, сетований на соперников и т. д. Трактовка любовной темы в газели весьма традиционна, условна, здесь существуют свои законы, мало изменившиеся на протяжении столетий.

В силу этой становившейся канонической ограниченности газели подавляющего большинства восточных авторов, особенно позднейших периодов, даже самых выдающихся, в значительной степени носят как бы условный характер. Главным в них становятся поэтические образы, оригинальные, но опять-таки условные, и музыкальность. Поэтому в газелях обычно нет конкретного сюжета, более того, нередко нет даже строго логической последовательности изложения. Каждый бейт или группа бейтов — это самостоятельные поэтические единицы, словесное

кружево, чередование причудливых образов, сравнений, объединенные размером и общей рифмой. Поэтому газель — весьма специфический вид лирики как по содержанию, так и по форме, коренным образом отличается от европейских лирических стихотворений. Этот специфический вид словесного искусства не вмещается в рамки обычных философских и эстетических категорий формы и содержания. В газелях почти невозможно провести четкую грань между привычными понятиями — содержанием и формой. Так, если взять десятки тысяч газелей, созданных на протяжении многих веков до и после Низами и стараться выявить их содержание, то мы установим некую устойчивую схему простых мотивов, несколько аксиомарных тематических формул, канонизированных с IX в.

Если упростить схему содержания тематики и список действующих лиц, то она сводится к следующему:

1. Герой газели — поэт; 2. Героиня газели — возлюбленная поэта, обычно абстрактная; 3. Поэт безумно любит ее и ради нее готов пожертвовать всем и даже жизнью; 4. Возлюбленная необычайно красива, и, как правило, недоступна, жестока и получает удовольствие от страданий, причиняемых безумно любящему ее поэту; 5. Из-за безответных чувств любви герой испытывает страшные муки и беспредельно несчастен, но при всем этом он считает, что любит, ибо муки и страдания любви доставляют ему радость.

Часто в газели появляются и другие герои (например, соперники, богобоязненные разумники, советующие пошлое благоразумие, ханжи и т. д.). Но они скорее не живые действующие лица, а штампы, суррогаты, превратившиеся в средства изобразительного мастерства, призванные еще больше выявить глубину любви и страданий лирического героя.

Таким образом, любовь и страдания поэта и необыкновенная красота их абстрактных возлюбленных служили главным содержанием газели, и это содержание, еще раз подчеркиваем, было задано заранее. Формула, штампованная схема содержания уже существовали до создания газели, и задача поэтов заключалась лишь в изобретении новых изобразительных средств для соответствующего облачения его.

В силу этого обстоятельства газели подавляющего большинства предшественников и современников Низами носят как бы условный характер и редко служат выражением реальных чувств и переживаний, истинных проявлений человеческого духа и движений души.

Символы феноменов красоты героини газели и поведение героя тоже стереотипны. Главными атрибутами описания красоты героини являются луноподобное или солнцеподобное лицо с алыми, как роза, ланитами, источающие мускус, черные локоны и кудри, маленький изящный рот, рубиновые уста, жемчужные зубы, родинка (обычно индийская), кипарисовый стан и белый подбородок. Задача поэта — облачить в новые словесные образы каждый из канонизированных мотивов и найти новые символы и словесные узоры для описания схематичных феноменов красоты

возлюбленной и своих мук, страданий, верности и преданности. Таким образом, новые образы, новые поэтические находки составляли основную художественную и эстетическую ценность газелей. Иными словами то, что служит в других жанрах литературы формой, как ни парадоксально, составляло (и ныне составляет) главную цель и, следовательно, содержания этой формы лирического жанра. Именно поэтому в газели, как отмечалось выше, нет единой сюжетной линии или фабулы, нет логической оправданности при переходе от одного двустишия к другому, нет развития. Каждое двустишие, иногда группа двустиший,— самостоятельный, законченный, цельный художественный образ, существующий автономно в пределах одной рамки, образуемой размером и рифмой. Объем газели строго не регламентирован, она может содержать от шести — семи до десяти (и очень редко) двенадцати двустиший. Рифмуется газель по системе: аа, ба, ва и т. д. Одна из особенностей этой лирической жанровой формы в XII в. заключалась в том, что она иногда содержала, как принято говорить, малый мадх — малое славословие по адресу главы царствующего дома. Это выражалось в том, что в конце стихотворения вместо т а х а л л у с а (прозвища поэта) упоминалось имя правителя и по его адресу заключался т а ' б и д (пожелание жить вечно, благословение, увековечивание).

В силу установившейся традиции с ее жесткими правилами газели подавляющего большинства восточных поэтов, даже самых выдающихся, редко служат выражением реальных чувств и переживаний. Лирические стихи Низами в этом отношении существенно отличаются от газелей его современников. Они проникнуты чувствами и настроениями, отображающими внутреннюю жизнь поэта. Многие из его газелей созданы не только для исполнения под музыку — они написаны по тому или иному случаю, как исповедь души, под влиянием нахлынувших чувств — грусти, надежды, радости:

Расступился черный мускус, и она всплыла вчера.
Оттого пришли в порядок все мои дела вчера.
Луноликая спешила, соглядатаев боясь,
Полотно с луны срывая, розы обожгла вчера.
На жемчужину глядел я, глаз не властен отвести,
Словно по моим ресницам — влажная — сошла вчера.
И покоились мы рядом. Пробудилась — и бегом
Счастье резвое пустилось, чуть сгустилась мгла вчера.
«Ухожу! — она сказала.— Что мне дать в залог тебе?»
— «Поцелуй»,— я той ответил, что мне жизнь дала вчера.

(Перевод *А. Тарковского*)

И еще одна особенность творчества Низами. Читателю предлагается маленький рассказ-исповедь, в котором представлены и последовательное движение событий, и их итог. Это свидетельство того, что Низами — большой художник, великий мастер в построении сложных произведений.

Лирика поэта носит жизнеутверждающий характер. Несмотря на невзгоды и огорчения, в своих стихотворениях он воспевает красоту и радость жизни. Жизнь прекрасна, утверждает поэт, даже в страданиях, муках, в горечи неразделенной любви и заботе о хлебе насущном, и каждый человек должен воспитывать в себе чувство прекрасного, должен суметь увидеть это прекрасное. Низами призывает своих читателей ценить молодость, не тратить жизнь на посты и молитвы в надежде на райские блаженства:

Готова молодость твоя откочевать, схвати ее.
Родную кинувший страну, скажи мне: где пути ее?
Зачем согнулись старики, давно изведавшие мир,
Что ищет юность; глядя в прах, все мнят в пыли найти ее.
Зачем бросаешь ты, скажи, на буйный ветер жизнь свою?
Припомни вечность. Надо здесь тебе приобрести ее.

(Перевод *К. Липскерова*)

Подлинный переворот совершил поэт в написании касыды, одного из древнейших и интереснейших жанров лирики, во времена Низами превратившегося в изысканный и помпезный панегирик власть имущим. Согласно заведенному порядку, при дворах султанов, шахов, правителей содержался специальный «штат» стихотворцев во главе с «царем поэтов» («мэлик-уш-шуара»), чьи обязанности заключались в превознесении несуществующих доблестей правителя, в утверждении его морального права на господство. Среди таких стихотворцев было немало даровитых мастеров слова, растративших, по выражению Низами, свой «божественный талант ради презренного золота».

Отказавшись от придворной карьеры, поэт отказался следовать и за придворными авторами касыд. До нас дошло всего пять его касыд, и каждая является шедевром.

К типу панегирической касыды может быть отнесено только одно стихотворение Низами — «Зри: сидит Султан Каабы, семь стран света — Его трон...» Поэт, всю жизнь мечтавший совершить хадж (паломничество в Мекку) и не имевший на то средств, обратился в этой касыде к атабеку Нусрат ад-Дину Абу Бакру. Но и тут он проявил большее разнообразие, чем требовалось. Среди неизбежных в таком случае комплиментов, занимающих, кстати, сравнительно скромное место в стихотворении, поэт не преминул под видом похвалы намекнуть на «кроткий» нрав могущественного адресата:

Правосудия десницу ты поддержкой укрепляешь,
А насилью причиняешь нескончаемый урон.

Ты врагов смиряешь гневом без плетей, оков и тюрем.

Тот, кого ты ненавидишь, без кинжала умерщвлен.

В других касыдах вместо пышных дифирамбов власть имущим, Низами проповедует защиту обездоленных. Он призывает правителей не притеснять и не грабить свой народ:

Непосильна справедливость, обуздай хотя б насилье,
Помни: тот, над кем ты властен,— человек, а не баран...

Не лишай подвластных хлеба, не лишай воды поля их,
Чтобы ангелам на радость дань тебе платил шайтан.

(«Слышишь, звякнул бубенцами в путь готовый караван...»)

Угрожая неотвратимым возмездием, напоминая о дне Страшного суда, поэт увещевает властителей не творить беззаконий, не лить кровь своих подданных:

Непрочно царство у того, кто кровь ему подвластных пьет,
Луна кровь солнца пьет, и вот ей лик пятнают синяки.

Спеши пополнить свой амбар хотя б крупицей добрых дел.
И от невзрачного зерна тучнеют хлебные мешки.

Но те, кого ты угнетал,— страшись! — поднимут в Судный день
Над грешной головой твоей неумолимые клинки.

(«Уж время шашками закрыть шесть клеток мировой доски...»)

Прочие касыды интересны тем, что поэт говорит в них и о себе. Необычно, почти как элегия, звучит стихотворение «Я долго шел по лугу лет, и сгорбилась моя спина...» Но особенно поразительна касыда «Я царем царей в державе мудрых мыслей нынче стал...», в которой поэт создает свой духовный автопортрет. Эта касыда — думы вслух, думы, заключенные в такие звучные, торжественные строки, что знаток персоязычной литературы получает от чтения ее такое же наслаждение, какое получает истинный ценитель музыки от симфоний Бетховена или органных произведений Баха и Генделя. Каждая из двух частей касыды написана с полярно противоположной позиции: безудержному самоутверждению первой части противостоит столь же крайнее саморазвенчание второй, и подведение итога как бы оставляется на усмотрение читателя. Таким образом, во всех своих касыдах Низами выступает как замечательный реформатор этого жанра.

Другой распространенной формой лирического жанра в XII в. была кыт'а (по-арабски буквально значит: «фрагмент», «кусок», «обрывок»). По нашему подсчету, кыт'а иногда занимала второе после касыды место в творчестве азербайджанских поэтов. Дело в том, что эта жанровая форма выполняла более широкие задачи, чем газель и четверостишия. Формально кыт'а отличается от других стихотворных форм тем, что первые полустишия (т. е. матла) не рифмуются между собой, а размер ее нерегламентирован. Кыт'а могла содержать от двух до двадцати бейтов.

Особое распространение кыт'а получила в XII в. Дело в том, что начиная со второй половины XI в. рамки тематики кыт'а все больше расширялись. Если в X—XI вв. кыт'а служила стихотворной формой, в которой поэт излагал свои затаенные думы, мысли и воззрения не для публики, а для себя, делился с родными, близкими или потомками своими взглядами о тех или иных явлениях жизни, о социальных проблемах и т. д., то в XII в. она стала средством корреспонденции, прошений, переписки между друзьями и т. д. Так, в поэтическом наследии Муджир ад-Дина Бейлакани кыт'а занимает после касыды второе место (около 1000 бейтов, а газели — 504 бейта). Во многих из них поэт просит тех или иных правителей, сановников вознаграждения за свои стихи, вино, корм для коня, одежду, материальную помощь. В других стихотворениях поэт выражает недовольство своим временем, окружающей средой, жалуется на неверность своих друзей, на разлуку с близкими, проклинает ремесло придворного поэта и т. д.

Если в других жанровых формах — касыде, газели поэт должен был продемонстрировать все свое искусство, изощряться в создании вычурных образов, то в кыт'а он не старался показать свою изобретательность, писал просто, доступно и ясно. Жанр кыт'а имеет огромное значение для изучения творческой биографии средневековых поэтов, интимных сторон их жизни и подлинного образа мыслей.

К сожалению, из всех кыт'а Низами дошло до нас всего несколько бейтов.

Другой распространенной формой лирического жанра были рубаи-четверостишия. Возникшие на почве народной поэзии (у тюркских народов — б а й а т ы, у ираноязычных народов — д у б е й т и) еще в XI в. они нашли исключительно широкое распространение благодаря поэтической деятельности знаменитого астронома и математика Омара Хайяма (1049—1121). После Хайяма четверостишиями увлекались самые разнообразные слои общества — начиная с коронованных особ и кончая ремесленниками. Дело в том, что рубаи были самой подходящей формой для выражения философских, житейских, эпикурейских и других мыслей афористического характера, для сентенций и дидактических изречений. Низами тоже уделял особое внимание этой форме философской, дидактической и любовной лирики.

Кроме указанных стихотворных форм лирического жанра существовали и их строфические разновидности: т а р д ж и - б а н д ы и т а р к и б - б а н д ы. Тарджи-банды представляют собой группу газелей, написанных в одном размере, но разными рифмами и объединенных одним повторяющимся в конце каждой газели парнорифмующимся бейтом. Количество газелей в тарджи-банде может колебаться от пяти до двадцати пяти. Притом содержание последнего или последних двух бейтов каждой газели должно логически подготовить переход к повторяющемуся двустишию. У некоторых поэтов XI и XII вв. встречаются тарджи-банды из двадцати пяти или двадцати семи строф, притом каждая строфа — газель, состоящая из пяти или шести бейтов, имеет сквозную рифму, т. е. все строки рифмуются между собой.

Таркиб-банд отличается от тарджи-банда только характером соединительного бейта. Если в тарджи-банде соединяющий строфы друг с другом бейт состоит из одного повторяющегося, то в таркиб-банде после каждой строфы следует самостоятельный бейт, который рифмуется с соединительными бейтами всех последующих строф.

В «Диванах» азербайджанских поэтов XII в. (Хагани, Муджир ад-Дина) и приезжих поэтов, служивших у атабеков (Асир ад-Дина Ахсикати, Захир ад-Дина Фарйаби), имеются по нескольку тарджи-бандов и таркиб-бандов, каждый из которых состоит из десяти и более строф-газелей. К сожалению, строфические стихотворения (тарджи-банды и таркиб-банды) Низами не дошли до нас, хотя, без сомнения, они занимали значительное место в его «Диване».

* * *

Вторым популярным жанром персоязычной литературы XII в. был эпический, который независимо от содержания и видов его, назывался арабским термином м а с н а в и (буквально: парнорифмующийся бейт, двустишие с отдельной рифмой). Некоторые теоретики литературы называют маснави жанровой формой [1]. Однако лишь в переносном смысле его можно назвать жанровой формой. Этот вид стихотворных произведений возник в персоязычной литературе в IX в., и в форме маснави писались рассказы, дастаны (сказания), новеллы, повести, дидактические поучения, героическо-багатырские, романтические эпосы, сборники художественных рассказов и новелл, поэмы различного характера. Если в касыде и газели бейты рифмуются между собой и имеют монорифму, то в маснави рифмуются лишь полустишия в бейте по системе аа, бб, вв и т. д. В форме маснави впервые были написаны поэмы Рудаки и его современников и последователей, живших в эпоху саманидов.

Иранский ученый М. Дж. Махджуб в своей книге «Хорасанский стиль в персидской поэзии» [2] приводит отдельные двустишия более чем из двадцати дидактических, животных и героических эпосов, написанных в форме маснави.

Как отмечалось выше, первым образцом этого жанра был эпос «Калила и Димна», созданный Рудаки на основе сборника новелл индийских эпосов «Рамаяны» и «Панчатантры», переведенный Ибн ал-Мукаффой с пехлевийского на арабский. В дальнейшем Фирдоуси создал свою героическую эпопею «Шах-наме» на основе восточно-иранских богатырских сказаний и древнеиранской полумифической и полуреаль-

[1] *Квятковский А.* Поэтический словарь.— М., 1966. С. 154.

[2] *Махджуб М. Дж.* Хорасанский стиль в персидской поэзии.— Тегеран. 1965.

ной истории. «Книга царей» вызвала к жизни огромное количество подражаний. Однако ни один из последующих героико-мифологических эпосов не мог подняться до уровня «Книги царей» и не оставил существенных следов в истории персоязычной литературы. Многочисленные же истории разных царей, сказания о мифических героях «Шах-наме» впоследствии дали обильную пищу и готовые темы для создания разных эпопей подражательного характера типа «Гиршаси-наме» Асади Туси, «Бахман-наме» Ираншаха Аби-л-Хайра Михриджирди» (XI в.), «Фарамарз-наме» (XI в., автор неизвестен), «Барзу-наме» Амиди ибн-Йа'куба Атаи (ум. в 1078 г.), «Бижан-наме» того же Амида Атаи, «Шахрийар-наме» Сирадж ад-Дина Мухтари-йи Газнави (конец X — начало XI в.). Развитие поэзии в XI в. ознаменовалось тем, что в форме маснави появились качественно новые поэмы — любовные романтические эпосы, которые можно назвать куртуазными или куртуазно-приключенческими, но не рыцарскими. К числу этих романов относятся вышеназванные поэмы Унсури («Вамик и Азра» — персидская обработка античного греческого сюжета, «Белый кумир и Красный кумир», «Шадбахр и Айнулхайат»), Айнуки («Варка и Гулшах»), дидактическая поэма Азраки о коварстве женщин («Синдбад-наме») и, наконец, поэма знаменитого Фахр ад-Дина Гургани («Вис и Рамин»). Во второй половине XI в. широкий доступ в «маснавийную» поэзию получило суфийское учение. Поэзия стала основным рупором, главным средством массового характера для изложения теософии, мистической любви суфиев к богу. Выдающийся суфийский поэт Ансари написал несколько маснавийных поэм для иллюстраций разных аспектов своего суфийско-мистического учения. Об этих произведениях мы кратко говорили выше.

Среди иранских литературоведов бытует мнение, согласно которому образцами подражания для поэм «Сокровищницы тайн» и «Хосров и Ширин» соответственно послужили «Сад истин» («Хадикат ал-Хакаик») Санаи и «Вис и Рамин» Фахр ад-Дина Гургани. М. Дж. Махджуб утверждает, что «Низами подражал даже в деталях поэмы «Хосров и Ширин» «Вис и Рамину» Гургани» [1]. Этой точки зрения придерживаются некоторые европейские, в том числе и советские ученые. Так, низводя Низами до уровня Кретьена де Труа, автора лубочно-рыцарских романов XII в., они почти ставят знак равенства между «Вис и Рамином» и «Хосровом и Ширин» Низами. [2]

Не вдаваясь в подробности, здесь отметим лишь, что если в какой-то степени можно сравнивать романы Тома Беруля, Кретьена де Труа и Вольфрама Эшенбаха с «Вис и Рамином», то проведение между произведениями Низами и указанных писателей типологической параллели по

[1] *Махджуб М. Дж.* Указ. соч.
[2] *Мелетинский Е. М.* Средневековый роман.— М., 1983. С. 175.

крайней мере непрофессионально. Из-за незнания подлинников романов в стихах Низами Е. М. Мелетинский упустил из виду, что «Хосров и Ширин», «Лейли и Меджнун», «Семь красавиц», «Искендер-наме» и рыцарско-куртуазные романы европейских писателей XI—XII вв. стоят на совершенно разных идейных, социально-гуманистических и художественных уровнях.

В романах Кретьена де Труа и его современников и последователей не было ни психологизма в обрисовке характеров, ни подлинных внутренних коллизий между велениями души и разума, между чувствами и житейским благоразумием, ни детально разработанного искусства построения романтической фабулы, многолинейности, ни подлинной типизации и ясно выраженной гуманистической идейности. Художественный и идейный уровень творений Низами в европейской литературе был достигнут лишь в XIX в.

* * *

В нашем литературоведении до сих пор нет единого мнения относительно художественного метода, принципов изображения действительности и создания характеров, а также нет ясного представления о стиле, созданном азербайджанскими поэтами и писателями, жившими и творившими в XII в.

Некоторые специалисты, придерживаясь старых теоретических установок, господствовавших в нашем литературоведении до конца 50-х годов, и считая романтизм художественным творческим методом, а не направлением, по инерции объявляют почти всех поэтов описываемого периода, в том числе и Низами, романтиками. Учитывая субъективизм и субъективную позицию подавляющего большинства поэтов XII в. по отношению к изображаемым явлениям, их стремление к пересозданию, а не к воспроизведению действительности, и, наконец, исключительность, эпическую грандиозность характеров воспеваемых героев, можно было бы причислить всех мастеров слова того времени к романтикам. Однако при этом мы упустили бы из виду тот главный, определяющий сущность художественного творческого метода поэтов XII в. фактор, заключающийся в том, что отстранение от изображения реальной жизни и создания реальных образов, субъективизм, стремление к пересозданию, а не к воспроизводству действительности, что было сопряжено с выдвижением на первое место грандиозности и исключительности героев (прославляемых царей, правителей и их саповников) — все это было продиктовано общественным статусом панегиристов и утилитарными свойствами их слова. Поэты жили и творили при дворах и они должны были лгать, выдавать черное за белое, наделять своих мамдухов всевозможными доблестями, изображать в своих касыдах труса — отважным, скрягу —

щедрым, жестокого — милосердным и великодушным, тирана — справедливым. Эта задача была узаконена не только опытом творчества поэтов, но и чисто теоретическими работами. Теоретики литературы официально призывали поэтов к искажению фактов, действительности, призывали прибегать к любым ухищрениям, лжи, чтобы прославить, увековечить имена своих повелителей. Крупнейший теоретик XII в. Низами Арузи в своем трактате «Наука о стихе и достоинствах поэта» (1155 г.) писал: «Поэзия — это искусство, при помощи которого поэт располагает возбуждающие предъявления и соединяет действенные суждения таким образом, что м а л о е о б р а з у е т в в е л и к о е, а в е л и к о е — в м а л о е. И красивое облачает в безобразные одежды, а безобразное заставляет снять в красивом обличье» [1]. Далее Низами Арузи продолжал: «И стихи... должны достигнуть такой степени, чтобы запечатлелись на страницах времени и не сходили с уст знатных господ, чтобы в тетрадях их писали, и в столицах их читали. Ибо наиболее совершенный жребий, самое превосходное назначение стиха — это увековечивание имени, а пока стихи не станут читать и переписывать, эта цель не осуществится. И покуда стих не достигнет этой степени, он не обладает силой воздействия и умирает ранее своего автора».

Из приведенного отрывка видно, что крупнейший теоретик поэзии XII в. Низами Арузи считал, что основная задача мастера поэтического слова состоит в «увековечивании имени» восхваляемых (царя, султана, власть имущих и других сильных мира сего), а для выполнения этой задачи все средства были хороши, и поэт обязан был «малое обращать в великое, а великое в малое» и облечь безобразную ложь в красивую одежду.

Низами Арузи Самарканди не был первым, кто громогласно провозгласил идеологию придворной поэзии. До него еще во второй половине XI в. был обобщен опыт придворной литературы и санкционирована ее задача. Однако в предшествовавшей литературе все еще предлагалось не перебарщивать в славословии, соблюдать меру во лжи и не переходить границы допустимого. Так, автор знаменитой «Книги Кабуса» («Кабус-наме») зияридский принц Эмир Унсур ал-Ма'али Кей-Кавус ибн Искендер ибн Кабус ибн Вушмагир в 1070 г. писал: «О сын, если станешь ты поэтом, то старайся, чтобы речи твои были сложны, но допустимы... Будь благодарен в помыслах, и умей каждому сказать подобающее ему. Когда пишешь славословие, пиши его по достоинству прославляемого... тому, кто и ножа не засовывал за пояс, не говори: «Меч твой поражает льва, а гневом ты пронзаешь гору Бистун, стрелой же рассечешь волос». Тому, кто и на осле никогда не сидел, не говори, что конь его подобен

[1] *Низами Арузи Самарканди.* Собрание редкостей или четыре беседы / Пер. с персидского С. И. Баевского и З. Н. Ворожейкиной. Под ред. А. Н. Болдырева, М., 1963; предисловие А. Н. Болдырева. С. 15.

Дулдулу [1] и Бураку [2] Рахшу [3] и Шабдизу [4]. Поэт должен знать, что кому нужно говорить. Тогда он может так прославить его, что тому понравится. Пока ты не сможешь того, чего он хочет, он тебе не даст того, что тебе нравится» [5]. Однако по мере развития придворной поэзии развивались и антиреалистические тенденции. Если предшественник Низами Арузи Унсур ал-Ма'али советовал соблюдать меру во лжи, то последователь его Садид ад-Дин Мухаммед ибн-Мухаммед Бухари Ауфи (1176—1232) в год смерти Низами писал: «Если соединить медь лжи с золотом стиха и расправить их в горне духа мудрецов, то медь сольется с золотом и прелесть стиха победит мерзость лжи» [6].

Для оправдания лживости придворной поэзии мастера слова, как отмечалось выше, придумали даже специальный хадис, приписав его пророку Мухаммеду, который якобы сказал: «Самые лучшие из стихов — самые лживые из них». Характеризуя современную поэзию, Низами цитирует этот подложный хадис в поэме «Лейли и Меджнун». Советуя своему сыну отказаться от поэтического ремесла, поэт говорил:

Я вижу у тебя стремление к величию,
И вижу у тебя влечение к стихотворчеству.
Но не предавайся стихам и ремеслу стихотворцев,
Ибо «самые лучшие стихи — самые лживые из них...»
Хотя поэзия высока по рангу,
Но ты стремись к науке, которая полезна (для людей)

Обобщая высказывания Низами Арузи Самарканди, крупнейший знаток персоязычной литературы проф. А. Н. Болдырев в предисловии к русскому переводу «Собрания редкостей» пишет: «Таким образом, Низами Арузи впервые в истории персоязычной феодальной литературы сформулировал ту эстетическую концепцию, которая видела совершенство искусства в настолько сознательно корыстном удалении от жизненной правды, от реальной действительности, насколько реалистическое понимание видит свое совершенство в приближении к ней. Эта своеобразная теория «антиреализма» обобщила и санкционировала огромный опыт придворной

[1] Дулдул — имя легендарного коня четвертого халифа и двоюродного брата пророка Мухаммеда Али ибн Абу-Талиба (656—661).

[2] Бурак — имя мифического верхового животного, на котором пророк Мухаммед якобы совершил свое небесное вознесение.

[3] Рахш — имя легендарного коня Рустама — главного героя-богатыря «Шах-наме» Фирдоуси.

[4] Шабдиз — имя легендарного коня иранского царя из династии Сасанидов Хосрова Парвиза (590—629), главного героя второй поэмы Низами «Хосров и Ширин».

[5] Кабус-наме / Пер. с персидского, вступит. статья и примеч. Е. Э. Бертельса. II изд. М.: Изд-во «Восточная литература», 1958. С. 199—202.

[6] *Низами Арузи Самарканди.* Четыре беседы. С. 55.

панегирической поэзии, достигшей во времена Низами Арузи вершины своего развития. В той же второй главе своей книги Низами Арузи посвящает немало места совершенству поэтической формы, требуя от поэта высшего художественного мастерства, указывая пути к овладению его вершинами. В этом проявляется другая неизбежная сторона «антиреалистической концепции» искусства — признание абсолютной самоценности художественной формы» [1].

Установив, что в придворной поэзии господствовал нереалистический принцип художественного отражения жизни, который компенсировался исключительным ростом самоценности техники и изощренной формы, А. Н. Болдырев справедливо заключал, что подобное положение в средневековой литературе было закономерным явлением и оно было порождено объективными историческими условиями. «Совершенно очевидно,— пишет А. Н. Болдырев,— что и Ауфи... и, конечно, сам Низами Арузи... полностью отдают себе отчет в том, что ложь, искажение и обман вообще мерзки, отвратительны, аморальны. Чем же тогда объяснить оправдания лжи в искусстве, само утверждение понятия «прекрасной, художественной лжи» как нормы высокой поэзии? Следует думать, что ответ просто в самих условиях жизни общества, в реальной действительности, породившей и саму антиреалистическую поэзию и ее теоретическое обоснование» [2].

Антиреалистичность поэзии, сосредоточенной при дворах, компенсировалась, с одной стороны, как говорилось выше, ростом самоценности формы, техники, усложнением образной системы, а с другой — все большей условностью, субъективизмом, шаблонностью и стереотипностью атрибутов восхваляемых, статикой, искусственностью сравнений, метафор и гиперболизацией.

Низами своим творчеством положил конец безраздельному господству антиреалистического искусства и создал новый художественный метод, который позволил ему создать правдивые образы и подлинные характеры в своих бессмертных романах в стихах.

* * *

Первая поэма Низами «Сокровищница тайн» (1177) излагает философские и этические взгляды поэта. Слова «мардоми», «адами», «адамият» еще до Низами употреблялись в персидском языке в смысле «человечность», «человечный». Однако в творчестве Низами они стали обозначать целостное и широко развитое гуманистическое учение. «Сокровищница тайн» состоит из двадцати «Речей», нескольких самостоятельных глав и традиционных, обязательных славословий Аллаху и пророку Мухаммеду, помещенных в качестве вступления к поэме. В двух самостоятельных

[1] *Низами Арузи Самарканди.* Собрание редкостей... Предисловие. С. 15.
[2] Там же.

разделах поэт излагает свои взгляды на природу, говорит о роли художественного слова и о превосходстве стихотворного сочинения над прозаическим.

Далее следует исключительно важный раздел, который представляет собой как бы преамбулу к основной теме произведения. Называется этот раздел «О наступлении ночи и значении сердца». Хотя обязательной последовательности в расположении «речей» нет, но они посвящены двум сторонам одной проблемы: человеку как индивидуальности и человеку как члену общества. Поэт анализирует сущность человеческой природы, психологию индивида, а в беседах об обществе излагает свою философию.

Первая речь посвящена раскрытию сущности любви (эшк), которая является первопричиной бытия. Любовь была создана богом до сотворения мира. Создав ее, творец тем самым заложил основу бытия. Любовь — величайшее преимущество человека, возвышающее его, наряду с разумом, над всеми творениями бога, даже над ангелами. Сердце — вместилище этого божественного чувства, «без которого смерть иссушит мир», которое «заставляет янтарь притягивать к себе солому», «огнепоклонника обожать огонь», «мусульманина обращаться лицом к Каабе». Человек состоит из двух начал — духовного и телесного, его природа двойственна:

Он и чистый и мутный, хоть золото в нем засияло,
Он и камень для пробы, и он же — пытливый меняла.

(Перевод *К. Липскерова)*

Духовным миром управляют разум и любовь. Телесный же мир противоположен духовному, ибо в нем безраздельно властвуют такие «хищники, как желудок, печень, легкие, почки, селезенка» и т. д., назначение которых — поддерживать жизнь организма. Биологические инстинкты, которые Низами называет «низменными страстями», делают человека прожорливым, ненасытным и требовательным, но без удовлетворения их немыслима жизнь. Если полностью подавить чувство голода, холода, жажды и т. д., то наступит конец жизни, которая ведет вечную, непрерывную борьбу со смертью. Вместе с тем непременное условие существования человека — совместный труд с себе подобными, жизнь в обществе. Однако вся трагедия человеческого общежития заключается в том, что люди не научились до сих пор управлять своими страстями и создавать такое сотрудничество, при котором продукты совместного труда распределялись бы равномерно, а инстинкты всех индивидов, составляющих общество, удовлетворялись бы одинаково, в разумных пределах. На основе своего учения о разуме и телесных страстях поэт создал удивительно стройную, хотя и наивную, социальную теорию, которая предвосхитила на много столетий мысли выдающихся социалистов-утопистов — Кампанеллы, Томаса Мора и других.

Низами утверждал, что причина всей неустроенности на земле, невзгод и бедствий — социальное неравенство, при котором одни члены

общества вынуждены чрезмерно подавлять естественные потребности и желания, а другие, составляющие его меньшинство, за счет первых ненасытны в своих вожделениях и притязаниях. Следовательно, главная забота общества — воспитание инстинктов, разумное их ограничение и подавление ради сбережения духовного богатства. Обозревая доступную ему человеческую историю, анализируя законы природы, поэт стремился убедить людей в такой печальной истине, которая давно стала излюбленной темой философской поэзии народов Ближнего и Среднего Востока,— что земной мир изменчив и скоропреходящ.

Богатство и могущество, власть и роскошь, безудержное удовлетворение своих страстей, сознание собственного превосходства над другими, словом, все то, чем обольщается человек, не одаренный разумом,— не могут возвысить его над животными, приобщить его к счастливому чувству вечности.

Проповеди поэта обращены ко власть имущим, к сильным мира сего, а не к тем, кто был лишен возможности даже минимально удовлетворять свои естественные потребности. Поэт с поразительной смелостью учит этих власть имущих не унижаясь, не заискивая перед ними, а придавая своим словам остроту, которая восхищает последующие поколения читателей.

Он поучал царей и правителей, что мирские блага — могущество, богатство и мнимое величие — ничто в сравнении с подлинным величием человека. Единственное, что может превратить человека в частицу божественной субстанции и сделать его, таким образом, нетленным, это «адамият» — человечность, гуманность. Наделенный разумом человек должен воспитывать свое тело, подавлять плотские страсти, очищаться от «телесной мути», и тогда он может стать настоящим человеком. Наиболее эффективным средством обуздания инстинктов поэт считал подвижничество, воздержанность во всем, переключение всей духовной энергии на созидательный труд, ибо основное назначение человека-созидателя общественно полезная деятельность.

Обуздав с помощью планомерного воспитания низменные страсти, очистившись от «телесной мути», облагородив свои инстинкты, человек должен посвятить себя служению обществу, народу. Подобным проповедям посвящено несколько «речей». Поучения этих «речей» иллюстрированы многочисленными притчами. Так, после «речи о справедливости и правосудии» поэт приводит рассказ, который самой логикой событий подкрепляет убедительность поэтических деклараций. Притча эта называется «Повесть о Нушинване и его везире». Во вступительной части этой «речи» поэт обосновывает один из разделов своего учения, обращаясь к царям и султанам.

Вознеси правосудье — и всех осчастливишь людей.
Угнетателей свергни. Об этом бессменно радей...

...Угнетающий царство — его разрушает, а тот,
Кто внимателен к людям, его к процветанью ведет...

...Притесняя подвластных, ты править страной не сумеешь.
Лишь призвав правосудье, ты царством своим овладеешь.

(Перевод *И. Шервинского* и *К. Липскерова*)

Продолжая эти мысли в других «речах», все настойчивее проповедуя мудрое, справедливое правление, иллюстрируя эти поучения рассказами из жизни тиранов или справедливых царей, Низами заявляет, что прежде всего нужно обуть, одеть и накормить людей и создать нормальные условия труда.

Убивать ты не должен больших или малых, ведь виру
Ты за кровь не отдашь и страданья не надобны миру.

И плохие и добрые чтут повеленье твое,
И в плохом и хорошем они — отраженье твое.

Те, кого ты обуешь, дадут тебе шапку за это.
Чью ты тронешь завесу — твоя будет так же задета.

(Перевод *И. Шервинского* и *К. Липскерова*)

На протяжении всего произведения поэт тиранам-правителям противопоставляет власть неимущих — землепашцев, городских тружеников, зодчих, ремесленников, искусных мастеров, тех, кто создает все мирские блага. Яркой иллюстрацией этой мысли может служить рассказ о старике-кирпичнике.

Гармоничным общество будет лишь тогда, когда благотворная сознательность овладеет душами власть имущих, когда сердца их будут очищены от всякой телесной скверны и от низменных страстей, от похоти, чревоугодия, алчности, зависти, властолюбия. В начале поэмы Низами создает образ своего сердца и повествует о том, как он вошел в божественный чертог этого сердца и увидел в нем чудесный мир прекрасных идеалов, лучезарной любви, где покорно сидели «семь халифов», т. е. семь телесных органов, порождающих те или иные биологические инстинкты. Выслушав напутствия сердца, поэт постиг одну истину, изложению которой он посвятил свою поэму. Истина эта сводится к тому, что великое счастье достижимо и на земле:

Коль человечен ты, послушай речь мою:
Не только в небесах, но ты и здесь — в раю.

Одна из интереснейших мыслей, во многом обусловливающая звучание поэмы,— это мысль о глубоком сродстве человека и природы. Взаимоотношения людей с окружающей средой интересовали мусульманских философов еще в VIII—IX вв. Впервые же эта тема получила свое художественное освещение в произведениях Низами. В «Сокровищнице тайн» он уделил ей целую главу. По мнению поэта, вся природа — цельный неде-

лимый организм. Каждая часть этого организма выполняет свою, отведенную ей творцом функцию. Повреждение любого звена в цепи принесет вред всему организму и, в конечном счете, пагубно отразится на судьбе человечества. В природе нет ни одной бесполезной твари, животные имеют такие же, как и люди, тело и душу. Они схожи с людьми, хотя стоят на более низкой ступени развития. И потому человек должен заботиться о животных, растениях, земле, о чистоте источников. Для иллюстрации этой мысли поэт приводит великолепный рассказ о легендарном царе Фаридуне и газеленке. Фаридун на охоте азартно преследует красивого газеленка, но конь не может догнать его, стрела не может попасть в цель. Царь начинает порицать коня, проклинать стрелу и вдруг они, обретя дар речи, говорят ему, что нельзя убивать бессловесную божью тварь, ибо, истребляя ее, человек истребляет природу, частью которой является сам, обедняя себя, он уничтожает в себе чувство красоты и свою духовную суть.

«Сокровищница тайн» принесла ее автору громкую славу. Однако вскоре сам поэт понял, что дидактическая, нравоучительная форма — не самое эффективное средство для пропаганды гуманизма. Он решил избрать иной жанр, с помощью которого можно было бы сильнее воздействовать на чувства и души читателей, прививать им свои идеи более надежным и более доходчивым способом. Для определения такого художественного явления, как «Хосров и Ширин», обычные жанровые понятия — эпос, поэма, роман недостаточны. Восточный термин «дастан» ввиду широты своего значения (повествование, сказание, поэма) в данном случае также выглядит весьма приблизительным. Все же отсутствие подходящего жанрового определения может быть отчасти восполнено двойным термином «роман-поэма».

По сложности своего построения, по богатству образов, событий, по обилию крутых поворотов в их развитии произведение Низами может поспорить с известными сюжеторазветвленными романами нового времени. В этом отношении азербайджанский поэт на много веков предвосхитил достижения мировой художественной классики. Но, пожалуй, важнее другая сторона дела — метод обрисовки главных и второстепенных героев, смысловая насыщенность сюжета. Достойно удивления, что в этом средневековом произведении фантастический элемент играет совершенно ничтожную роль — все зарождается и движется естественным путем.

Основной принцип построения сюжета Низами — саморазвивающееся действие, пружинами которого служат страсти, интересы, положения и характеры персонажей, наконец, те обстоятельства, в которые они поставлены.

Некоторые художественные особенности «Хосров и Ширин» позволяют наметить аналогию с «Евгением Онегиным». Однако пушкинский роман в стихах отличается по характеру своей лирической атмосферы и отличается весьма существенно. Величественный, монументальный лиризм Низами имеет своим объектом предметы универсального, священного и общефилософского значения. К тому же этот лиризм тесно связан с традицией героического эпоса.

Именно этот неиссякаемый лиризм, который так часто согревает авторское повествование, придает ему торжественный блеск, эта богатейшая орнаментальность стиля и музыка стиха заставляют рассматривать поэму «Хосров и Ширин» и как особый вид поэмы, точнее, как говорилось выше, роман-поэму. О воссоздании реальных характеров на реальном фоне, об отборе из многочисленных факторов лишь тех, которые помогают обнажить движения души, о своей ответственности за каждое слово, наконец, о правдивости изображения жизни поэт высказался в специальном разделе поэмы «О проникновении в сущность сей книги». Здесь, наряду с другими творческими декларациями, поэт утверждает, что он не отступает от действительности:

Хоть все вмещать в слова живущим и дано
И может в их ключе все быть заключено,—

Но если отражать в них истину мы можем,
То небылицы мы с их помощью не множим.

(Перевод *К. Липскерова*)

Сюжет романа-поэмы имел под собой историческую основу. Хосров — один из последних императоров домусульманского Ирана из династии Сасанидов. Он вступил на престол в 590 году и был убит своим сыном Шируйе в 628 году. Ширин, одна из его жен, была из Барды, древней столицы Азербайджана (Аррана), из мелкого княжеского рода, находившегося в вассальной зависимости от Ирана.

Как указывал поэт, он отнюдь не собирался писать историческую хронику и воссоздавать биографию Хосрова и его возлюбленной супруги Ширин. История служит поэту материалом для изображения человеческих характеров, важных для постижения глубинной сущности героев.

Главные герои произведения — прекрасная Ширин, царевич (а затем царь) Хосров и искусный ваятель и каменотес Фархад. Место действия — древний Иран (с его столицей Медаин) и Арран (со столицей Барда).

Арраном правит могущественная и добродетельная царица Михин-Бану, у которой есть племянница по имени Ширин. Молодая девушка воспитана по обычаям своей родины: она свободолюбива и независима, прекрасна и нежна, образована и начитана, обладает великолепным слухом, слагает стихи, она отзывчива, ласкова, умна и всегда печется о благе тех, которые служат ей,— ведь она наследница трона. Став царицей Аррана, Ширин наводит в стране порядок, сделав справедливость и правосудие политикой своего правления. В стране благодаря ей царят благоденствие и мир.

Внутренне созревшая для пылкой всепоглощающей любви, для бескомпромиссных чувств, добродетельная Ширин влюбляется в Хосрова. С этого времени любовь к нему становится единственной целью жизни, источником самых ее благородных помыслов и начинаний.

Наследник иранского престола Хосров — прекрасный, статный юноша. Он превосходил в ловкости, смелости, красноречии своих сверстников. Его благородная внешность, остроумие восхищали всех. Он любил проводить время в веселье, в обществе красивых певиц и музыкантов. Наслаждения и радости жизни он ценил выше, чем интересы государства.

Его обаяние, привлекательная внешность, смелость, изящные манеры, красноречие и остроумие все больше покоряют Ширин. Но любовь для нее — священное чувство. Она готова соединиться с Хосровом и ради этого способна пожертвовать даже жизнью, но только не честью. Для нее женское достоинство — первое условие подлинной любви. Беспредельная любовь к Хосрову не толкает ее на безрассудство, напротив, укрепляет в ней чувство святости любви, чувство собственной значимости. Близость с любимым должна быть вечной, а не преходящей. Ее любовь, мечты о близости питаются чистотой души, возвышенностью помыслов.

Хосров по своей натуре разительно отличается от Ширин. Он знает себе цену, знает, что красив, неотразим — ни одна женщина не может устоять перед ним. Он по-своему любит Ширин, но любит за ее красоту, ее изящество. Ему не приходят в голову мысли о самоотречении ради любимой. Больше всего на свете он любит себя.

Ширин видит, что Хосров ведет себя легкомысленно не только по отношению к ней, он порой забывает о своем долге перед подданными. Ведь отец Хосрова умер и трон его узурпирован. Ширин предвидела, что Хосров, склонный к забавам и беспечный по природе, глубоко раскается, когда осознает, что лишился власти — источника его беззаботной жизни, наслаждений и утех. В то же время она предвидела, что, обладая властью, Хосров может забыть ее.

Убедительные речи и мольбы Ширин производят впечатление на Хосрова. Уязвленное самолюбие заставляет его действовать. Но у него нет войска. Он отправляется в Византию и обращается к кесарю за помощью. Кесарь соглашается помочь с условием, что Хосров женится на его дочери Мариам.

Эта ситуация лучше всего выявляет сущность Хосрова. Забыв о Ширин, которой клялся в вечной любви, он соглашается на условия кесаря. С помощью войска отца Мариам он возвращает себе трон.

Между тем Хосров снова загорается желанием встретиться с Ширин, хотя страх перед Мариам удерживает его. И теперь он поступает сообразно своей натуре. Открывшись Мариам, Хосров просит ее разрешить ввести Ширин во дворец в качестве наложницы, обещая ей, что Ширин во всем будет покорна ей. Более того, руководствуясь своими «нравственными

принципами», Хосров через своего друга Шапура уговаривает Ширин встречаться с ним тайно, но получает от нее отказ.

С каждой следующей главы читатель начинает все более ощущать теснейшее смысловое сродство «Хосров и Ширин» и «Сокровищницы тайн». Ведь одна из ключевых идей первой поэмы Низами заключалась в утверждении созданного поэтом учения о необходимости подавления или ограничения плотских страстей ради высветления «божественной сущности» человека — чувства бескорыстной и преданной любви, в которой поэт видел могущественный источник гуманизма вообще.

Очень важную роль в развитии этой мысли имеет линия Фархад — Ширин, контрастно оттеняющая линию Хосров — Ширин.

Фархад — искусный скульптор, архитектор и каменотес. Его приглашают в замок Ширин и поручают прорубить канал через скалы, чтобы пустить по этому каналу свеженадоенное молоко.

Пленительный облик царевны так очаровывает богатыря, что он обещает за месяц выполнить возложенную на него труднейшую задачу. Фархад полюбил Ширин так же сильно и беззаветно, как она Хосрова. По благородству и возвышенной чистоте чувств он подстать Ширин. Она понимает это, глубоко чтит и уважает его, но любовь ее отдана Хосрову. Родство их душ позволяет ей оценить всю глубину чувств, все величие его души. Узнав о любви Фархада, Хосров ревнует к сопернику и приказывает ему оставить всякие мысли о Ширин. Беседа с Хосровом — кульминационная точка поэмы.

В конце концов Фархад гибнет, став жертвой жестокого и подлого обмана, спровоцированного Хосровом. Потрясенная смертью Фархада, Ширин горько оплакивает его и строит для него прекрасную гробницу. Любовный поединок Хосрова и Ширин теперь вступает в новую фазу развития. Хосров раскаивается в своем гнусном поступке. Но когда умирает Мариам, он, вместо того чтобы искупить свою вину перед Ширин, наносит ей еще одну рану: женится на красавице Шекер.

Однажды, оказавшись во время охоты близ замка Ширин, Хосров просит ее впустить его. Однако гордая Ширин, оберегая свою честь, не впускает царя. Между нею и Хосровом происходит объяснение — знаменитый диалог на расстоянии. Удивительно метки исполненные чувства собственного достоинства суждения и упрек Ширин. Ее неизбывная любовь, которую она и не скрывает, и в то же время непреклонная решимость заставили Хосрова наконец-то очнуться. Униженный и растерянный, он начинает понимать, что до сих пор по своему легкомыслию пренебрегал величайшим в мире сокровищем — любовью достойнейшей и прекраснейшей из женщин. Хосров устраивает свадьбу с Ширин по всем обычаям старины. К концу поэмы становится ясно, что подлинный герой в произведении не Хосров, а Ширин. Ее любовь так глубока и нескончаема, что она изливает свет добра на все окружающее.

Ширин возмущена произволом и гнетом, царящими в подвластной

мужу стране, его беспечным отношением к насилию знати над подданными, к грабежам и угнетению, которым подвергали народ. Ширин высказывает царю горькие слова истины. Поэт устами Ширин произносит свой приговор царю Хосрову и в его лице — современным правителям-тиранам:

Страшись! Отшельника молитвословный жар
Вздымает с просьбою о ниспосланьи кар.

И старой женщины молитва на рассвете
Тебя за зло твое в тугие схватит сети.

Без пользы закричишь, горé глаза воздев,
Когда тебя сметет их справедливый гнев...

(Перевод *К. Липскерова*)

Горькие, но в то же время с любовью преподанные советы Ширин оказывают действие.

Хосров окружает себя учеными, старается справедливо править страной, и в то же время, когда он достигает счастья и облик его нравственно очищается, на сцену выступает сын Хосрова от Мариам по имени Шируйе (Львенок), унаследовавший все самое худшее от отца. Юноша, воспылавший преступной страстью к Ширин, свергает с престола отца, заключает его в темницу. Но Ширин вместе с супругом готова на любые испытания. Она разделяет с ним и заточение. Хосров в последние часы жизни проявляет себя с самой лучшей стороны. Очнувшись в тюрьме от раны, нанесенной скрывшимся убийцей, он чувствует, что жизнь покидает его. Он хочет разбудить Ширин, спящую рядом с ним. Но вспоминает, что она много ночей провела в тюрьме без сна и теперь в первый раз забылась. Хосров не хочет лишать ее отдыха и безмолвно умирает.

Этим Низами показывает, как изменился эгоистичный, избалованный шах, никогда в жизни не думавший о других и искавший одни лишь удовольствия. Хосров возвышается в этот миг до уровня трагического героя. А Ширин остается верной себе: когда тело шаха вносят в склеп, она входит туда, закрывает двери и закалывает себя кинжалом над прахом своего возлюбленного.

«Хосров и Ширин» — величайший памятник мировой поэзии. Не нужно забывать, что он написан за сто с лишним лет до «Божественной комедии» Данте, за полтораста с лишним лет до сонетов Петрарки, а между тем в поэме с неподражаемым мастерством создан образ беззаветно любящей женщины, готовой на смерть ради любимого, но неспособной преступить священный закон чести. Главы о любви Фархада предвосхищают стихи провансальских и позднее итальянских поэтов, вроде Джауффе де Рюделя (XII век), воспевших беззаветную любовь. Интересно задуман образ Хосрова, человека с «роем благородных задатков», отдающегося своим страстям, но находящего в конце концов в себе силы под благотворным влиянием Ширин стать иным — порядочным человеком

и справедливым правителем. Образ Хосрова — живой упрек современным Низами правителям, повторявшим недостатки Хосрова, но не достигшим нравственного величия, отличавшего его в моменты наивысшего подъема духа.

Весной 1188 года, когда поэт был преисполнен творческих замыслов, хотя, видимо, и находился в стесненном материальном положении, к нему прибыл гонец из Ширвана и передал послание ширваншаха Ахсатана I, сына Минучехра. Правитель этого княжества предлагал Низами написать и связать с его именем поэму на сюжет известного на Востоке предания о любви Меджнуна и Лейли. Суля поэту большие награды, ширваншах уверял его, что он не «тюркского происхождения» и поэтому не нарушит своего обещания подобно тому, как это сделал некогда «низкородный тюрок» султан Махмуд Газневи в отношении великого Фирдоуси.

Низами поначалу, как он сам рассказывает во вступлении к поэме, скептически отнесся к этому заказу. Он считал, что сказание, созданное народом о любви Лейли и Меджнуна,— само по себе уже законченное художественное целое, стало быть, «вновь дополнять творенье — смысла нет». Кроме того, ему казалось, что сюжет легенды настолько мрачен, что «облечь его в поэтическую форму — не дело мудрых людей», ибо «иной народу нужен разговор»:

Чтоб слово было сердцем рождено,
Чтобы звенело радостью оно!
Рожденное без радости — мертво.

Но в процессе ознакомления с письменными источниками и устными материалами поэт увлекся преданием. Работа над новой поэмой пошла быстро и легко, и через четыре месяца он завершил ее.

Следует полагать, что главным материалом для Низами послужили не фольклорные версии предания, а письменные источники. До XIII века они существовали только на арабском языке. Легенда о Лейли и Меджнуне зародилась в конце VII — начале VIII века среди североарабских племен — бедуинов. К началу X века относится письменное оформление легенды. Основными письменными источниками, которыми мог пользоваться Низами, являются «Трактат о поэзии и поэтах» Ибн-Кутайбы (ум. в 889 г.), «Книга песен» Абу-л-Фараджа ал-Исфахани (ум. в 967 г.) и доныне популярная на востоке «Повесть о Меджнуне», составленная Абу-Бакром ал-Валиби (XI в.). Сюжет ранней повести о Лейли и Меджнуне во всех вышеуказанных источниках почти одинаков.

В северной Аравии в племени Амир жил одаренный юноша по имени Кайс ибн Муад. С детства он страстно привязался к девушке из своего племени Лейли, вместе с которой пас верблюжат. Лейли также полюбила Кайса. Влюбленные часто встречались, и Кайс читал ей свои стихи, в которых описывал ее красоту и свои чувства. Отец Лейли отказался выдать дочь замуж за Кайса. Потрясенный Кайс убегает в пустыню и

живет там среди зверей, слагая стихи о своей возлюбленной. Он получает кличку Меджнун, что значит «безумный», «одержимый». Родители насильно увозят его в Мекку. Но, услышав случайно имя Лейли, Меджнун опять впадает в безумие и в священном храме Каабы молит бога, чтоб он усилил его любовь к Лейли. Затем он опять убегает в пустыню. Отец Лейли выдает ее замуж за богача, однако девушке удается сохранить целомудрие. Неудовлетворенная страсть подтачивает здоровье мужа Лейли и приводит к смерти. Лейли гибнет, разлученная с Меджнуном, который, узнав о ее кончине, приходит на могилу возлюбленной и умирает там. Кроме этих главных эпизодов возникли впоследствии и некоторые другие, вошедшие в повествование.

Именно этот сюжет, вызвавший вначале сомнения у Низами, и лег в основу произведения. Чем больше поэт размышлял над письменными и устными преданиями, тем больше вдохновлялся. Постепенно творческое воображение его нарисовало глубочайшую художественную идею, которую ему предстояло развить до конца и которая ни в какой мере не повторяла того, что заключала в себе роман-поэма «Хосров и Ширин», хотя любовная тематика, казалось, была уже исчерпана в ней. За короткий срок Низами создал гениальную эпическую драму, полностью отвечающую тем требованиям, которые он предъявлял к себе:

Чтобы влюбился будущий мой чтец
В творенье, кто бы ни был — хоть мертвец.

В отличие от Хосрова и Ширин герои новой поэмы Низами любят друг друга с одинаковой преданностью, с одинаковой силой и они вполне достойны друг друга. На протяжении всего повествования они верны друг другу. Но зависимое положение Лейли и Кайса-Меджнуна резко отличает их от Хосрова и Ширин.

Будучи совсем молодыми, Лейли и Меджнун находятся под опекой своих родителей, причем особенно стеснена в своих действиях Лейли. Отец Муджнуна — шейх, глава племени, отец Лейли — глава другого племени. И тот и другой — рабы обычаев, религиозной морали, закоснелых норм поведения, которые они обязаны блюсти. При всех своих различиях сущность их одна: оба слепо придерживаются раз навсегда установленных догм, понимая, что всякое их нарушение будет ударом по их престижу. Отец Лейли и отец Меджнуна, каждый по-своему добр и справедлив. Они желали, как им казалось, только счастья детям, но это счастье понимали по-своему. Их собственные поступки и чувства служили единственным мерилом для оценки поступков и чувств других людей. Когда они обнаружили, что у детей не такие чувства, поступки, как у их отцов, они решили, что им грозит опасность. И, не жалея сил, «спасают» своих детей, свою честь и доброе имя. Они не догадывались, что в этом «спасении» и заключается гибель детей, гибель их надежд.

Так ничего не поняв и сетуя на волю провидения, они губят и детей, и самих себя...

Обычаи страны не допускали такой любви, которую питали друг к другу Кайс и Лейли. Такая любовь осуждалась обществом. Брак в мусульманских странах заключался без любви. Отец Лейли, этот уважаемый среди соплеменников старец, храбрый воин, олицетворение всех «священных традиций», не может «запятнать свою честь», выдав дочь замуж за «умалишенного».

Но исцелить Меджнуна от любви, которую считали безумием, невозможно. Его любовь к Лейли — не просто всепоглощающее чувство, это чувство, которое без остатка растворяет в себе все остальные человеческие интересы. Понятно, почему Меджнун, узнав об ответе родителей Лейли, приходит в отчаяние. Он попадает в заколдованный круг, из которого нет выхода. И не потому, что он сам этого не хочет. Ради чего он должен излечиться от тех прекрасных чувств, которые он испытывает к Лейли? Весь ушедший в свою любовь Меджнун не находит себе места в обществе соплеменников. Он убегает по утрам в пустыню, где ему не могут помешать хотя бы помечтать о любви, а вечером, когда «дурные глаза сомкнутся», пробирается на улицу своей возлюбленной, упивается тем воздухом, которым дышит она, и только поздней ночью, изможденный, он возвращается домой. А рано утром опять уходит в пустыню, где можно на крыльях утреннего ветра послать Лейли свои любовные послания, где можно свободно произносить ее имя, слагать в ее честь газели и оплакивать свою горькую судьбу. Наконец, когда Меджнун уже не в силах жить среди «озверелых дикарей», он окончательно уходит в пустыню, к зверям. Этот бунт Меджнуна против современного общества напоминает позднейший романтический бунт байроновских героев, бегущих от варварства цивилизованной жизни к дикарям. Но, в отличие от байроновских героев, Меджнун не питает к людям презрения и не пытается мстить им. Свое единственное утешение он находит в дружбе с животными. Эпизоды, посвященные этой теме, очень важны для уяснения всей идеи произведения.

Если последующие поэты, обращавшиеся к тому же преданию, дружбу Меджнуна с дикими животными объясняли вмешательством сверхъестественных сил, говоря, что то были не звери, а ангелы в образе животных, то Низами в трогательной дружбе Меджнуна с животными не видит ничего необычного. Его Меджнун кормит зверей и они за это оберегают его от опасностей. Здесь поэт еще раз показывает отличие естественного мира зверей, воздающих добром за добро, от искусственного — в котором людям чужды искренность, бескорыстие, чистота. Если любовь Меджнуна в глазах Низами — высочайший взлет человеческого духа, равносильный божественной благодати, то истоки этого взлета — в бессознательной жизни природы, в том космическом чувстве любви, которое скрыто пребывает в ней.

В образе Меджнуна Низами показал противоречие между естественным влечением сердца и искусственно создаваемыми условностями феодального общества, враждебными природе человека, самым ярким и прекрасным ее порывам. Такая коллизия позднее стала одной из ключевых тем величайших созданий европейской литературы.

Резонную параллель между поэмой Низами и «Ромео и Джульетта» проводит И. Ю. Крачковский [1]. Герои Шекспира гибнут, став жертвами предрассудков. В «Лейли и Меджнуне» общественное мнение осуждает любовь вообще. Господствующие религиозно-нравственные представления несовместимы с ней.

Образ Лейли — самое лучшее, что создало волшебное перо Низами. Наряду с описанием традиционных черт внешности и характера, обычных для восточных красавиц, этот образ наделен и индивидуальными чертами, что придает ему исключительное обаяние.

Лейли — дочь знатного человека. Жизнь должна была бы быть для нее легкой и спокойной. Она выросла в довольстве и неге, ее выдали бы замуж за сына какого-нибудь шейха, она родила бы ему детей и закончила бы земную жизнь, не испытав больших треволнений. Но случилось иначе. Лейли встретилась с Кайсом, привязалась к нему, и постепенно привязанность превратилась в пылкую любовь. Но она слишком рано, на собственном горьком опыте убеждается, что ей нельзя любить. Любовь женщины — это тяжкий грех, позорное преступление. Женщина — это товар, который можно продавать и покупать. Именно на таком языке идет разговор между обоими родителями во время сватовства Меджнуна и Лейли (глава «Отец Меджнуна отправляется сватать Лейли»). Этот разговор напоминает диалог двух купцов.

Таким образом, и у Лейли чувствам противостоят обычаи. Убедившись в том, что ей не полагается иметь своих желаний, она не ропщет против этой несправедливости, не уходит, как Меджнун, в пустыню. Ее рабское положение кажется ей, если и не естественным, то, во всяком случае, неизбежным,— так уж заведено исстари: если ты женщина, то твой долг — беспрекословное подчинение сначала воле отца, потом — мужа. В душе Лейли происходит тяжелая внутренняя борьба.

Любовь толкает ее на опасный шаг: она назначает тайное свидание Меджнуну. Но в решающий момент понятие о чести, «женском стыде» удерживает ее. Меджнун приходит на свидание, но она убегает и скрывается в шатре. Когда ей приказывают не встречаться с ним, она безропотно подчиняется, когда ее выдают замуж за незнакомого человека, она тоже повинуется. Но торжество внушенных понятий о долге лишь внешнее, она не может перестать любить Меджнуна. Выйдя замуж, исполнив волю

[1] *Крачковский И. Ю.* Ранняя история повести о Меджнуне и Лейли в арабской литературе.— Избранные сочинения. Т. II. М.; Л. 1956. С. 588.

отца, она все время вспоминает о былом счастье, мечтает о несбыточном, предается сладостному любовному томлению...

Лейли считает, что она страдает больше, чем Меджнун. Меджнун свободный мужчина. Никто не мог принудить его остаться среди людей. А положение Лейли было иным. Если бы она, подобно Меджнуну, захотела убежать в пустыню, ей не дали бы этого сделать. Ее отец, который по-своему очень сильно любил свое единственное дитя, не задумываясь, убил бы ее. Лейли приходилось таить свою любовь от людей, притворяться. От этого ее страдания были еще сильнее. Разницу положения влюбленных поэт раскрывает с огромной художественной силой. В таких условиях поведение Лейли, верной своей любви, является подлинным героизмом.

В «Лейли и Меджнуне» Низами с замечательным мастерством показал глубочайшие движения человеческой души, бурю страстей и высоких чувств, борьбу и столкновение светлых, естественных человеческих стремлений с окостенелыми и неумолимыми законами мрачной средневековой действительности.

Четвертая поэма Низами «Семь красавиц» существенно отличается от предыдущих — прежде всего особенностями своего построения. В произведении два основных пласта. Первый составляет повествование об истории шаха Бахрама Гура, одного из правителей домусульманского Ирана, сына Ездигерда-Грешника.

Бахрам, по рассказу Низами, вывез семь красавиц, взятых им в жены, из семи поясов земли, на которые, согласно распространенным на средневековом Востоке представлениям, разделялся весь обитаемый мир. Второй пласт произведения образуют семь вставных новелл, рассказываемых поочередно женами Бахрама в специально возведенных для него семи дворцах. Цвет каждого дворца соответствовал цвету одной из семи известных в то время планет, покровительствующих семи поясам земли:

Цвет свой семь пределов мира шаху принесли.
Как хозяйки семь царевен в семь дворцов вошли.
Каждая царевна замок выбрала себе
По ее происхожденью, цвету и судьбе.
Внутреннее все убранство в каждом из дворцов
Свойственных ему оттенков было и цветов.
В те дворцы по дням недели шах Бахрам входил
И с одною из красавиц время проводил...
...И в каком дворце за чашей ни садился он,
В цвет дворца и цвет планеты был он облачен.

(Перевод *В. Державина*)

В истории правления Бахрама поэт продолжает развивать свои просветительские взгляды на идеального правителя, использующего власть в интересах народа. Бахрам лишь отчасти удовлетворяет выдвигаемым Низами требованиям. В Бахраме немало ценных задатков и черт характера, необходимых для мудрого и справедливого государя. Придя к власти, он обещает править справедливо. Его страна в скором времени

превращается в обетованную землю: все сыты, все благоденствуют. Но наступает засуха, Бахрам приказывает открыть двери государственных кладовых и снабжать население всем необходимым. За четыре года от голода умер всего один человек. Рассказывая об этом, гениальный гуманист замечает: случись такое не в те далекие времена, а в наше время, то, наверное, остался бы в живых один человек.

Когда кончается засуха, в стране вновь наступает благоденствие, но Бахрам, привыкший к удачам, теряет бдительность. Пользуясь беспечностью шаха и неспособностью его военачальников, китайский хакан нападает на Иран. Опасность побуждает Бахрама к решительным действиям. Благодаря удачному тактическому маневру он одерживает победу над противником.

Подобно Хосрову, облик Бахрама двойственен, хотя и в меньшей степени Бахраму, по замыслу поэта, не хватает твердой воли в проведении разумной политики, в неусыпном надзоре за важнейшими государственными делами. Временами в облике этого героя проступают черты слабого человека, склонного к лени, чувственным удовольствиям и развлечениям, порой забывающего о своей высокой миссии. Подобное забвение государственного долга чревато бедой. Например, водворив порядок в стране, Бахрам снова погружается в удовольствия, наслаждаясь радостями жизни в своих семи дворцах. Но и на этот раз его эпикуреизм оплачивается дорогой ценой: хакан опять собирает войско против Ирана. Теперь шах, наконец, постигает простую истину: враг нападает лишь тогда, когда в стране беспорядок, когда в государстве произвол, что самая лучшая защита от врагов — это благоденствие подданных. Низами здесь вводит в повествование очень важный для просветительского замысла поэмы образ простого пастуха, который открывает глаза Бахраму своей мудрой притчей. Этим эпизодом поэт хотел показать, что правителям полезно прислушиваться к голосу народа.

Пастух рассказывает Бахраму о том, что он покарал пса за то, что тот полюбил волчицу и «продавал» стадо волкам, которые безнаказанно растаскивали овец. Маленькая притча повлекла за собой серьезные последствия. Бахрам решает проверить политику своего визиря, которому он доверил правление страной. Он посещает темницы, тюрьмы, выслушивает заключенных.

Бедствия узников, описанные Низами, напоминают распространенный в те времена жанр тюремной элегии. Тюремные элегии («зинданият», «хабсият») как жанровые формы лирики возникли еще в X веке. Первыми их создателями были придворные поэты, многие из которых становились жертвой той политики, которой они служили. Блестящие образцы тюремной элегии создал один из самых талантливых придворных поэтов Азербайджана — Хагани (1120—1199).

Низами никогда не сидел в темнице. Но, будучи гениальным художником, он создал в поэме «Семь красавиц» потрясающий цикл «хабсият».

В нем он приводит жалобы семи заключенных, которые обличают тиранию и насилие.

Выслушав обиженных, Бахрам восстанавливает правосудие, казнит везира, и в стране снова наступает порядок и спокойствие.

Кончина Бахрама выглядит таинственно: во время охоты на диких ослов (онагров) он исчезает в пещере. Низами утверждает, что в этом мире никакой дурной поступок не остается безнаказанным, но и хорошее нельзя забывать. Смерть Бахрама неожиданна: он был так увлечен любимым занятием, что без каких-либо моральных или физических страданий покидает этот мир.

Немаловажно значение и семи вставных новелл. Верный здесь своему учению о возвышенной, нетленной любви и о разрушительной сущности плотских, эгоистических страстей, Низами искусно иллюстрирует свои мысли повестями, которые шах Бахрам выслушивает от своих жен. Особенно показателен рассказ индийской царевны о городе, названном «Обителью скорби», все население которого носит черную одежду. Герой повести на собственном опыте познает печальную истину, о которой знают, но упорно скрывают ее жители злополучного города. Этот герой получает редчайшую возможность вкусить дары любви с прелестнейшей из красавиц, но он оказывается недостойным этих даров. Бессильный «обуздать» собственную плоть, он «охлаждает» свою чувственность в объятиях прекрасной рабыни Тюрктаз, чью деликатную и нежную натуру ему не постичь. Растратив сокровища, которые ему были отпущены природой, герой новеллы возвращается в город «Обитель скорби» и облачается в черные одежды. Символика этого цвета блестяще раскрывается всем содержанием повести, рассказанной в черном дворце. Черный цвет ассоциируется здесь с угасанием огня в человеке, с тленностью его духа, с обрядом погребения.

Обыгрывание цвета дворца повторяется и во всех других новеллах, каждая из которых приурочена к определенному дню недели и к планете (или светилу), которая, по представлению вавилонских астрологов, покровительствует этому дню. Порядок дней, планет и светил с приписываемыми им цветами таков: суббота — Кейван (Сатурн), черный цвет; воскресенье — Солнце, желтый; понедельник — Луна, зеленый; вторник — Марриx (Марс), красный; среда — Утарид (Меркурий), синий; четверг — Муштари (Юпитер), сандаловый; пятница — Зухра (Венера), белый.

Героиню второй новеллы поэт сначала именует «золотым изваянием», сравнивает цвет ее тела с золотом. Затем — по ходу сюжета — появляются «золотые драгоценности», которыми шах украшает свою возлюбленную. А в конце новеллы ее рассказчица — обитательница желтого дворца — воздает хвалу этому цвету... «Семь красавиц» — одна из тех поэм Низами, в которых заметную роль играет фантастический элемент, доминирующий во вставных новеллах. Недаром в них такое обилие мифических и сказочных персонажей — духов и чудовищ (гули, ифриты,

дивы, ремненоги и т. д.). Несмотря на сказочную поэтику новелл, Низами и в них выступает как непревзойденный воспитатель чувств, как мастер, виртуозно владеющий всеми видами художественного воздействия на читателя.

«Искендер-наме» — последнее, самое большое творение Низами, насчитывающее около 20 000 строк, и по грандиозности своего замысла, по размаху эпического повествования оно вполне заслуживает названия эпопеи.

Современного читателя не может не удивить тот факт, что главный герой, воспетый Низами,— знаменитый полководец Александр Македонский, покоривший своим мечом многие страны Востока, в частности разгромивший могущественную империю Дария III. Ни с точки зрения ислама, ни как типичный деятель западной цивилизации, Александр едва ли заслужил такую честь. Однако поэт не претендовал на историческую достоверность. С течением времени народы, некогда входившие в состав громадного государственного конгломерата, созданного македонским царем, внесли весьма существенные коррективы в его образ. Возникли многочисленные предания, легенды, хроники, даже своеобразный роман (так называемый «Псевдо-Калисфен»), породивший целый ряд «александрий», в котором Александру приписывались особые симпатии к Востоку, благотворность его политики для последующего развития этих стран и для утверждения в них ислама. Дело доходило до того, что в «Шах-наме» Фирдоуси, из которой в значительной мере исходил Низами, Искендер (Александр) оказывается в кровном родстве с иранским царем из династии Ахеменидов Дарием II. Наконец под именем Зу-ль-Карнайна (двурогого) Александр удостаивается упоминания в одной из сур Корана, причем мусульманская теология причисляет его к сонму пророков.

Таким образом, вопрос о возможности сделать Александра главным героем эпопеи перед Низами не стоял. Поэт прекрасно знал многие документы, произведения и предания, связанные с деятельностью македонского полководца. Он знал и подлинные исторические факты, свидетельства античных историков, которые противоречили позднейшим версиям о происхождении и походах Александра. Низами, например, было доподлинно известно, что его герой умер в 321 году до н. э., т. е. задолго до возникновения ислама. Между тем в его произведении Искендер — деятель мусульманского мира: он совершает паломничество в Мекку, пропагандирует среди племени кыпчаков ношение чадры, закрывающей лицо женщины, ведет благочестивые разговоры о вере и т. д.

Как бы предвидя возможные упреки в нарушении исторической перспективы, Низами во вступлении к эпопее говорит: «Не упрекайте меня в передвижении событий, ибо художнику поневоле приходится делать это». Одно из самых примечательных свойств художественного метода Низами — принципиальный анахронизм. Во имя чего поэт столь демонстративно отказывается от исторической реальности?

Дело в том, что весь смысловой фундамент произведения определяется проповедью излюбленных Низами и знакомых нам идеалов человеколюбия и гармонического жизнеустройства. Эти идеалы диктовали свою художественную логику событий, свою компоновку исторического материала. Во имя этих идеалов поэт восстает против всемирной судьбы, «злого небосвода», который, по его мнению, творит историю во многом бессмысленно, стихийно, несправедливо. Как бы «замещая» его роль, поэт заявляет о том, что сущность истории не может не иметь положительного смысла и положительного итога. По этой логике мудрость, воинская доблесть, государственный талант, справедливость и благородство должны существовать в одно время, соединяться в одной стране или даже в одном лице. Таков Искендер Низами — непобедимый воитель и мудрец, современниками которого являются не только Аристотель и Платон (что соответствует истории), но и Сократ, Архимед, Порфирий Тирский, Фалес Милетский, Аполлоний Тианский, которые, как известно, жили в иное время.

Исторический Александр совершил поход в Египет после решительных побед над персидскими войсками, а не раньше, как у Низами. Поэт изображает такие походы, которых не было, например, двукратное посещение Закавказья и г. Барды, войну с «русами» и т. п.

Однако свобода обращения с материалом отнюдь не беспредельна: в повествовании остаются многие исторические факты, их подробности, исторические деятели с их действительными поступками, причем отбор этого материала также подчинен изображению совершенно иной действительности, раскрытию сущности бытия вообще и его человеческих устоев. Как известно, у всех народов на заре их цивилизации такого рода миссию выполняла мифология, служившая универсальным объяснением жизни и универсальным же руководством к ней. Художественное мышление Низами в его эпопее, по сути, завершается в восточном мифе об Искендере, первом повелителе и устроителе мира, сосредоточившим в себе ценнейшие людские таланты, чья деятельность была предначертана свыше для поучения народов, для назидания потомкам.

Искендер, объединитель народов и государств, зачастую достигает этой цели путем кровопролитных войн. Но, как правило, не страсть к господству и не жажда к обогащению движут полководцем. Войска его либо водворяют справедливость в межгосударственных отношениях, либо устанавливают порядок внутри страны.

Порой Искендер по просьбе самого народа приходит стране на помощь, избавляя ее от вторжения агрессивных и хищных соседей. Такой была первая война с зинджами, на которых жаловались египтяне. Искендер взял их под свою защиту и разбил зинджей. Победа над могущественным Дарием привела к тому, что Иран избавился от царя-деспота, обуянного гордыней, безжалостно обращавшегося с подданными. По просьбе народа, обитавшего в северных пределах и страдавшего от опустошительных

набегов свирепых яджуджей, Искендер построил вал, положивший конец разбою. Когда же войска Искендера вступали в страну миролюбивую, процветавшую под властью справедливого и доброго правителя, то они не причиняли ей ни малейшего ущерба. Таким было посещение племени кыпчаков или владений царицы Барды (Азербайджан) Нушабе, где были установлены порядки, подобные тем, которые ввела в своей стране Ширин, после того как престол перешел к ней. Случалось, что целые государства во главе с их правителями добровольно подчинялись Искендеру (например, китайский хакан признал себя вассалом), становились его союзниками, помогая ему в его последующих походах. Но и сам Искендер не был равнодушен к судьбе достойных союзников. Узнав, например, о захвате Барды, он спешит вызволить царицу из плена и объявляет войну опасному противнику.

Стремление первенствовать среди царей и полководцев, жажда приумножения славы пленяют Искендера, но не они единственный стимул его неистощимой энергии. Искендер-воин скитается по белу свету в поисках ключей к тайнам мироздания, он стремится познать смысл человеческого счастья. В конце концов он попадает в некую обетованную страну, в своего рода земной эдем. В этой Стране солнца царило всеобщее счастье, не было ни господ, ни слуг, ни угнетенных, ни угнетателей, в ней не было классов и вражды, люди умирали там не от болезней, а только от старости. Вот что узнает Искендер, попавший в «город прекрасного края», от одного из его жителей:

Мы закрыли на ключ криводушия дверь,
Нашей правдою мир одолели, поверь.

Лжи не скажем вовек. Даже в сумраке дрёмы,
Неправдивые сны нам, о царь, незнакомы.

Мы не просим того, что нужнее для нас
Этих просьб не доходит к всевышнему глас.

Шлет господь нам все то, что всем нам на потребу,
А вражда, государь, нежелательна небу...

Помогая друзьям, всеблагому в угоду,
Мы свою, не скорбя, переносим невзгоду.

Если кто-то из нас в недостатке большом
Или в малом и если мы знаем о том,

Всем поделимся с ним. Мы считаем законом,
Чтоб никто и ни в чем не знаком был с уроном.

Мы имуществом нашим друг другу равны.
Равномерно богатства всем нам вручены.

В этой жизни мы все одинаково значим,
И у нас не смеются над чьим-либо плачем.

(Перевод *К. Липскерова*)

Потрясенный увиденным и услышанным от старейшин Страны солнца и всеобщего счастья, Искендер постигает идеал гармонически устроенного общества. И теперь его военные успехи кажутся ему ненужной жестокостью. Он думает о том, чтобы ввести те же порядки в своем отечестве:

И промолвил себе сей венец мирозданья:
«Эти тайны приму как слова назиданья!

Полно рыскать в миру. Мудрецам не с руки
Лишь ловитвой гореть, всюду ставить силки.

Не довольно ль добыч? От соблазнов свободу
Получил я, внимая благому народу.

В мире благо живет. Ты о благе радей.
К миру благо идет лишь от этих людей.

Оварился весь мир перед нами — рабами,
Стали мира они золотыми столпами.

Если правы они, ложь свою ты пойми!
Если люди они, нам ли зваться людьми?

Для того лишь прошел я по целому свету,
Чтоб войти напоследок в долину вот эту!

О, звериный мой нрав! Был я в племени весь,
Научусь ли тому, что увидел я здесь?!

(Перевод *К. Липскерова*)

Подробнее чем где-либо изложив конечную цель своего учения, создав образ гармонического общества «долины изобилия и правды, добра и красоты, мира и любви», поэт завещал потомкам воплотить в жизнь этот социальный идеал.

По замыслу Низами, познанием «края справедливого и солнечного» миссия Искендера на земле исчерпывается. Он вскоре умирает как обыкновенный смертный. Поднимая личность своего героя на недосягаемую высоту, Низами вместе с тем далек от того, чтобы делать его сверхчеловеком. Искендер в эпопее — сын Земли, которому не чужды обыкновенные человеческие слабости и заблуждения, который способен колебаться, предаваться раскаянию. Но, показывает поэт, одно из замечательных качеств Искендера — это его скромное сознание ограниченности своих возможностей, понимание того, что не всегда следует полагаться на свой разум и предприимчивость, что ему есть чему поучиться у других, в том числе и у простого народа. Умение воспользоваться лучшим, что есть в его времени, собрать это лучшее вокруг себя возвышает Искендера в глазах всех.

Глубокое осознание того, в чем именно заключаются достоинства великого человека, закономерно привело Низами к развенчанию древнеиранской теории о царях, известной из персидской поэзии X—XI веков, например, из той же «Шах-наме». Согласно этой теории, властителями народов могли быть лишь те, кто принадлежал к царскому роду («нижад»), обладал «царственной сущностью» («гоухар»), был осенен свыше благодатью — божественным ореолом (так называемый «фарр») и отличался доблестью («хунар»). Последнее понятие объединяло в себе мужество, ум, одаренность и многие другие достоинства. Но герой Низами затмевает всех когда-либо существовавших царей исключительно благодаря собственным заслугам. Вступая в спор с предшественниками, писавшими биографию полководца, Низами показывает, что он был настоящим сыном македонского царя Филиппа (Филикуса) и, следовательно, никаких династических прав на иранский трон не имел. Своим счастьем и своей славой он обязан не «фарру», а таким качествам, как справедливость, великодушие, храбрость, щедрость, любовь к подданным, наконец тому, что он «заключал свои телесные страсти в темницу» и давал «свободу другим и сам находил в этом свободу».

«Искендер-наме» — триумф творчества Низами, произведение энциклопедической широты по насыщенности материалом, и, конечно, по грандиозной емкости заключенных в нем идей. В эпопее мы обнаруживаем тот же пафос, те же мысли, которыми были проникнуты и другие произведения поэта. Низами не боялся вновь и вновь возвращаться к ним. Напротив, он считал своим долгом всемерно способствовать их распространению, как можно прочней закрепить их в сознании, в памяти современников и потомков.

Многократное повторение мыслей поэта каждый раз передавалось неистощимо разнообразными средствами художественного воплощения, что, естественно, активизировало читательское восприятие, поддерживало неослабевающий интерес к произведению. Достаточно прочесть хотя бы поэму «Хосров и Ширин», чтобы заметить, с каким искусством автор то и дело меняет «регистры» своего повествования. Бросается в глаза разнообразие глав. Среди них мы находим и главы, в которых рассказ поэта замедляется для того, чтобы читатель мог полюбоваться какой-то красивой сценкой, живописной местностью, привлекательным обликом героев. Встречаются главы, почти сплошь состоящие из монолога и диалога, главы философско-назидательного и развлекательного характера, главы-письма, главы-мемуары, вставные новеллы и т. д. и т. п. А внутри многочисленных глав — та же многоцветная палитра красок. Мы наблюдаем тут постоянное взаимодействие проникновенного лиризма и деловитой обстоятельности повествования, наглядности изображения и художественного абстрагирования, метафорической усложненности и нагой простоты, афористической краткости и неторопливой пространности речи. Сходную картину мы обнаружим в других поэмах Низами, особенно в «Искендер-

наме». Такое искусство полифонично по самой своей природе, ибо оно зиждется на проведении в жизнь устойчивых идей, развитие которых проходит через бесчисленные вариации разных средств воплощения.

Не случайно, что со временем поэмы Низами стали восприниматься как нечто целое, ибо действительно эти произведения органично увязывались в своеобразный цикл и имели ярко выраженное идейно-художественное единство. Уже после смерти поэта этот цикл получил наименование «Хамсэ» («Пятерица»).

«Хамсэ» Низами на многие века вперед предопределила характер последующего развития литератур многих народов Ближнего и Среднего Востока. С начала XIII и вплоть до конца XVIII века она служила эталоном высочайшего поэтического мастерства. Все выдающиеся поэты Востока, в первую очередь персо- и тюркоязычные, считали своим долгом вступить в творческое состязание с «Пятерицей» Низами, т. е., используя сюжетно-тематическую основу этих произведений, их специфические композиционно-жанровые особенности (вплоть до формы стиха), создавать так называемые «назире» («подобия», «ответы»). Достоинство таких произведений определялось самостоятельной, оригинально-творческой трактовкой того материала и тех форм, которые заключала в себе «Пятерица» Низами. Конечно, лишь немногим мастерам удавалось создать полный цикл поэм. Сотни поэтов ограничивались тем, что писали одну или две поэмы на темы поэм «Хамсэ». По неполным данным, только по поэме «Лейли и Меджнун» было написано более ста ответов (на языке фарси и тюрки). «Сокровищница тайн» насчитывает лишь на одном персидском языке свыше сорока «назире». Прославленными продолжателями Низами, знаменитыми авторами «Пятериц» явились индо-персидский поэт Амир Хосров Дехлеви (1253—1325), Хаджу Кермани (1281—ок. 1353), Имади д-Дин Кермани (ум. в 1371 или 1372 г.), творец «Семирицы», персо-таджикский поэт Абдуррахман Джами (1414—1492), наконец, великий узбекский поэт Алишер Навои (1444—1501).

* * *

Учение Низами, его мечты о равенстве, братстве, свободе, добре и любви в обществе издавна вдохновляли мыслящих представителей всех поколений на переустройство мира. Прошло свыше восьми столетий со дня рождения Низами. Но его немеркнущий гений с каждым днем раскрывается все новыми гранями. Низами будет жить вечно и вечно будет участником самых благородных свершений человечества. Он сам говорил, обращаясь к потомкам:

О юный мой друг! Вспомяни обо мне,
У ветхой могилы постой в тишине.

Ты видишь: надгробье почти развалилось,
Трава между плит безвозбранно пробилась,

Развеян мой прах. И никто из друзей
Давно не приходит к могиле моей.

Рукою коснувшись могилы угрюмой,
О чистой душе моей, отрок, подумай.

Слезу урони на обитель мою,
А я тебе — свет несказанный пролью.

Молитвы твои — да возносятся выше!
Я молвлю «Аминь!» — их на небе услышат.

Привечу, когда поприветствуешь ты,
Меня посетишь — я спущусь с высоты.

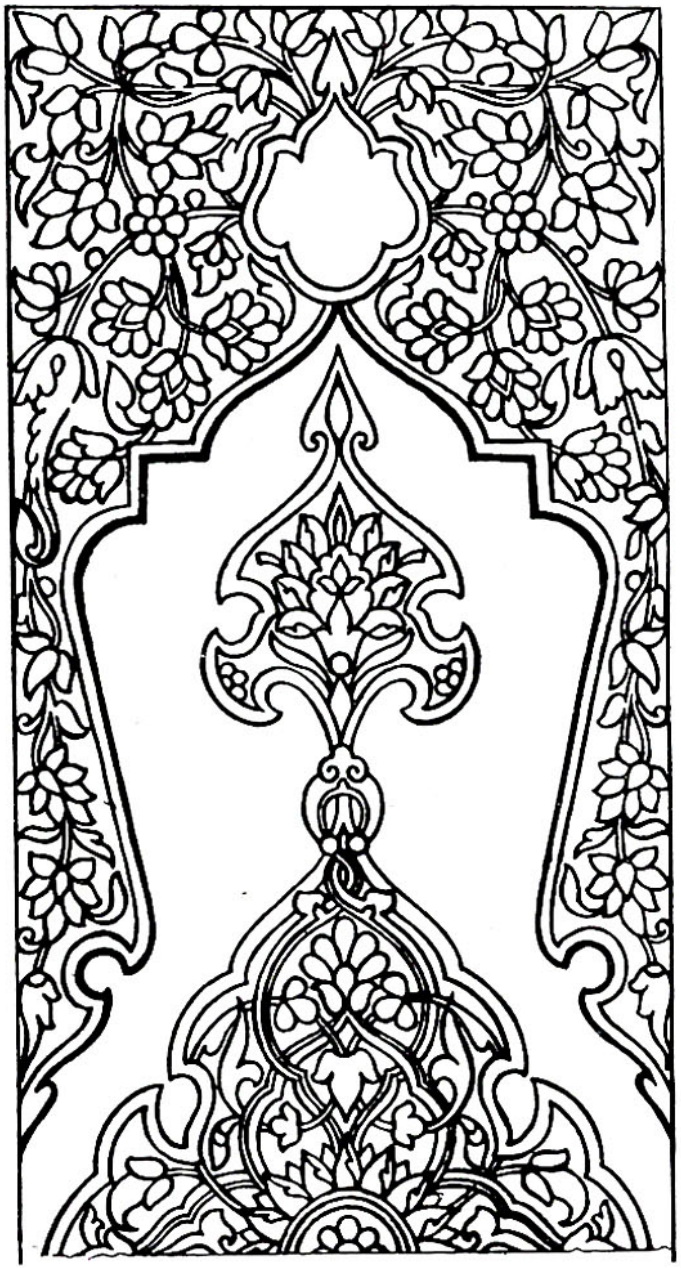
Считай, что я жив, как ты сам. И тогда я
Душою к тебе устремлюсь, окрыляя.

Не думай, что вместе мы здесь не сидим:
Я вижу тебя, хоть тобою не зрим.

Так помни ж об этом! Я вечно с тобою,
И сможешь свершить ты деянье благое.

(Перевод *Н. Хатунцева*)

ЛИРИКА



1

Я царем царей в державе мудрых мыслей нынче стал.
Повелителем пространства, шахом времени я стал.

Громок моего дыханья полнозвучный колокольчик.
Свой калам, свой стяг победный я над миром водружал.

Лоб моих стремлений выше, чем корона Кай-Кубада.
Торсу моего величья и кафтан Гурхана мал.

Солнцем двигаясь по кругу, сея свет с небес четвертых,
Как Масих, своим дыханьем жизнь я мертвым даровал.

В царстве благозвучных песен не делюсь ни с кем я властью,
Мой удел — одни победы, поражений я не знал.

Мыслей дерзкою атакой сильных мира покоряю,
Знаниями воздвигаю обороны прочный вал.

Так, как я рождаю слово, доброта рождает доблесть,
Так, как юности — румянец, бог талант мне даровал.

Звук моих газелей слаще, чем напевы органона.
Мысли освежают разум, словно взмахи опахал.

Звезды признанные светят, потому что я зажег их.
Я — вода небесных сводов, а они — набор пиал.

Слово девственным оставлю, не ударю в бубен речи,
Чтоб объедками со свадьбы хор проныр не пировал.

Так возвысь меня, чтоб нес я на себе твои приметы...
Глупость! Ты ж осуществляться бесприметно пожелал.

Сердца моего движенье длится лишь тебе в служенье.
Без него порвался б жизни обветшалый матерьял.

Пар случайных размышлений многим я дарил наукам,
А осадок драгоценный в песнопеньях применял.

Поэтических находок сам чеканю я монету,
Все иное побывало много раз в мешках менял.

За экспромтом и шарадой сотни сотен душ увлек я,
А при помощи софизмов тысячи сердец украл!

Легкий почерк мой увидев, Ибн-Мукла кусал бы пальцы,
Ибн-Хани со мною в споре был сражен бы наповал.

Я — луна в полночном небе, но не знающая пятен.
Я — жемчужина, изъяном бог меня не покарал.

Захворав, бальзам не пей ты, ведь мои целебней бейты,
Слог мой, точно финик сладкий, выше всяческих похвал.

У души моей на створках вырезано завещанье:
«Не звучать речам на свете после тех, что я сказал».

Если стать замыслю вровень я с Давудом-псалмопевцем,
Голоса мобедов стихнут, точно ветер между скал.

Если прекращу дыханье — у людей сердца увянут,
Так без воздуха и солнца базилик бы вмиг увял.

Если б во дворце Вселенной мои песни не звучали,
Кто познал бы суть блаженства, кто б вино у магов брал?

Легкой плавностью напева мне гордиться не зазорно,
Так гордится, источая благовоние, сандал.

Океан — мое дыханье, в нем приливы и отливы.
Вдох — на дно ушел ныряльщик, выдох — перл со дна
достал.

Воздух каплями дождинок грудь мою спешит наполнить,
Чтоб из раковин без счета жемчуга я вынимал.

Сам, как в раковине чистой, в браке истинном зачатый.
Двух ублюдков поношенья я выслушивать устал.

Трижды мерзостен завистник, стану йеменской звездою,
Свет которой блуд и скверну поражает, как кинжал.

Скакуны моих творений что-то резвость потеряли,
Видно, я нуждой и горем их копыта подковал.

Хвастовство мое звенело, точно дутые браслеты,
Как я каюсь, как стыжусь я неумеренных похвал.

Так сниму же погремушки, отопру сундук сокровищ,
Не уймусь, покуда людям не отдам последний лал.

2

Не добывший и агата, что рубинами я грежу?
Что мне перлы уст, коль перлов кошельком я не поймал?

Пир ночной вершу вдвоем я со своим печальным сердцем,
Не в вине — в слезах кровавых омочив края пиал.

А пинки, что получаю, добывая хлеб насущный,
Горше палочных ударов, что базарный вор узнал.

Обнищав, душой изверясь,— всё, как прежде, жажду
славы,
Царствованья я взыскую, хоть все блага потерял.

Не стремиться бы мне в небо от земли, из черной бездны:
Дерево, чьи корни слабы, не для мачты матерьял.

Я не фокусник лукавый, не фальшивый богомолец:
Луком глаз своих не мазал, щек шафраном не пятнал.

Вздор, как будто совершенен я в искусстве песнопенья,
Словно ботало верблюжье, я бессмысленно болтал.

Шелк стихов, узоры мыслей — паутина, прах летучий,
Где, я мнил, живое чувство — мертвый черепа оскал.

Я — бездомный пес, и мчатся вслед за мной
собаколовы,
Хвать! — и кинут в пропасть ада, чтоб на стражей
не брехал.

На дворе монетном слова — не медяк ли я чеканил?
Разве от слона защита жалкий глиняный дувал?

Чем гордиться стихотворцу, коль пророк однажды молвил:
«Самый лучший стих, который больше лжи в себя впитал».

Для науки безразлично, на каком звучать наречье:
Суть красавицы не тронешь сменой пестрых покрывал.

Для стихов переложенье на другой язык — смертельно.
Горд удачей, а вглядишься: вытек смысл и дух пропал.

Я, как зеркало, порою миру противопоставлен.
Твердым ликом непрогляден и душою крепче скал.

Но, охваченный сомненьем, становлюсь слабей былинки,
Ветер гнет меня и треплет, капля рушит наповал.

Грош цена мне в этом мире, но в ином существованье
Я — дирхема полновесный, благороднейший металл.

Господи, молю, взыскую: укажи тропу такую,
Чтобы дел дурных и мыслей я засаду миновал.

Осени благословеньем мой источник вдохновенья,
Чтобы сладость песнопенья в уши мудрых я вливал.

Окажи мне, боже, помощь, чтоб не ждать ее от смертных,
Защити, чтоб я защиты у богатых не искал.

Ты тавром прижги чело мне, к рукавам пришей мне метки,
Чтоб, махнув рукой, у древних я ума не занимал.

Мнений суетных и злобных не пускай в мое ты сердце:
Несовместен с нежной ланью злобно воющий шакал.

Не взыщи, что мал и слаб я, прахом был и стану прахом,
Вот двуличье, стоязычье — пострашней змеиных жал.

Грешен, но молю прощенья, окажи святую милость,
Я стыжусь — ты это видишь, жизнь трудна — ты это знал.

Все мы — сущие мгновенно, все мы — меченные смертью,
Ты — необходимо сущий, будешь, есть и пребывал.

В теле собственном себя я ежечасно распинаю.
Дай смиренья, дай уменья не искать, что потерял.

Хоть однажды благосклонно приласкай мне взглядом сердце.
Чтоб в израненном, усталом свет отрадный засиял.

За нечаянный проступок Низами прости без гнева,
Произвол небес известен: шел туда, сюда попал.

До конца продли щедроты, смерть пошли ему благую.
Дал ему ты счастье жизни, отбери легко, как дал.

Слышишь, звякнул бубенцами в путь готовый караван,
Кочевать тебе отныне по дорогам горних стран.

Бубенцы — твои стенанья, боль — вожатый непреклонный.
Что ж, терпи и обживайся в круге слова «караван».

Ты пока — кольцо дверное, стонущее под руками.
Бубенцом стенать почетней, не страшись, иди в туман.

В бубенце печаль трепещет — оттого он и стенает,
А стенать кольцу дверному пустотою повод дан.

Мы легко простим бубенчик — стонет он от боли в сердце,
Но кольцо простим охотней: сердца нет — велик изъян.

На четыре буквы мира положи четыре пальца.
Где он, мир? И блага мира мельче маковых семян.

Мир сотрет тебя, но прежде ты сотри его писанья,
Соскреби весь текст паршивца, упредив его обман.

Сердце отвяжи от мира, не желай его сокровищ:
Перегруженную лодку легче топит океан.

Мишуру, отличья знаки, словно пыль, стряхни с одежды,
Глупо принимать игрушку за счастливый талисман.

Ты земным садам цветущим предпочти сады ислама:
Слаще розы — вздох Юсуфа, мак бледней безвинных ран.

Усмиряя в теле страсти, ты в душе умножишь веру:
Ладан, давший меньше пепла, более благоухан.

Знанье — вот наш повелитель, но соседствует с ним
алчность.
Жив Рустам, но ратью дивов полонен Мазендеран.

Влаги мудрости взыскуя, отыщи родник. При этом
Не считай чужих пороков, не гляди в чужой карман.

И земля не беспорочна; вздыбясь, род людской изводит,
И сближенье звезд пророчит смертоносный ураган.

Если мир заколебался, зри спасенье в колыбели:
Не корабль спасает в бурю, но спасительный Коран.

Отпори с одежд узоры, коль они — не вязь аятов,
Если верой не расшит он — кинь за двери дастархан.

Путь проделав в паланкине истин, молвленных аллахом.
Поспеши под сень речений, коих свод пророком дан.

Шариат твоим слугою пребывает бескорыстно.
Ты ему служи без платы, рвеньем сердца обуян.

Бди в круговращенье жизни, вежд бессонных не смыкая.
Спящего скорей уносит близкой гибели буран.

На корабль попав случайно, возвышайся и не падай!
Парус, падать не умея, светом солнца осиян.

В человеческом обличье двуедин ты по натуре,
Лишь с годами прояснится, ангел ты или шайтан.

Люди сущностью различны, так из разного металла
Выкованы жала копий или дужки для стремян.

Темнокожие индусы схожи лицами, однако
Этот вор, а этот стражник, тот смиренец, тот смутьян.

Персть земная — ветхий коврик под светильником
злосчастным.
Сколько ж бить его ногами? Не для этого он ткан.

Облачившись в голубое, ты возвысишься, как небо,
Но осенним прахом станешь, расцветясь, как аргаван.

Мускус цельный, непочатый, пребывает в грубой шкуре.
А рассеянный — закутан в шелк, парчу или сафьян.

В пыльных латаных одеждах по дорогам бродит святость.
У старухи скрыт под пеплом нехладеющий таган.

Над ханакой поднебесья голубой сверкает купол,
Злак, что пищей станет, зелен, жито желто, плод багрян.

Беготня козла не кормит — есть такая поговорка.
Горы золота скопивший — все равно не великан.

Золото дано, чтоб тратить, не пленяйся желтизною.
А не то признать придется: ярче золота шафран.

Толку в роскоши немного, золото дари и жертвуй.
Будешь сам сиять нетленно, словно золотой кумган.

Сделай красящей сурьмою пыль с дороги шариата,
Торопись, пока в глазницах смертный не залег туман.

Чтоб не стать рабом ничтожным, под уздцы ведущим
лошадь,
Шею сунь в ярмо халифа, сердце пусть клеймит султан.

Почему вкусна так шея у вола и полны ляжки?
Знай, клеймо, ярмо для мяса, как душистый майоран.

Не зрачки ты прячешь в веках — пару аспидных
жемчужин.
Аббасидам и сельджукам этот цвет для стягов дан.

Если белый цвет исчезнет, не жалей его нисколько,
Захлестнет все страны света цвета черного аркан.

Черный цвет победно мчится в белый день из черной ночи,
Черный негр смеется чаще белолицых христиан.

Что султан? Земной владыка, он у неба — в полном
рабстве,
Сделайся рабом аллаха, стань таким же, как султан.

Если же ты сам владыка, то лелей рабов послушных.
Чтобы и тебя лелеял тот, кто носит высший сан.

Справедливый и в могиле озарен сияньем солнца.
В Судный день прохладной тенью осенит его платан.

Непосильна справедливость, обуздай хотя б насилье.
Помни: тот, над кем ты властен,— человек, а не баран.

Судный день на дне колодца всех насильников застанет.
Как Харут с Марутом, будет каждый скорбью обуян.

Не лишай подвластных хлеба, не лишай воды поля их.
Чтобы ангелам на радость дань тебе платил шайтан.

От глотка Хусейн бы ожил, а кусок сгубил Адама,
Стань оплотом воздержанья, словно месяц рамазан.

Не гляди в родник соседа, будь он хоть источник Хызра,
И на хлеб чужой не зарься, пусть душист он и румян.

Станешь львом в делах и мыслях, укрепишь трудами
руки,
Прибегут к тебе в пустыне барс и трепетный джейран.

Вспоминай былую слабость, уязвимость бренной плоти
Ты, эмир, рабом побывший, врач, познавший жженье ран.

Накопившиеся слезы пусть легко на грудь прольются,
Так жемчужною росою украшается тюльпан.

Подними веков завесу, посмотри, людьми какими
Время весело играет в нескончаемый човган.

Ездигерд венцом гордился, а венец его — репейный,
Вывалян в пыли и соре царственный Ануширван.

Да и ты, как ни храбришься, все равно свой щит отбросишь:
Хрупок панцирь черепахи, рыбу тоже ждет казан.

Как отрадно в люльке мира чувствовать себя младенцем.
Только время — нянька злая, да и ты не мальчуган.

У седого лицемера щедрость и беспечность ложны:
С камфарой змея в соседстве, что ж искать иных охран?

Время, как лукавый лучник, птицу шариком сбивает.
Оттого дрожу я в страхе, глядя на его колчан.

Если б время было зрячим, я б собой его утешил,
Но красив слуга напрасно, коль слепым рожден тиран.

Вот уж неуча проказа пусть лишит ногтей и зренья.
Косточки размером с ноготь он не выскулит, болван.

Кознями в Гяндже казнимый, словно казнокрад
презренный,
В Йемене свой суд творю я, и послушен мне Хотан.

Здесь земля ко мне сурова, как безводная пустыня,
Я омыт своей слезою и своей слюною пьян.

Серебро — ничто, покуда не расстанется с рудою,
В мастерской рубин не ценен, даже если чист огран.

Низами, тебе за тридцать, исполняй, что сам наметил,
Уплати по счету прежде, чем закроется духан.

«Скоро...» — ты твердишь Каабе. Это «скоро» —
бесконечно.
Так блюди же тут, на месте, долг священный мусульман.

Я долго шел по лугу лет, и сгорбилась моя спина.
От долговечности теперь какая доля мне дана?

Не в силах людям подарить я ни прохлады, ни плодов:
Плоды сбил бедствий ураган, листва дождями сметена.

Мой стан — подобье кетменя, им лишь могилу и копать.
И разве не на камфару мне намекает седина?

Свой черный мускус кабарга под белым волосом хранит.
Из мускуса моих волос — вот чудо! — лезет белизна.

Жемчужин светлых два ряда во рту я некогда носил.
Но вероломны небеса: шкатулка опустошена.

Исчезли перлы, потускнев, а ведь блестели ярче звезд!
Звезда моя, едва взойдя, была нуждой омрачена.

Закат уж близок. Я хочу сам, как сова, лететь туда,
Где вместо праха и руин блаженной вечности страна.

Здесь я согбен, как черный сук засохшего карагача,
У добродетели в саду, как пальма, стать моя стройна.

Согнулся вдвое я затем, чтобы одежд не запятнать:
Кровоточит моя душа, вот и слеза обагрена.

Возлег на голову моих седых волос тяжелый снег,
Не проломил бы кровлю он, давя с рассвета дотемна.

Снег, увенчав чело горы, родит стремительный поток.
Горючих слез моих река причиной той же рождена.

Я, немощами изнурен, бесплотным сделался, как тень,
Меня дорогой протащи — не будет пыль возмущена.

Никто не помнит обо мне, поскольку я, лишенный сил,
Друзьям на помощь не приду: дорога для меня трудна.

И стан мой согнут, словно лук, он сам собой укрыться рад.
Но у стрелка, чье имя «смерть», наметан взгляд, рука верна.

Вершин покоя как достичь, как воспарить над бездной бед?
Поломаны мои крыла, мне высота теперь страшна.

Плоды моих былых надежд раскатаны по всей земле,
Камнями сбитые с ветвей и не созревшие сполна.

Освобожденье от плодов древесный распрямляет ствол,
Но пальма тела моего и без плодов наклонена.

Несчастиями истомлен, я опустил главу на грудь,
Не опустила б смерть меча, ведь шея так обнажена.

Слабеют веки у меня, я плачу от любви к друзьям,
Мне вскоре уходить тропой, чья не измерена длина.

В дому печали я сижу, забившись в темный уголок,
Порога мне не одолеть: ослаблен дух и плоть больна.

Я книгу жизни завершу тем, что познал в конце концов:
«Неведома мне суть земли, суть неба для меня темна».

И черный цвет, и белый цвет — неотличимы для меня,
Сияет солнце ли в лицо или светильник жжет луна.

Жизнь миновала. Что же в ней я совершил? Грехи, грехи...
Склоняюсь ниц перед людьми, душа раскаянья полна.

В ознобе нынче трепещу, одолевает руки дрожь,
Веселья чаша на пиру моим устам не суждена.

Стучится в двери смертный час, как гостя этого приму?
Чем стану потчевать того, кому лишь жизнь моя нужна?

А жизнь с житейского стола немного сладостей взяла,
Хоть и халву держу во рту, горчит отравою слюна.

Прощается со мною жизнь, в своих объятьях жмет и гнет,
Совсем согнула, неужель в меня так сильно влюблена?

Я опасаюсь каждый миг: от хватки яростной ее
Не лопнули бы ремешки, чем к кости кость прикреплена.

При том, что пальцем на ходу считаю, где упал, где встал,
Своим годам я счет веду — вот чем душа изумлена.

Со мною на лугах земли в разладе воздух и вода,
Исы дыханье мне не впрок, вода живая мне вредна.

Как туча зимняя — дожди, я сожаленья слезы лью:
Перед глазами пронеслась моя далекая весна.

Монеты юности давно я на дорогах растерял,
А нынче под ноги смотрю, да не попалась ни одна.

К стене теперь я льну, как тень, чтоб удержаться на ногах.
Ты послужи опорой мне, не отвергай меня, стена!

Со смехом время унесло дирхемы юности моей,
Взамен игрушку кинув мне, а той игрушке — грош цена.

Из царства радости порой к нам вести добрые летят,
Но глуше ваты седина, заткнула уши мне она.

В стенаньях, тягостным трудом насущный добывая хлеб,
Я — точно жалкий муравей, что еле тащит ползерна.

Неблагородная судьба, чтоб обесценить суть мою,
Расколотила камнем бед мой перл, подняв его со дна.

Мой тайный дар, заветный дар вовсю завистники хулят,
Как будто бы порока он изнаночная сторона.

Неся на сердце знаний свет, я станом скрюченным своим
Напоминаю ореол, в котором нам луна видна.

Нить мыслей и забот моих вся в петлях, в путаных узлах.
Распутаю ль хотя бы часть до погруженья в сумрак сна?

Склонясь над садом бытия, неумолимый небосвод
Сечет мне корни топором, ведь крона уж не зелена.

В чем содержанье, не пойму, не смыслю в форме ничего.
Нет содержания в душе, и взору форма не ясна.

Я на земле так гнусно жил, что, если окажусь в аду,
Меня там станут избегать и грешники, и сатана.

Сад бунта вырастил меня, но время сушит плоть мою,
Чтоб в адском пламени горел я лучше ветки и бревна.

Всевышний кончиком пера украсил лист моей судьбы.
Но говорят лишь о грехах начертанные письмена.

Старался смыть потоком слез я страшный текст, а толку что?
Упрям всевышний, повесть та им вновь и вновь повторена.

В упорстве этом он всеблаг, не дав полнее проявить,
Сколь мерзок по натуре я и совесть как моя черна.

И если кто меня убьет за то, что растранжирил жизнь,
Суд разума произнесет: заслуга это, не вина.

Но если дам костру души я распылаться в полный жар,
Вскипят, взбурлятся небеса, их голубая глубина.

Зри: сидит султан Каабы, семь стран света — Его трон,
Он одет зеленой тканью, черной тканью осенен.

Как Хосров, скрестивший ноги, формой — четвероугольн,
Сам Он — центр круговращенья всех народов и племен.

Стройностью — араб, и тюрок — красотой и благородством,
Белый цвет лица одной лишь родинкою оттенен.

Так, как родинок отметки,— в мире этом беды редки,
А Его кольцо дверное — злу ловушка и заслон.

Мускус праведного камня — всех сокровищ пробный камень,
Рядом с ним чистейший мускус до песчинки уценен.

Мускус, где б ни находился, в плотный шелк укутан плотно,
Мускус родинки зеленым шелком тоже затенен.

«Вот я, весь перед тобою!» — голоса взлетают к небу,
В битвах так гремят угрозы, в Судный день так грянет стон.

На столбах Его узоры древу райскому подобны,
Водосток сереброгорлый здесь Ковсаром орошен.

Всемогущий мудрый кормчий, мира кораблем он правит,
Потому и якорь прочен, парус бурей не снесен.

В чертеже полнообъемном на таблице милосердья
Центр — его михраб, а стены — замкнутость шести сторон.

Чистотой благоухая, очищает Он пространство.
Он — пупок Земли, проливший аромат на ткань времен.

Он — орел, слетевший с неба, севший на ковер из камня,
Птицам путь над ним заказан: смертный страх их гонит вон.

Господи, ужели очи Низами не насладятся
Созерцаньем храма прежде, чем последний примут сон?

«О, господь моей Каабы!» — он шептал бы неустанно,
Обращал бы славословья к справедливейшему он.

Кто ж такой — Санджар в сраженье, мудрый кисра
на престоле,
Кто ста киср и ста Санджаров доблестями наделен?

То Нусрат ад-Дин славнейший, повелитель в царстве мира,
Меч его грозе подобен, слово каждое — закон.

Он — Мансур, сын Музаффара, Феридун — Джемшида
семя,
Он подобен Абу-Бакру, что Мухаммедом рожден.

Мыслями высок он, в битвах всех отважных затмевает.
Так все звезды гасит солнце, лишь взойдет на небосклон.

Он — венец всех венценосцев, строгий пастырь всех
пасущих,
Даже стяги Искендера не затмят его знамен.

Под его могучей дланью подданные процветают,
Он подвластные державы защитил со всех сторон.

На друзей, подобно туче, льет дожди он золотые,
На врагов, как лев пустыни, мчится, дик и разъярен.

Скромное людское счастье от судьбы и звезд зависит,
Счастье звезд ему подвластно, и судьбою правит он.

Если гнев его охватит, задрожит земля от страха,
Кисра свой венец уронит, у хакана треснет трон.

Милости его улыбкой отпираются щедроты:
Шахам звон монет он дарит, женам — украшений звон.

Вын те, что уклонялись от ярма его упряжки,
Петле поклонились, либо крюк отвесил им поклон.

Нет другого человека, чтоб вместил в себе два мира,
Мудростью и благочестьем в равной мере одарен.

Ты, кто щедростью своею исчерпать способен море,
Чьим дождем великодушья прах пустыни орошен.

Правосудия десницу ты поддержкой укрепляешь,
А насилью причиняешь нескончаемый урон.

Ты врагов смиряешь гневом, без плетей, оков и тюрем.
Тот, кого ты ненавидишь, без кинжала умерщвлен.

В нард судьбы играя с небом, ты закрыл ему шесть клеток
И обрек на пораженье игрока шести сторон.

Хоть немало я жемчужин приносил к подножью трона,
Обносим бывал я чашей и наградой обойден.

Низами, даров, о щедрый, не отвергни, умоляю!
И твоим дарам бесценным пусть порадуется он.

Твои ночи да пребудут, дням подобно, лучезарны,
Каждый светлый день да будет наилучшим замещен.

Вечной юности сиянье излучая на престоле,
Будь один владыкой мира, что аллахом сотворен.

*

Уж время — шашками закрыть шесть клеток мировой
доски,
С небес две кости для игры смахнуть движением руки.

А черноту и белизну небес расписки долговой —
Обещанных ночей и дней — рви, не жалея ни строки.

И гидросферы весь объем пусть испарится без следа,
И геосферы весь объем пусть разлетится на куски.

Давно уж может небосвод направить прочь свою ладью,
Чтоб канул мир в небытие, как тонущий — на дно реки.

О, если бы чуть легче стал вращающийся небосвод!
У мельницы короче век, коль жернова ее легки.

Поскольку держит Землю бык, уравновесив на рогах,
Дома, что воздвигаешь ты, все не надежны, не крепки.

Как поразить быку Земли своим копытом Льва небес?
Бык дрогнет, встретив когти Льва и смертоносные клыки.

Однако вижу я кругом сердца собачьи и боюсь:
Вдруг бык теперь могуч и храбр, у льва же — лапы
коротки?

Пугает Землю небосвод — парящий купол голубой,
Так голубь башню облетит, боясь наткнуться на силки.

Чтоб в бурном океане дней корабль уверенней ты вел,
Пусть якорем твоя нога уйдет в смирения пески.

Стань Хызром праведным. Когда откочевать пора придет,
Все воды перейдешь ты вброд, сколь ни были бы глубоки.

Ты на аллаха уповай, и, если морем станет мир,
Клянусь, на пальцах ног твоих сухими будут волоски.

Старея, не добреет страсть, и нам не легче сладить с ней,
Кусается змея больней в свои последние деньки.

Прямой и честный сделай шаг — и станешь прям,
как кипарис,
Крупицей мускуса весы на благовонье обреки.

В искусстве слов не почитай искусный вычурный обман,
Пусть правда славится тобой любым соблазнам вопреки.

Таким явись перед людьми, что, если даже и солжешь,
Поверят правдолюбцы в ложь, от всех сомнений далеки.

В обитель веры и добра вселись, душою обновлен.
В ней против дивов не нужны тебе ограды и замки.

Ослепнет страшная змея, едва взглянув на изумруд,
Иблис, услышавший Коран, оглохнет с первой же строки.

Когда, как праведный Халил, ты путь смиренья изберешь,
К тебе разбойники пойдут в смиренные проводники.

Кричи и в стену бейся лбом, но сердце спящее твое,
Пока не грянет Судный день, презрит и крики, и пинки.

Будь голосом хоть сам Санджар, греми под куполом небес,
Но эха тщетно станешь ждать: уж слишком своды высоки.

Не каждый, скорбный сердцем, свят и обретет огонь Мусы.
Пророком Хызром стать не всем, кто открывает родники.

Довольно горечи морской испить придется прежде, чем,
Глотнув дождинку, различишь в себе жемчужины толчки.

Жемчужину свою блюди, хоть свет ее ничтожно мал,
Тусклей того, каким весной в ночи мерцают светлячки.

А ты, готовый мотыльком к семи светильникам взлететь,
Пугайся солнечной свечи: сгорают быстро мотыльки.

Став мудрой, голова твоя в човгане этом круговом
Всем клюшкам пусть подставит лоб, чтоб рады были игроки.

Слугой послушным быть учись. Избравшего служенья путь
Возвысит тот, кого аллах избрал себе в ученики.

Шихна, который справедлив, эмира обретает власть.
Эмира, коль он справедлив, о небо, шахом нареки.

Потворствуй преданным друзьям, их за проступки не гони,
Как напоит тебя сосуд, тобой разбитый в черепки?

Скликая войско, щедрым будь, хлеб не жалея раздавай,
И муравей, дающий хлеб, способен в бой вести полки.

Не жри, как плотоядный червь, жизнь воздержанием
продли:
Ведь режут первыми овец, чьи тяжелее курдюки.

Но съеденное возвращай, стань словно шелковичный червь.
Его сверкающий венец — слюны бессчетные витки.

Страсть плотскую ты низведи до уровня тончайших трав
И бди, чтоб в сосны невзначай не превратились стебельки.

Страсть похотливую спеши как можно раньше одолеть:
Змея, в дракона превратясь, под старость злее жмет тиски.

Непрочно царство у того, кто кровь ему подвластных пьет.
Луна кровь солнца пьет, и вот ей лик пятнают синяки.

Спеши пополнить свой амбар хотя б крупицей
добрых дел —
И от невзрачного зерна тучнеют хлебные мешки.

Но те, кого ты угнетал,— страшись! — поднимут в Судный
день
Над грешной головой твоей неумолимые клинки.

В мирах обоих суд един, и справедливость — всем судья:
Бесценней взятых золотых раздаренные медяки.

И если руки раздробит Бахману славному дракон,
То из обломков прорастут ладони, но не кулаки.

Мягкосердечен будь, как воск, Давуду кроткому под стать,
Чтоб стала сталь в твоих руках не тверже сеяной муки.

Твое стремленье к естеству естественно, ты им рожден,
Когда младенец ищет мать, его попробуй отвлеки.

Ученых общества взыскуй, уподобляясь в том Исе,
Амвон жилищем почитай, из мудрых фраз одежды тки.

Страшись в пророчествах дурных истолковать движенье
звезд:
Вдруг дымом собственных невзгод заволокло тебе зрачки?

Вода, земли недремный страж, когда-то внидет в плоть земли,
А ветер озарят огнем взметнувшиеся языки.

Упрись ногой в небытие, вцепись руками в бытие
И успокойся: прочен кров, подпоры у шатра крепки.

Не говори: «Я буду мертв, а здесь живому — жить
в живом»,
Твои суждения бедны, твои воззрения узки.

Там — все иное, для иных, султан там нищ, босяк богат,
Тиран унижен, и для них законы эти не жестки.

Круг солнца в небе голубом — как мыло в голубом тазу,
Чтоб смыли мы с одежд души и грязь, и пятна, и плевки.

Умою руки мылом тем и больше мира не коснусь.
А ты как хочешь: мой — не мой, тут выгоды не велики.

О Нивами, забудь скорей про голубой небесный свод,
Пусть якорем пока не стал и не вцепился в дно реки.

И бренность мира ты пять раз напевом флейты возвеличь,
Тогда, быть может, царство слов придет под власть твоей
руки.

Чтоб клады счастья обрести, прибегни ко всесилью слов,
Чтоб камень в злато обратить, из сердца слово извлеки.

ГАЗЕЛИ

Тебе открою грусть моих ночей и дней,
Чтоб ты очам своим велела быть скромней.

Не упрекай меня, ты влюбишься сама,
Увидя в зеркале свой лик, луны светлей.

Не дай разлуке постучаться ты в дверь мою,
Ведь страж — мой стон — не стережет твоих дверей.

Ты мне — опора, не пора ль умерить гнет,
Чтоб не искал иной опоры я ничьей.

Юсуф — я в ямке подбородка твоего,
Юсуфу кинь веревку милости твоей.

Опустошен я, как мешочек кабарги:
Весь мускус выпит чернотой твоих кудрей.

Виновен я, вот и немею от стыда,
Бальзам прощения на язвы мне пролей.

К тебе я песни, как паломников, веду.
Вознагради чавуша верностью своей.

Откочевать готова молодость, цени ее.
Как чужеземный караван, исчезнут дни ее.

Затем согбенны старики, что, смыслу вопреки,
Во прахе роясь, вновь найти хотят они ее.

Жизнь — мира вечный оборотный капитал.
На время взяв, умножь в цене, затем верни ее.

Уход твой предопределен, так бдительнее будь:
Нрав у беспечности лукав, ты прочь гони ее.

Ты по ветру пускаешь дни, но забывать не смей:
Жизнь вечная в твоих руках, не оброни ее.

За душу златом не платя, ее не ценишь ты.
Жемчужину нашедший счел камням сродни ее.

Ты веселишься — го́рю в том, скажи, какой урон?
И радости урона нет, хоть горем гни ее.

Ах, Низами, душе своей дай органона звон,
Вином и песнями любви ты опьяни ее!

Каабой взглядов стала ты,
Сердец усладой стала ты.

В себе фиалок вешний цвет
С багряником смешала ты.

Красой возвысясь, шелк небес
Взяла, как покрывало, ты.

На розе пояс развязав,
Свой стан им обвязала ты.

Будь рада мигу: миг любой
Не повторишь сначала ты.

Оглянешься: коня судьбы
Уздою не сдержала ты.

Арслан над миром воцарил,
Царем кумиров стала ты.

Юсуфу — уст твоих сады,
Я — только страж, не гнала б ты.

Зерно мучений всех моих — ее лица пшеничный цвет.
Всю ночь солома щек моих орошена росою бед.

Над белизной ее ланит — колосьев благовонных груз,
Жгутами свиты колоски, их свита — шествие планет.

Крупицу мускуса решусь купить с весов ее кудрей —
Попросит взвешивать слова, чтобы весомым был ответ.

Как пахарю, доколе мне стеречь пшеничные поля?
Цветник не мять, плодов не рвать — давал ли я такой обет?

В крупинке родинки ее блаженства кроется зерно,
Приманка птицам, как и я, не уберегшимся тенет.

Плодов я сладких не вкусил, одной пшеницею был сыт
И вот из рая выгнан вон, пожитки выкинуты вслед.

И мое сердце — как зерно: располовинено давно.
А в ней ни крошки скорби нет, до Низами ей дела нет.

Раненный в сердце, в кровавых слезах почему?
В сердце живущая — вечно в глазах почему?

В мире единственна ты, мы душевно едины,
Единодушно мы оба в бегах почему?

Склонность все легче твоя, страсть моя все весомей,
Чаши колеблет любовь на весах почему?

Я неизменен, любовь же твоя изменилась,
Где я ошибся, попался впросак почему?

Ты всех влюбленных лечила живою водою,
На Низами тот источник иссяк почему?

Весть! Весть о милой пришла! Что же с ней?
С той, что для сердца стрела,— что же с ней?

Чем занята, что творит, что вершит?
Глаз ее сладостна мгла. Что же с ней?

С той, что, как жизнь моя, дорога́,
С той, что мне хочет лишь зла,— что же с ней?

Долгие дни я сгораю в огне.
С розой, что в росах взросла,— что же с ней?

Льет мою кровь она ловко! Скажи
С клятвой, что роза дала,— что же с ней?

Стал Низами — как Якуб, ну, а с той,
Что, как Юсуф, расцвела, что же с ней?

Розу пологом колючим твой всесильный взгляд закрыл,
Вижу я зуннар на розе: лик твой вешний сад закрыл!

От стыда перед тобою зарумянился бутон,
И зардевшиеся щеки он в кругу досад закрыл.

А когда свою поклажу развязал твой черный зульф,
Цвет фиалки на замочек свой цветочный склад закрыл.

И одним крылатым словом твой прекрасный аргаван
Наших лилий говорливых чаши все подряд закрыл.

О своем желанье новом розе на ухо скажи,
Хоть нарцисс глаза на это много дней назад закрыл.

Соловей красноречивый состязался с Низами,
Но, газель услышав эту, клюв свой, говорят, закрыл.

Глаза мои с тобой давно дружны,
Твой рот и стан твой им равно нужны.

Мы оба игроки, сыграем честно,
А козни нам судьбой припасены.

Давай-ка распущу я твои кудри:
Всё распустилось в этот день весны.

Забудем обо всем, соединяясь
И зная: дни свиданья сочтены.

«Ну, как живешь?»
«Как я живу, мой друг?
В тоске на грудь клоню главу, мой друг!

Брось разговоры, стань Лейли скорее,
Ибо Меджнуном я слыву, мой друг!

Во сне я плачу, наяву стенаю,
Жду утешенья наяву, мой друг!

Я слышал, сладость даришь ты влюбленным,
Вложи в уста и мне халву, мой друг!

Ты говорила: «Упадешь — дам руку»,
Валяюсь нынче я во рву, мой друг!

Надежной ворожбой своих газелей
Тебя сегодня призову, мой друг!»

*

Где доблестный найдется муж, кого бы мир не гнул?
Тех, кто не мучился бы тут в цепях полона, — нет.

Хоть счастье, как невесту, мы желаем разубрать,
Но все ж убора у нее для небосклона нет.

Коль так убого бытие, каким его я зрел,—
То нет в нем света, ничего в нем, кроме стона, нет.

О сердце, словно ценный клад, ты оба мира чти!
Но оба здесь они, для них другого лона нет.

Мир, что в шатре семи небес, оставь, о Низами!
То скорпион, спасенья нам от скорпиона нет.

Где похитительница сердца, что так непостоянна, где?
Казну уносит вор открыто, а зоркая охрана где?

Я так отстал от каравана, что потерял его следы,
А где скакун мой легконогий, вожатый каравана где?

Всю ночь я у дверей жестокой томился, словно верный пес,
Коль нищий я — где ж подаянье? Награда от желанной где?

О Низами, пора подумать перед уходом в мир иной,
Где добрых дел твоих припасы, коль час пробьет
нежданный, где?

Сердца людей забирать в полон умеет зульф благовонный
твой,
Всечасно в муку сердца людей ввергает взор непреклонный
твой.

Тот, кто увидел хоть раз твой лик, мгновенно стан опоясал
свой,
Горя желаньем тебе служить,— навек от раб обреченный
твой.

Чтоб взор недобрый не сглазил тебя, уж сколько дней,
в предрассветный час,
Шепчу благие молитвы я, вздыхатель страстно влюбленный
твой!

В укор мне слезы мои не ставь, хотя тебя недостоин я:
Сухим остаться не может взор, во взор глядящий бездонный
твой.

Меня в игре перекрыла ты, и бита ставка души моей,
Но не плутуй ты со мной в игре,— ведь я слуга
побежденный твой.

Таких, как я, Низами, толпа к твоей руке путеводной льнет.
Ты, как Иса, чудеса творишь: рубин вручаешь червонный
твой.

Взгляни, до каких я бедствий на этом пути дошел.
Стенаний жалобных отзвук до неба почти дошел

Оставь в покое страдальца, не мучай больше его,
Взгляни, ведь каждый твой ноготь, как нож, до кости
дошел.

Душа собралась в дорогу, чтоб твой догнать караван,
А он до каких пределов уже — погляди! — дошел.

Когда-то ты обещала: «К тебе, Низами, приду».
Спеши же теперь, не медли,— ведь срок прийти подошел.

Послаще выбирай слова, чтоб сахар их затмить не мог.
Ищи опору в красоте — она смягчит жестокий рок.

Лишь одного страшусь: когда меня свиданьем одаришь,
Пробьет разлуки горький час, иссякнет жизни краткий
срок.

О нет, я не виню тебя: щадить сердца — не твой удел,
Ведь красота всегда права, хоть суд ее и скор и строг.

О периликая, когда придешь в обитель Низами,
То муравейник превратишь ты в Сулеймановый чертог.

Жить в заботе и невзгодах, расточая зло,— не стоит.
Тосковать и горько плакать — пусть нам тяжело —
не стоит.

Мир со всем его богатством невелик: зерна он меньше.
Перед правдою неверной преклонять чело не стоит.

День заботливый,— он полон животворного сиянья.
Предрассветного тумана все его тепло не стоит.

Наша жизнь, я слышал, стоит меньше малого. Неправда.
Жизнь и этого — ничтожней что бы быть могло? —
не стоит.

Ты видела, как честь мою урон постиг,
Ведь каждый знавший нас, как я влюблен, постиг.

И вот однажды ты ушла, отворотив лицо,
О ты, чей вероломный я закон постиг.

Твои грехи твоей оправданы красой,
Красавиц вздорный нрав мир испокон постиг.

Как Низами в любви терпенье обрести?
Из-за тебя бесславья славу он постиг.

Не горюй, ибо друг есть, на помощь который приходит.
К другу друг как поддержка в беде и опора приходит.

Хочешь вечного счастья — ночами не спи, бди и бодрствуй,
Спящий — слеп, счастье к зрячим не скоро иль скоро
приходит.

Ты — Хума поднебесья, презри воробьиные крохи,
Ты здоров — вот и ладно, леченье же к хворым приходит.

Здесь — война венценосных, глаза заслони, воют стрелы.
Праздник там, где отрада к заплаканным взорам приходит.

Муха съела весь мед, что ж свеча мотылька загубила?
Крал карманник, а стража к айару не в пору приходит.

Во дворец не пускают, не сетуй: владыку увидишь.
В час охоты черед и псарю с его сворой приходит.

Укрепись, Низами, и презри это бренное царство,
В царстве вечном к несчастному счастье без спора
приходит.

Луна, за чьим гостить ты дастарханом будешь?
О чудо красоты, чьим талисманом будешь?

Над головой твоей — благоуханий зонт.
Под черным тем зонтом кому султаном будешь?

Сказать: ты — сахар? Нет! Ты слаще сладких роз.
Чье сердце разорвешь, кому дурманом будешь?

Во тьме ночной ты — свет, не сглазили б тебя...
Родник воды живой, чьим ты фонтаном будешь?

Уйдешь — моя душа в тоске испустит дух.
Мне яду поднеся, кому рейханом будешь?

Не покидай, молю, в несчастье Низами,
Он — твой, а ты ему ужель обманом будешь?

Прекрасна ты! Клянусь аллахом, как раз такая мне нужна.
Жемчужина в объятьях мрака, в ночи сверкая — мне
нужна.

Твой рот горит, грозя пожаром, а родинка — сандал
и сахар!
Жаровня, пышущая жаром, в преддверье рая мне нужна.

Я — соль, ты — сахар тростниковый, присоленный же
сахар — слаще.
Сласть, соль вбирая, мне нужна.

Из круглой чаши оба мира я выпью, милый виночерпий,
Мне честь иная — не нужна.

Волос твоих душистый ветер мир поит мускусом и амброй,
Ты, это зная, мне нужна.

Твой локон стал мне господином, меня он молча одобряет:
«Что ж, прыть такая мне нужна!»

Расступился черный мускус, и она всплыла вчера.
Оттого пришли в порядок все мои дела вчера.

Луноликая спешила, соглядатаев боясь,
Полотно с Луны срывая, розы обожгла вчера.

На жемчужину глядел я, глаз не властен отвести,
Словно по моим ресницам — влажная — сошла вчера.

И покоились мы рядом. Пробудилось — и бегом
Счастье резвое пустилось, чуть сгустилась мгла вчера.

«Ухожу! — она сказала.— Что мне дать в залог тебе?» —
«Поцелуй»,— я той ответил, что мне жизнь дала вчера.

Я проснулся, опаленный, и огонь во мне горит,—
Впрямь была вода живая в той слезе светла вчера.

Головою ширваншаха вам клянется Низами:
Лишь во сне со мною вместе милая была вчера.

Газелеокая! На львов охотиться пристало ей —
Тогда и тот, в ком сердце льва, с бедой подружится тесней.

Ресницы-стрелы приподняв, она не спустит тетивы,
Но, даже не взлетев, они мне сердце ранят все больней.

Лицо кумира увидав, я разорвал свою хырку,
Хоть не пригубил я вина, но — что за чудо! — стал
хмельней.

Железносердная! Ее я лишь о верности молю,
Мое же сердце из стекла — мишенью служит для камней.

Я вспоминаю целый день восторги сладостных ночей,
Она — считает ночью дни, чтоб кровь мою пролить скорей.

Развалины в себе таят сокровищницу горьких мук,
Она ж — таится, словно клад, в душе измученной моей.

Стремись к любимой, Низами, и к мукам этим
притерпись —
Того, кто розу возжелал, не устрашат шипы на ней.

Из ночи в ночь прочней к тебе привязан я.
День ото дня стыдней тебе любовь моя.

Влюблен я и презрен — на торжество врагам,
Ты смущена — двойным смущеньем скован я.

Был белолицым я — от горя почернел.
Ты черные дела творишь, любовь моя.

Пришел к тебе, а ты навстречу не идешь.
Проходит жизнь, меж нас согласье не творя.

Пролей же кровь мою, барсам свой освежи:
Соль сахару сродни на кухне бытия.

Тебя в словах воспев, стал славен Низами,
Шах славен и без слов, лишь он — судьба твоя.

Спать не стоит! Станем лучше веселиться до утра!
Этот сон в другие ночи мной продлится до утра.

То к тебе прижму я веки, то тебя душою пью,
Чтоб тебе вот в этом сердце поселиться до утра.

Ты, дитя, миндальноока, сахар — твой красивый рот,
Пьяным любо снедью этой усладиться до утра.

До утра вчера в разлуке руки горестно ломал.
Ночь — и я в венце, и розам не развиться до утра.

Жизнь свою тебе я отдал. Вот — рука, и весь я твой.
Дважды шесть! И в нардах счастье нам сулится до утра!

Ты склони свой зульф смиренно и до полночи целуй.
Растрепи, как зульф, смиренье,— винам литься до утра.

К Низами стихам склоняйся! Что кольцу в твоем ушке
До кольца дверного! Кто-то пусть стучится до утра!

Труден путь, и черен мир вокруг, не гони коня среди тумана,
Бытие вези в страну души, хоть на миг спасая от изъяна.

Этих черных воронов гони ты из сада сердца своего,
Гамаюна счастья призови,— жди его, тоскуя неустанно.

Роза, ты родною стала мне, скинь же покрывало, не стыдись.
Мудрости шербет себе налей, смело к цели двигайся желанной.

Там, где слуги духа пир вершат, не сиди с нахмуренным лицом,
Виночерпию подобен будь, в кубок лей вино струей багряной.

Ты мечтать о рае перестань и об аде думать, друг, не смей;
На голову ада наступи, зачеркни Эдем обетованный.

Если только ты своей рукой прикоснулся к миру духа, друг,—
То престол небесный сотряси и сорви его канаты, пьяный.

Без шагов на этот путь вступи, слово то скажи без языка,
Виждь, не глядя, начерти в душе лик грядущих дней благоуханный.

Низами, такая тайна здесь, что ее не сможешь ты открыть,
Знаков этих, нет, не разъясняй, бойся этой тайны несказанной.

Любовь помутила разум, окутала тьмы покровом,
Готов, как Меджнун в пустыне, я страсти влачить оковы.

Я возле дома любимой, в душе затаив смятенье,
В жестокий бой, не промедлив, вступил без лишнего слова.

Ни проблеска милосердья в душе твоей не заметив,
Во всех своих неудачах виню лишь себя, слепого.

Но я ведь любви законы установил. Зачем же
Ты кровь мою проливаешь, зачем же казнишь сурово?

Ведь если ты мне сегодня наличными не заплатишь,
То завтра в кредит я буду мечтать о свиданье снова.

Так много светлых жемчужин из глаз Низами пролито,
Что по́дать такую море одно уплатить готово.

В ночи я знаю: сердце мне от той отвлечь придется,
На чьей дороге утренней мне снова лечь придется.

Возлюбленная избрана, и, чтоб избрать другую,
Придется сбросить эту жизнь, вторую влечь придется.

Луна! Тебе я жертвой стал,— благословен твой праздник!—
Мне по твоим глазам гадать — как ни перечь — придется.

Попоной твоего коня я голову прикрою,
Воительница! Вновь ронять мне жалкий меч придется.

В дар на пиру прими меня,— ужели жемчуг слезный
Мне в золотом ларце моем всю жизнь беречь придется?

С дороги убери скорей обычай ранить сердце,
Горячей кровью мне залить дорогу сеч придется.

Из сердца эта влага бьет, из глаз моих струится,—
Прах Низами у ног твоих — ей смыть и сжечь придется!

Мне ночь не в ночь, мне в ночь невмочь, когда тебя нету со мной.
Сон мчится прочь, сон мчится прочь, беда в мой вступает покой.

Клянусь, придет свиданья час: пройти бы не мог стороной.
Клянусь я мглою кос твоих: уйдешь — и охвачен я мглой.

Не мне ль нестись к тебе одной, стремиться могу ли к другой?
Тебе ль искать подобных мне,— не тешусь надеждой пустой.

Сравнись со мной — величье ты, вглядись — никну я пред тобой.
Сравнюсь с тобой — не прах ли я? Все клады в тебе лишь одной.

Нет глаз, чтоб видеть мне твой лик, мне радости нет под луной.
Нет ног — поспеть к тебе, нет рук, чтоб с жаркой сложить их мольбой.

Забыла ты о Низами, владея моею судьбой.
Днем гороскопы числю я, в ночь звезды слежу над собой.

Нет злата у меня, чтоб слух ласкала звоном ты,
Так сделай жизнь мою опорой или троном ты.

Я сердце отдаю, я телом распростерт,
Неужто на меня не глянешь благосклонно ты?

Всю вечность — захоти! — и изначальность всю
В дар принесу земле, чьим пестовалась лоном ты.

И оба мира я — позволь! — отдам слуге,
Которому велишь таскать коней попоны ты.

В дом Низами войдя, пыль от твоих следов
Позволь ему считать святой и благовонной ты.

Впору мне груз твой! Скажешь — немолод,— пусть!
Но́шу приемлю. Путь не прополот? Пусть!

Страсти, тобой мне внушенной, пью я хмель:
Яд примешан тобой в чистый солод,— пусть!

Мной не гнушайся — ты мне дороже всех.
Если сердцем твоим правит холод,— пусть!

Молот против меня жизнью дан тебе.
Если жизни тобой дан тот молот,— пусть!

Жду я тебя, несытый. Жду, изнемог.
Пусть утоленьем кончится голод, пусть!

Ах, Низами, в саду твоем — соловей:
Роза цветет, шипом он проколот... пусть!

Кумир мой, колдовство не грех, но ты игрива слишком!
Мне уст не разомкнуть при всех, ты говорлива слишком!

Ты любишь воровать сердца, что правоверным не к лицу,
А ведь лишенный сердца мстит несправедливо слишком!

Смягчи свой непреклонный взор, налюбоваться дай собой,
Ведь ты не стражник, я не вор, следишь ревниво слишком.

Служенья поясом свой стан стянул я, словно муравей,
А ты, мой друг, не Сулейман: рвешь дар ретиво слишком

Но если, Низами, хмельна, на пир твой явится она,
Не бойся, ей налив вина, быть торопливым слишком!

Эй, бабочка, гаси свечу! Уж светоч здесь влекущий мой.
Эй, туча, всею кровью плачь! Уж розан здесь цветущий мой.

Ристалищем твоим я стал, я дань твоя в день торжества:
Фагфур в мой Индостан пришел — властитель всемогущий мой.

Ведь стан ее — что кипарис, пред ним робеет райский страж,
Я раб ее, она султан, владыка вездесущий мой.

Блеснуло, как свеча, лицо, и крылья мотылек спалил.
Я, жаждущий, склонил уста, она родник зовущий мой.

Я ей сказал: «Любви полна, побудь со мною, с Низами!»
Она в ответ: «С ним буду я, он — радости несущий — мой!»

О кипарис с плавной поступью мой, роза скупая моя!
Я-то — весь твой, о тебе ж не скажу: «Ты не чужая — моя».

Жизнь переполнена только тобой, сердце тебе вручено.
Вот моя жизнь! Вот и сердце, а в нем страсть огневая моя.

И под мечом буду руки тянуть к локонам черным твоим,
Лишь бы, как ворот, меня обняла милая, злая моя!

Я погибаю, сгораю, спаси, я прибегаю к тебе:
Сладостный рот твой — живительный ключ, жизнь он вторая моя.

Слушай, приди к Низами, чтоб, гордясь, голову поднял свою
Царь Ахсатан — ведь ему вручена песня любая моя.

Я бросил молодость в пожар моей любви.
На серце у меня базар страстей любви.

Как сахар, таял я подчас от влаги глаз
В желанье сладостном вкусить скорей любви.

Пустые клятвы жизнь мою свели на нет.
А недоверчивый всегда смелей в любви.

О гиацинтов, свитых в кольца, аромат!
Не может смертный избежать сетей любви.

Заплакав вечером, рыдаю до утра,
Целую двери и порог своей любви.

О горе мне, спасите, ближние, меня
От двух нарциссов жадных, от скорбей любви!

Из розы сердца моего ты гнетом выдавила кровь.
Но жизни на краю тебя благословляю вновь и вновь.

Ты, встретив горе на пути, охотно шлешь его ко мне.
А я все встречные сердца тебе в забаву дать готов.

Спросила ты: «Чем излечить глаза печальные твои?»
О, пыли от следов твоих довольно, лишь не прекословь!

Я сто кафтанов износил, желая свидеться с тобой,
Рад, как кафтан, тебя обнять, но ты сурово хмуришь бровь.

Скажи, зачем терзаешь ты того, кто, не кривя душой,
Тебе возносит похвалы, питая нежную любовь?

Тюрки рабами индийскими стали — рядом с тобой.
Глаза дурного бы не замечали — рядом с тобой!

Пряди волос моих — лишь за единый твой волосок
Жертвой достойною стали б едва ли — рядом с тобой.

Я напоил тебя влагою сердца — чистым вином.
Печень мою истерзают печали — рядом с тобой.

Любимая моя, клянусь: отныне я клеймен тобой,
Дни — спутанней твоих кудрей, а сердце — словно ротик твой.

Держаться б мне твоих стремян — со страху ноги отнялись.
Коня вести бы под уздцы — не в силах шевельнуть рукой.

Как сладко было головой твоей касаться головы!
Теперь моя моих колен, увы! касается с тоской.

Сомненьем сердце не томи, вовеки я не разглашу,
Как влюблены и как верны друг другу были мы с тобой.

За час свиданья заплачу душой, не хочешь — не бери.
Душе, конечно, грош цена с бесценной рядом красотой.

«К тебе приду я, Низами,— сказала ты,— смелее будь!»
Лишь из твоих душистых уст приятен мне привет такой.

У похитительниц сердец ты мяч отнять сумела,
Но осторожнее скачи, не преступай предела!

Влюбленных так терзаешь ты, что даже небосвод
Ты в кровожадности своей опередить успела.

Жесток твоих законов свод и милосердья чужд,
Ты приказала мне: «Умри!» — и до меня нет дела.

Как стрелы, взоры мечешь ты. Отравлены они,
Но мне их яд — как сладкий мед: его вкушаю смело.

Взгляни сюда! От Низами остался лишь скелет —
Всю кровь горячую его ты выпила из тела.

В привычке сердца воровать ты, увы, постоянна.
Не сердце в груди у меня, а кровавая рана.

Сахарны ямки твоих ланит и уста сладчайши,
Фисташки в меду — эти зубки, о, как ты желанна!

Опустишь ресницы — застонут гурии рая,
Выпустишь локон — пери почти бездыханна.

Своей красотой ты святых ввергаешь в неверье,
Сурьмою бровей затмевая суры Корана.

Когда на прогулку выходишь без покрывала,
В смятении солнце, от гнева луна багряна.

Срывается разум с цепи, впадая в безумье:
Волос твоих цепь безумно благоуханна.

К вину твоих губ и ангел рад пристраститься,
Глазам-виночерпиям чанг и най — не охрана.

Пусть с красотою твоей щедрость сравнится,
Нищий и взгляду будет рад несказанно!

Жизнь Низами одна питает надежда:
Станет слугой твоим он поздно иль рано.

Чтоб узнать красу тюльпанов, на ее ланиты глянь!
Как шипами все тюльпаны в зависти покрыты, глянь!

Розы ищешь ты напрасно, ликом розовым плененный,
За репьи ты примешь розы, так они сердиты, глянь.

В миг, когда ты пожелаешь губ ее рубин пригубить,
Рану от дурбашей взора ощутишь в груди ты, глянь.

Страстной я томим тоскою, состояние такое
Может сотню лет продлиться, нету мне защиты, глянь!

Низами спаси от муки, он не вынесет разлуки,
На невинного страдальца хоть разок приди ты, глянь!

Взяв сердце, душу мне ты треплешь, как тряпье.
Быть может, есть базар, где продаешь ее?

Влюбленным быть, как я, иному не дано,
Хоть клятвы без конца летят в ушко твое.

Твой локон — амбре друг, ланитам друг — бутон,
Зачем друг нежных рук — жестокости копье?

Изранен Низами, чтоб вылечить его,
Свиданья дай ему целебное питье.

Хмельное счастье мое очнется ль когда-нибудь?
Судьбы моей забытье прервется ль когда-нибудь?

Терплю терпеливо гнет моих бессонных ночей,
Терплю, ибо дело с них начнется когда-нибудь.

И в дверь мою постучат, и светом сменится тьма,
Калечившая лечить возьмется когда-нибудь.

О враг, не злорадствуй так, мы скоро поладим с ней,
Соперник, она ко мне вернется когда-нибудь.

Тому, кто теперь блажен, обласканный мне назло,
Презренье ее терпеть придется когда-нибудь.

Неверным от страсти став, я верую, что мой стан
Зуннаром ее косы сожмется когда-нибудь.

Сегодня она, увы, нарушила уговор.
Боюсь, с Низами беда стрясется когда-нибудь.

О мой кумир, сердца не дам, нет, не расстанусь я с ним!
Если возьмешь сердце мое, знаю, уйдешь ты с другим.

Сил уже нет, ну так зачем все угнетаешь меня?
Словно себе, сделай ты мне то, что находишь благим.

Я не Джемшид, я не богат, твой не купить поцелуй.
Вот оно, вот сердце мое! На! Насладишься ты им?

Я на пиру лишь о тебе розовой плачу водой.
Роза моя! Горек твой смех бедным колючкам моим!

Блеском небес, светом очей я называю тебя.
Слава тебе, лику луны, сахарным лалам твоим!

Не сотвори, душа, себя кумиром,
Единой будь и с обществом, и с миром.

Испив вина желаний и надежд,
Мир отпусти, пускай уходит с миром.

Ты в каждом встречном друга не ищи:
Любовь пренебрегает людным пиром.

Не требуй, чтобы друг был справедлив.
Ты с другом не одним ли мазан мирром?

Страшись обидеть даже муравья,
Неси добро обиженным и сирым.

Обидчик на столетья осужден
Стенать во прахе, будь он хоть эмиром.

О Низами, достиг ты тех вершин,
Где храм низверг, расправился с кумиром.

Прочтя о горестях моих,— их разве не прогонишь вон?
На раны сердца бросишь взгляд — ужель не буду
исцелен?

Я — преданный тебе слуга, я волоку вьюки любви,
В моих приказах силы нет, твое желание — закон.

«Будь виночерпием!» — скажу, ты в чашу лей мою же
кровь.
«Спой для меня»,— тебе скажу, ты из меня исторгни
стон.

Как в праздник встречи обойтись без жертвенника
и тельца?
Ты сжалься: в пламени любви пусть буду я тобой сожжен.

В пирах разлук мне не дано и розового лепестка,
В меня шипы лишь мечешь ты, и каждый злобно заострен.

Навек вселилась ты в глаза измученного Низами.
А вот тебя в своем дому когда-нибудь увидит он?

О милый друг, давно пленен я губ твоих кармином!
Я — раб лишь твой, а ты кому вновь стала господином?

Мне донесли твои глаза, что ты себе в одном лице
Истец, свидетель и судья, и суд не будет длинным.

Два соглядатая твоих толкают к зеркалу тебя,
Тревожишь ревность ты вдвойне обличьем двуединым.

Ты — мускус, вихрей берегись, ведь вихри могут
попросить·
«Секреты мускусных волос украдкою шепни нам...»

Слезами сердце оросив, я ими твой омою путь,
Чтоб не посмела пыль прильнуть к стопам твоим
невинным

Влюблен я, как решить в душе идущий спор?
Путь разума избрать или познать позор?

Пока душа жива, хочу владеть твоей.
Умру, но не уймусь, я на решенье скор.

Лишь встречу, ухвачусь рукой за локон твой.
Влюбленным, знаешь ты, безумство — не в укор.

Влюблен в тебя, и вот весь город — мне судья,
Так отмени ж его суровый приговор!

Такой тоски желать не стану и врагу.
Ты — запертый ларец, а я — неловкий вор.

Я всю ночь не сплю, мечтаю: будь хоть ночь со мною ты.
Не захочешь — снова сердце наградишь тоскою ты.

Ты других ласкаешь нежно, и глаза твои — нарцисс,
На мою звезду посмотришь колкою травою ты.

Дружбой хвастаешься дерзко с тысячью врагов моих
И меня стыдишь пред ними, о созданье злое, ты.

Постучись в согласья двери, будь хоть день в ладу со мной,
Не страшны враги мне, если ласкова порою ты.

Ты куда летишь, как птица? Как тебя мне разгадать?
Нет, не поймана ни глазом, ни моей душою ты.

Город весь тебя желал бы, не один лишь Низами,
Но лишь только Ахсатана обняла рукою ты.

Другим знавала ты меня, а ты — ты лучше, чем была,
Твоя умножилась краса, моя же молодость прошла.

Я только пламя, ты Халил,— что ж я не гасну пред тобой?
Нет, не умру я лишь затем, чтоб ты из сердца не ушла.

Не по приказу ты меня, по доброте своей утешь.
Насколько можешь, будь со мной и, сколько хочешь, будь мила.

Меня разбитым назовешь — смогу ли неразбитым быть?
Ведь облик видела ты мой, и сердце ты узнать могла.

Лишь на служение тебе стал препоясан Низами,—
Ведь он для счастья двух миров желает, чтобы ты жила.

Ты видишь: я твой давний друг,— зачем томишь тоской меня?
Зачем отталкиваешь ты с небрежностью такой меня?

Коль спросишь о беде моей, оставь меня в моей беде,
Коль озабочу я тебя, забудь в заботе злой меня.

Я пред людьми тобой горжусь, но как меня стыдишься ты!
Я приношу тебе любовь, а ты даришь враждой меня.

Какой бы цвет ни приняла,— и я такой же цвет приму,—
Аллаха славь, носи зуннар,— увидят все с тобой меня.

Коль скорбь моя не тяжела, тебе со мной скорбеть легко,
А если я пред ней склонюсь, прогонишь с глаз долой меня.

Своим сокровищем тебя всегда признает Низами.
Тебе пристало унижать, казня своей рукой меня.

Скорбь моя благословенна, вечно по тебе она.
Эта скорбь за все отрады мной не будет отдана.

Скорбь моя веселья лучше. Что на это молвишь ты?
Лучше бьешь ты, чем ласкаешь. Эта речь и мне странна.

Я тебе служу покорно, хоть служить и права нет.
Ты же мне помочь не хочешь, хоть вся власть тебе дана.

Без речей ты мне сказала: «Жди свидания со мной».
Может быть, не в этой жизни? Здесь надежда не видна.

Как вместить иную в сердце? Место в сердце — для тебя.
Кто с тобою схож? Ответь мне. С кем ты схожа? Ты — одна!

Спустилась ночь. Явись, Луна, в мой дом приди на миг!
Душа желанием полна,— о, погляди на миг!

Ты — жизни плещущей родник, исток существованья,
Недаром я к тебе приник,— прильни к груди на миг!

Не ненавидь, не прекословь, дай мне немного счастья!
Смотри, как жадно бьется кровь,— к ней припади на миг!

Верь этим благостным слезам и, если я отравлен,
От черной немочи, бальзам, освободи на миг!

Зачем ты пляшешь на ветру, изменчивое пламя?
Будь благовоньем на пиру и услади на миг!

Но смоль волос вокруг чела — тугры крылатый росчерк.
Я раб, султаном ты пришла,— так награди на миг!

Всю юность отдал я тебе: ты юности беспечной слаще.
Мне жизни для тебя не жаль — ты жизни быстротечной слаще.

Твой блеск слепит мои глаза, но ты же им даруешь свет,
Мученье сердца и души, ты радости сердечной слаще.

Что проку в тонкости ума, когда тебя не оценить?
Я знаю только лишь одно: ты мудрости извечной слаще.

И дружба, и вражда с тобой — они по-своему сладки:
Мне ласки дороги твои, но гнев твой бесконечно слаще.

Оплатит жизнью Низами одно свидание с тобой.
Но как ничтожна та цена! Твои дары, конечно, слаще.

Мне от тоски и горя нету места.
Любви в житейском соре нету места.

В глазах моих откуда столько слез?
Таким потокам в море нету места.

На сахарном колечке губ твоих
Двум поцелуям — спорю — нету места.

Надежде ли висеть на волоске,
Где волоску в уборе нету места?

Задаром поцелуй подаришь? Нет!
Ему в подобном вздоре нету места.

Сегодня душу хочешь? — Отними!
Для завтра в разговоре нету места.

Лишь твое услышу имя я из уст чужих,
Рву одежды я в экстазе и срываю их.

Душу я запродал в рабство, чтоб владеть тобой,
Но какой жестокий жребий здесь меня настиг!

Я, не вняв твоим намекам, верности искал,
Но тебе был непонятен верности язык.

Крылья радости разбила ты мои зачем?
Я к тебе спешил на крыльях этих неземных.

Чтобы ты не зачеркнула в сердце Низами,
С болью вычеркнул из сердца он друзей своих.

О кумир мой желанный, о счастья звезда,
Почему так противишься ты мне всегда?

Как я жажду тебя — словно прах иссушился!
Погибаю, а рядом — живая вода.

Будь сегодня со мною: ведь завтра, быть может,
Нас завистливый рок разведет навсегда.

Раз в конце все равно неизбежна разлука,
Лучше б нам не встречаться с тобою тогда.

Как ты редко даришь мне случайную радость,
Как бываешь всегда милосердья чужда!

Если ты осчастливить меня не захочешь,
Я покончу с собой от обид и стыда.

Но каких бы ты мук Низами ни послала,
Все равно не порвет он с тобой никогда.

Кто я такой, чтоб ей сказать: «Моею гостьей будь!»
И разве в верности она клялась когда-нибудь?

Когда по милости небес она пришла ко мне,
Я душу предложить ей в дар отважился рискнуть.

И обернулась ночь тогда благословенным днем.
Я в жертву ей принес себя, и жизнь свою, и суть.

Я вместо недоступных губ ей ноги целовал,
И поцелуи эти мне бальзам пролили в грудь.

Так мило слушала она мой жалобный рассказ,
Склонясь доверчиво ко мне, а я не мог уснуть.

Когда же, как незваный гость, рассвет пробрался к нам,
Разлуку он принес с собой — она собралась в путь.

Сказала: «Низами, прощай, не встретимся с тобой».
И сколько я ни умолял, не мог ее вернуть.

Я тысячу раз погибал от любовного яда,
Любовь же твоя мне ни разу не стала наградой.

Ты сердцем неопытна, не оттого ли всегда,
К тебе устремясь, я встречаю одни лишь преграды?

Но если по воле небес ты умеришь свой гнет,
Не будет душа облегчению этому рада.

В объятья свои мне тебя заключить не дано,
Лишь к сердцу любимой мои устремляются взгляды.

Я весь утопаю в слезах и во прахе. Спаси!
Хоть раз пожалей меня, вызволь из этого ада!

Нет, от тебя меня никто не сможет оторвать!
Ты знаешь это хорошо — кто лучше может знать?

Доколе голова цела, готов служить тебе,
А ты с ней тешиться вольна и, словно мяч, гонять.

В алоэ душу превратив, я об одном молю:
Зажги его, когда меня захочешь испытать.

Красой ты блещешь, как Юсуф, я плачу, как Якуб.
Не будь жестокой, о Юсуф, не заставляй страдать!

Мужей могучих взял в полон аркан твоих кудрей,
А я, как пес, тебе служу — так не гони ж опять!

Для Низами взойдет тогда счастливая звезда,
Когда его своим рабом захочешь ты назвать.

Когда ты локоны свои распустишь по плечам небрежно,
Тюльпаны и хмельной нарцисс в смущенье сникнут
безнадежно.

И если чаша отразит твой лик в искрящемся вине,
Она от хмеля глаз твоих вмиг опьянеет неизбежно.

И если ангел раз вкусит блаженства мед из уст твоих,
Его частицу унесет он небожителям безгрешным.

Я от разлуки постарел, но ты сказала: «Поцелуй
Омолодит и старика — он станет юношею прежним».

Судья влюбленных! Подпиши скорее договор о том,
Что Низами твой верный раб и раб рабов твоих
прилежный.

Явись хоть на мгновенье, кумир бесценный мой,—
И тысячи влюбленных пожертвуют собой.

Я восхищен тобою, помилуй же меня —
Ведь страсть твоя готова сровнять меня с землей.

Свидание с тобою — для сердца добрый знак,
Так не гони хотя бы ты с глаз меня долой.

Твой лик сердца пленяет, язык остер, как меч,
Не убивай беднягу — он раб покорный твой.

Тоска мой собеседник. Ты — грозный Сулейман,
А я лишь муравьишка в сравнении с тобой.

Страдает безутешно в разлуке Низами,
Душа его томится, объятая тоской.

Влюбленных порицают все — уж так заведено,
Но тот, кто мудр, их упрекать не станет все равно.

Ведь за пределами любви — что можно отыскать?
Там только глупость или желчь, там пусто и темно.

Влюбленного легко узнать по множеству примет,
Любовь бежит от тех, на ком есть хоть одно пятно.

Для подражателей закрыт высокой страсти путь,
Одним безумцам по нему идти разрешено.

В ладоши хлопай, веселись — любимая с тобой!
Из чаши нежности ее блаженства пей вино.

Тому, кто любит и любим единственной своей,
В любом из этих двух миров убежище дано.

Пределы круга преступи, где «я» заключено,
Служить не сердцу, а уму — не слишком-то умно.

Любой из жизненных путей несчастья нам сулит,
Земное наше бытие опасностей полно.

Ты благочестию служить стремись, о Низами:
Свет путеводный для сердец дарует лишь оно.

О друг мой, душу проиграть из-за тебя — одно блаженство.
Коня несчастий оседлать, стремясь к тебе,— одно
блаженство.

Пред светлым образом твоим ночами таять, как свеча,
Тебе одной лишь угождать, служить тебе — одно
блаженство.

Нет, не покинет страсть к тебе обитель сердца моего,
Не в мыслях — наяву искать любви твоей — одно
блаженство.

Готов смиренно шапку снять и бросить в пыль перед тобой,
Нет, даже голову слагать к твоим ногам — одно
блаженство.

Стал казначеем Низами страданий горьких по тебе,
Но глубину их познавать из-за тебя — одно блаженство.

Из месяца лишь день прошел, из ночи — стража лишь одна.
Любимая вошла ко мне с фиалом чистого вина.

Присела около меня, глядит по-дружески она,
До недругов ей дела нет, ночная стража не страшна.

И так до самого утра я, как счастливейший должник,
То возвращал ей поцелуй, то кубок осушал до дна.

Как мед сладчайший с молоком, слился с любимой Низами,
И нет сравнений передать блаженство, что дала она.

От тоски по ней сгорает сердце бедное мое.
Смилуйся! Твои укоры душу ранят, как копье.

Я согнулся от разлуки, но пощады не дождусь:
Стрелы, пущенные метко, в грудь вонзают острие.

К ней с надеждою взывал я, но она не снизошла,
Что ей бедного страдальца невеселое житье.

Горько плачу я в разлуке, утопаю — погляди,
Столько слез кровавых пролил я уже из-за нее.

Мне сказала: «Брось печали, от недуга исцелись!»
Но я счастлив, что желанье не исполнится ее.

Ты — свет очей. О, погляди хоть раз!
Ты — разум мой. О, посети хоть раз!

Я стал безумцем, а тебе неведом
Моей любви и горести рассказ.

А впрочем, для чего глаза и разум,
Когда глаза потухли, ум угас?

Я все пути испробовал, но тщетно —
Я даже душу от тебя не спас.

Но этого кумиру тоже мало,
Хотя душа ценней ума и глаз.

Ведь в Судный день надежда лишь на душу —
Она одна — последний наш припас.

Когда ж из этой юдоли страданий
Уйти в небытие наступит час,

О Низами, легко с душой расстанься —
Покоя в этом мире нет для нас.

Когда твой благосклонный взгляд на лик страдальца упадет,
Об этой милости молва тотчас полсвета обойдет.

Надеждой тешится душа при виде локонов твоих,
Что в эти завитки она, как в ад блаженный, попадет.

Свои одежды разорву, чтоб край одежд твоих узреть.
Один лишь взгляд — и навсегда душа награду обретет.

Подай же милость бедняку, восторг свиданья ниспошли,
Пока стоустую молву не подхватил еще народ.

Жасмин и роза, покраснев, от лютой зависти сгорят,
Когда с красы твоей покров хотя б на краткий миг спадет.

Ты — свет, и щедро даришь свет. Его несут лучи твои.
Быть может, хоть один из них поэта Низами найдет.

Коль сердцу выпадет удел в тебя, измучившись, влюбиться,
Покой из сердца улетит, как потревоженная птица.

Кто видит, как из-за тебя я утопаю в море бед,
Тот сам от страха утонуть ко мне приблизиться страшится.

Я светом глаз моих клянусь, что невозможно описать,
Как жизнь бесценная моя в разлуке горестно влачится.

Непостоянная! Приблизь свиданья сладостный предел,
Не то стенания мои до неба станут возноситься.

Кумир души, не проливай напрасно крови Низами —
Ведь жизнь течет, и дней поток безостановочно струится.

Когда ее ароматом неслышно ветер повеет,
Дыханием животворным он сердце мое согреет.

Возрадуюсь, как Якуб, я, заслышавший весть о сыне,
Душа оживет страдальца, и очи его прозреют.

Когда аромат любимой коснется лугов цветущих,
Воспрянут все базилики, все травы зазеленеют.

Появится горделиво венец на каждом жасмине,
Бутоны роз, распустившись, восторженно заалеют.

Душа возродится в теле от пряного аромата,
С которым хотанский мускус соперничать не посмеет.

Но даже даруя в праздник своей красоты монеты,
Она на меня, страдальца, потратить и грош жалеет.

При виде моей любимой восстанет мертвый из праха
И станет красноречивым, лишь только ее узреет.

Когда поцелует ветер цепям подобные кудри,
То сердце сбросит оковы и цепи порвать сумеет.

Познавший сладость свиданья, твердит Низами повсюду:
«Пускай никогда печали ее душой не владеют!»

Лишь о лике сребротелой я мечтаю неустанно,
Мне не надо красок луга, базилика и тюльпана.

Мир красавицы не видел, столь капризной
и лукавой —
Зульф ее сердца́ опутал наподобие аркана.

В ямочке на подбородке у красавицы Зулейхи
Сразу тысяча Юсуфов изнывает постоянно.

Ветерок, не прикасайся к ее царственному телу! —
Так чиста она душою, так стройна высоким станом.

Распустившаяся роза с Низами ведет беседу,
Он же сладостные речи расточает для желанной.

Лишь с луной сравниться может эта дева из Хотана,
Прелести ее пленили сто Юсуфов из Ханана.

Брови выгнуты, как арки, взор очей подобен солнцу,
Ярче аденских рубинов цвет ланит ее румяный.

Алой розой горделиво украшая сад цветущий,
Кипарис она затмила царственным высоким станом.

Красота ее как сахар. Но не слаще ль строки эти —
Низами сложил их много, нежных и благоуханных.

Кумир жестокий! Кроме души у меня ничего не горит.
Кто смеет сказать, что сердце мое хоть дня одного не горит?

Не ослабеет тоска моя, пока не сгорю до конца,
И не успокоишься ты, пока мое естество не сгорит.

Меня упрекаешь: «В разлуке томясь, ты все же остался жив!»
Подобную вымолвив клевету, твой язык отчего не сгорит?

Можно подумать, ты рада тому, что пламенем я объят,
Но не гордись, что сердце твое для страдальца того не горит!

Я нахожусь, как огненный мяч, под човганом твоим,
Но човган твой в этом огне — вот волшебство — не горит!

Я знаю, сколько бы друзей тебя ни окружало,
Влюбленных искренне в тебя найдется слишком мало.

Коль воздыхателей твоих в один поставить строй,
То тысяча в одном ряду окажется, пожалуй.

Пускай хулят меня враги и судят жизнь мою —
Хулителей да поразит их собственное жало!

Ты помни: каждый даст ответ за все свои дела —
Не угнетай же впредь меня, как прежде угнетала.

Нет, не нарушит Низами условия игры:
Воздержанным, влюбленный, будь во что бы то ни стало.

Встань, виночерпий, не ленись! Подай вина — весна
пришла.
Как будто добрая судьба, воспрянув ото сна, пришла.

В своем саду я посадил одно лишь верности зерно,
И вот пора сбирать плоды от этого зерна пришла.

Пустыню сердца своего я влагой сердца оросил,
И в ту пустыню, как султан, охотиться она пришла.

Была полна смятенья грудь, томилась тяжко, но теперь
На душу снизошел покой и в сердце тишина пришла.

Блаженства слаще не найти, чем друга милого приход,
Ко мне судьба, как верный друг, тобой озарена, пришла.

Благодаренье небесам возносит Низами за то,
Что к берегу его ладья, от бурь сохранена, пришла.

Ты царь кумиров, царь царей! Гляди, как из гранита —
лал,
Как роза — из шипов своих, из плена спасена, пришла.

О тюрчанка, скажи глазам, чтоб сердце похищали реже,
И лукавым взорам скажи, чтоб кокетством пленяли реже.

Разбивающая сердца, сребротелая, обещай,
Чтоб разлуки наши с тобой мою душу терзали реже.

Как пшеница лицо твое. Прикажи устам, чтоб они
За пшеницу грубый ячмень, устыдясь, выдавали реже.

Хоть душе и сердцу твоим непонятен дружбы язык,
Им скажи, чтоб дружбу они с кем попало искали реже.

Я молил ее о любви и услышал: «О Низами!
Брось отшельничество свое, предавайся печали реже».

Я твердил: «Похитив сердце, будет мне она верна»,
Но неслыханно коварной обернулась вмиг она.

Вера брошена на ветер, словно я ничтожный прах,
Чашу горьких унижений мне пришлось испить до дна.

Не склонит, высокомерна, головы ни перед кем,
Тех, кто перед ней рыдает, притеснять она склонна.

Локоны ее в смятенье душу ввергнули мою,
Но зато меня утешить лишь одна она вольна.

Ты меня врагом считаешь, я же — преданный твой друг,
Жизнь готов тебе отдать я: разве мне вражда нужна?

Вера мне была канатом, стала — тонким волоском,
И служить она зуннаром мне, несчастному, должна.

Кроме собственных стенаний, кто захочет быть со мной?
Кто со мной разделит горечь? Разве что тоска одна.

Кто глаза твои увидел, даст ли трезвости обет?
Кто уста твои увидел, у того душа пьяна.

Низами ты топчешь в гневе, а затем ласкаешь вновь,
И душа его бессильна и страдать обречена.

Всю жизнь лишь горести одни за мной ходили следом,
Любви твоей возжаждал я — но это было бредом.

Один-единственный мой взгляд на локоны твои —
И вот я разума лишен, обрушились все беды.

Ты сердце увела в полон и за покров ушла,
Чтобы покровы разорвать над тайною поэта.

Источник радости моей — ты умножаешь скорбь:
Все перепутались дела, забыты все обеты.

И дом свидания с тобой — он был с двумя дверьми,
Забыла верность ты, а я твержу с тоскою: «Где ты?»

Пожаловался только раз в разлуке Низами,
Не осуждай его, о друг,— не из боязни это.

Лекарство у тебя, а боль мне душу гложет.
Что ж, сердце потеряв, с душой расстаться тоже?

Ведь если ты решишь корабль мой погубить,
То гнева ураган тебя же уничтожит.

Мой каждый волосок пронзен твоей стрелой,
И каждый день и час мои страданья множат.

О бедствиях моих везде шумит молва,
Она, волнуя всех, тебя лишь не тревожит.

Ты — грозный Сулейман, я — жалкий муравей.
Как справлюсь я с тоской? Никто тут не поможет

Пригрей же Низами, скорее обласкай —
Такой поэт лишь раз в сто лет родится может.

Пусть ветерок домчит твой аромат,
Ему пожертвовать я душу рад.

Коль дерзкий взор тебя обеспокоит,
Того невежду тотчас ослепят.

Пусть пребывает лик твой за завесой —
Ничей его да не коснется взгляд!

К тебе одной приду, томимый жаждой,—
Твоя любовь мне слаще всех услад.

Гадая, Низами твой лик увидел,
Он для него — дороже всех наград.

Лекарства не было и нет приятнее любовных мук,
Они одни лишь облегчат тобою вызванный недуг.

Ничей покой ты не смутишь, так в чем, скажи, моя вина,
Что все несчастия ко мне лишь из твоих приходят рук.

Когда ты верности чужда, к чему терпение хранить?
Моя тюрчанка неверна — и мне постыло все вокруг.

Неправ бываю я один. Гляжу — почти что волшебство:
Во всем виновен только я, а ты всегда права, мой друг.

Но не считай меня глупцом, коль из Аррана родом ты,
И Низами не из села, представь, он тоже не пастух.

*

Там, где лик ты светлый явишь, там и лунный свет
не нужен.
Тем, кого ты осчастливишь, сладостный шербет
не нужен.

В ночь, когда ты озаряешь небосвод своим сияньем,
Никому в подлунном мире ласковый рассвет не нужен.

В муках страсти безнадежной мое сердце догорело,
Мне его остывший пепел после стольких бед не нужен.

О тебе одной мечтаю и не ведаю покоя,
Дай лишь толику надежды — мне иной ответ не нужен.

Ведь когда-нибудь должна ты одарить меня свиданьем,
Иль мученья все напрасны и тебе поэт не нужен?

Обещание нарушив, ты прийти не захотела,
Мне, попавшему в немилость, никакой совет не нужен.

Препоясавшись на рабство, Низами стал многословен,
Кроме локонов любимой, ему пояс, нет, не нужен.

В глине горестей погряз я, помогите мне, друзья,
Сердце бедное спасите из трясины бытия.

Отомстите за страдальца иль уладьте дело с той,
Чьи рубиновые губы слаще райского питья.

Я сошел с ума от страсти — расскажите это ей:
Может быть, окажет милость мне любимая моя.

Не отдам я больше сердца ни за что и никому —
Лишь на этот раз спасите от разящего копья!

В ямочке на подбородке я томлюсь, как в западне,
Зульф ее канатом свейте, вытащите вы меня.

Сделайте из кос любимой мне оковы, а потом,
Заковав, меня ведите прямо до ее жилья.

В пятницу меня, хмельного, притащите на базар —
Пусть известно станет миру, что обет нарушил я.

*

Ее маленький рот — он хмельнее вина опьяняет,
От огня ее глаз — даже райская роза сникает.

Чистый мускус рассеяло благоуханье ее,
Нежность розовых губ — нежность розы стократ
затмевает.

Если после разлуки свиданьем она одарит,
То счастливца того пламень чистой любви озаряет.

Мудрецы оказались во власти ее бубенцов,
Ее чангу и руду влюбленные сладко внимают.

До небесных пределов возвысится избранный тот,
Кто в любовные сети, измучившись, к ней попадает.

Если лик она явит, приходит влюбленный в экстаз,
Головою о камни в беспамятстве бьет и рыдает.

Этот стих Низами пусть дойдет до того, кто сложил:
«Ее маленький рот лишь при смехе нам виден бывает».

Любовь моя безбрежна, а грудь, увы, тесна.
Мой конь уже хромает — дорога так длинна.

Одна душа, а сотни и тысячи скорбей,
На тысячи фарсангов — стоянка лишь одна.

И впереди колодец, таящий сотни бед,
И палка ненадежна, что в этот путь дана.

Развеяны по ветру достоинство и честь,
Деяний наших книга, как ночь, черным-черна.

От праведности нашей остался только вздох,
В заплатах власяница, и грудь обнажена.

Молитвенный мой коврик — он в чане утонул,
Бутыль разбита камнем, и вот — пуста она!

Потеряно все сразу: и вера, и покой,
Сижу я, потрясенный, все потеряв сполна.

О Низами, не сетуй из-за своей любви,
Мир избери уделом — к чему тебе война?

О ты, гонец благословенный, спеши знакомою тропой,
Весть отнеси скорей кумиру, верни утраченный покой.

Скажи: «Я потерял рассудок с тех пор, как разлучились мы,
Но помыслы мои, как прежде, устремлены к тебе одной».

Пускай я тысячи напитков из чаши горестей испил,
Твой стан, подобный кипарису, все так же властен надо мной.

Я, как Меджнун, брожу повсюду, ищу любимую свою,
Зову: «Лейли!» — но безответно, лишь эхо вторит мне порой.

Ни чаши не пошлешь, ни кубка, а я от жажды изнемог,
Следы посланца затерялись, и нету вести никакой.

Я, словно дичь, неосторожно попал в силок твоих кудрей
И не могу освободиться, беспомощен перед тобой.

О Низами, смирись с разлукой, газелей больше не слагай,
Вдали от мира оставайся, обуреваемый тоской.

Что за страсть это, от которой я теперь так плачевно пал?
Стал я легкой дичью — как скоро я от стрел возлюбленной пал!

Я влюблялся в красавиц раньше, но теперь беспомощен я,
Не оставь меня без призора, погляди, как низко я пал.

Каждый, в ком благородство живо, мне хоть чем-то хочет помочь,
Лишь она спасти от позора не желает того, кто пал.

Отовсюду камни упреков так и сыплются на меня,
На базаре, подобно вору, я под градом камней упал.

Знают воздух, земля и влага, что душа сожжена огнем,
Одного достаточно взора, чтоб понять, как жалко я пал.

Низами прославился всюду, ведь рассказ о его любви
Порождает толки и споры, он ко всем на язык попал.

Ты — султан, я — раб смиренный. Что султану я пошлю?
Что тебе, моей бесценной, что желанной я пошлю?

Подарить хотел я душу, но подумал, устыдясь,
Все равно, что роз охапку гюлистану я пошлю.

Мудреца спросил в смятенье: «Ради господа, скажи,
Я, ничтожный муравьишка, Сулейману что пошлю?»

У меня ведь нет сокровищ, чтоб тебя я одарил,
Я, бедняк, в своем сиротстве богдыхану что пошлю?

Не собрал я урожая с этой выжженной груди,
В счет налога, погорелец, я ни мана не пошлю.

Наступил веселый праздник, я же — изможденный труп.
Растерялся: что любимой в день Курбана я пошлю?

Грузом дел богоугодных Низами не отягчен,
В Судный день весам господним без обмана что пошлю?

Светоч небесный вчера здесь я нежданно нашел,
Словно свечу — мотылек, в праздник Курбана нашел.

Мускусный шлет аромат, дарит блаженство она,
Счастье в дому у себя гостем незваным нашел.

Жаждал я сладостных губ, долго взывал: «О господь!»
Воду живую — ее — ночью туманной нашел.

Слышал я: верность ее не уступает красе,
Эти достоинства все я в несказанной нашел.

Сахарный свежий тростник хвалят за нежность и вкус,
Я же себе кипарис с царственным станом нашел.

Если продолжит рассказ, ранит себя Низами.
Как разгласит он, что клад свой долгожданный нашел?

О, пошли мне утешенье, не лукавь ты, как всегда,
Приголубь хоть раз страдальца, не желай ему вреда.

Даже если сердце ранишь или кровь прольешь мою,
Не смогу от этой страсти я отречься никогда.

Ты скрываешь за завесой красоту от всех живых,
Светлый лик, луне подобный, алые, как лал, уста,

Не дано земному взору эти прелести узреть —
Лишь очам воображенья та доступна красота.

Ты — рубин из Бадахшана, дивный яхонт, райский сад,
Ты — жемчужина Омана, перл чистейший, как вода.

Ты — Лейли из Амиритов, ты — прекрасная Билькис,
Утешительница сердца, ты одна — моя мечта.

Ты похитила мой разум, я безумен, как Меджнун,
Ты меня околдовала, полонила без труда.

Раньше были мы друзьями, а теперь — я жалкий раб.
Жизнь отдать готов как выкуп, и душа в залог взята.

Плачет горькими слезами и страдает Низами,
Так страшится он с любимой разлучиться навсегда.

*

Душа надела траур, тоскуя по тебе.
Я весь в плену злосчастий, я изнемог в борьбе.

О, сколько же ты будешь еще меня казнить?
Я плачу в униженье, я жалок сам себе.

Я бедный твой прислужник — не обижай меня,
Пошли страдальцу милость, внемли его мольбе.

Всю жизнь тебе я предан, а ты вражду таишь
И ставишь мне засады на жизненной тропе.

В плену тоски жестокой томится Низами,
И все пришло в расстройство теперь в его судьбе.

Нет перед ней оправданий, чтобы прощенья просить,
И совесть повелевает настойчивость укротить.

Из комнаты новобрачных сбежало сердце мое,
В какой стране для него я смогу невесту добыть?

Целитель этой болезни сегодня сам заболел,
И где я врача добуду, чтоб тот недуг излечить?

Если наш век злонравный колючек столько взрастил,
Готов я на голову века своей ногой наступить.

Тому престолу, который захочет занять она,
Поверьте, готов я в жертву и сотни душ приносить.

В саду, где опустится плавно розы той паланкин,
Готов предложить я выкуп: шипами глаза пронзить.

Без колебаний жизнью пожертвует Низами,
Чтобы в свои объятья тот кипарис заключить.

Поспеши мне на помощь, я гибну! Безмерны мученья.
Рядом нет никого, кто бы подал мне руку спасенья.

С окровавленным сердцем взываю к тебе: «Помоги!»
Лишь свиданье с тобою одно принесет исцеленье.

Ремесло музыканта себе ты избрала — и вот
Я рассудок теряю, заслышав твои песнопенья.

Ты басмой не натягивай лука бровей до ушей —
Лучше сразу стрелою убей меня без промедленья.

Если жизни моей пожелаешь — тебе подарю,
Без тебя все равно не смогу я прожить ни мгновенья.

Ну, а если напрасны надежды и вздохи мои,
Ты не мучай меня, не испытывай больше терпенья.

Низами свою душу приносит в подарок тебе,
Не отвергни ее, окажи ты ему снисхожденье.

Лицá серебряный овал в сиянье покажи,
Чтоб, удалившись, я рыдал в изгнанье, покажи.

Чтоб я, как искра, не угас, открой мне хоть на миг
Свой пламенный, как солнце, лик, меня обворожи.

Я знаю вкус кровавых слез, извелся от тоски,
Но коль я грешен пред тобой, не медли — накажи.

Разлуку жребий мне послал, но и ее готов
Всегда принять я от тебя, поверь мне,— от души.

Разлука с юностью твоей состарила меня,
Взгляни: развеялись мечты, пропали миражи.

Подобных мне не знает мир, а я томлюсь в плену,
Как с пленником поступишь ты? Не ведаю, скажи!

Готов в отчаянье с душой расстаться Низами,
Не оставляй его в беде — на помощь поспеши.

Родинки ее — как зерна, локоны сплелись в силок.
Стать мне птицей или виться у свечи, как мотылек?

Лучше в грусти о любимой утешенье находить,
Чем водиться с чужаками, кто по духу мне далек.

Пред бровей ее михрабом все молитвы ни к чему,
Зульф ее я сделал храмом, и она в том храме бог.

Обнимать ее не стану — не подходит это мне,
От расслабленного старца на пиру — какой же прок?

Если умник завладеет кончиком ее косы,
Зачеркну я свой рассудок, раз ни в чем он не помог.

Если ты, Лейли, Меджнуну предпочла бы Низами,
Он и лучшее сказанье о любви сложить бы мог.

Я решил, что письмо любимой о любви своей напишу,
Кровопийце, пленившей сердце, той, что всех милей, напишу.

Мне чернилами станет амбра, а бумагой — роз лепестки,
Почерк мускусу уподобив, той, что всех нежней, напишу.

Никогда она не пригреет тех, кто страстно в нее влюблен,
Хоть сто раз я писал об этом, но еще раз ей напишу.

Начертать пером невозможно, как я пылко свиданья жду,
Иль ресницами я, где слезы жемчугов светлей, напишу?

Не поместится в ста тетрадях описанье этой любви,
Как же я в единственном свитке весь рассказ о ней напишу?

Может быть, мне в каждую букву уместить по тысяче тайн,
Лишь тогда я, наверно, повесть о любви моей напишу.

Вновь написанное смываю и рыдаю я, Низами,
Может, лучше сразу слезами, что чернил прочней, напишу?

Красотой подобных тебе я сегодня вокруг не вижу.
И страдальцев, впавших, как я, в этот сладкий недуг,
не вижу.

Я не знаю в мире сердец, не томящихся по тебе,
И влюбленных, кого б не жег этот пламень разлук, не вижу.

Я рыдаю, как соловей, воспевая любовь к тебе,
Но от розы, кроме шипов, ничего, кроме мук, не вижу.

Яркой прелестью ты затмишь несравненных красавиц рой,
Сколько я ни гляжу кругом, я красивей подруг не вижу.

Видел я лишь в тебе одной утешительницу скорбей,
Но несчастья час наступил, и сегодня я вдруг — не вижу.

Сколько можно злонравной быть? Я ведь преданный твой
слуга,
Но ни нежности, ни тепла от тебя я, мой друг, не вижу.

Почему всегда с тобою я не радостен бываю?
Потому что по ночам я козней рока ожидаю.

Страх за душу сердце ранит, если мы с тобою вместе,
А ведь я не бессердечен — погляди, как я страдаю!

Ты одна лишь мне заплатишь за растраченные годы —
Этот иск тебе сегодня я недаром предъявляю.

Я ведь не был бесталанен и в мечтах витал высоко,
А итог, увы, плачевен — я в разлуке погибаю.

Ты дороже всех сокровищ, а вокруг разбой и плутни,
Как себя обезопасить в этом мире? Я не знаю.

Пусть тебе, жестокосердной, Низами послужит прахом.
Все равно быть только прахом я у ног твоих мечтаю.

ЧЕТВЕРОСТИШИЯ

*

Не жалуешь меня — я жаловаться буду.
Дразня тебя, кляня, я жаловаться буду.
Смотри не пожалей: ведь, ябедником став,
Безжалостность твою я разглашу повсюду.

*

Колосья были склонны к мятежу,
Что обрекли их головы ножу?
И палками спустили с них три шкуры,
И жернов приобщился к правежу.

*

Лик твой душист, но кровь — кудрей оправа.
Я это утверждать имею право:
Неизвлеченный мускус — вот твой лик.
А дело извлечения — кроваво!

*

Ты знаешь, доживешь ли до утра?
Так сей упорно семена добра.
Мир, как скупец, свои дары отнимет,
Но нива доброй памяти щедра.

*

Одна справедливость — основа побед.
Насилье — источник несчастий и бед.
Под маскою щедрости скрыты пороки,
Блаженство дарует нам доблести свет.

*

Не надо о страданиях без устали твердить:
Слова не в силах горести от сердца отвратить.
Какая роза странная цветет в твоем саду —
Нельзя увидеть цвет ее, но запаха не скрыть.

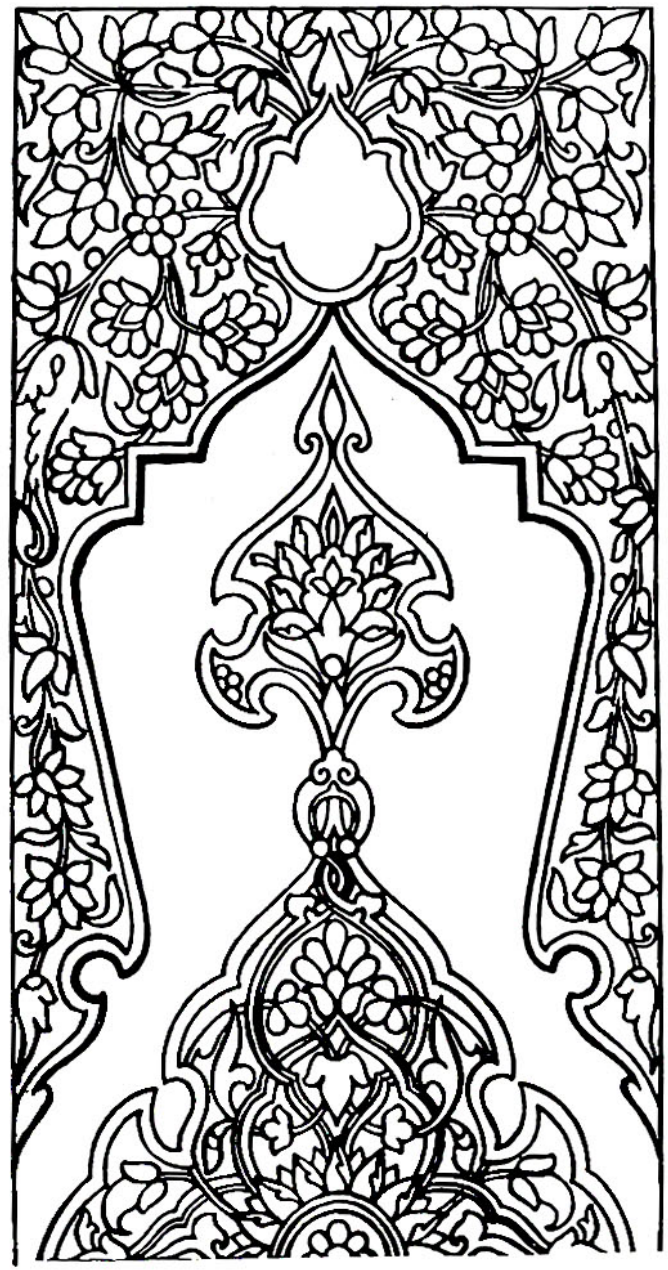
*

О кумир, что способен, как гурия, сердце пленять,
Время выкрало перл из ларца твоих уст, словно тать,
Отнесло его к морю, должно быть, и морю сказало:
«Вот какие жемчужины ты постарайся рождать!»

*

Если стану стонать, кто придет мне на помощь в несчастье?
Если стану терпеть — так и жизнь пролетит в одночасье.
Повторяю со вздохом при мысли одной о тебе:
«Пусть господь никого не отметит подобною страстью!»

СОКРОВИЩНИЦА ТАЙН



ВСТУПЛЕНИЕ

«В прославленье аллаха, что благом и милостью щедр» —
Вот к премудрости ключ, к тайнику сокровеннейших недр.

Размышленья начало и речи любой завершенье —
Имя божье, и им ты закончи свое изложенье.

Вечно существовавший, явившийся ранее всех,
Пережить долженствующий существование всех.

В изначальной пред-жизни старейшиной бывший над нею
И каламу времен ожерелье надевший на шею,—

Он раздернул завесу со скрытых завесой небес,
Сам сокрытый под высшей из прячущих тайну завес.

Он — создатель ключей, где щедрот его влага струится.
Зачинатель всего, что с его бытием единится.

Он для пояса солнца из яхонтов создал убор,
Наряжает он землю, на воды наводит узор.

Учит пище духовной питающих глубь неземную,
Воздвигает он день для снедающих пищу дневную.

Бусы знаний он нижет на тонкую разума нить,
Он для разума — свет, его глáза не даст он затмить.

Ранить лбы он велит правоверным в усердных поклонах,
Он дарует венцы на земных восседающим тронах.

Не дает он сбываться тому, что людьми решено,
Преступленье любое по воле его прощено.

Устроитель порядка средь гама пришедших в смятенье,
Он источник для тех, кто заранее знает решенья.

Первый он и последний по качествам и бытию,
Он на жизнь и на смерть обрекает державу свою.

При всесилье его, что в обоих мирах не вместится,
Все, что в нас и при нас, лишь коротким мгновением мнится.

В долговечной юдоли вселенной, помимо творца,
Кто воскликнуть бы мог: «Для кого здесь сиянье венца?»

Все, что было и не было, все, что высоко и низко,
Может быть и не быть, от несущего сущее близко.

Даже мудростью тех, кто воспитан с предвечных времен,
Этот трудный вопрос и доныне еще не решен.

Из предвечности знанье его — о, морская пучина!
Как безбрежная степь, вековечно оно и едино.

Что первейшее в нем, не имело начала вовек.
И последнее в нем окончанья не знало вовек.

Саду плоти твоей от него животворная влага,
Свет нарциссам твоим — от него исходящее благо.

Все, где действует жизнь, проявляя свое естество,—
Лишь служенье раба перед вечным господством его.

Вековечен лишь он, остальному грозит перемена.
Он один — пресвятой, никакого не знающий тлена.

Благодарности полный, его многотысячный хор
Славословит на шапке земли и на поясе гор.

За завесою света скрывались щедроты творенья,—
Сахар был с тростником, были с розой шипы в разобщенье.

Но лишь дал он щедротам цветенье, щедроты лия,
Тотчас цепь бытия разрешилась от небытия.

В неуемном стремленье к двум-трем деревням разоренным
Было небо в смятенье, неявное в несотворенном.

Узел, мысль сожигающий, не был еще разрешен,
Локон ночи тогда был ладонями дня полонен.

Только жемчуг небес нанизал он в ряды узорочий,
Пыли небытия не оставил на локонах ночи.

Из кругов, что на небе его изволеньем легли,
Семь узлов завязал он, деля ими пояс земли.

Стало солнце в кафтане являться, а месяц в халате:
Было этому белое, этому черное кстати.

Тучи желчный пузырь из морских он исторгнул глубин,
Светлый Хызра источник из злачных извлек луговин.

Утра полную чашу он пролил над темною глиной,
Только камня устам не достался глоток ни единый.

Из огня и воды, их мельчайшие части смешав,
Создал яхонта зерна и жемчуга жирный состав.

Ветер слезы земли, лихорадя, загнал нездоровый
В печень камня, и яхонт родился, как печень, багровый.

Божьей щедрости сад в процветанье привел небосвод,
Птицу речи он создал, что небу на радость поет.

Пальме слова он финики дал, что отрадны для духа,
Жемчуг он языка не оставил без раковин слуха.

Посадил за завесу безмолвную голову сна.
Им и водному телу одежда души придана.

Кинул пряди земли он на плечи небесные прямо,
Непокорности мушку навел на ланиту Адама.

С лика золота он отпечаток презрения смыл,
Крови лунные розы он тучкой весеннею смыл.

Ржу воздушную снять поручил он светилам лучистым,
Душу утренних ветров он травам доверил душистым.

В глине бьющую кровь там, где печень сама, поместил,
Где биение сердца, биенье ума поместил.

В утешение губ приказал появиться он смеху,
Посадил он Венеру на пение, ночи в утеху.

Полночь — божий разносчик, он мускус продаст дорогой,
Новый месяц — невольник со вдетою в ухо серьгой.

О стопу его речи, чьи силы от века велики,
Камень лоб раздробил у шатра, что достоин владыки.

Легковесная мысль вкруг него исходила пути,
Но с пустыми руками от двери пришлось отойти.

Много троп исходив, сокровенной не вызнали тайны,
Равных с ним не нашли, все дела его — необычайны.

Появился и разум, его я на помощь призвал,—
Но постиг свою глупость и сам же его наказал.

Тот, в кого острием его циркуль однажды вонзился,
Тот, как месяц, навек к постиженью его устремился.

Кто на небе седьмом восседает,— стремятся к нему,
Кто по небу девятому ходит,— стучатся к нему.

Небосвода вершина в уборе его ожерелий,
Страстью недра земли изначально к нему пламенели.

Каждый именем жив всемогущим благого творца.
Вечность к трону его ступенями ведет без конца.

Особливо богаты дарами уставших в дороге
Возвестители божьи, чьи вервием связаны ноги.

Те сердца, что, как души, святой чистотою горят,
Только прахом лежать притязают у божиих врат.

Но из праха у врат его зернышко вышло такое,
Что пред садом его сад Ирема — сказанье пустое.

Так и прах Низами,— что изведал поддержку его,—
Нива зерен его и единства его торжество.

ПЕРВОЕ МОЛЕНИЕ
О НАКАЗАНИИ И ГНЕВЕ БОЖИЕМ

Ты, который во времени быть повелел бытию!
Прах бессильный стал сильным, окреп через силу твою.

Знамя вьется твое над живущею тварью любою,
Сам в себе существуешь, а мы существуем тобою.

Ты вне родственной связи, родни для тебя не найдешь,
Ты не сходен ни с кем, и никто на тебя не похож.

Что одно существует вовек неизменно — не ты ли!
Что истленья не знало и впредь неистленно — не ты ли!

Все мы тленны, а жизнь, что не знает предела,— тебе!
Всесвятого, всевышнего царство — всецело тебе!

Прах земной повеленьем твоим пребывает в покое,
Держишь ты без подпоры венчанье небес голубое.

Кто небес кривизну наподобье човгана возвел?
Соли духа не ты ли подсыпал в телесный котел?

Если сменою ночи и дня управляешь ты въяве,
То воскликнуть: «Я — истина!» — ты лишь единственный вправе.

И когда б в мирозданье покой не пришел от тебя,
К твоему бы мы имени влечься не стали, любя.

Благодати твоей снизойти лишь исполнилось время,
Нагрузила земля себе на спину тяжкое бремя.

Если б землю не создал ты с благами стольких щедрот,
То под грузом земли человек надорвал бы живот.

Поклонения бусы твое лишь нанижет веленье
Поклоненье — тебе лишь, запретно другим поклоненье.

Лучше вовсе молчать тем, кто речь не ведет о тебе,
Лучше все позабыть, если память пройдет о тебе.

Кравчий ночи и тот перед чашей твоею смутится,
Славит имя твое на рассвете поющая птица.

Выйди, сдернув завесу, единый во всем искони,
Если я — та завеса, завесу скорее сверни.

Небосвода бессилье лишь ты небосводу покажешь,
Узел мира от мира, единственный, ты лишь отвяжешь.

Знак теперешних дней уничтожь, будь судьею ты сам,
Новый образ принять повели ты небесным телам.

Изреченным словам прикажи ты к перу возвратиться,
Снова займу земли прикажи ты в ничто обратиться.

Блага света лиши достоянье поклонников тьмы,
Отведи от случайного в сущность проникших умы.

Столик шестиугольный своим раздроби ты ударом
И расправься решительно с девятиножным мимбаром.

Ларчик ясного месяца в глину ты нашу заброс,
Круглый камень Сатурна в Венерину чашу заброс.

Ожерелье рассыпь, от которого ночи светлее,
Птице ночи и дня ты крыло обломай, не жалея.

Эту глину, прилипшую к телу земли, соскреби!
Тот кирпич, образующий тело земли, роздроби!

Пыли ночи вели ты с чела у небес осыпаться,
Пусть чело низойдет, а шатру не вели подыматься.

Долго ль будет звучать этот новый напев бытия?
Хоть бы ноту из прежних вернула нам воля твоя.

Опрокинь же и выброс согласье всемирного строя,
Выю неба избавь от кружения сфер и покоя.

Пламя неправосудья — насилья огнем остуди,
Ветер волей своей ниже пыли земной посади.

В пепел ты обрати звездочетов ученых таблицы,
Почитателям солнца вели, чтоб закрыли зеницы.

Месяц ты уничтожь, не достигший еще полноты,
О, отдерни завесу с пустой и ничтожной мечты!

Чтоб явили они божества твоего непреложность
И свою пред тобой засвидетельствовали ничтожность.

Мы — рабы, нерасцветший цветок в опояске тугой,
Мы — цветы с нетелесною плотью. Мы живы тобой.

Если пролил ты кровь, то за это не платишь ты пени,
Тот, кто в петле твоей, и подумать не смей о замене.

Можешь ночи стоянку по воле своей продлевать.
Закатившийся день поутру ты приводишь опять.

Если даже на нас ты и сильно прогневан, для жалоб
Среди нас никому ни охоты, ни сил недостало б.

Ты душе человеческой разум и свет даровал,
Ты испытывать сердце язык человечий призвал.

Небо движется, полюс недвижен твоим изволеньем,
Влажен сад бытия, не обижен твоим изволеньем.

Взгляд шиповника нежный прозрачен в предутренний
час,—
Но не воздух, а пыль твоих ног — исцеленье для глаз.

За завесою светит последнего лотос предела,
Славословить тебя — языка человечьего дело.

О единстве твоем не умолкнет твой раб Низами,
Он в обоих мирах — только пыль пред твоими
дверьми.

Так устрой, чтобы мысли его лишь тебе отвечали,
Ныне выю его ты избавь от капкана печали.

ВТОРОЕ МОЛЕНИЕ
О МИЛОСЕРДИИ И ВСЕПРОЩЕНИИ БОЖИЕМ

В мире не было нас, ты же был в безначальности вечной.
Уничтожены мы, ты же в вечности жив бесконечной.

Твоего изволенья коня запасного ведет
Мир в круженье своем, а попону несет небосвод.

Мы — бродяги твои, без тебя мы бездомны и нищи.
Носим в ухе кольцо, словно дверь в твоем горнем жилище.

Мы тобой таврены, а собаку со знаком чужим
Государь не допустит к державным охотам своим.

Ты же нас допустил, ибо сад твой всевечный над нами,
Мы — с ошейником горлицы, псы мы с твоими таврами.

От создателей всех отклонили мы наши сердца,
Нас лелеешь один, не имеем другого отца.

Наше ты упованье, и ты устрашение наше.
Будь же милостив к нам и прости прегрешение наше.

О, подай же нам помощь, помощника мы лишены,—
Если ты нас отвергнешь, к кому ж мы прибегнуть должны?

Что же вымолвил я? Что сказал языком я смиренным?
Лишь раскаянья смысл в изреченном и неизреченном.

Это сердце — откуда? Свобода свершенья — отколь?
Кто я сам? К твоему всевеличью почтенье — отколь?

Как пустилась душа в этом мире в свой путь скоротечный,
Как стремительно сердце впивало источник предвечный!

Тщась познать свои свойства, у нас ослабели умы,
Но хадис «О постигшем аллаха» усвоили мы.

Речь незрела у нас, своего мы стыдимся усердья,
За незрелость ее да простит нас твое милосердье!

Прибегаем к тебе мы, ничтожнее нежели прах,
Прибегаем к тебе, на тебя уповая, аллах.

Утешителей друг, ты утешь нас по милости многой!
О, беспомощных помощь, своей поддержи нас подмогой!

Караван удалился, отставшим вослед посмотри,
Ты на нас, одиноких, как добрый сосед, посмотри!

Нет подобных тебе. Не в тебе ли защита, в едином?
Сирых ты покровитель,— к кому же иному идти нам?

Совершая молитву, мы взор обратим на тебя.
Если ты к нам неласков, то кто ж приласкает, любя?

Чьи к тебе протянулись с таким упованием руки?
Кто стенает, как мы, чьи сильнее душевные муки?

Слезно молим тебя: отпущение дай нам грехов,
Будь опорой пришедшим под твой защитительный кров!

Чрез тебя Низами и господство узнал, и служенье.
Ныне имя его вызывает в любом уваженье.

Дарованью приветствий наставь его скромный язык,
Сделай так, чтобы сердцем твое он величье постиг!

В ПОХВАЛУ БЛАГОРОДНЕЙШЕГО ПОСЛАННИКА

«Алиф», только лишь был он первой начертан скрижали,
Сел у двери, ее же пять букв на запоре держали.

Дал он петельке «ха» управленье уделом большим,
Стали «алифу» — «даль» ожерельем и поясом «мим».

И от «мима» и «даля» обрел он над миром главенство,
Власти царственный круг и прямую черту совершенства.

Осеняемый сводом из сих голубых изразцов,
Благовонным он был померанцем эдемских садов.

Таковы померанцы: они настоящей порою
Созревают сперва, а потом зацветают весною.

«Был пророком» — хадис, что со знаменем вышел вперед,
Поручил он Мухаммеду кончить пророков черед.

Хризолитовым перстнем стал месяц с желтеющим светом,
А Мухаммеда знак — драгоценным его самоцветом.

В ухе мира висит его «мима» златое кольцо,
И покорно Мухаммеду мира двойное кольцо.

Ты измерил пространство, тебе и мессия слугою,
Все — твои благовестники, все они с вестью благою.

Ты, не ведая букв, языком говоришь огневым,
Ты, в ком «алиф» Адама близ «мима» мессиева зрим.

Прям, как «алиф», он клятв не нарушит, пречестный меж честных,
Первый он и последний, всех выше посланцев небесных.

На окружности мира всех точек он ярких ярчей,
Он утонченный смысл всех на свете тончайших речей.

Всем, что он изрекал, возвеличены знаний страницы,
Измеряется небо охватом его поясницы.

Пусть главы никогда не венчал он гордыней мирской,
Пред мирскою гордыней он все ж не склонился главой.

Целомудренных сонм у него за завесой в гареме,
Целомудрие он удовольствовал яствами всеми.

Прах ступней его с глаза дурные поступки сотрет,
С Мекки дань собирает его на чужбину уход.

Немота его — речь, он безмолвием сердце чарует,
Все сжигает порочное в том, кому дружбу дарует.

Чрез него нам отрадно над смутой своей торжество,
Хоть и смуту принять неминуемо нам от него.

Был главою он всех, все главы приводил он в смятенье,
Был он полюсом, тяжким по весу и легким в движенье.

Он с божественным светом свечу своим сердцем возжег,
Безначальности и бесконечности понял урок.

Солнце, жизни исток, чье лишь он оправдал назначенье,
Полумесяца меньше, светившего в день вознесенья.

В эту ночь вознесенья все знаки он власти обрел,
Сел в венце и при поясе на высочайший престол.

Там он вольно вздохнул, где ему был приют уготован,
Белый, скачущий ночью, был конь им той ночью подкован.

Словно ждали поэты, чтоб он возвратился скорей,
И стихи за уздечку держали, как пегих коней.

Но когда уже всех обскакали те пегие кони,
То удел Низами — лишь забота о конской попоне.

О ВОЗНЕСЕНИИ ПРОРОКА

Полунощной порой, лишь полдневного светоч владыки
Из недвижности вышел и мир озарился великий,

Стали солнцу носилками очи небес девяти,
А Венера с Луною огни обязались нести.

Он в святилище здешнем оставил все стороны света,
Бросил семь поясов и все шесть направлений предмета.

День покинули стопы его, отлетевшие прочь,
На его появленье раденьем ответила ночь.

Слиплись веки у тех, что с глубинами тайн незнакомы,
Он меж тем скакуна повернул, удаляясь от дремы.

Вместе с клеткою плотской из земной унеслась западни
Птица сердца туда, где покой и блаженство одни.

Птицы, даже и ангелы, с ним не тягались в полете,
И редел небосвод, скинув платье с лазоревой плоти.

У божественной птицы и клетка расправила крылья,
Оболочка его, легче сердца, неслась без усилья.

Шаг за шагом, когда возносился он прочь от земли,
Ввысь и ввысь небеса его в страхе смиренном несли.

И глядели насельцы обоих миров на пророка
И в поклоне земном головами склонялись глубоко.

Он последней ступени коснулся ногой, но за ней
Поднялся и еще на божественных сто ступеней.

Скакуна с его стойлом высоким внизу он оставил,
О попоне заботу оставшимся здесь предоставил.

Он жемчужиной стал, обретенною в море земли,
Небеса же ее до венца божества донесли.

Ночью темной, как амбра, жемчужину неба ночного
Бык небесный похитил, изъяв из ноздри у земного.

И когда наступил путешествию должный конец,
Близнецы ему дали свой пояс и Рáк — свой венец.

Неба Колос расцвел при одном появленье пророка,
Этот Колос, расцветший от Льва, он отбросил далеко.

Чтоб измерить, насколько той ночи цена велика,
На Весах ее вес проверяла Венеры рука.

Но столь грузную гирю не взвесить такими весами,—
Легче гири тяжелой весы оказалися сами.

И пока проносился пророк меж сияющих звезд,
Чашу противоядья излил Скорпиону на хвост.

Вдаль метнул он стрелу, где его проходила дорога,
Ею был уничтожен губительный вред Козерога.

Стал Иосифом в кладезе, солнцу подобно, пророк,
Стал Ионою Рыб, ибо кладезь от них недалек.

И лишь в знаке Тельца он поставил Плеяды престолом,
Сразу войско цветов разбросало палатки по долам.

И, лишь в горнем саду на лужайке раскрылся цветок,
Наступил на земле расцветания вешнего срок.

После с неба седьмого повел он почтительно речи,
У пророков прощенья просил, что зашел столь далече.

Звездный занавес неба шаги разрывали его,
На плече своем ангелы знамя держали его.

Полночь — мускус наполнил дыханья его неземного,
Полумесяцем в небе коня его стала подкова.

В эту темную ночь даже молния в беге своем
Не могла бы поспеть за его быстроногим конем.

Словно сокол с шажком куропатки, с пером голубиным,
Уносился Бурлак, лучезарен, к небесным глубинам.

Вечный «лотос предела» — сорочки пророка перед,
Край девятого неба задел он, свершая полет.

Стала днем эта ночь — дня прекрасней земля
не знавала!
Стал цветок кипарисом — прекрасней весны не бывало!

Из нарциссов и роз, что в небесном саду разрослись,
Глаз-нарцисс лишь один насурьмлен был стихом:
«Не косись!»

Лишь девятых небес по ступени достиг бирюзовой
Цвет нарцисса, руками подхваченный снова и снова,—

Его спутники вдруг побросали щиты в забытьи,
Поломали воскрылья, развеяли перья свои.

А пророк чужестранцем, чья долго тянулась дорога,
В дверь смиренно кольцом постучал на пороге чертога.

И, завесою скрыты, тотчас охранявшие дверь
Пропустили его,— одинок он остался теперь.

Шел он дальше без спутников, по неизвестной дороге,
Сам теперь он не ведал, куда приведут его ноги.

А другие остались и внутрь не проникли за ним,
Он же вдруг изменился: не прежним он был, а иным.

Засияли венцом его ноги на темени мира,
И девятое небо, ликуя, с ним жаждало пира.

И по буквам девятого неба провел он калам,
С рукава у небес он списал сокровенный «алям».

Длилось мерно дыханье в своем обиталище тесном,
Обладатель души подвигался в обличье телесном.

Наконец он и края девятого неба достиг,—
И остались в пророке душа лишь и сердце
в тот миг.

К дому сути своей поспешало весомое тело,
Очи стали такими, что нет изумленью предела.

Очи, коим доступен предвечный божественный свет,
Мы представить не в силах, и слов подобающих нет.

Свой возвышенный путь продолжал он, исполнен
величья,—
От себя он отбросил завесу земного обличья.

Лишь на путь запредельный вступил он, его голова
Поднялась, чтоб ее не стеснял воротник естества.

Высочайшие помыслы сердца, чей свет беспределен,
Там достигли привала, где всякий привал
уж бесцелен.

За завесу проникнуть стремленье объяло его,
Но смятенье пред местом вперед не пускало его.

И откинула вскоре завесу рука единенья,
И небесный стал виден дворец через дверь
поклоненья.

И нога голове уступила способность войти,—
Ничего совершенней душа не могла бы найти!

Он ступил, но стопа не ступала: исчезла основа.
Он подпрянул, но места не мог обрести никакого.

Как значенье из слова, пророка был выявлен свет.
Было принято «слово» и сказано было «привет»!

Чудо вечного света, который вовек не убавить,
Лицезрел он очами,— но их невозможно представить!

Лицезренью его были чужды случайность и суть,
За случайность и суть далеко перешел его путь.

До конца, безусловно, как мудрые молвят неложно,
Бога он лицезрел: лицезрение бога возможно.

Да не будет же скрыто, что на́ небе видел пророк.
Да ослепнет сказавший, что бога он видеть не мог.

Он не зрел божества никакими иными глазами,
Видел этими самыми, видел земными глазами!

Вне пространства и места он эту завесу узрел,
Он вне времени шел, в недоступный проникнув предел.

Каждый, кто ту завесу узреть получил дозволенье,
Был допущен туда, где отсутствуют все направленья.

Есть и будет аллах, но в каких-либо точных местах
Нет ему пребыванья, и кто не таков — не аллах.

Отрицая незыблемость божью, порвешь ты с исламом,
Бога с местом связуя, невеждою будешь упрямым.

Бог вино замешал, эту чашу пригубил пророк
И на прах наш невечный из чаши той вылил глоток.

Вечносущего милость его провожала дыханье,
Милосердье его исполняло пророка желанья.

Губы сластью улыбки изволил украсить пророк,
Правоверных к молитве своим он призывом привлек.

Каждый помысл пророка изведал богатство свершенья,
И увидел пророк всех желаний своих исполненье.

Стал он мощен, побыв в той обители рядом с творцом,
И к мирской мастерской, возвратясь, обратился лицом.

Горний путник любовь нам в подарок принес благодатно,
Он в мгновенье одно отлетел и вернулся обратно.

Ты, чьи речи печатью замкнули наш смертный язык,
Ароматом своим животворно ты в души проник.

Пусть же щедрость твоя, о всевышний, не знает предела —
Помоги Низами до конца довести его дело.

ВОСХВАЛЕНИЕ ПЕРВОЕ

Он украсил все девять небес и седмицу планет,
Был последним посланцем, последним пророком Ахмед.

Разум — прах под ногами его, без предела и срока.
Мир, и тот и другой, к торокам приторочен пророка.

На лужайках услад гиацинту свежей не цвести,
В море тайн драгоценней жемчужины ввек не найти.

Девой звездной встает гиацинт среди неба дневного,
В алом яхонте солнца его изначально основа.

Сахар губ не желал он в улыбке раскрыть никогда,
Чтобы жемчуг его у жемчужниц не вызвал стыда.

Сердца тверже, чем камень, вовек не поранил он грубо,—
Как же камень пророку мог выбить жемчужину зуба?

Но одной из жемчужин лишил его камень врага.
Отделил от него, обездолив его жемчуга.

Из темницы ларца от него унеслась драгоценность,—
Удивляться ль, что в камне тогда родилась драгоценность?

Было каменным сердце у камня, безумствовал он:
Был поступок его лихорадочным жаром внушен.

Муфарри́ха вкусить разве камню нашлась бы причина,
Если б жемчуга он не разбил, не растер бы рубина?

Чем уплачивать виру? Мошна ведь у камня пуста,—
Как же вздумал он прянуть и сжатые ранить уста?

Пусть внесут самоцветы, из камня рожденные, плату
За разбитые губы,— оплатят ли зуба утрату?

Драгоценные камни, возникшие в недрах земли,
За жемчужину зуба как вирою стать бы могли?

Стала вирой победа, в боях добыла ее сила,
Добровольно победа главу пред пророком склонила,

Он кровавою влагой омыл свой пораненный рот,
Миру вновь показал, что своих не жалеет щедрот.

Взял он выбитый зуб и врагу, без вражды и без лести,
Отдал в знак благодарности и отказался от мести.

От желаний былых он отрекся затем, что ни в чем
Он в обоих мирах не нуждался, ни в этом, ни в том.

В управлении войск, под его воевавших началом,
Бранным стягом была его длань, а язык был кинжалом.

Зуб кинжалом извергнут его языка, потому
Что остро лезвие и зазубрины вредны ему.

Но затем же все это? — чтоб люди от терний бежали,
Зная щедрость пророка, и розою дух услаждали.

Для чего же колючки, коль розы обильны твои?
Неужели ты четки на хвост променяешь змеи?

Откажись от ворон, если раз любовался павлином.
В сад иди, если раз был ты пеньем пленен соловьиным.

Розой дух Низами, осененный пророком, цветет,
Он над зарослью роз соловьем сладкозвучным поет.

ВОСХВАЛЕНИЕ ВТОРОЕ

Ты, с чьей плотью пречистые души и те несравнимы!
Дух твой кликом взлелеян: «Всю жизнь за тебя отдадим мы!»

Мира центр, над тобой милосердия зданье взнеслось,
Ты у слова «страданье» начальную точку унес.

Караванам арабским звездою ярчайшею самой
Ты в пустыне сияешь, ты — шах венценосцев Аджама.

Им не кажешь пути, и, однако же, ты их ведешь.
Не живешь ты в селенье — селенья ты староста все ж.

Те, кто щедры, как ты,— коль захватят на зрелище снеди,
Есть не будут одни, если голодны рядом соседи.

Вдоволь фиников свежих вкусил ты,— со скатерти той
Ты принес ли и нам то, что гость забирает с собой?

О, разверзни уста, чтобы сахар отведать могли мы,
Кушать финики те, что твоею слюною живимы.

О, волос твоих ночь! В ней спасения день навсегда!
Запылает твой гнев,— это пламя — живая вода.

Перед ликом твоим мой смущение ум озадачен,
Но власы твои — цепи для тех, чей рассудок утрачен.

Стал рабом небосвод, и твой пояс на вые его,
Улыбается утро от солнца лица твоего.

Мир тобою спасен, во грехе пребывавший от века,
По твоей благодати священною сделалась Мекка.

Благовонному праху последним приютом дана,
Целиком благовонной арабская стала страна.

Чудодейственный прах твой, чем ветер царя Соломона,
Что скажу о садах? — лучше рая их злачное лоно.

Кааба, тот ковер, где аллаху вознес ты хвалы,
Жаждет розовой влаги испить из твоей пиалы.

В этом мире твой трон, и твоя здесь сияет корона.
Небеса — твой венец, а земля — основание трона.

Тени нет у тебя, ибо сам ты — величия свет,
Света божьего отблеск, иди же, препон тебе нет!

На четыре основы твое оперлось мусульманство,
Пять молений на дню — твоего ноубáты султанства.

Ты причина, что прах покрывают цветы и трава,
Ты причина, что спала с очей чужестранцев плева.

Не твои ли шаги распустившею волосы ночью
По небесному своду полу провлачили воочью.

И в полу небосвода и злато и жемчуг текут,
И рубаху небес залатал уже солнца лоскут.

Ветер утренний, вея, своею рукою пречистой
Растирает в жемчужнице утра состав твой душистый,

И повсюду, где веет тот ветер,— смятенья полна,
Амбры темная рать уж бросает свои знамена.

Если запах той амбры отдашь, согласившись на мену,
За два мира, то знай: ты назначил дешевую цену.

Дивен «лотос предела» — и им твой престол окаймлен,
А девятое небо — слуга, тебе ставящий трон.

Свет предвечности первый душе твоей влился в оконце,
Что девятое небо? — пылинка в сияющем солнце!

Если б зеркала круг не был утром предвечным воздет,
То на низменный прах не упал бы твой истинный свет.

Сливший в лоне два мира, лежишь ты, землею покрытый,—
Ты не клад драгоценный,— зачем же таишься зарытый?

И такие сокровища в низменном прахе лежат!
Вот откуда обычай глубоко закапывать клад.

Эта бедность — руина, где клад твоей сути таится,
Тень твоя мотыльком на свечу твоей сути стремится.

Цель твоя — небосвод с дуговидным изгибом его,
Дужка горней бадьи — лишь веревка ведра твоего.

Двое — черный и белый,— что вечно по кругу стремятся,
Извещают тебя, что в дорогу пора подыматься.

Разум ищет здоровья, и врач исцеляющий — ты.
Диво, месяц пленившее, в небе блуждающий — ты.

Ночь для чающих в день обрати всемогущим веленьем,
Озари Низами нескудеющим благоволеньем!

ВОСХВАЛЕНИЕ ТРЕТЬЕ

Ты, с мединским плащом и мекканской вуалью! Доколе
Солнцу сути твоей укрываться во тьме и неволе?

Если месяц ты, дай нам хоть тоненький лучик любви!
Если розой расцвел, нас в божественный сад позови!

У заждавшихся срока уж губ достигает дыханье,
Мы взываем к тому, кто взывающих слышит воззванье.

Правь к Аджаму коня, расставайся с арабской
страной,—
Ждет буланый дневной, наготове ночной вороной.

Этот мир обнови, о, устрой благомудро державу,
По обоим мирам ты разлей свою добрую славу.

Сам монету чекань, чтоб эмир их чеканить не стал,
Сам молитвы читай, чтоб хатиб их читать перестал.

Прах твой лоно земли благовонием розы овеял,—
Только ветр лицемерья сегодня тот запах рассеял.

Отними ты подушку у тех, кому сладок покой.
Ты мимбар от нечистых священным обмывом омой.

Дэвы в дом забрались,— прогони же ты их, прогони же!
В закром небытия ниспровергни ты сонм их бесстыжий!

Им убавь содержанье,— и так набивают живот!
Отними их надел — довольно им грабить народ!

Все мы — тело. О, будь нам душою, и станет светло нам.
Если мы муравьи, ты для нас окажись Соломоном.

Таковы их повадки: и делают в вере пролом,
И они же потайно в засаде сидят за углом.

Ты над стражею главный — а где каравану защита?
Ты начальствуешь центром — и знамя лишь в центре
развито?

Кликни праведным воинам клич боевой: «О Али!»,
Возгласи: «О Омар!», чтоб стопы сатаны не прошли.

Ночь волос распусти вкруг сиянья луны, о владыка,
Из потемок плаща подыми ты сияние лика.

Препоясайся в бой,— малочисленны эти ханжи.
Вредоносной исламу их клике конец положи!

Лет пятьсот пятьдесят мы проспали, проснуться
нам впору;
Близок мира конец, поспешай ко всеобщему сбору.

Из могилы восстань, прикажи Исрафилу задуть
Тех светильников пламя, что в небе свершают свой путь.

За завесою тайн в одиноком пребудь отрешенье.
Мы заснули давно — час настал твоего пробужденья.

Этот дом погибает, махни же рукой, отойди
От погибели дома,— но за руку нас поведи.

Все, что ты одобряешь, достойно всегда оправданья,
И никто на тебя наложить не намерен взысканья.

Если взором ты будешь глядеть благосклонным на нас,
Все, что нам на потребу, доставить ты сможешь тотчас.

Круг перстом обведи, указуя предел расстояньям,
Чтобы сущее все оказалось твоим достояньем.

Кто участвовать мог бы в вершимых тобою делах,
Чтоб помилован был уместившийся в горсточке прах?

Только занавес тайны рукой твоей будет откинут,
Власяницы свои оба мира совлечь не преминут.

Прежде мозг Низами о тебе был тоскою томим,—
Ныне вновь оживлен благовонным дыханьем твоим.

Верность в душу поэта вдохни в этом мире коварства
И его нищете подари Фаридуново царство.

ВОСХВАЛЕНИЕ ЧЕТВЕРТОЕ

Ты в Коране посланцев жемчужина выше сравненья!
Тем даруешь венцы, кто возвышен по праву рожденья.

Те, кто здесь рождены или в чуждых пределах живут,
В этом доме толпятся, твоего покровительства ждут.

Тот, кем бейт бытия был во имя посланника начат,
Знал, что имя его только рифмой конец обозначит.

Мир в развалинах был, но когда указанье пришло,
Вновь тобой и Адамом отстроено было село.

В воздвигаемом доме мы лучшей красы не встречали,
Чем последний кирпич и вода, налитая вначале.

Ты — Адам, ты и Ной, но превыше, чем тот и другой,
Им обоим тобою развязан был узел тугой.

Съел Адам то зерно, где исток первородного срама,
Но раскаянье слаще варенья из роз для Адама.

В покаянный цветник благовонье твое пролилось.
И лишь прах твоей улицы — сахар Адамовых роз.

Лишь по воле твоей роз раскаянья сердце вкусило.
Так раскаялись розы, что сахаром их оросило.

Мяч покорности богу в предвечности был сотворен,
На ристалище сердца посланником брошен был он.

Был Адам новичком, и, с човганом его незнакомый,
Мяч он клюшкой повел, этой новой забавой влекомый.

Но когда его конь устремился пшеницу топтать,
Мяч пришлось ему бросить и в угол ристалища стать.

Ной живою водой был обрадован, мучась от жажды,—
Но изведал потоп, потому что ошибся однажды.

Колыбель Авраамова много ль смогла обрести?
Полпути проплыла и три раза тонула в пути.

Лишь Давиду стеснило дыханье, он стал поневоле
Низким голосом петь, как певать не случалось дотоле.

Соломона был нрав безупречен, но царский удел
Лег пятном на него, и венца он носить не хотел.

Даже явное видеть Иосиф не мог из колодца,—
Лишь веревку с бадейкой, которой вода достается.

Хызр коня своего повернул от бесплодных дорог,
И полы его край в роднике животворном намок.

Увидал Моисей, что он чаши лишен послушанья,
И о гору «Явись мне» сосуд он разбил упованья.

Иисус был пророком, но был от зерна он далек,
А в пророческом доме не принят безотчий пророк.

Ты единственный смог небосвода создать начертанье,
Тень от клюшки один ты накинул на мяч послушанья,

На посланье — печать, на печати той буквы твои.
Завершилась хутба́ при твоем на земле бытии.

Встань и мир сотвори совершеннее неба намного,
Подвиг сам соверши, не надейся на творчество бога.

Твой ристалищный круг ограничен небесной чертой.
Шар земной на изгибину клюшки подцеплен тобой.

Прочь ничто удалилось, а бренность не вышла на поле,—
Так несись же, скачи — все твоей здесь покоряется воле!

Что есть бренность? Из чаши похитит ли воду твою?
Унести твою славу по силам ли небытию?

Ты заставь, чтоб стопа небытья в небытье и блуждала,
Чтобы бренности руку запястие бренности сжало.

Речь дыханьем твоим бессловесным дана существам,
Безнадежную страсть исцеляет оно, как бальзам.

Разум, вспомоществуем твоим вдохновенным уставом,
Спас нам судно души, погибавшее в море кровавом.

Обратимся к тебе, обратясь к девяти небесам,
Шестидневный нарцисс — украшенье твоим волосам.

Наподобье волос твоих мир всколыхнется широко,
Если волос единый падет с головы у пророка.

Ты умеешь прочесть то, чего не писало перо,
Ты умеешь узнать то, что мозга скрывает нутро.

Не бывало, чтоб буквы писал ты своими перстами,
Но они никогда не стирались чужими перстами.

Все перстами сотрется, лишится своей позолоты,—
Только речи твои не доставили пальцам работы.

Стал лепешкою сладкою прах из-под двери твоей,
Улыбнулись фисташкою губы, кизила алей,

Хлеба горсть твоего на дороге любви, по барханам,
Это на́ сорок дней пропитанья — любви караванам.

Ясный день мой и утро спасенья везде и всегда!
Я у ног твоих прах, ибо ты мне — живая вода.

Прах от ног твоих — сад, где душа наполняется миром,
И гробница твоя для души моей сделалась миром.

Из-под ног твоих пылью глаза Низами насурьмлю
И попону коня на плечо, как невольник, взвалю.

Над гробницей пророка, подобной душе беспорочной,
Поднимусь я, как ветер, и пылью осяду песочной.

Чтобы знатные люди из праха могли моего
Замешать галию и на голову вылить его.

ПРОСЛАВЛЕНИЕ ЦАРЯ ФАХРАДДИНА БАХРАМ-ШАХА, СЫНА ДАУДА

В этом временем созданном мире, как точка в кругу,
Пребываю я пленным и с центра сойти не могу.

С ног мне пут не сорвать. Я твоей добротой обеспечен.
Я под сенью твоей, сам же фарром царей не отмечен.

В прах сыпучий земли я ногами глубоко залез,
Между тем мои руки — в суме переметной небес.

С головою склоненной я шел размышлений тропою,
Молча шел со склоненной до самых колен головою.

Пролилось на колени сиянье лица моего,
И зерцалом души они стали от света его.

Был я мыслями весь погружен в созерцанье зерцала,
А зерцало очей окружающий мир созерцало,—

Не блеснет ли зерцало иное, сияньем маня,
Не сверкнет ли откуда нежданный огонь для меня?

И лишь только мой разум, прийти к заключенью способный,
Мир вокруг обежал и разведкой проверил подробной,

Между разумов высших мой разум увидел царя,
Раздающего саны, живущего, благо творя.

Шаха с дланью победной, счастливой звездой всемогущей,
Мира розовый куст, под лазоревым сводом цветущий,

В Хызре дух Александра, суждений прозрачный родник,
И вождя звездочетов, что в смысл Альмагеста проник.

В нем первейшую цель мои очи сейчас же узрели,
В нем, к кому обращается стих, именуемый «Цели».

Чей венец — небосвод, чьей печатью владел Соломон.
Мудрый царь Фахраддин, слава мира и гордость времен!

Он рожден от Давида, и стало для сына законом,
Чтоб его самого величали царем Соломоном.

Стяг Исхака высоко его иждивением взвит,
Если есть ему враг, то единственно — исмаилит.

Все пределы земли восхищает не знающий страха,
Центр небесных кругов, тот, что именем горд Бахрам-шаха.

Он — и тот, осененный Бахрамом и тоже Бахрам,
Ловчий, бивший онагров, онагром же прозванный сам.

Им кичатся владыки, затем что он прочих могучей,
Он — прославленный веком знаток наивысшего лучший.

Трон султанов он занял и занял халифов престол,
Одолел византийцев, абхазцев к покорству привел.

Из живущих людей справедливостью самый богатый,
Самый щедрый из щедрых, пытливостью самый богатый.

Небосвод — твоя вера, державство — звезда в небесах,
Не жемчужница ль царство, не жемчуг ли —
ног твоих прах!

Он ручей, он и море, в них рыб и жемчужин немало,
Нет прозрачней ручьев, и обильней морей не бывало.

Этот ртути источник по длани его наречен.
Как и ртуть, постоянно бежит и колышется он.

Тот смеющийся лал, украшающий пояс пророка,
В пояс горний попав, поднимается лалом с востока.

С ним затеять борьбу не захочет никто никогда,—
Из окна голубого на дерзкого грянет беда.

Колокольчика звоном литавру небес он расколет
И сосудец луны — только дунуть в него соизволит!

Сердце весело в нем, зачинает он ладно дела,
Человечен душой, завершает изрядно дела.

Щедрость — чаша твоя, с нею кравчий — рука
нераздельна,—
Век в ней будет вино, ибо шахова жизнь беспредельна.

Благородство людей и деяния их — от тебя.
Свет у мира в очах, все сияние их — от тебя.

Дар за даром, победы у неба берешь без опаски,
Сразу девять утроб тяжелы от одной твоей ласки.

Уши рыб, что внизу и вверху, рады створками стать
Тех прекрасных жемчужин, что будут твой меч
украшать.

Ясный месяц, что ночью свой меч над землею возносит,
Только меч твой завидит — и щит, опозорившись, бросит.

Меч твой светлый — струя, что, как воды Евфрата,
чиста,
Ею ра́злит сосуд, где врагов твоих жизнь налита.

Тот, кто гневом затоплен твоим, упоенный покоем,
Будет паводком смыт, если б он оказался и Ноем.

Кей-Хосров ты умом, твою чашу наполнил
Джамшид,
Мотыльком на свече — на лице твоем солнце сгорит.

Будь же в храбрости львом — ведь и храбрый с тобою
не спорит.
«Львом» — сказал я? Ошибся: и льва твоя сила поборет.

Ты из племени львов, что по зарослям частым живет.
Всех опаснее ты, пред тобой лишь дрожит небосвод.

Закаленному в битвах, отважному сердцу какому
Ополчаться на брань, чтоб тягаться с тобой по-пустому?

Для всего, что родится под сводом небес голубых,
Власть одна непреложна: могущество дланей твоих.

Много знатных людей ты поставил на власть, как
правитель.
Но единственно ангел тебе самому покровитель.

Начертала судьба: «Он последний в круженье времен»,
На земле твоей ветер семь букв написал: «Соломон».

Бог, который дает благородство, и силу, и славу,
Дал тебе, государь, разуменье всего и державу,

Благодатные дни твои в золото пыль обратят,
Лишь помянем тебя — и становится сахаром яд.

Без тебя Фаридун пусть вино свое выпьет,— однако
Все же вытянуть сможет змею из плеча у Заххака.

Пей вино! У тебя есть и кравчий и музыка,— пей!
Ты снедаем печалью,— о, вспомни о власти своей!

Ты охрана державы, султанов приют и опора,
И мечом и венцом обладаешь ты, чуждый укора.

Ты с мечом необорным сюда самовольно пришел,
И венец захватил, и насильственно сел на престол,—

Как законный халиф, соблюдаешь, однако, законы,
Забираешь венцы, раздаешь кому следует троны.

Выше царских венцов оконечность меча твоего,—
Как же дани не брать с государей, признавших его?

Трон получит глава, на которую встанешь пятою,
Осчастливлено сердце, где занято место тобою.

В птицу счастья, в Хумай, при тебе обратилась сова.
Приближаясь к тебе, станет как бы ступней голова.

Вновь на правильный путь те, кто сбились с пути,
обратились,
Слышны жалобы: жалобы все прекратились.

Рахш твой — мира оплот; у него к одному из копыт
Недруг твой четырьмя — как подкова — гвоздями прибит,

Семь небес — лишь ларец, где, как жемчуг,— души твоей
благá,
Восемь райских садов — твоего лишь полотнище стяга.

Если лба не наклонит пред волей халифа гордец,
То сейчас же уздечкой на нем обернется венец.

Все ты знаешь на свете, постиг ты науки не все ли?
Ты душа двух миров, что в одном сочетаются теле.

Ухо щедрости тронь, благонравью людей научи,
Дай дыханью зажечься о пламя словесной свечи!

Ты раба своего удовольствуй почетным халатом,
Книгу — дар Низами — ты согласья овей ароматом.

Пусть он тучен от слов и духовными яствами сыт,
За столом у тебя все же нищим и тощим сидит.

Рудники — без рубинов, и нет уже в море жемчужин,
Дай рубин им из уст, из руки твоей жемчуг им нужен.

А тому, кто завистлив, чья злоба кипит, горяча,
Дай рубин наконечников стрельных и жемчуг меча.

Если счастья звезда над тобою на небе зардела,
Будь во славу твою окончанье начатого дела.

Будь один одарен, а другой уничтожен тобой:
Я — тобой одарен, уничтожен — твой недруг любой.

Пусть победа твоя, словно стяг, держит голову прямо,
Враг же голову клонит к земле, наподобье калама.

О ПОЛОЖЕНИИ И ДОСТОИНСТВЕ ЭТОЙ КНИГИ

Я, которым прославлена свежая роза моя,
В розах шахских садов распеваю звучней соловья.

Я дышу лишь тобой, и все жарче и все полновесней,
Словно в колокол, бью я своей призывающей песней.

Для напева слова́ мне никто бы не смел указать.
Говорю только то, что мне сердце велело сказать.

Необычные вещи показаны мною.
Новый очерк им создан, и каждая стала иною.

Много утренних зорь о премудром раздумывал я.
Из колдующих зорь ныне сшита завеса моя.

В ней высокий удел и покорное нищенство слиты,
И сокровища тайные этой завесой укрыты.

Этот сахар не видел слетевшихся мошек. Я мал,
Словно мошка, но все же я сахар чужой не сбирал.

Этот мир недоступным окажется даже для Ноя,
Даже Хызр свой кувшин разобьет у сего водопоя.

И, взыскуя прекрасного, нужных искал я примет.
Стал я жребий метать и благой получил я ответ.

В двух краях книги две засверкали. В своей благодати
Два на них Бахрам-шаха свои положили печати.

Книга первая — золото. Новый открылся рудник.
А вторая — жемчужина. Дар из пучины возник.

Та — для всех из Газны́ понесла свое знамя. Другая —
На румийском дирхеме чекан поместила, сверкая.

Хоть звенит звонким золотом прежний блестящий дирхем,
Мой дирхем золотой ты сравнить не сумеешь ни с чем.

Пусть моих караванов не так многочисленны вьюки,
Но сдаю свой товар я в прекрасные, в лучшие руки.

Вникни в книгу мою. Книга будто чужда и странна.
Но прими ее ласково. Близкою станет она.

В ней слова — что цветы насажденного правильно сада.
В ней лишь только свое, ничего ей чужого не надо.

Все в ней создано лучше, чем в мире и суши и вод.
Эта книга свежей и древней, чем лазоревый свод.

И с окраской она всей сверкающей шири не сходна,
И она с языком, существующим в мире, не сходна.

Для стола твоего эти яства готовились мной.
Их прими, государь, их никто не касался иной.

Коль они хороши, то да будет тебе в них услада,
Если нет, то и помнить о яствах подобных не надо.

Ты читай мою книгу, блистая меж звездных гостей,
Со стола своего ты мне кинь хоть немного костей.

Я ведь только твой пес, и расстался я с роком угрюмым,
Услужая тебе этим лаем покорным и шумом.

Мне немало владык благосклонно внимало, но я
Их оставил. Тебе предназначена служба моя.

Будет время, я знаю, на верного глянешь ты с верой
И, приблизив меня, наградишь меня полною мерой.

Хоть в чертог, где живут только те, чьи сверкают венцы,
Для хвалений вседневных пришли отовсюду певцы.

Оценить Низами кто из них не сумел? Одиноко
Он стоит пред певцами, стоит перед ними высоко.

На стоянке одной повстречался я с ними в пути.
На один переход я их все же сумел обойти.

Мой язык — что алмаз. Это меч мой,— тебе ведь он ведом.
Я им головы снес, всем за мной появившимся следом.

Этот меч Низами, многим головы сбросивший с плеч,
Не стареет. Ведь он — притупленья не знающий меч.

Хоть мне равных и нет и удел мой высок настоящим,—
Но для ног Низами есть предел, еще выше стоящий.

Я к зениту лечу, хоть его и высоки сады,
Но вкушу я, быть может, своих помышлений плоды.

И, быть может, твоим благосклонным утешенный словом,
Возле ног твоих царских склонюсь я под царственным кровом.

Чтоб достичь небосвода, за пыль твоих стоп ухвачусь.
До созвездий крутящихся как же еще я домчусь?

Быть с тобой два-три месяца так я хотел, чтоб хвалами
Твой порог осыпать. Но суровыми, злыми делами

Занят горестный мир; я в кольце, и заказан мне путь.
И тугое кольцо я не в силах сейчас разомкнуть.

Чтобы быть мне с тобой, чтобы встать мне у тронных подножий,—
Мне казалось, о шах, из своей мог бы выйти я кожи.

Но хоть множество львов на дорогах предчувствовал я,
Хоть мечей и кинжалов сверкали везде лезвия,

На путях, преграждаемых злыми клинками,— с тобою
Пребываю душой. Утверждаю тебя я хутбою.

Направляю к тебе я бегущую воду речей.
Я — недвижный песок, славословья звенящий ручей.

Я пылинка. Ты — солнца на утреннем небе явленье.
Я молюсь на заре. Да услышится это моленье!

Сердце — море. В нем жемчуг. Мой жемчуг сияет огнем.
Этот жемчуг — подвески на поясе царском твоем.

Ночь твоя пусть вовек ярче звездных блестит узорочий!
Пусть твои жемчуга озаряют течение ночи!

Пусть тебя в сей обители бедствий не мучает гнет!
Пусть другая обитель тебе еще ярче блеснет!

РЕЧЬ О ПРЕВОСХОДСТВЕ СЛОВА

В час, как начал надзвездный свои начертанья калам,
С первой буквы о слове он начал рассказывать нам.

В час, как с тайны предвечной упали тумана покровы,
Стало первым явленьем — сиянье великого слова.

Слово в сердце проникло, к неведомой жизни спеша.
В глину вольное тело вместить пожелала душа.

И небесный калам, золотые сплетая узоры,
Мудрым словом раскрыл мировому познанию взоры.

Если б не было слова, то кто бы о мире сказал?
Слов поток развернулся; всезнающий, не был он мал.

Слово страсти — душа. Мы — лишь только дыхание слова.
Мы приходим к нему под сияньем всезвездного крова.

Нити связанных мыслей, ночную развеявших мглу,
Много слов привязали к стремительной птицы крылу.

В том саду, над которым предвечные звезды повисли,
Что острее, чем слово толкующих тонкие мысли?

Ведай: слово — начало, и ведай, что слово — конец.
Многомудрое слово всегда почитает мудрец.

Венценосцы его венценосцем всевластным назвали,
Мудрецы же его доказательства ясным назвали.

И порою оно величавость дает знаменам.
И порою его прихотливый рисует калам.

Но яснее знамен оно часто вещает победы,
И калама властней вражьим странам несет оно беды.

И хоть светлое слово не явит благой красоты
Почитателям праха, чьи праздные мысли пусты,—

Мы лишь в слове живем. Нас объемлет великое слово:
В нем бесследно сгореть наше сердце всечасно готово.

Те, что были как лед, засветили им пламенник свой.
А горящие души его усладились водой.

И оно всех селений отраднее в этом селенье,
И древней, чем лазурь, и, как небо, забыло о тленье.

С цветом выси подлунной и шири не сходно оно,
С языками, что слышатся в мире, не сходно оно.

Там, где слово свой стяг поднимает велением бога,
Там несчетны слова, языков там несчитанных много.

Коль не слово сучило бы нити души, то ответь,
Как могла бы душа этой мысли распутывать сеть?

Весь предел естества захватили при помощи слова.
Письмена шариата скрепили при помощи слова.

Наше слово имел вместе с золотом некий рудник.
Пред менялою слова он с этой добычей возник.

«Что ценней,— он спросил,— это ль золото, это ли слово?»
Тот сказал: «Это слово». — «Да слово!»— промолвил он снова.

Все дороги — до слова. Весь путь неземной для него.
Кто все в мире найдет? Только слово достигнет всего.

Слов чекань серебро. Деньги — прах. Это ведаем все мы.
Лишь газель в тороках у блестящего слова — дирхемы.

Лишь оно на престол столько ясных представило прав,
И держава его всех земных полновластней держав.

Все о слове сказать наше сердце еще не готово,
Размышлений о слове вместить не сумело бы слово.

Путь же славится слово, пока существует оно!
Пусть же всем, Низами, на тебя указует оно!

ПРЕВОСХОДСТВО РЕЧИ, НАНИЗАННОЙ В ДОЛЖНОМ ПОРЯДКЕ, ПЕРЕД РЕЧЬЮ, ПОДОБНОЙ РАССЫПАННЫМ ЖЕМЧУГАМ

Если россыпи слов, что размерной не тешат игрой,
Те, что чтут жемчуга, жемчугами считают порой,

Тонких мыслей знаток должен знать, что усладою верной
Будет тонкая мысль, если взвешенной будет и мерной.

Те, что ведают рифмы, высоко влекущие речь,
Жемчуга двух миров могут к речи певучей привлечь.

Двух сокровищниц ключ,— достижений великих основа,—
Есть язык искушенных, умеющих взвешивать слово.

Тот, кто меру измыслил, к напевам влекущую речь,
Предназначил искусным блаженство дающую речь.

Все певцы — соловьи голубого престола, и с ними
Кто сравнится, скажи? Нет, они несравнимы с другими.

Трепеща в полыханье огня размышлений, они
Сонму духов крылатых становятся часто сродни.

Стихотворные речи — возвышенной тайны завеса,—
Тень речений пророческих. Вникни! Полны они веса.

В том великом пространстве, где веет дыханье творца,
Светлый путь для пророка, и далее — он для певца.

Есть два друга у Друга, чья светлая сущность едина,
Все слова — скорлупа, а слова этих двух — сердцевина.

Каждый плод с их стола — ты приникнуть к нему
поспеши —
Он не только лишь слово — он свет вдохновенной души.

Это слово — душа. Клювом глины ее исторгали.
Мысли кажет оно. Зубы сердца его разжевали.

Ключ речений искусных не стал ли водою простой?
От певцов, что за хлеб разражаются речью пустой?

Но тому, для кого существует певучее слово,
Дан прекрасный дворец. Он приюта роскошней земного.

И к коленам своим наклоняющий голову — строг.
Не кладет головы он на каждый приветный порог.

Жарким сердцем горя, на колена чело он положит,
И два мира руками зажать он, как поясом; сможет.

Если он, размышляя, к коленам склоняет лицо,
Он в раздумье горячем собой образует кольцо.

И, свиваясь кольцом, в бездну вод повергает он душу,
И затем, трепеща, вновь ее он выносит на сушу.

То в кольце созерцанья горит он, спешит он,— и вот
Он вдевает кольцо даже в ухо твое, небосвод!

То в ларец бирюзовый — уменья его и не взвесить! —
Только шарик вложив, из него достает он их десять.

Если конь его мчится и взлета страшна высота.
Его дух, замирая, его лобызает уста:

Чтоб достичь рудника, где свои добывает он лалы,
Семь небес он пробьет, совершая свой путь небывалый.

Как согласных детей, он слова собирает,— и рад
Их к отцу привести. Их отец — им излюбленный лад.

Свод небесный идет, изгибаясь, к нему в услуженье;
Тяжкой службы тогда незнакомо певцу униженье.

И становится благом напев его дышащих слов,
И любовью становится множества он языков.

Тот, кто образ рождает и мчится за образом новым,
Будет вечно прельщаться его вдохновляющим словом.

Пусть его Муштари чародейств поэтических чтут.
Он подобен Зухре. Им повержен крылатый Харут.

Если речи поклажа для дерзостных станет добычей,
Речь унизят они; это всадников низких обычай.

Их набеги готовы мой разум разгневанный сжечь!
Украшатели речи лишают достоинства речь.

Сердца плод, что за душу певец предлагает победный,—
Разве это вода, что за пищу вручает нам бедный?

Уничтожь небосвод, этот ряд нам ненужных узлов,
Препоясавших пояс! Щадить ли метателей слов?

Ты мизинцем ноги развязать каждый узел во власти.
Наши руки бессильны. Избавь нас от этой напасти!

Те, что ждут серебра, а за золото на смерть пойдут,—
Лишь одно серебро, а не золото людям несут.

Кто за деньги отдаст то, что светит светлее, чем пламень,
За сияющий жемчуг получит лишь тягостный камень.

Что еще о «премудрых»? Ну, что мне промолвить о них?
Хоть восходят высоко, они ведь пониже других.

Тот, носивший парчу, тот, кто шаху казался любезным,
Все же в час неизбежный куском подавился железным.

Тот, кто был серебром, тот, кто к золоту ртутью не льнул,
От железа Санджара — ведь он — серебро! — ускользнул.

Речью созданный мед отдавать за бесценок не надо,
Не приманивай мошек. Для них ли вся эта услада!

Не проси. Ведь за верность без просьбы получишь дары,
Для молитвы в стихах нужно должной дождаться поры.

До поры как Закон не почтит тебя благостным светом,
Не венчайся ты с песней. Смотри же запомни об этом!

Возведет тебя песня на лотос предельных высот,
И над царствами мысли высоко тебя вознесет.

Коль закон осенит твою песню высокою сенью,
В небесах Близнецы не твоей ли оденутся тенью?

Будет имя твое возвеличено. Ведает мир,
Что «владеющий ладом в эмирстве речений — эмир».

Небосводу не надо к тебе наклоняться. В угоду
Светлым звездам твой стих будет блеском сродни
небосводу,

С головою поникшей ты будь как подобье свечи.
Днем холодный всегда, пламенеющим будь ты в ночи.

Если мысль разгорится в движенье и жарком и верном,
Станет ход колеса, как движение неба, размерным.

Без поспешности жаркой свою облюбовывай речь,
Чтобы к выбору речи высокое небо привлечь.

Если в выборе медлишь и ждешь ты мучительно знанья,
Лучший лад обретешь ты: дадутся тебе указанья.

Каждый жемчуг на шею ты не надевай, погоди!
Лучший жемчуг, быть может, в своей ты отыщешь груди.

Взвивший знамя подобное — шар у дневного светила
Отобрал,— и душа, с ним играя, свой мяч упустила.

Хоть дыханье его не горело, не мчалось оно,
То, что создано им, все ж дыханьем горящим полно.

В вихре мыслей горя, он похитил — об этом ты ведай —
Все созвездья, хоть сам пристыжен будет этой победой.

Из крыла Гавриила коня он себе сотворил,
И перо-опахало вручил ему сам Исрафил.

Пусть посевов твоих злой урон от нашествия минет!
Пусть конца этой нити никто у тебя не отнимет!

Ведь с инжиром поднос стал ненужным для нас потому,
Что все птицы из сада мгновенно слетелись к нему.

Прямо в цель попадать мне стрелою певучей привычно,
На меня посмотрите. Творенье мое необычно.

Мною келья стихам, как основа их мысли, дана,
Дал я песне раздумье. Приемных не знает она.

И дервиш и отшельник — мои не прельстительны ль
чары? —
Устремились ко мне. Не нужны им хырка и зуннары.

Я — закрытая роза: она в ожиданье, что вот
На ее лепестки ветерок благодатный дохнет.

Если речи моей развернется певучая сила,
То молва обо мне станет громче трубы Исрафила.

Все, что есть, все, что было, мои услыхавши слова,
Затрепещет в смятенье от властного их волшебства.

Я искусством своим удивлю и смущу чародея,
Обману я крылатых, колдующим словом владея.

Мне Гянджа — Вавилон, тот, которым погублен Харут.
Светлый дух мой — Зухра, та, чьи струны в лазури поют.

А Зухра есть Весы, потому что мне взвешивать надо
Речь духовную. В этом от всех заблуждений ограда.

В чародействе дозволенном пью я рассветов багрец,
Вижу свиток Харута. Я новый Харута писец.

Я творю, Низами, и своих я волшебств не нарушу.
Чародейством своим в песнопевца влагаю я душу.

О НАСТУПЛЕНИИ НОЧИ И ПОЗНАНИИ СЕРДЦА

Солнце бросило щит, и щитом черной тени земля
Пала на воду неба, прохладу ночную суля.

Сердце мира стеснилось. Светило так тяжко дышало,
Ниспаданье щита все вокруг с желтым цветом смешало.

И, спеша, войско солнца — его золотые лучи —
Над его головою свои обнажило мечи.

Если падает бык, хоть он был ожерельем украшен,
Все клинки обнажают. Ведь он уже больше не страшен.

Месяц — нежный младенец — за ночь ухватился, а та
Погремушку мерцаний пред ним подняла неспроста.

Ей самой был тревожен сгустившийся мрак, и для мира
Не жалела она серебро своего эликсира.

И дыханьем Исы стал простор благовонный, земной;
Светлой влагой он залил пылание страсти ночной.

И смягчились настоем страдания мира больного,
И о сумраке страстном он больше не молвил ни слова.

Сколько крови он пролил! О, сколько ее он хранил!
Он простерся на ложе, и стал он чернее чернил.

И сказала судьба, все окинувши взором проворным:
«Мир с неверными схож, потому-то и сделался черным!»

И мгновение каждое эта ночная пора
Лицедейство творила, и кукол мелькала игра.

И луна то белела, то в розах подобилась чуду,
И Зухры яркий бубен дирхемы разбрасывал всюду.

* * *

Я в полуночной мгле, что была распростерта кругом,
Был в саду. Но мечтал я о саде другом.

С кровью сердца сливал я звучание каждого слова;
Жар души раздувал я под сенью полночного крова.

И, прислушавшись к слову, свою я оценивал речь,
И смогли мои мысли меня к этой книге привлечь.

И услышал я голос: «Ты с мыслями спорить не смеешь,
То возьми ты взаймы, что отдать ты бесспорно сумеешь.

Почему на огонь льешь ты воду приманчивых дней
И запасный твой конь — буйный ветер мгновенных
страстей?

Буйный прах позабудь, будто в мире узнал он кончину,
Но огонь ты отдай огневому благому рубину.

Быстрых стрел не мечи, ведь сужденье разумное — цель.
Плеть свою придержи. Неужель бить себя, неужель?

Но настала пора. Оставаться нельзя неправдивым.
К двери солнца приди водоносом с живительным дивом.

Пусть твой синий кувшин наши взоры утешит сполна;
Пусть он повесть хранит, и да будет отрадна она!

От пяти своих чувств, от злодеев своих убегая,
Путь у сердца узнай, иль не знать ему нужного края?»

Тем, чье чистое племя к девятому небу пришло,
Гавриила пресветлого дивное веет крыло.

От обоих миров отвратить поспешивший поводья,
Встретив нищенство сердца, благие увидит угодья.

«Сердце — глина с водой». Если б истина в этом была,
Ты бы сердце такое у каждого встретил осла.

Дышит все, что живет, что овеяно солнечным светом.
Будь же сердцем горяч; бытие твое только лишь в этом.

Что есть уши и очи? Излишек природы они.
Видят только лишь плен, только синие своды они.

Ухо — правды не слышит, как розы тугой сердцевина.
Очи разум смущают, они — заблуждений причина.

Что же розы с нарциссами чтишь ты в саду бытия?
Пусть каленым железом сжигает их воля твоя.

Словно зеркало — глаз: отразится в нем каждый ничтожный,
Он лишь в юности тешится мира отрадою ложной.

Знай: природа, что миру твой сватает разум, должна
Сорок лет ожидать. Денег раньше не сыщет она.

Все же за сорок лет, чтобы стать пред желанным порогом,
Много денег она разбросает по многим дорогам.

Ныне друга зови. Заклинанья иные забудь.
Сорок лет подойдет, и тогда лишь всезнающим будь.

Руки сердца простри и гляди с ожиданием в дали.
Пусть разделит печаль тот, кто будет опорой в печали.

Не грусти! Вот и друг; он твою разделяет печаль.
Грусти шею сверни. Вместе с другом к отрадам причаль.

Распростертый в печали, подобной томленью недуга,
Помощь добрую сыщешь ты в помощи доброго друга.

Если дружат друзья так, что будто бы дышат одним,
Сто печалей, умчась, никогда не воротятся к ним.

Только первое утро забрезжит мерцающим светом,
Крикнет утро второе, и звезды погасит при этом.

Знаем, первое утро не будет предшествовать дню,
Если дружба второго его не поможет огню.

Коль один ты не справишься с трудностью трудного дела,
Тотчас друга зови, чтобы дружба о нем порадела.

Хоть не каждый наш город богат, как блистательный Хар,—
Каждый найденный друг — небесами ниспосланный дар.

Нужен каждому другу; с ним пойдешь ты в любую дорогу,
Лучший друг — это друг, что приходит к тебе на подмогу.

Два-три чувства твои не премудры; они не друзья;
Их кольцом ты стучишь только в дверь своего бытия.

Руки вдень в торока устремленного сердца! Отрада
Быть добычею сердца. Ему покоряйся. Так надо.

Царь девятого неба, к тебе нисходящий в тиши,
Создал видимый мир, создал светлое царство души.

Следом души людей были созданы миром нездешним,
И души устремленье смешал он с обличием внешним.

Эти двое обнявшихся создали сердце. Оно
На земле воцарилось. Так было ему суждено.

И дано ему царством великим владеть повсеместным.
И телесное все сочетается в нем с бестелесным.

Не Канопом ли сердца людской озаряется лик?
Облик наш, как душа, повелением сердца возник.

Лишь я стал размышлять о пылающем сердце, мой разум
Принял масло в свой пламенник. Многое понял он разом.

Дал я слуху веленье: «Прислушайся к сердцу! Спеши!»
Сделал душу свою я открытой веленьям души.

Красноречье свое напитал я возвышенным знаньем.
В душу радость вошла, а томление стало преданьем.

И взирал я не холодно. Стал я по-новому зряч.
Пламя сердца пылало, затем-то и был я горяч.

Узы сбросил я с рук. О земном я не думал нимало.
Возросла моя мощь, а грабителей сердца не стало.

Бег мой сделался быстрым, никто не поспорил бы с ним.
К двери сердца, спеша, я пришел переходом одним.

Я направился к сердцу, мой дух — по дороге к исходу.
Полдень жизни пришел. Жаждал этого год я от году.

Я в священной максуре, и я размышляю. Мой стан,
Словно шар, изогнулся, а был он похож на човган.

Где тут шар, где човган, где пределы согнутого стана?
Вот кафтана пола, а прижался к ней ворот кафтана.

Из чела сделав ноги, я голову сделал из ног.
Стал я гнутым човганом, и шаром казаться я мог.

Сам себя позабыв, покидал я себя все охотней.
Сотня стала одним, и одно мог увидеть я сотней.

Смутны чувства мои. Я один. Отправляюсь я в путь.
Мне чужбина горька; одиночеством сдавлена грудь.

Мне неясен мой путь, где-то нужная скрылась дорога.
Возвращенья мне нет, и благого не вижу порога.

И в священном пути застывала от ужаса кровь,
Но, как зоркий начальник, поводья схватила любовь.

Стукнул в дверь. Услыхал: «Кто пришел в этот час неурочный?» —
«Человек. Отопри! Я любовью ведом непорочной».

Те, что шли впереди, отстранили завесу. Они
Отстранили мой облик. Все внешнее было в тени.

И затем из большого, в богатом убранстве, чертога
Раздалось: «Низами! ты пришел! Что же ждешь у порога?»

Я был избран из многих. Мне дверь растворили, и вот
Голос молвил: «Войди». Миновал я разубранный вход.

Был я в свете лампад, был я в блеске большого покоя.
Глаз дурной да не тронет сиянье такого покоя!

Семь халифов блистали под ярким лампадным огнем,
Словно семь повестей, заключенных в сказанье одном.

Царство больше небес! Царство властного мощного шаха!
Как богат дивный прах,— подчиненный столь дивного праха!

Вот в селенье дыханья — вдыханье. На царственный трон
Царь полудня воссел: управлял всеми властными он.

Красный всадник пред ним ожидал приказанья, а следом
Прибыл в светлой кабе некий воин, готовый к победам.

Горевал некий отрок, разведчик, пред царственным стоя,
Ниже черный стоял, пожиратель любого отстоя.

Был тут мастер засады, умело державший аркан,
И, в броне серебра, чей-то бронзовый виделся стан.

Были мошками все. Быть свечой только сердцу дано.
Все рассеяны были, но собранным было оно.

И свой отдал поклон я владыке прекрасному — сердцу.
Душу отдал свою я султану всевластному — сердцу.

Взял я знамя вожделей жаркого сердца, и пик
Я от мира отвел: новый мир предо мною возник.

И сказало мне сердце: «Ты сердце обязан прославить.
Дух твой, птицам подобный, гнездо свое должен оставить.

Я — огонь. Все иное считай только дымом и сном.
Соль лишь только во мне. Нету соли во всем остальном.

Я сильней кипариса с его многомощною тенью.
И над каждой ступенью вздымаюсь я новой ступенью.

Я — сверкающий клад, но Каруну не блещет мой свет.
Вне тебя не дышу, и в тебе я не кроюсь, о нет!»

Так сказало оно. И словес моих бедная птица
Позабыла о крыльях. Пришла ей пора устыдиться.

И в стыде, преклоненный, руками закрыл я лицо,
И в учтивости в ухо я рабское принял кольцо.

Благ, кто сердцем владеет. И вот я опять, как бывало,
Услыхал: «Низами!» Это небо меня прославляло.

Быть подвижником стойким — удел моего бытия.
И, склонясь перед властным, подвижником сделался я.

ПЕРВОЕ ТАЙНОЕ СОБЕСЕДОВАНИЕ
(О ВОСПИТАНИИ СЕРДЦА)

И наставник высокий, как будто смирял он коня,
От узлов девяти был намерен избавить меня.

Эти девять узлов он решил отстранять понемногу.
На веревки конец он поставил уверенно ногу,

Чтоб узлы перебрать — все узлы, что достойны хулы,—
И тогда он с веревки последние срежет узлы.

И владеющий сердцем, в желанье высоком, едином
Мне на помощь прийти,— стал отныне моим господином.

В двух обширных мирах начал он мне указывать путь,
Захотел потому-то он в душу мою заглянуть.

Хоть от нас он достойного часто не видит вниманья,
Все же нас никогда своего не лишит состраданья.

Если я, недостойный, почтительность мог позабыть,
Научил он меня неизменно почтительным быть.

От подобного мне не пустился он в бегство. О новом
Он беседовать стал. Бедный прах удостоил он словом.

Из колодца, из мрака он вызволил душу мою,
Словно спас он Иосифа в чуждом, далеком краю.

Погасили огни многозоркой, внимательной ночи,
И чуть видной зари раскрывались блестящие очи.

Поднимался светильник, и яркого ждали огня,
И сапфирный покров стал багряным предвестником дня.

Взял наставник лампаду — мерцала отрадно лампада,—
Дал мне руку, и вот мы направились к зарослям сада.

Из полы моей тотчас он вынул колючки иглу,
И несчетные розы в мою набросал он полу.

Я смеялся, как рот приоткрытый тюльпана; с размаху,
Словно роза, в восторге свою разорвал я рубаху.

Был я крепким вином из прекрасных пурпуровых лоз.
Был затянут мой пояс, как пояс затянутых роз.

Я вину был подобен, вину, что отрадно кипело;
Я был розой, чья радость найти не умела предела.

Я меж роз пробирался, спешил я, спешил я туда,
Где меж веток и листьев, журча, зарождалась вода.

И лишь только Любовь добралась до прекрасного края,
Там, где веяла верность, благой аромат разливая,

Дуновенье любимой в речениях, полных красы,
Оживило мне душу, подобно дыханью Исы.

И мой конь побежал неспешным, умеренным бегом,
Ветерков предрассветных предавшись прельстительным негам.

Я услышал: «Кичливый, с коня ты сойди своего.
Иль я тотчас тебя увезу из тебя самого».

Я, подобный ладье, уносимой поспешной рекою,
Внемля веянью рая, пришел к золотому покою.

И, поток увидавши, немедля сошел я с коня
И направился к бегу. Жажда томила меня.

Был поток словно свет, знать, вовеки не ведал он бури,
Сновидения Хызра не знали подобной лазури.

И как будто во сне, вдоль жасминных он тек берегов;
И дремали нарциссы, усеяв прибрежный покров.

Этот край был причастен лазури небесного края;
Перед амброю здешней склонялось дыхание рая.

И ползучие розы — услада отрадных долин —
Высоко поднимались, порой обвивая жасмин.

Этим розам свой мускус охотно вручили газели,
А лисицы — свой мех, чтоб колючки колоться не смели.

И, пред розой прекрасной стыдливо склонясь, попугай
Украшал опереньем такой новосозданный рай.

В попугая уста были вложены сладкие травы,
Коль съедят их газели, то станут, как львы, величавы.

Свежий ветер склонил над прекрасною розой главу,
Молодая газель возле розы щипала траву.

Златоцветы слились; на своем протяженье немалом
Они стали для амбры большим золотым опахалом.

Зелень тешила взоры, ведь взоры в ней радость берут.
Травы змей ослепляли: всегда их слепит изумруд.

Всюду розы с жасмином для мыслей засаду сплетали,
Соловьи с сотней горлинок рифмы по саду сплетали.

Однодневная лилия — счастье для местности сей —
Подняла свою длань будто поднял ее Моисей.

Дикий голубь лесной, что воркует всегда на рассвете,
Увидал, что вся высь в голубином раскинулась цвете.

На листке черной ивы рукою надежд ветерок
Описать прелесть розы в душистом послании смог.

И всему цветнику приносила весна благодарность.
Розы никли к шипам: ведь за мягкость нужна
благодарность.

Был жасмин словно тюрок; шатром разукрасил он сад.
Над шатром полумесяц вознес он до самых Плеяд.

Сердцевины тюльпанов — индусского храма эрпаты,
Все тюльпаны в молитве великою тайной объяты.

Белый тюрок жасмина и черный из Индии маг —
Свет звезды Иемена и веры неправедной мак.

Сад воздвиг знамена золотого и красного цвета.
Высь меж ними виднелась, глубокой лазурью одета.

Воды белкой казались, и были они — горностай.
Горностай рядом с белкой — отрадою взора считай.

Ветви сада из света, что слали небесные дали,
У подножий деревьев на землю дирхемы бросали.

Пятна света в тени — золотого сиянья уста,
И песок славословил прекрасные эти места.

Гиацинта лобзанья терзают фиалку; а к розам
Льнут колючки, и розы внимают их нежным угрозам.

В златоцвета колчане не сыщется колющих стрел;
Но щитом золотым все ж прикрыть он себя захотел.

Заколдована ива, дрожит, но тюльпана кадило
В дым ее облекло: чародейство оно проследило.

Весь цветник трепетал, и казалось, вот-вот улетит;
И казалось, жасмин в легком ветре куда-то спешит.

И поднялся тростник, раздавать сладкий сахар готовый;
Желтый конь лозняка,— будто в кровь опустил он подковы.

Дальше дикая роза — нам спеси ее не пресечь —
С пролетающим ветром вела торопливую речь.

Стал небесный простор зеленее листка померанца.
В этот миг захотела рассвета рука померанца.

Разукрасил свой стяг небосвод бирюзовый, но тут
С ним решил состязаться прекрасной земли изумруд.

Каждый узел ковра, что земля распростерла для пира,
Был душою земли, был и сердцем надземного мира.

Будто в свете рассвета промолвила счастья звезда,
Наклоняясь к земле: «Будь всегда молодою! Всегда!»

Или небо велело сойти своему изумруду
Не к кораллам зари, а к земли воскрешенному чуду?

Весь источник сверкал, взоров гурий являл он привет.
Из источника солнца добыл он сверкающий свет.

И прибрежные травы свершили свои омовенья
С благодарной молитвой за светлые эти мгновенья.

Птице в веянье розы печаль Соломона слышна.
И Давидову песню, грустя, затянула она.

На ветвях кипариса за раною новая рана:
Из когтит куропатка за смерть золотого фазана.

Сад указ разгласил, пожеланий своих не тая:
«Да убьет злого ворона сладкий напев соловья».

Совы скрылись; ну что же, ведь это их рок обычайный.
Знать, погибли за то, что владели опасною тайной.

Веял мягкий Сухейль на зеленый раскинутый стан;
И земля — не шагрень; вся земля — это мягкий сафьян.

Встретить утро спеша, был тюльпан преисполнен горенья.
Сердце тяжко забилось: приводит к беде нетерпенье.

Тень ветвистой чинары, влюбленная в стройный тюльпан,
Длань к нему протянула: ей дар врачевания дан.

Лепесточек жасмина, похожий на месяца ноготь,
Ноготь ночи унес, целый мир захотел он растрогать.

Появился Иосиф, небес позлащая предел.
В подбородке жасмина он ямку с высот разглядел.

Как еврей, вся земля в ярко-желтом касабе. Белея,
Заблистала вода, как блестящая длань Моисея.

И земля вместе с влагой составила снадобье. Мгла
Благодатной земле все добытое вновь отдала.

Свет, разросшись, велел ветру свежему снова и снова
Тень деревьев гонять по смарагдам земного покрова.

Тени! Солнца уста! Был и слитен узор и красив,
И расчесывал ветер прекрасные волосы ив.

И поспешные тени мгновенно сменялись лучами,
И лужайки, смеясь, их своими ловили ключами.

Я к алоэ стремился, к нему-то и мчался мой конь,
Стал душистой курильницей пурпурной розы огонь.

Соловью стала роза зеленой мечети мимбаром,
Стал фиалковый пояс для розы пленительным даром.

Птица с песней Давида — всем сердцем ее восприми!
Роза с речью прекрасней речей самого Низами.

ПЛОД ПЕРВОГО ТАЙНОГО СОБЕСЕДОВАНИЯ

Ветер смел покрывало, что мой прикрывало рассказ.
Сердце втретило розу, чей облик — отрада для глаз.

Видит сердце мое, видит розу с улыбкою сладкой;
Сахар с розой она победила мгновенною схваткой.

И в смятенье был месяц, узрев этот белый касаб.
С этим блеском бороться? Для этого слишком он слаб.

Ниспаданием локонов скрыта ее поясница.
Как прельстительна вся! Лишь во сне это может
присниться.

Тот, что узрит ее, не удержит восторженных слез.
Сколько слез пролилось из-за столь восхитительных роз!

В ней и сахар и соль. Есть красавиц на свете немало.
Для красавиц других больше сахара в мире не стало.

Ей пленять опьяненных, как свежему саду, дано.
Опьянит и отшельников крепкое это вино.

Алый рот — табархун; он багрянцем нежданным и смелым
Оттенил белый сахар. Пленен был он сахаром белым.

О тростник, полный сахара, розе пославший привет!
О сухой леденец! О душистый и влажный шербет!

И душа на алоэ, на родинку нежно взирала,
Амбру с мускусом родинка в ракушке дня растирала.

И, завидуя прелести свежей такого пятна,
Темных пятен узор для себя сотворила луна.

Жарче солнца всю душу сжигали блестящие очи.
Не луной — лалом уст озарялось все таинство ночи.

К ней обозы сердец на фарсанги тянулись, но путь
Был что рот ее узкий. Кто к розе сумел бы прильнуть?

Растерзать все сердца эта роза была бы во власти.
И утратил я сердце, и сердце распалось на части.

Рот прекрасной — что речь, а улыбка — вот сахар его.
Лик подобен молитве, а в черных глазах колдовство.

Этот пурпурный рот — словно ларчик таимых жемчужин,
Все же он приоткрыт; для беседы он также ведь нужен!

И любовь поглядела на ларчик, на жемчуг, на взор,
И для дел лицедейства, спеша, расстелила ковер.

Облик, зримый для глаз, снять с меня вмиг она захотела.
И на шее души узелочек распутала тела.

И, казалось, во мне человеческих не было сил,
И воды бытия для себя я уже не просил.

Колдовавший мой разум увидел возникшего дива.
«Закопать бы его!» — пожелал я, исполнен порыва.

Сердце страстью горело, печалям глубоким грозя,
Но источник сиянья ведь глиной замазать нельзя?

Да, лишь только печаль над печалью склоняется нашей.
Исцеляют хмельных только новою винною чашей.

Что ты морщишь свой лоб? Ты на мне видишь множество
ран?
Но ведь ты не проведал, что сад мне живительный дан.

Сад мне небом вручен, а тепло его — блещущим оком.
Был мне розой рассвет, были слезы — отрадным потоком.

И, укрытый за тканью меня окружавших завес,
Был мне подлинным другом. Он послан был волей небес.

Многодневно чело на свои опускал я колени,
Чтобы нить путеводная злые рассеяла тени,

И теперь я пошел по прямому, благому пути.
Друг мой, следуй за мною, за мною ты должен идти.

Ты не избран вести. Нужен опыт вседневный, богатый.
Все доверь Низами,— это опытный, верный вожатый.

ВТОРОЕ ТАЙНОЕ СОБЕСЕДОВАНИЕ
О НОЧНОМ НАСЛАЖДЕНИИ

Повелитель сердец начал пиршество в некую ночь;
Побеседовать с равными был он в ту пору не прочь.

Ночь сияла зарей, и на небе мерцали Плеяды.
И к молитвам отзывчивой скоро достиг он услады.

И собрания прелесть была бы всем веснам в упрек.
И услада была неизбежна, как благостный рок.

Ароматы курильниц в оконца дыхание бросив,
Говорили о ткани, вещавшей, что прибыл Иосиф.

Ночь велела уйти всем отрядам охранных частей
И всех мошек смела. Да ничто не тревожит гостей!

Как за тканью узорной напевы звучали — о, диво!
Знатоки песнопений, дивясь, восклицали: «О, диво!»

Руки кравчих в шелках. Блещет золотом каждый кувшин.
И в жемчужные чаши расплавленный льется рубин.

Гасла печень, сгорая, и гасли светильники ночи,
Пламень сердца пылал, словно пламени рдяные очи.

И на плоских курильницах, блеском ласкающих взгляд,
Аромат создал сладкое, сладкое жгло аромат.

Сахар с розой в сосудах творил животворные чары,
Свет свечей, колыхаясь, бросал золотые динары.

Было там и вино, что нас тешит и гасит печаль,
Рот и очи любимой и сахар несли, и миндаль.

Рот и очи смеялись. И счастьем любовным и ликом
Восхищалась Зухра, предаваясь беседе с Маррихом.

Обещанья любовные слышал влюбленный, и смех
Стал сбирать с милых уст подаянье полночных утех.

Леопарду подобная, мускус душистый газели
Вниз бросает Зухра. Косы черные льва одолели.

Друг схватил ее ворот, его драгоценный рукав
Бросил искры каменьев, к пленительной шее припав.

Словно кравчий — свеча. Пламень — чаша. И кружится
пьяный
Мотылек, и вином уже залиты все дастарханы.

Сна не стало, о нет, он сгорел, как сгорел мотылек,
И свеча благодарна, и клонит она фитилек.

И Зухра, запылав и созвучий предавшись усладам,
Жадный слух веселила стремительным, радостным ладом.

Два мышленья друг другу давали мгновенный ответ,
Брал светильник, светя, у другого светильника свет.

То, что многим давало медлительной жизни теченье,
Другом другу дарилось в одно золотое мгновенье.

Посылали дары — ведь восторга нельзя превозмочь!
Сердце — сердцу, дух — духу и плоти — влюбленная
плоть.

Иль из пышных чертогов, которые к пиршеству звали,
Все, в чем нет бытия, за предел бытия побросали?

Птица радости ввысь полетела с отрадным письмом,
Чтоб Зухры благодатной обрадовать радостный дом.

Пламень птицы рассвета, попавшей на вертел, прохладу
Даровал двум влюбленным, смиряя разлуки досаду,

Словно пепел погибший, был скрытый рассвет недвижим.
Месяц был полонен, и застыл свод небесный над ним.

В дверь кольцом не стучали. Чужой! О, да будет далек он!
Обвивал шею милого нежной красавицы локон.

Что дверное кольцо, хоть мало оно очень? Смотри:
Меньше перстня обычного стала душа Муштари.

Те, что схожи с пери, те, что будто назначены негам,
Все свободные души сломить порешили набегом.

Средь жасминов и роз, чтобы души попадали ниц,
Все колючки они заменили шипами ресниц.

О плоды! Ведь сердца не вкушали столь сладких ни разу.
Млели души. Пери не подобны ли гибкому вязу?

Сладкий ротик-орешек! И взоров миндаль. И предлог
Для лобзанья — фисташка и нежный над нею пушок!

В ночь, что слаще пушка, волхвовали: колдун Вавилона —
Черный взор, да индус — прелесть родинки. Бойся полона!

Ведь от родинки черной, от взоров, таящих обман,
Вся земля — Вавилон, и любая страна — Индостан!

Взгляд ответил на взгляды, и сердце в решении скором
В путь священный пошло, чтоб склониться пред блещущим взором.

Но язык быстрых взоров опасней был множества стрел,
Кудри были запутанней всех человеческих дел.

Каждый взгляд был, как лучник, влюбленный, и нежный, и смелый.
Тяжко сердце разили еще не летящие стрелы.

Не дыханье ль Исы оживляло сердца? И могуч
Из комков красной глины бежал воскрешающий ключ.

Запах роз и жасмина струился влюбленным в угоду,
И попона служенья легла на плечо небосводу.

Сахар сладких ланит... миндали рассыпающий лал...
О, какой сладкий сахар на лике прекрасном лежал!

Каждый взгляд открывал в целый мир неожиданно дверцу.
В каждой черной реснице был храм, предназначенный сердцу.

Был у белой щеки черный локон безмерно красив!
Словно мускус лежал на серебряных листиках ив.

Подбородок округлый был с нежною ямкой. Но что же
Ты сравнил бы с лицом? На него только солнце похоже.

Авраамовы кудри — к светилу приникли они.
Исмаила глаза, а ресницы — кинжалам сродни.

Но ресницы чаруют, и милая блещущим ликом
Все сердца опьяняет: душистым он стал базиликом.

Поцелуи томят, убивают. Ну что ж? Ведь уста,
Как Иса, воскресят — чаша жизни не будет пуста.

Капли пота на розе — влюбленного радуют взгляды.
Это — жатва луны, и блестят они, словно Плеяды.

Растворилась калитка на вороте гурии. Свет,
Что нежнее зари, нежным взорам направил привет.

Каждый муж многоопытный, каждый бездумный, немудрый
Обезумел от света, что бросил кумир чернокудрый.

Говорили глаза, коль смолкала усталая речь;
Им хотелось уста от их связанной речи отвлечь.

Золотое вино в светлой чаше — нарцисс. Ароматом
Все оно заполняло в чертоге большом и богатом.

Разум быстро хмелел. Круг за кругом прошел он, и вдруг
Все терпенье, увы, у него ускользнуло из рук.

Все уста пировавших полны были только лишь смеха,
Было трудно вздохнуть... бесконечная длилась утеха.

Не смиренным найти в этих звуках источник услад,
Только буйным звучал этой песни возвышенный лад.

И сумел этот лад в полнозвучном и мерном рассказе
О Махмуде сказать и сказать о прекрасном Аязе.

И стихи Низами разбросали и сахар и хмель,
Воспевая пери́, за газелью поющих газель.

ПЛОД ВТОРОГО ТАЙНОГО СОБЕСЕДОВАНИЯ

Жизни той, что цвела на разостланном богом ковре,
Уж не стало. Смотри: сколько смен в этой вечной игре!

Ухо сердцу писало о всем, что даровано слуху.
Взор склонялся к земле, всем явлениям близкий по духу.

Сахар сладость утратил от смеха тюрчанок, а глаз
Горячее сверкал, видя гурий, настроивших саз.

И мой тюрок — мой месяц в касабе сверкающем, белом
Разорвал мое сердце набегом внезапным и смелым.

Полумесяц, на темень махнувший с презреньем рукой,
Нам бессменно сиял, осветив наш отрадный покой.

Если взор ее быстрый во взор мой кидался с размаху,
Вся душа, преклоняясь, мгновенно подобилась праху.

Так светила она, что свеча истекала в слезах.
А светильник мигал и от горестной зависти чах.

Пусть чинила она мне любую обиду, я в этом
Видел только лишь благо, и ночи казались мне светом.

И она предо мною сияла прибрежным цветком,
Я, смиренно склонясь, расстилался пред ней ручейком.

Но в те ночи с любимой, лобзанья вкушая с ней вместе,
Словно фиников сладость, не внял я таинственной вести.

Я не ведал, что месяц, которого сладостней нет,
Тайный месяц скрывал,— тот, который воистину — свет.

Был влюблен я в себя, но любим я был месяцем дальним.
Он грустил обо мне, но меня заставал беспечальным.

Сердце в страсти шептало: «О, если бы пламенный день
Вашей ночи не сжег, не спугнул ее сладкую тень!»

Но ведь ночи мои не сулили покоя. С испугом
Вдаль гляжу: в Судный день их сочту ли ходатаем, другом?

Жду я ночи, сияющей в солнечном в дивном огне!
Но желанная ночь мне не видится даже во сне.

Лишь в подобную ночь мне была бы доступна отрада.
Я возжаждал ее, и других мне ночей уж не надо.

И шепчу я: «Господь, ты мне все помоги превозмочь,
Лишь бы только увидел я эту горящую ночь!»

Эта ночь — озаренье, над тягостной тьмою победа,
Эта ночь — словно ночь для надзвездных путей
Мухаммеда.

Чтобы яхонт добыть, месяц роет небесный рудник!
Дивной ночи желая, к кирке он с упорством приник.

День, что только и дышит своей неприязнию к ночи,
Также к ночи благой устремляет горящие очи.

Я проснулся, и солнце, свой меч на дороге зари
Поднимая, промолвило: «Небо, мне дверь отвори!»

И от пламени солнца, узрев эти рдяные розы,
На айвана ковер пролил я бесконечные слезы.

В небе облако встало. Омыло оно с выстоты
Ткань, скрывавшую солнце,— душистых деревьев листы.

В голубом водоеме, запруженном солнцем, кувшины
Мы разбили б свои, уцелеть бы не смог ни единый.

Небосвод, полный звезд, отказался от их серебра,
Молвив: «Чистого золота уж наступила пора».

Утро быстро проснулось и в свете сверкающем, алом
Вслед кровавой заре побежало с блестящим кинжалом.

Битвы с ним я страшился. Я тотчас же бросил свой щит,
Сделав душу щитом. Злое утро смертельно разит.

Перепрыгнув ручей, на мою оно душу напало,
И ночной звездный мост предо мною оно разломало.

И зажглось мое сердце и так закричало, горя:
«Разве ты — отомщение? Иль ты — воздаянье, заря?

Знал я много услад, видел нежные очи, бывало,
Я лампады имел, озарявшие ночи, бывало.

Но те ночи ушли, тех лампад мне не видится свет;
Их как будто бы не было, нет их уж более, нет!

Так ужаль мою грудь, ты, мне бывшая сладким напитком,
Ты, что нежила сердце, предай меня сладостным пыткам.

На несветлого сердцем направь свой безжалостный меч,
Ведь того, кто сожжен, без труда можно пламенем жечь!»

Так не мог удержать я ни горького плача, ни стона,
И кровавые слезы заря полила с небосклона.

И сгорел светлый день от моей беспросветной тоски.
Ключ светила замерз, и холодные сжал я виски.

Но хоть яд я вкушал, небеса мои ведали муки,
И ночная змея светлый камень мне бросила в руки,

И когда растворился я в светлом сиянье зари,
Я забыл обо всем и услышал: «Душой воспари!»

Те, чьи взоры могли многоцветной достичь колыбели,
Света больше, чем зори, принять в свои души сумели.

Как бесславны твои беспросветные ночи! Огнем
Им гореть со стыда перед новым ликующим днем.

Я постиг эту ночь, я постиг этой ночи призванье.
Мне в моем постиженье мое помогало познанье.

Ткань завесы безмолвия! Мир одиночества — ночь!
А свеча — наше зренье. Нам сумрак дано превозмочь.

Розы страстных ночей, их душистый джуляб и алоэ —
Многих раненных в сердце беда и мучение злое.

То, что благом ты счел, то, чему оказал ты почет,—
Было только преддверьем той ночи, которая ждет.

Тот, кто в сумраке был, в том, что негру подобно, под сводом,
Был изъеденным ржавчиной, предан был скрытым невзгодам.

Но зарей, что к свече так влеклась, как любой мотылек,
Свет свечи заблестел, и к прозренью меня он повлек.

Так возьми же свечу, хоть она угрожает ожогом.
Светоч взял Низами. Этот светоч вещает о многом.

РЕЧЬ ПЕРВАЯ
О СОТВОРЕНИИ ЧЕЛОВЕКА

До поры, как любовь не явила дыханье свое,
В бездне небытия не могло засиять бытие.

Но счастливец великий в своей непостижной отчизне
Захотел бытия, и завесы раздвинул он жизни.

Он был сыном последним воздушных, летучих пери́,
Первым сыном людским в озарении первой зари.

Получил он от неба халифства величье, но следом
Свой утратил он стяг. Вслед за тем вновь пришел он к победам.

«Он творцом был научен». О, сколько в нем чистого есть!
«Бог месил его глину». Какая безмерная честь!

Он и чистый и мутный, хоть золото в нем засияло,
Он и камень для пробы, и он же — пытливый меняла.

Он — любимец крылатых, смутивший их райский покой
Со щеками в пушке, этот юноша — образ людской.

Взять запястье Адама! Для каждой души это — счастье!
На предплечье его семь небес ниспослали запястье.

Две больших колыбели Адама баюкать могли:
В нем все помыслы неба и все помышленья земли.

В пышный блеск бытия облекает он пленных темницы.
Кравчий духов бесплотных, летит он к ним с легкостью птицы.

В завершенье творенья для мира он был порожден,
Всемогущества бога является первенцем он.

В сорок дней он дитя; мир познанья младенцу не дорог.
Он — великий мудрец, если лет ему минуло сорок.

Он предвестник любви, он любовь порождая возник.
Он как розовый куст благодатного рая возник.

Это — взора всезрящего отблеск; исполнен он света;
Это — птица с ветвей, что над миром раскинулись где-то.

Птиц небесных привлек он к своих поучений зерну.
И глядят они вниз, постигая всю их глубину.

Но ведь он в небесах за пшеничное зернышко, зная,
Что на землю сойдет, отдал все наслаждения рая.

Он попался в силок, хоть одно лишь он видел зерно,
О, как было мало, о, как было ничтожно оно!

И пришел он с молитвою в мир бытия, и в поклоне
Все склонилось пред ним. На земном воцарился он лоне.

Он для всех был кыблóй, он для всех был в сиянии зрим.
Лишь один возмутившийся пасть не хотел перед ним.

Лепестки, что он сыпал, что прежде в Эдеме блистали,
Стали негой для всех, а для дьявола — углями стали.

Но без рода людского он счастья не знал бы совсем,
Для него, одинокого, цвел бы напрасно Ирем.

У кого бы другого была столь великая сила,
Чтобы дел человеческих горе его не сломило?

Было сердце его страстью к светлой пшенице полно,
Как пшеницы зерно, от огня раскололось оно.

И стремленье уйти, и забыть о лазоревом крове,
Есть пшеницу земную — и сладко все было, и внове.

Ни отца, ни детей. Как зерно, должен он прорасти
И в камнях быть измолотым. Ждал он такого пути.

Только брошенный в землю, надеждою стал он земною,
Светлоликим он стал. Ведь прощен был он силой иною.

И на тело его зной набросил пшеничную тень.
Как на лунном шагрене, на ней был заметен ячмень.

Ячменю и пшенице ужель не постыла их ссора?
Вновь ячмень загрустил. Ведь пшеница отрадней для взора.

Лишь в эдемском саду съел нежданно пшеницу Адам,
Вскрылось сердце его, и желаньем он был уж не там.

Как унижен он был; жаждал этого демон двурогий.
Съел пшеницу Адам, и свернул он с надежной дороги.

К тяжкой жесткости сердца пшеничное клонит зерно.
Тяготенье к пшенице. К безумью приводит оно.

И лишь только пшеница всеобщею стала едою,
Рот раскрыла она, угрожая всеобщей бедою.

Где истоки души? Миновал им назначенный срок,
Да, пшеничное зернышко — это опасный силок.

Ешь лепешки ячменные. Надо ль к иному стремиться?
Вспомни участь Адама: его обманула пшеница.

Обладающий сердцем! Ты дьяволу молви — не лги!
Мощный лев шаханшаха, не стань ты собакой слуги!

Не свершай омовений; сперва ты избавься от срама
Прегрешений своих; в этом следуй примеру Адама.

Благотворно раскаянье. Шествуй по древним следам.
Испытавши раскаянье, многое понял Адам.

Вожделенье направив к сверканью увиденных зерен,
Стал он нивам земли, стал он темному праху покорен.

Он обман свой увидел. И грех был не легок, не мал:
Соблазненный пшеницей, в силок он навеки попал.

Смятой розе греха многослезный поток он направил,
И свой царский шатер в Сарандибе затем он поставил.

От греха он бежал, и свой черный направил он лик
В эту землю, чтоб в ней черный род возле моря возник.

Брал индиго он там из небесного хума, одежды
Красил им в Индустане: еще он не ведал надежды,

Но греха синеву он с ладоней отмыл, и у ног
Новый злак он узрел. А индиго текло как поток.

Стал он тюрком китайским, он месяцем стал белоликим,
Спрятав кудри греха покаяния шапкой. Великим

Овладел на земле он престолом, когда от грехов
Он смиреньем избавился. Ждал его царственный кров.

На земле справедливости сеял он истины семя,
Дал он правду в наследье народам на долгое время.

У хранителя рая сокровища взял он и, рай
Покидая, принес их в земной новонайденный край.

Так воспользуйся, смертный, с такого богатства доходом!
Он посеял, а жатву он всем предоставил народам.

От дыханья кадила алоэ дышать тяжело.
Мастер седел виновен, что ослику тяжко седло.

Но ведь все ж не напрасно, о смертный, ты призван для жизни,
Милосердье в своей ты порою встречаешь отчизне.

На реке юных дней в свежих розах стремится ладья.
Зацепиться страшись за шипы своего бытия.

Будет осень, так в путь ты весной устремляйся, счастливый,
Ты боязни не знай: все сгорят и сгорит боязливый.

Ты не лев, о трусливый; нет, ты не подобие льва.
И душе твоей робкой отважные чужды слова.

Можно льва написать под высокой дворцовою сенью,
Но и сотней ударов его не принудишь к движенью.

Человеку прекрасных, небесных одежд не дано.
Праху — прах. Никаких ему светлых надежд не дано.

Как бессильна звезда, что горит обещанием счастья.
Плачет сердце твое. А печали не видят участья.

Почему же тебя, разрушителя вражеских стен,—
Огневой небосвод захватил в неожиданный плен?

Ты в круженье небесном, так будь с препоясанным станом
В услуженье покорном. Его не избегнуть обманом.

Будь подобен огню, ничего нет быстрее огня.
Не отстань от созвездья, свою устремленность храня.

Будь водою ты легкой, которою славятся долы.
Ведь вода нетяжелая много ценнее тяжелой.

Только тонкостью стана людской обольщается глаз.
Только легкие души ценны и желанны для нас.

Ветер мира свершает движенья свои круговые,
Ты, что Каф, недвижим. Где ж порывы твои огневые?

Иль в стремлении к розе шипов одолеть ты не смог?
На себя не гляди, как фиалки склоненный цветок.

Ты лишь только собой населяешь земные просторы,
На себя самого направляя беспечные взоры.

В этом доме обширном ты каждый одобрил предел,
Но ты в доме — ничто. Ведь не этого все ж ты хотел?

Сам в себя ты влюблен, перед зримым в восторге великом.
И, как небо, ты зеркало держишь пред блещущим ликом.

Если б соль свою взвесил, ты спесь бы свою позабыл;
И тогда бы за все небесам благодарен ты был.

Позабудь притесненье. Отправься в иную дорогу.
Что есть люди, скажи? Устремляйся к пресветлому богу.

Ты познай его благость, лишь этим себя мы спасем.
Ты познай свою скверну и небу признайся во всем.

Если ты устыдишься, к молитвам в слезах прибегая,
Милосердной и щедрой окажется сила благая.

ПОВЕСТЬ О ПАДИШАХЕ, ПОТЕРЯВШЕМ НАДЕЖДУ И ПОЛУЧИВШЕМ ПРОЩЕНИЕ

Некий муж справедливый и чтимый в обширной стране
Справедливость не знавшего как-то увидел во сне

И спросил: «Что творец совершает в своей благостыне
С днями злости твоей в ночь, тебя охватившую ныне?»

Тот ответил: «Когда смертный час я готов был принять,
Я весь мир оглядел: мне в томленье хотелось узнать,

Кто бы мог указать мне надежды благую дорогу
Иль поведать, что милость великому свойственна богу.

Но ни в ком из живых состраданья не встретилось мне,
И помочь в моих бедах желанья не встретилось мне.

Стал я иве подобен, в испуге охваченный дрожью,
Пристыженный, смущенный, и я милосердию божью

Всей душой предался, только в нем свой увидев оплот,
На крученье воды я бесплодный оставил расчет

И промолвил творцу: «Я стыжусь, я познал униженье,
Посрамленному, боже, любое прости прегрешенье.

Хоть я воле твоей не внимал до последнего дня,
Хоть отвергнут я всеми, но ты не отвергни меня.

Иль, карая меня, шли любого ко мне лиходея,
Иль мне помощь подай, обо мне в милосердье радея!»

И покинутых друг, избавляющий их от тревог,
Тяжкий стыд мой увидел и мне благосклонно помог.

Отвечая стенаньям, благой преисполнен заботы,
Он приподнял меня и свои оказал мне щедроты».

Тот, кто ведал раскаянье, грешные мысли гоня,
Будет первым из смертных в неистовствах Судного дня.

Тот, кто взвешивал ветер, забудет свои упованья;
Он в убытке всегда, он узнает лишь только страданья.

Если ветер ты взвешивал долгие годы, не год —
Сколько знал ты убытка и сколько узнаешь невзгод!

Камень с жемчугом взвешивать страсти твои да устанут!
Пусть весы будут пусты, а дни твои полными станут!

Этот камень земли ты на мыслей весы не клади;
Ведь земля — шарик глиняный, тешиться им погоди.

Лишь дирхем — жалкий мир, что в тебя поселяет желанья.
Все, чем дышишь в миру,— твоего легковесней дыханья!

Все, что в жизни находишь, что в ней обретаешь — отдай;
Все, пока на земле ты еще пребываешь,— отдай,

Чтобы в день воскресенья ты был бы от груза свободен,
Чтобы ты не молчал, чтоб, ответив, стал небу угоден.

Чтоб ты не был в долгу у детей, свой утративших кров,
Чтоб совесть твою не тягчили стенания вдов.

Брось потертый ковер, уходи из обители мглистой,
Дорожить ли полой, что давно уже стала нечистой?

Иль, чтоб странником стать, собери свой дорожный припас,
Иль, вослед Низами, скройся в тишь от назойливых глаз.

РЕЧЬ ВТОРАЯ
НАСТАВЛЕНИЕ ШАХУ О СПРАВЕДЛИВОСТИ

О властитель, чьи мысли царят над любым из царей,
Что несметным венцам шлет жемчужины многих морей.

Если ты — государь, ты ищи драгоценного крова;
Если ты — драгоценность, венца ты ищи неземного.

Из предвечного света, которым овеян простор,
На тебя не один благодетельный бросили взор.

Ты ценнее всего. Словно городом, правишь ты миром.
Все, что ныне на свете, тебя почитает кумиром.

О, какою страною владеешь безмерною ты!
О, гордись, над страной возвышаешься верою ты.

Времена твои выйдут из круга столетий; с тобою
Не сравнится вселенная ширью своей голубою.

Знаем: зеркало в небе заря поднимает, чтоб ты
В золотом этом зеркале царские видел черты.

Колыбель небосвода затем и забыла про бури,
Чтобы ты, как дитя, отдыхал в безмятежной лазури.

Ты — Иса наших душ, птица сердца, и скажет любой,
Что сравнить тебя можно бесспорно лишь только с тобой!

Солнце в пламени страсти твоим восторгается ликом,
Потому-то оно и сверкает в пыланье великом.

Месяц так истощился! Он был уж совсем невелик,
Но опять он сияет: он снова увидел твой лик.

Ты превыше других. Наслаждайся всем жизненным
миром.

Все печали отбрось. Не склонен, словно раб, ты пред миром.

Будь ко всем снисходителен, будь благодарнее вод.
Будь, как ветер свободный, свободен от тяжких забот.

Будь спокойной землею. Страстей не поддайся насилью.
Если землю встревожить, земля станет черною пылью.

Преклони пред создателем жаркую душу свою.
Вот как царствовать, царственный, должен ты в нашем
краю.

Жду ответа, о шах! Отвечай же, вопросам внимая,
Где находимся все мы? Где скрыта обитель иная?

Все известно душе, что возвышенной веры полна.
И о мире ином все доподлинно знает она.

Этот мир ты обрел. Ты о вере подумай. Быть может,
Область веры найдешь, и она тебе в мире поможет.

Если ж мир ты отдашь, чтобы веру купить,— никогда
Не внимай слову дьявола: может нагрянуть беда.

Знай, крупица алмазная веры, ведущей из плена,
Камня магов грузней, хоть он был бы увесистей мена.

Камень темный отдай, а сверкающий камень возьми:
С ним и золото веры, что блещет, как пламень, возьми.

Тот, дающий припасы — ну, трудно ли нам это взвесить? —
Взяв припас твой единый, припасов пошлет тебе десять.

Состоянье свое поместить как бы лучше ты мог?
Сколько прибыли верной на свой ты положишь порог!

Стало долгом твоим воспитание праведной веры.
Мудрецы правосудные к этому приняли меры.

Вознеси правосудье, и всех осчастливишь людей.
Угнетателей свергни. Об этом бессменно радей.

Должен городу с войском ты блага желать, и на это
Город с войском ответят. Плохого не будет ответа.

Угнетающий царство — его разрушает, а тот,
Кто внимателен к людям, его к процветанью ведет.

Знай, развязка придет, и пред ней, не знававшей преграды,
Пусть твои будут мысли всему, что содеял ты, рады.

Дай спокойствие всем. Никому не чини ты обид.
Что за ними придет? Что за ними почувствуешь? Стыд.

Пьяный разум уснет, и, беды не увидев причину,
Правосудья ладья в неизбежную канет пучину.

Если б скорбным и бедным зажал ты безжалостно рот,
Если б отнял ты силой имущество нищих сирот,

Для себя отыскать ты какие бы смог оправданья
В день суда, на который придут все земные созданья?

Лик свой к вере направь, и опору найти будешь рад;
К солнцу стань ты спиной, не молись ему, словно эрпат.

Это — желтый мышьяк иль подобие блещущих кукол,
Что явил небосвод,— тот, что жизнью людей убаюкал.

Под завесой пустой, что висит на гвоздях девяти,
Все — игра этой куклы. Иди по иному пути.

Вышли ветер на мир. Чтоб лампада соблазнов угасла,
Своего в ней ни капли не должен оставить ты масла.

Разве мы — мотыльки? Мир блестит, но не думай о нем.
Не бросай же свой щит перед этим ничтожным огнем!

К той завесе, к которой Иса возлетел без усилья,
Ты стремись, чтоб ты сам за спиной мог почувствовать крылья.

Кто подобно Исе бросит душу в надзвездный полет,
Тот весь мир завоюет. По праву его он возьмет.

Притесняя подвластных, ты править страной не сумеешь.
Лишь призвав правосудье, ты царством своим овладеешь.

То, в чем свет справедливости, твой не умножит доход,
То, в чем нет правосудья, как ветер, тебя унесет.

Справедливость — гонец, что спешит наш обрадовать разум;
Тот работник, что в царстве все нужное сделает разом.

Справедливость твоя украшает сверкающий трон.
Если ты справедлив, вечно будет незыблемым он.

ПОВЕСТЬ О НУШИРВАНЕ И ЕГО ВИЗИРЕ

На охоте одной Нуширван был конем унесен
От придворной толпы: с пышной знатью охотился он.

Только царский визирь не оставил царя Нушировна.
Был с царем лишь визирь из всего многолюдного стана.

И в прекрасном краю,— там, где все для охоты дано,
Царь увидел селенье. Разрушено было оно.

Разглядел он двух сов посреди разрушений и праха.
Так иссохли они, будто сердце засохшее шаха.

Царь визирю сказал: «Подойдя друг ко другу, они
Что-то громко кричат. Их беседа о чем? Разъясни!»

И ответил визирь: «К послушанию сердце готово.
Ты спросил, государь. Ты ответное выслушай слово.

Этот крик — некий спор; безотрадно его существо.
Этих сов разговор не простой разговор — сватовство.

Та — просватала дочь, и наутро должна ей другая
Должный выкуп внести, и внести ни на что не взирая.

Говорит она так: «Ты развалины эти нам дашь
И других еще несколько. Выполнишь договор наш?»

Ей другая в ответ: «В этом деле какая преграда?
Шахский гнев не иссяк. Беспокоиться, право, не надо,

Будет злобствовать шах — и селений разрушенных я
Скоро дам тебе тысячи: наши просторны края».

И, услышав про то, что предвидели хищные совы,
Застонал Нушировн, к предвещаньям таким неготовый.

Он заплакал навзрыд,— он, всегдашний любимец удач.
За безжалостным гнетом не вечно ли следует плач?

Угнетенный, в слезах, закусил он в отчаянье палец.
«Ясно мне,— он сказал,— что народ мой — несчастный страдалец.

Мной обижены все. Знают птицы, что всюду готов
Я сажать вместо кур лишь к безлюдью стремящихся сов.

Как беспечен я был! Сколько в мире мной сделано злого!
Я стремился к утехам. Ужель устремлюсь я к ним снова?

Много силы людской, достоянья людского я брал!
Я о смерти! А кого ее меч не карал?

Долго ль всех мне теснить? Я горю ненасытной алчбою.
Посмотри, что из жадности сделал с самим я собою?

Для того полновластная богом дана мне стезя,
Чтоб того я не делал, что делать мне в жизни нельзя.

Я не золото — медь, хоть оно на меди заблистало.
И я то совершаю, что мне совершать не пристало.

Притесняя других, на себя обратил я позор.
Сам себя я гнету, хоть иных мой гнетет приговор.

Да изведаю стыд, проходя по неправым дорогам!
Устыдясь пред собой, устыдиться я должен пред богом.

Притесненье свое я сегодня увидел и жду,
Что я завтра позор и слова поруганья найду.

В Судный день ты сгоришь, о мое бесполезное тело!
Я сгораю, скорбя, будто пламя тебя уж одело!

Мне ли пыль притесненья еще поднимать? Или вновь
Лить раскаянья слезы и лить своих подданных кровь!

Слово тюркский набег совершил я, свернувши с дороги.
Судный день подойдет, и допрос учинится мне строгий.

Я стыдом поражен, потому повергаюсь я в прах.
С сердцем каменным я, потому я с печалью в очах.

Как промолвлю я людям: «Свои укоризны умерьте!»
Знай: до Судного дня я в позоре, но только до смерти.

Станут бременем мне те, кого я беспечно седлал.
Я беспомощен! Помощь мне кто бы сейчас ниспослал?

Устремляться ли в мире к сокровищам блещущим, к самым
Дорогим? Что унес Фаридун? Что припрятано Самом?

Что указы мои, что мое управленье, мой суд
Мне навеки вручат? Что надолго они принесут?»

Взвил коня Ануширван. Сожигал его пламень суровый.
От огня его сердца коня размягчились подковы.

И лишь только владыка примчался в охотничий стан,
Запах ласки повеял. Приветливым стал Ануширван.

В том краю он сейчас же тяжелый калым уничтожил.
И поборы, и гнет, и насилье он там уничтожил.

Разостлав правосудье, насилья ковер он свернул.
Блюл он заповедь эту, покуда навек не уснул.

Испытаний немало узнал он под небом,— и веки
Он смежил, и добром поминать его будут вовеки.

Многомудрого сердца он людям оставил чекан.
И указ правосудья на этом чекане был дан.

Много благ совершивши, с земным разлучился он станом,
Справедливого каждого ныне зовут Ануширваном.

Дни земные свои проводи ты на благо сердец,
Чтоб тобой ублажен, чтоб тобой был доволен творец.

Следуй солнечным всадникам, в свете благого устоя.
Беспокойством горя, для других ты ищи лишь покоя.

Ты недуги цели, хворым снадобья ты раздавай,
Чтоб вести ты достоин был небом дарованный край.

Будь горячим в любви, лютой злостью не будь полоненным.
Словно солнце и месяц, ко всем ты пребудь благосклонным.

Кто добро совершит, будь он мал или будь он велик,
Тот увидит добра на него обратившийся лик.

От указа творца небеса не отступят ни шагу:
Воздадут они злу, воздадут они каждому благу.

Проявляй послушанье, греха избегай, чтоб не быть
В посрамленье глубоком и скорбно прощенья просить.

Наши дни — лишь мгновенье; вот наше великое знанье.
Ты пробудь в послушанье. Превыше всего послушанье.

Оправданья не надо, не этого ждут от тебя.
Не безделья, в слова разодетого, ждут от тебя.

Если каждое дело свершалось бы с помощью слова,
То дела Низами достигали бы звездного крова.

РЕЧЬ ТРЕТЬЯ
О СВОЙСТВЕ МИРА

О хаджи горделивый, хотя бы на краткие дни
Людям блага подай, рукавом ты над миром взмахни!

Будь не горем для всех, а блаженством живительным, коим

Утешают скорбящих. Отрадою будь и покоем.

Все в великом вниманье, и ты все величье души
На служение бедным направь, хаджи, поспеши.

Соломоново царство ты ищешь напрасно: пропало,
Царство есть, но ведь знаешь: царя Соломона не стало.

Вспомни брачный покой, что украсила пышно Азра,
Где влюбленный Вамик пировать с ней хотел до утра.

Только брачный покой, только кубки остались златые.
И Азру и Вамика — укрыли их страны иные.

Хоть немало столетий над миром проплыло, мы зрим,—
Он такой же, как был; ни на волос не стал он другим.

Как и древле, земля нам враждебна. И все год из года
Нас карает палач — многозвездный простор небосвода.

С миром злобным дружить разве следует смертным сынам?
Он всегда изменял. Разве он не изменит и нам?

Прахом станет живущий на этом безрадостном прахе.
Прах не помнит о всех, на его распростершихся плахе.

Облик живших скрывается в зелени каждой листвы.
Пядь любая земли — некий след венценосной главы.

Нашу юность благую мы отдали миру. За что же
Нам он старость дает и ведет нас на смертное ложе?

Ведь всегда молодым оставался прославленный Сам,
Хось склонял свои взоры он к сына седым волосам.

Синий купол бегущий свой круг совершает за кругом,
В вечном споре с тобою, твоим быть не хочет он другом.

То он в светоча мира мгновенно тебя обратит,
То в горшечника глину надменно тебя обратит.

На двуцветном ковре быстросменного мира, в печали,
Все, что дышат на нем, все стремятся в безвестные дали.

По равнине идущие молвили: «Счастливы те,
Что по морю плывут,— все твердят о его красоте».

Те, что на море страждут, сказали: «О, если бы ныне
Мы могли находиться в спокойной безводной пустыне!»

Все, живущие в мире, встречают опасные дни.
На воде и на суше злосчастия терпят они.

Юных дней караван на заре поднимается рано,
Но ведь кончится путь. Не сберечь нам поклаж каравана.

От верблюдов отставших, из города юности ты
Будешь изгнан в предел, где стареют людские черты.

Но на всех утомленных во тьме наступающей ночи
Из нездешних пространств уж глядят благосклонные очи.

Трон покинь. Ведь тщеславье опаснее многих сует.
Это — черная тень, от тебя заградившая свет.

Ты отдался утехам, конца им не зная и края,
Ты живешь и играешь, о горестях будто не зная.

Синий купол, вращаясь, похож на забаву, но он
Не для наших забав, не для наших утех укреплен.

До пришествия разума в мире царила беспечность.
О, какая в тебе благодатная сила, беспечность!

Ясный разум взглянул на вершину созданий творца,
И владычество радости тотчас достигло конца.

Не от знанья беспечна мелькающих дней скоротечность.
Безрассудства, возникнув и множась, рождают
беспечность!

О беспечность, очнись, очини поскорее калам,
И царапай листок, и предайся отрадным делам.

Будь меж теми, чья мудрость известна от края до края,
Стан людей просвещенный с отрадой рукой обнимая.

Шип, приязненный розе, не будет содействовать злу,
Даже он аромат гиацинту насыплет в полу.

Судный день подойдет, и конец будет нашего света,
И пустыню на суд приведут в этот день для ответа.

И промолвят: «О злая! Ведь кровь ты лила без конца
И зверей и людей. Ты людские терзала сердца!

Как же ключ животворный в тебе мог возникнуть когда-то!
Как смогла ты принять изобильные воды Евфрата?»

Так воскликнет пустыня, своей не осилив тоски:
«Я злодейств не свершала. Мои неповинны пески.

За накрытым столом я немного просыпала соли
И смешала с сердцами пустынной возжаждавших доли,

Чтобы быть мне со всеми, кто в праведный двинулся путь,
Чтобы к гуриям рая могла я с отрадой прильнуть».

И раздастся решенье: «Пустыня, песками играя,
У запястий ножных запоет всем красавицам рая».

Если с добрым мы дружим, то добрый нам выпадет час;
И поможет нам друг, и все нужное будет у нас.

Где же скрылись все добрые? Встречусь ли я хоть с
единым?
Стол, что медом прельщал, ныне сделался ульем пчелиным.

Где ж теперь человечность? Ужель удалилась навек?
Человека любого страшится любой человек.

Где ж познание то, что в сердцах человечьих блистало?
Человеческих свойств в человеке давно уж не стало.

Скрылся век Соломона. О смертный, вокруг посмотри!
Где теперь человек? Он исчез. Он — бесследный перй.

Хоть дыханье мое слиться с общим дыханьем хотело,
Все же, бегство избрав, совершил я хорошее дело.

Где бы тень я сыскал, что явилась бы тенью Хумы?
Где бы верность нашел? Где бы честные встретил умы?

Если б сеяли верность, прекрасными стали бы нравы.
Надо верность хранить — вот что чести достойно и славы.

Земледелец зерно бросил в землю весною, и вот
Наступает пора, и созревший вкушает он плод.

ПОВЕСТЬ О СОЛОМОНЕ И ПОСЕЛЯНИНЕ

Как-то царь Соломон не имел государственных дел,
И случилось, что ветер светильник задуть захотел.

Царь свой двор перенес в ширь степного просторного дола,

Там вознес он в лазури венец золотого престола.

Скорбен стал Соломон: он увидел, теряя покой,
Старика земледельца, который в равнине скупной,

Зерна в доме собрав — хоть добыча была так убога,—
Поручил закрома одному милосердию бога.

И повсюду в степи разбросал эти зерна старик,
Чтоб из каждого зернышка радостный колос возник.

Но все тайны зерна и все тайны творящего лона
Говор птиц сделал внятными слуху царя Соломона.

Царь промолвил: «Старик! Будь разумным! Коль зерен не счесть,
Можно зерна бросать. Но твои! Ты их должен был съесть.

Для чего ж ты надумал напрасно разбрасывать зерна?
Предо мной быть неумным ужели тебе не зазорно?

Нет мотыги с тобой, что ж царапаешь глину весь день?
Тут ведь нет и воды, для чего же ты сеешь ячмень?

Мы бросали зерно в землю, полную влаги, и что же?
То, что мы обрели, с изобилием было несхоже.

Что же будет тебе под пылающим солнцем дано
На безводной земле, где мгновенно сгорает зерно?»

Был ответ: «Не сердись, мне не нужно обычного блага!
Что́ мне сила земли, что́ посевам желанная влага!

Что́ мне зной, что́ дожди, хоть бы длились они без конца!
Эти зерна — мои, а питает их воля творца.

Есть вода у меня: на спине моей мало ли пота?
И мотыга со мной. Это — пальцы. О чем же забота?

Не пекусь я о царствах, мне область ничья не нужна.
И пока я дышу, моего мне довольно зерна.

Небеса мне мирволят, добычу мою умножая.
Сам — семьсот я беру. Я бедней не снимал урожая.

Надо сеять зерно без мольбы у дверей сатаны,
Чтоб такие всегда урожаи нам были даны.

Только с должным зерном, только с небом нам следует знаться,
Чтобы колоса завязь, как должно, могла завязаться.

Тот, кто с разумом ясным был призван творцом к бытию,
Тот по мерке своей ткет разумно одежду свою.

Ткань одежды Исы не на каждого ослика ляжет,
Не на каждого царь, как на помощь престола, укажет.

Лишь одни носороги вгрызаются в шею слону.
Что пожрет муравей? Саранчовую ножку одну.

От нашествия рек море станет ли злым и угрюмым?
А ручей от потоков наполнится яростным шумом.

Человеку, о царь, все дает голубой небосвод.
Все, чего он достоин, себе он под небом найдет.

Государственный муж быть не крепким, не стойким не может.
Иль под бременем тягостным до́ смерти он изнеможет.

Нет, не каждый живущий родился для сладостных нег,
И великие тайны не каждый таит человек!»

Пусть несдержан юнец. Я же прожил немалое время,
Низами молчаливо несет свое тайное бремя.

РЕЧЬ ЧЕТВЕРТАЯ
О БЛАГОЖЕЛАТЕЛЬНОМ ОТНОШЕНИИ ШАХА К ПОДДАННЫМ

Ты — боец без щита. Ты — в гордыне один. Иль тебя
Гуль в пустыню загнал, отчужденную душу губя?

Ты — в венце золотом. Но венцы существуют ли вечно?
Ты — в цвету бытия. Но припомни: оно — скоротечно.

О, спешащий за теми, которым лишь в пиршествах свет,
О, покорный игре бесконечно бегущих планет!

Ты, отбросивший саблю, забывший о чтенье Корана,—
Для чего? Лишь для чаши, лишь только для винного жбана.

То ты с гребнем, то с зеркалом, счастлив ты ими вполне
О ценитель кудрей, ты подобен манящей жене.

Рабию ты припомни; она ведь в пустыне однажды
Разлучилась с косой для собаки, понурой от жажды.

В стыд вгоняешь ты доблесть. Деянья твои таковы!
Устыдился б деяния той сердобольной вдовы.

Будешь славить себя или силой кичиться доколе?
Этой сильной жены быть сильней ты, как видно, не в воле.

Человеческий разум и светлая доблесть — одно.
Надо всем правосудье. Всех доблестей выше оно.

Не в твоем ручейке стали воды прозрачными. Стала
Миловидною родинка в блеске чужого овала.

Ты не злой небосвод. Лишь о благе раздумывай ты.
Помни вечно о бедах, что к людям спешат с высоты.

Лишь добро проявляй, отдаваясь крутящимся годам.
Лишь такое имущество радует верным доходом.

На себя ты не должен людскую обиду навлечь.
Бойся честь обескровить и кровью людей пренебречь.

Притязали иные на честь и на доблесть. Быть может,
Честным двум или трем твой пример появиться поможет?

Правосудье твори; бойся мощных карателей зла.
Ночью ждет притеснитель: возмездья ударит стрела.

Мысли зорких грозят. Все подверглись их мощному сглазу.
Сглаз опасен, поверь, не простил он виновных ни разу.

Могут все испытать его страшный, негаданный суд.
Забывать ты не должен: ему подвергался Махмуд.

Сглаз людей беспорочных застигнет тебя ненароком,
И увидишь, бессильный, что ты наказуешься роком.

Те, что схожи с крылатыми, те, что душой в небесах,—
На пути черепашьем не меньше других черепах.

Пусть насилья мечом их дорога не будет задета,
Иль узнаешь стрелу, что метнут они в блеске рассвета.

Если ценишь владычество,— ты правосудье цени!
Ты на беды от гнева, что царствуют в мире, взгляни!

Человек, чья душа в доме этом ко благу готова,
Все свершает в ночи к устранению дома второго.

ПОВЕСТЬ О СТАРУХЕ И СУЛТАНЕ САНДЖАРЕ

Как-то шаха Санджара седая старуха одна
За полу ухватила, и в гневе сказала она:

«Справедливость являть, видно, властный, тебе не угодно,
Но обида твоя настигает меня ежегодно.

Пьяный стражи начальник вбежал в наш спокойный квартал
И напал на меня. Избивал он меня и топтал.

И за волосы взявши, меня он повлек от порога,
И царапала щеки мне жесткая наша дорога.

И обидам ужасным меня он речами подверг,
Кулаками позору пред всеми очами подверг.

«Прошлой ночью,— кричал он, исполненный пьяного пыла,—
С кем-то тут сообща человека не ты ли убила?»

Он обшарил весь дом. Беззаконье мы терпим и гнет!
Где же спины людей произвол еще тягостней гнет?

О пьянчуге шихне неужели не верил ты слуху?
Он и был во хмелю, потому-то избил он старуху.

Те, стучащие кубками, весь твой расхитили край!
И ни в чем не повинных уводят они невзначай.

Тот, кто видит все это и все же помочь нам не хочет,
Тот порочит народ, но тебя ведь он тоже порочит.

Я изранена вся. Еле дышит разбитая грудь.
В ней дыхания нет. Но смотри, государь, не забудь:

Если быть справедливым тебе в этот час неохота,
Все ж получишь мой счет. Ты получишь его в день расчета.

Правосудья и правды я вовсе не вижу в тебе;
Угнетателя волю я так ненавижу в тебе.

От властителей правых поддержка приходит и сила,
От тебя — только тяжесть, что всех нас к земле придавила.

Разве дело хорошее — грабить несчастных сирот?
Человек благородный у нищих добра не берет.

На дорогах больших не воруй ты поклажу у женщин.
Не бери, государь, ты последнюю пряжу у женщин.

Притязаешь на шахство! Но ты не властитель, ты — раб!
Лишь вредить ты умеешь, а в помощи людям ты слаб.

Шах, внимательный к людям, порядок наводит в округе,
И о подданном каждом он думает, словно о друге.

Чтоб указом любым всех он радовал в нашем краю,
Чтобы шахскою дружбою нежили душу свою.

Ты всю землю встревожил! Иль я неразумно толкую?
Ты живешь. Ну, а доблесть, скажи мне, явил ты какую?

Стала тюрков держава лишь доблестью тюрков сильна.
Правосудьем всегдашним в веках укреплялась она.

Но грабеж и бесчинство ты в каждую вносишь обитель.
Нет, ты больше не тюрк, ты, я вижу, индусский грабитель.

Города посмотри-ка: в развалинах наша страна.
Хлебопашец ограблен, оставлен тобой без зерна.

Ты припомни свой рок! Приближенье кончины исчисли.
Где от смерти стена? Вот на что ты направил бы мысли!

Справедливость лампада. Лампады пугается тень.
Пусть же с завтрашним днем будет дружен сегодняшний день!

Пусть же слово твое будет радовать старых готово!
Ты же дряхлой старухи, властитель, запомнил бы слово:

Обделенным судьбой никакого не делай ты зла,
Чтоб их громких проклятий в тебя не попала стрела.

Стрелы всюду не сыпь, иль дождешься недоброго часа!
Есть припасы молитв у несчастных, лишенных припаса.

Чтоб раскрылась вся правда, с железом ключа ты пришел,
Не затем, чтобы правду ударить сплеча, ты пришел.

Ведай, взявший венец, ты вовек не покроешься срамом,
Если раны недужных ты благостным тронешь бальзамом,

Пусть обычаем немощных станет тебя восхвалять,
А твоим, повелитель,— ласкать их опять и опять.

Береги, словно милость, возвышенных душ благостыню.
Охраняя немногих, что в тихую скрылись пустыню».

Что же стало с Санджаром, что встарь захватил Хорасан?
Знай: не внявшему старой — урок был губительный дан.

Где теперь правосудье? Все черным бесправьем объято.
Знать, на крыльях Симурга оно улетело куда-то.

Стыд лазурному своду, всегда пребывавшему в зле.
Вовсе чести не стало на где-то висящей земле.

Слезы лей, Низами, удрученный такою бедою,
Ты над сердцем их лей, что кровавою стало водою.

РЕЧЬ ПЯТАЯ
О СТАРОСТИ

Ночь пришла, благотворна, на смену прекрасному дню.
К ветру вышла земля, и вода прикоснулась к огню.

Утро старости светит. Очнись, ты охвачен дремотой.
Вон уж там, над стеною, деревья блестят позолотой.

Ты с пути, что ведет к покорению мира, сверни.
Ты не властен, как в юности. Встретил ты старости дни.

Стало сердце сухим, и томленьем оно не объято.
В нем уж нет крепкой соли, тебя оживлявшей когда-то.

Стали мысли неясны, туманной исполнены мглы.
Стали ноги бессильны, а пальцы не пальцы — узлы.

Но решает земля: мы ее милосердия стоим.
Подтяни свои ноги, довольствуйся сладким покоем.

В днях, крутящих тебя, утешаться отрадой какой?
Что всего нам любезней? Покой, ты поверь мне, покой.

Лунный свет, просиявши, в холодный туман обратился,
Твой тюльпан нежно-розовый в желтый тюльпан обратился.

То Хабеш, то Тараз! Как двуцветна твоя голова!
Словно тюрк и таджик на нее предъявляют права!

Эти волосы — дни, а вон те — будто черные ночи,
Ты подумай, о старец, в былое направивши очи,

Сколько в прошлое время встречалось тебе молодых,
Что с годами боролись, волос не жалея седых?

Все ж их роз лепестки облетели в осенние бури.
Старость к юным пришла, и не стало весенней лазури.

У тебя недостатков не видели юные, нет.
«Только старость,— твердили,— порок, затемняющий
свет».

Хоть бы в пальцах своих ты Джамшидову поднял
державу,
Поседев, проклянешь ты свою бесполезную славу.

Каждый волос седой — вестник смерти. И если спина
Изогнулась горбом, не о смерти ль вещает она?

Кто же юности царством и мудрости царством владеет?
Я найти их не смог. О творец, кто найти их сумеет?

Дни беспечности скрылись, ушли в безвозвратную даль.
Не печально ли это? Ну что ж, испытаем печаль.

Все навек исчезают, и каждый исчезнет Иосиф.
И печалимся мы, скорбный взор на прошедшее бросив.

Все сокровища юности бедный утратил старик.
Но ведь в старости только он ценность былого постиг.

Деревцо молодое прекрасные видело годы,
Но засохшее дерево рубят всегда садоводы.

Хоть прошедшая молодость вечно подобна огню,
Все же, старость кляня, мчимся думой мы к прошлому дню.

Ветви юных дерев предназначены завязям свежим,
А сухие огню. Ими в стужу себя все мы нежим.

Знаем: волосы черные сладкой исполнены тьмы.
Черным камнем привыкли оценивать золото мы.

Видишь, молодость, в сумрак уже удалилась. Не спи же!
Ночь настала, и тотчас заря появилась. Не спи же!

В час, как пламень твой жаркий, смиряясь вкусил камфары,
Черный мускус у неба, спеша, попросил камфары.

Лишь два месяца холод настойчивым будет и смелым.
Туча черная в небе со снегом появится белым.

И стирать и окрашивать — все это как бы одно.
Там, где солнце живет, и мессии жилище дано.

Все стирают водой. И скажи, кто же примет за сказку
То, что все при луне принимают иную окраску?

Эта смена цветов не угодна ль самим небесам?
Сам Иса стал красильщиком, разве не знаешь,— он сам!

Так как воздух прозрачный цветов не имеет нимало,
То весь воздух над нами и не тяготеет нимало.

Ты как радостный день и как ночь, что угрюма,— не будь,
Ты зараз черным зинджем и жителем Рума не будь.

Если черный ты зиндж, также Рума сверкающий житель,—
Ты познаний лишен, ты и зла и смятенья носитель.

Леопарда двуцветная в чаще заметна спина,
Потому-то стрелой и бывает она пронзена.

Как деревья, овеян то горьким, то сладостным часом,
Ты то бродишь в касабе, а то отягчишься паласом.

Так зачем же даны нам различные ткани? Зачем?
Чтобы в зной быть в джуббе, в злую стужу — остаться
ни с чем.

Леопардам и львам будь подобен, могучим и вольным.
Все дают небеса: безмятежным ты будь и довольным.

Хлеб с водой ты имеешь в своем небогатом углу —
Так не следует с ложкой к чужому тянуться котлу.

Если ты, о бедняк, не найдешь даже черствого хлеба,
То ведь воду и травы ты все же получишь от неба.

Что же рыскать за хлебом, как рыщут голодные псы?
Лучше ел бы траву, словно ослик святого Исы.

Шар с подвижного свода не даст и чуть видимой корки.
Если чести сперва не отнимет, и лютый, и зоркий;

Если в этой гробнице бесчисленных узников жар
Животворного неба зажег не напрасный пожар.

Был Иосиф без пищи, как волки в степи, а на крошки
Со стола сей скупой львы бросаются, будто бы кошки.

За пригóршню пшеницы — ну, стоит ли думать о ней? —
Не размалывай сердце, оно ведь пшеницы ценней.

Как водою, трудом ты замешивай тесто для хлеба.
Пламень сердца беречь не твоя ли, о смертный, потреба?

Ешь хоть землю, но хлеба не думай просить у скупых,
Иль дождешься укора от многих презренных и злых.

По рукам и по сердцу ты бей себя терном. Покою
Предаваться не надо. К работам тянись ты рукою.

Лучше малые деньги принять за работу, пойми,
Чем с рукою, протянутой скорбно, стоять пред людьми.

ПОВЕСТЬ О СТАРИКЕ КИРПИЧНИКЕ

В землях Шама когда-то старик поселился. Ей-ей,
Был он с духами схож: он всегда сторонился людей.

Он рубаху свою плел из трав, и, хваля мирозданье,
Кирпичи он выделывал, чтобы добыть пропитанье.

Те, что бросили меч и прощенья стремились достичь,
Брали в землю с собою лишь только могильный кирпич;

Ведь того, кто во тьме, в смертной тьме, не имел покрывала,
Хоть и грешен он был, все же высшая воля прощала.

И работы нелегкой привычная шла череда,
И в привычное дело все больше влагал он труда.

И по воле небес некто юный, красивый на диво
К старику подошел, и взглянул, и промолвил спесиво:

«Чтоб тебя укорять, подыскать не сумею я слов.
Месишь глину, старик, но ведь ты не погонщик ослов.

Что ты бьешь по земле? Что работой позоришь ты небо?
Ты найдешь и без этого корку насущного хлеба.

Брось свои кирпичи, приведи всю работу к концу,
Образец твой негоден, к другому приди образцу.

Делать комья земли! Гнуть над ними без устали спину!
Сколько лет ты намерен с водою размешивать глину?

Вспомни, жалкий бедняк, что давно уже стал ты седым.
Не для старых твой труд. Предоставь же его молодым».

Молвил старец: «О юноша, речью неумной не трогай
Для тебя непонятного. Шел бы своею дорогой.

Знай, что делать кирпич подобает седым старикам,
Лишь носить кирпичи молодым поручают рукам.

Я за труд свой взялся потому, что в нем вижу поруку,
Что не стану к тебе за подачкой протягивать руку.

Я не нищий, о нет, и с алчбой не гляжу я вокруг,
Ем я хлеб, что добыт лишь трудом этих старческих рук.

Ты меня не кори, я добытым довольствуюсь хлебом,
Коль тебе я солгал — да не буду помилован небом!»

И в смущенье великом, услышав спокойный ответ,
Порицатель ушел. Неразумный давал он совет.

Знать, на нашей земле много было увидено старым.
И за дело свое принялся он когда-то недаром.

В двери мира стучать не довольно ль тебе, Низами?
В двери веры стучать ты благое решенье прими.

РЕЧЬ ШЕСТАЯ
О СВОЙСТВАХ СОТВОРЕННОГО

Кто-то дергает куклы за синей завесой. Ответь:
Если нет колдуна, кто бы мог эти куклы иметь?

Очи сердца направь ты за звездную эту завесу,
Чтоб потом приоткрыл ты подлунному свету завесу.

Там, за синей завесой, есть те, чей безвестен предел,
Их послать к нам на время волшебник с высот
захотел.

Нашим взорам они помогают пронизывать дали:
На служенье сердцам все они пояса повязали.

«Все, что есть в сердцевине великого круга, найдешь
За пределами круга». Запомни — ведь это не ложь.

Тех, что мчатся по кругу, что будто бы в вечной погоне,
Лишь для нас оседлали. Для нас эти синие кони.

Но не раньше ли бега лазоревых этих коней,
Вновь и вновь пробегающих в смене бесчисленных дней,

Нам основу любви заложить было велено небом,
И любовь нас питала своим заработанным хлебом.

Светлый дар и порок... Оба мира их дали векам;
Привязали их, смертный, навеки к твоим торокам.

«Ты мне друг»,— звездный мир человеку сказал
непритворно.
Коль земля схожа с птицей, то люди — отборные зерна.

Ты покинь эту птицу, ты когти ее позабудь;
Ты над ней возлети и Симургом бессмертным ты будь.

Словно птица, твой дух, твой мессия,— и вольные крылья
Он поднимет над клеткой, и ввысь он взлетит без усилья.

Когти птицы своей отдели ты от клетки, иль ты
Отпусти с нею клетку, чтоб светлой достичь высоты,

Чтобы в край свой родной легкой птицы великая сила
Унесла эту кладь, чтобы птица тебя защитила.

Сени праха минуя, уйдешь ты в безвестную даль;
От твоих заблуждений твою там омоют скрижаль.

И забыть обо всем, что вселенной владело, ты сможешь,
И увидеть все тайны иного предела ты сможешь.

Сможешь встретить пророков и сможешь, вступив на порог,
Полный света, святилища вечный увидеть чертог.

Двух миров две стоянки, над миром оставленным рея,
Ты пройдешь, человек, одного полувздоха быстрее.

Тот, кто глину твою преисполнил таинственных сил.
Тот Каабу души в твое светлое сердце вместил.

Пусть же будет душа только пламенем сердца палима,
Ведь непрочная плоть истлевает быстрее гилима.

Ветер глазу нарцисса весною дарует сурьму.
Делать медь золотой не дано ль колдовскому уму?

Станет тело, поверь, лишь комками рассыпанной глины,
Но ведь сердце есть сердце. Его раскрывают глубины.

Рабски сердцу служи — и взойдешь на возвышенный трон.
Власть найдешь над душою и разум захватишь в полон.

Размягчи свое сердце до мягкости мягкого меха,
Хоть, как мускусу, жесткость для плоти твоей не помеха.

Для одежды своей выбирай только грубую ткань.
По шелками и узорам о людях судить перестань.

Жесткость кожи! Газелям она украшением служит.
Потому-то для дружбы она утешением служит.

Мускус держится в жестком. Подумай-ка: будет ли толк,
Если мускус рассыплется. Что ему нежащий шелк!

Коль ты сахар, то помни, что вьюк тебе в странствии нужен.
Вверься ракушке ты, коль в тебе ценность чистых жемчужин.

Будь порою в стенаньях кровавым рубином зари
И затем над зарею рассветом блаженным гори.

Если тяжко трудиться ты станешь под пологом ночи,—
На тебя благосклонные будут направлены очи.

Те достойные люди, что к далям намеченным шли,
Только тяжким трудом достигали желанной земли.

Беды к людям приходят по воле великих пророков.
Есть и в счастье беда. Много в мире нежданных уроков.

Для влюбленных в себя раны тягостных бедствий — бальзам;
Горечь — сладость вина. Это, думаю, знаешь ты сам.

К ценным кладам приводят свирепые, злые драконы,
Что приводит к спокойствию? И беспокойство и стоны.

Со свободной души ты любую откидывай сеть,
Будь горящей свечой, той, которой отрадно сгореть.

Беспокойны заботы, но их не встречай ты с тоскою;
Беспокойны заботы, но все же приводят к покою.

Звездный рок над тобой — не всегда преисполнен он зла —
Не завяжет узла, не распутав другого узла.

В том свободном пути, что земные обходит ограды,
Нашей скорби вожатый — всегдашний предтеча отрады.

ПОВЕСТЬ О СОБАКЕ, ОХОТНИКЕ И ЛИСИЦЕ

Жил охотник один. Был он зорок, и знал он пути;
Он за дичью любой мог любую пустыню пройти.

Он собаку имел. Буйный бег ее собственной тени
Не догнал бы ее над простором песков и растений.

Были в страхе онагры, пред нею дрожал носорог,
Многомощных оленей сбивала порой она с ног.

И охотнику всюду была она в странствиях другом,
Дни и ночи была к ежечасным готова услугам.

К благодарности, к дружбе, казалось, взывала она —
Охраняла в ночи, днем еду добывала она.

Но, подобная льву, скрылась где-то,— и горькие мысли
Угнетали охотника: звери собаку загрызли.

Думал он: на путях, где судьба все имеет права,
Лапа верной собаки дороже кудлатого льва.

Хоть в печали своей он, казалось, утрачивал душу,
Скорбь души он смирил. «Я терпенья,— сказал,— не нарушу».

Он терпенья набрался, хоть был он горяч, и совсем
Он про дичь позабыл; не имел ее и на дирхем.

И лисица пришла и промолвила голосом лживым:
«Ты терпенья не знал, почему же ты стал терпеливым?

Я слыхала, охотник, что пес твой прекрасный подох,—
Ты во здравии будь, если пес твой ужасный подох.

Он вчера, говорят, словно лев, поскакал на охоту,
Поскакал и пропал, и тебе он доставил заботу.

На тебя он как будто охотится ныне. Ну что ж!
Верно, месяца два ты печали о нем не уймешь.

Ну, вставай, за жарким ты направься к оленю иль гуру;
Мясо съешь, а дервишу отдай ты ненужную шкуру.

Жирной снедью, о лев, ты недавно питался. Теперь
Мясом жирным лисиц наслаждаться не будешь. Поверь,

В безопасности ты. Твоего не коснулось же слуха
То, что жир этот — яд, что от жира бывает желтуха.

Ведь собаки уж нет. Ну, к чему твоя верность, к чему?
Ну, к чему твое горе, печали безмерность к чему?»

И охотник сказал: «Ночь, поверь мне, рассветом чревата.
Грусть моя недолга: от восхода она до заката.

И доволен я тем, что живущим известно давно:
И печалям и радостям долгими быть не дано.

Что величье! Что рабство! Идет это все друг за другом,
Все на свете охвачено вечно крутящимся кругом.

Небеса и созвездья в размерном вращенье текут,
Дни удач и невзгод в быстросменном теченье текут.

Хоть мы с сердцем грустим, я и сердце печалиться рады,
Потому что печаль — предвещенье грядущей отрады.

Стал Иосифом волк, опускать все ж не стану я вежд.
Я не волк, и своих раздирать я не стану одежд.

Хоть собака исчезла, мне все же, поверишь ли, мнится,
Что придет она с дичью, с тобой очень схожей, лисица!»

Он еще говорил, а уж пыль заклубилась вдали,
И собака мелькнула в клубящейся в серой пыли.

И затем, обежав два-три раза лисицу, напала
На лисицу собака, подмяла ее и сказала:

«С опозданьем большим, дальний путь одолев, я пришла;
Но ведь знает лисица, как яростный лев, я пришла.

Глянь, в ошейнике я. Лучше веры не сыщешь завета.
Глянь, в колодках лиса — не твоя ли уверенность это?»

Если наша уверенность душу к терпенью ведет,
Каждый замысел наш нас всегда к достиженью ведет.

Если прибыль имеешь, уверься ты в прибыли новой,
Эту веру считай всяких дел наилучшей основой.

Если поступь уверена, день твой не будет пустым;
Если камень уверен, не станет ли он золотым?

Если твердо шагаешь, в пути не изведаешь горя,
Влагу сыщешь в огне, вихри праха поднимешь из моря.

Тот, кто с твердою верой в трудных печется делах,
Помнит щедрость и милость: живущих питает аллах.

И не станет он мошкой над чьей-либо скатертью, будет
Ко всему благосклонен, и горести он позабудет.

Ты на верной дороге, ты светлых достигнешь дверей,
Божье дело свершай, не горюя о доле своей.

Обратись к величайшему, став у дверей, и участья
Ты проси у него — он податель и бедствий и счастья.

Не вернется никто, эти светлые двери пройдя.
Кто захочет вернуться, благое за ними найдя?

Чтите племя уверенных. Все им известны дороги,
Ведь они — голова, а другие — покорные ноги.

Лишь молитвенным ковриком воду затронут они,
Станет медом вино, и почтенье ты к ним сохрани.

Коль устойчивость дел ты считаешь несбыточным делом,
Что считаешь своим неизбежным и вечным уделом?

Нам обличье земное столь ясное взору дано,
Но с высот безначальных указ получило оно.

Нашу долю, о друг, нам послали безвестные дали.
Что ж, ее ты прими, если нам ее некогда дали.

Люди ищут иного — того, что не в нашем краю,
Но мгновение люди вкушают лишь долю свою.

Будь старателен в вере. Лишь верные все побороли.
Ты стараньем иным не изменишь нерадостной доли.

Чтоб великим ты стал, чтоб над миром сиял ты в выси,
Ты старателен будь и помóги небес не проси.

Низами хоть старался, но было немного в нем жара,
Если чем-то он стал — это следствие вышнего дара.

РЕЧЬ СЕДЬМАЯ
О ПРЕВОСХОДСТВЕ ЧЕЛОВЕКА НАД ЖИВОТНЫМИ

На земле проживающий, нежный, как сам небосвод,
Холит небо тебя, и земля, и течение вод.

Ты ниспослан на землю, но ты и не знаешь, что дело
Краткой жизни твоей величавей земного удела.

Молока звездной вечности древле не ведал твой род,
Ибо сахаром милости был ты накормлен с высот.

И не должен ли быть ты душою прекрасен за это?
Должен быть ты прекрасен и полон великого света.

И каламом предвечности, где-то от смертных вдали,
Был прекрасный твой облик начертан для нашей земли.

Сердце смертным даруя, решили в высотах, что нужен
Для живущего стан, опоясанный нитью жемчужин.

Ничего, что ты слаб. Ты скажи: «Я на этом лугу
Отличаться от ланей и сильных оленей могу».

Все живущие твари тебе услужают покорно,
Это бедные птицы, в силках увидавшие зерна.

Ты — Хума. В каждом деле ты чести доверенным будь,
Безобидным и тихим и в пище умеренным будь.

Всех живущих на свете земная зовет мастерская,
И великих и малых к насущным делам привлекая.

Совы в сказках пугают, грядущих невзгод не тая,
И для кладов зарытых они ведь нужней соловья.

Те, которых завеса земному открыла пределу,
Душу в теле имеют, по ценности равную телу.

Хоть жемчужины эти — ничто перед морем твоим,
«О, жемчужины мира!» — порой обращаюсь я к ним.

Убивать ты не должен больших или малых, ведь виру
Ты за кровь не отдашь, и страданья не надобны миру.

И плохие и добрые чтут повеленье твое,
И в плохом и в хорошем они — отраженье твое.

Те, кого ты обуешь, дадут тебе шапку за это,
Чью-то тронешь завесу — твоя будет также задета.

* * *

Не желай, словно утро, завесы ночной превозмочь,
Будь завесы хранителем, словно глубокая ночь.

Любят осы завесу пурпуровой розы. Единой
Ты покрылся завесой, прозрачной завесой осиной.

Долго ль мошкою будешь — о, как ее участь горька! —
Ты гоняться за пищей меж тонких сетей паука?

Те, завесой укрытые, те, что миры создавали,
Многозвездной завесою тайну твою закрывали.

На путях за завесой ты все приобрел и пришел,
Отстранивши завесу, в земли новоявленный дол.

Надо сердце забыть, коль оно разлюбило завесу,
Не внимай ничему, что навек позабыло завесу.

Тот волшебник, что скрыт за завесою с давней поры,
Ткань завесы лазурной вознес не для праздной игры,

Только этой завесы касайся признательным взглядом,
Новых песен не пой, стародавним прельщаемый ладом.

О завесе услышав, пойди многомудрым вослед.
За завесою тайн стань участником тайных бесед.

Чище светлой души станет тело твое, только надо,
Чтоб его сорок дней окружала темницы ограда.

У побывших в темнице высокое качество есть.
Был в темнице Иосиф. Темница — великая честь.

Чем же высший почет, чем же ценность души обретают?
Все забвением благ — ты к забвенью спеши! — обретают.

Ты души серебро в отрешенья горнило вложи.
«Дай мне золото сердца»,— отказу от мира скажи.

Ты подвижником стань, избери себе путь только правый,
Только так ты достигнешь величья и подлинной славы.

Коль себя ты смиришь, то динару блестящему дан
Будет правды твоей и смиренного сердца чекан.

Лишь поймешь, что с тобою природа в союзе и разум,
Сказ «Кузнец с москательщиком» вспомнишь, бесспорно,
ты разом.

Этот веет пожаром, вздувая огонь, а другой
Овевает прохожего амброй своей дорогой.

Ты в поклаже природы спасенья не сыщешь: далеко
Птица клеть унесет, и закроется смертное око.

Ты привыкни к пути, что исполнен обмана всегда,
Будет благостный рок вожаком каравана всегда.

Чтоб главенства достичь, отказаться должны мы от страсти.
В отрешенье великом величье пророческой власти.

Покорив свою душу, ты радостным сердцем взыграй
И обуйся скорей: издалека завиделся рай.

Стань душою, что колокол, в блеске грядущего дива,
Будь служителем веры, не темным прислужником дива.

Ты в святилище веры спасайся от злого огня,
Чтоб не ведать смятения в грохоте Судного дня.

Был неверный избавлен от злого, от страшного рока
Лишь затем, что сродни приходился он роду пророка.

Взгляд высоко взнесенных не есть ли благая броня
Для исполненных веры, для полных святого огня!

ПОВЕСТЬ О ФАРИДУНЕ И ГАЗЕЛИ

Как-то царь Фаридун, при сиянье встающего дня,
Приближенных скликая, с отрадой вскочил на коня.

И, в степи предаваясь любимой охоты веселью,
Он увидел внезапно, что сам он подстрелен газелью.

Прелесть шейки и ног от вражды отклоняла стрелка,
О пощаде просили глаза, и спина, и бока.

Пусть охотника взгляд для бегущей газели — засада,
Но она, восхищая, казалось, бежала от взгляда.

Полонен был охотник, и плен был и скор и таков,
Что владыка почувствовал цепи тяжелых оков.

И, рванув повода, и горя, и скача возле цели,
Спинку лука он сделал нетвердой, как брюхо газели,

И большая стрела не попала в отличную цель,
И встревоженный конь обежал неудачно газель.

Шах промолвил стреле: «Где же злое твое оперенье?»
И коню закричал: «Где твое за добычей стремленье?

О ничтожный твой бег, о ничтожность твоей тетивы!
Перед сей травоядной какое ничтожество вы!»

И сказала стрела: «Подстрелить! Вот была бы досада!
Бессловесная эта — приманка для царского взгляда.

Твой восторженный взгляд — для прекрасной газели броня,
В цель должны попадать, но твоя не для цели броня».

Бубен видит владыка, и ждет он отрадного лада.
Лишь ладони играющих — радость для шахского взгляда.

Быть с клеймом вознесенных — завидный и сладостный рок.
Ведь с клеймом вознесенных и сам ты безмерно высок.

Для людей умудренных, чей так проницателен взор,
Нет служенья похвальней, чем крепкий святой договор.

Дланью верности крепкой возьмись ты за пояс обета.
Стражем верности будь пред лицом многолодного света.

Много лалов имея, сокровищ немало тая,
Как служения пояс, лежит возле кладов змея.

Потому небосвод ярких звезд рассыпает каменья,
Что, над прахом поднявшийся, поясом стал он служенья.

Обладающий даром, хоть дар его светлый не мал,
Пред наставником пояс на трудном пути повязал.

И свеча, что сияет огнем золотым и веселым,
Пояс также носила, для воска, покорствуя пчелам.

Ты не связан ничем, так вставай же скорей, Низами,
Чтоб связать себя службой, с поспешностью пояс возьми.

РЕЧЬ ВОСЬМАЯ
О СОТВОРЕНИИ

Перед тем, как вещавшие жизни великий приход
Насладились водой из великого моря щедрот,

Пусто было в ладони безмерного царства, и пылью
Прах еще не клубился, еще он не делался пылью.

Не кончался еще промедленья безмерного срок,
Еще кукол никто из-за синих завес не извлек.

С низшим кругом еще связи ночи и дни не имели,
Ждали плоть и душа, связи с миром они не имели.

И стихии теснились, и длился их тягостный спор,
Справедливость тогда их еще не смирила раздор.

Но великая воля, веленью верховному вторя,
Каплю влаги послала из дивного милости моря.

И сошла эта капля, и влага возникла, и вот
В круговое движенье лазурный пошел небосвод.

Из текучей воды взвился прах, и случайность вот эта
Смесь твою создала,— и возник ты из мрака и света.

В путь поднявшись затем, ты из этой уйдешь мастерской.
Ты — лишь прах, что поднимется где-то за синей рекой.

О, блаженно то время, покуда на свете ты не был,
Был твой лик не начертан, и в смене столетий ты не был.

Звездный взор небосвода ничто не желало привлечь,
Уши бедной земли еще нашу не слышали речь.

И покуда на землю еще не поставил ты ногу,
Бытие восхваляло пространства пустую дорогу.

Еще не были, знай, дни и ночи твои тяжелы,
Силы жизни дремали, и были в то время не злы

Сада мира колючки. И сроки безгорестно плыли.
И на легком пути еще не было тягостной пыли.

И лучам Близнецов было сладко сияньем играть.
Вы в сиянье, врачи, не могли нашу кровь отворять.

Если месяц, плывя, становился на миг темноликим,
Не срамили его медным грохотом, шумом великим.

И к Зухре на земле посрамленье еще не пришло,
В колдовском Вавилоне Харута дремало крыло.

Не был ты на земле, и в лазурной ты не был пустыне,
Где-то с краю ты был, а тоска по тебе — в сердцевине.

И когда в этот мир образ кем-то ниспослан был твой,
О тебе небеса переполнились гулкой молвой.

Дурноглазым ты был для созвездий, что в сумраке мрели,
И смятенье ты создал в плывущих светил колыбели.

Еще дням и годам неизвестен был времени ход,
Но ты дал им названье, повел их незыблемый счет.

Словно зеркало, был непорочный простор мирозданья,
Но его, о порочный, твое замутило дыханье.

И восход поднял ты, и повел ты его на закат,
Создал истину зорь и рассвет, что обманывал взгляд.

Неразумному небу проклятий пошлю я немало:
Оно пояс служения людям зачем повязало?

Был на небе ты назван великим созданьем души,
Но тебе, видно, льстили. Ты верить словам не спеши.

Злое горе! Венец головы человека дороже;
Пса дороже ошейник; осла — его торба. О, боже!

Сколько было бахвальства в пустых и хвастливых речах.
Говорил ты о том, что весь мир — только горестный прах.

Но весь мир ты отдашь за пригоршню размешанной глины.
За обмазку для стен все отдать ты бы мог без кручины.

Всю поверхность земли огорчать ты как будто бы рад,
Хоть бы ты под землею лежал, как припрятанный клад!

Ты в безумье великом. Для разума всюду помеха
Из-за этих небес — из-за серого цвета ореха.

Чтобы ты, как орех, в тесной тьме навсегда не исчез,
Удались от ореха, от беличьих этих небес.

Ночь — не мягкий бобер, день не схож с белизной горностая,
Сутки — пестрая ласка, драконам подобная, злая.

Смелой кошкой не будь, не сердись, пестрой ласке грозя,
С вероломною лаской тебе состязаться нельзя.

Лев являлся на берег. Опасно под сим небосводом.
Почему ж, как олень, к этим страшным приходишь ты водам?

Если видишь вдали голубое сияние вод,—
Это марево влаги лукавый послал небосвод.

Ты коня не гони, не узнаешь ты радостной доли,
Оближи свои губы; ты видишь мерцание соли.

Чтобы жажды не знать, чти рассудка нелживый кумир;
Коль гумно сожжено, ты припомни, что есть табашир.

Перед тем, как Иосифом горестный жребий был выпит,
Над колодцем своим он божественный видел Египет.

Вот пришел из лазури, но желтым твой сделался лик.
В этом темном колодце ты, жаждая блага, поник.

Но был желтым твой лик, и ты к благам был полон любови
Не затем, что, тоскуя, свои ты насупливал брови:

Тосковал ты столетья, и ты от себя не таи,
Что в тоске этой древней — ничто эти брови твои.

Пред тобой семь столов, но припомни о смерти Адама,
Ради райского хлеба терпеть нам не следует срама.

Если хочешь поджечь ты свое золотое гумно,
Если думать о рае с надеждой тебе не дано,

Устремляйся, спеши, поскачи по ристалищу смело;
Коль приказывать можешь, любое приказывай дело.

Два-три дня, что ты здесь, будь за чашей, иль мирно
дремли,
Иль вкушай в сладкой неге плоды благодатной земли.

Темный рок твой жесток, он рукой прихотливой и ловкой
Обвязал тебя слабо своей вековечной веревкой.

Хоть в колодках ступни, хоть согбен ты сидишь на пиру,
Все еще ты сгораешь в своем же обильном жиру.

Хворост этой поварни (поварня ведь хворосту рада!),
Сам ты станешь жарки́м в Судный день для несытого ада.

Сколько в чреве твоем будет хлеба и сколько воды,
Станешь, легкий, тяжелым и тяжкой дождешься беды.

Если б длительно жадный земные свершал переходы,
Съевший множество яств мог бы жить бесконечные годы.

Дни земные бегут, потому их цена высока,
Жизни ценится прелесть затем, что она коротка,

Ешь немного — и много ты мирных мгновений узнаешь.
Ешь, несдержанный, много — и много ранений узнаешь.

Нет, не разум велел столько снеди вседневно иметь,
Это алчность велела бросаться на жирную снедь.

Это алчность творит много пиршеств бесчинных и шумных.
Прогони ты безумную — ту, что смущает разумных.

Потому нашей алчности разумом послана весть,
Чтоб того мы не ели, чего нам не велено есть.

Я боюсь ее лавки. Смотри, под навесом базара
Цвет ее ты воспримешь: ярка она очень и яра.

Ведай: злое и доброе, в этом сомнения нет,
Друг у друга охотно заимствуют образ и цвет.

Продающий плоды в Иемене безгорестно жил,
Свой товар охранять он лисичке одной поручил.

Чтоб, опасность увидев, поднять незамедля тревогу,
Свой старательный взор устремляла она на дорогу.

И к прилавку не раз подбирался находчивый вор,
Но не мог одолеть он лисички бессменный дозор.

И вздремнул он пред лавкой, прием применяя знакомый,—
И уснула лисичка, его зараженная дремой.

Если спит этот волк, не являет опасности он.
И лисичка свернулась и сладкий увидела сон.

И, увидев лисичку в дремоте спокойной, умильной,
Вор в лавчонку проник, и ушел он с добычей обильной.

Если в сны безмятежные, странствуя, втянешься ты,
Головы не снесешь иль без шапки останешься ты.

Пробудись, Низами! Скинь дремоты ненужное бремя.
И расстанься со всем: расставанья приблизилось время.

РЕЧЬ ДЕВЯТАЯ
ОБ ОСТАВЛЕНИИ МИРСКИХ ДЕЛ

Человек, что дороже счастливых и страстных ночей!
Человек, что мгновенней, чем отсвет рассветных лучей!

Долго ль, тени подобный, склоняться ты будешь в печали?
Поднимись, будто знамя, и двинься в безвестные дали.

Если шахи идут в новый край или в новый поход,
То поклажу они посылают обычно вперед.

Если с шахом ты схож, собирайся,— поклажа готова,
Отправляйся в поход, что богаче похода земного.

Ты вперед с нужной кладью немедлящих слуг посылай,
Снедь на завтрашний день ты сегодня, о друг, посылай.

Улей медом наполнен, гуденьем наполнен веселым,
Потому что предвиденье мудрым даровано пчелам.

Муравьям боевым в этом деле неведома лень.
Дружно пищу они собирают на завтрашний день.

Ты прозри, человек! Ты не медли в усладе беспечной!
Муравью и пчеле уподобься в работе их вечной.

Тот, кто хочет, живя, каждый встретить безгорестно час,
Запасается летом, зимой поедает запас.

В этом искусе жизни не всякий ли смертный — меняла,
Чьи сокровища хрупки и мельче смарагда и лала?

Нашим замыслам жадным грядущее знать не дано.
Что дано нам предвидеть? Лишь только мгновенье одно.

Но стоянку мы знаем, и нас небосвод не обманет.
Вот стоянка твоя: размышленье о том, что настанет.

Из живущих существ — а ведь их бесконечные тьмы —
Размышлять о последствиях можем одни только мы.

Хоть минутной усладе, как сладостной жизни, мы рады,
Но уменье предвидеть отрадней минутной услады.

Мы, познавшие сердце, чей пламень для нас запылал,
Мы добыты из глины, но все ж мы сверкающий лал.

Нам сиянье грядущего в реющей мгле заблистало,
И о многом таимом душе нашей ведомо стало.

Прочитать мы смогли, хоть наш разум пределами сжат,
Девяти звездных школ раскрывающий тайны абджад.

Ты и я — только мы были высшим отмечены роком,
Ты и я — первый плод из садов, что на небе высоком.

Тот, кто прах твой месил, тот и лучших отобранных трав,
Чтобы сердце возникло, целительный создал состав.

Прах твой с горечью смешан, но все же сокровищ немало
В сердце праха таится. Они — постиженья начало.

Этот прах оцени. Ты о сердце людском не забудь.
Благодарность забыл. Благодарным и радостным будь.

Вот стоянка твоя. Ты скажи, все окрест озирая,
Как сюда ты пришел, как уйдешь ты, из этого края?

Что скрывается в том, что из далей пришел ты сюда?
И куда ты уйдешь, и зачем ты уйдешь навсегда?

В дни, когда на земле ты еще не томился, печален,
И служит не тебе этот мир безнадежных развалин,—

Ты блаженство знавал, то, что знает лишь только Хума,
Ты не знал в светлом небе, что где-то находится тьма.

И любовь твоя крылья в безмерную ширь раскрывала,
Но ведь вечность безмерная также предела не знала.

И, устав, ты спустился, покинув пустынную сень,
И на землю и на́ воду бросил крылатую тень.

И когда ты, мятежный, земными наскучишься снами,
Снова солнце захочешь узреть под своими стопами.

Но, забыв обо всем, от всего отказавшийся, ты
Вновь стремишься в безвестность. Твои беспокойны мечты.

Быть в движенье бессменно! Желать ты не хочешь иного.
Ты свой путь забывал, и о нем позабудешь ты снова.

Ты и нищ и богат, и ладонь многощедра твоя,
Вечно новый, издревле идешь ты путем бытия.

Ты не чти эту землю — убийцу живущих на свете.
Ты покинь эту мать. Об отцовском ты помни завете.

Ты скажи, простодушный: «Тебе повинуясь, Адам,
И припомнив твой путь, по твоим поспешу я следам».

Ждешь покоя зачем? Что несет ожидань такое?
В этой жизни земной мы не можем мечтать о покое.

Если б нашей алчбе краткой жизни сочувствовал миг,
Облик жизни растраченной вновь бы пред нами возник.

Погрусти и уйди — разве ты не из этой же глины?
Ты, что радостен здесь, иль грустить не нашел ты причины?

Ну, кому ж небосвод молвил весело: «Радостен будь»?
Не тебе и не мне. Нет, о радости ты позабудь.

Мы на землю пришли, чтобы ведать невзгоды и беды,
В этот край мы пришли не для мирной и сладкой беседы.

Мир продажи и купли! Он полон тревоги большой,
Полон вечной неверности, вечной клянусь я душой!

Почему ж ты грустишь и грустнее тебе год от года?
Хоть сюда ты пришел, но ведь время наступит ухода.

О, навеки, навеки нам эти печали даны:
Появленье, отбытье, в которых мы так не вольны!

Что ничто есть ничто, в этом, право, сомнения мало.
Бытие есть ничто — вот что душу печально объяло.

Не спеши уходить, ведь сюда ты неспешно пришел.
В сеть недавно попал. Претерпи этот горестный дол.

Крикнут нам: «Проходи! Будь в аду или в светлом эдеме».
И чекан наш изменят и выбьют на новом дирхеме.

Стародавнюю глину по-новому станут сбивать.
То, что было разбросано, собранным станет опять.

Дней грядущих побойся. Ты их устыдись. Ты ведь ныне
Ничего не стыдишься в своей непустынной пустыне.

Нам грозят испытанья. Об их одоленье радей.
Посмотри, терпеливый: изранено сердце людей.

Только вера есть конь в этой мертвой пустыне. И только,
Только вера. Так будет и было доныне. И только.

В этом трудном пути все вперед погоняй ты коня,
Не кори неразумных, свое милосердье храня.

Вот старания зеркало. Твердо, в упорстве великом
Ты глядись в эту гладь, будь обрадован пламенным ликом.

Ты покайся в грехах, им указом господним грозя,
И припомни о том, что судьбе покоряться нельзя.

ПОВЕСТЬ О ПОДВИЖНИКЕ, НАРУШИВШЕМ ЗАРОК

Некто, чтивший мечеть, был в беде неожиданной. Он
Стал с притонами темными в тяжкой тоске обручен.

Лил он в чашу вино, лил из глаз он обильные слезы.
«О, беда,— он стенал,— я возмездья предвижу угрозы.

Птицу страсти мне в сердце вселил непредвиденный рок.
Стали четки мои — словно пойманной птицы силок.

Мне Кааба запретна,— неслись его тяжкие стоны,—
Мне, как видно, судьбою назначены только притоны.

Знаки звезд надо мною поплыли проклятием злым —
Каландаром я был — а остался гулякой пустым.

На меня уж никто не посмотрит почтительным взором,
И притоны, где я, еще бо́льшим покрылись позором.

Ах, уйти бы от мира! Не знать его горестной мглы!
Пыль дороги земной пусть моей не коснется полы!

Эта воля судьбы, что я здесь, где языческий идол!
Это рок мою душу притонам неправедным выдал!»

Но ведь свет милосердья от смертных людей недалек,
Некто юный, укрытый за темной завесой, изрек:

«Не считай, что дела твои злобным ниспосланы роком,
Сотни схожих с тобой этой жизни влекутся потоком.

Ведь раскаянья двери, ты знаешь, открыты для всех.
Пред нами омой ты слезами свой тягостный грех.

Если к нам ты пойдешь, то прощенья заслужишь. Когда же
Не пойдешь — поведут; ты суровой достанешься страже.

Твое пастбище — луг, то холмистый, то гладкий. И все.
Небеса — твой тростник, изумрудный и сладкий. И все.

Собирай свой припас, не дремли и не спи ты ни часа,
Вдаль, где нет бытия, не иди, не имея запаса.

Для чего эти слезы? Кровавые слезы таи,
Для чего эти сны, эти сладкие дремы твои?

Встретит вера тебя погруженным в дремоту, усталым,
И укроет свой лик под печальным она покрывалом».

Царь воссел на коня; дух в поход собрался, Низами!
Не промедли! Свой взор ты в просторную ночь устреми.

РЕЧЬ ДЕСЯТАЯ
О КОНЦЕ МИРА

Ты последний свой круг не спеши совершить, небосвод!
О земля! Отдали ты беды неизбежный приход!

После золота дня вечер стелет багряную ризу.
То, что было вверху, неуклонно сколоняется книзу.

Дышат недра земли, смутный ужас во мраке храня.
Будет страшно земле сотрясение Судного дня.

Забушует безумье; и вот не пройдет и мгновенья —
И небесных цепей разотрет оно крепкие звенья.

Вихри взвихрят весь мир, набежав из нездешних степей,
И земля, обезумев, сорвется с небесных цепей.

Так безумна земля (кто иначе о бешеной скажет?),
Что на стане своем пояс неба мгновенно развяжет.

Вечер цвет позабудет, а утренний час — аромат,
Небосвод от човгана, земля от мяча отлетят.

И ударит земля по лазури тяжелым ударом,
Небосвод ей ответит ударом и ловким и ярым.

И, пылая огнем, он ударит опять и опять,
Он захочет всю землю, удар за ударом, разъять.

Разорвет он свой плащ в этой смене гремящих событий,
И жемчужины звезд разорвут свои светлые нити.

И падет небосвод, и земные взметет он поля,
И, крутясь в исступленье, поднимется кверху земля.

Небосвод и подлунную люди томить перестанут,
Под стопами людей все дороги пылить перестанут.

Высь не будет в заботах о людях и ночью и днем,
И забудет земля о безумном коварстве людском.

Будет стыдно созвездьям за то, что почтительны были
К малой горстке земли — к человеку, подобному пыли.

Как змея, небосвод изовьется лазурным кольцом,
Чтобы землю пожрать пред своим неизбежным концом.

Страждет печень земли: ей безмерно наскучили люди!
Да, одни только вы эту землю измучили, люди!

Почему же земля в этой чаше печали лежит?
Почему эта чаша, синея, о смерти твердит?

Если вам не дано, в вашей скорби тревожной и бурной,
Этот прах ненадежный исторгнуть из чаши лазурной,—

То в потоках семи от нее вы омойте полу,
Чтобы стать непричастными черным невзгодам и злу.

Рвите рубище звезд вы с лазурных высот. Во мгновенье
Зачеркните весь мир. Да настанет его разрушенье!

И под черной землей в быстрых звездах крутящийся свод,
Не промедлив, укажет великих событий приход.

Для всего, что грядет, для прощений, для грозных возмездий,
Мы найдем указанье круженье горящих созвездий.

Если голову рубят, она отлетает,— и вот
Уж готова земля в этот страшный и мрачный полет.

В черной ракушке неба немало жемчужин, но скрыла
Эта мгла в черном сердце грозящего нам крокодила.

Злая ракушка — небо. Не радость — ее жемчуга.
Звезды взор наш отводят: созвездья — лукавей врага.

Посмотревший на них, как на блеск непонятного чуда,
Как змея, спрячет взор за зеленую мглу изумруда.

Да, прозрения мира у взора воздетого нет.
Сотни раз поглядит, знанья все ж и от этого нет.

Путь в неведомый край ты всегда, человек, ненавидел,
Потому что глазами его — не своими ты видел.

Ноги только свои утомляй ты в нелегком пути;
Ведь нельзя по дорогам ногами чужими идти.

Пусть высоко взойдет, сыпля золото, мощный, но хмура
Будет участь его: смертный час наступил и для Гура.

Не закроешь ворота на улицу смерти; нельзя
Избежать ее кровли. Твоя неизбежна стезя.

Пребывай в этом доме, где заперты окна и двери,
Что на пользу болящим, по слову старинных поверий.

Хочешь ведать о мире? Загадкой, совсем не простой,
Видишь небо и прах. Что томиться надеждой пустой?

Млечный Путь позабудь, хоть в безмерности так он узорен.
Три зерна ты сочтешь. Что сказать о бессчетности зерен?

Водяным колесом купол неба поднялся, но ты,
Тесный круг оставляя, безмерной желай высоты.

Разум самый подвижный и самый пытливый и строгий
Пристыжен и смущен вечной тайной безвестной дороги.

Размышленья бессильны: ты зорок, внимателен будь.
Разгадать попытайся для взора неведомый путь.

Ты за волосом каждым другой не разглядывай волос:
Все земное прими, иль разлуки послышится голос.

Коль тебе благодатное в звездной завидится мгле,
Станет грустно тебе оставаться на темной земле.

Мир! О глиняный холм! Где тут верность и где тут услада?
И глядеть на него вожделеющим взором не надо.

Для чего твой венец? Он сверкнет над поникнувшим лбом,
В ярком поясе ты, но покорным ты станешь рабом.

Дарование каждое тяжкие слышит укоры.
Даже в сахаре яд. Посмотри, как сверкают узоры

Этих зорь. Яркий пурпур являет пылающий ад.
Из поварни подземной на землю подняться он рад.

Месяц поднял светильник, но, нищий, сверкая над миром,
Не своим он, а солнечным полон украденным жиром.

Влага облака, травам неся благодатный расцвет,
Кровь людей разбавляя, приносит им тягостный вред.

Хоть вкушают у вод утешенье спокойные души,
Корабли знают беды вдали от спасительной суши.

Мастерская земная великих изъянов полна.
Посмотри, ведь она тяжких бед и обманов полна.

На пороки свои ты не смотришь, и людям порочным
Служишь зеркалом ты, перед ними поставленным, точным.

Недостатки других не лови, словно зеркало. Ты
Помутишься, приняв отраженных пороков черты.

Что ж, доволен собой, ты своих не таишь недостатков?
Лучше всем покажи, что своих не хранишь недостатков.

От пороков других ты поспешно глаза отведи,
На себя поглядев, от пороков своих отойди.

Всюду доблести скрыты, и всюду пороков немало,
Ты пороки забудь, чтоб достоинство видимо стало.

Разве яркий светильник не можешь найти ты в ночи?
Если сладостен день, то о вороне темном смолчи.

Видя перья павлина, покрытые блеском, о строгий,
Разве можно твердить про его некрасивые ноги?

Перья ворона мрачны. Красив его блещущий взор.
Ты о перьях забудь. На глаза погляди ты в упор.

ПОВЕСТЬ ОБ ИСЕ

После многих дорог, по которым скитался Иса,
На базар неизвестный его привели небеса.

Там собака валялась; душа уже в ней не ютилась,
Как Юсуф из колодца, из мертвой она удалилась.

И прохожие люди — сказанья о том говорят —
Перед павшей стояли, как сумрачных коршунов ряд.

Молвил кто-то: «О тлен! Удивляться, приятели, надо ль,
Что в наш мозг веет мраком пред нами лежащая падаль?»

И добавил другой: «Здесь не только для разума мгла,
Мне глаза она жалит, и душу она мне сожгла».

Каждый песню пропел все того же печального лада.
Поношенье в ней было, и горечь была, и досада.

Но Иса понимал, что людская толпа не права,
И сказал не о мрачном — о светлом сказал он слова.

И сказал он, с красой сокровенной, невидимой дружен:
«Эти белые зубы прекраснее светлых жемчужин».

Улыбнулись прохожие; мрака распался покров,—
И блеснули их зубы от света услышанных слов.

* * *

Ты других не кори и себя не считай без порока.
Опусти свои очи. В злоречии много ли прока?

Держишь Зеркало ты, отраженье родное любя,
Ты разбей это зеркало. Надо ли славить себя?

Ты в наряде весеннем, стоишь ты с весельем во взоре.
Как бы время тебя не заметило в этом уборе!

Чтоб укрыть твой порок, чтоб от ангелов был он вдали,
Девять синих завес милосердно тебя облекли.

Где в лазурном кругу утоленье найдешь и веселье?
Многозвездная цепь — не твое, человек, ожерелье.

Ты — не пес, не тебе предназначен ошейник Плеяд,
Ты — не ослик Исы, что же вьюки тебя тяготят?

Небосвод — вдовий плащ; над земным он склоняется лугом.
Что есть видимый мир? Это плод, пораженный недугом.

Мир, со всем, что придет, и со всем, что исчезло давно,—
Преходящ. Это — малое, это — пустое зерно.

Горький мир ты вкушаешь, хаджа! Разве есть в нем услада?
Не с тобой Низами: для меня его больше не надо.

РЕЧЬ ОДИННАДЦАТАЯ
О НЕВЕРНОСТИ МИРА

Если все ты постиг, ты сверни многозвездный ковер,
Не для нардов простерт этот синий неверный простор!

Пожеланья твои не исполнятся небом. Напрасно
С небом честно играть. Ведь лукавит оно ежечасно.

Ставить ногу свою на неверное море — зачем?
Кладь везти по волнам, предвещающим горе,— зачем?

Сокол утке сказал: «Как отрадно в степи!»— «До свиданья,—
Так ответила утка,— нужны ль мне такие скитанья?»

Ты в печальной ладье. И, грустя, я того не таю,
Что поклажа твоя подготовит погибель твою.

Выкинь тягостный груз — ведь ладью он безжалостно
давит.
Не подав тебе хлеба, тебя он воде предоставит.

В этом хрупком сосуде — увы!— безопасности нет.
В этой кости, увы, мозга веры и властности нет.

Мир тебе не потатчик. С тобою идет он не в ногу.
От него отойди, отыщи ты иную дорогу.

Что на этом столе? Не напрасно ль он смертному дан?
Осквернённая чаша, унылый, пустой дастархан.

Ты на мир поглядишь, и твой рот он зашьет, негодуя.
Коль его укоришь, он язык твой сожжет, негодуя.

Паланкин его пуст, бубенцы хоть и радуют слух.
Чаша мира пуста, но над чашею множество мух.

Только малость испивший из чаши неверного пира
С головою утонет в кольце ненадежного мира.

Жить в подобном селенье — твоя и беда и вина:
В нем смятение мысли и в нем — треволнение сна.

Там, где нет бытия, там свою обретешь ты обитель.
Этот край ты покинь, о развалин обманчивых житель!

Пусть над краем неверным встает и расходится дым.
В нем ведь станешь ты старым, не будешь всегда
молодым.

Что ты тянешься к миру, к нему простираешь ты руки?
Не тобой он рожден, и рожден он для горькой разлуки.

Этот мир зачеркни, и печали умчатся, как сон.
Ты покой обретешь, позабыв о вращенье времен.

В дальний путь ты идешь, так иди в этот путь
спозаранок.
Снедь в дорогу сбирай, и сбирай ты ее для стоянок.

В этой скудной пустыне, наполненной дэвами,— ад.
В ней сгорают от зноя, от жажды в ней души горят.

Жизни влага нужна, а пустынной что горестней доли?
В ней источником солнечным созданы области соли.

Как вино для неверных — ужасный ее солончак.
Не кебаб в ней находят, а взора недоброго мрак.

Нет в пустыне воды; от ее голубеющей соли,
Как вода, льется желчь человеческой скорби и боли.

По страшащему сердце, по злому, пустому пути
Караван человека спокойно не может идти.

В зное жаркой пустыни, где дэвы нас кружат упорно,
Сердце — в тесном кругу, но томлениям сердца
просторно.

Тот, кто к этой пустыне душою приладился,— тот
В своем сердце застывшем одну только горечь найдет.

Вся земля — словно ад. Ты, от страха на ней замирая,
Темный ад отстрани и достигни желанного рая.

Прах земной распадется, но время, живых не любя,
Шаг за шагом ступая, заране растопчет тебя.

И руками своими тебя оно вырвет из праха,
И тебя потеряет, куда-то метнувши с размаха.

Снова к праху вернется из праха исторгнутый прах,
Так зачем же по праху бредешь ты, как будто
впотьмах?

Под подошвой своей никого не топчи ты, блуждая;
Мир подобных тебе растоптал без конца и без края.

В мир пришедший не может из мира души унести.
Ведь никто не узнал о безмерном, о тайном пути.

Так зачем же ступать по шипам, по колючим дорогам?
Лучше встать, и уйти, и не медлить в решении
строгом.

Из ужасного края ты все же уйдешь. Не пойму,
Что же медлишь ты здесь? Почему не спешишь, почему?

Мир — привал. Эту область считать вековечной не надо.
Злую осень считать нам весною беспечной — не надо.

ПОВЕСТЬ О ПРОЗОРЛИВОМ МОБЕДЕ

Хиндустанский мобед в долгом странствии бросил на сад,
Что увидел в пути, испытующий пристальный взгляд.

Он увидел стоянку, рабат благоденственный, или
Целый край, где красоты прельщали людей и манили.

Здесь цветы, словно зори, раскинули радостный стан.
Здесь в неведенье сладком дышал быстротленный
тюльпан.

И цветы, что роскошно являла очам луговина,
Были сладки, как сахар, душисты, как лучшие вина.

Перед острым шипом роза вскинула розовый щит
Возле ивы, что вечно от смутного страха дрожит.

Кудри нежной фиалки, арканами став, угрожали,
И нарциссы глаза, как дирхемы, вокруг рассыпали.

С жемчугами тюльпан, в бирюзе никнет роза. Одна
Им назначена участь: мгновенье зовется она.

Да, мгновенье одно! Красота их возникнет и канет.
Но никто не гадает о том, что с зарею настанет.

Удалился мобед: в отдаленный стремился он край;
Но, домой возвращаясь, вернулся в увиденный рай.

И не встретил он роз, соловьиной не слышал он
трели...

Только вороны, каркая, с голых деревьев глядели.

Адом сделался рай. Знать, покинувши царственный
дол,
Царь прекрасного замка во мрак синагоги ушел.

Ветви ждали огня и печей уж внимали угрозам.
Взор склонялся, грустя, лишь к вязанкам колючек,—
не к розам.

И, в дорогу спеша, надо всем посмеялся мобед,
Загрустил о себе, не предвидевшем горестных бед.

Он сказал: «Все, что в мире, что жизни охвачено
пленом,
Постоянства не знает, подвластно одним переменам.

Все, что голову вскинет из темной земли, из воды,
Снова голову клонит в часы неизбежной беды.

Так как в мире земном все приводят пути к разрушенью,
Подчинясь небесам, принужден я идти к разрушенью».

Он сказал: «Все от неба, и милости нету конца».
И познал он себя, и познал он величье творца.

Он сыскал этот жемчуг, он жил этой светлою тайной.
С этой тайной дошел он до жизни нездешней, бескрайной.

Мусульманин! Скажи, с гебром схож ли ты? Был он могуч.
Ты — источник, но капли не смог обрести ты из туч.

Ты с индусом сдружись, пусть душа его будет не сира.
Ты из мира уйди; да не будет окрестного мира!

Долго ль будешь, скажи, своеволье свое ты являть,
Гордо, в шапке и в поясе, к небу чело поднимать?

Встань, о прахе забудь: ты пред ним не склоняйся
с любовью.
Препоясался прах, чтоб твоею пожертвовать кровью.

Этот пояс и шапка — они ведь беда для любви.
Их отдай за любовь, и любовь ты к себе призови.

То ты в шапке порою над прахом встаешь господином,
То к любви, препоясан, стремишься рабом или сыном.

Господин или раб! Выбор сделай. Решенье прими.
Подражай Низами: он прогнал от себя Низами.

РЕЧЬ ДВЕНАДЦАТАЯ
О ПРОЩАНИИ СО СТОЯНКОЙ ПРАХА

Распрощайся со днями. Разлуки надвинулся срок.
Встань, вперед устремись; поз будь этот хитрый силок.

Ты построй государство, которое лучше земного.
Дверь в иное раскрой, чтоб увидеть сиянье иного.

Ты и сердце и очи направь на единственный путь,
И, пролив свои слезы, в дороге о них не забудь.

Оросив эту глину, уйди в растворенную дверцу,
И побегами жизни отраду доставишь ты сердцу.

Коль с верблюдом ты схож,— запляши: ведь пустыня
видна.
Если нет — то дабу не бросай ты под ноги слона.

Нету друга с тобой, и печальнее ты год от года.
Так в ничто удаляйся. Иного не сыщешь исхода.

Те, чей разум сверкал — сотрапезники наши,— ушли.
С кем ты сядешь за пир? Те, что пенили чаши, ушли.

Хоть отрада и радость порою приносятся миром,
Но коль ты одинок, то каким ты утешишься пиром?

Целомудренным сердцем ищи, забывая о зле,
Ты прозрачной воды на унылой и мрачной земле.

До исхода пути все, что было с тобою в избытке,
Ты прохожим раздай. Для чего тебе эти пожитки?

Без напрасного груза легко ты пойдешь по пути,
И до нужной стоянки сумеешь ты скоро дойти.

Если ищешь ты сердце, взойти тебе на небо надо.
В этом доме земном пред тобою повсюду преграда.

Ты прорвись на дорогу! Весь край поднебесный таков,
Что сравнить его должно с сетями вседневных силков.

Разорви эту петлю, подобную петельке «мима»,
И дорога иная тебе станет тотчас же зрима.

Берегись сотен звезд — их мишенью не сделайся ты.
Не вверяйся во власть небосвода незримой черты.

Перейди за черту, где и дни пробегают и ночи.
Чтоб за этой чертой беспредельность увидели очи.

Сделай прочной тропу для движенья уверенных ног,
Чтобы быстро по ней к достиженью стремиться ты мог.

Ты, куда б ни пришел, не всегда предавайся доверью.
Дверь ты должен запомнить, чтоб этой же вышел ты
дверью.

Должно зорко взирать, осторожно оглядывать путь,
Чтоб в расщелину ночью усталой ногой не скользнуть.

В наводнения час как же в кровле не сделать пролома,
Чтобы в должное время бежать из опасного дома?

Хитроумной лисице собачья повадка ясна,
Потому-то в норе два прохода прорыла она.

Но не знала она, что взирающий мрак небосвода
Уловляет лисиц и что нет им иного исхода.

Почему же ты весел? Отрады твоей не пойму.
Почему ты беспечен, беспечен во всем? Почему?

Ты промолви: «Стеная, пришел я в земную теснину,
И, стеная и плача, навеки я землю покину».

Если ты не исполнишь такой неизбежный завет,
Трудно будет душе покидать этот горестный свет.

Ты в пути, что душой после грустного пира увидел.
Оба мира отринь, ты ведь горести мира увидел.

Вниз не надо глядеть, чтобы путь не казался
страшней,
И назад не гляди, чтоб тебе не страшиться теней.

Клади веры возьми, ведь в дороге не будет харчевен.
Воду глаз не забудь: путь безводен и путь многодневен.

Звездной ракушке неба жемчужину духа верни.
Будь свободен от праха, ты тяжести праха стряхни.

Там, в крутящейся выси, с тобой однородных немало,
И тебя превзошедших и звездам угодных — немало.

Но не надо враждой нарушать эту звездную тишь.
Почему небосвод ударять ты о землю спешишь?

Он ведь солнца щитом и мечами сиянья не в силах
Нам беду принести. Откажись же от мыслей унылых.

Он — веревка, что вьется. О нет, но совсем не змея.
Он — ничто. О, насколько любовь многомощней тебя!

Почему ты грустишь над хрустальною чашей?
Во власти
Ты ударить ее и разбить на мельчайшие части.

Те, что алчность не чтут и не могут пред золотом пасть,
Над врагом простирают своей добродетели власть.

Ты иди на врага с благосклонностью сердца упорной
И убей его светом, как тьму губит день благотворный.

ПОВЕСТЬ О ДВУХ ПОСПОРИВШИХ МУДРЕЦАХ

Жили двое мыслителей некогда в доме одном
И полны были гнева, поспорив о доме своем.

Долго спорили мудрые. С распрею не было слада.
«Хоть премудрость одна лишь»,— сказать о премудрости
надо.

Правды две не нужны: лишь одной пожелают внимать,
Две главы вознесутся,— одну не придется ли снять?

Для храненья двух сабель я кожаных ножен не видел.
Я ведь пир двух Джамшидов — ну как он возможен? —
не видел.

Двое мудрых твердили об этом не раз. Потому
И решили, что дом надлежит передать одному.

Каждый в схватке слепой был исполнен вражды и упорен
И желал, чтобы дом стал удобен ему и просторен.

Не однажды в ночи голоса возвышали они,
Будто клича людей, общий дом продавали они.

И решили мужи после спора пред самым рассветом,
Что друг друга они угостят ядовитым шербетом.

Чтоб узнать, кто сильней и кто явит познанье свое
И сумеет создать наиболее злое питье.

Тотчас разума два одному они отдали делу,
Будто два устремленья вручили единому телу.

Первый муж создал яд, потрудившись немало над ним.
Этот яд черный камень прожег бы зловоньем своим.

И врагу подал враг свой состав и сказал:
«Мой напиток
Укрепляет все души, и сахара в нем преизбыток».

А другой эту чашу, влекущую в царство теней,
Выпив смело, сказал: «Только сладость я чувствовал
в ней».

Нуш-гия в нем таился; врагу причиняя досаду,
Прекратил бы он доступ любому смертельному яду.

Муж обжегся, как мошка, но тотчас он крылья
раскрыл
И, как светоч сияя, к другим мудрецам поспешил.

На лугу, мимоходом сорвав темно-красную розу,
Он заклятье прочел, и подул на прекрасную розу,

И врагу ее дал. Словно скрытый заботливо яд
Лепестки ее нежные в пурпурной чаше таят.

Взяв заклятую розу, поддавшись безмерному страху,
Недруг взялся за сердце, и душу вручил он аллаху.

Тот премудрый отраву из тела исторгнуть сумел.
А другой из-за розы подлунный покинул предел.

Друг мой, каждая роза, горящая пурпурным цветом,—
Капля крови людской, пурпур сердца. Ты помни
об этом.

Ты из сада времен: и весна и цветение ты,
Но ведь сад увядает; его отражение ты.

Острый камень всади в этот прах, взгроможденный
слоями.
Прахом воду осыпь, что подвешена кем-то над нами.

Эту воду покинь, эти марева злые забудь!
Ты над прахом взлети, от притона подалее будь.

Ты от месяца с солнцем свое отстрани размышленье.
Ты убей их обоих, как их убивает затменье.

Златоблещущий месяц — его восхвалять я могу ль? —
На дорогах любви — человека смущающий гуль.

Небосвод, полный зла, наше утро призвавший к ответу,
Из великого света привел тебя к этому свету.

Если светлого серца услышишь благой ты совет,
То из этого света возьми его в канувший свет.

Слезы лей и мечтай, чтобы слезы надежды смывали
Все, что явлено людям на этой двухцветной скрижали.

Чтобы этой надеждой ты душу смущенную спас
В день Весов, в Судный день, в неизбежный
торжественный час.

Укрепи свою руку, призвав благотворную веру,
Чтоб она на весах указала надежную меру.

Кто, печалясь о вере, возносится в светлую даль,
Тот свободной душой забывает земную печаль.

Ты, чьей жажде к земле и подлунному миру я внемлю,
Ты мне веру отдай, а себе ты возьми эту землю.

РЕЧЬ ТРИНАДЦАТАЯ
О ПОРИЦАНИИ МИРА

Миру тысячи лет, тесен миром раскинутый стан,
В юность мира не верь, многокрасочность мира — обман.

Схожий с юношей старец, исполненный темной угрозы,
Держит пламень в руке. Этот пламень ты принял за розы.

Воды мира — лишь марево жаждой охваченных мест.
Что он сделал кыблой? Христианский неправедный
крест.

Скудны розы земли, но колючек на свете немало,
Небо розы земные всегда у людей отнимало.

Отрешись от всего, что тебя соблазняло года,
И, уйдя, унеси то, что сам же принес ты сюда.

Если кладь унесут в море Судного дня,— нашу душу
Унесут, и она так же в море забудет про сушу.

Хочешь — деньги разбрасывай, хочешь — припрячь их
под спуд,
Все, что ты получил, все равно у тебя отберут.

Знаю: «Купля-продажа» — название этого света,
Пусть дает он одно,— но другое берет он за это.

Хоть разводится червь на листве — породжающий шелк,
Но ведь водится червь в сундуках — поедающий шелк.

В светоч масла подлив, чтобы ты не угас от нагара,
Как светильник, сжигай пышноцветную розу Джафара.

Ты разбей эту плоть, эти девять ненужных дверей,
Шестигранного золота слитки забудь поскорей.

К нам рукой не тянись, ставь на них ты с презрением
ногу,
Чтоб никто не сказал, что к поживе ведешь ты дорогу.

Ведь на золоте нет послушанья чекана,— и так
Нечестивое золото разве не тот же мышьяк?

Если золота блеск — беспокойной корысти причина,
Вспомни: блеск золотой на хвосте у любого павлина.

Можно только железом блестящее золото брать,
Потому кузнецом можно каждого шаха назвать.

Только к золоту влекся могучий Карун и, не щедрый,
Потому-то был ввержен в земные, потайные недра.

Ведай: золото — груз, коль оно жадных мыслей огонь.
Коль оно под ногами, оно — твой оседланный конь.

Если золото взял, возвращать его разве приятно,
Для чего ж его брать, коль нести его надо обратно?

Целый мир ты возьмешь жаркой жадности властной рукой,
От всего отказавшись, добудешь отрадный покой.

Если золото взял — разбросать ты его приготовься.
Но ведь было бы лучше не брать это золото вовсе.

Если золото копишь — в тебе воспаляется желчь,
Если золото тратишь — в тебе усмиряется желчь.

Посылают нам золото только восточные дали,
Знайте: «западным» люди его без причины назвали.

Там, на западе, в людях возвышенной щедрости нет,
На востоке же в щедрости видят отраду и свет.

То, что радостным утром подарит сиянье востока,
Запад вечером спрячет, дождавшись урочного срока.

Существо рудников только в золоте силу нашло,
Хоть безруки пернатые — им даровали крыло.

Хоть бы камнем дамасским проверено золото было,
Хоть бы качеством лучшим оно ненасытных манило.

Это золото брось, разглядев его вечный изъян,
Хоть оно и сверкает, но это сверканье — обман.

Кто же был не обкраден вот этим блистательным вором,
Не смущен этим гулем, снующим по нашим просторам?

ПОВЕСТЬ О ХАДЖИ И СУФИИ

Некий муж правоверный задумал к Каабе идти.
Приготовил он все, что должно пригодиться в пути,

Но один кошелек, из ниспосланных старцу всевышним.
Полный звонких динаров, хаджи показался излишним.

И подумал хаджи: «Некий суфий, святой человек,
Проживающий здесь, все мирское покинул навек,

Чует сердце мое: умиление в суфии этом,
Благонравье и мир и смирение в суфии этом».

И пошел он за ним, и привел его в дом, и извлек
Свой запас из ларца, и вручил он ему кошелек.

И сказал: «Сберегай ты под сенью безлюдного крова
Мой излишек. Вернусь — и кошель будет нужен мне снова».

И хаджи вышел в путь, что идет всем паломникам впрок,
Суфий взял кошелек, чтобы целым вернуть его в срок.

Но помилуй, создатель! Уж долгие годы динары
Насылали свои на нестойкого суфия чары.

И сказал он, смеясь: «Хороши мои стали дела.
Звал судьбу золотую,— судьба золотая пришла.

Стану золото тратить, ведь с ним наслаждение слито,
Как легко получил я богатство, творцом не забытый!»

Потянул он за узел, раскрыл он добротный кошель,
Стал он славить ночами и песни, и негу, и хмель.

Золотую мошну он истратил на радости чрева.
Раздобрел, насыщаясь под рокоты струн и напева.

Наложил пятерню он на звонкого золота жар.
Черный локон красавца обвил его, словно зуннар.

За деяньем худым совершал он худое деянье.
Разодрал он хырку,— свой почет, не свое одеянье,

Всю добычу он съел, не оставил себе и тавра
И жиров для лампады. И злая настала пора.

Возвратился хаджи. На индийца, влекомого к негам.
Он, как тюрок, нагрянул внезапным набегом.

Он сказал: «Эй, мудрец, принеси мне немедленно...» —
«Что?» —
Тот спросил. «Да динары».— «Молчи, все динары —
ничто!
Щедрым стань, о достойный! Настойчивость брось. Ведь
налога
Не взимают с развалин. У нищего стал ты порога.

Твой кошель опустел. Воздух в воздухе. Скорбный
бедняк
И тугой кошелек! Совместит их лишь только простак.

Кто посмел бы по-тюркски на тюркские мчаться
кибитки?!
Кто бы мог у индийца на время оставить пожитки?!

Столп достоинств моих и рукни́ искрометного шквал!
Столп не выдержал, нет, он под тягостным грузом упал».

С сотней возгласов буйных смеялся он, все раздавая.
С сотней стонов печальных он пал, о прощенье взывая.

Он стенал: «Я стыжусь! Да простит меня милость твоя.
Пусть неверным я был, мусульманином сделался я.

Мир не в вечном цветенье, с ущербом он горестным
смешан,
Но в ущербе твоем только я, заблудившийся, грешен».

И хаджи молвил бог грозным голосом Судного дня:
«Он скорбит. Все прости, тяжкой злобы в душе не храня».

И владелец динаров, услышавший бога, динары
Не хотел вспоминать. Мудрой щедрости понял он чары.

И подумал хаджи: «Я смирюсь. Я в убытке — ну что ж!
С неимущего шейха динаров своих не возьмешь.

У него ни зерна, у него нет иного залога,
Кроме веры в добро да надежды на милости бога.

Не богач этот суфий, он вечной нуждою томим.
Он имеет лишь «нет», лишь «алиф», что стоит вслед за
«мим».

И промолвил хаджи: «Если хочешь, я буду не строгим,
И проступок твой тяжкий не тяжким покажется
многим».

Но, притворщик, скажи: «Мне отшельником быть
не с руки»,—
И рукою своей ты чужие не трогай мешки.

Независтливых нет, вожделений людских не измерить,
Горсти праха, о шейх, никому мы не можем доверить.

Прячь от дьявола веру. Храни этот клад, говорю,
Богдыхана запястье никто не дарует псарю.

Если веру отдашь, на тебя не наложат ни пени,
Разоренным глупцом на последней ты станешь ступени.

Полон жара иди. Мир — стоянка, влекущая к злу.
Должный край ты найдешь, только веру держа за полу.

Небосвод не на нищих во мраке ночей нападает,
На большой караван, на вельмож, богачей нападает.

На дорогах грабитель он, грабить ему нипочем.
Помни: быть неимущим отрадней, чем быть богачом.

Постигая весь мир, проходя его многие долы,
Я узнал: из-за сладости ведают бедствия пчелы.

Горек лев. Но заранее стал он таким для чего?
Чтоб, когда он погибнет, зверье не съедало его.

Ввысь стремится свеча и затем оседает, и хочет
Полнолунья луна, полнолунье же убыль пророчит.

Ветер борется с прахом, его ударяя сплеча,
Но в бессилье стихает, его понапрасну влача.

Разве водные птицы, скажи, догадаться могли бы,
Что цветные чешуйки являются бедствием рыбы?

Те червонцы мои, что твою искушали нужду,
Стали зовом к молитвам, твою победили беду.

Чтоб сиять в чистоте, чтоб от нужд отказаться
не ложно,
Подражай Низами: проиграл ведь он все, что возможно.

РЕЧЬ ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ
ПОРИЦАНИЕ БЕСПЕЧНОСТИ

О довольный! Ты к миру, в спокойствии сладком, привык.
Ты — осел на лугу, ты к кормушке склонившийся бык.

Что тебе это солнце, лазурных высот сердцевина,
Что тебе эта синь, эта выси просторной равнина!

Это только для тех, в чьем познанье сияющий свет.
У незнающих мира — о нем помышления нет.

Подними же свой взор, не довольно ль ты тешился
дремой?!
Ты назначен идти по дороге, тебе незнакомой.

Почему же ты спишь, иль засада тебе не страшна?
Смертных, полных раздумья, всегда устрашала она.

Очи вскинь, рассмотри эти синие своды печали,
На ничтожность твою не они ли тебе указали?

Твой рассудок — старик, он рассеян. Предался он снам.
Он тебя позабыл. Ну так что ж! Призови его сам.

Кто бы знал о тебе, если б разума свет величавый
О тебе не вещал? Только с ним и добился ты славы.

Разум светлый — мессия; всегда он к познанию вел.
Без него ты — погрязший в дорожную глину осел.

По дороге ума ты иди за сияющим светом
Иль домой возвратись и забудь о скитальчестве этом.

Не пьяни мирный разум, его на пирушках поя,
Разве соколом ловчим ты будешь кормить воробья?

Даже там, где вино восхваляется словом приветным,
Разум сделал его нелюбезным тебе и запретным.

О вино! В пьяной чаше людская качается честь.
Но припомни о том, что вино древней мудрости есть.

Хоть сжигает вино все земные печали, но все же
Не вкушай ты вина; ясный разум сожжет оно тоже.

Ви́на — разум лозы, но вкушать огневое вино
Для утехи души лишь одним неразумным дано.

Все желая постичь, не вкушай ты в томлении томном
То, что может все в мире таинственным сделать
и темным.

Неразумным считай человека, вкусившего то,
Что каламом неведенья все обращает в ничто.

Ослепи ты глаза всех мечтаний непрошеных, чтобы
Вправить ноги в колодки глупцам, устремленным
в трущобы.

Ты «алиф», что влюблен в свой высокий пленительный
стан,
Ты безумною страстью к себе самому обуян.

Коль с «алифом» ты схож,— птицей будь, потерявшею
крылья.
Ты склонись буквой «ба», своего не скрывая бессилья.

Украшая собранье, стоишь ты, «прекрасный алиф»,
И к себе ты влечешь благосклонности общей прилив.

Не подобься шипу, что в лазурь устремился спесиво,
Ты склонись кроткой розою: роза смиренна на диво.

Не стремись поиграть, будь разумен. Ведь ты не дитя.
Помни: дни пробегают, не вечно блестя и цветя.

День уходит, и радостных больше не будет мгновений.
Солнце юности гаснет, и длинные тянутся тени.

Это ведомо всем,— ведь когда удаляется день,
Все, что в мире, бросает свою удлиненную тень.

Чтить не следует тени, как чтут ее заросли сада,
Будь светильником: тень уничтожить сиянием надо.

Эту тень побори, а поборешь — и в этот же день
Твой порок от тебя мигом скроется, будто бы тень.

Что сияет в тени? Чья во мраке таится основа?
Мы в тени трепетанье источника видим живого.

О поднявший колени, в колени склонивший лицо,
В размышленье глубоком себя обративший в кольцо!

Солнце таз золотой на воскресшем зажгло небосклоне,
Чтоб омыть от себя ты свои смог бы тотчас ладони.

Если в этом тазу будешь мыть ты одежду свою,
Из источника солнца в него наливай ты струю.

Этот таз для мытья, на который приподнял я вежды,
Стал кровав, стал не чист от твоей заскорузлой одежды.

От большого огня, что в тебе злые выжег следы,
В сердце жизни твоей не осталось ни капли воды.

Если плоть нечиста и томилась алканием страстным,
Что ж! Не всякое золото может быть самым прекрасным.

Если каждый вещать будет только лишь истину рад,
То с утробой пустой ненасытный останется ад.

Прямота не защита пред холодом или пред жаром,
Но прямой не сгорает, в аду, в этом пламени яром.

Если будешь кривить, будешь роком подавлен ты злым,
Беспечален ты будешь, покуда ты будешь прямым.

Будь подобен весам, будь в деяниях точен, размерен.
Взвесив сердце свое, в верном сердце ты будешь уверен.

Все крупинки, что ты будешь в жизни бегущей готов
Бросить в мир, их снимая с твоих благородных весов,—

Обретут свое место, и страшное будет мгновенье:
Пред тобой их размечут в грохочущий день воскресенья.

Надо всем, что ты прятал, суровый послышится глас.
Как немного ты роздал! Как много хранил про запас.

Так не трогай весов — все на них указуется строго —
Иль побольше раздай, а себе ты оставь лишь немного.

Стебель розы согнулся, и шип в эту розу проник,
Лишь своей прямотой добывает усладу тростник.

Водрузи прямоту,— это знамя, угодное богу,
И протянет он руки, склоняясь к тебе понемногу.

ПОВЕСТЬ О ЦАРЕ-ПРИТЕСНИТЕЛЕ И ПРАВДИВОМ ЧЕЛОВЕКЕ

Жил властитель один, был с людьми он безжалостно строг.
Словно злобный Хаджадж, издеваться над всеми он мог.

Все, что ночь порождала, наследуя дню,— на рассвете
Открывалось царю. Все пред яростным были в ответе.

Неким утром к владыке явился один человек.
Был он зорче, чем утро. Учился он долгий свой век

У луны хитрым играм, у зорь — появляться с доносом.
Он, с притворною злобой, горящей во взоре раскосом,

Прошептал: «Некий старец убийцею на́звал тебя,
Он сказал, что ты правишь, людей неповинных губя».

И, пугая придворых своим изменившимся ликом,
Царь воскликнул: «Казнить!» И умолк он во гневе великом.

Нат мгновенно постлали, песком весь посыпали нат.
Даже дэв, ужаснувшись, бежал бы из царских палат.

В тот же час от юнца старец злое узнал повеленье,
Услыхал он: «Владыка возвел на тебя обвиненье».

Омовенье свершив, в белом саване старец пошел
Во дворец, и пред ним засверкал величавый престол.

Царь, в решеньях быстрый, потер свои руки, и очи
Опустил он на землю, и был он угрюмее ночи.

Молвил он: «Я слыхал, что я очень прогневал тебя.
Ты твердишь, говорят, что я правлю, невинных губя.

Ведь известно тебе, что мой суд — мудрый суд Соломона,
Почему ж ты твердишь, что наш край полон плача
и стона?»

И ответил старик: «Говорил я, о царь, не во сне.
И сказал я не все, что известно доподлинно мне.

Всюду юные в страхе, и в страхе не каждый ли старый,
Городам и селеньям грозят беспрестанные кары.

Все пороки твои я собрал воедино, но я
Только зеркало. Я — лишь неправда и правда твоя.

Ты увидел, что образ, показанный зеркалом,— верен.
Иль сломаешь ты зеркало? Будь и во гневе умерен!

Светлой правды возжаждай, и жажду твою утолю,
Иль на шею мою повели ты накинуть петлю».

И правдивого старца такое бесстрашное слово
Смелой правдой своей образумило сердце царево.

Вспомнил царь обо всем, что свершал он в подвластном
краю.
И, застигнутый правдой, он понял неправду свою

И сказал: «С мудреца скиньте саван! Парчовым халатом
Вы его облачите, парчу напитав ароматом».

И в царе с той поры пламень гнева и злобы утих,
Справедливым он стал, вспомнил подданных, пекся о них.

И правдивого слова никто не скрывал, и невзгоды
Не томили правдивых, и мирные начались годы.

Ты не бойся погибнуть. Правдивым ты будь до конца.
Побеждает правдивый по воле благого творца.

Если будет правдивость всегдашней твоею повадкой,
Много горького скажешь: ведь правда не кажется
сладкой.

Если к речи правдивой сердца ты захочешь привлечь,
Вседержитель поддержит твою благотворную речь.

Знай: сияние правды душой Низами овладело
И великою правдой его озаряется дело.

РЕЧЬ ПЯТНАДЦАТАЯ
ПОРИЦАНИЕ ЗАВИСТНИКОВ

Небосвода завесу раздвинувши, некий игрок
К беспрестанной игре принуждает находчивый рок.

Весь в цимбалах ковер, плясунов же, как видно,
не стало.
В море жемчуга тьма, да ловцов многоопытных мало.

В небе сонмы дирхемов и много мечей и венцов,
Ниспослать их тебе небосвод благосклонный готов.

Если б сильной душой пожелал бы ты крыл Гавриила,
Их тебе подарила бы дивная, высшая сила.

У нее столько кладов, что, сколько бы ты ни унес,
Будет взорам казаться: их отблеск лишь только возрос.

К дивным тайнам иди и дорогу осматривай строго.
В дверь кольцом постучи, ведь за нею прекрасного много.

Этот в яхонтах путь, камень мудрости блещет на нем.
Все ты должен постичь, озаренный волшебным огнем.

Тут в руке дерзновенной калам обломился — и стали
Все сокровища тайной: их синие ткани застлали.

Но в потайном саду каждый миг новый видится плод.
Он прекрасней прекрасных, он дивного лада оплот.

Нить горящих сердец, что в жемчужнице этой
зардели,—
Ожерелье, что пламенней многих иных ожерелий.

Те, что шествуют здесь, что проходят один за другим,—
Умудренней премудрых. Кого приравняем мы к ним?

Разум в мысли влюблен, на него не подействуют чары
Юных лет, и его не смутит долголетием старый.

Говорят, будто камень, когда ему много веков,
Может яхонтом стать, но иных я знавал стариков.

Чем старее они, тем настойчивей; все им помеха.
Громогласны они, как в горах многократное эхо.

Хоть ты им и знаком, но когда им подашь молоко —
«Яд,— воскликнут они,— умерщвлять этим ядом легко!»

Мало старых, что в новом отрадные чувствуют чары,
К молодому сочувственно редко относится старый.

Новой розой любуются: это отрада очей.
Старый шип только ранит. Чей взор он порадует? Чей?

Молодой виноград исцеляет глаза. Только стоны
Змеи старые вызовут: это не змеи — драконы.

Благотворные мысли, чье место — сосуд головы,
Старый мозг отвергает. Они ему чужды. Увы!

Те, что книги прочли, где созвездьям чертились дороги,—
Календарь устарелый. Указ их не надобен строгий.

Много старых собак, что прожорливей львов, и они
Рвут газелей на части. Господь, нас от них сохрани!

Коль, на старых волков взор незлобный бестрепетно бросив,
Я спокойно стою, ты скажи: «Появился Иосиф».

Что удар стариков! Это робкий, не сильный удар.
Но виновен ли я, что огонь во мне дышит и жар?

Если юность — познанье и если в ней много раздумья,
То не скрыто ли в ней также буйное пламя безумья?

Вижу много жасминов. О, ложь их седой белизны!
Это злые индийцы, их скрытые души черны.

Я, что с розою схож, я, чей клад осчастливит народы,
Я желаю быть старым уже в эти юные годы.

Тот, кто к прежнему клонится, ценит лишь только себя,
Он творцу не внимает, помоги его не любя.

Юный месяц, ты видел в его новолунье прекрасном,
Стал он полной луной; полнолуньем он сделался ясным,

Возле пальмы высокой, коль можешь, высоко ты стань.
Как иначе до финика сможет дотронуться длань?

«Это только зерно»,— мне какой-то послышался голос.
Почему он зерном называет поднявшийся колос?

Морем стал водоем, бывший прежде ничтожным ручьем.
Почему ж только прежним остался он в сердце твоем?

Скрылась ночь от зари, многозвездным прикрывшись узором,—
На нее новый день глянул новым внимательным взором.

Мудрый враг, что всечасно готов на тебя нападать,
Лучше друга-невежды, что всем неразумным под стать.

Если видишь тростник, что смотреть на окрестные травы!
В тростнике ценен сахар; лишь он удостоился славы.

Одаренных цени, а не тех, что желают прослыть.
Дичью быть для возвышенных — значит, возвышенным быть.

Не в воде ли вся ракушка, все же нам ведомо: нужен
Только вес малой капли для лучшей из лучших жемчужин.

Нужно сердце кружить, нужно вихрям не ведать конца,
Чтоб во тьме заприметить сверкающий камень венца.

Если знамя возникло и новым является зовом,—
Охранять это знамя иди с этим знаменем новым.

Не разрушен еще многоцветного мира рабат,
И ковров не свернули: слова и напевы звучат.

Не кори этот мир, все прими иль с отрадой, иль кротко,
Иль узнаешь, как дьявол, что значитременная плетка.

Если ты небосвода признать не желаешь права,
У ворот непризнанья поникнет твоя голова.

ПОВЕСТЬ О МОЛОДОМ ЦАРЕВИЧЕ И ЕГО СТАРЫХ ВРАГАХ

Мне сказали однажды, что юный царевич взошел
В дальней области Мерва на старый отцовский престол.

Как ему докучало вельможных наместников племя!
Был в смятенье весь край, словно вихрем летящее время.

Были старые в споре с горячей его новизной.
Он в опасности был: старики управляли страной.

Размышляя о смуте, уснул он тревожною ночью,
И безвестного старца увидел он будто воочью.

Молвил старец: «О месяц, ты башню старинную срой,
Юный цвет! Не давай старой ветви сплетаться с тобой.

Чтоб цвело это царство, чтоб эти весенние долы
Озарил ты собой, чтобы взор твой не меркнул веселый».

Шах подумал, проснувшись: «Совет полуночный хорош».
И лишил прежней власти он многих старейших вельмож.

Светлый сад он вознес надо всем обветшалым, суровым.
И при новом царе царство старое сделалось новым.

Разрушителям царства почета не следует знать.
О присяге забывшие надо войска разогнать.

Надо новым ветвям вскинуть головы. В чем же преграда?
В устаревших ветвях. Отрубить всем им головы надо.

Коль не будет упор ненадежному берегу дан,
На сыпучем песке укрепиться не сможет платан.

Чтобы течь родникам, прорубить мы должны им проходы,
Как иначе земля нам подарит подземные воды?

Есть в душе у тебя напитавший твой пламенный дух,
Есть советчик — твой разум,— к нему да склонится твой слух!

Почему же ты медлишь, зачем же, внимая укорам,
Этот меч из ножон ты не вырвешь движением скорым?!

Кто зажег этот разум? Не наш, разумеется, прах.
Кто велел этот меч нам держать постоянно в ножнах?

Для того, кто достоин, мы многим пожертвовать можем,
Пусть тебя называют с великою щедростью схожим.

Тот, кто честь приобрел и богатства обширные, тот
Приобрел и блаженство, своих не смиряя щедрот.

Семя щедрости нашей — запас дорогой: созревая,
В Судный день он для смертных послужит в преддвериях рая.

Из сокровищ твоих ты немного, господь, устреми
В дом раба своего: покорился тебе Низами.

РЕЧЬ ШЕСТНАДЦАТАЯ
О БЫСТРЕЙШЕМ ПРОХОЖДЕНИИ ПУТИ

Ты, при ветре благом высоко поднимающий стяг!
Ты, пред низменной пылью в испуге бросающий стяг!

Ты, стучавший в ворота дехканства, села не имея,
Ты, воздвигший престол Соломона, ничем не владея!

Ты не меч — что же значат удары один за другим?
Ты не бубен — зачем оглушаешь нас громом своим?

Рассыпай же дирхемы, как искры мечом, из кармана,
Будь надменным, вздувайся, как звонкий живот барабана!

Дэв влечет, но держись на ногах, сколько дэв ни влеки!
Ты не мертвый,— живой: не протягивай дэву руки!

Не склоняйся, не гнись пред каким-нибудь магом
лукавым,
Не стремись быть хатиба мечом, притупленным и ржавым.

Государю хутбу возглашать златоустым дано,
Чти чиханье Адама — дошло до мессии оно.

Если кто полюбил, словно бабочка, пламя живое,
Так и целое войско его не смутит огневое.

Обретешь себе душу, коль с радостным сердцем
вздохнешь.

Сбрось с себя власяницу — и целый ты мир обретешь.

Каждый дар твой, по сути,— грабеж на проезжей дороге,—
Не от бога, и богом клянусь, что забыл ты о боге.

Львом ты царственным будь и не бойся на кухне кота,
Тальком будь — и в аду не истлеет твоя лепота.

Если весь ты — подделка, пускай истребит тебя пламя,
Если ж злато и яхонт, тогда пощадит тебя пламя.

Долго ль будешь заносчив, поддельный, чей в прахе
чертог?
Долго ль будешь ты занят собой, с требухою мешок?

Но с подобным стремленьем бывали до нас и другие,
До возвышенных санов хотят досягнуть не впервые.

Но взгляни: что же людям приносит возвышенный сан?
Вместо прибыли убыль, один лишь ущерб и обман.

Если даже на небе, горсть пыли, достигшая сана,
Словно солнце иль месяц упрочишься, поздно иль рано,

Может быть, с небосвода ты вниз не мгновенно падешь,—
Но ты создан из праха и вниз непременно падешь.

Сам себе не отрежь головы лезвиями гордыни!
Стать побойся ногою на гребень подобной твердыни!

Ты не птица, тебе недоступен высокий полет,—
Только душу исторгнув из тела, достигнешь высот.

С небосводом иди по высокой духовной дороге,—
Дивно молвить! — тебе даже небо поклонится в ноги.

Ты вином отравился — но в этом виновен ли яд?
Ты проступок свершил: кто ж — судьба или ты — виноват?

Добрый ты человек! Что судьбу попрекаешь? От века
Зла судьба не творила за нас,— так вини человека.

Постаралась судьба, проявила она мастерство,
Чтобы в нас над пороком достоинствам дать торжество.

Если сами с тобой деревенские мы простофили,
На судьбу не напрасно ль взыскание мы наложили?

Если цветом не чист, не всецело прозрачен рубин,
В склад сокровищ его ни один не возьмет властелин.

Много в мире камней, но таких обретается мало,
Из которых родится багрец благородного лала.

И жасмин и колючка — растенья. Хоть в этом их связь,—
В глаз вопьется она, из него же готовится мазь.

Если роза есть роза, она и без влаги фонтана
Будет лить аромат, неизменно свежа и румяна.

Знаю сам, что от влаги прекрасней и мягче цветок,
Но в жасмин обратить кто б колючку и плевелы мог?

Если б был этот мир на ином установлен законе,
То назад времена побежали б, за прошлым в погоне.

Трудно счастья достигнуть, на это нам не́ дано сил.
Хлеб едим ежедневно,— а много ль ты счастья вкусил?

Кто несчастен — принижен, во власти беды неминучей,
Ничего не боится попавший уверенно в случай.

Тот, кто случаю верит, живет под счастливой звездой.
Будь же счастью рабом, где б ни встретилось счастье
с тобой.

Не метафора то, что ласкает могучего случай,
Власть, что случай дает,— не тождественность слов
и не случай.

Тех держись, кто могуч,— и беды не изведаешь ты,
И о нуждах насущных избегнешь тогда суеты.

В уголке не сиди ты с какими-то нищими вместе,
Действуй в первом ряду ради славы и подлинной чести.

Под четой Близнецов для удачи родись ты на свет
И орех расколи: обещает он счастье иль нет?

В дверь удачи стучась, ты пади на колени у входа,
Узел низменных дел развяжи,— это будет свобода!

Простодушна вода, что веселой волной притекла,
Что к огню из страны, где узлистый алой, притекла.

Не делись своим сердцем, но следуй за сердцем всецело,
Ведь обуза и так — на пути твоем бренное тело.

Долго ль будешь ты руку протягивать к ветви иной:
«Мне бы счастья побольше, так мало испытано мной!»

Ты захватишь весь мир — и прекрасно! — но только
отчасти:

Ты из мира уйдешь — так зачем устремляешься к власти?

Брось же алчность,— она преградила твой праведный путь,
Нестяжанье над нею готово секирой взмахнуть.

Этот купола центр, бирюзой осененный небесной,—
Для тебя он широкий, для мыслей возвышенных — тесный.

Или вовсе не думай и силой весь мир полони.
Иль возвышенной мыслью его от себя отгони!

В человеческом прахе совсем не осталось познанья.
«Человека души» не осталось во всем мирозданье.

И в «скрижалях достоинств», в двух книгах писцов
девяти,
Ни единого нет, кто бы к тайному мог подойти.

Знай, что недругу смысла не должно протягивать
руки,
Знай, живая вода не находится в пасти гадюки.

Враг разумный — пускай твою душу он горем потряс —
Лучше друга, который в невежестве грубом погряз.

ПОВЕСТЬ О РАНЕНОМ РЕБЕНКЕ

На кремнистом дворе, где играла, смеясь, детвора,
Мальчик, навзничь упав, окровавил каменья двора.

Был надломлен хребет от неловкого быстрого шага,
И, ребят устрашая, лежал неподвижно бедняга.

Детвора трепетала, не смела она и вздохнуть.
И у каждого мальчика стыла от ужаса грудь.

Друг упавшего молвил: «Как видно, ребята, придется
Нам припрятать его в глубь любого чужого колодца.

Иль о том, что стряслось, догадается каждый глупец,
И что скажет, ребята, его разъяренный отец!»

Лишь один мальчуган, что с упавшим бранился
порою,
Был разумен — и так он промолвил пред всей детворою:

«Нет, всем будет известно, что с ним были в этот мы час,
И во всем обвинять будут старшие только лишь нас.

Я же с ним враждовал — мы ведь ссорились с ним
то и дело,
Все падет на меня!» И к отцу злополучному смело

Он пошел. Все сказал, словно в срок подоспевший
гонец,
И несчастному сыну помог поспешивший отец.

* * *

Полный мудрости будет во всяком деянье умелым,
И, ничем не смущенный, с любым он управится делом.

Кто поймет небосвод? Кто к всезвездному близок огню?
Только тот, кто свою на него опирает ступню.

Пусть безмерно движенье небесного звездного хода,
Но полет Низами превышает полет небосвода.

РЕЧЬ СЕМНАДЦАТАЯ
О ПОКЛОНЕНИИ И УЕДИНЕНИИ

Не ревнивый о боге, своим пренебрегший уделом,
Пребывающий в скорби душевной и страждущий телом!

Говорящая «я» в оболочке земной заперта,—
Но безмолствуй о тайне! Предел говорящей — уста.

Не охватывай мир, ибо ты не изгиб небосвода.
Не бери себе то, чем твоя не владеет природа.

Мир, единый и вечный, сильнее, чем наша рука,
Для земного безмена небесная гиря тяжка.

Помни: веса горы от пылинки дорожной не требуй
И огня для казана от искры ничтожной не требуй.

Если пояс довольства немногим надел человек,
От служения плоти себя отрешил он навек.

Алчность в росты ссужает тому, кто и так обездолен,
В лучезарном венце — кто мирское отверг и доволен.

В этом узком проходе срезают воры кошельки,—
Так спокойнее тем, кошельки у которых легки.

Знатен ты и богат — так не сетуй, что голову
больно,
А не хочешь — уйди, нищету избери добровольно.

Безбородый, в унынье, что волосы плохо растут,
Увидал, как друг друга за бороды двое дерут.

И сказал: «Хоть лицо у меня как у жителя ада,
Я спокоен, и мне — безбородому — в этом награда».

Пользу вящую видели люди разумные в том,
Чтоб изведал ты бедность, лишился бы вьюка с ослом.

И к духовным вратам, Иисусу подобно, проник бы,
Без осла и без вьюка конечной стоянки достиг бы.

Если ты мусульманин, то гебром и в мыслях не будь.
Ты пекись о душе и заботы о грубом забудь.

Хлынул гибели вал,— о, скорее спасай свою душу!
В волны кладь побросай, торопись, устремляйся на сушу!

Лучше с мозгом свободным в своем разорении стой,
Чем на пенистых гребнях подскакивать тыквой пустой.

Сан возвышенный в том, чтобы много не спать
и поститься.
Величайшее благо — с земным достояньем проститься.

Не стервятник же ты, ведь не станешь дохлятины жрать,—
Стань же вороном — кровью не следут ног обагрять.

Если ж ты обескровлен — как пишут тела на картинах,—
В безопасности ты от свирепых когтей ястребиных.

Знай, что кровь — это печень, что стала жидка, как вода,
Иль огонь посрамившийся, ставший водой от стыда.

Если в теле желаешь уменьшить давление крови,
Хоть железо ты сам, будь к удару его наготове.

Будь воздержан, но сразу привычку к еде не бросай,
Ешь всегда понемногу и кушанья впрок припасай.

Ест по малости лев и привычкою горд благородной,
Все — без толку притом — лишь огонь пожирает
бесплодный.

Круглым хлебцем одним удовольствован день,— потому
Стал он светом очей мудрецам, отвергающим тьму.

Ночь же — та напилась заревого вина, охмелела:
Кровь сгустилась у ней, почернело нетрезвое тело.

Ум обжоры скудеет, ответа не даст на вопрос.
Сердце ж — словно осока, в нем око страдает от ос.

Разум — та же душа, ей зиндан — твое бренное тело,
Меж сокровищ ее талисман — твое бренное тело.

Свет хранилища тайн на тебя изольется ль теперь,
Коль еще не разбит талисман, замыкающий дверь?

Мир земной ненадежен, и с ним разобщиться полезней,
Ненадежному миру скажи не колеблясь: «Исчезни!»

Если жизнь проведешь ты печальную в мире земном,—
Нет печали ему, да и ты не печалься о том.

Сыну негр говорил: «Что смеешься? Утратил ты разум:
Лучше слезы бы лил, что родился таким черномазым!»

Сын ответил ему: «В этом мире отчаялся я,—
Пусть на черном лице хоть сверкает улыбка моя!»

Смех на черном лице — необычного тут ничего нет:
Туча, если и черная, молнии все ж не заслонит.

Если ты не пленился узилищем бренным своим,
Смело молнией стань и рассмейся над миром земным.

Всем известно: как сахар, улыбка сладка попугая,
Куропатка ж хохочет, сама себе рот затыкая.

Если только развяжется твой не ко времени смех,
Лучше плакать начни, чем такой не ко времени смех.

В гореванье горенье со смехом во время горенья;
Человеку и молнии жизнь превращают в мгновенья.

Что в безрадостном смехе, подобном сгоранью свечи?
Этот горестный смех ты обильно слезой омочи!

Если ты, рассмеявшись, начнешь обнаруживать зубы,
Поскорей спохватись и зубами прикусывай губы.

Плач для глаз не полезен, за частый, однако же, смех
Не похвалит никто, осужденье услышишь от всех.

Созерцаешь ты многое в мире, что старо и ново,—
Знай, что должная мера в дурном и хорошем — основа.

Встань, сперва погорюй, а веселью предайся потом,—
Есть потребность и в этом, бывает потребность и в том.

Слышны стоны и в сердце, веселостью светлой богатом,
День соседствует с ночью, жемчужина — с черным агатом.

Нет счастливца, кого лишь за то, что испил он воды,
По башке бы не треснули — долго ль дождаться беды!

Хоть богат караван, колокольчик не радует слуха.
Если сахар возьмешь, непременно на сахаре — муха.

Коль судьба твоя стала кормилицей мудрой твоей,
И в дурном и в хорошем предайся единственно ей.

Если уксусу даст, не кипи, как вино молодое.
Помолчи! Может быть, ожидает тебя и благое.

Лишь устойчивый может дорогою шествовать сей.
В путешествии с Хызром попутчик один — Моисей.

Принужден выполнять ты желанье любого вельможи,
Чтоб, подобно ему, в этом мире возвыситься тоже.

Только истинный друг, при несчастье о друге скорбя,
Устранит все ловушки и сам не покинет тебя.

ПОВЕСТЬ О СТАРЦЕ И МЮРИДЕ

Как-то шествовал старец-подвижник пустынной дорогой,
И мюриды при старце, и было мюридов премного.

Каждый думал из них, что от бренного мира отвык,
И, чтоб их испытать, громко выпустил ветер старик.

Отмахнулись они рукавами, замелькали их ноги,—
Лишь один возле старца остался на пыльной дороге.

И сказал ему старец: «Один ты остался. Зачем?
Все другие ушли,— почему не сопутствуешь всем?»—

«Будь жилищем тебе мое сердце! — мюрид отвечает.—
Прах от ног твоих, старче, пусть голову не увенчает!

Не принес меня ветер, решил я остаться с тобой,—
Из-за первого ж ветра могу ли расстаться с тобой?»

Всякий, ждущий подарок, уйдет, как подарок получит,—
Принесенное ветром его же порыв улетучит.

Быстро пыль поднимается, быстро садится опять.
Это свойственно пыли: места постоянно менять.

Укреплялась гора на основе своей постепенно,—
Потому долговечна, на месте едином бессменно.

Тот лишь предан распутству, кто с божьего сбился пути.
Может верности бремя один терпеливый нести.

Если ты не распутствуешь, бремя неси отреченья,
Бремя плотское сбрось, если ты не осел от рожденья.

Если ты не притворщик, слеза умиленья видна
У тебя на глазах, и смиренье твое — без пятна.

Благочестье в султанской одежде, расшитой богато,
Это — царь Соломон, мастеривший корзины когда-то.

Та свеча восковая, что золото сыплет во тьму,—
Это скрытый аскет, только сбросить бы роскошь ему.

Благочестие ценно особенно в винном подвале.
Коль в развалине клад, то ценнее найдется едва ли.

Низами благочестье красою немалой блестит,
Но отшельника подвиг парчой златотканою скрыт.

РЕЧЬ ВОСЕМНАДЦАТАЯ
В ОСУЖДЕНИЕ ДВУЛИЧНЫХ

Вот фальшивомонетчики,— чтобы продолжить обман,
Для новейшей подделки они смастерили чекан.

Знай: у них и живот и спина из латуни дешевой.
От нечистой руки береги свое каждое слово.

Пред тобою они — лицемеры — открыты, как день.
За спиной у тебя они скрытны, как темная тень.

Будто прямы, как свечи, а спутанней веток алоэ,
Хоть наружность проста, да запутано в них основное.

В милосердье откажут, насильно же волю дадут.
Недостатки считают и жалобам книгу ведут.

Научились любви,— про любовь им другие сказали,
Сколько злобы скопили — узлы на узлы навязали!

Горячи они,— все же прохладней, чем печени их,
Хоть живые;— мертвы и сердец холоднее своих.

Пробным камнем души не испытывай дружбу их ныне.
Ты как будто не пьян,— не скользи же ногою по глине.

Тайны им не вверяй: эти люди — что отгулы гор,
Бойся их клеветы, опасайся вступать в разговор.

Все они — болтуны, от тебя они ждут уваженья,
Все лишь выгод хотят, лишь свое укрепить положенье.

Ищем мира с двуличными, от нищеты присмирев,—
Но на эдакий мир да обрушит всевышний свой гнев!

Если в дружбе людей хоть немного корысти проникнет,
В тот же миг меж друзьями враждебное чувство возникнет.

Если с виду и дружба, но каждый твердит про свое,—
Это ложная дружба, враждебность — основа ее.

Почему ты, о сахар, считаешься другом отравы?
Кто друзья твои, грех? Добродетель и добрые нравы.

Друг для близкого друга — как нежный целебный бальзам.
Если ж это не так, перестань с ним беседовать сам.

Правда, с кошкой бывает,— но это зверей недостаток!—
Что она от любви поедает своих же котяток.

Если друг ты неложный, так накрепко тайну храни.
А предатели тайны — судьбы переменней они.

Все добиться хотят над тобой своего превосходства,
У тебя потихоньку похитить чекан производства.

Коль извне поглядеть — будто дружбу с тобою ведут,
А как будешь в беде — сами с просьбой к тебе подойдут.

Если дружбу ты сам замечаешь в другом человеке
И отвергнешь ее — ты врага наживешь, и навеки.

Разве могут глаза в этом множестве друга найти?
Угадает лишь сердце, кто верность умеет блюсти.

Но хоть сердце одно, его много печалей печалит,
Вянет роза одна, но шипов ее тысяча жалит.

Много царств на земле,— Фаридун же один меж царей,
Много смесей душистых — да мало мозгов у людей.

Соблюдающих тайну не сыщешь и в целой вселенной,
Только сердце одно — вот поверенный твой неизменный.

Если вверенной тайны не держит и сердце твое,
Как ты можешь хотеть, чтоб другие держали ее?

Коль уста твои тайну везде раззвонили не сами,
Как же стала она очевидной, как день над полями?

Тайну ты раззвонил, не сдержал ее в сердце своем,—
Что же, тайны свои выдает и бутылка с вином!

Все ж иметь сотоварища всякому в жизни придется,—
Не гони же того, кто с тобою дружить соберется.

Уж поскольку приходится в этом судилище жить,
Ты найди себе друга, с которым возможно дружить.

Но пока не узнал ты доподлинной сущности друга,
Тайн ему не вверяй, заболтавшись в минуту досуга.

ПОВЕСТЬ О ДЖАМШИДЕ И ЕГО ПРИБЛИЖЕННОМ

Был у шаха Джамшида один молодой приближенный,
Ближе месяца к солнцу, почетом от всех окруженный.

Так и жил он при шахе, и дело дошло до того,
Что из всех повелитель его выделял одного.

И поскольку его он особою мерою мерил,
Благородному сердцу сокровища тайны поверил.

И хоть юноши к шаху теснейшею близость была,
Шаха он избегал — так от лука стремится стрела.

Тайна сердце сверлила, недавно открытая шахом,
И о ней он молчал, руководствуясь божиим страхом.

Раз явилась старуха к нему. Удивительно ей,
Что тюльпаны его ее роз престарелых желтей.

Говорит: «Кипарис! Что ты вянешь? Испил ты водицы
Не простого ручья, ты напился из царской криницы!

Почему ж пожелтел? Никаких ты не терпишь обид.
Среди радости общей зачем же печален твой вид?

На лице молодом словно след долголетья и боли,
И тюльпаны твои уподобились желтофиоли.

Ты поверенный шаха, он сердце раскрыл пред тобой,
Уподобься ему и лицо для веселья раскрой.

Благомилостив шах — и у подданных лица румяны.
А румянее всех у ревнителей шахской охраны».

Он старухе в ответ: «Не права ты в сужденье своем,
Говоришь ты, не зная, что в сердце творится моем.

Мне такое страданье приносит мое же терпенье!
И лицо желтизной мне окрасило тоже терпенье.

Шах измерил меня, недостойного, мерой своей,
Шах со мной поделился, почтил меня верой своей.

Мне открытые тайны велики и необычайны,
Никому не могу я раскрыть те великие тайны.

Все ж от шаховой тайны не столь молчаливым я стал,
Чтоб о всяких делах вообще говорить перестал.

Но с тобою, старуха, не стану болтать и смеяться:
Птица тайн с языка неожиданно может сорваться.

Если тайна из сердца наружу не выйдет, тогда
Сердце путь обливается кровью, теперь и всегда.

Если ж тайну раскрою, то счастья лишусь я всецело,
Клятву я преступлю — пропадет голова, и за дело».

Отвечала старуха: «Искать не пытайся в другом
Настоящего друга,— найдется в тебе лишь самом.

Тем, кто всех откровенней, оказывать бойся доверье,
Даже собственной тени оказывать бойся доверье.

Лучше это лицо ты монетою желтой зови,—
Хуже всей голове потонуть по заслугам в крови».

Часто слышится мне, как в ночи раз за разом тревожно
Голова говорит языку: «Берегись! Осторожно!»

Чтоб на плаху не лечь, свой язык ты не делай мечом.
Ты не день,— а лишь дню раскрывание тайн нипочем.

Коль завязан язык, человек беззаботен и весел,—
Только бешеный пес свой язык чуть не до земи свесил.

Благо будет тебе, коль удержишь под небом язык.
Хорошо, если меч не к ладоням, а к ножнам привык.

Многим сроду известно, что это и мудро и верно,—
И беда голове, коль язык говорлив непомерно.

Если будешь фиалкой, чьим запахом каждый влеком,
То тебя обезглавят твоим же они языком.

Пусть в посудине рта он молчит, не мешая дыханью,
Чтоб потом голова не воскликнула «Ах!» над лоханью.

Усладительна речь — все же накрепко губы зашей:
Забываться нельзя — за стеною немало ушей.

Слов не слушай дурных — надо ныне страдать глухотою,
И молчи о дурном — надо ныне дружить с немотою.

Что бы ты ни писал, придержи осторожно калам,
Если пишет другой, ты язык свой завязывай сам.

Все смывай, как вода, что услышать успел от другого.
Будь, как зеркало, нем: что увидел, об этом ни слова.

Что ревнивцу привиделось ночью — о том нипочем —
Хоть оно и чудно! — никому не расскажет он днем.

Нет сомненья, что купол, сияющий звездами ночью,
Днем расскажет едва ли, что видел он за ночь воочью.

Если хочешь у звезд благонравью учиться, то днем
Разглашать не подумай, что в сумраке видел ночном.

О глубокая ночь! В ней сокровища мира таятся.
В ней премногих сердец драгоценности тайно хранятся.

Кто в заботе о главном несется, как молния, скор,
Не расскажет другому, на чем остановится взор.

Чья ввыси голова за девятое небо выходит,
Мяч свой с поля игры как прямой победитель выводит.

Те глаза и язык, что с наружною жизнью дружны,
Словно лишняя кожа иль волос, срезаться должны.

Коль любовь за завесой становится чуду подобной,
То лишь выйдет наружу — и похотью станет трущобной.

Тайн господних суму только вере возможно соткать,
Но Трепальщика нить расщипали на хлопок опять.

Тайн завесой облек свою душу цветок нераскрытый.
Но, разверзнув уста, погибает он, кровью залитый

Неужели ж такая доступна устам высота?
Повесть тайную сердца расскажут лишь сердца уста.

Миска сердца нужна, чтобы стали те кушанья любы.
Если ж попросту есть, обожжет тебе пламенем губы.

Есть души красноречье, оно и молчанье — одно.
Есть души поспешенье: оно промедленью равно.

Свет божественный сердца к тому лишь свой голос направит,
Кто, предавшись молчанью, другим говорить предоставит.

Сердца речи, которых в глубинах сердечных родник,
Не устам толковать,— передаст их лишь сердца язык.

Коль весельем души с Низами ты окажешься равным,
Будешь малым доволен и станешь владыкой державным.

РЕЧЬ ДЕВЯТНАДЦАТАЯ
О ПРИЯТИИ ЗАГРОБНОЙ ЖИЗНИ

Посмотри, как хорош этот чинный придворный прием,
Как приятен для глаз — словно свет полнолунья на нем.

Уж затеплены свечи, и полны подносы набата,
Уж воздвигнут и трон, и курильницы ждут аромата.

Ты, что веру покинул и к праху земному приник,
Стражи горних палат на тебя уже подняли крик.

«Возвращайся!— кричат.— Возвращайся от двери неверья!
Видишь царский шатер? Пребывай у его лишь преддверья!»

Ты от марева мира, от зноя пустыни вскипел.
В день суда перечислят, что скрыть ты при жизни успел.

Пес от стужи дрожит, свирепеющий, скалит он зубы,
И лисица умней — осторожна, не ходит без шубы.

В полный серою ад превращен этот пасмурный дол,—
Счастлив тот, кто скорее по этой юдоли прошел.

Накопи же слюну, как обычай велит нам примерный,
Плюнь в источник кипящий и жар загаси его серный.

То, что в долг получил, ты обратно отдай небесам,
Ведь из праха ты создан, и с прахом расстанься ты сам.

Сбрось земное с себя, как доподлинный мастер, умело,—
Ты свободен еще и душа не ослабла для дела.

Кто на этом пути проявляет надменное «я»,
Нас ограбит с тобой на проезжем пути бытия.

Скорпионова ярость страшней, чем драконова злоба:
Первый скрыт, а второй на виду, хоть кусаются оба.

Дом весь полон воров — поскорее сокровища прячь,
А пустыня — злых духов: считай свои четки и плачь.

Те, кто сердца дорогу избрал для своих беззаконий,
Грабят наш караван на последнем его перегоне.

О, боюсь я той ночи, когда совершат свой набег
И, унизив тебя, из пустыни прогонят навек.

Хоть и мелок твой враг, но беда от него пребольшая:
Так не делай ошибки, беспечно свой путь совершая.

Крупно с мелким враждуй, мелкодушью его вопреки.
Если мелочен будешь, тебя разобьют на куски.

Муравей хоть и мал, муравья хоть ничтожна силенка,
Но коль львица беспечна, без глаза оставит он львенка.

До стоянки дошел караван подневольных рабов,
Нагруженный корабль неизбежных достиг берегов.

Чтоб тебя не видали, исчезни, как греза ночная,
Чтоб не выгнали вон, утеки, как струя водяная.

Не вступай в эту келью, подумай, в том будет ли толк,—
Все равно ты обязан вернуть, что получено в долг.

Если сам не уйдешь, все равно испытаешь страданья,—
Печень кровью наполнят, дневного лишат пропитанья.

Если б не был благим их обители праха уход,
День и ночь, обращаясь, не стал бы сменять небосвод.

Ты не жди, чтобы дэв разорвал тебе ворот одежды,—
Встань и к вере беги, возлагай на нее лишь надежды.

Чутким слухом внимай: шариат тебя кличет — туда,
Тела более нет — распрощайся же с ним навсегда.

Шариат — ветерок: с ним душа пусть уносится вместе.
Тело — прах: так оставь же его в этом низменном месте.

Шариат тебе в руку вложил благовонный рейхан.
Не природе служи,— шариату, что свыше нам дан.

Не стремись ты, как ветер, к дверям человека любого,
Не мирись ты, как воздух, с дыханьем любого дурного.

Все здесь тени подобно,— но будь лучезарен, как свет.
Если все ты обрел, отрешись поскорей от сует.

Сжало шею тебе, как ошейник, кольцо небосвода,—
Как же голову вызволишь? Ей ведь потребна свобода!

Он расскажет тебе про огромные своды свои
И поведает повесть про древние годы свои.

Пред его глубиною тесна твоей жизни пещера.
Пред его стариною ничтожна годов твоих мера.

Не забудь, что молчаньем кончается речи поток
И забвенье навеки — вот жизни конечный итог.

Но ты дышишь еще, и, чтоб дольше дышать было можно,
Лучше к двери любви подойди и стучись осторожно.

Потому что дышать вместе с падшими вроде тебя
Легче с этим вином,— тяжелее дышать не любя.

Никогда небеса не кроили кафтан без обмана:
Два отреза на шапки утянут всегда от кафтана!

Все, что делаешь ты, как неверный, враждуя с добром,—
Знай — припомнится все и запишется острым пером.

Для чего бы открыл ты величия дверь и блаженства?
Дверь откроют тебе неизбежно — и в этом равенство.

Помни, если насмешку таишь за завесою глаз,
Так же буду играть и с тобой, за завесой таясь.

Те, кто много, живя, и дурного и доброго знали,—
Будь уверен, и твердо,— дурное одобрят едва ли.

Кто отправился в путь, тот невольно вниманье привлек:
Совершивший дурное тем самым уж выдал залог.

Будь красив он иль нет — не сравняется с правым неправый.
Как ушел ты из мира, с такой и останешься славой.

Коль растенье в колючках, «колючкой» его и зовут,
Те, кто амброй торгует, торговцами амброй слывут.

Честен будь и правдив — это верная в жизни дорога,—
Чтоб потом не пришлось и себя устыдиться, и бога.

Этот времени бег, истерзавший тебя, побеждай,
Камнем склянку разбей, где кровавые слезы по край.

Побивай ты каменьем игрушку багряного цвета!
Зачеркни, чтоб и буква исчезла злосчастная эта!

Ту свинцовую крепость своим сокруши кулаком,
На коня хутталянского смело усядься верхом.

Чтобы небо на горнем девятишатровом мимбаре
Прочитало хутбу о тебе, государь государей.

Бросить на поле знамя — поистине дело твое.
А поднять это знамя — поистине дело мое.

Я как ангел взнесен, хоть во мне и земная природа,
Я сраженье веду на другой стороне небосвода.

Выше, нежель мой рост, непреложная ценность моя.
Вне окружности мира вращаюсь в кругах бытия.

Не вода я, но в море я волн устрашаю громады,
Не сова, но в земле я умею отыскивать клады.

С небом сходствую я, на сокровища ставлю пяту,
Неизбежно взошел на огромную я высоту.

ПОВЕСТЬ О ХАРУН-АР-РАШИДЕ И ЦИРЮЛЬНИКЕ

Срок настал для Харуна халифом назваться. В тот миг
Стяг потомков Аббаса небесного свода достиг.

Как-то в полночь, оставив жену и обитель ночлега,
Вышел в баню Харун насладиться покоем и негой.

В бане начал цирюльник властителю голову брить
И, к досаде его, много лишнего стал говорить.

«О, ты знаешь меня! Без наград мы уменье не тратим:
Отличи же меня, назови меня нынче же зятем!

Обрученье устрой, за меня, за раба своего,
Ты отдай свою дочь, что дороже мне мира всего».

От природы горячий, халиф раздражился сначала,—
Но уж чувство стыда его первую вспышку смягчало.

Он сказал: «От жары перегрелась, знать, печень его:
Он рехнулся с испуга при виде лица моего.

Если б был он в уме, так и вздору нести не пришлось бы,—
Может только безумный такие высказывать просьбы».

Утром вновь испытал он слугу, но остался ни с чем:
Был все тем же чеканом чеканен фальшивый дирхем.

И не раз и не два подвергал он его испытаньям,
А цирюльник все тот же, все с тем же безумным желаньем!

Так умом помраченный все дело вконец помрачил,
И то дело распутать дастуру халиф поручил.

Он дастуру сказал: «На меня с языка брадобрея
Вдруг свалилась печаль,— так узнай мою тайну скорее.

Он считает достойным, чтоб я его зятем назвал!
Кто же так и учтивость и место свое забывал?

И язык его — бритва, и в правой руке его бритва!
Два клинка на меня: согласись, что неравная битва!

Каждый день, подвизаясь над высшей из царских голов,
Мне кидает он в душу каменья заносчивых слов!»

И ответил дастур: «Не смущайся, но истины ради
Испытай, может статься, стоит он ногами на кладе?

Как появится с бритвой, цирюльника ты упреди:
«Здесь обычно стоишь, но сегодня туда перейди!»

Если будет спесив, так рубить ему голову надо,
Если ж нет — поищи, где стоял он, зарытого клада».

И, смиренной послушен природе, недавний «эмир»
Стал на новое место, как дал указанье визир.

И едва отошел он и стал в расстоянии неком,
Показался халифу он вовсе другим человеком.

И совсем не болтает — как будто с завязанным ртом,—
И глаза и язык безупречно учтивы притом.

До тех пор, как цирюльник обычного места держался,
Образ царственной власти в простецкой душе отражался.

Но едва с того места сойти поспешил поскорей,
Стал цирюльником вновь — открывай себе лавку да брей.

И халиф приказал, и вскопала то место лопата,—
И явились сокровища, скрытые в землю когда-то.

На сокровища став, что до срока таиться должны,
Всякий станет речист, отмыкает он двери казны.

Но казна Низами всем открыта, кто ищет совета,
Грудь свободна от праха, и сердце исполнено света.

РЕЧЬ ДВАДЦАТАЯ
О ЗАНОСЧИВОСТИ СОВРЕМЕННИКОВ

От себя мы самих отмахнулись, от жизни устали,—
Почему ж, утомленные, к праху земному пристали?

Пребывая средь праха, ты стал, как колючка, в шипах,
Дел подобных немало с живыми проделывал прах.

Жизнь успела пройти — среди вышедших из дому рано
Мы последними стали — отставшая часть каравана!

Покорили мы ангелов наших, им путы надев,
Ищет дружества с нами и сам обесславленный дэв.

Мы — что в бане котлы: горячи мы и холодны вместе;
Мы — что куча золы: горячи мы и холодны вместе.

Где же ясность души, где же сердца сияющий свет?
Где же отдых былой? Где спокойствие духа? Их нет!

Утро ночи темней, загорается черное пламя,
Меркнет утро души, и его опускается знамя.

Беззаботности смех прерывается в наших устах,
Вожделение к жизни в душе разбивается в прах.

На ладони у праха создай себе силой волшебной
Средство душу спасти как-нибудь в суете непотребной.

Вылетай же скорей, разорви кровожадный силок,
Человеку лукавство дано, чтоб он вырваться мог.

Пусть зубастее волк, но лукавством сильнее лисица:
Из ловушки сумела лукавая освободиться!

Знай свое назначенье и верности верным пребудь,
Брось себе поклоненье, аллаху служить не забудь!

Прахом сердца ты стань, ибо верность лишь там обитает,
Только в сердце одном справедливости роза взрастает.

Если сердцем твоим добродетель тебе внушена,
Одеянию верности краем послужит она.

В человеке возникнут одни лишь хорошие свойства,—
Пропадут, если ты не похвалишь, хорошие свойства.

Но одобрил ты их — и становятся лучше тогда,
И обильнее вдвое в ручье заструится вода.

Кто не чужд воспитанью, бывает другими воспитан,
Коль на добрые свойства в ком-либо ином поглядит он.

Праху дать чистоту добродетель лишь может одна,—
Только в прахе земном добродетель теперь не видна!

Ведь едва добродетель поднять свою голову сможет,
На нее нечестивый немедленно руку наложит.

Добродетельных гонят, о жизни стоит уж вопрос!
Каждый рад, если вред добродетели тоже нанес.

Коль подвижника видят, так это им только забавно.
А раздумья считают горячкой страстей и подавно.

Имя щедрости на́звали горстью убытка они,
Полагают, что верный рабу даровому сродни.

Щедрость — только посмешище их издевательствам вздорным,
Ими ясная речь именуется омутом черным.

Абрис верности их нарисован на тающем льду,
Даже солнце с луной эти люди хулят на ходу.

Если кто хоть на миг усладился бальзамом покоя,
Он уж их уязвил, их лишает тем самым покоя.

Каждый с губ у другого отведает сласти, а сам
Опаршивевшим пальцем ему проведет по губам.

Людям с печенью плотной, подобной инжирине спелой,
Подают они уксус, даваемый гроздью незрелой.

Чтоб хорошее видеть, у них не имеется глаз,
Но любые пороки готовы приметить тотчас.

В море много всего, но ничто не ценнее жемчужин:
Если есть добродетель, иной уж прибыток не нужен.

Для слепого что капля могучего Тигра струя,
И нога саранчи тяжеленька для лап муравья.

Двое-трое скупают пороки, о почестях споря,—
И порочный и праведный с ними натерпятся горя.

Сами в прахе они и душою чернее, чем прах,
Горше всех огорчений, что носим мы в наших сердцах.

Станут дымом, едва до чьего-либо носа достанут,
Лишь увидят светильник — и ветром немедленно станут.

Посмотри ты на мир, на устройство его посмотри:
Кто в нем знатные люди, имущие власть главари?

Двое-трое порочных живут на позорище веку,—
И наш век, и я сам через них превратился в калеку.

Только я — как луна, не разрушишь мою полноту:
Мне ущерб нанесут — от ущерба еще возрасту.

Пусть хлопочут вовсю, только шахматы — трудное дело,
Вряд ли их плутовство небосвод обыграть бы сумело.

Хоть свежа моя речь, хоть духовного сада влажней,
Словно спутники Ноя, хулители реют над ней.

Знамя Хызра, развейся! Зови нас на поприще боя!
На священную брань! На неверных — с молитвами Ноя!

Что мне их нечестивость? Что сердцу поступки дурных?
Пропади, мое сердце, лишь только вспомянешь о них!

Нет предела их злу, из проступкам не видно скончанья,—
Пусть же голосом громким мое им ответит молчанье!

Много стука в ларце, но жемчужина в нем лишь одна.
А наполнит он чрево — и будет в ларце тишина.

Громко булькает жбан, коль наполнена лишь половина,
А наполнится весь — и безмолствует звонкая глина.

Если знания полон твой разум и ясности — дух,
Откажись от речей, превратись осмотрительно в слух.

ПОВЕСТЬ О СОЛОВЬЕ И СОКОЛЕ

Куст едва лишь зарделся весенним цветением роз,
Соловей неожиданно соколу задал вопрос:

«Ты все время безмолвен, ты самый из птиц молчаливый,—
А в игре победил! Почему же такой ты счастливый?

Только начал дышать, а уста уж безмолвьем связал,
Не случалось того, чтоб ты доброе слово сказал.

Ты живешь у султана Санджара, и дни твои сладки,
Утоляя свой голод, ты грудку когтишь куропатки.

Я же столько богатств в рудниках сокровенно таю,
Из-за пазухи вмиг сто жемчужин зараз достаю,—

Почему ж за червями гоняюсь я целыми днями
И жилище мое на ветвях между злыми шипами?»

Умный сокол ответствует: «В слух целиком обратись.
Молчалив я, как видишь,— молчанью и ты научись.

Знай, в житейских делах понемногу я стал господином:
Сотни делаю дел, но ни с кем не делюсь ни единым.

Уходи же! Тобой соблазнительный мир овладел.
Ты не делаешь дела,— болтаешь о тысяче дел.

Я живу для охот, я у шаха сижу на перчатке,
Если голоден — грудку я горной клюю куропатки.

Ведь ты весь обратился в трескучий язык, соловей,—
Так живи на колючках и ешь с голодухи червей!»

Если, чтя Фаридуна со славой его несказанной,
Возглашают хутбу, кто же слушает гром барабанный?

Если утро всего лишь — пронзительный крик петуха,
Это разве лишь на смех, и шутка такая плоха.

Наш о помощи крик небосводу внимать не угодно,
От его же кольца ни одна голова не свободна.

Не болтай о великих стихах, повторяй их в уме,
Или, как Низами, ты окажешься тоже в тюрьме.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ КНИГИ

О писец, да пошлет тебе доброе утро аллах!
Вот я узником стал, как перо у поэта в руках.

Этот род стихотворства превыше небесного свода.
Дал стихам мой калам все цвета, что являет природа.

Я алмазы расплавил, единым желаньем горя,
Коль не сделать кинжал, то хоть ножик сковать для царя.

Ибо в камне таилась руда для меча моих песен.
И кузнечный мой горн был для дела великого тесен.

Если б небо послало мне счастье, простив за грехи,
То полжизни своей не истратил бы я на стихи.

Сердце мне говорит, что я грех совершил в самом деле:
Под каламом моим этой книги листки почернели.

Здесь шатер новобрачных, и все, что таится внутри,
Под пером заблистало за три иль четыре зари.

Вот шашлык из ягненка — что ж дым ты глотаешь и ныне?
Что ты в вяленом мясе находишь, в сухой солонине?

Так иди же и сделай неспешность своим ремеслом,
А начнешь размышлять — размышляй с просветленным умом.

Если в слове моем отойти от добра — искушенье,
Это слово рукою сотри, я даю разрешенье.

Если поднял я стяг, где не истина знанья, а ложь,
То и слово мое, и меня самого уничтожь.

Если б я полагал, что мои сочинения низки,
То по всем городам я не слал бы в подарок их списки.

Стихотворчеством скован, я в этой сижу стороне,
Но все стороны света охотно покорствуют мне.

И сказало мне время: «Ведь ты не земля,— подвигайся!
Что бесплодно лежишь, как в пустыне земля? Подвигайся!»

Я сказал: «Сокровеннейшим, девственным мыслям моим
Не в чем выйти: по росту одежды не сделали им.

Есть лишь полукафтан, до колен он доходит, не боле,
Потому-то они на коленях стоят поневоле.

Им бы надо украсить нарядной одеждою стан,
Встать им было б прилично, забыли бы полукафтан».

Молодой или старый, в одном все окажутся правы:
Ничего до сих пор не добился я — разве лишь славы.

Ни волненья толпы, ни червонцев не вижу за труд,—
Знай торгуй на базаре! Добьешься ли большего тут?

Как петлею Гянджа захлестнула мне шею, однако,
Я, хоть петель не плел, покорил все богатства Ирака.

«Эй ты, раб!— этот крик повсеместно был поднят людьми,—
Что еще за Гянджа? И откуда и кто Низами?»

Богу слава за то, что дописана книга до точки
Прежде, нежели смерть отказала в последней отсрочке.

Низами эту книгу старался украсить как мог —
В драгоценных камнях утопил с головы и до ног.

Благодатно да будет, что щедрую россыпь жемчужин
Подношу я царю, что не менее с щедростью дружен.

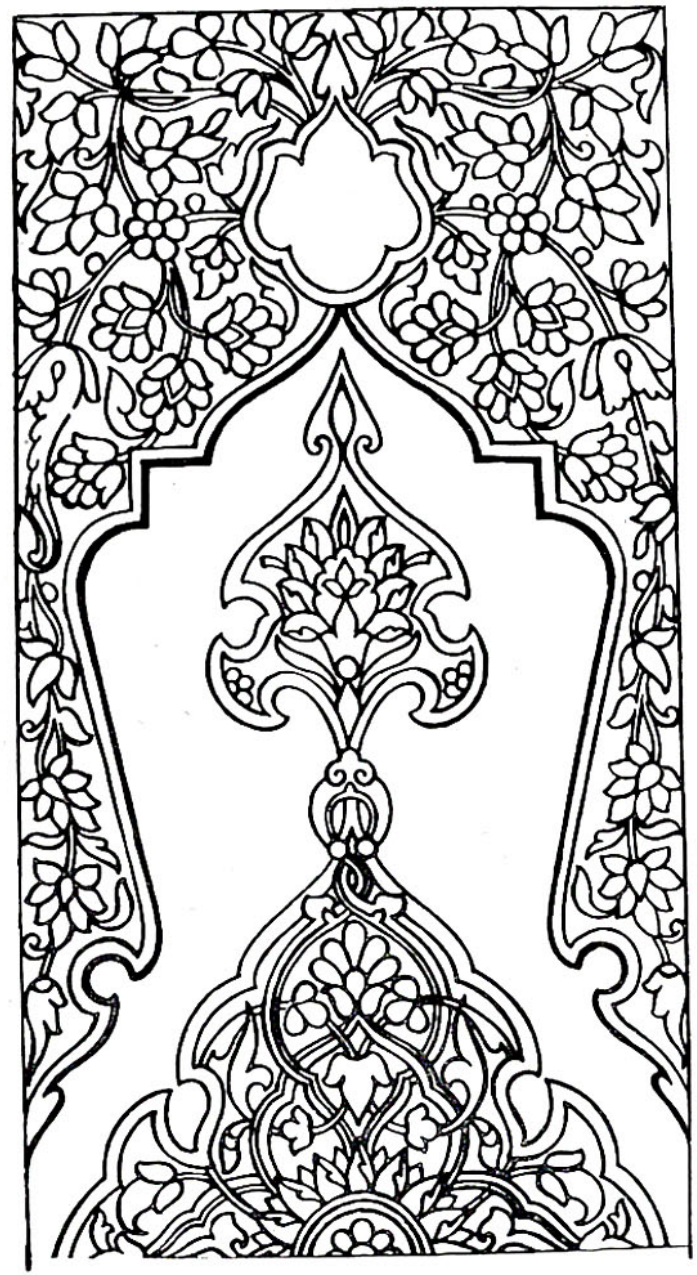
Книгу птица пера в высоту от земли вознесла,
Над бумагою птица раскрыла два легких крыла.

Головою ступая, жемчужины с губ расточала:
О сокровищах тайн драгоценную книгу кончала.

Эту книгу пометить, чтоб верно судить о былом.
Надо первым рабиа и двадцать четвертым числом.

Пять веков пролетело со времени бегства пророка,
Года семьдесят два ты прибавишь для точности срока.

ХОСРОВ И ШИРИН



ВСТУПЛЕНИЕ

Всевнемлющий творец, ты мне вожатым будь,
К добру и к истине яви мне верный путь.

Мне в вере помоги свой дух сберечь, создатель!
Достойную тебя даруй мне речь, создатель!

Ты помыслам дурным ставь предо мной предел
И отведи меня от недостойных дел.

Ты в глубь души моей своим проникни светом.
Позволь моим словам благим служить заветам.

Как дивно царь Давид воспел тебя в былом!
Пускай к тебе и мой возносится псалом.

Невесту создал я с надеждою великой,
Яви ее в миру благословенноликой,

Чтоб ум, блаженствуя, к ней преклонял бы слух,
Чтоб с нею мускусом был равен лишь Халлух,

Чтоб вязь ее письмен причислили к усладам,
Чтоб разум нежился, ее прельщенный ладом,

Чтоб молвили: восторг из каждой пьем строки;
Сей ключ сумел открыть сложнейшие замки.

Высокий смысл ей дай. Склонясь ко мне с участьем,
Для всех внимающих ее ты сделай счастьем.

Для шаха сделать дай мне сладкой красоту:
Ведь имя Сладостной и сладость я сплету.

Ей веянья даруй от своего дыханья,
Хоть каплю своего ей дай благоуханья.

Коль рассыпатель благ с тобою, Низами! —
Все россыпь разума рассыпь перед людьми.

В ВОСХВАЛЕНИЕ БОГА

Во имя давшего всем существам названья,
Земле — ее покой, а звездам — их мерцанье;

Тому, пред кем все мы моление свое
Возносим, распознав, что в нем — все бытие;

Непостижимому, не кажущему лика,
Тому, кто наречен «властителей владыка»;

Тому, кто твердь воздвиг, возжег огни планет,
Кто в разум наш с высот прямой бросает свет;

Кто в жемчуг обратил благие мысли наши,
Кто обращает в дни ночей сапфирных чаши;

Нам давшему восторг, печаль, надежду, страх,
Поднявшему луну в полночных небесах;

Дающему горам всю мощь их основанья!
Все сущее — лишь знак его существованья!

И каждый видящий во всем сей видит знак,
Из сущности творца возник творенья злак.

Созвездья поднял он могучими руками,
Искусно небеса украсив жемчугами.

Он — прозорливый взор всех пламенных творцов,
Он — в кротком разуме смиренных мудрецов.

Он тот, что, будучи восславен как Владыка,
Не молвит: «Моего ты не увидишь лика».

Лишь в нем вся мощь владык, искать ли нам другой?
Он — лучший властелин. Так стань его слугой.

Он вне того, что есть миров его основа —
Вне постижения, вне разума, вне слова.

Чтоб распознать его, скакнув на звездный дол,
Конь постижения подковы расколол.

Чтоб разыскать его, поднялся трезвый разум,
Но в безграничности свой путь утратил разом.

И так постичь его ты сможешь, что, дивясь,
С привычным для ума свою утратишь связь.

Узришь очами высь, забыв земные очи,
От глаз откинув ткань всех зримых узорочий.

Немедленен, нескор в своих решеньях он,
Нет глуби, высоты, нет у него сторон.

Читай слова о нем не на его скрижали,
Так сделай, чтоб они в душе твоей лежали.

На сто частей себя, как роза, разрывай:
С собою разлучась, войдешь в надзвездный край.

Откуда ты сошел под мглу ночного крова,
Из нашего шатра туда взойдешь ты снова.

Богопознания проверены ль весы?
Все домыслы ума — ничтожнее росы.

Рассудка доводы в одно мгновенье минут,
Как только доводы творца их опрокинут.

Знай свой единый путь, пребудь в пути своем,
Не то дойдешь до круч иль рухнешь в водоем.

Когда узнал, кому несешь ты поклоненья,
Тогда откинь навек причин и следствий звенья.

В огне любой свечи поймешь ее завет:
В сиянье всех свечей — творца единый свет.

Из праха розу он поднял во всем величье
И создал из воды людское он обличье.

Он людям разум дал, чтоб нам его познать,
Чтоб полным разума он мог бы страх внушать.

И на доску земли он бросил знаки; знаем,
Их девять — цифра сфер! — и мир мы постигаем.

Чтоб в нас росла душа, сок сердца дал он ей.
Светильнику ума дал масло из очей.

Шесть воротов он дал пространства дивной шири,
Объятиям земли — жемчужины четыре.

И как он зачинал творенья? Человек
На тайну всех начал своих не вскинет век.

И как разрушит он созданья? Смертным взглядом
Не глянуть в будущность, грозящую распадом.

По образу людей ты бога не твори,
Пред силою его в бессилии цари.

Бог уничтожит все, что создал он цветущим,
Могущественно он повелевает сущим.

Всеодаряющий в своем избытке сил,
Основы первые он щедро сотворил.

Призвал к служению он каждую основу.
Свой путь она нашла, его внимая слову;

Той щедрость дал, чтоб все дарить она могла,
Ту — сделал алчною, чтоб все она брала.

И о дарах вовек не знает ни дарящий,
Ни одаряемый, дары куда-то мчащий.

Не ведает огонь, что в пламени — беда,
О блеске струй своих не ведает вода.

Ни с кем не делит бог своей верховной воли,
Все — исполнители веления, не боле!

У испюлнителей вовек не станет сил,
Чтоб изменить пути им созданных светил.

Не сокрушить того, что создал бог когда-то,
Всем вихрям не умчать ни капли аромата.

Да славится творец, что смертный наш удел
Дивит всей стройностью своих великих дел!

В РАЗЪЯСНЕНИЕ ПРЯМОГО ПОСТИЖЕНИЯ И ПОЗНАНИЯ РАЗУМОМ

Зачем паломники заоблачной равнины
Текут вокруг земли — сей звездной сердцевины?

Кому в михраб земли несут они мольбы?
Какой для странствия хотят они судьбы?

Зачем влекут шатры по облачным увалам,
К каким в полуночи спешат они привалам?

Кто вымолвил одним: «Вращайтесь»? Кто, рукой
Остановив других, назначил им покой?

Их препоясан стан. Ты молвишь: «Их горенье,
Как их движение,— не есть ли поклоненье?»

И редко ль думал я, едва смирив свой жар,
Что в храме идольском надел бы я зуннар?

Но все ж, когда душа к борьбе была готова,
Мгновенно — «Низами! — с высот я слышал слово,—

Пусть блещут идолов прельщающих огни,
Но не себе поют хваления они.

Они вращаются, свои вращая очи,
Чтоб отыскать того, кто вызвал их из ночи.

Ты сам могуч, как царь, сильнее, чем цари,
Дверь храма идолов ты накрепко запри.

Хоть идолов ты чтил, как Ибрагим, но все же
От них очисти храм: ведь он отверг их тоже.

На идола взглянув, ты склонишься пред ним.
На идола ступи! Будь господом храним!»

Мы весь тайник творца измерить не могли бы.
Печать на тайнике: мир от Луны до Рыбы.

Путь к тайнам тайника — неодолимый путь.
Но разломи печать и с господом пребудь.

Пусть чувства каждые умчатся друг за другом,
И только разум свой своим ты сделай другом.

Не льстись красой небес! Что веровать в мечту!
Как этих звездных уз осилишь тесноту?

По таинствам высот где сыщется водитель?
Что ведаю о них,— земли смиренный житель?

Когда бы в тайну мог людской проникнуть взор,
О тайне молвил бы сверкающий узор.

И в этих куполах какое излученье?
Что видим мы с земли, что ясно нам? — Вращенье.

И явственно для нас: вращенья должный круг —
Предначертание непостижимых рук.

Несет вращение всем людям извещенье,
Что есть вращающий: вращается вращенье.

И, к колесу небес свой устремляя дух,
Спеши его сравнить ты с прялками старух.

Ведь прялку завертеть нам следует сначала,
Чтоб колесо она в кружении помчала.

Коль чья-нибудь рука слегка ее толкнет,
Она повертится немного и замрет.

Вращение небес подобно прялке. Всякий
Поймет сие, коль он небес постигнул знаки.

Мерило звездное, ума служитель — взор
Уму не разъяснит надоблачный узор,

Коль не сойдет к нему создатель мирозданья.
Напрасно ждать вестей! Напрасны все гаданья!

Ты в черном камне, друг, без пользы ищешь свет.
Свет сыщешь у луны, а в камне света нет.

Светилам виден бог с его сияньем ясным
Во всем им созданном, великом и прекрасном.

Гадают смертные по зернам ячменя,
По черным двум камням, сомненья отстраня.

От зерен и камней не ждать нам поученья,
И колеса небес к чему коловращенья?

Твердишь, что жизни нам стихиями даны,
И то, что звездами стихии рождены.

Зачем же говоришь ты в дерзости бескрайней
Лишь об орудии, а не о силе тайной?

Кто взял орудие, творя весь мир,— кто он?
И кем орудия рычаг был сотворен?

Пусть ветер, и огонь, и прах земной, и воды
В общенье, созданном велением природы,—

Но только божьего приказа письмена
Всем душу ниспошлют; да властвует она!

Не каждый божий раб — служитель верный бога.
Коль раб самовлюблен, то служит он убого.

Себя для господа ты должен превозмочь.
С горящим ярким днем кто совместил бы ночь!

Творец того сочтет своим слугою верным,
Кто позабыл себя в служении безмерном.

Ты чашу встречи пить желаешь? О, пойми,
Себя обязан ты утратить, Низами!

МОЛЬБА О ПРОЩЕНИИ

Творец! Ты глину взял и создал нас, и людям
Ты повеленья дал. Им следовать мы будем.

Ты молвил смертному: «Служить мне будешь рад»,
И он спокойно ждет обещанных наград.

И коль мы служим все, покуда изнеможем,
И если, страждуя, свое служенье множим,—

Ты, всепрощающий, к тому, кто сир и слаб,
Сойдешь с прощением, твой не погибнет раб.

Твоею милостью спасаемый от века,
Стал дерзновенным ум тлетворный человека.

Но, услыхав слова указа твоего,
Как мы осмелимся не выполнить его?

Ты, не в ущерб себе, в комке земли и влаги
Найдешь служение; служа тебе, мы в благе.

Коль нерадивым ты узришь кого-нибудь,
О всепрощении своем не позабудь!

И милосердия нас озаряя силой,
Дай лицезреть себя! Спаси нас и помилуй!

Я прах, но ты в мой мозг свое вложил зерно.
Вот сердце — бабочка! К тебе летит оно!

Я тот, кого, слепив, кому назначив грани,
Ты сделал избранным среди своих созданий.

Ты осветил мой лик,— направь мой взор в свой край,
Мне благо даровав,— быть благодарным дай!

Дай мне в моем труде долготерпенья, боже,
Когда мой легок путь,— пребудь со мною тоже!

Открой передо мной глубокий свой тайник,
Да тень беспечности мой не застелит лик!

Дай, чтобы мощь твоя, со дней моих начала
Мне все подав,— от благ меня не отлучала.

Пускай мой долгий путь проступками изрыт,—
Своим заступником я призываю стыд.

Коль худо вымолвлю, перечеркни. Так зыбок
Моих речений путь! Как быть мне без ошибок?

Троп семьдесят и две, но путь у нас один.
Путь в розах; в терниях все выгибы тропин.

Мне веры паланкин даруй. К спасенья странам
Хочу благим путем стремиться с караваном.

Мой видит глаз во всем черты твоих основ.
Ты — цель вот этим ртом произносимых слов.

И я к достойному,— горя с тобой в разлуке,—
И к недостойному протягиваю руки.

Оставив дом, иду к стопам твоим прильнуть.
Коль заблудился я, открой мне должный путь.

К Каабе суждено стремиться мне отныне.
Кто знает, может быть, погибну я в пустыне!

Все без тебя — ничто. Что есть добро и зло?
И в них твой скрытый лик сознание нашло.

Одних, их сокрушив, к себе призвал ты все же.
Других, их одарив, ты все ж отринул, боже.

Но кто же я, скажи? О, как несчастен я!
Я изгнан? Избран я? Темна судьба моя.

Я правой веры друг иль идолов искатель,—
Каков бы ни был я, прости меня, создатель!

Скажи, творец: «За зло я щедростью воздам».
Суди меня, творец, не по моим делам!

Скажи, что значу я со многими грехами
Пред справедливости небесными весами?

Ведь щедрость господа превыше дел моих.
Ты в должный день, господь, простишь меня за них.

Позволь же мне, творец, с любой моей судьбою
В служенье радостном склоняться пред тобою!

Пусть бытие мое и пусть небытие
Возрадуют, господь, дыхание твое!

Освободи меня от дел напрасных мира
И, зная обо мне, скитающемся сиро,

Чрезмерных, господи, мне не давай обуз,
Лишь в силу мышц моих мне назначая груз.

Своим огнем зажги светильник мой. Нестрого
Взгляни на павшего у твоего порога.

Мой дух ты отрезви: хмель в пламенной груди.
От сна беспечности мой разум пробуди.

Дай мне сказать, забыв снов горестных угрозы:
«Быть розовой воде, когда не станет розы».

И сделай мой язык возвышенным таким,
Чтоб смертный мой удел стал сладким и благим.

Мне скромность ниспошли. Даруй, в благой заботе,
Умеренность моей тебе подвластной плоти.

И если ты пошлешь мне горесть иль беду,
Пусть в том, что ты пошлешь, я должное найду.

Мой разум исцели пылинкою любою
Из-под ступни того, кто избран был тобою.

В ВОСХВАЛЕНИЕ ПРОРОКА ВЕЛИКОГО, ДА БЛАГОСЛОВИТ ЕГО АЛЛАХ И ДА ПРИВЕТСТВУЕТ

О, Мухаммед, чей дух сияет в небесах!
Все сотворенное — пред ним простертый прах.

Он дал огонь очей пророческому клиру,
Он — мастерской миров дар наилучший миру.

На войнах верности он — праведный глава,
Всем праведным полкам приказ — его слова.

Он тот, кто зачеркнет всех злодеяний списки,
Он павшему сулит час всепрощенья близкий.

Он — утренних садов повеявший рейхан,
В нем ключ от божеских сокровищниц нам дан.

Сироты льнут и льнут к его дыханья чарам.
Он прозван: «Сирота-жемчужина» недаром.

Пророкам дав устав, он дал нам книгу книг,
В своем убежище трон разума воздвиг.

Указ любой стране — основы шариата,
И верований нет, вознесшихся когда-то!

То милосерден он, то яростен, как лев.
Его глагол — то ключ, то меченосный гнев.

Он стал для господа возлюбленным Айазом,—
Венца махмудова пылающим алмазом.

Он — роза радости приверженцев своих,
Он — кипарис, что бурь не ведает земных.

Он свод небес облек в зеленые одежды,
Дал аромат ветрам, что нам ласкают вежды.

Вознес он свой шатер, созвездья заградив.
Из праха пред людьми был им изваян див.

«Друг господа»— Халиль, Келим — «Внимавший богу»,
Ведут его войска, хранят его дорогу.

Он шел для дум, для сна в пустынные края:
Его в пещерной мгле не жалила змея.

А я, я — жаждущий, который не однажды
Искал его: ведь он все утоляет жажды.

Как много промахов свершил я, о пророк!
Путь к исправлению и труден и далек.

И обращаюсь я к тебе, о сад аллаха,
Взгляни внимательно на эту горстку праха.

Ты, иеменский шелк откинув до межи
Всевышней, подними ладони и скажи:

«Господь, на Низами ты погляди не яро,
Сними с его души позор его зуннара!

Пусть в тишину твою он будет погружен,
Пусть будет он прощен, коль может быть прощен.

Пусть он свои грехи вознес превыше взгорий,
Но милость господа — неведомое море.

Прости его, господь, о днях его радей,
Ведь снисходительно ты милуешь людей!»

О ТОМ, ЧТО ПРЕДШЕСТВОВАЛО НАПИСАНИЮ КНИГИ

За благости звездой удач несется свита,—
И вот лицо земли их отблеском покрыто.

Тьму отнял у небес луч утренний — халиф,—
До ясной белизны свод неба раскалив.

Шатер небес возник — ждать в небесах султана:
Всегда наш видит взор в таких шатрах султана!

И стражу пятую, подняв свою игру,
Хор пробужденных птах прощелкал поутру.

И на подвижный трон взнеся Джемшида чашу,
День поднялся и жизнь всю разукрасил нашу.

Семи фагфуров край сверкал; его глазам
Угодно было дать приказ моим словам.

Восточный хан стихов напал на страны рьяно
И сделал златомеч пером ночного хана.

Тем, что сему мечу свою не слали дань,
Перо, как бы мечом, перерубало длань.

И острие пера, как меч, блеснуло; очи
Я поднял, я был пьян от звезд бессонной ночи.

И стал я размышлять, с чего бы мне начать,
С каких сокровищниц сломить бы мне печать?

Каким роскошеством я речь свою украшу,
Что выберу? Страну чем я взволную нашу?

И счастье, засияв, открыло дверь мою,—
И сладких уст его я поцелуи пью:

«Ковать обязан ты,— дохнул из горна пламень,—
Для твоего ключа железо отдал камень.

Так приказал мне тот, кто правил миром. Вновь
Ты в этот мир впусти великую любовь!

Давно погибли все хранители познанья.
И мир оледенел без пламени пыланья.

По голове небес язык твой, что кинжал,
Сбривая разум их, победно пробежал.

И обращаешь в гвоздь калам ты Утарида,
И плащ свой рвет Зухре,— в ней зависть и обида.

Как Моисей, зажги костер любви. Спеши!
Как Иисус, неси ты пламенник души.

Ты бирюзу вправляй в наш перстень,— мы ведь рады
Все соломоновы тебе отверзнуть клады,

И коль мы чтим тебя, и по заслугам чтим,—
Ответно нас почти творением своим.

Коль мы окажемся не истины сынами,
И ты, как Фирдоуси, обманут будешь нами,—

Ты можешь скудный дар, в укор таким скупцам,
Небрежно разбросать щербета продавцам.

Но, если счастлив ты, забудь все опасенья
И жадность ослепи себе же во спасенье».

Счастливый, внял гонцу я благосклонных сил,
И счастье счастливо явить мне попросил:

«Час помощи пришел, склонись ко мне с любовью,
Ведь сердце жжет меня, все облитое кровью,

Я ниже тех, что сказ все тот же, все один
При помощи царей сверлили, как рубин.

Удача берегла слова былого сказа.
Давно сверлить рубин лишь с помощью алмаза.

Готовы те слова подняться до Плеяд,
Которые нужды и скорби не таят.

От мира скрылся я в свой угол неизменный,
Дорожный мой запас лишь горсть муки ячменной.

Я над сокровищами будто бы змея,
Лепешку круглую имею на день я.

Я будто бы пчела: мой дом, как улей тесный,
Но мед в приюте пчел скрывается чудесный.

Величье шаха — ветвь, нам сыплющая снедь,—
И пропитание нам трудно ли иметь?

Когда б я попросил,— земли раздвинув глыбы,
Блеснул бы предо мной хребет безмерной Рыбы.

Но я от благости, что свойственна лучу,
Лишь благосклонности сочувственной хочу.

О, сколько славных дел взлетело выше праха,
Блистая, как луна, над взглядом шаханшаха.

Но если славы нет, есть и другая честь:
Есть доблесть в скромности. А есть ли скромность?—
Есть!»

В ПОХВАЛУ ТОГРУЛ-АРСЛАНУ

Когда султан и царь, шах молодой со счастьем
Таким же молодым, сошедший к нам с участьем,

Он, освещающий премудрости страну,
Он, взявший в дань свою все жизни, как одну,

Тогрул, венец для всех, чья царственна порфира,
Царь справедливости и повелитель мира,

Мелик-Тогрул, сей шах — владыка бытия,
Шатер щедрот, поток, что льется, всех поя,

Тогрул, облекшийся в блеск царственного сана.
Воссел на царский трон, чтоб заменить Арслана,—

Тогда лишь вскрыл я клад, чтоб всех людей сердца
Пленить всей прелестью творимого дворца.

Рисунок начал я. Был рок благословенным,
Он рек: «Будь благ»,— и стать я смог благословенным.

Звезда счастливая, благословив меня,
Мой дух исполнила счастливого огня.

Я — отражение победных дел султана:
Все счастливы среди ликующего стана.

Но в образы свои вложив душевный пыл,
Я время некое отдохновенье пил.

И промедлению явиться было надо:
Шах вел свои дела,— стихам была преграда.

Но шах связал Хабеш с Тамгаджем. И удар
Он за ударом нес: он с Чачем сплел Шуштар.

Он Анкой на шатре утешил наши взгляды,
Не золотой венец надел он, а Плеяды.

До всех семи небес он взнес свои шатры,
В Джейхуне взвил коня и прыгнул до горы.

Решил семь областей своим он сделать станом,
И девять высших сфер он сжал своим арканом.

И шлет ему хакан харадж. И не грозит
Ему кейсар, а шлет румийский свой газит.

Аллах! Очами злых да будет не угадан
К Тогрулу путь; к нему пусть только всходит ладан.

И ладан свой к царю в блаженстве я вознес,
Как утренний свой вздох, как запах росных роз.

Чтоб ладан мой, взнесясь благоуханным дымом,
Сказал бы обо мне, владыкою хранимом,

Словами, что горят, как драгоценный клад,
Что мир в себе таят и с миром дышат в лад:

«О ты, что целый мир скрутил, как стебель гибкий!
Пускай за Низами и числятся ошибки,

Но надо, чтоб твой взор на скорбного глядел,
Устрой дела того, кому не стало дел.

Чтоб он прекрасный мир увидел как бы внове,
Разгладь ему, о шах, насупленные брови,

Ты сто сокровищ дал Сити и Мехсити
За каждую газель,— их славе расцвести.

И если ты пред ним откроешь дверь хирмана,—
Зерна достаточно, не будет нам изъяна.

Владенья велики, удел так счастлив наш,
Развалинам ты вновь благоустройство дашь.

Как долго жить певцу в углу своем неярком?
Как долго к дивному не выйдешь ты с подарком?

Ведь солнца светлого затем и вечен свет,
Что им весь божий мир в сиянье разодет,

А туча потому пленяет щедрым нравом,
Что в детстве молоко она дарует травам.

От наших чашников ни чаши не приняв,
Нам Низами поет взрастанье наших слав.

Он словно соловей. Но взвешивая слово,
Про нашу славу петь совсем ему не ново.

Ходатайствую — я, он — раб, сияешь нам
Сияньем лунным — ты, что дашь подарком?— Джам».

Послушай, Низами! Твои так дерзки взоры,
Зачем с благой судьбой вступил ты в разговоры?

Тому, к кому фагфур приходит и хакан
И пред его дверьми свой преклоняют стан,

Как извинения ты выскажешь за строки,
Где дерзновенные нам слышатся упреки?

Есть извинение одно лишь — вот оно:
Я в царстве, что дворцам божественным равно.

Тут всех ничтожней тот, кто был всех многоценней,
А чем ты ниже пал, тем стал ты дерзновенней.

Но может молния прервать всей жизни нить
И немощной вдовы светильник засветить.

Потоки бурные, прорвавшие ограду,
Для роз питая сад, послали гибель саду.

Великий Соломон был всех мудрей, зане
И Рыбе он внимал, не только лишь Луне.

Золу и золото, ведя свой счет чернильный,
Писцы включают в счет вблизи печи плавильной.

Пока стоцветен мир и ярок, о аллах,
Пока в движенье высь и неподвижен прах

Дай этот мир тому, пред кем он пал, как пленный,
И небо подружи с властителем вселенной.

Пусть благом юности воспользуется тот,
Кто взял от бытия обилие щедрот.

Так ведай счастье ты, и пусть венцом царевым
Сияет вся страна в своем сверканье новом.

Пусть ведает весь мир удач твоих следы,
Пусть будут небеса шатром твоим горды!

Так будь неколебим в стремленье духа строгом,
Да будет твой порог святилища порогом!

В ВОСХВАЛЕНИЕ АТАБЕКА ВЕЛИКОГО ШАМСЕДДИНА АБУ-ДЖАФАРА МУХАММЕДА ИБН-ИЛЬДИГИЗА

Я мирволенье звезд хочу к себе привлечь:
В благоприятный день я эту начал речь.

Взноси хваления, калам возносим все мы,
И вот царю царей чеканю я дирхемы.

Величья аркою он занял кругозор,
Иль мы на бровь его свой устремляем взор?

Великий атабек, всех наших дней владыка,
Ток, кто пугает зло огнем благого лика,

Абу-Джафар, сей шах, что свой раскинув стан,
Как некогда Махмуд, захватит Хорасан,

Над миром правящий, свет правды и возмездья,
По воле собственной сплетает он созвездья!

Все явственно для нас. Он — солнце, он — один:
Ведь «Солнце веры» — он, не он ли Шамседдин?

Как солнце, что дает сияние светилам,
Он счастье нам дает. К его прибегнем силам!

Нам был ниспослан дар и новый послан вслед:
Есть двое, каждого назвали — Мухаммед.

Один всей сущностью — предел пророков бога,
Другой — предел владык в кругу земного лога.

Тот — пред арабом встал и взор его отверз,
Другого, как царя, в восторге видит перс.

Один — освободил от угнетенья веру,
Другой — законность ввел, дал вес всему и меру.

Вот имя! Всем сердцам звучит на свете «эм»?
В ушах у двух миров не кольца ль,— эти «эм»?

Расколот скорбно мир,— нет, не за ним победа!
У мира «эм» одно, три «эм» у Мухаммеда.

Коль щедрости своей даст выйти он из врат,
Поток его щедрот затопит Арарат.

Пред ним безмолствует желанье воли звездной,
Он сам низвергнет всех и всех спасет над бездной.

Пред шахом океан клянет свою судьбу:
Он — лишь блестящий пот на суши черном лбу.

Царь — глубь, но жемчуга взнес щедрыми руками.
Он, яхонты даря, не схож ли с рудниками?

Мечом своим он бьет как бы из черных туч.
Сей меч — семь областей нам отомкнувший ключ.

Рука великого владеет силой львиной,
Нет, не владеют львы сей силы половиной.

Но хоть всесильный шах сильнее сильных львов,
Он лишь на милости для подданных готов.

Сень благомыслия он распростер над светом,
И мудростью небес мир кажется одетым.

Все, кроме господа, пред шахом склонено,—
И все, что белизна, и все, что так черно.

И море бурное, одетое в кольчугу,
Грозит врагам царя: сродни они друг другу.

И рудоносных гор взнесенные кремни
Бьют недругов царя: с ним родственны они.

Железный колокол — врагов кричащих горло,
Но к ним железный меч рука твоя простерла.

Беспечным быть нельзя: не дремлет вражья рать:
Коль хочешь царствовать,— не надобно дремать.

Шах светлый Ильдигиз, не вняв укорам света,
Четыре дал венца семи просторам света.

Два мира, уходя, он дал душе одной,
И коли дышишь ты, то он — в стране земной.

И свет наш оживлен небесных сфер вожатым,
И свет нам видится душой его объятым.

Взнеслось его чело до звездной синевы.
Пусть волос не падет с взнесенной головы!

Кому дана судьба такая золотая?—
От Абиссинии все взял он до Китая.

В Ираке побыл он, исполнен светлых дум,
И Сирия пред ним склоняется и Рум.

Зубами войск изгрыз воитель необорный
На шлемах Рума крест, подобно неграм, черный.

И Рум, лишь в Турцию тот с битвами проник,
Мечом индийским он индийцем сделал вмиг.

Абхазия, Дербент — края его охоты,
Хорезм и Самарканд — и с ними свел он счеты!

Кто вышел из Гянджи и ввергся в Хузистан?
Оман и Исфахан кому — победный стан?

Да не уйти луне, светящей детям праха!
Да не упасть венцу с главы такого шаха!

Пусть все, к чему царя не мчит стремленья конь,—
Будь это амброю,— сжигает злой огонь!

Пусть тот, кто воззовет к враждебному походу,—
Хоть словно сахар он,— падет немедля в воду!

Пусть каждый ум, что мог лишить владыку сна,
Как осень скорчится, хоть был он, как весна!

Пусть мысли, что царя смущать и мучить рады,
Останутся в земле, хоть мысли эти — клады!

ОБРАЩЕНИЕ ВО ВРЕМЯ ЦЕЛОВАНИЯ ЗЕМЛИ

Живи и охраняй свой вознесенный трон —
Хранилище щедрот и милосердья он!

Султанства крепкий щит и халифата голос,
От твоего меча до смерти — только волос!

Воскресший Феридун, вновь явленный Джемшид,
Нет, за слова свои я ощущаю стыд!

Что Феридун?— Дитя. Мы истине послужим.
Назвав тебя, о муж, львиноподобным мужем!

Был ими трон храним, был и венец храним,
Венцы и троны, шах, бросаешь ты другим.

Был каждый богатырь властителя хранитель,
Но сам ты — богатырь, и сам же ты — властитель.

Был с перстнем Соломон, а с правой верой — ты,
С зерцалом — Искендер, а с верной мерой — ты.

Не зрели многого, что зрел ты в жизни нащей,
В зерцале — Искендер, Джемшид — склонясь над чашей.

Живи! Цвет юности, воскресшей снова,— ты!
И всей твердыне дней одна основа — ты!

Коль на спине слона трон созерцаем ныне,
Когда не твой сей трон, трон созерцаем синий.

Подняв железный меч и весь приняв мир,
Ты с чашей золотой продлил джемшидов пир.

Походы кончены; есть через край железа,
Для зеркала стихов немного дай железа!

Рассказов несколько, когда позволит шах,
Я шаху расскажу лишь в нескольких словах.

Я вдаль бросал гонцов — слова свои — с размаха,
Я был как бы звонарь словес волшебных шаха.

Я птаха первая во всем саду твоем.
Скажи, мне вороном тут быть иль соловьем?

Твой медлил, медлил раб, но ты,— ты будь незлобен,
Я медлил — все ж я лев! О да! Я льву подобен!

Как хорошо сказал все видевший мудрец:
«Хоть поздно, да найди путь правильный, храбрец!»

Был сон моих надежд пленителен и ярок:
Все для владыки мнил я отыскать подарок.

Но ты ведь, как фагфур, но ты ведь, как Джейпал,
С каким бы даром я перед тобой упал?

Вот горстка образов: иль страсть свою неловко
Поверг, иль не для них священная циновка?

Я днем и вечером служу тебе, о шах,
Как сердце служит нам,— хоть я лишь только прах.

Но людям я всегда — тебе сие не тайна —
Служу молитвами, и сила их бескрайна.

В безлюдии своем двоится Низами:
И уксус он и мед — таким его прими.

Из влажности его — все сладостные речи,
Но сушь его, что груз, легла ему не плечи.

Источник моего подвижничества — сух,
Но сочный мой язык всем услаждает слух.

Я — мускус в мускусном мешочке просветленья,
Я — Анка, я люблю от мира отдаленье.

Я — шип, и розою не быть мне на пиру.
Я лишь молитвами чертог твой уберу.

И службою тебе служу я лишь одною:
Молитвословием предутренней порою.

Мой сумасброден ум, а сети ставит свет.
Душа моя алчна, но страшно мне сует.

На сумасбродство я надену власяницу,
Я усмирю алчбы взлетающую птицу.

С любовью лишь одной останусь я тогда,
В отдохновенные уйду края тогда.

И к стремени царя я припаду, участья
Дождусь я от царя и полон буду счастья.

А коль отгонишь ты,— склонюсь вдали у врат,
Приветишь — не найду для радости оград.

Когда ты месяцем блеснешь, меня лаская,
Взлечу я светлячком, от радости сверкая.

Ты — солнце, осыпать ты хочешь не одну
Мешками золота, а каждую страну.

Да будет золота полна твоя палата!
Да будет меч огнем, душа — сильней булата!

Да узришь: все края для строк твоих — листы.
И да не будет стран, где не ступал бы ты!

Пусть в каждой стороне твоих стремлений стремя,
Блеснув на благо всем, твое прославит время!

Да будет слава слав навек тебе близка,
Враги — сраженными, победными — войска!

В ВОСХВАЛЕНИЕ ШАХА МУЗАФФАРАДДИНА КЫЗЫЛ-АРСЛАНА

О нежный ветерок, как утра поцелуи,
Пускай на царский пир твои повеют струи!

Пусть негою они все души упоят
В чертогах, поднятых до блещущих Плеяд!

Он, областям семи являющий примеры
В делах благой судьбы и светоносной веры,

Востока славный шах, он — запада приют,—
Кызыл-Арслан, чей стяг в созвездьях узнают.

Он — будто бы Махди, дремавший на закате,—
Велел к востоку течь ему подвластной рати.

Едва наложит шах на воск печать свою,—
Китай пошлет харадж, а Рум пошлет джизью.

Коль меч поднимет он рукой своей прекрасной,—
Он черный Зенг вспоит рекою русской — красной.

И ливнями побед, весь в молнийном свету,
Он с хиндустанских стран отмоет черноту.

Как солнце трон его — всем ведомо об этом,—
Вознесся он к луне высокой славы светом,

И без него не семь, а семьдесят земель
Исчезли бы, как все рожденное досель.

Не обрати в раба он старого Сатурна,
Тот пал бы с кровли,— с той, которая лазурна.

Аракс бежит, гремит, бурлит страшнее лав,
Но умолкает вмиг, до моря добежав.

Хоть враг достичь бы мог и звездного чертога,
Перед его дворцом он пал бы у порога.

Скроив халат судьбы, в который он одет,
Обрезки отдали на шапки для планет.

Алмаз его кольца блеснет — и вот над бездной
Скользит сожженный враг, чудовищный, железный.

И от железных сил властителя и див
Бежит: они гремят, всех дивов победив.

И жизнь его идет с Мессией стремя в стремя,
До Страшного суда его продлится время.

Его блестящий меч блеск Тигра уронил,
Как лотос, чистотой стыдя блестящий Нил.

Нужде народа вняв, его смиряя горе,
Ворота он раскрыл, широкие, как море.

И к ним дано идти по дням и по ночам
Хазарским дервишам и румским богачам.

И месяц, блещущий в просторах неба темных,
Он сделает кольцом ворот своих огромных.

Ум светлого — вожак, к пределу мудрых стран
Ведет он знания потайный караван.

Беда ль, коль не могло гостям вина остаться,
Когда могла для них сия луна остаться.

Во всех земных делах, что встанут впереди,
Мы будем праведны, коль есть такой Махди.

Дня Судного самум взревет, но оборона —
В нем. В этом царственном вся сила Соломона.

Не убоимся мы затмения светил:
Свой милосердный дух он в мире засветил.

Есть указания на близость бурь, на ветер,
Но все они (ведь шах — сама лазурь)— на ветер.

Поднял его дворец, в себя включивший мир,
Свой запрокинутый лазоревый потир.

Как этой высоты достигнуть бедной пыли?
С усильем облака к таким высотам всплыли.

О ветер, в том дворце, в благой его сени
О сотоварище своем упомяни!

Склоняясь до земли перед владыкой света,
Промолви: «Низами сказал царю вот это:

«Пусть время некое и медлил я, но все же
Трудился для царя,— слова мои не ложь.

Заполнил я листы; им шахской благодатью
Позволили лежать под шахскою печатью.

Мне стало ведомо, что царственный Джемшид —
Пускай его аллах от бедствий отрешит —

Лишь розы лепесток в саду увидит этом,
К нему склоняется, своим овеяв светом.

Я здесь. Восходит свет на своде голубом.
Лишь только б господин доволен был рабом!»

Мне молвил некий друг, в былое взор свой бросив:
«Был пестован юнец, красивый, как Иосиф.

И был наставником сей усладитель чтим.
И мудрый все забыл, плененный только им.

Властителя сердец он в сердце взял с такою
Большою нежностью, что душу сплел с душою.

Дай сто садов ему меж царственных оград,
А не скупую гроздь,— он все ж не будет рад!

А розу поднесут его любимцу, сможем
Сказать: «Наставник стал с весной веселой схожим!»

Он, в дружбе обретя всех дней своих привал,
Лишь общей радостью обрадован бывал»

Скажу я о царе, любовью всех объятом.
Любя наставника, его назвал он братом.

Пусть счастья светлого не изомнется лист,
Пускай напиток сей век остается чист!

Будь шах самой красой, подобной сладким узам,
Мираджем — ночь его, а день его — Новрузом.

И ты, о ветерок, в кудрях его летай,
Взбурли их Индостан, как взвихренный Китай!

О царь! Бровей не хмурь, врагов умчится стая,
Да быть индийцами всем тюркам из Китая!

Пусть обратится враг, что в тяжких узах смолк,
В союзника царя, а эти узы — в шелк!

Пусть чаша полнится у верных и покорных,
На злобных пусть падут удары молний черных!

Пусть будет этот дар, в твои возникший дни,
И юности твоей и дням твоим — сродни!

О ПРОНИКНОВЕНИИ В СУЩНОСТЬ СЕЙ КНИГИ

От снов моей души я ныче недалече.
Под сводом замыслов я словно слышу речи:

«Спеши, о Низами, а то минует срок —
Неверны времена и вероломен рок.

Из животворных вод весну исторгни снова
И облеки весну весенней тканью слова.

Свой звонкий саз возьми,— твой короток привал,
Напев твой по тебе давно затосковал.

В путь опоздаешь,— глядь: ночь сумрак распростерла.
Некстати запоешь — под нож подставишь горло.

Как роза, говори лишь только должный срок,
Болтливой лилии привязан язычок.

Слова — булат. Чекан подобный сыщем где мы?
Чеканом слов своих чекань свои дирхемы.

Хоть выкован клинок, но трудность впереди:
До блеска лезвие ты камнем доведи.

Писать не надо слов, идущих не от мысли,
Их говорить нельзя. Своими их не числи.

Не сложно нанизать слова свои на стих,
Но крепость дай стихам, чтоб устоять на них.

Слов много у тебя,— пусть будет их немного!
Сто вправь в одно,— в одно сто обращая строго!

Коль забурлит река неудержимых стоп,
Не полноводие увидим, а потоп.

Коль крови через край и слишком жадно тело,
Ты накажи его ножом врачебным смело.

Немного говори, дай речи удила.
Знай: изобилье слов есть изобилье зла.

Сдержи потоки слов, им предназначив грани,
Иль скажут: «Помолчи!»— и нет постыдней брани.

В словах — душа. Душа на все возьмет права.
Твоя бесценна жизнь — бесценны и слова.

Ты скудоумных брось, и жадных ты не слушай;
Взгляни: они продать за хлеб готовы душу.

Слова — жемчужины. Поэт — он водолаз.
И труден темный путь к ним устремленных глаз.

Страшатся мастера: им долгий опыт нужен,
Ведь бережно сверлят ядро таких жемчужин.

Строги сверлильщики к своим ученикам,
С опаской жемчуга вручая их рукам.

Ты трезв иль разум твой весь в опьяненье сладком,
Ты пищи не давай бузудержным нападкам.

Ведь соглядатаев до сотни у тебя,
Они снуют вокруг, подол твой теребя.

Будь осмотрителен и не дохни́ беспечно.
Не думай про людей: глядят они беспечно».

И вот, заслышав звук тех потаенных слов,
Ушел я, словно дух, под свой безлюдный кров.

В уединении, в котором сердце — море,
Бьют все источники, с душой твоей не споря.

И сказку начал я с того благого дня,
В сад райский обратил я капище огня.

Но это капище, вновь явленное взорам,
Я лишь разрисовал мной созданным узором.

Хоть все вмещать в слова живущим и дано,
И может в их ключе все быть заключено,—

Но если отражать в них истину мы можем,
То небылицы мы с их помощью не множим.

От неправдивых слов честь мигом утечет,
Предназначается правдивому почет.

Правдивый всем очам с лучами мнится схожим,
Приемля золото, подобен он вельможам.

Зеленый кипарис лишь потому, что прям,
Не предан осенью осенним янтарям.

«Сокровищницу тайн» создать я был во власти,
К чему ж мне вновь страдать, изображая страсти?

Но нет ведь никого из смертных в наших днях,
Кто б страсти не питал к страницам о страстях.

И страсть я замесил со сладостной приправой
Для всех отравленных любовною отравой.

С какою ясностью я всем являю страсть!
К ней пристрастившимся — к моим стихам припасть!

Я взял такой сучок, каких и не бывало.
И фиников на нем нанизано немало.

Известен всем Хосров и знают о Ширин.
Какой рассказ милей и слаще? Ни один.

Но хоть предания отраднее не знали,
Оно, как лик невест, скрывалось в покрывале,

И списки не были известны. И Берда
Таила этот сказ немалые года.

И в книге древних дней, мне некогда врученной
В той местности, сей сказ прочел я, восхищенный.

И старцы, жившие поблизости, меня
Ввели в старинный сказ, исполненный огня.

И книга о Ширин людьми сочтется дивом,
В ней все для мудрого покажется правдивым.

И как же правдою всю правду нам не счесть?
Есть письмена о ней и памятники есть:

И очертания Шебдиза в сердцевине
Скалы, и Бисутун, и замок в Медаине.

Безводное русло, что выдолбил Ферхад,
Скупой приют Ширин меж каменных оград,

И город меж двух рек, и царственные взлеты
Дворцов хосровых, и край его охоты,

Барбеда памятен десятиструнный саз,
И чтут Шахруд, Хосров там отдыхал не раз.

Мудрец сказал о них, но не дал он рассказу
К сказанью о любви приблизиться ни разу.

Тогда достигнул он шестидесяти лет,
И от стрелы любви уже забыл он след.

О том, как сладких стрел неистова отвага,
Повествовать в стихах он счесть не мог за благо.

К рассказу мудреца не тронулся я вспять;
Уже звучавших слов не должно повторять.

Я молвлю о делах, опущенных великим,
Веления любви внимая многоликим.

НЕСКОЛЬКО СЛОВ О ЛЮБВИ

Всех зовов сладостней любви всевластный зов,
И я одной любви покорствовать готов!

Любовь — михраб ветров, к зениту вознесенных,
И смерть иссушит мир без вод страны влюбленных...

Явись рабом любви, заботы нет иной.
Для доблестных блеснет какой же свет иной?

Все ложь, одна любовь — указ беспрекословный,
И в мире все игра, что вне игры любовной.

Когда бы без любви была душа миров,—
Кого бы зрел живым сей круголетный кров?

Кто стынет без любви, да внемлет укоризне:
Он мертв, хотя б сто крат он был исполнен жизни.

Хоть над любовью, знай, не властна ворожба,
Пред ворожбой любви — душа твоя слаба.

У снеди и у сна одни ослы во власти.
Хоть в кошку, да влюбись. Любой отдайся страсти!

Дерись хоть за нее, ну что ж — достойный гнев!
Ты без любви ничто, хоть ты и мощный лев.

Нет, без любви ничьи не прорастают зерна,
Лишь в доме любящих спокойно и просторно.

Без пламени любви, что все живые чтут,
Не плачут облака и розы не цветут.

И гербы чтут огонь, его живую силу,
Лишь только из любви к полдневному светилу.

Ты сердце не считай властителем души:
Душа души — любовь, найти ее спеши!

Любовь поет кыблу, но помнит и о Лате,
К Каабе льнет, горит в языческой палате.

И в камне,— если в нем горит любовный жар,—
Сверкнет в добычу нам бесценный гаухар.

И если бы магнит был не исполнен страсти,
Железо привлекать он не был бы во власти.

И если бы весь мир не охватила ярь,
Не мог бы привлекать соломинку янтарь.

Но сколько есть камней, которые не в силах
Привлечь соломинку,— бездушных и застылых.

И в веществах во всех,— а можно ли их счесть?—
Стремленье страстное к сосредоточью есть.

Огонь вскипит в земле, и вот в минуту ту же
Расколет землю он, чтоб взвихриться снаружи.

И если в воздухе и держится вода,
Все ж пасть в стремлении придет ей череда.

Для тяготения в чем сыщется преграда?
А тяготение назвать любовью надо.

О смертный, разум свой к раздумью призови,
И ты постигнешь: мир воздвигнут на любви.

Когда на небесах любви возникла сила,
Она для бытия нам землю сотворила.

Был в жизни дорог мне любви блаженный пыл,—
И сердце продал я, и душу я купил.

С пожарища любви дым бросил я по странам,
И очи разума задернул я туманом.

Я препоясался, пылая,— и постичь
Любовь сумеет мир, услышавший мой клич.

Не для презренных он! Мой стих о них не тужит.
Сладкочитающим, взыскательным он служит.

Вот сказ, но исказит мои стихи писец.
Страшусь: припишет мне свои грехи писец.

В ОПРАВДАНИЕ СОЧИНЕНИЯ ЭТОЙ КНИГИ

Когда, замкнувши дверь, в беседе с небосводом
Я время проводил, по звездным переходам

В раздумье странствуя, ища свои пути
Меж ангельских завес, чтоб скрытое найти,—

Я друга верного имел, и не случайно
Ему была ясна моих мечтаний тайна.

И в благочестье лев, он был — я знал о том —
Для всех врагов мечом, а для меня — щитом.

Лишь знание он чтил, в котором нет мирского.
Лишь знание он взял из всех сует мирского.

Вся серебрилась ночь под неземным кольцом,
И стал серебрян перст, гремя дверным кольцом.

Но светлый гость вошел не с миром, а для спора,
И речь его была исполнена укора:

«Да славишься вовек, ты, мародержец слов,
Кому счастливый рок способствовать готов!

Тебе ведь сорок лет,— раздел всей жизни ломкой,—
Ты благостный свой лист сей повестью не комкай.

Ты соблюдал посты, ты благочестья свет,
Ты костью падали не разговляйся, нет!

Ведь не влеклось к тебе мирское вожделенье,
И ты к мирским делам не мчал свое стремленье.

Когда твое перо, горящее как луч,
От всех сокровищниц тебе врученный ключ,

Зачем на бронзу ты наводишь позолоту?
Искать лишь золото найди в себе охоту!

Зачем карунов клад скрыл в недрах ты? Зачем
Ты не учитель всех создателей поэм?

В дверь господа стучись, всем ведом ты в отчизне,
Поклонников огня зачем зовешь ты к жизни?

Ты дух свой умертвил, хоть был он огневым,
Лишь Зенд-Авесты чтец найдет его живым!»

И я внимал словам и горестным и ярым.
Но не обижен был я другом этим старым.

И я прочел пред ним, не терпящим грехи,
О сладостной Ширин отменные стихи.

Свой златотканый шелк явил я, над которым
Трудился, лишь начав работу над узором.

Когда увидел друг всю живопись Мани,—
Сей огнедышащий забыл свои огни.

Я молвил: «Почему молчишь ты? Или слово
Для изъявления хвалений не готово?»

И вот воскликнул он: «Язык мой только раб.
Тебе несущий дань. Все выразить он слаб.

Слово о Сладостной услышал я. Молчанье —
Единственный ответ на слов твоих звучанье.

Свои заклятия бессчетно множишь ты!
Каабу идолам воздвигнуть сможешь ты!

Так много сладости рука твоя простерла,
Что сахаром твоим мое застлалось горло.

И коль от сахара язык я прикусил,—
Да льется сахар твой! Да не утратит сил!

Дойди же до конца, коль выступил в дорогу.
Основа есть, весь дом достроишь понемногу.

Пускай же небеса твои труды хранят
И сладость вечную твои плоды хранят!

Что медлишь тут? Зачем ждать зова или знака?
Есть у тебя казна с чеканкою Ирака.

Ты справишься со львом; от этих стен Гянджи
Ты своего коня поспешно отвяжи.

Стреми коня. Ты свеж, а наше сердце нежим
На утренних путях мы ароматом свежим.

В дни наши, Низами, красноречивых нет,
А коль и есть, таких, как ты, счастливых нет.

Тень счастья, как Хума, брось на свои деянья,
На филинов обрушь всю тяжесть воздаянья.

Пусть жалкие певцы и блещут, как свеча,
Лишь крылышки свои сжигают сгоряча.

Их свет — в дому; уйдут лишь на два перехода,
И не видны, но ты — совсем иного рода!

Ты — солнце. Полный день огнистое кольцо
Пылает над землей; всем ведом ты в лицо.

Когда ты выйдешь в путь, твои заслышав речи,
Глупцы в свои углы пугливо спрячут плечи.

Всех дарований грань не станет ли ясна?
И всадника почтит поэзии страна!»

И молвил я ему, взглянув как можно строже:
«Ты с мясником не схож, и я с бараном — тоже.

Светильник мой горит, не дуй на светоч сей.
От веянья Исы не вздрогнет Моисей.

Я — пламень. Пламени воспламенять не надо.
В самосжигании одна моя отрада!

Я хрупкое стекло; кинь камень — и обид
Услышу много я, меня покроет стыд.

Ты бронзой чтишь меня под легкой позолотой,
Ты в розах падалью зовешь меня с охотой.

Ты мнишь, что снедь моя — мне лакомая смесь
Из самомнения, в котором есть и спесь.

Мой знаешь гороскоп? В нем — лев, но я сын персти,
И если я и лев, я только лев из шерсти.

И мне ли на врага, его губя, идти?
Я лев, который смог лишь на себя идти!

Где жизнерадостность? И снов о ней не стало.
И всей кичливости весенних дней не стало.

Слов юных похвальба, самовлюбленный бред —
Лишь опьянение; его потерян след.

Лет тридцать проживешь иль хоть бы только
двадцать,—
С былой беспечностью куда тебе деваться?

Еще под сорок лет нам радости даны,
А после — крыльев нет иль крылья не вольны!

А минет пятьдесят — ушло здоровье; очи
Ослабли. И для ног пути уже короче.

И неподвижны все, когда им шестьдесят,
И тело в семьдесят как бы впитало яд.

А в восемьдесят лет иль больше — в девяносто
Как одолеть нам жизнь и жить нам как непросто!

Коль дальше выйдешь в путь, и ты дойдешь до ста,—
Со смертью схожи дни, и жизнь, как смерть, пуста.

Столетье проживешь иль только день единый,—
Все ж разлучишься ты с пожизненной долиной.

Что ж, радостным пребудь на всем своем пути
И этой радостью создателя почти!

Будь, как свеча: она в своем восторге яра
И тает радостно от радостного жара.

Сверканье радости ты помни, как свеча,—
Та, что погашена и уж негоряча.

И так как радости не сыщень ты без горя,
И так как льется смех, с твоей печалью споря,

Я дам тебе совет — я знаю, ты толков —
Лишь радости знавать. Послушай, он таков:

Коль осчастливлен ты благой судьбой,— умело
Ты бедняка, о друг, счастливым также сделай.

Ведь солнце радостно, а радостно оно
Затем, что радовать весь мир ему дано».

НАЧАЛО РАССКАЗА

Так начал свой рассказ неведомый сказитель —
Повествования о канувшем хранитель:

Когда луна Кесры во мрак укрылась, он
В наследье передал Ормузу царский трон.

Мир озарив, Ормуз державно создал право,
И правом созданным прочна была держава.

Обычаи отца на месте он держал.
И веру с милостями вместе он держал.

И, рода своего желая продолженья,
Он посвящал творцу все жертвоприношенья.

Творец, его мольбы отринуть не хотя,
Дал мальчика ему. О дивное дитя!

Он был жемчужиной из царственного моря.
Как Светоч, он светил, светилам божьим вторя.

Был гороскоп хорош и благостен престол:
Соизволеньем звезд свой трон он приобрел.

Его отец, что знал судьбы предначертанье,
Ему «Хосров Парвиз» дал светлое прозванье.

Парвизом назван был затем царевич мой,
Что для родных он был красивой бахромой.

Его, как мускус, в шелк кормилица укрыла,—
В пушистый хлопок перл бесценный уложила.

И лик его сиял, все горести гоня,
Улыбка сладкая была прекрасней дня.

Уста из сахара так молоко любили!
И сахар с молоком младенцу пищей были.

Как роза, он сиял на пиршествах царя,
В руках пирующих над кубками паря.

Когда же свой покой он люлечный нарушил,
Мир положил его в свою большую душу.

Был в те года храним он сменою удач,
Всему нежданному был ум его — толмач.

Уже в пять лет все то, что дивно в нашем мире,
Он постигал, и мир пред ним раскрылся шире.

Парвизу стройному лет наступило шесть,
И всех шести сторон мог свойства он учесть.

Его, прекрасного, увидевши однажды,
«Юсуф Египетский!» — шептал в восторге каждый.

И к мальчику отец призвал учителей,
Чтоб жизнь его была полезней и светлей.

Когда немного дней чредою миновало,—
Искусства каждого Хосров познал начало.

И речь подросшего всем стала дорога:
Как море, рассыпать умел он жемчуга.

И всякий краснобай, чья речь ручьем бурлила,
Был должен спорить с ним, держа в руках мерило.

Он волос в зоркости пронизывал насквозь,
Ему сплетать слова тончайше довелось.

Девятилетним он покинул школу; змея
Он побеждал, со львом идти на схватку смея.

Когда ж он кирпичи десятилетья стлал,—
Тридцатилетних ум он по ветру пускал.

Была его рука сильнее лапы львиной,
И стол рассечь мечом умел он в миг единый.

Он узел из волос развязывал стрелой.
Копьем кольцо срывал с кольчуги боевой.

Как лучник, превращал, на бранном целясь поле,
Он барабан Зухре в свой барабан соколий.

Тот, кто бы натянул с десяток луков,— лук
Хосровов гнуть не мог всей силой мощных рук.

Заметнув аркан, с толпой он не боялся схваток,
Обхват его стрелы был в девять рукояток.

Он зло пронзал стрелой — будь тут хоть Белый див.
Не диво — див пред ним дрожал, как листья ив.

Коль в скалы он метал копья летучий пламень,—
Мог острие копья он вбить глубоко в камень.

А лет четырнадцать к пределу донеслись —
У птицы знания взметнулись крылья ввысь.

Он все укрытое хотел окинуть взором,
Добро и зло своим отметить приговором.

Один ученый жил: звался Бузург-Умид.
Сам разум — знали все — на мудрого глядит.

Все небо по частям постичь он был во власти,
И вся земля пред ним свои вскрывала части.

И были тайны тайн даны ему в удел.
Сокровищниц небес ключами он владел.

Хосров его призвал. В саду, к чертогам близким,
Тот речью засверкал,— мечом своим индийским.

Он в море знания жемчужины искал,
Руками их ловил, царевичу вручал.

Он озаренный дух овеял светом новым,—
И было многое усвоено Хосровом:

Кольца Кейвана свет и весь хребет земли —
Весь мир именовать слова его могли.

В недолгий срок во власть морские взял он недра,
Все знал он, что открыл ему учитель щедро.

К познанью дух пришел из безраздумных дней.
В своем пути достиг он царских ступеней.

Когда же для него — пределов звездных друга —
Открылись все круги крутящегося круга,—

Он понял: долга нет отраднее, чем долг
Служения отцу, и пред отцом он молк.

Отец его любил сильнее всей вселенной —
Да что вселенная!— сильней души нетленной.

Чтоб длительную жизнь на свете сын узнал,
У длинноруких всех он руки обкарнал.

И, укрощая зло, гласил стране глашатай:
«Беда злокозненным!»— и никнул виноватый.

Гласил: «Пасти коней в чужих полях нельзя,
К плодам чужих садов заказана стезя.

Смотреть на жен чужих — срамнее нету срама.
Не пребывай в дому турецкого гуляма.

Иль кару понесешь достойную». Не раз
Шах в этом поклялся,— да помнят все наказ!

Он к справедливости не погашал стремленья,—
И в эти дни земля достигла исцеленья.

И выпустило мир из рук ослабших Зло.
Не стало злых людей, спасение пришло.

ВЫЕЗД ХОСРОВА НА ОХОТУ

Был весел день. Хосров в час утренней молитвы
Поехал по местам, пригодным для ловитвы.

Всем любовался он, стрелял зверей, и вот
Селенье вдалеке веселое встает.

И тут над росами зеленого покрова
Раскинут был ковер велением Хосрова.

Пил алое вино на травах он, и, глядь,—
Златая роза вдаль уж стала уплывать.

Вот солнце в крепости лазоревой на стены
Взнесло свой желтый стяг. Но быстры перемены:

Оно — бегущий царь — алоэ разожгло,
Раскрыло мрак шатра, а знамя унесло.

И под гору оно коня, пылая, гнало,
Мечами небосвод, ярясь, полосовало.

Но, ослабев, ушло, ушло с земли больной
И свой простерло щит, как лотос, над водой.

В селении Хосров потребовал приюта,
Для пира все собрать пришла теперь минута.

Он тут среди друзей ночную втретил тень.
Пил яркое вино, ночь обращая в день.

Под органона гул — о, звуков преизбыток!—
Пил аргаванный он пурпуровый напиток.

Во фляге булькал смех. Была она хмельна.
И сыну царскому с ней было не до сна.

С зарей Хосровов конь — безудержный по нраву —
Меж чьих-то тучных трав был схвачен за потраву.

А гурский нежный раб, всем услаждавший взгляд,
Через ограду крал незрелый виноград.

И вот лишь солнце вновь над миром засияло
И ночи голову от тела дня отъяло,—

Уж кое-кто из тех, что носят яд в устах,
Умчались во дворец, и там услышал шах,

Что беззаконие свершил Хосров, что, верно,
Ему не страшен шах, что шепот будет скверный.

Промолвил шаханшах: «Не знаю, в чем вина».
Сказали: «Путь его — неправедность одна.

И для его коня не создана ограда,
И раб его желал чужого винограда.

И на ночь бедняка лишил он ложа сна,
И арфа звонкая всю ночь была слышна.

Ведь если бы он был не отпрыск шаханшаха,—
Он потерял бы все, наведался бы страха.

Врач в длань болящего вонзает острие,
А тело острием он тронет ли свое?»

«Меч тотчас принести!»— раздался голос строгий,
И быстрому коню немедля рубят ноги,

А гурского раба владельцу лоз дают,—
Сок розы сладостной в поток соленый льют.

Оставили жилье, где пили в ночь охоты,
Как дар, хосровов трон искуснейшей работы.

Арфисту ногти — прочь, чтоб голос арфы смолк,
А с арфы смолкнувшей сорвать велели шелк.

Вгляни — вот древний суд, для всех неукоснимый,
Суд даже над своей жемчужиной творимый.

Где ж правосудье днесь великое, как рок?
Кто б сыну в наши дни подобный дал урок?

Служил Ормуз огню. Свое забудем чванство!
Ведь нынешних времен постыдно мусульманство.

Да, мусульмане мы, а он язычник был.
Коль то — язычество, в чем мусульманства пыл?

Но слушай, Низами, пусть повесть вновь струится:
Безрадостно поет нравоучений птица.

ХОСРОВ СО СТАРЦАМИ ИДЕТ К СВОЕМУ ОТЦУ

Когда Хосров Парвиз увидел свой позор,—
Он призадумался, его померкнул взор.

Он понял: для себя он в прошлом не был другом.
Он понял: прав отец — воздал он по заслугам.

Все дело рук своих! И вот руками он
Бил голову свою, собою возмущен.

Двум старцам он сказал, не ощущая страха:
«Ведите кипарис к престолу шаханшаха.

Быть может, вашему заступничеству вняв,
Шах снизойдет ко мне, хоть я и был неправ».

И саван он надел и поднял меч,— и в мире,
Как в Судный день, шел плач, звуча все шире, шире.

С мольбою старцы шли. Смотря смиренно вниз,
Подобно пленнику, за ними шел Парвиз.

Лишь к трону подошли,— не умеряя стона,
В прах грешник горестный, царевич пал у трона.

«Так много горести, о шах, мне не снести!
Великим будь — вину ничтожному прости.

Юсуфа не считай ты осквернённым волком.
Он грешен, но он юн, он свет не понял толком.

Ведь рот мой в молоке, и все мне в мире вновь.
Что ж мощный лев испить мою желает кровь?

Пощады! Я — дитя! Сразит меня кручина,
Не в силах вынести я гнева властелина!

Коль провинился я — вот шея, вот мой меч.
Тебе — разить, а мне — сраженным наземь лечь.

Я всякий гнев снесу на перепутьях жизни,—
Лишь только б царственной не внять мне укоризне».

Так молвил чистый перл и начал вновь стенать.
И голову свою склонил к земле опять.

Покорность мудрая толпу людей сразила,
И вновь раздался плач — его взрастила сила,—

И вопли понеслись, как шум листвы в ветрах,
И жало жалости почуял шаханшах.

Он видит: сын его, хоть молод он и нежен,
Уж постигает путь, что в мире неизбежен.

Он, для кого судьба не хочет вовсе зла,
Сам хочет одного — чтоб скорбь отца прошла.

Подумай: как с тобой поступит сын,— он то же
Увидит от того, кто всех ему дороже.

Для сына ты не будь истоком зла и мук,
Преемником ему ведь твой же будет внук.

И на сыновний лик склонился взор Ормуза,
Он понял: сын ему — целенье, не обуза.

Он благороден, мудр, и как не разгадать,
Что божия на нем почила благодать.

Целуя сына в лоб, обвив его руками,
Ормуз повелевать велит ему войсками.

Когда, сойдя с крыльца, на двор ступил Хосров,
Мир засиял опять: с него упал покров.

Гадал хосровов лик — он был для взоров пиром,—
Дано ли в будущем сиять ему над миром?

ХОСРОВ ВИДИТ ВО СНЕ СВОЕГО ДЕДА АНУШИРВАНА

Лишь кудри полночи разлили аромат,
Свет утонул во тьме, и свет был тьмой объят.

И, ткани мглы развив, блеснул в выси кудесник,
Не чародей дневной, а страстных игр предвестник.

Вошел во храм Хосров, и там, склонивши стан,
Он на ступени сел, еще шепча: «Яздан».

Вчера из чаши сна не отпил он нимало,
И дрема сладкая на юношу напала.

И деда своего увидел он во сне.
Дед молвил: «Юный свет! Весь мир в твоем огне!

Ты четырех рабов утратил ненароком.
Четыре радости тебе пошлются роком.

За то, что ты вкусил столь горький виноград,
Но горестным не стал и не померк твой взгляд,—

Красавицу, о внук, обнимешь ты. Едва ли
Такую красоту созвездья создавали.

Затем: за то, что ног лишен твой лучший конь,
Но все ж тебя не жжет неистовый огонь,—

Шебдиза обретешь. Его летучи ноги.
Следы его подков не врежутся в дороги.

А третья: твой отец дал бедному твой трон,
Но от несчастия в том счастью — не урон.

Утешен будешь ты сверкающим престолом.
Он деревом златым возвысится над долом.

Четвертое: за то, что, пылкий, не вспылил,
Хоть шах прогнал певца и струн тебя лишил,—

Барбеда ты найдешь; внимать ему услада,—
Припомнившим о нем сладка и чаша яда.

Утратив камешки — клад золотой найдешь,
Костяшки потеряв — ты перлов рой найдешь».

Стряхнул царевич тьму дремотного тумана
И встал, и вновь хвалой прославил он Яздана.

Он целый день молчал, был думой взор одет,
Он будто все внимал тому, что молвил дед.

И, мудрецов созвав, он рассказал им ночью
О том, что видел он как будто бы воочью.

РАССКАЗ ШАПУРА О ШИРИН

И некий жил Шапур, Хосрова лучший друг,
Лахор он знал, Магриб прошел он весь вокруг.

Знай: от картин его Мани была б обида.
Как рисовальщик он мог победить Эвклида.

Он был калама царь, был в ликописи скор,
Без кисти мысль его могла сплетать узор.

Столь тонко создавал он нежные творенья,
Что мог бы на воде рождать изображенья.

Он перед троном пал,— и услыхал Хосров,
Как зажурчал ручей отрадных сердцу слов:

«Когда бы слух царя хотел ко мне склониться,
Познанья моего явилась бы крупица».

Дал знак ему Парвиз: «О честный человек!
Яви свое тепло, не осуждай наш век!»

Разверз уста Шапур. В струенье слов богатом
Он цветом наделил слова и ароматом.

«Пока живет земля — ей быть твоей рабой!
Да будет месяц, год и век блажен тобой!

Да будет молодость красе твоей сожитель!
Твоим желаньям всем да будет исполнитель!

Да будет грустен тот, кто грусть в тебе родил!
Тебе печалящий — чтоб в горести бродил!

По шестисводному шатру моя дорога.
Во всех краях земли чудес я видел много.

Там, за чредою гор, где весь простор красив,
Где радостный Дербент, и море, и залив,—

Есть женщина. На ней блеск царственного сана,
Кипенье войск ее достигло Исфахана.

Вплоть до Армении Аррана мощный край
Ей повинуется. Мой повелитель, знай:

Немало областей шлют ей покорно дани.
На свете, может быть, счастливей нет созданий.

Без счета крепостей есть у нее в горах,
Как велика казна — то ведает аллах.

Четвероногих там исчислить не могли бы.
Ну, сколько в небе птиц? Ну, сколько в море рыбы?

Нет мужа у нее, но есть почет и власть.
И жить ей весело: ей все на свете всласть.

Она — ей от мужчин в отваге нет отличья —
Великой госпожой зовется за величье.

Шемору видел я, прибывши в ту страну.
«Шемора» — так у них звучит «Михин-Бану».

Для месяцев любых, в земли широтах разных,
Пристанищ у нее не счесть многообразных.

В дни розы Госпожа отправится в Мугань,
Чтоб росы попирать, весны приемля дань.

В горах Армении она блуждает летом
Меж роз и тучных нив, пленясь их ярким цветом.

А осень желтая надвинется — и вот
На дичь в Абхазии вершит она налет.

Зимой она в Барде. Презревши смены года,
Живет она, забыв, что значит непогода.

Там дышит радостней, где легче дышит грудь,
Отрадный обретя в делах житейских путь.

И вот в ее дворце, в плену его красивом,
Живет племянница. Ее ты счел бы дивом.

Она — что гурия! О нет! Она — луна!
Владычица венца укрытая она!

Лик — месяц молодой, и взор прекрасен черный.
Верь: черноокая — источник животворный.

А косы блещущей,— ведь это негры ввысь
Для сбора фиников по пальме поднялись.

Все финики твердят про сладость уст румяных,
И рты их в сахаре от их мечтаний пьяных.

А жемчуга зубов, горящие лучом!
Жемчужины морей им не равны ни в чем.

Два алых сахарца — два в ясной влаге лала.
Арканы кос ее чернеют небывало.

Извивы локонов влекут сердца в силки,
Спустив на розы щек побегов завитки.

Дыханьем мускусным она свой взор согрела,—
И сердцевина глаз агатом заблестела.

Сказала: «Будь, мой взор, что черный чародей.
Шепчи свой заговор всех дурноглазых злей».

Чтоб чарами в сердца бросать огонь далече,
Сто языков — во рту, и каждый — сахар мечет.

Улыбка уст ее всечасно солона.
Хоть сладкой соли нет — соль сладкая она.

А носик! Прямотой с ним равен меч единый,
И яблоко рассек он на две половины.

Сто трещин есть в сердцах от Сладостной луны,
А на самой луне они ведь не видны.

Всех бабочек влекут свечи ее сверканья,
Но в ней не сыщешь к ним лукавого вниманья.

Ей нежит ветерок и лик и мглу кудрей,
То мил ему бобер, то горностай милей.

Приманкою очей разит она украдкой.
А подбородок, ах, как яблочко, он сладкий!

Ее прекрасный лик запутал строй планет.
Луну он победил и победил рассвет.

А груди — серебро, два маленьких граната.
Дирхемами двух роз украшены богато.

Не вскроет поцелуй ее уста — строга:
Рубины разомкнешь — рассыплешь жемчуга.

Пред шеей девушки лань опускает шею,
Сказав: «Лишь слезы лить у этих ног я смею».

Источник сладостный! Очей газельих вид
Тем, кто сильнее льва, сном заячьим грозит.

Она немало рук шипами наполняла:
Кто розу мнил сорвать, не преуспел нимало.

Хоть зрят ее во сне сто сотен человек,—
Им въявь ее не зреть, как солнца в ночь, вовек.

Она, браня свой взор, ища исток дурманов,
В глазах газелевых находит сто изъянов.

Узрев нарциссы глаз, в восторге стал бы нем
Сраженный садовод, хоть знал бы он Ирем.

Как месяц, бровь ее украсит праздник каждый,
Отдаст ей душу тот, с кем встретится однажды.

Меджнуна бы смутить мечты о ней могли,—
Ведь красота ее страшна красе Лейли.

Пятью каламами рука ее владеет
И подписать приказ: «Казнить влюбленных» — смеет.

Луна себя сочтет лишь родинкой пред ней,
По родинкам ее предскажешь путь ночей.

А ушки нежные! Перл прошептал: «Недужен
Мой блеск! Хвала купцу! Каких набрал жемчужин!»

Слова красавицы — поток отрадных смут,
А губы — сотням губ свой нежный сахар шлют.

Игривостью полны кудрей ее побеги.
И лал и жемчуг рта зовут к истомной неге.

И лал и жемчуг тот, смеясь, она взяла
И от различных бед лекарство создала.

Луной ее лица в смятенье ввержен разум.
Кудрями взвихрены душа и сердце разом.

Красой ее души искусство смущено,
А мускус пал к ногам: «Я раб ее давно».

Она прекрасней роз. Ее назвали Сладкой:
Она — Ширин. Взглянув на лик ее украдкой,

Всю сладость я вкусил, вдохнул я всю весну.
Наследницей она слывет Михин-Бану.

Рой знатных девушек, явившихся из рая,
Ей служит, угодить желанием сгорая.

Их ровно семьдесят, прекрасных, как луна,
Ей так покорны все, ей каждая верна.

Покой души найдешь, коль их увидишь лики.
От луноликих мир в восторг пришел великий.

У каждой чаша есть, у каждой арфа есть.
Повсюду свет от них, они — о звездах весть.

Порой на круг луны свисает мускус; вина
Там пьют они порой, где в розах вся долина.

На светлых лицах их нет гнета покрывал.
Над ними глаз дурной в бессилье б изнывал.

На свете их красы хмельнее нету зелья.
Им целый свет — ничто, им дайте лишь веселья.

Но вырвут в должный час — они ведь так ловки,—
И когти все у льва, и у слона — клыки.

Вселенной душу жгут они набегом грозным
И копьями очей грозят мерцаньям звездным.

О гуриях твердят, что ими славен рай.
Нет, не в раю они — сей украшают край.

Но все же Михин-Бану, владея всей страною,
Владеет не одной подобною казною.

Привязан в стойле конь. Дивись его ногам:
Летит — и пыль от ног не ухватить ветрам.

Его стремительность не уловить рассудком.
Он в волны бросится, подобно диким уткам.

Он к солнцу вскинется — так что ему до стен!
Он перепрыгнет вмиг небесных семь арен.

В горах взрыхлят скалу железные копыта,
А в море пена волн с хвостом волнистым слита.

Как мысли — бег его, движенья — бег времен.
Как ночь — всезнающий, как утро — бодрый он.

Зовут его Шебдиз, им целый мир гордится,
О нем грустят, как в ночь грустит ночная птица».

Умолк Шапур, чья речь свершила все сполна:
Покой свалился с ног, а страсть — пробуждена.

«Ширин,— сказали все,— должны почесть мы дивом».
Охотно вторят все устам сладкоречивым:

«Все, что возносит он, возвышенным считай:
Ведь живописью он прельстил бы и Китай».

В мечтах за повестью Хосров несется следом.
Стал сон ему не в сон и отдых стал неведом.

Слов о Ширин он ждет, и в них — она одна,
Уму давали плод лишь эти семена.

Дней несколько о ней он был охвачен думой,
Речами ублажен. Но час настал. Угрюмый,

Он руки заломил. Весь мир пред ним померк,
В тоске он под ноги терпение поверг.

Шапура он зовет, ему внимает снова,
Но после сам к нему он обращает слово:

«Все дело, о Шапур, кипучих полный сил,
Ты прибери к рукам, я — руки опустил.

Ты зданье заложил искусно и красиво.
Все заверши. Всегда твои созданья — диво.

Молчи о сахаре. Твой сказ не зря возник.
Будь там, где насажден сей сахарный тростник.

Иди паломником туда, где этот идол.
Хочу, чтоб хитростью ты идола мне выдал.

Узнай, добра ль, узнай,— мне сердца не томи,—
Общаться может ли со смертными людьми.

И коль она, как воск, приемлет отпечаток,—
Оттисни образ мой. Внимай! Наказ мой краток:

Коль сердце жестко в ней,— лети назад, как шквал,
Чтоб я холодное железо не ковал».

ПОЕЗДКА ШАПУРА В АРМЕНИЮ ЗА ШИРИН

И мастер слов, Шапур, поклон земной отвесил.
«Да будет наш Хосров и радостен и весел!

Чтоб добрый глаз всегда был на его пути,
Чтоб глаз дурной к нему не мог бы подойти!»

Воздал хвалу Шапур — отборных слов хранитель —
И вот дает ответ: «О мира повелитель!

Когда любой узор мой делает калам,
То славою с Мани делюсь я пополам.

Я напишу людей — они задышат. Птица,
Написанная мной, в небесный свод помчится.

Мне с сердца твоего пылинки сдуть позволь,
Когда на сердце — пыль, в глубинах сердца — боль.

Все, что задумал я, всегда я завершаю,
Я все несчастия от власти отрешаю.

Утихни, веселись, не думай ни о чем.
За дело я взялся — забьет оно ключом.

Мой не замедлят путь ни усталь и ни хворость.
У птиц полет возьму, а у онагров — скорость.

Я не усну, пока твой жар не усыплю,
Приду, когда Ширин прийти я умолю.

Пусть, как огонь, она скует чертог железный
Иль будет, как алмаз, скалистой скрыта бездной.

Я силою ее иль хитростью возьму,
Схвачу алмаз, смету железную тюрьму.

Я стану действовать то розами, то терном,
Все огляжу и все свершу ударом верным.

Коль счастье в Сладостной,— найду добычу я.
Тебе должна служить удачливость моя.

А коль увижу я, что не свершу я дела,—
Вернусь к царю царей и в том признаюсь смело».

Едва сказав сие, сказавший быстро встал
И нужное в пути поспешно он собрал.

Пустыню пересек, скакал в другой пустыне,
Спешил к Армении, к возвышенной долине.

Ведь там красавицы, бродившие толпой,
В нагорьях дни вели, покинув тяжкий зной.

Поднялся ввысь Шапур, там были в травах склоны.
Там базиликам путь открыли анемоны.

Там каждый склон горы цветов окраску взял
И в складках красных был иль желтых покрывал.

К вершинам этих гор подъем свершая трудный,
Луга приподняли ковер свой изумрудный.

До пажитей Бугра с большой горы Джирам
Цветы сплетали вязь, подобясь письменам.

В михрабе каменном — а он устой Ирака
И мощный пояс он вершины Алхарака —

Вздымался монастырь, он был — один гранит.
Монахи мудрые устроили в нем скит.

И спешился Шапур у каменного входа:
Знавал обычаи он каждого народа.

О ПРОИСХОЖДЕНИИ ШЕБДИЗА

И вот о чем ему там рассказал монах,
Слов жемчуга сверля в струящихся речах:

«Вблизи монастыря находится пещера.
В ней камень схож с конем; того же он размера.

В дни зрелых фиников спешит из Ремгеле
Сюда кобыла. Ждет — зачнет она во мгле.

Она, свершив свой путь, в полуночную пору
В пещерный лезет вход, как змеи лезут в нору.

И к камню черному в ней страстный жар горит.
Трепещет, бурная, и трется о гранит.

Ей волею творца от камня ждать приплода.
Что дивного? Творцу подчинена природа.

А конь, что здесь зачат,— всего быстрее он,
Свой взмах у ветра взяв, а скорость — у времен».

Так был зачат Шебдиз. Уж камня нету ныне.
Исчез и монастырь, как легкий прах в пустыне.

Вершины Алхарак скатилась голова,
У ног ее легла; тут не видна трава.

В одеждах сумрачных по златоцветным взгорьям
Каменьев черный рой сидит, сраженный горем.

И небо в пьяный жар от стонов их пришло,
Об их кремнистый стан разбив свое стекло.

Был роком черным рой отчаянью завещан.
Не заросли окрест — одни провалы трещин.

У бога множество есть назиданий; тут
Он внятно говорит: «Узрите страшный суд!»

Столетий нескольких, быть может, приговоры
Способны повергать взгордившиеся горы.

Ты ж, глиняный ломоть, замешанный водой,
Все алчешь вечности в кичливости пустой!

О Низами, вернись к забытому рассказу,
Чтоб в будущем о нем не забывать ни разу.

ШАПУР В ПЕРВЫЙ РАЗ ПОКАЗЫВАЕТ ШИРИН ИЗОБРАЖЕНИЕ ХОСРОВА

Когда ночных кудрей раскинулся поток,
А жаркий светоч дня сгорел, как мотылек,

И черною доской, промолвив: «Нарды бросьте!»,
Закрыли желтые сверкающие кости,

Всплыл якрий Муштари, держа в руках указ:
«Шах — выбрался из пут, Шапуру — добрый час».

И вот в монастыре передохнул немного
Шапур прославленный: трудна было дорога.

И старцам, знающим небес круговорот,
Шапур почтительный вопросы задает.

Не скажут ли они, куда пойдет походом
С зарей красавиц рой, к каким лугам и водам?

Велеречивые сказали старики:
«Для неги дивных жен места недалеки.

Под грузною горой, там, на дремучих скатах,
Есть луг, укрывшийся меж зарослей богатых.

И кипарисов рой сберется на лужок,
Лишь их проснувшийся овеет ветерок».

Шапур, опередить стремясь кумиры эти,
Свой пояс затянул, проснувшись на рассвете.

И ринулся он в лес, что вкруг лужайки рос,
Чтоб с россыпью сойтись багряных этих роз.

Взяв листик худжесте, руки движеньем самым
Скупым хосровов лик он набросал каламом.

Рисунок довершил и в сладостную тень
Его он поместил, вложив в щербатый пень.

И будто бы пери, унесся он отсюда.
И вот пери сошлись, они чудесней чуда.

Со смехом на лужке они уселись в круг,
То вязь плетя из роз, то заплетая бук,

То выжимая сок из розы ручкой гибкой,
Сияя сахарной и розовой улыбкой.

И нежит их сердца сок виноградных лоз,
И розы клонятся к охапкам нежных роз.

И зная, что лужок чужим запретен взорам,
В хмельной пустились пляс, живым сплетясь узором.

Меж сладкоустых лиц Ширин прельщала взгляд,
Сияя, как луна меж блещущих Плеяд.

Подруг любимых чтя, Ширин запировала,
Сама пила вино и милым пить давала.

Прекрасная, гордясь, что лик ее — луна,
Глядит,— и худжесте увидела она.

Промолвила Ширин: «Рисунок мне подайте,
Кто начертал его? Скажите, не скрывайте».

Рисунок подали. Красавица над ним
Склонилась; время шло... весь мир ей стал незрим.

Она от милых черт отвлечь свой дух не в силах,
Но и не должно ей тех черт касаться милых.

И каждый взгляд пьянит, он — что глоток вина.
За чашей чашу пьет в беспамятстве она.

Рисунок видела — и сердце в ней слабело,
А прятали его — искала оробело.

И стражи поняли, признав свою вину:
Ширин прекрасная окажется в плену.

И в клочья рвут они утонченный рисунок:
Бледнит китайский он законченный рисунок.

И говорят они, поспешно клочья скрыв:
«Поверь, его унес какой-то здешний див.

Тут властвует пери! С лужайки — быстрым бегом!
Вставайте! Новый луг отыщем нашим негам».

Сия кадильница в них бросила огонь,
И окурились все, как бы от злых погонь,

И, дымом от огня затмив звезду несчастий,
Конец погнали в степь, спасаясь от напастей.

ШАПУР ВО ВТОРОЙ РАЗ ПОКАЗЫВАЕТ ШИРИН ИЗОБРАЖЕНИЕ ХОСРОВА

Лишь только красный конь копытом на горе
Взрыл огненную пыль, пророча о заре,

И в каждой щели он отрыл багрянец клада,
В тот час, когда гора парче пурпурной рада,—

Шапур свой начал день; он снова под горой
Был прежде, чем туда примчался райский рой.

Еще заранее, достав бумагу, снова
Он начертал на ней красивый лик Хосрова.

И, услаждая дух, в тени большой горы
Цепь роз опять сплелась для песен и игры.

Посрамлена луна, лишь спало покрывало —
Египетская ткань, что их полускрывала.

Как будто нехотя вошли в игру. Росло
Веселье медленно,— и в пляске расцвело.

Но только увлеклись они живой игрою,—
Над ними начал рок шутить своей игрою.

Едва Ширин свой взор приподняла опять,—
Дано ей было вновь Хосрова созерцать.

Глядит; ее души затрепетала птица,
Язык утратил речь. Иль этот лик ей снится?

Для опьяненного немного нужно сна.
Дал глине горсть воды — насыщена она.

Зовет она подруг: «Что там? Что значит это?
Игра моей мечты? Игра теней и света?

Картину дайте мне». Рисунок скрыли вмиг.
Но солнца не укрыть! Кто сей забудет лик?

И девы молвили: «Здесь духи смяли травы.
Поверь, им не чужды подобные забавы».

И утварь подняли, стремясь от мнимых гроз,
И луг испуганно очистили от роз.

ШАПУР В ТРЕТИЙ РАЗ ПОКАЗЫВАЕТ ШИРИН ИЗОБРАЖЕНИЕ ХОСРОВА

Вот Анка черная, исполненная гнева,
Зерно лучистое в свое внедрила чрево,

Вот гурии в степи, что Анджарак зовут,
Вновь обретя покой, вино по чашам льют.

В хмелю, меж трав степных, заснули девы наши,
У ножек — базилик, в руках — пустые чаши.

День поднял голову из тканей мглы. Конец
Луне пришел. Весь мир златой надел венец.

И венценосные на троне бирюзовом
Вино преподнесли его испить готовым,

И мчатся в монастырь — он звался Перисуз,—
В день путь свой совершив, ни в чем не зная уз.

И там, где небеса как цвет глазури синий,
Бродили, протянув узор волнистых линий,

Как души мудрецов — зеленые ковры,
А воздух — ласковость младенческой поры.

Прохладный ветерок приятней ветров рая,
Лужайка в лютиках от края и до края.

Каменья словно храм; обвили их вьюнки.
Причесывая луг, струятся ветерки.

И говор горлинок и рокот соловьиный
Меж пламенных цветов сплелись в напев единый.

Пернатых волен лёт, не страшно им людей,
Порхают радостно меж трепетных ветвей.

Две пташки, здесь и там, прижавшись друг ко другу,
Дают пример цветам, дают отраду лугу.

На луг пришел Шапур, и для услады глаз
Хосрова светлый лик он создал в третий раз.

Узрев безбурный луг под куполом лазури,
Здесь гурия вино решила пить меж гурий.

И вновь увидели красавицы глаза
То, чем смирилась бы души ее гроза.

Она поражена подобной ворожбою,
Уж дев играющих не видит пред собою.

Сосредоточен взор, встает она, идет,
Изображение в объятия берет.

Ведь в нем отражено ее души мечтанье,
И вот оно в руках! И счастье и страданье!

Она в беспамятстве, она стоит едва,
Шепча недолжные — забудем их! — слова.

Да! Коль все меры взять и слить все меры эти,
И дивов, как людей, в свои поймаем сети.

Лишь те, чей лик из роз и что подобны дню,
Столепестковую увидели родню,

Как стало ясно им, что облик сей красивый —
Не зло, что не грешны тут сумрачные дивы.

В работу мастера вгляделись,— не скрывать
Хотят ее теперь — смотреть и восхвалять.

Кричат красавицы: «Пусть все придет в движенье,—
Клянемся разузнать, чье здесь изображенье!»

Увидела Ширин, что их правдива речь
И что хотят они печаль ее пресечь.

«Ах, окажите мне,— она взывает,— помощь!»
Ведь от друзей друзьям всегда бывает помощь.

Чтоб дело подогнать, порою нужен друг,
Порою нужен он, чтоб дел сомкнулся круг.

Лишь с другом не темна житейская дорога.
Нет ни подобия, ни друга — лишь у бога.

Промолвила Ширин с великою тоскою:
«Навек утрачены терпенье и покой.

Подруги! Этот лик мы от людей не скроем.
Так выпьем за него! Веселие утроим».

И снова на лугу — веселие одно.
Пир начинается, вино принесено.

И за газелями поются вновь газели,
И голос кравчего приятней пьяных зелий.

Напиток горький пьет сладчайшая Ширин.
О горечь сладкая! Властнее нету вин.

И с каждой чашею в томлении великом
Ширин целует прах, склонясь пред милым ликом.

Когда же страсть и хмель ей крепче сжали грудь,—
Терпенье тронулось нетерпеливо в путь.

Ширин, одну Луну поставя при дороге,—
«Кто ни прошел бы здесь,— приказ дает ей строгий,—

Узнай, что делает он в этой стороне,
Об этом облике что может молвить мне?»

Одних спросили вслух, других спросили тайно.
Что ж? Все таинственно и все необычайно!

И тело Сладостной ослабло в злой тоске,
И все от истины блуждали вдалеке.

И, как змея, Ширин в тоске сгибалась грозной,
Из раковины глаз теряя жемчуг слезный.

ПОЯВЛЕНИЕ ШАПУРА В ОДЕЖДЕ МАГА-ЖРЕЦА

Все души Птица чар измучила вконец.
Но вот является. Ее обличье — жрец.

И лишь прошел Шапур три иль четыре шага,
Почудилось Ширин: встречала где-то мага.

Шапур приятен ей: хоть кисть он позабыл,—
Рисунок черт своих ей в сердце он вложил.

«Позвать его сюда,— слова ее приказа,—
Чтоб здесь он все узнал из нашего рассказа.

Быть может, знает он, кто нарисован тут,
И где его страна, и как его зовут».

И вот прислужницы путь истоптали: слово
Шапуру вымолвят — к Ширин несутся снова.

Шапур, потупя взор, неслышно прошептал:
«Я далеко зашел, но все ж далек привал».

Но уж в своих сетях он видит лапки дичи.
В их беге видит он, что ждать ему добычи.

Он молвил: «Этот перл не надлежит сверлить,
А если и сверлить, то надо спесь забыть».

И вот бегут к Ширин служительницы снова,—
То, что сказал им жрец, сказать ей слово в слово.

Лишь луноликая услышала их — вмиг
В ней закипела кровь: в душе огонь возник.

Сверкая серебром, жреца покорна власти,
До гор вздымая звон ножных своих запястий,

Ширин летит к нему, волнуясь и спеша,
Как тополь, стройная, плавна и хороша.

Хрусталь прекрасных рук опишешь ли каламом!
И схожи локоны с буддийским черным храмом.

А косы, обратя в закрученный аркан,
Как бросила она? Обвила ими стан.

И, видя стан ее, и лик ее, и плечи,—
Художник рук своих лишается и речи.

Она — игрушка, да! Но странно... не понять:
Играет тем она, кто ею мнил играть.

Индус! Ты сердце взял рукою ловкой, дерзкий!
Она, как тюрк, за ним! Не быть с обновкой, дерзкий!

О тюркская напасть! Покорствуя красе,
Индусами пред ней склонились тюрки все.

Откинула покров. Жемчугоносным ухом,
Блестя как ракушкой, премудрость ловит слухом.

В ее речах есть соль, в очах лукавство есть.
Так с магом говорит, как понуждает честь.

«Хоть на кратчайший срок ты будь к моим услугам,
Хоть на мгновение ты стань мне добрым другом».

Сей голос услыхав, как опытный хитрец,
Замедлить свой ответ замыслил мнимый жрец.

Но, ведавший язык нарцисов томных, все же
Свой разум он забыл и речь утратил тоже.

Вознес хвалу он той, что всех пери милей,
И, как велит пери, садится рядом с ней.

«Откуда ты, скажи, и где твоя обитель,—
Она промолвила,— и здешний ли ты житель?»

Тут опытная речь Шапура расцвела:
«Я много знал добра и много ведал зла.

Я — избран; для меня нет тайны ни единой
Ни у подножий гор, ни у одной вершины.

Я запад ведаю и ведаю восток.
Все страны я познал, познать всю землю смог.

Да что земля! О всем, что от Луны до Рыбы,
Мои уста, поверь, тебе сказать могли бы».

Увидела Ширин: самоуверен он,—
И задает вопрос: «Кто здесь изображен?»

И отвечает ей художник тонкий, мудрый:
«Да будет глаз дурной далек от пышнокудрой!

Сказ о начертанном завел бы в долгий лес.
Но тайна образа за тьмой моих завес.

Я все события, что в сердце мной хранимы,
Тебе поведаю, но здесь ведь не одни мы».

И вот велит кумир кумирам быть вдали,
Велит, чтоб звездный круг вдали они плели.

И звезды растеклись. Шапур не медлил боле,—
Пустил словесный мяч он на пустое поле:

Пред этим ликом лик померкнул бы любой.
Здесь областей семи светило пред тобой.

Он мощью — Искендер, своим огнем он — Дарий,
Он — Искендер, и вновь скажу о нем: он — Дарий.

В сознании небес он с блеском солнца слит.
Он — семя, что земле оставил сам Джемшид.

Он — царь царей — Хосров, и вымолвлю я смело:
Того, где он царит, счастливей нет предела».

С душой он говорил, текли его слова,
На душу гурии он простирал права.

Текли его слова. Ширин ему внимала,
И речь отрадная ей сердце обнимала.

В реченье каждое вникала, и опять
Все о Хосрове должен был он повторять.

И слово каждое в душе ее пылало,
Преображенное, как рдяный пламень лала.

Уж тайны не было, с нее совлек покров
Шапур, явя Ширин ручей прозрачных слов:

«Напрасно от меня ты тайну укрывала.
Что держишь речь свою за тенью покрывала?

О роза, распустись, чтоб сделались видны
Все лепестки. Слова открыто течь должны.

Когда ты обрести желаешь исцеленье,
От лекаря скрывать недуг свой — преступленье».

В кудрях чуть видимый, потупился кумир.
Милей смущения еще не видел мир.

То за полу беря, то в грудь вонзая жало,
Любовь ее слова на привязи держала.

Но, на него взглянув, она решила вдруг
С сосуда крышку снять: пред ней надежный друг.

Шапура не страшась, к нему подсела ближе.
Со рта сняла печать и жемчуг речи нижет:

«Чтобы господь всегда доволен был тобой,
Ты сжалься над моей печальною судьбой.

Мою сжигают кровь черты изображенья,
Целую вновь и вновь черты изображенья.

Рок спутал дни мои, спокойствие круша,
Как кудри, скручена, запутана душа.

Мне помоги в любви, о друг мой, хоть немного.
И от меня, дай срок, придет тебе помога.

Все скрытое в душе я в твой вложила слух.
И ты мне все открой, мой дух не будет глух».

И чародей Шапур уж не считает лживость
Оружьем, что верней и лучше, чем правдивость.

И, как запястья, он припал к ее рукам.
И, как запястья, он упал к ее ногам.

И восклицает он: «О светоча сиянье!
О всех увенчанных надежда и мечтанье!

Мрачнее сумрака тебе хотящий зла!
Как месяц молодой, твоя душа светла!

Покорно чту того, кто служит мне защитой,
Тебе открою все, с твоим желаньем слитый.

Рисунок этот мой, и мною создан он.
На нем Хосров Парвиз был мной изображен.

Обличья уловил я каждую примету,
Но лишь рисунок тут, души в нем все же нету.

Я знаю живопись, ей обучился я,
Но душу принести не смог в твои края.

В подобье влюблена! Оно — лишь тень! Взгляни-ка
На прелесть тонкую его живого лика!

Увидишь целый мир, что создан из лучей,
Свет, озаривший мир, но все еще — ничей.

Могуч и ловок он, искусен в каждом деле.
Во гневе — лютый лев, в любви — нежней газели.

Он роза, что зимы не ведала невзгод.
Он юность, в нем весна сияет круглый год.

Вкруг розовых ланит еще не видно тени,
И с лилией он схож, с нежнейшим из растений.

Дохнет — и сто дверей пред ним раскроет рай.
Луну повергнет ниц ланит расцветший май.

Он сядет на коня — и он Рустема краше,
Он Кей-Кобад, когда в его деснице — чаша.

Когда дары сберет для любящих сердец,—
Каруновых богатств разломится венец.

Реченьем извлечет жемчужины из лала,
Его рука сердца из барсов извлекала.

Когда же тронет он в порыве стремена,—
Ему погоня бурь уж будет не страшна.

Спроси — откуда он? Он от Джемшида родом.
Спроси про сан его — он царь земле и водам.

На небе стяг его, нет, не в земной пыли!
И для его коня узки пути земли.

Однажды он во сне твои увидел очи,
И потерял он сон с блаженной этой ночи.

Не поднимает чаш, ни с кем не пьет вина.
Забыл дневной покой, и нет ночного сна.

Друзей покинул он; лишь ты в померкшем взоре,
Пусть никого не жжет такое злое горе!

Я от него пришел, я лишь его гонец.
Я все тебе открыл — моим словам конец».

Так он жемчужину сверлил многообразно.
Немало ловких слов пред ней рассыпал разных.

И, сладкоречием смущенная, Ширин
Вкушала речь его, как сладость лучших вин.

Изнемогла она, сто раз была готова
Упасть,— и превозмочь себя умела снова.

Помедлила, потом промолвила: «Мудрец,
Как нашей горести положишь ты конец?»

«Ты солнца яркого внимаешь укоризне:
Ты ярче,— рек Шапур,— знай только счастье в жизни!

Ты помыслов своих Бану не дай постичь,
А завтра ты скажи: «Стрелять желаю дичь».

Ты на Шебдиза сядь, и, будто без заботы,
Ты на охоту мчись, а там беги с охоты.

Твой не задержат бег ни воины, ни знать:
Их резким скакунам Шебдиза не догнать.

Пространство пролетай, как быстрое светило,
И мчаться за тобой дана мне будет сила».

С Хосрова именем он перстень ей дает:
«Возьми и совершай поспешный свой поход.

Коль юного царя увидишь ты дорогой,
Яви свою луну, не будь напрасно строгой.

Златоподкованный под ним гарцует конь,
В рубинах весь наряд, их радостен огонь.

В рубинах плащ его, в венце его — рубины,
И рот — рубин, и все — рубинный блеск единый.

Не встретишь ты царя,— узнай, где Медаин,
Спроси про верный путь меж взгорий и долин.

Когда отыщешь путь в пределы Медаина.
Увидишь: Медаин — сокровищниц долина.

Там замок у царя — пред ним ничто Фархар,
Рабыни в нем полны необычайных чар.

У входа встанет конь, в прах ноги врыв с размаха,
Привратнику яви горящий перстень шаха.

О кипарис! Тот сад принять тебя готов.
Будь радостной, как ветвь под тяжестью плодов.

К Парвиза красоте простри свободно длани
И подведи итог томлений и желаний.

Но я — лишь только тень, венцу я не под стать.
И как же смею я тебя увещевать!»

БЕГСТВО ШИРИН ОТ МИХИН-БАНУ В МЕДАИН

Умолк Шапур, и вот Луну объяли чары,
А хитрость в гурии раздула пламень ярый.

И он ушел, решив: «Надежда мне дана»,
Луну покинул он; луна была одна.

Бегут прекрасные к своей Ширин и рады
С ней рядом заблистать, как светлые Плеяды.

И месяц приказал блестящим звездам: «Прочь
Отсюда всем бежать, пока не минет ночь,

Подковами коней гороподобных горы
Разрыть, как рудники, побег начавши скорый!»

Целительницы душ, отправив паланкин,
Пустились в путь, блестя над ширями долин.

Беседуя, смеясь, речам не зная края,
Путь провели,— и вот луга родного края.

Всем отдохнуть дает родной приветный кров,
Но сердце Сладостной под тяжестью оков.

Вот полночь. Целый мир наполнен дымом ночи,
И сном наполнены ночного мира очи.

Навесили покров над солнечной главой,
Цветок пылающий укрыли под листвой.

Ширин пришла к Бану: «Я к солнцу, я к величью
Пришла. Позволь с зарей мне выехать за дичью.

Назавтра прикажи — о ты, чье имя чтут! —
Шебдиза бурного освободить от пут.

Помчусь я на коне, стреляя дичь проворно,
А вечером к тебе приду служить покорно».

«О светлая Луна! — в ответ Михин-Бану,—
Что конь! Тебе отдать могла б я всю страну!

Но вороной Шебдиз, запомнить это надо,
Неудержим. Скакать — одна его отрада.

Грохочет скок его, что громыханье бурь,
Он бешеней ветров, всклокочивших лазурь.

Шебдиз! Нет ничего быстрее у природы.
В огонь он обратит своим кипеньем воды.

Ну что ж! Коль на него ты все же хочешь сесть,—
Он — полночь, ты — луна, твоих красот не счесть.

Взнуздай коня уздой в серебряной оправе
И приучи к своей уверенной управе».

Розоволикая, как роза, расцвела,
Склонилась ниц, ушла,— и сладостно спала.

Вот синему ларцу с узором из жемчужин —
Так порешил Китай — замок червонный нужен.

Выходит из ларца мечта китайских нег,
В мечтаньях начертав поспешный свой побег.

Явились ей служить китайские изделья
Иль кипарисов ряд — очей благое зелье.

Увидела Ширин черты любимых лиц
И молвит ласково склоняющимся ниц:

«В степь, ради лучшего, что есть на нашем свете,
Помчимся: сотни птиц хочу поймать я в сети».

Повязки сбросили красавицы с голов,
Чтоб по-мужски внимать звучанью властных слов.

Надев мужской кулах на головы, охотно
Укрыли под плащом тончайшие полотна.

Так должно: девушки, охотясь по степям,
По виду каждая должна быть, как гулям.

И вот пришли к Ширин, одетые пригоже,
Вот на седле Ширин, они на седлах тоже.

Вот выехали в ширь с дворцового двора,
И каждая, как Хызр, нашедший ключ, бодра.

И мчится по степи своей веселой цепью,
В одной степи летят, летят другою степью.

Рой гурий сладостных, быстрее быстрых бурь,
На луг проник, а луг был яркая глазурь —

Земля зеленая! Тут носятся газели,
Порывы ветерков тут просятся в «газели».

И вскачь пустились вновь прибывшие сюда,
Для скачки отпустив свободно повода.

Шебдизом правящий был смелостью богатый
И опытный ездок, а конь под ним — крылатый.

Все горячит коня Ширин моя и вдруг
Свернула — и летит от скачущих подруг.

Подруги говорят: «Шебдиз понес». Не знали,
Что в ней самой желанья бунтовали.

Как тени, спутницы летят за нею вслед,
Хоть тень ее поймать,— но даже тени нет.

Подруги рыскали за ней до самой ночи,
И вот надежды нет, и мчаться нету мочи.

Водительница их во мраке, далеко.
Устали их тела, их душам нелегко.

К дворцу Михин-Бану стеклись порой ночною
Созвездья. Их луна — за черной пеленою.

Они, к престолу путь очами подметя,
Сказали о Ширин, волнуясь и грустя,

Сказали, не щадя ее судьбы каприза:
«Она не в силах, видно, удержать Шебдиза».

Встает Михин-Бану, внимает им, клянет
Несущий бедствия судьбы круговорот.

Сошла со ступеней, полна тоски и страха,—
И в прахе голова, склоненная до праха.

И, руки заломив над горестной главой,
Потоки слез лила, страх не скрывая свой.

Все плачет о Ширин, все поминает брата,—
Отца Ширин. Иль вновь к ней близится утрата?

«Не дурноглазым ли,— в сердцах твердит она,—
Я к одиночеству, к тоске присуждена?

О роза милая, ты сорвана! В какие
Ты брошена шипы и бедствия людские?

Иль более твоей не стою я любви?
За кем ты следуешь? Ты мне их назови!

О лань! Тебе свои наскучили газели?
Иль ты в плену у льва? О милая! Ужели?

Луна, зачем же ты ушла от звезд своих?
Не солнце ты,— луна. Ты быть должна меж них!

Моя душа — твой сад, о кипарис мой! Жаждой
Я по тебе томлюсь, грущу о ветке каждой.

Кому твой светит лик, о милая Луна?
Я горем и бедой рассудка лишена!»

Так до зари она стенала, и взрастали
Ее тоска и боль и возгласы печали.

Когда ж из кладезя, где замкнут был Бижен,
Светило дня взошло, свой расторгая плен,—

Войска к Михин-Бану явились и стояли
И приказания безмолвно ожидали.

Когда бы повелеть решила им Бану —
На молниях-конях обшарили б страну.

Но молвила Бану, что покидать не надо —
Подобно ей самой — оград родного града.

Предвидела она сию беду во сне:
Умчался сокол прочь, блестя в дневном огне.

Но только сожалеть она об этом стала,—
Уселся сокол вновь ей на руку устало.

Бану сказала им: «Хоть птицами нам стать,
Хоть знать все тайное нам было бы под стать,—

Но ведь не отыскать нам даже водопоя,
Где побыл мой Шебдиз, копытом землю роя.

За птицей быстрою не следует лететь.
Поймать не сможем дичь, увидевшую сеть.

Не плачь, что голубь твой твои покинул руки.
Он — твой, он прилетит, не вытерпит разлуки.

Я молнии узрю, терпение храня,
Из-под копыт ее строптивого коня.

Сокровище мое отыщется, и снова
Я буду счастлива. Я к радости готова.

В сокровищницу вновь сокровище верну,
Даров на радости немало разверну».

И вот войска Бану, услышав эти речи,
Ей повинуются. А где Ширин? Далече.

Да, той порой Ширин кипучий нес Шебдиз,
А в мире для Ширин был только лишь Парвиз.

С планетой схожая, неслась она; привала
Не делала нигде, неслась, не уставала.

Как будто бы гулям, свой повязавши плащ,
Селеньями неслась, и ветер был свистящ.

Грозили ей враги, неслась она в тревоге
По взгорьям, по степям, дорогой, без дороги.

Гороподобный конь был, словно ветер, скор.
Был ветер позади, как ряд мелькнувших гор.

Ведь, верно, знаешь ты старинное преданье,
Как встарь ворожея свершала волхвованье.

Не здесь ли зеркало она и гребешок
На землю бросила, и небо долгий срок

Их не могло найти: одно воздвигло горы,
Другой лесами стал, а ведьма, что просторы

Сумела преградить, вошла в стволы дерев
И в камни этих гор,— в свой колдовской посев.

Но путь все ж поддался наездницы усилью,
И взгорий и лесов она покрылась пылью.

Ее усталый лик стал призрачен и бел,
А нежный нрав ее в скитаньях погрубел.

Четырнадцатый день, сияя светлым ликом,
Луна свершала путь в горении великом.

Она спешит вперед — ей остановки нет,—
Расспрашивая всех, сама ища примет.

И побеждал скакун ветров прыгучих племя,
Сказав земле: «Забудь, что есть на свете время».

КУПАНЬЕ ШИРИН В ИСТОЧНИКЕ

Рассвет. Уже вдали мерцает бледный свет,
А изнуренной мгле уже надежды нет.

Нарциссов тысячи с крутящихся просторов
Скатились. Всплыл рубин меж облачных уборов.

Полна и горечи и страстного огня,
Ширин торопит бег прекрасного коня.

И распростерся луг, мерцающий росою,
И чистый ключ сверкнул эдемскою красою.

Стыдясь блестящих вод источника, поник;
Померк живой воды прославленный родник.

Скиталица Ширин! Ее разбито тело.
Пыль с головы до ног прекрасную одела.

Вокруг источника — услады этих мест —
Все кружится она; безлюдие окрест.

И спешилась Ширин, и скакуна — на привязь,
И взор ее блеснул, безлюдьем осчастливясь.

Источник радости к источнику идет,
Блестя; он взор небес своим блистаньем жжет.

Вот сахарный Суйхель освобожден от шерсти,
И вскрикнул Тиштрия, увидев прелесть персти.

Лазурная вилась вкруг чресел ткань. Кумир
Вошел в ручей, и вот — огнем охвачен мир.

Лазурью скрытые, чуть виделись Плеяды.
Шиповник с лотосом сплетаться были рады.

Вот всю ее стеной обводит синева,
Луны над синевой сияет голова.

Сеть, свитую из кос, влачит она в затоне,
Не рыба, а луна попалась ей в ладони.

О мускус черных кос над бледной камфорой!
Мир гаснул пред ее победной камфорой.

Иль час грядущего ее душе был ведом?
Иль знала, кто за ней сюда прибудет следом?

Из вод ключа Ширин, что сладостней всего,
Готовила джуляб для гостя своего.

ХОСРОВ ВИДИТ ШИРИН В ИСТОЧНИКЕ

Рассказчик, на фарси о канувшем читавший,
Рассказывал; узнал рассказчику внимавший:

Когда Хосров послал Шапура в дальний край,
Сказав: «Ты о мечтах Прекрасной разузнай»,—

И день и ночь он был в покорном ожиданье,
Что будет сладкое назначено свиданье.

С зарей и в сумерках — как солнце и луна —
Он службу нес отцу; душа была ясна.

И юный был Хосров, согласно древним сказам,
Отцовского венца излюбленным алмазом.

Но хоть сиял отцу сей сладостный алмаз,
Вмиг изменилось все: дурной вмешался глаз.

Тот враг, что кознями весь край бы заарканил,
Дирхемы с именем Парвиза отчеканил.

Он их пустил гулять во многих областях.
Тревогой был объят персидский старый шах.

Он мыслит: сын игру затеял не без толка.
Захватит юный лев престол седого волка.

И царь задумался: какой же сделать ход?
Вот первый: юношу в ловушку он запрет.

О мерах думал он, он думал неглубоко:
Не ведал он игры играющего рока.

Не ведал, что всегда Хосров отыщет путь,
Что месяц молодой в оковы не замкнуть,

Что каждый, истину избрав своим кумиром,
Мир победит, ни в чем не побежденный миром.

О шахских замыслах узнал Бузург-Умид.
Он юношу сыскал, спасая от обид.

«Взгляни, твоя звезда плывет по небу книзу,
Царь в гневе на тебя,— промолвил он Парвизу.—

Пока не схвачен ты, покинь родимый край,
От кары удались и голову спасай.

Быть может, пламень сей останется без дыма,
Взойдет твоя звезда, вернешься в край родимый».

Хосров глядит: беда, плетя за нитью нить,
Ему готовит сеть, желая полонить.

К мускуснокудрым он, в спокойствии великом,
Пошел. И вымолвил Хосров месяцеликим:

«Из замка скучного я на немного дней
Уеду: пострелять мне хочется зверей.

Желаю, чтобы дни вы весело встречали.
Играйте. Никакой не ведайте печали.

Когда ж прибудет та, чей дивен черный конь,
Осанка — что павлин, улыбка — что огонь,—

О луны! Вы ее приветствуйте, в оконце
Взгляните-ка! Она светлей, чем это солнце.

Ее примите вы и станьте с ней близки,
Чтоб знала радости, не ведала б тоски.

Когда ж взгрустнет она в Дворце моем зеленом,
Прельщенная иным: лугов зеленым лоном,

Вы луг пленительный найдите, и дворец
Постройте на лугу владычице сердец».

Уже душа ему пророчила о многом,
И, говоря, Хосров был вдохновляем богом.

Слова он вымолвил, как ветер, и — смотри!—
Пошел, как Сулейман, со свитою пери.

Он взвил коня, чтоб бил он менее дорогу,
Он покорил себе к Армении дорогу.

Чтоб только не узреть отеческих седин,
Два перехода он, летя сливал в один.

Но обессилели его гулямов кони
Там, где Луна свой лик увидела в затоне.

Гулямам он сказал: «Тут сделаем привал,
Чтоб каждый скакуну тут корма задавал».

Хосров Парвиз один, без этой свиты верной,
Направился к ручью; рысцой он ехал мерной.

И луг он пересек, и вот его глаза
Увидели: блестит затона бирюза.

Орел на привязи — и где восторгу мера? —
Не дивный ли фазан у чистых вод Ковсера?

Конь тихо ел траву у золотых подков,
И тихо, чуть дыша, в тиши сказал Хосров:

«Когда бы сей образ лун был мой,— о, что бы стало!
Когда бы сей скакун был мой,— о, что бы стало!»

Не знал он, что Луну вот этот вороной
Примчит к нему, что с ней он слит судьбой одной.

Влюбленных множество приходит к нашей двери,
Но словно слепы мы: глядим, любви не веря.

И счастье хочет к нам в ворота завернуть,
Но не покличь его — оно забудет путь.

Провел царевич взор небрежно по просторам,
И вот Луна в ручье его предстала взорам.

И он увидел сеть, что рок ему постлал:
Чем дольше он взирал, тем больше он пылал.

Луну прекрасную его узрели взгляды.
И место ей не здесь, а в небе, где Плеяды!

Нет, не луна она, а зеркало и ртуть.
Луны Пехшебской — стан. Взглянуть! Еще взглянуть!

Не роза ль из воды возникла, полукроясь,
Лазурной пеленой окутана по пояс.

И миндаля цветком, отрадное суля,
Была вода. Ширин — орешком миндаля.

В воде сверкающей и роза станет краше.
Еще нежней Ширин в прозрачной водной чаще.

На розу — на себя — она фиалки кос,
Их расплетая мглу, бросала в брызгах рос.

Но кудри вихрились: «Ты тронуть нас посмей-ка!
Ведь в каждом волоске есть мускусная змейка!»

Как будто их слова над ухом слышал шах.
«Ты — раб, мы — господа, пред нами чувствуй страх!»

Она была что клад, а змеи, тайны клада
Храня, шептали всем: «Касаться их не надо».

Нет, в руки их не брал, колдуя, чародей,
Сражали колдунов клубки опасный змей.

Наверно, выпал ключ из пальцев садовода,—
Гранаты двух грудей открыли дверцы входа.

То сердце, что узрит их даже вдалеке,—
Растрескается все — как бы гранит — в тоске.

И Солнце в этот день с дороги повернуло
Затем, что на Луну и на воду взглянуло.

Вот струи на чело льет девушки рука,—
То жемчуг на луну бросают облака.

Как чистый снег вершин, ее сверкает тело.
Страсть шаха снежных вод изведать захотела.

Парвиз, улицезрев сей блещущий хрусталь,
Стал солнцем, стал огнем, пылая несся вдаль.

Из глаз его — из туч — шел дождь. Он плакал, млея:
Ведь поднялась луна из знака Водолея.

Жасминогрудая не видела его
Из змеекудрого покрова своего.

Когда ж прошла луна сквозь мускусные тучи,
Глядит Ширин — пред ней сам царь царей могучий.

Глядит пред ней Хумой оседланный фазан,
И кипарис вознес над тополем свой стан.

Она, стыдясь его — уж тут ли до отваги! —
Дрожит, как лунный луч дрожит в струистой влаге.

Не знала Сладкая, как стыд свой превозмочь,—
И кудри на луну набросила, как ночь;

Скрыв амброю луну — светило синей ночи.
Мглой солнце спрятала, дня затемнила очи.

Свой обнаженный стан покрыла черным вмиг,
Рисунок чернью вмиг на серебре возник.

И сердце юноши, кипением объято,
Бурлило; так бурлит расплавленное злато.

Но, видя, что от льва взалкавшего олень
Пришел в смятение, глазами ищет сень,—

Не пожелал Хосров приманчивой добычи:
Не поражает лев уже сраженной дичи.

В пристойности своей найдя источник сил,
Он пламень пламенных желаний погасил.

Скрыть терпеливо страсть ему хватает мочи,
И от стыдливой честь его отводит очи.

Но бросил сердце он у берега ручья.
Чья ж новая краса взор утолит? Ничья.

Взгляни: две розы тут у двух истоков страсти.
Здесь двое жаждущих у двух глубин во власти.

Хосрову в первый день путь преградил поток,
Луну во глубь любви ручей любви повлек.

Скитальцы у ручьев свои снимают клади,
Размочат жесткий хлеб и нежатся в прохладе.

Они же у ключей большую взяли кладь,
И ключ все мягкое стал в жесткость обращать.

Но есть ли ключ, скажи, где путник хоть однажды
Не увязал в песке, горя от страстной жажды?

О солнце бытия! Ключ животворных вод!
И ты, рождая страсть, обходишь небосвод.

Когда он от пери отвел глаза, взирая,
Где паланкин для той, что прибыла из рая,—

Пери, схвативши плащ, из синих водных риз
Вспорхнув, бежит к коню,— и мчит ее Шебдиз.

Себе твердит она: «Коль юноша, который
Кружился вкруг меня, в меня вперяя взоры,

Не должен вовсе стать возлюбленным моим,—
Как сердце взял, как завладел он им?

Сказали мне: Хосров весь облечен в рубины,
На всаднике ж рубин не виден ни единый».

Не знала, что порой одет не пышно шах:
Ему грабители в пути внушают страх.

Но сердце молвило, путь преградив с угрозой:
«Стой! Этот сахар ты смешай с душистой розой.

Рисунок зрела ты, а здесь — его душа.
Здесь — явь, там — весть была. Вернись к нему, спеша».

Вновь шепчет ум: «Бежать! Мой дух не будет слабым.
Не должно смертному молиться двум михрабам.

Вино в единый круг нельзя нам дважды пить.
Служа двум господам, нельзя достойным быть.

А если самого я встретила Хосрова,—
Здесь быть мне с ним нельзя. С ним встретимся мы снова.

Пусть под покровами меня увидит шах:
Кто тканью не покрыт, того покроет прах.

Ведь все еще пока укрыто за завесой,
И мне одна пока защита — за завесой».

И взвихрила орла, и вот уж — далека,
И гром копыт смутил и Рыбу и Быка.

И ветр, гонясь за ней, узнал бы пораженье.
Она была быстрей, чем времени движенье.

Победа в быстроте. Прекрасная пери
От дива унеслась. Смотри! Скорей смотри!

Мгновенье,— и Хосров взглянул назад,— и что же!
Не встретил никого. Нет, мой рассказ не ложен!

И начал он, дивясь, коня гонять окрест,
Но сердце взявшая ушла из этих мест.

Вот у источника он спешился; пытливый,
Склонясь икал следов жемчужины красивой.

Дивился дух его: как быстрая стрела,
Куда направиться красавица могла?

То зорко он взирал на древние деревья...
Хосров! Иль птицами взята она в кочевья?

То очи омывал он водами ручья,—
В ручье ль его Луна? О, где она, о чья?

Он пальцев мостики обвил своей слезою,
Он мост двух рук своих ломал над головою.

Поток прелестного! Ширин! Ее одну
Он видел. Он упал, как рыба, в глубину.

Он горестно стенал. Поняв его стенанье,
Заплакал небосвод, пославший испытанье.

Шебдиза он искал и светлую Луну.
«Где ворон с соколом?» — будил он тишину.

Носился он кругом, как на охоте сокол.
Где ворон? Вместе с ним ушел в полете сокол.

Злой ворон быстротой какое создал зло!
Весь мир так черен стал, как ворона крыло.

День — ворон сумрачный, не сокол он красивый.
Он что колючий лес,— не мускусные ивы.

Царевич ивой стал. Душа его мрачна.
И слезы падают, как ивы семена.

Где Солнце? Скорбен вид согнувшегося стана.
Стан — ива. Вот и стал он клюшкой для човгана.

Из сердца пылкого пошел палящий стон:
«Да, буду, как щепа, я пламенем спален!

Лишь миг я зрел весну! Горька моя утрата!
Не освежил я уст прохладою Евфрата!

Жемчужину найдя, не смог ее схватить!
Что ж! Камень я схвачу, чтоб камнем сердце бить!

Я розу повстречал, да не сорвал с зарею,—
И ветер взял ее, и мгла сказала: «Скрою».

Я снежный зрел нарцисс над гладью синих вод,—
И воды замерли, и стали словно лед.

Бывает золото в воде под льдистой мутью.
Что ж сделалась она вмиг ускользнувшей ртутью!

Хума счастливую мне даровала тень,
И трон мой вознесла в заоблачную сень.

Но, как луна, я тень покрыл своей полою,
И света я лишен, и стал я только мглою.

Мой нат уже в крови. Уж близок я к беде!
Меч палача, он где еще свирепей? Где?

Возникла из ключа сверкающая роза.
Все видел я во сне. Мне этот сон угроза.

Теперь, когда в ключе уж этой розы нет,
Не броситься ль в огонь? К чему мне божий свет!

Кто мне велел, красу и взором ты не трогай,
Блаженство повстречав, ступай другой дорогой?

Какой злокозненный меня попутал див?
Я сам покинул рай, разлуку породив.

Терпеньем обладать — полезен сей обычай.
Лишь мне он вреден стал: расстался я с добычей.

Я молнией души зажечь костер смогу.
На нем напрасное терпенье я сожгу.

Когда б вкусил я вод источника, такое
Из сердца своего не делал бы жаркое.

Из моря скорбных глаз я слезный жемчуг лью.
Готов наполнить им я всю полу свою.

Излечится ли тот, кто болен злым недугом,
Пока не пустит кровь? О рок, ты стань мне другом!»

Рыдал он у ручья меж зарослями роз,
Ладонями со щек стирая капли слез.

И падал наземь он, рассудку не внимая,
Как розы цепкие, источник обнимая.

Где стройный кипарис? Исчез! Его уж нет!
Стан юноши поник, и роз не розов цвет.

О стройный кипарис! Вот он лежит во прахе.
Трепещет, как от бурь трава трепещет в страхе.

Он шепчет: «Коль она — лишь смертный человек,
То бродит по земле, меж пажитей и рек.

Когда ж она — пери, то к ней трудна дорога,—
Ведь у ключей лесных видений бродит много.

Остерегись, Хосров, уста свои запри.
Не разглашай, что ты влюбляешься в пери.

Что обрету я здесь? Мечтать ли мне о чуде?
Пери бегут людей, всегда им чужды люди.

Ведь сокол с уткою — не пара, и вовек
С пери свою судьбу не свяжет человек.

Да! Сделаться сперва я должен Сулейманом,—
Потом смирять пери, за их гоняться станом!»

Он горестно роптал: «Забудь ее, забудь!»
Он жалобы вздымал, терзающие грудь.

Он сердце бедное от девы светлолицей
Отвел. К армянской он отправился столице.

ПРИЕЗД ШИРИН В ЗАМОК ХОСРОВА В МЕДАИНЕ

Судьба, нам каждый шаг назначивши, порой
Намерена своей потешиться игрой.

Пускай для бедняка придет достатка время,—
Обязан он сперва труда изведать бремя.

«Когда им на пути от терний нет угроз,
Они,— решает рок,— не ценят нежность роз».

Верь: за чредою дней, что шли с клеймом разлуки,
Отрадней взор любви и дружеские руки.

Ширин от ручейка была уж далека,—
Но за царевичем неслась ее тоска.

И вот она, узнав, где пышный сад Парвиза,
Пылая, в Медаин направила Шебдиза.

За суженым спеша, обычай дев презрев,
Уж не была Ширин в кругу обычных дев.

И спешиться Ширин с кольцом Хосрова рада
У медаинского отысканного сада.

Прислужницы, смотря на дивные черты,
От зависти свои перекусали рты.

Но знали чин двора — и под царевым кровом
Различья не было меж гостьей и Хосровом.

Ей молвили они: «Знать, севши на коня,
Для поклонения Хосров искал огня.

И вот достал огонь, блистающий, как зори,
И зависти огонь зажег он в нашем взоре».

И хочет знать рабынь шумливая гурьба,
Как привела сюда красавицу судьба.

«Как имя? Где взросла? Что в думах на примете?
Откуда, пташка, ты? Из чьей вспорхнула сети?»

Ширин уклончива. Не опустив ресниц,
Она им бросила крупицы небылиц.

«Она, мол, о себе сказать могла бы много,
Да скоро и Хосров уж будет у порога.

Пред сном он вас в кружок сберет, и при огне
Он сам потешит вас рассказом обо мне.

А этого коня беречь и холить надо:
Ведь ценный этот конь, ценней любого клада».

Так молвила Ширин веселая,— и вот
Окружена она уж тысячью забот.

Сосуд с водой из роз ей дан для омовенья.
В конюшнях царских конь привязан во мгновенье.

Ей принесли наряд. Он был ей по плечу.
Узором жемчуга украсили парчу.

В саду ее надежд раскрылась роза встречи.
Отрадно спит Ширин, тяжелый путь — далече.

Сахароустую хранившие чертог
Рабынею сочли,— кто б вразумить их мог?

Сахароустая не чванилась. Отныне,
Играя с ними в нард, была она — рабыней.

ПОСТРОЙКА ЗАМКА ДЛЯ ШИРИН

И сада нежного хранила колыбель
Ширин, чьих сладких уст касался нежный хмель.

И месяц миновал в спокойствии, и снова
Покой пропал: твердят, что нет вблизи Хосрова.

Что он охотился, а будто бы потом
В Армению бежал, отцовский бросив дом.

Чем горе исцелить? Упало сердце, плача.
Воистину бежит за нею неудача?

Не долго охранял красавицу дворец,—
Уж сердце страстное измучилось вконец.

Все стало ясно ей: тот юноша, который,
Попридержав коня, во взор ей бросил взоры,

Был сам Хосров; свой путь забыв, ее одну
Он видел, он взирал как солнце на луну.

Она бранит себя, хоть мало в этом проку,
Но вот — отвергла скорбь, но вот — покорна року.

Но вот — терпением как будто бы полна,
Но вот — воскликнула: «Я тягостно больна!

Мне замок надлежит на высоте просторной
Построить, чтоб синел мне кругозор нагорный!

Горянка я. Меж роз я рождена. Тут зной.
Их всех желтит. На мне — нет алой ни одной!»

Подруге молвила подруг лукавых стая:
«Напрасно, как свеча, ты изнываешь, тая.

Велел властитель наш создать тебе приют
В горах, где ветерки прохладу подают.

Когда прикажешь ты — приказом исполнитель
Построит на горе отрадную обитель».

Ширин сказала: «Да! Постройте мне скорей
Дворец, как приказал вам это царь царей».

Рабыни — ревности их всех пронзало жало —
Там, где ничья душа словам их не мешала,

Строителю жужжат: «Из Вавилонских гор
Колдунья прибыла, ее всесилен взор.

Велит она земле: «Взлетай, земля!» — поспешно
Поднимутся пески, день станет мглой кромешной.

Прикажет небесам застыть — и вмиг тогда
Застынут небеса до Страшного суда.

Она велела там построить ей жилище,
Где обращает зной и камни в пепелище,

Чтоб не было окрест из смертных никого:
В безлюдии творит колдунья колдовство.

Для вещей ты сверши свой путь необычайный.
Найди тлетворный лог и огненный и тайный.

Там замок сотвори не покладая рук,
А плату с нас бери, какую знаешь, друг».

Потом несут шелка, парчу несут и злато:
Ослиный полный груз — строителя оплата.

Строитель принял клад. Обрадованный, в путь
Он тронулся, в пути не смея отдохнуть.

Ища безлюдных мест, он в горы шел, и горы
На горы вставшие, его встречали взоры.

Есть раскаленный край, на мир глядит он зло.
Дитя в неделю б там состариться могло.

В фарсангах десяти он от Кирманшахана.
Да что Кирманшахан! Он марево тумана.

Строитель приступил к работе: «Не найду
Я края пламенней,— сказал он,— и в аду.

И тот, кого б сюда загнать сумели бури,
Поймет: чертог в аду построен не для гурий».

На вечер мускусом ночная пала мгла.
Не жарко,— и Ширин свой путь начать смогла.

Отроковицы с ней. Но было их немного —
Не знавших, что любви злокозненна дорога.

И в замкнутой тюрьме, в которой жар пылал,
Ширин жила в плену, как сжатый камнем лал.

И, позабыв миры, полна своим недугом,
Своих томлений жар она считала другом.

ПРИЕЗД ХОСРОВА В АРМЕНИЮ К МИХИН-БАНУ

Покинувши ручей, Хосров печален. Он
Струит из глаз ручьи: его покинул сон.

Пленительный ручей! Виденьем стал он дальним.
И делался Парвиз все более печальным.

Но все ж превозмогал себя он до поры:
«Ведь не всплыла еще заря из-за горы.

Ведь если поспешу я в сторону востока,—
Мне солнца встретится сверкающее око».

И роза — наш Хосров — достиг нагорных мест,—
И к стражам аромат разносится окрест.

Вельможи у границ спешат к нему с дарами:
С парчой и золотом. Он тешится пирами.

И не один глядит в глаза ему кумир,—
Из тех, что сердце жгут и услаждают пир.

Ему с кумирами понравилось общенье.
Тут на немного дней возникло промедленье.

Затем — в Мугани он; затем, свой стройный стан
Являя путникам, он прибыл в Бахарзан.

Гласят Михин-Бану: «Царевич недалече!»
И вот уж к царственной она готова встрече.

Навстречу путнику в тугом строю войска,
Блестя доспехами, спешат издалека.

В казну царевичу, по чину древних правил,
Подарки казначей от госпожи направил.

Жемчужин и рабов и шелка — без конца!
Изнемогла рука у каждого писца.

К великой госпоже вошел Парвиз в чертоги.
Обласкан ею был пришедший к ней с дороги.

Вот кресла для него, а рядом — царский трон.
Вокруг стоит народ. Садится только он.

Спросил он: «Как живешь в своем краю цветущем?
Пусть радости твои умножатся в грядущем!

Немало мой приезд принес тебе хлопот.
Пускай нежданный гость беды не принесет».

Михин-Бану, познав, что речь его — услада,
Решила: услужать ему достойно надо.

Ее румяных уст душистый ветерок
Хвалу тому вознес, пред кем упал у ног.

Кто озарил звездой весь мир ее удела,
Любой чертог дворца своим чертогом сделал.

Неделю целую под свой шатровый кров
Подарки приносил все новые Хосров.

Через неделю, в день, что жаркое светило
Считало лучшим днем из всех, что засветило,

Шах восседал, горя в одежде дорогой.
Он был властителем, счастливый рок — слугой.

Вокруг него цветов сплетаются побеги,
С кудрями схожие, зовя к блаженной неге.

На царственном ковре стоят рабы; ковер,
Как стройноствольный сад, Хосрову нежит взор.

Застольного в речах не забывают чина,—
И все вознесены до званья господина.

Веселье возросло,— и в чем тут был отказ?
Налить себе вина проси хоть сотню раз.

Михин-Бану встает. Поцеловавши землю,
Она сказала: «Шах!» Он отвечает: «Внемлю».

«Мою столицу, гость, собой укрась; Берда
Так весела зимой! Ты соберись туда.

Теплей, чем там зимой, не встретишь ты погоды.
Там травы сочные, там изобильны воды».

Согласье дал Хосров. Сказал он: «Поезжай.
Я следом за тобой направлюсь в дивный край».

Привал свой бросил он, слова запомнив эти,—
И, званный, в «Белый сад» помчался на рассвете.

Прекрасная страна! Сюда был привезен
Венец сверкающий и государев трон.

Зеленые холмы украсились шатрами,
И все нашли приют меж синими горами.

В палате царственной Хосрова ни одну
Услугу не забыть велит Михин-Бану.

У шаха день и ночь веселый блеск во взоре:
Пьет горькое вино он — Сладостной на горе.

ПИРШЕСТВО ХОСРОВА

Хоть есть Новруза ночь, есть ночь еще милей:
Она,сражая грусть, всех праздников светлей.

В шатре Хосрова шум. Под сводом величавым
Здесь собрались друзья с веселым, легким нравом.

И мудрецов они припоминают речь,
И от шутливых слов их также не отвлечь.

Вкруг шахского шатра, что в средоточье стана,
Разостланы кошмы из дальнего Алана.

Для вражеских голов угрозу затая,
Ко входу два меча простерли лезвия.

В шатре курения, все разгоняя злое,
Вздымают балдахин из амбры и алоэ.

Напитки зыблются, пленительно пьяня,
Жаровня царская полным-полна огня.

Армянский уголь здесь, он поднимает пламя,
Подобен негру он, вздымающему знамя.

Чтоб черный цвет затмить — где созданы цвета?
Лишь только от огня зардеет чернота.

Иль выучен огонь чредой времен упорных,
Что похищают цвет волос, как уголь, черных.

Сад пламени, а в нем садовник — уголь; он
В саду фиалки жнет, тюльпанами стеснен.

Так люб зиме огонь, как лету вздох рейхана.
Рейханом зимним став, огонь взрастает рьяно.

Так кубки пышные подобны петухам,
Что вовремя зарю провозглашают нам.

Их огненным нутрам завидуя и сладким,
То утки на огне, то следом — куропатки.

Вот снеди жареной воздвигнута гряда.
Вот перепелками наполнены блюда.

Вот к яблокам уста прижали апельсины,
А к чашам золотым — рубиновые вина.

Нарциссы ясных глаз! Фиалки! Словно сад,
Всю эту ширь шатра воспринимает взгляд.

К гранатам нежно льнут те ветерки, в которых
Есть изворотливость, как в пляшущих танцорах.

Все пьют и полнят мир душой своей живой,
Все утро проведя за чашей круговой.

Звук чангов, проносясь во вздохах легкозвонных,
Завесы все сорвал: всех выдал он влюбленных.

О пехлевейский лад! О чанга грустный звон!
И в камне бы огонь зажег столь нежный стон.

Вздохнула кеманча, подобно Моисею,
И вымолвил певец: «Я с ней поспорить смею».

И песню он запел и струнам дал ответ:
Веселью мой привет и радости привет!

О, как бы сладкий сад, сад жизни, был прекрасен,
Когда б осенний хлад был саду не опасен!

О, как бы весел был чертог, чертог времен,
Когда б на все века он мог быть сохранен!

Но ты не доверяй холодному чертогу:
Чуть место обогрел — тебя зовут в дорогу.

О праха монастырь! О мир — непрочный храм!
Так выпей же вина — предай его ветрам!

Прошедший смутен день, грядущий день — неведом.
За днем умчавшимся другой умчится следом.

Хоть день сегодняшний как будто бы нам дан,—
Но вечер близится, и этот день — обман.

Так смейтесь же, уста! Так отлетай, кручина!
Пусть в мир и нам в сердца вливают радость вина!

На эту ночь одну промолви сну: «Долой!»
Ведь бесконечно спать придется под землей».

ВОЗВРАЩЕНИЕ ШАПУРА

Хосров уже хмелен. Не медлит кравчий. Звуки
Порхают: чанг поет о встречах, о разлуке.

Рабыня нежная вошла, потупя взгляд,
И вот услышал он (пропавший найден клад!):

«Шапур приема ждет. Впустить его иль надо
Сказать, что поздний час для встречи с ним — преграда?»

Хосров обрадован. Вскочил, затем на трон
Себя принудил сесть, к рассудку возвращен.

Он входа распахнуть велит сейчас же полог.
Дух закипел: ведь был срок ожиданья долог.

И жил с душою он, раздвоенной мечом,
И скорбной тьмой одет и радостным лучом.

Мы ждем — и сердце в нас разбито на две части.
Взор не сводить с дорог — великое несчастье.

Невзгода каждая терзает нашу грудь,
Невзгоды худшей нет — безлюдным видеть путь.

Коль в горести, о друг, ты смотришь на дорогу,—
Со счастьем дни твои идти не могут в ногу.

И вот Шапур вошел — Правиз его позвал —
И поцелуями он прах разрисовал.

И, стан расправивши, стоял он недвижимо
С покорностью, что нам в рабах вседневно зрима.

И, на художника склонив приветный взор,
Хосров сказал: «Друзья покиньте мой шатер».

Шапура он спросил про горы и про реки,
Про все, на что Шапур в скитаньях поднял веки.

С молитвы начал речь разумный человек:
«Пусть шаха без конца счастливый длится век!

Войскам его всегда лететь победной тучей.
С его чела не пасть венцу благополучий.

Его желаниям — удаче быть вождем,
Пусть дни его твердят: «Мы лишь удачи ждем».

Все бывшее с рабом в пути его упорном
Является ковром — большим, хитроузорным.

Но если говорить получен мной приказ,—
Приказ я выполнил; послушай мой рассказ».

С начала до конца рассказывал он мерно
О непомерном всем, о всем, что беспримерно,

О том, что скрылся он, как птица, от очей,
Что появился он, как между скал ручей,

Что он у всех ручьев был в предрассветной рани,
Что смастерил луну, уподобясь Муканне,

Что к лику одному — другой припал с алчбой,
Что бурю поднял он умелой ворожбой,

Что сердцу Сладостной, как враг, нанес он рану
И к шахскому ее направил Туркестану.

Когда его рассказ цветка весны достиг,
Невольный вырвался у властелина крик.

«Мне повтори, Шапур,— вскричал он в ярой страсти,—
Как сделалась Луна твоей покорна власти?»

И геометр сказал: «Я был хитер, и рок
Счастливый твой пошел моим умолвкам впрок.

Был в лавке лучника твой мастер стрел умелый,
И выбрал нужный лук, давно имея стрелы.

Едва сыскав Ширин, не напрягая сил,
Серебряный кумир уже я уносил.

Уста Ширин ни к чьим устам не приникали.
Лишь в зеркале — в хмелю — свои уста ласкали.

И рук не обвила вкруг человека. Ночь
Своих кудрей не вить лишь было ей невмочь.

Так тонок стан ее, как самый тонкий волос,
Как имя Сладостной, сладки уста и голос.

Хоть весь смутила мир прекрасная Луна,
Пред образом твоим смутилась и она.

Ей сердце нежное направивши в дорогу,
Я на Шебдиза речь направил понемногу.

Летящую Луну конь поднял вороной.
Так все исполнено задуманное мною.

Здесь, утомившийся, остался я на время,
Хоть должен был держать я путницу за стремя.

Теперь, все трудности пути преодолев,
Она в твоем саду, серди приветных дев».

Художника обняв, подарками осыпал
Его Хосров,— и день Шапуру светлый выпал.

На рукаве своем «Сих не забыть заслуг» —
Парвизом вышито. Был им возвышен друг.

Луна в источнике, миг их нежданной встречи,
Поток ее кудрей — все подтверждало речи.

Смог также государь немало слов найти,
Чтоб рассказать о том, что видел он в пути.

Да, пташка милая — им вся ясна картина —
Перепорхнула вмиг в пределы Медаина.

Решили все. «Я вновь,— сказал Шапур,— лечу,
Подобно бабочке, к прекрасному лучу.

Вновь изумруд верну я руднику. Дурмана
Жди сладкого опять от нежного рейхана».

ШАПУР ВТОРОЙ РАЗ ЕДЕТ ЗА ШИРИН

Прекрасен край, где смех свою находит сень,
Прекрасен день, когда он молодости день.

На свете ничего нет благодатней жизни.
Что юности милей? Вино веселья, брызни!

Вселенной властелин, венец державных прав,
Был юн и радостен, имел веселый нрав.

Глотка вина испить не мог бы он без песни,
За песней чаша дней казалась полновесней.

Не плату он давал своим певцам за труд —
То жемчуг им дарил, то лал, то изумруд.

И вот он пировал, вино его кипело,
Вошла Михин-Бану, с Хосровом рядом села.

Ей оказал Хосров особенный почет.
Приятно речь его любезная течет.

Снедь подана; Хосров — им прервана беседа —
«Барсема вача» ждет он чинного мобеда.

За каждой трапезой, что совершал Хосров,
Обычай сей блюсти он с радостью готов.

«Барсема вача» в том обычное значенье,
Что приступить к еде дается разрешенье.

Мобед решает все. Он молвит; снедь одна
Годна к приятию, другая не годна.

Вот госпоже Хосров сказал: «Вина отведай»,—
И потчевал ее за тихою беседой.

И с той, которой все для радости дано,
Из чаши царственной царевич пил вино.

Когда ж он захмелел, испив из горькой чаши,
Он речь повел о той, что всех на свете краше.

И, молвя о Ширин, он слов не оборвал,
Ликующий в душе, он — соболезновал.

«Твоя племянница взросла такой пригожей,
Такою стройною и с дивной розой схожей,

Но необузданный ее похитил конь!
И скрыт ее очей пленительный огонь!

Сегодня был гонец: с ним все решая вместе,
Мы поняли, что к нам о ней доходят вести.

Коль я останусь тут недели две,— Луна
Отыщется. Поверь,— узнаем, где она.

За розою гонца отправлю я, продлится
Недолгий срок, сюда влетит она, как птица».

Услышала Бану, что молвил ей Хосров,
И от волнения найти не может слов.

Как прах, на землю пав, склоняется в поклоне,
И вся ее душа в ее протяжном стоне.

«О, где жемчужина? Коль зрю ее во сне,
То не в объятьях зрю, а в моря глубине.

Тем, кто добыв ее, в мою укроет душу,
Всю душу я отдам. Я клятвы не нарушу».

Перед престолом вновь она подъемлет стон:
«О месяц и Зухре! Сей лобызайте трон!

От Рыбы до Луны, везде сбирая дани,
Ты на обширный мир свои протянешь длани!

Ведь говорила я, она придет. Не слаб
Мой дух пророческий, а светлый рок — твой раб.

Он помощь нам подаст,— и мы найдем дорогу,
Добычу приведем к дворцовому порогу.

Но если хочет шах послать за ней гонца,
То надо привести сюда скорей гонца.

Ему Гульгуна дам, Гульгун мой быстроногий
Родной Шебдиза брат; с ним все легки дороги.

Шебдиза бурный бег и яростен и прям.
Так мчится и Гульгун, когда он не упрям.

Когда Шебдиз у той, с черногазельим взглядом,
Сумеет лишь Гульгун с Шебдизом мчаться рядом.

Когда Шебдиз не с той, что всех светлее лун,
Достоин ей служить лишь огненный Гульгун».

«Гульгун поможет нам. Пусть скакуна такого
К Шапуру отведут!» — решение Хосрова.

Сел на седло Шапур, Хосрову дорогой.
Под ним гарцует конь, на поводу — другой.

Он в Медаин к Ширин свой бег направил скорый,
Но с месяц все ж искал тот месяц ясновзорый.

Стал сад Хосрова пуст, усладу не храня,—
К нагорному дворцу Шапур погнал коня.

Стучит. Открыли дверь. Не говоря ни слова,
Страж пропустил его, узрев печать Хосрова.

И радостно идет в покой безвестный он,
В чертог, построенный для светоча времен.

Но лишь взглянул вокруг — где радости избыток?
Он хмурится: дворец? Иль место лютых пыток?

Как! Драгоценный перл с каменьями в ладу?
В раю рожденная запрятана в аду?

Стал лик его — рубин. Земли коснулся ликом
Он пред жемчужиной в смущении великом.

Хвалы ее красе он все же смог найти,
Затем спросил ее о трудностях пути.

Сказал, что будет он, как прежде, ей пригоден,
Что от ее колод колодник не свободен.

Что и невзгоды все и трудности прошли,
Что уж отрадный свет вздымается вдали.

«Пусть беспокойство ты перенесла такое,
Невзгоды кончены, ты дождалась покоя.

Но грустен этот край, он горестен, уныл,
Кто разум твой смутил и в сумрак заманил?

Как может светлая быть с этой мглою рядом?
Как может гурия довольствоваться адом?

Да, повод к этому, пожалуй, есть один:
Ведь ты — рубин; в камнях всегда лежит рубин».

В его речах узрев всю живопись Китая,
К своим желаньям ключ внезапно обретая,

Ширин прикрыла лик стыдливою рукой
И, восхвалив гонца, дала ответ такой:

«Когда б решилась я в напрасном упованье
Все беды передать в своем повествованье,

Все то, что на своем я видела пути,
Я не смогла бы слов для этого найти.

Был мне указан край; когда ж достигла сада,
Нашла проклятых в нем; взяла меня досада,—

Ведь без присмотра рой прислужниц посягнул
На чин дворца; в саду раскинулся разгул.

И руки, как Зухре, открыв, они в замену
Стыдливости свою всем объявили цену!

Невесте должно быть невинней голубиц.
Я удаления искала от блудниц.

Я от неистовых, едва их постигая,
Уединенного потребовала края.

Они же в ревности — ведь этот пламень яр! —
Забросили меня в край беспричинных кар.

О город горести! О, нет мрачнее мира!
От горечи черны здесь камни, словно мирра.

Смолчала я, найдя удел мой полным зла.
Я с ними ладила. Что сделать я могла?»

Шапур сказал: «Вставай! К пути готовься снова.
Все указания имею от Хосрова».

И на спину коня вознес он розу роз,
В сад шахских помыслов Сладчайшую повез.

И, на Гульгуна сев и кинувши ограды,
Ширин была быстрей, чем быстрые Плеяды.

Благой Хумою стал блестательный Гульгун.
И мчалась, как пери, сладчайшая из Лун.

А вдалеке Хосров, меж горького досуга,
Все друга поминал, все ожидал он друга.

Да! Ожидание — тягчайшая беда.
Но кончится оно — все радостно тогда.

О ты, что вдаль взирал, не опуская вежды!
Надеющийся! Глянь — исполнены надежды.

ХОСРОВ УЗНАЕТ О СМЕРТИ ОТЦА

Чуть опьяненный, шах вздремнул; мечтает он:
Его благой удел свой позабудет сон.

И вот спешит гонец, и вот он в шахском стане,—
И развернул Слону рассказ об Индостане.

Фарфор китайский — взор: он влагой полонен.
Как волос негра — стан: весь изогнулся он.

О крючья черных строк! О черная кручина!
Бесчинна смерть,— и пуст и Зенга трон и Чина.

Где шах? Лишь ты взирай на все его края.
Ему лишь посох дан, уж нет ему копья!

Владыка мира, верь, уж не увидит мира,
А ты — владычествуй, тебе дана порфира.

И приближенные, а было их не счесть,
Друг другу не сказав, ему послали весть.

«Остерегайся. В путь сбирайся во мгновенье.
Мир выскользнет из рук, опасно промедленье.

Хоть в глине голова,— ты сам ее не мой.
Хоть слово начал ты, умолкни, как немой».

Когда Хосров узрел, что дней круговоротом
Он трону обречен и горестным заботам,—

Постиг он: с индиго хранит поспешный рок
Бакан, и уксус дней от меда недалек,

И воздух, что родят земли неверной доли,—
То шершня кружит он, то в нем летают пчелы.

Опала, почести, любовь, и злость, и яд
С напитком сладостным — все это дни таят.

Земля! Какой ручей ты не засыплешь прахом?
Твой камень много чаш одним ломает взмахом.

Кто скован бытием — идет путями бед.
Покой — в небытии. Пути другого нет.

Брось на ветер скорей свой груз напрасный — душу!
Замкни темницу зла, моря забудь и сушу.

Весь мир — индусский вор: чтоб он не отнял кладь,
Чтоб не скрутил тебя,— с грабителем не ладь.

Знай, в этой лавочке ты не отыщешь нитки
Без колющей иглы, лишь иглы в ней в избытке.

Вот тыквенный кувшин, вода в нем что кристалл,
Что ж от водянки ты, как тыква, желтым стал?

Деревьям лишь тогда в весенней быть одежде,
Когда все почки их разломятся,— не прежде.

Пока не сломит рок согнувшийся хребет,
Он снадобья не даст для исцеленья, нет!

Наденешь саван ты, зачем же — молви толком —
Как шелковичный червь, ты весь облекся шелком?

Зачем роскошество — носил бы полотно.
Тебя в предбаннике разденут все равно.

В простой одежде будь, она пойдет с тобою,
Пока ты бродишь здесь дорогою любою.

Ты отряхни подол от множества потреб,
Доволен будь, когда один имеешь хлеб.

Творить неправду, мир, намерен ты доколе?
Тебе — веселым быть, мне — корчиться от боли?

Я в горе — почему ж твой слышится мне смех?
Я свержен — и тебе я не хочу утех.

Ты продаешь ячмень, а нам крчишь: пшеница!
Ячмень в твоем пшене сгнивающий таится.

Я — лишь зерно пшена, и желт я, как ячмень.
Пшеницы мне не дав, молоть меня не лень?

Довольно предлагать да прибирать пшеницу,
А мне — быть жерновом перетирать пшеницу!

Уж лучше в омуте, где ночь, лишь ночь одна,
Ловить ячменный хлеб я буду, как луна.

О Низами! Из дней уйди ты безотрадных,
Весь этот грустный мир оставь для травоядных.

Питайся зернами да езди на осле.
Ты жди Исы, томясь в земном, житейском зле.

Ты — ослик. Вот и кладь! Одну ты знай заботу.
Ведь ослики — не снедь. Их ценят за работу.

ХОСРОВ ВОСХОДИТ НА ТРОН ВМЕСТО ОТЦА

Когда промчалась весть, что царствованья груз
Велением творца сложил с себя Ормуз,

Шах, в юном счастии не ведавший урона,
В столице поднялся на возвышенье трона.

Хоть в мыслях лишь к Ширин влекла его стезя,
Все ж царство упустить наследнику нельзя.

То государства он залечивал недуги,
То взоры обращал он в сторону подруги.

И за строительство его уж люди чтут,
Уж много областей он охранил от смут.

В несчастья ввергенных залечивалась рана:
Шах справедливостью затмил Ануширвана.

Но вот закончились насущные дела.
Опять к любви, к вину душа его влекла.

Мгновенья не был он без чаши, без охоты.
Когда ж он о Ширин вновь полон стал заботы,—

Спросил придворных он, что слышали о ней.
Ему ответили: «Уже немало дней,

Как из дворца, что там, где сумрачно и хмуро,
Она умчалась прочь. С ней видели Шапура».

Круговращеньем бед внезапно поражен,
Шах небо укорял. Но что мог сделать он?

Воспоминания он предавался негам,
И черный конь прельщал его горячим бегом.

Как ночь, его Шебдиз, ну, а Луны — все нет!
Он камнем тешился, но помнил самоцвет.

ШАПУР ПРИВОЗИТ ШИРИН К МИХИН-БАНУ

Ширин в ее края примчал художник снова,—
Но встреча не сбылась: там не было Хосрова.

С Гульгуна сняв Ширин, в цветник Михин-Бану
Ее он снова ввел, как светлую весну.

И снова гурия меж роз родного края.
Дарила свет очам, огнем очей играя.

И приближенные, и слуги, и родня,
Которые давно такого ждали дня,

Увидевши Ширин, ей поклонились в ноги
И, прахом ставши, прах лобзали на дороге.

И благодарственным моленьям и дарам
Предела не было, и был украшен храм.

А что с Михин-Бану? Да словно от дурмана,
Ей тесно сделалось в пределах шадурвана.

Как сердцу старому, что стало юным вновь,
Что мнило умереть, а в нем взыграла кровь.

Беглянки голову Бану к себе прижала,—
И пробудился мир и начал жить сначала.

Как ласкова Бану! Какой в ней пламень жил!
Ну кто бы сотней строк все это изложил?!

Введя Ширин в простор дворцового предела,
Ей предложила все: «Что хочешь, то и делай!»

Покровами стыда ей не затмив чела,
Ей омрачить чела печалью не могла.

Ведь понимала все: ее побег — сноровка
Неопытной любви, влюбленности уловка.

И в шахе виделись ей признаки любви.
Ей шепот лун открыл огонь в его крови.

Вино бродящее укрыть она старалась,
Свет глиною укрыть — хоть солнце разгоралось.

Бану твердит Луне: «Покорной надо стать,
Домашний, тихий мир, как снадобье принять».

И с ней она нежна и создала — в надежде
Все прошлое вернуть — все то, что было прежде.

И снова куколок, прекрасных, как весна,
Дано ей семьдесят,— чтоб тешилась она.

Круговорот небес, что кукольник, баюкал
И пробуждал к игре сереброгрудых кукол.

Ширин, увидев их,— как прежнею порой,
Луною рассекла веселый звездный рой.

Ширин опять в дому. Как праздник новоселья —
Опять открыт базар досуга и веселья.

Победы ключ сверкнул. Он грозен стал: могуч
Рассудок — золотой преодолений ключ.

Рассудок победит могучих с их мечами.
Венец, прельщая всех, царит над силачами.

Лишь разуму дано тьму воинов смести,—
Мечом ты их сметешь не больше десяти.

На трон взошел Парвиз. Все помыслы Бехрама
К парвизову венцу влекли его упрямо.

И он схватил венец, когда к нему простер
Он руку ловкую. Был ум его остер.

И клевету творить Бехраму — не в обузу.
Он всем шептал: «Хосров пронзил глаза Ормузу»,

Хоть знал он, что когда Юсуф умчится вдаль,
Якубу — света нет: все затемнит печаль.

Он тайно разослал посланья людям разным,
Благое исказив рисунком безобразным.

«Ребенку ли владеть вселенной суждено?
Отцеубийце быть владыкой не дано.

Ста братьев кровь прольет он за глоток напитка,
Напитка, что в домах имеем до избытка.

Арфисту царство даст: над арфами дрожит.
Что царство! Песнею он больше дорожит.

Горячий — он путей к делам не примечает,
Незрелый — он добра от зла не отличает.

Клеймо любовных игр горит на нем. И страсть
К неведомой Ширин над ним простерла власть.

Зол, обезглавливать за малое готовый.
Утратив голову, не обретают новой.

Оковы бы сковать, чтоб им греметь на нем!
Исправить бы его железом и огнем!

Пусть покорится нам! Не покорится — верьте,
Отцеубийцу нам предать разумней смерти.

Ему закройте путь, нежданный меч воздев,
И знайте — я иду, могущественный лев».

Вот так-то этот лев, взыскующий признанья,
Свел шахских подданных с дороги послушанья.

И видит шаханшах — счастливый рок смущен.
И подданных своих в смятенье видит он.

И силу счастья он крепил казной златою,
И слепоту врага он множил слепотою.

И так тянулись дни. Но враг привел войска,—
И тотчас поднялась восстания рука.

Опоры не было — был сломлен трон Парвиза,—
И с трона пересел он на спину Шебдиза.

От вихрей, взвившихся из-за камней венца,
Он голову унес: она ценней венца.

Уж венценосца нет. Владычества порфира
И мира — брошена возжаждавшему мира.

Когда по воле звезд узрел смятенный шах
Меча бахрамова над головою взмах,—

В сей шахматной игре, что бедами богата,
Без «шаха» для него уж не было квадрата.

С уловок сотнею, свой потерявши сан,
По бездорожию проникнул он в Арран.

Оттуда он в Мугань направился: в Мугани
Жила Ширин; в сей храм свои понес он дани.

ВСТРЕЧА ХОСРОВА И ШИРИН НА ОХОТЕ

Сказатель говорил: мое познанье ней.
Когда Хосров Парвиз, домчавшись до степей,

Стрелял и стрелы в дичь без счета попадали,—
Вдали взметнулась пыль: неслась Ширин из дали.

В кругу своих подруг с дворцового двора
Ширин охотиться отправилась с утра.

И два охотника, одним замкнуты кругом,
Коней пустили вскачь, охотясь друг за другом.

И стройных два стрелка, дворцов покинув сень,
Друг в друга целились, как целятся в мишень.

Два друга — им любовь, как хмель, затмила око —
Пылая, всех друзей оставили далеко.

Хосров — ему венец рука судьбы дала;
Ширин — та сто венцов с Хосрова сорвала.

Здесь — гиацинты кос над нежной розой гнутся,
А там — по розам щек их лепесточки вьются.

Здесь — амброю кудрей прикрыты уши, там —
Арканы мускуса сползают по плечам.

Здесь — облачко пушка вокруг Луны играет,
Там — подбородка грань Луну оберегает.

Глазами так они друг другу жгут глаза,
Что на зрачках у них уж светится слеза.

Вблизи Ширин — Парвиз; их бег согласный страстен.
Гульгуна обогнать Шебдиз уже не властен.

Ну как заговорить? Она Ширин — иль нет?
Парвиз ли перед ней? Достаточно ль примет?

И вот назвали их. И вот, узнав друг друга,
Без чувств, упав с коней, они лежат средь луга.

Беспамятство прошло, и, головы подняв,
Они свой жемчуг слез рассыпали меж трав.

И, встав, беседуют, по правилам дворцовым
Друг другу поклялись. Но много ль молвишь словом?

О благе и о зле сказали все,— и вот
Примолкли: «Ждать и ждать!» — лишь это разум жжет.

И, чтоб связать с землей ширь голубого крова,
Как птицы на древа, на седла сели снова.

Тут каждый, кто скакал, поводья натянул,
Коней под лунами глухой умолкнул гул.

И видят спутницы: Луна и Солнце рядом
И, встретясь в синеве, друг друга манят взглядом.

В их души обронен огонь любовных снов.
Как бы вдавились в топь копыта скакунов.

И подъезжавших всех дивило это диво:
Они — равны красой, все в них равно красиво.

Шептали муравьи, что в тесный круг сползлись:
«Взгляни, сам Соломон и савская Билькис».

Все новые войска спешили, подъезжали,
Хосрова и Ширин рядами окружали.

Когда сомкнулся строй на склонах ближних гор,
Стон сдавленной земли был для Быка — укор.

И говорит Ширин: «Твой свет на всех высотах!
Как тысячи рабов, и я в твоих тенетах.

Твой царственный престол земле дарует честь.
О благе твой венец в лазурь направил весть.

Хотя семь областей, во всем их протяженье,
В твоем, о царь земли, находятся владенье,—

Недалеко от нас — подарок пышный твой —
В узорах высится шатер наш кочевой.

Коль снизойдет к нам шах и примет просьбу нашу,—
Чтоб услужить ему, я стан свой препоящу.

Коль слон пожалует на муравья ковер,—
В восторг придет мураш, его заблещет взор».

Промолвил государь: «Коль ты принять готова,
Войду, возликовав, под сень благого крова».

Склонилась ниц Ширин, чтоб юношу почтить,
И славословий вновь ему сплетает нить.

На сменных скакунах она к Бану послала
Служителя,— и та не медлила нимало:

Известье получив, хозяйственных хлопот
Не устрашается: Хосрова в гости ждет.

И Солнце и Луну осыпали дарами,
Навстречу выехав, под синими горами.

Юнца в какой дворец направила судьба!
Что было схоже с ним? Лишь райская туба.

Дворец приподнят был под купол небосвода,
Как два майдана, ширь от входа и до входа.

Прощения прося за скромный дар, послы
Роскошеством даров заполнили столы.

И здесь Парвиз такой осыпан был казною,
Что повестью о ней не скажешь ни одною.

А «дело о Ширин»? Звучит лишь крик: «Ширин!» —
В душе царя. Пред ним чей сладкий лик? — Ширин.

НАСТАВЛЕНИЕ МИХИН-БАНУ ШИРИН

Когда свое зерно крестьянин бросит чистым,—
Родится чистым то, что было в прахе мглистом.

Коль чистый человек имеет чистый род,—
Бредя в земной грязи, подол он подберет.

И чистая Бану была в невольном страхе,
Узнав и о Ширин и о влюбленном шахе.

Раздумия о них никак ей не избыть.
Ну как ей с хворостом огонь соединить?

И говорит она: «Ширин, моя ты сладость
Не только для меня, ты всем прекрасным радость.

Твой черный томный взор — сто царских областей.
От Рыбы до Луны длина косы твоей.

Две тени у тебя, и тень вторая — счастье.
Благополучие, Ширин, твое запястье.

Ты освещаешь мир сияньем красоты,
А красота твоя — в чертоге чистоты.

Ведь ты — сокровище; так будь запечатленна.
Ведь благо есть в миру, и есть в нем то, что тленно.

Лукаво и хитро умеет мир играть:
И красть жемчужины и яхонт растирать.

Мне сердце весть дало, и мне, о роза, мнится,
Что хочет царь царей с тобой соединиться.

Коль сердце отдал он, то счастья ты не кличь
Иного: дивную ты заманила дичь.

Но, увидев его от нетерпенья пьяным,
Не покоряйся ты, Ширин, его обманам.

Он так остер; тебе — слова любви новы.
Страшусь: бесплатно он отведает халвы.

Он посрамленною тебя оставит; страстный,
К другой он бросится, охвачен страстью властной.

Я не хочу, Ширин,— мою запомни речь,—
Чтоб ты скорей, чем хлеб, к нему попала в печь.

Ведь десять тысяч роз есть у него красивых.
Об этом говорят слова людей нелживых.

Коль мчится сердцем он к великолепью роз,
Привяжется ль к одной, обвитый цепью роз?

Но коль не сможет он тайком схватить алмаза,
Не отвратит лица, чтоб не купить алмаза.

Узнав, как ты чиста, как ты ясна на взгляд,—
Ко мне он явится. Так правила велят.

Озарена небес ты будешь чистым лоном,
И наградит земля тебя царевым троном.

Коль чистоту души мечты твои таят,—
Противоядием преодолеешь яд.

Но если б овладеть тобою смог влюбленный,
Тебя он, верно б, счел беспечной, опьяненной.

Смотри, чтоб над тобой позор твой не навис.
Стыдом в умах людей была покрыта Вис.

Он — месяц, ты — луна, и род наш так же славен.
Да, мы — Афрасиаб, коль он Джемшиду равен.

Поверь, не мужество мужчинам вслед бежать.
Такая смелость, верь, невестам не под стать.

Сорвали много роз, чуть приодетых в росы,
Вдохнули аромат — и бросили в отбросы.

Немало было вин, что привлекали взор,
Но чуть вкусили их — и вылили во двор.

Ты ведаешь сама: под праведности знаком
Нет лучше нежных игр, чем озаренных браком».

И сладость пьет Ширин, к Бану склонив лицо,
Чтоб вдеть совет в ушко, как рабское кольцо.

Ведь сердцем отвечать на сладостное слово,
Столь близкое душе, давно она готова.

И клятву крепкую дает Ширин. Зарок
Она дает Бану: «Твой выполню урок.

Хоть пью любовь к нему я огненною чарой,
Клянусь, что будем с ним мы лишь законной парой».

Так молвила Ширин и клятвою такой
Уверенность Бану вернула и покой.

Та разрешила ей в дому и на майдане
Быть с гостем, чтоб иных не жаждал он свиданий.

Чтоб он в безлюдии не требовал утех
И все, что говорит, чтоб говорил при всех.

ХОСРОВ И ШИРИН ИГРАЮТ В ЧОВГАН

Когда проснулся мир, зарей охвачен алой,
И ясный жемчуг звезд преобразился в лалы,

То солнце, чтоб часов мелькала череда,
Зухре и Муштари вручило повода.

Он — захотел игры, она — нежна, как воздух,—
Сказала, чтобы к ней сбираться стали звезды.

К ней семьдесят пришло подружек,— юных львиц
Взволнованности жар касался нежных лиц.

Бесстрашных я сравню с самим Исфендиаром,
Как лучниц, их сравню с самим Рустемом ярым.

Играя же в човган, умело мчались вскачь,
И у небес они могли похитить мяч.

И, опоясавшись и привязав колчаны,
На седле вскинула они тугие станы.

Прикрыв сиянье лун волною покрывал,
К Хосрову прибыли: к нему их долг призвал.

И приняты они хаджибом шахским были.
Хосров был рад, что здесь об играх не забыли.

Он восхвалил Ширин и поднялся; на трон,
Правей себя, Ширин усаживает он.

Что видит он? Да тех, что дух смущают смелый,
Двор, полный сахара, гостинцев город целый!

Как будто не они и ловки и храбры,
И на конях вершат все трудности игры!

Прослушав их призыв приветный, величавый,
Сел на коня Парвиз. Милы ему забавы.

И поскакали все; примчались на майдан.
И луноликих взор стал от веселья пьян.

На лунах нежных лиц был солнца отпечаток.
Одни орлы вокруг, не стало куропаток.

Тут птаха каждая уже иной была:
Для рощи — голубки, для дичи — сокола.

Хосров сказал Ширин: «Давай-ка погоняем
Коней! Давай-ка в мяч немного поиграем».

И вот бросают мяч и клюшку для царя.
Порхает дивный рой, от радости горя.

От клюшек ивовых вся площадь лесом стала.
Луна от блеска лун явила цвет сандала.

И клюшки каждый взмах, что мяч у ветра брал,
Над синим воротом мяч солнечный ломал.

С той стороны — Луна в веселом звездном круге,
А здесь — Хосров скакал, и с ним скакали слуги.

И лев и лань в човган задумали играть,
И сокол и фазан — набеги совершать.

Ширин схватила мяч. Хорсов — хватает следом.
Приходят чередой они к своим победам.

Но вот оставлен мяч: он более не нов.
Они вкруг площади помчали скакунов.

Летят Шебдиз, Гульгун — являясь как бы знаком
Того, что светлый день стремится вслед за мраком,

И вот с майдана в степь направлен каждый конь.
За дичью гонятся. Нет радостней погонь!

И столько дичи тут их настреляли стрелы,
Что числам не дано найти ее пределы.

И копья роют прах, пронзить его спеша,—
Онагры примут их за стебли камыша.

Хосров глядит вокруг, безмерно он дивится:
Тут дивной ловкости полна любая львица,

Все эти всадницы, свой натянувши лук,
Покрыла ланями трепещущими луг.

И каждая была как бы Хумой в полете,
Играя в мяч, а здесь — драконом на охоте.

И на Ширин Хосров глядит исподтишка.
Что выпадет ему? Охота нелегка.

Внезапно, увидав газели быстрой спину,
Подумал шах: «Стрелой газель я наземь кину».

Но легкая газель, мелькнув пред ним едва,
Уж больше не газель: она сильнее льва.

Из-за охотника, что стал его кумиром,
В дичь превратился тот, кто всем владеет миром.

Когда павлин высот покинул синий сад
И розы рвать в саду был черный ворон рад,

Утратили свой блеск веселые павлины,
И унесли домой их вороновы спины.

И в гнезда головы запрятали: пора
Им было отдохнуть; и спали до утра.

А утром ко дворцу их привела дорога,
Вновь у парвизова построились порога.

И на майдане вновь они играли в мяч,
И на охоту вновь они помчались вскачь.

Так месяц пролетел, и было игр немало.
И в азбуке забав ни буквы не пропало.

Но шаху не был миг, столь чаемый, вручен,
Чтоб в «деле о Ширин» поставил точку он.

Все случая он ждал, все поджидал мгновенья.
Но оставался ключ в оковах промедленья.

Он молвил раз, когда уж сумрак землю скрыл,
А все ж Хума любви не распустила крыл:

«Ширин! Царящая над всем прекрасным! Счастье
К тебе стремит свой взор, ждет от тебя участья.

Давай-ка поутру веселием любым
С тобой одержим верх над сводом голубым!

Давай возьмем вина, чтоб нашим сладким делом
Стал пир, чтоб счастья свет нам сделался уделом.

Грустим, смеемся ль мы в ограде, у ворот,
Равно подхватит нас времен круговорот.

Нас времена умчат, как всех они умчали.
Но счастье лучше слез, а радости — печали».

Тут пальчик свой к очам преподнесла Ширин,
«Спокойной ночи, шах!» — и вот Хосров — один.

И, устремясь к луне, к светилу синей ночи,
Мечтает шаханшах, чтоб ночь была короче.

ОПИСАНИЕ ВЕСНЫ И ВЕСЕЛЬЯ ХОСРОВА И ШИРИН

Уж старец-небосвод, одетый в бирюзу,
Дал молодость цветам и оживил лозу,—

И нежных роз цветник для юных и для старых
Вновь блещет в розовых и золотых пожарах.

Пусть роза царствует! Фиалки, как павлин,
Свой расстилают хвост по зелени долин.

О, сколько птиц! О звон — к любви взывать готовый!
В былых влюбленностях жар пробудился новый.

Веселым стал Хосров: Ширин с ним хороша.
И вспомнил мир весну, веселием дыша,—

Влюбленный, радостный, отринув проволочку,
Играя, разорвал он розы оболочку.

А та — взнесла свой стяг,— ведь так отрадно ей:
Прогнали воронов отряды голубей.

Жасмин за кравчего. Призыв нарцисса: «К чаше!»
Фиалка с розою в хмелю нежней и краше.

Снял с женственных цветов покровы ветерок
И оживлял и звал всех тех, кто изнемог.

А ветер зашумел, затем — единым духом
Согнул «зрачок быка», взыграл «слоновым ухом».

Земля — ковер; взгляни — весь в анемонах он.
«Мышиных ушек» он узором озарен.

Вот кипарисы ввысь свои вздымают станы,
Свои рубахи рвут от страстности тюльпаны.

Фиалок завиток сцепился с завитком,
А слух шиповника зашептан ветерком.

Рейханы прячут лик, страшась отдаться взорам,
Древа плодовые — под свадебным убором.

А воздух, росами осыпав каждый луг,
Дал изумруду перл движеньем легких рук.

Земля родящая свое забыла бремя:
Уж родилось цветов ликующее племя.

Пьяны веселием газели: сосунки
Снуют близ матерей, игривы и легки.

Фазаны на рейхан роскошным опереньем
Склоняются; рейхан украшен их гореньем.

И ветка каждая — весны цветущий дар.
И роза каждая взяла в ладонь нисар.

Вот песни соловьев, вот песни куропаток —
В них нетерпение, в них страсти отпечаток.

В те дни, когда кругом любовью все полно,
Грех не любить. Весной — влюбляться суждено.

Хосров с Прекрасною бродили днем и ночью,
Склоняя взор к цветам и к травок узорочью.

То пили на лугу сок благодатных роз,
То на горах они сбирали пламень роз.

Они с вином в руках, меж роз, по изумруду,
Хмельные в этот день подъехали к Шахруду.

И спешились они; и плещется Шахруд.
Сидят: поет певец, звенит и плачет руд.

С сахароустою легко достигнешь чуда:
Как сахарный тростник, простой тростник Шахруда.

Красу окрестностям ее дарует стан,
Как жемчуг ракушке порой дает нейсан.

Глянь, мускус этих кос дороже амбр; пропала
Вся спесь у сахара пред медом рдяным лала.

Ее улыбок мед весь сахар приманил,—
И в Хузистане плач варений слышен был.

Кусту прекрасных роз промолвил стан: «Достоин
Ты охранять меня, ты мой надежный воин».

Жасмин, что краше роз казаться мог легко,
Страдал: был по уши влюблен в ее ушко.

А роза, разглядев ее глаза, во власти
Свирепой ревности рвала себя на части.

ХОСРОВ УБИВАЕТ ЛЬВА ВО ВРЕМЯ ПИРА

С Ширин гуляет шах меж радостных долин.
Прекрасно все окрест, прекрасно, как Ширин.

Когда желанная — вершина мирозданья,
То место каждое есть место любованья.

И отдыха ища, глядят: невдалеке
Лишь лилии цветут на сладостном лужке.

И, колышками прах в таком раю ударив,
С поспешностью шатер воздвигли государев.

Гулямы, девушки вокруг шатра видны —
Иль вереница звезд блестит вокруг луны?

Сидят Хосров с Ширин и песен внемлют звуку,—
Они ведь за ногу повесили разлуку.

Вот кравчий накренил рубиновый сосуд.
И струны говорят: дни радости несут.

Влюбленность и вино! В них — неги преизбыток.
Пьянит царя царей сей смешанный напиток.

И вот внезапно лев скакнул из-за куста,
И в воздух взвил он пыль ударами хвоста.

Как пьяный, бросился к стоянке он с размаха,
И наземь воины попадали со страха.

И, подскочив к шатру и яростью горя,
Сын логовищ лесных взметнулся на царя.

В рубахе, без меча, в свою удачу веря,
Нетрезвый шаханшах опережает зверя.

До уха натянул он лука тетиву —
И грузно рухнул лев: пронзил он сердце льву.

Льва обезглавили. И вскоре светло-бурой,
Умело содранной все любовались шкурой.

И повелось в стране с хосрововых времен:
Хоть пиршествует царь — меч сохраняет он.

Хоть мощен был Парвиз, как лев пустыни дикой,
Но был владыкой он — медлительны владыки.

В хмелю он победил своим уменьем льва.
Не хмелем славен стал, а одоленьем льва.

И эту крепкую, приученную к луку,
Спасенная Луна поцеловала руку.

Как розовой воды коснулся сладкий рот.
И рот в ладонь царя горсть сахара кладет.

С прекрасных уст печать уста царя сломали,
Чтоб не ладони сласть, а губы принимали.

Поцеловав уста, он вымолвил: «Вот мед!
Вот поцелует край, куда наш путь ведет».

Тот поцелуй гонцом был первым, чтоб второго,
Такого же, ей ждать от жадного Хосрова.

Но хоть и множество мы выпьем ночью чаш,
Все ж чаша первая милей всех прочих чаш.

О хмель, что нам испить дают впервые чаши!
Что нам привычных вин неогневые чаши!

При первой чаше мы восторг найдем в вине,
Испив последнюю, печаль найдем на дне.

И роза первая среди весенних станов
Благоуханнее десятка гюлистанов.

В жемчужнице зерну отрадно первым быть.
Что зерен перед ним последующих нить!

И мало ли плодов мы сладостных встречали,
И что же! Каждый плод нам сладостней вначале.

И вот напиток нег обжег влюбленным рот,—
И отвели они поводья всех забот.

Спеша к безлюдному чертогу или лугу,
Как молоко к вину, тянулись друг ко другу.

Так руку за добром протягивает вор,
Увидевши, что страж смежил беспечный взор.

И за врагом они одним следили глазом,
Другим они к цветам тянулись и к алмазам.

Лишь на мгновенье враг позабывал свой страх,—
Они лобзание хватали второпях.

Когда в руках Ширин вина не примечалось,—
То птица райская к ее устам не мчалась.

Когда ж она была беспечной от вина,
То и на ней была любовная вина.

Так мощно он сжимал ее в объятье рьяном,
Что горностай ее в шелку скрывался рдяном.

Так рот его впивал атлас ее щеки,
Что меж румяных роз возникли васильки.

Тогда из-за стыда пред синими следами,
И по небу Луна шла синими следами.

Держа в час трезвости и в ночи пьяных гроз
Белила в скляночке, подобно розе роз.

РАССКАЗЫВАНИЕ ПРИТЧ ХОСРОВОМ, ШИРИН, ШАПУРОМ И ДЕВУШКАМИ

Блестела ночь, и дня она была светлее.
И месяц плыл, и мир лежал, в сияньях млея.

Из синевы ночной плыл животворный дух,—
Не ветер, чтоб луны светильник не потух.

Простерлась темнота, от мыслей не скрывая,
Что, тьмой укрытая, бежит вода живая.

И черный паланкин был тьмой лишь для того,
За полог скромности чтоб приняли его.

С чела души сметен был прах рассудка грубый,
А звезды, веселясь, показывали зубы.

В такой побудь ночи, и станет близкой цель,
К зачатьям приведет любви горячий хмель.

Вон там несет Зухре бесценный яркий камень.
Там — нижет лунный луч жемчужин нежный пламень.

Лишь грузами ослов измерить мускус трав.
И воздух — снадобье из сладостных отрав.

Что амбра ветерок! Нежней он с каждым взмахом.
Стал ароматом прах, стал мускусом, не прахом.

Вся область воздуха, где ширится весна,
В алоэ лучшее весной превращена.

Мелодия Зухре течет во мраке. Вина
Готовятся. Луны сияет половина.

Как бы придворных круг, созвездий рой возник.
А с ними Утарид — придворный танцовщик.

Бубенчиками птиц звенит ночная риза.
Что колокольчики пред ними Шебавиза!

И все живущие, всю приготовя снедь,
Расселись вкруг нее, чтоб весело запеть.

Различно пели все — и юноши и девы,
Но с песней сумрака сливались их напевы.

Сидел на троне шах, его был светел вид.
Он был, как Феридун; и был он, как Джемшид.

И так в его душе Ширин сияли очи,
Что о светильниках забыл он и о ночи.

Рейханов аромат и луга ветерок,
Как весть о нем, пришли к Прекрасной на порог:

«Таким сияньем звезд бывала ль ночь богата?
Кто ведал веянье такого аромата?

Что миг свидания за далью дымных туч?
Ведь мы с тобой лучи, так пусть мы видим луч.

Мы — кровь; что ж кровь твоя, о молви, не в кипенье?
А коль она кипит — зачем же в отдаленье?

Вздыхать ли? Столько нег и прелести в ночи!
Что ж хлеба нам не печь, коль печи горячи?

Весна не каждый день цветет на этом свете.
И дичь не каждый день к нам попадает в сети.

Ведь яства — для еды, а дело, коль оно
Затеяно, должно быть в срок завершено.

Хлеб на охоту взят. Не пропадать же хлебу,
Чтоб рыбам он пошел и птицам на потребу!

Про хитрую лису поведал притчу волк:
«Я — рыскал, ты — взяла. Какой же в этом толк!»

Луны пленительной достигли эти мысли,
Ее колебля путь, над ней они нависли.

Но все-таки в цепях был ею сдержан див,
И к клятве ангел влек, от дива оградив.

Вон там — воздвигли трон царевый для Хосрова.
Вблизи — чреда рабов, служить ему готова.

Пред троном встал Шапур, друг золотых ночей,
Как пред сокровищем нежданным казначей.

А там — язычников сверкающее чудо,
И десять вкруг него сидит гранатогрудых.

Вот — Эдженуш, а вот — Сухейль и Феликназ,
Здесь — Хамиля, Хотан и Ферентиз — алмаз.

Там — Гохермульк видна, там — Сементурк; за нею
Лик Перизад; за ним зрим Хамаюн — лилею.

И все они, смеясь, рубин пустили в ход,
Гранатовым цветком у каждой лик цветет.

Вот скатерти стыда уж нету; опьяненье
Ее свернуло. Ум, бежав, нашел спасенье.

И, к лунам обратясь, шах отдает приказ:
Всем — каждой в свой черед — рассказывать рассказ.

И вот сидят они; ярки у них рубины.
Сидят, явя луну, а в уши вдев рубины.

У каждой брови — лук, у каждой взгляд — стрела.
Все мыслят правильно и знают все дела.

И каждая из них тут расточала сахар,
А сладкая Ширин разогорчала сахар.

Вот Ферентиз слова, как скакуны, летят:
«Был некогда судьбой в земле припрятан клад.

Но подчиняться ли судьбе, ее обидам?
Взрыл землю царь Джемшид, клад вынут был
Джемшидом».

Сухейль сказала: «Там, где кипарисов стан
Свое начало взял, разгуливал фазан.

Но сокол полетел — таков его обычай —
И нежный стал фазан мгновенною добычей».

Сказала Эдженуш, что с сахаром в ладу:
«Скажу о розе я, раскрывшейся в саду.

И птица райская порой таит угрозу:
Она схватила в клюв, она умчала розу».

Еще находчивей сказала Феликназ:
«Чтоб видеть мир — один у нас был только глаз.

Но глаз другой пришел; они сошлись — и сразу
Стал мир видней. О глаз! Иди к другому глазу».

Сказала Хамиля: «Блистающий, как луч,
Меж свежей зелени струился чистый ключ.

И мощный юный лев пришел к ручью однажды
И, выпив светлых струй, уж не страдал от жажды».

Сказала Хамаюн: «Был в россыпи рубин.
Еще купец о нем не ведал ни один.

Но прибыл властный царь,— и счастье поспешило,
И в завиток венца рубин оно вложило».

Сказала Сементурк: «Однажды рождена
Была жемчужницей жемчужина; она

Велением небес была бок о бок скоро
С прекрасным яхонтом царевого убора».

Сказала Перизад: «Вся видела страна,
Как весело в степях охотилась Луна.

Но вот пришло с небес великое светило,
И в плен оно Луну внезапно захватило».

Пришел черед Хотан, чей разум был глубок:
«Рос тополь некогда; быль тополь — одинок.

Свободный кипарис к нему приник, и взглядом
Они усладу льют, друг с другом вставши рядом».

Вот Гохермульк слова упали с алых уст:
«И для Венеры мир был сумрачен и пуст.

Но счастье родилось. Какой измерить мерой
Восторг сближения Юпитера с Венерой!»

Заговорил Шапур, настал его черед.
Словам любви звучать приказ он отдает.

«Был в чаше — мед Ширин; как масло — страсть Хосрова
Над медом пролегла. Я краски вспомнил снова,

И ловкость у меня сливать их такова,
Что я шафраном стал. Так создалась халва».

По-пехлевийски он добавил им: «Вы оба
Да славитесь во век! Быть рядом вам до гроба!

Единородные! Вы для вселенной — свет!
Не разрывайте уз: вам разлученья нет!»

И потекли слова с уст ароматных Сладкой.
Стал воздух мускусом от этой речи краткой.

Застенчиво склонясь, промолвила Ширин:
«Был дух мой без любви; он бедствовал один.

Мне послан был Шапур; он ловок был и ярок.
Мне сердце разорвал сверкающий подарок.

Хоть все начертано и час любви настал,—
Предначертание Шапур мне начертал.

За то, что в сладких снах я вижу лик прекрасный,
Сгораю от стыда, мой лик — за тканью красной.

Из рук царей я этот кубок пью.
Склоняю, как раба, я голову свою.

Да буду я всегда под венценосным кровом!
Да счастию всегда руководить Хосровом!»

И вымолвил Хосров: «Леса преодолев,
По лугу шествовал однажды черный лев.

Но дням его предел, знать, был назначен ланью.
Лань кинула петлю — и лев был схвачен ланью.

Я — лев, которого Ширин — стрелы быстрей,—
Заполонила в сеть из мускусных кудрей.

Я — пламень; коль Ширин пылать мне не поможет,
То погубить меня подувший ветер сможет.

Коль драться выйдет лев среди равнин со мной,—
Сражу, коль будешь там, моя Ширин, со мной».

Друзья согласные веселый круг смыкали,
И слову каждому они рукоплескали.

Как ветка пыльная, душа дружка: чиста
Вмиг станет — постучи лишь кончиком перста.

Едва замрет Ширин — и запылает снова.
И сердце в трепете все требует Хосрова.

И чаша — вся полна, и губы — не скупей,
И говорит она Хосрову: «На! Испей!

Да усладишься ты сладчайшей этой чашей!
Да буду для тебя всего на свете краше!»

Как роза, все пышней владыка расцветал:
Ведь лалы просверлял сверлящий сердце лал.

«О чаша! — он молил.— Ночь собрала пожитки,
Кипи, чтоб смех Ширин мне слышался в избытке!»

Он восклицал: «Заря! Нет, зубы ты не скаль!
Пусть не смеется, нет, востока злая даль!»

Созвездья на руке у каждого кумира
Играли в перстенек в часы ночного пира.

Но лишь заря взошла — убрали перстень прочь:
Ведь прокричал петух, ведь миновала ночь.

Кумиры, сменой чаш насытившись веселой,
Помчались к городу, степные бросив долы.

Был съеден целый мир, но горя — ни зерна.
И радость на зерно — нет! — не уменьшена.

И вновь закатный круг земной коснулся пыли,
И вновь им тесен мир, как тесный плен бутыли.

И вот бутыли вновь им вручены вина,
Вновь головы у них полным-полным вина.

Во взорах радостных пошли играть алмазы,
И небо начало перебирать алмазы.

Вином обновлено веселье, и нова
Над новым пиршеством ночная синева.

И притчи вновь твердят: забудь свои кручины,
Вновь гурии сверлят вчерашние рубины.

Душа Хосрова вновь кипит в любви, и вновь
За лик Ширин он лоз пьет золотую кровь.

Вино цветистое! Павлином будь — без змея.
Хурмой стань рот Ширин, лишь сладостью лелея.

Он чашу винную в руке одной держал.
Он связку алых роз в руке другой держал.

Он к розам приникал, склонялся к чаше следом.
Путь к взявшей сердце был, чтоб сердце взять, неведом.

Напитком горестным душа была полна.
Он сладостно взирал: как сладостна Луна!

Глазам заговорить дает он приказанье.
Ведь было их речам помехою — лобзанье.

Ему из-под ресниц блеснул мгновенный свет,—
Так на слова зрачков он получил ответ.

Они, припрятав речь в своем упорном взоре,
Сказали обо всем в безмолвном разговоре.

Всю ночь не ведать сна — таков был их удел.
Немалый ряд ночей во взоры их глядел.

И радостно Хосров захвачен был попойкой.
Увидеть бы Ширин, пылающей, нестойкой!

Он пламенем пылал. Как опьянить Ширин?
Весь этот сахар, весь захватит он один.

Но не был выдан миг ему судьбою злою,
Чтоб в цель свою попасть он смог своей стрелою,

Все ж радовала дух горящих глаз игра,
И сердце радостно пылало до утра.

Когда Шебдиза мглы взнуздал Гульгун рассвета
И в лепестки зари земля была одета,—

И Солнце и Луну повлек ловитвы пыл.
Оседлан был Гульгун, Шебдиз оседлан был.

Покинувши Мугань, домчались до Шахруда.
Там было много вин, была там рудов груда.

Они то дни вели на этом берегу,
Ловя и рыб и дичь, стреляя на бегу,

То со степи Мандур они сбирали дани:
Онагров били там и повергали ланей.

Так тешился с Ширин Хосров Парвиз: порой —
Охотою, порой — веселою игрой.

Когда невеста ночь, вставая надевала
На кудри синее в алмазах покрывало,—

Невеста шаха шла, покинув паланкин,
В собранье. Украшал собранье лик Ширин.

Подруги сходятся; вся эта цепь жемчужин —
Чреда невест; но шах им будто бы не нужен.

Как много сахара! Как мало миндаля!
Голубки кружатся — что соколу суля?

Вот чаши подняли за счастие Хосрова,
И подняли опять, и веселятся снова.

И ночи не было без руда и певца!
И чашам не было начала и конца.

Вино, и милая, и молодость, и розы!
Нет жизни сладостней, коль нету ей угрозы!

Пленяться розами, цветущими вокруг!
Пить яркое вино из вожделенных рук!

Чтоб опояском рук была подруга сжата,
Чтоб оплестись, как ильм, вкруг деревца граната,—

Полу возлюбленной схватить одной рукой,
А за сердце ее схватить другой рукой!

То взглядами искать от страсти утоленья,
То в нарды нежности играть до утомленья,

То прикорнуть к весне, тоб нежила дружка,
То вить фиалочки вокруг ее ушка.

То прошептать в глуши: «Красавица, послушай!»
То раскрывать печаль, терзающую душу.

Вот — мир! Но в мире, друг, такого мира нет.
Коль явится — лови: его минует свет.

ХОСРОВ И ШИРИН ОСТАЮТСЯ ОДНИ

Весной, в такую ночь, каких у нас немного,
Блеснул блаженства лик, судьбы пришла подмога,

В день обратила ночь высокая луна:
Ведь чашу подняла огромную она.

И в лунном пламени — о света переливы! —
Вновь полилось вино под зыбкой сенью ивы.

И пересвисты птиц и крики: «Нушануш!»
И где разлуки грусть? Она ушла из душ.

Луна ручью в стихах передавала тайны.
Их ветер толковал — толмач необычайный.

Сад кипарисов — слуг сновал на берегах.
Весенняя пора кипела в их сердцах.

Один не кубок взял, а бубен. У другого
Сосуд с водой из роз. И вина льются снова,

И чаша не один свершила круг,— и сна
Сердца возжаждали от сладкого вина.

И, разрешения спросивши у Хосрова,
Все с пиршества ушли, с веселого, с царева.

И виночерпиям уж не хватало сил,
И дремный дух певцов покоя запросил.

Без соглядатаев укромный пир! Подобен
Он розе без шипов: он сладок и незлобен.

С пути терпения шах удалился; он
Уж загоняет дичь в желания загон.

Он кудри Сладостной своими сжал перстами,
Забывши о перстах, простершихся над нами.

Ее целует он: «Я — в рабстве, ты — мой рок.
Я — птица. Дай зерна. Попал я в твой силок.

Ты прошлому скажи: быть не хочу с тобою.
Упьемся новым днем и новою судьбою.

Здесь только ты да я! Ну, оглянись, взгляни!
Чего страшиться нам? Ты видишь — мы одни.

Горит моя душа! Я жажду благостыни!
Ведь ты — моя судьба; будь ею ты и ныне!

Любовь — плодовый сад, родиться должен плод.
Во мне надежда есть, а в чем ее оплот?

Пускай воздвигнут мост из камня голубого,—
Коль мост непроходим, о нем не молвят слова.

Овечью печень ждет собака мясника,—
Да знает лишь свою: в ней горькая тоска.

И тьма солончаков, казавшихся водою,
Рты жаждущих воды зарыла под землею.

И в чашу для чего смертельный налит яд
Который сладостью является на взгляд?

Сверлят жемчужину, когда она влажнее.
Сверлить ее потом ведь было бы сложнее.

Молочным следует барашка свежевать —
Его, подросшего, ведь может волк задрать.

Лишь только голубок начнет взлетать высоко,—
Ласк не увидит он: в него вопьется сокол.

Подобной льву не будь, смири ненужный гнев.
Есть руки у меня, чтоб стал смиренным лев.

Хоть горд нагорный путь прыгучего джейрана,
Есть руки длинные у хитрости аркана.

Пускай ветров быстрей газель несется вскачь,—
Собака шахская не знает неудач.

Что родинки беречь, таить под спудом кудри?
Ты, подать уплатив, поступишь всех премудрей.

Купец! Где сахар твой? Знать, сто харваров есть?
Что ж двери на замке, коль сахара не счесть?

Ведь индиго, торгаш, находит спрос; уныло
Не хмурься. Вскрой тюки, будь ты хоть в глубях Нила».

ОТВЕТ ШИРИН ХОСРОВУ

И сахар дать ответ ему был нежный рад.
И был ответ его — сладчайший табарзад.

«Я — прах,— и пребывать со мной на царском троне
Для шаха значило б — в напрасном быть уроне.

Сочту ль за скакуна я своего осла?
Коня арабского догнать я б не смогла.

И хоть как всадница могу я подвизаться,—
С охотником на львов мне все ж не состязаться.

Моя уклончивость имеет цель, о да!
Кто сахар ест в жару? Не вышло бы вреда!

Остынем, государь! Немного подождать бы,
Чтоб сахар был тебе и мне... во время свадьбы».

Тут на ее губе жемчужинка зажглась.
И змеями она от уст обереглась.

Хоть мысль ее — строга, но клятву дав, иное
Вещала ей душа, в томленьях тайных ноя,

Пусть, рассердясь, она, как острие, остра,—
Не страшно: розы жар — роскошнее костра.

Пусть гнев ее встает жестокой львиной гривой,—
В нем нежный горностай укрыл свои извивы.

Пусть лук ее бровей натянут,— не грозна
Стрела ее очей, а томности полна.

Пусть взор ее — копье,— ведь круг войны все шире,
Но взор к боям готов и к сотням перемирий.

«Не наноси мне ран»,— твердят уста; спроси
Ты их еще разок, услышишь: «Наноси».

Хотя ее уста прикрыло покрывало,—
Но все ж свое ушко она приоткрывала.

Колечко рта сомкнув и отклонив лицо,
Все ж понесла в ушке покорности кольцо.

То прихотливый взгляд ввергал в одни мученья,
То милосердного он полон был значенья.

Лик отвратит, и вот — прельстительна коса.
«Простите лик»,— твердит ее спины краса.

Ширин, узрев царя в алчбе кипучей, страстной
И честность в сей игре увидевши напрасной,—

Явила блеск спины, моленья отклоня:
Ведь белой серою не загасить огня.

Иль, может быть, явя в стыдливом бегстве спину,
В нем думала зажечь раскаянья кручину?

Не то! Ее спины слоновокостный трон
Напоминал царю, чтоб трон свой занял он.

А может быть, она так поступила, дабы
Он знал, что у любви есть разные михрабы.

Что странного? Одна исчезла сторона,
Сказав: прельстись другой, еще светлей она.

Игра лукавых дев: прогонят с глаз,— и рады
Метать в изгнанников приманчивые взгляды.

Суровый скажет взгляд: «Уйди»,— но, погляди,—
Взгляд утешающий сказал: «Не уходи».

«Нет»,— молвила, но, глянь,— «да» молвила б охотней.
За это я годов пожертвовал бы сотней!

ОТВЕТ ХОСРОВА ШИРИН

Глядит Хосров: Луна не хочет нипочем
Для страждущего стать внимательным врачом.

Дерзнул он вымолвить: «О нежащая души!
Свои укоры брось. Утихни и послушай.

И ты пила вино, и мне давала пить.
К чему ж мне пьяным быть, тебе же трезвой быть?

Трезва ли ты? О нет, ты в сладостном дурмане.
Ты ведь подобна мне; не думай об обмане.

Где пташка сердца? Где? Признайся, ведь она
Уж соколом любви в когтях унесена.

Коль тайну утаить ты в сердце мнишь,— терпенье
Зови: ведь с сердцем ты должна вступить в боренье.

Иль свертывай шатры,— и, протрубив отбой,
Беги с равнин войны к Капелле голубой.

От торга, что мечом ведется заостренным,
Спасаться и бежать дозволено влюбленным.

Ты знаешь: наземь тот повергнется в бою,
Кто не сумел сдержать заносчивость свою.

Ты сердцу своему, что жестко и упорно,
Дай приказание быть нежным, хоть притворно:

Коль скажет мне: «Я друг»,— за друга и приму.
Мне — будет радостно, не горестно ему.

Шутя предсказанный, благой удел сбывался
Нередко. В добрый час ряд нежных дел сбывался.

Сказал один мудрец в далекие года:
«Себе отрадное предсказывай всегда.

Коль устрашишься бед — прийти поможешь бедам,
Предскажешь доброе — оно возникнет следом».

Пусть твой рубин мне даст один лишь поцелуй.
Коль он запретен мне, его мне не даруй.

Но и молить о нем, губительна и яра,
Ты запрещаешь мне! Я в пламени пожара.

Мне страшно: раздирать свой завтра будешь лик,
Сразив влюбленного, что в горести поник,

И кровь моя хватать тебя за полы станет:
Кровь страстных не умрет и в просьбах не устанет.

Скажи мне: если ты быть нежной не склонна,
И в поцелуев счет игра тебе странна,

И целовать твой рот я не дерзаю строгий,—
Так что ж мне целовать, рукав твой иль пороги?

Мне поцелуй на срок — ведь я не нищий — дай.
О рте не говорю: для пробы пищи дай!

Дав поцелуй один, взамен получишь десять.
Торговля добрая! Всей прибыли не взвесить!

Харвары сахара припрятала к чему?
Открыла б лучше дверь стремленью моему!

Все разрешишь — на все получишь разрешенье,
Всего лишишь — сама изведаешь лишенья.

Пусть из ключа воды взял много водонос,—
Ключ, вечно льющийся, ущерба не понес.

Я — туча, влага — ты; не слит ли я с тобою?
И со своей душой готовиться ль мне к бою?

Индиец дерзостный твой локон: в свете дня
Нагрянув, начисто ограбил он меня.

Коль не управлюсь я с твоим индийцем черным,
Сам, как индиец-вор, я стану непокорным.

Хоть будет с топором к тебе ломиться вор,—
Лишь крикнешь на него — уронит он топор.

Но руку молодцу ведь не отрубят? Гладко
Все у него идет: есть воровская хватка.

Ты локона аркан на шею мне набрось,
Хоть дичью тощею разжиться довелось.

Будь покупателем — тебе продам я душу.
Будь кравчим — и вовек я пира не нарушу.

Тебя узрев, сдержать пыланье не могу.
Светильник дружбы я горящим берегу.

Кольцо твоих кудрей пусть на ухо мне ляжет!
Я — раб. Пускай твой рот купить меня прикажет.

Вести лобзаньям счет — вот сладостный удел!
Лобзанья дай! Считать их так бы я хотел!

Приди, чтоб вместе мы вступили в двери счастья.
Мы станем счастливы! Судьба полна участья.

Так сладостно дышать в сегодняшнюю ночь!
День завтрашний — в пути, его не превозмочь.

Платить наличными нам эта полночь рада.
Ждать одолжения грядущего не надо.

Брось локоном играть! Со мною поиграй.
Мне руку помощи сегодня ночью дай.

Я сердцем изнемог, меня здоровым сделай.
В свой райский сад принять меня достойным сделай.

Ты сладостней души, ты — радости поток!
Тебя в объятьях сжать мне предназначил рок.

Что сладостнее — уст иль ног твоих касаться?
Все может в сладости и в прелести равняться.

Все тело сладостно, и все влечет уста!
Да! Названа «Ширин» была ты неспроста!

Так сладость расточай, ликуя, не с оглядкой!
Не Сладостная ты, коль быть страшишься сладкой!»

ШИРИН СНОВА ОТВЕЧАЕТ ХОСРОВУ

Ответила Ширин: «Как беспощаден ты,
Прося пощады, шах! Не падай с высоты.

Молить вовеки шах не должен о пощаде.
С деянием худым ты должен быть в разладе.

Ты не ищи ручья, что честь мою умчит,
Ты об алчбы своей не жди во мне защит.

Ведь к цепи подойдешь один лишь ты, не двое.
Ты станешь пламенем, сгорю я, как алоэ.

Я сердцем ласкова была и без любви.
Меня, влюбленную, холодной не зови.

Когда б любви базар была моя дорога,
То радости с тобой я б испытала много.

Но в нард с самим собой поверь, играть нельзя.
И только радости в пути сбирать нельзя.

Полмира нам дано для радостного пира,
Для славы доблестной нам отдано полмира,

Зачем же у судьбы в неподчиненье быть
И двух прославленных бесславием покрыть?

Самих себя стыдясь, себя оглянем строго,—
Вот лучший путь. Наш стыд есть почитанье бога.

Муж! Женщину смирить желаньем не гори.
Коль мужественен ты, ты сам себя смири.

Тот, кто смирил себя, тот стал навеки славен.
Себя унизивший! Никто ему не равен.

Я деревцу сродни; во мне — я такова —
Есть розовый шербет и сладкая халва.

Сперва довольствуйся лишь розовой водою,
Халву возьмешь потом; все делай чередою.

Не думай о халве, ведь подали шербет.
Халву внесут потом, пока на ней — запрет.

Коль сахар есть во рту, то для чего же стану
Протягивать ладонь за сластью к Хузистану?

Настолько благостна прозрачная вода,
Что бурю пламени поборет без труда.

Но ежели вода покроет с головою,—
Погибельна, хоть будь она «водой живою».

От мной любимого привета не хотеть —
То значит жизни мне и света не хотеть.

Но лихорадочный, страдающий от жажды
Скорбит, что ел халву хотя бы лишь однажды».

ХОСРОВ УМОЛЯЕТ ШИРИН

И видит шах: Ширин, его слова поправ,
Не кротко говорит, забыв свой кроткий нрав.

Он молвит: «О Луна, горящая высоко!
Упрек друзей — не зло; страшусь ли я упрека?

Но как хвалить людей, в которых сердца нет,
Которые молчат молениям в ответ?

Я лишь к тебе стремлюсь, о Сладостной мечтая,
Любого поборю, тебя приобретая.

Я вижу: локон твой меня опутал. Ты —
Победу празднуешь, я — рухнул с высоты.

Ты клятвы не нарушь. Об этом ли толкуем?
Ты отрезви меня одним лишь поцелуем.

Хоть молви, что ко мне придет счастливый век:
«Хоть мертвым да пойдет на волю Мубарек».

Свиданий розами наполни мне кошницу.
Разлука стелет мне на ложе власяницу.

Пусть розы наших встреч мне свой шербет сулят!
О ты, цветник! Даруй ты мне хоть аромат!

В руке — твой локон; ты, опьянена,— причина
Того, что горькая умчалась прочь кручина.

С тобою пью вино — как радости не быть?
Ты здесь — ну как с тобой и сладости не быть?

Ты здесь — и золотым становится мой пояс,
И счастье светит мне, на радость не скупое,

Со мной расстанешься, что камень со змеей,—
Без розы буду я, ты — без колючки злой.

Коль сеть мою поправ, помчишься по раздолью,—
Расстанусь с головой, ты — с головною болью.

Вот сердце! На, бери! Коль хочешь, можешь съесть!
Я думал: друга нет, теперь я вижу — есть!

Когда твой светлый лик мне сердце жечь не будет,
Я сердце сохраню, но свет оно забудет.

Коль требовать мой глаз взаимности начнет,
Пускай мучительный почувствует он гнет.

Но если от тебя моя душа в истоме
Уйдет — невеста к ней придет лишь только в дреме.

Коль ты теперь пошлешь мне хоть один укор,—
Один твой волосок пресечь сумеет спор».

Уснул он, прошептав любовных слов немало,
И локон Сладостной рука его сжимала.

...Лишь кубок небеса пустили круговой,
Напиток пурпурный расплескивая свой,

Проснулся государь и кубок поднял снова,
Еще вчерашний хмель бродил в уме Хосрова.

И ухватила вновь его за полы страсть,
И пламени опять его зажала пасть.

Забушевал огонь вскипающей отравы,
Как будто бы напал на высохшие травы.

Ширин он сжал, сказав: «Я медлить не хочу».
Он будто на тахту натягивал парчу.

Спасен онагра бок от жадной львиной пасти:
Находчивой не быть у сильного во власти.

И, распялившимся увидевши царя,
«Не надо,— молвила,— безумствовать, горя.

Что распалять себя? Ведь жребий незавидный
Мне сделаться, о шах, в твоих глазах бесстыдной.

Не хорошо, что ты таким огнем объят:
Ведь с разогретых роз чуть веет аромат.

Коль господин с рабом в своих речах не сдержан.—
Соблазнам дерзостным его слуга подвержен.

Зачем пытаешься с рабами рассуждать,
Коль надо промолчать иль наказанье дать?

Царь, ежели под ним царевый конь хромает,
Как нужного достичь, смутясь, не понимает.

Когда минует срок твоей невзгоде,— верь,
Тобой любимое к тебе ворвется в дверь.

И пьяный для очей разумных не находка,
Коль с чашей он сидит, а на ногах — колодка.

Ты к царству устремись, а я в недалеке,
Ты в руку власть возьми, а я в твоей руке.

Венчанный! Без твоей быть не хочу я чести.
И честь твоя, и я — мы быть желаем вместе.

Честолюбива я, и под ноги тебе
Подвергну душу. Я — верна твоей судьбе.

Возрадуйся, ведь ты откроешь двери власти.
Ликуй, твой светел рок, минуют все напасти.

От царственных удач к любви пойдет стезя.
В тревоге отыскать сокровища нельзя,

С терпеньем ты найдешь все, что тебя чарует,
В покое обретешь ту, что покой дарует.

Язык, потом — слова; глаза, а после — свет.
Поднимется лоза, вино приходит вслед.

Не в яростном жару у мудрых дело зреет,
«От жаркой беготни козел не разжиреет».

Не должно мне, о нет, в изгнании твоем
Быть прихотью твоей, с тобою быть вдвоем.

Могу ли дружбою связаться я нестрогой,
Быть другом, что ведет недоброю дорогой?

Пусть ты и власть твоя — вы будете друзья,
Тогда, о шаханшах, с тобой сдружусь и я.

Боюсь, что коль во мне одна твоя услада,—
Меж царством и тобой останется преграда.

Коль будешь возвращен к могуществу судьбой,—
То буду я, увы, утрачена тобой.

Наследьем древним был весь мир в роду Хосрова.
Ему ль наследьем стать наследника другого!

Ты хочешь мир схватить — не медли же, не стой!
Завоеватели владеют быстротой.

Чреда верховных дел идет путем размерным,
Но царство должно брать ударом быстрым, верным.

В любого шаха ты попристальней вглядись,—
Решеньем быстрым он в свою вознесся высь.

Ты юн и мощен ты, ты создан для державы.
Ты родом царственен, прекрасный, величавый.

Стреножена страна: сбрось узы мятежа.
Очнись, и робкий враг покается, дрожа.

Индийца, что, напав, твои поклажи вырвал,
По-тюркски твой венец в мгновенной краже вырвал,

Ударь мечом — и прочь отпрянет голова!
Да канут все следы былого колдовства!

Рука царя, что все добудет в жизни нашей,
То быть должна с мечом, то с пиршественной чашей.

Ты должен меч поднять и кликнуть клич; ведь шесть
Пределов мира есть, и войска в них не счесть.

Удача, вымолвив: «С Хосровом рядом встану»,—
Направит камень твой ко вражескому стану.

Иль руку приложу я к делу твоему,
Иль руки за тебя в молитве подниму».

ХОСРОВ ПОКИДАЕТ ШИРИН И НАПРАВЛЯЕТСЯ В РУМ. ВЕНЧАНИЕ ХОСРОВА С МАРИАМ

И царь был распален ее великим жаром.
И на Шебдиза он вскочил во гневе яром.

Он грозно выкрикнул: «Меня не скоро жди!
Коль море иль огонь увижу впереди,

Клянусь: я от огня не отвращу Шебдиза,
И что его прыжку морей кипучих риза!

Не думаешь ли ты, что буду спать и впредь?
Ручаюсь: дремлющим Хосрова не узреть.

На высоту слона теперь я земли взрою,
И боевых слонов для смотра я построю.

И стану я, как слон,— могучий, грозный слон.
Я на подушке спал. Я ныне пробужден.

Я, все забыв, осла завел на эту крышу.
Свести сумею вниз! Я зов рассудка слышу.

Кувшин, что сделал я, теперь не берегу.
Сумел его слепить — разбить его смогу.

Меня ли разжигать, в меня вперяя очи,
Иль обучать гореть во мраке долгой ночи,

Неисполнением желанья устрашать,
Иль мужеству меня надменно обучать?

Моя любовь к тебе меня миров лишила!
О страсть! Тьму-темь людей она голов лишила!

Я знал бы, коль во мне ты не родила смут:
Опять края венца мне волосы сожмут.

Не голову ль мою поймала ты арканом?
Сняла его, но все ж я пленным был и пьяным.

Ты мне дала вина смертельнее огня,
И опьяненного связала ты меня.

И опьяненному твердишь ты: «Поднимайся,
На трезвого врага неистово бросайся».

Да, мы сразимся с ним! Я вражий сброшу гнет.
Но дай сперва уйти из тягостных тенет.

Душа, опомнившись, движенья захотела.
По следу двинусь я мне радостного дела.

Да, наставленье мне хорошее дано.
И совершится все, что ныне быть должно.

Ты мне сказала все о том, каков я ныне.
Ты мне поведала о зле, о благостыне.

В былом подвластен мне был необъятный дол.
Мой славен был венец, мой славен был престол.

В скитальца ты меня мгновенно обратила,
В того, кто в горестях бессменно, обратила.

Я был пришит к седлу любовною тоской.
Какой бы вихрь занес сюда меня? Какой?

Пока твоя приязнь сверкала мне украдкой,—
И речь твоя ко мне текла, как сахар, сладкой.

Тобою от любви я ныне отрешен.
На мой отъезд приказ тобою мне вручен.

Я знал, что я уйду, лишь срок укажет небо,
Ведь злонамеренным я гостем вовсе не был.

Был потчеван тобой,— и медлил потому.
Уйду, коль хлеба ты мне сунула в суму».

Гилянского коня направив из ограды,
Путем гилянским он повел свои отряды.

Сердитый на Ширин, он мрачен был, угрюм.
Поход ускоривши, направился он в Рум.

Он знал: стрела врага лететь в него готова.
Венца не стало. Шлем — вот он, венец Хосрова!

Он, зная, что пути оберегал Бехрам,
Скакал без устали по долам и горам.

Четырехкрылый был под ним орел; дракона
Хранил у пояса Бехрам! Страшись урона!

И вот к монастырю примчался он; монах
Ютился там. То был «Всепостиженья шах».

Ему грядущее немало дел открыло,
И для Хосрова он истолковал светила.

Все стало явственней. Он мудрый дал совет.
Он изреченьями открыл Хосрову свет.

И к морю поспешил Хосров, и переходы
Он делал о-дву-конь. И вот сверкнули воды.

Он гнать вдоль берега гнедого не устал,
В Константинополе кейсару он предстал.

И призадумался тогда владыка Рума,
И важное чело избороздила дума.

Удачею он счел для дома своего
Приезд Хосрова в Рум; и обнял он его.

Узнав, что в числах звезд приязнь, а не коварство,
Прибывшему решил свое вручить он царство.

И дать — хоть воздвигал он христианства храм —
Парвизу в жены дочь — царевну Мариам.

И меж владыками в ночь свадьбы было много
Условий скреплено; все обсудили строго.

О Мариам, о нем, кто счастья встретил свет,
О том, какой он смог румийцам дать ответ,

Как с Ниатусом он хитро, хвостом павлина
Построил рать, о всех походах властелина

Не стану говорить; о том сказал иной —
Бреду, а он уснул, пройдя свой путь земной.

Коль захочу я сбить былым рассказам цену,
Сказитель будущий собьет мне разом цену.

СРАЖЕНИЕ ХОСРОВА С БЕХРАМОМ И БЕГСТВО БЕХРАМА

Дни пиршества прошли, и начал собирать
Хосров Парвиз в поход обещанную рать.

Войска созвал кейсар; все, что сулил,— утроил.
Он, с золотым умом, все золотом устроил.

И собранных полков таков был грозный рой,
Что будто бы гора катилась за горой.

Железная гора, пыля, передвигалась,
Как будто, вся дрожа, земля передвигалась.

Шах оглядел бойцов, и тысяч пятьдесят.
Он отобрал; о них предания гласят.

Он вышел в ночь, решив связать Бехрама туго.
И чашею стал шлем, одеждою — кольчуга.

Когда Бехрам узнал, что поднят бранный клич,
Как сильный лев, решил добычу он достичь.

Но с лисьей хитростью судьба замыслит гибель,—
И сила льва — ничто. Какая в силе прибыль?

Лицом к лицу войска, мечи обнажены,
Средине и крылам приказы вручены.

Свист стрел и лязг мечей в своей звенящей силе
С ума свели бы львов, слонов бы умертвили!

Услышал бы мертвец литавров страшный вой.
От воя разум свой утрачивал живой.

Златоподкованных коней в рубинах брони.
То — кровь: она была на латах, на попоне.

И ржанье скакунов, чья полыхала грудь,
Вливало яростно в земное ухо ртуть.

И всадников мечи, как молнии, плескали.
Все львы воспрянули, внезапно зубы скаля.

Смерть бытию в тот час творила западню.
Сей гнев и Судному не мог бы сниться дню.

Смерть направляла в грудь и заостряла дротик
И закружила всех в своем водовороте.

Навис железный лес, мчит острия, грозя,—
И бегство поняло, что убегать нельзя.

В тех зарослях онагр от льва не знал спасенья,
А от клинков и лев не обретал спасенья.

Не ветер проникал под розы лепестки,
А под доспехи — стрел мгновенные броски.

Орлы кровавых стрел! У них, пробивших латы,
На крыльях коршуна написаны бераты.

Кольчугорезы, в медь вбирающие яд,
Кольчугоносцев сном погибельным поят.

И кровью — брызги ввысь до самых звезд несутся! —
Вкруг медных манджуков полны до края блюдца.

Ломались копья. Ветр, что так по ним рыдал,
К парчамам подлетев, им кудри распускал.

И, обезглавленных мужей увидя, в муке
Земля раскрыла грудь, заря раскрыла руки.

И перевязи все отброшены; рассечь
Один готов врага, другой — роняет меч.

Несется тюркский крик, труба ревет, стеная.
Что громче тюркского взывающего ная?

Распущенных знамен багряные шелка —
Огонь, струящийся по гущам тростника.

О, сколько здесь мечей! И кровь на них не стынет!
Не столько камешков раскинуто в пустыне!

О, сколько стрел в виски внедряет смертный яд!
Не столько листьев шлет на землю листопад!

И на спину слона воздвигли трон Хосрова,
И мощь его меча к сражению готова.

Пред яростным слоном стоял Бузург-Умид.
Он с астролябией; он срок определит.

Базар врага шумел. Но вот пришло мгновенье —
И на базаре том настало запустенье.

Тогда Бузург-Умид сказал царю: «Спеши.
Удачен гороскоп; все разом разреши.

Коль шахматной доской войны прельстился,— следуй
Вперед. Стреми слона. Ладьею бей с победой».

И царь погнал слона, и войско отстранил.
К Бехраму он летал, как закипевший Нил,—

И под слона поверг, промчавшись смертным логом,
Он слонотелого, взмахнувши слоноиогом.

Губителен врагу был завершенный бой.
Был награжден Хосров приязненной судьбой.

Текла потоком кровь, что битва источила,
И не мячи она, а головы влачила.

Как негра волосы, вились арканы; лих
Румиец каждый был, набрасывая их.

И с каждого врага мечом индийским смог он
Вмиг срезать голову, как бы индийский локон.

Как боль, что страждущим порой приносит свет,
Бехрамцев ужас жжет; для них спасенья нет.

Кого же увела спасения дорога?
Бехрама одного да раненых немного.

Бехрам был мощным львом, но бледен стал, понур.
Низвергнут он судьбой, как был низвержен Гур.

Не ждал ни ночью он, ни днем дурного глаза.
Да рок его обжег огнем дурного глаза.

Погибли все; гляжу — и смертный вижу пир.
Быть может, спасся тот, кто взор закрыл на мир?

Когда Бехрама в прах звезда повергла злая,
Хосрову радость он доставил, не желая.

Мир много гумен жжет как будто невзначай.
Сего забавника шутить не обучай.

Какой не вознесет он кипарис! Но скорбью
Он в час назначенный все кипарисы сгорбит.

Какой из красных роз, что нежно он взрастил,
Увянуть не дал он, какой не пожелтил!

Не все нам сахар есть, хоть сахар нам и сладок.
Пьем чистое вино, но выпьем и осадок.

Здесь подмели — твой дом, там подметают — свой.
Здесь об пол бьют ногой, там бьются головой.

Тут музыканта саз свои возносит звоны,
А там — прислушайся! — там плакальщика стоны.

Но звук — от скорби ли, от саза ли возник —
Под сводом, зримым нам, звучит лишь краткий миг,

Вселенной логово — все жгучее горнило —
От роз и от шипов следов не сохранило.

Ведь черно-белый конь наш мир задорно мчит.
Нельзя, чтоб он не бил ударами копыт.

На синем скакуне несется рок и разом
Наскочит; от него бежит в испуге разум.

Все на других, о друг, надеешься? Пойми,
Что все изменчиво; мир не в ладу с людьми.

Был на Бехрама зол небесный свод, и снова
На трон торжественно возводит он Хосрова.

Бехрама хмурого не к Чину ль путь повлек?
И где верховный чин? Его отринул рок.

Что ж! Небо ведь не раз венцы с царей снимало.
Под сей завесою таких забав немало.

ВОСШЕСТВИЕ ХОСРОВА НА ПРЕСТОЛ В МЕДАИНЕ ВО ВТОРОЙ РАЗ

Когда из знака Рыб луна свой лик взнесла,—
Луна парвизова в знак шахства проплыла.

Под благосклонных звезд благоприятным кровом
Хосров Парвиз воссел на троне бирюзовом.

И воссоздал тогда в пределах стран земных,
На радость подданных, он славу дел своих.

Когда великое собрал он царство снова
И вновь державных дел крепка была основа,—

Хосров свой поднял трон от праха до Плеяд.
Дал морю — жемчуга, земле — алмазный клад.

Таких сокровищ блеск не видел мир воочью.
Светлей, чем лунный луч, они сверкали ночью.

Как лев, свой занял он благословенный трон.
Благословения от храбрых слышал он.

Его печать прияв, мир позабыл томленье,—
И мира целого он видел мирволенье.

Его величие — сияния поток.
Второго солнца свет весь озарил восток.

И гул шумливого и радостного стана
От Балха людного дошел до Шахиджана.

И вот когда престол хосровов стал пригож,
Ресницы Сладостной свой начали грабеж.

И можно ль отвратить от сердца эту муку?
И как призвать сюда ту, что сразит разлуку?

Воздвигла Мариам Хосрову пышный трон.
Тем троном был Иса к зениту вознесен.

Но пусть владычества достиг он, словно клада,—
Подруги не было,— и где была услада?

Я знаю, радости он знал от Мариам,
Но дух летел к другой, неистов и упрям.

То с чашей горькою стенал он: «Где ж удача?»,
То чашу сладкую пригубливал он, плача.

То сердцу говорил: «Чем жар твой возбужден?
Любовь тебе мила иль падишахский трон?

Любовь и царство! Нет, им не ужиться рядом!
Иль к царству устремись, иль к сладостным отрадам.

Встарь барсу неким львом совет был мудрый дан:
«Ослицу на приплод пусти или в Зенджан».

И если, взявши трон, я не вздыхал бы сиро,—
Моя душа сполна все получила б с мира.

Но должен я купить, коль спит счастливый рок,
За сто хотанских царств любимый волосок!

Я с милой спал в саду, луна была на небе.
Мне ложе сторожил недремный светлый жребий.

Уснул счастливый рок,— и пробудился я,
И сердца не нашел. Где милая моя?

Где радости пиров, звенящих вновь и снова,
Цветущий рай, не мгла пристанища земного?

Где созерцание луноподобных лиц?
Где пребывание с царицею цариц?

Где сладкая Ширин и сладкие реченья,
Как бы сладчайших вод сладчайшие теченья?

Где та бездремная полночная пора?
Где сказок череда, что длилась до утра?

Где розы лепесток тугой, сахароносный,
Харвары сахара, что собран с розы росной?

Где руки, что плели среди дворцовых стен
Серебряных тенет благожеланный плен,

И розы сладостной к щеке прикосновенье,
И гиацинтов кос плетенье, расплетенье?

О, где объятий жар, где ласковость Луны
В безлюдье, в сладкий час полночной тишины,

И кубок, данный мне с приветом и любовью,
И час, когда я ник к блаженства изголовью?

Слова, что молвил я, слова, что слышал я,—
Мне сон их нашептал или мечта моя?

Твердят мне: «Весел будь. Ты — солнце; ни обида,
Ни скорбь не омрачит древнейший трон Джемшида».

Но как же наполнять мне сладким смехом рот?
Ютятся стоны в нем; им наступил черед.

Кого мне призывать? К каким взывать усладам?
Злой ветер пролетел моим весенним садом.

«Ты малодушен был!» — смеется надо мной
Рассудок мой, дразня, мой разжигая зной.

Враги отсутствуют — расти удачи стали,
Мой друг отсутствует — и множатся печали.

Незоркий соловей! Твой неудачлив рок:
Ты гнездный пух сменил на шелковый силок.

Без пользы я стремлюсь к садам великолепья:
Дал ноги оковать я золотою цепью.

Мне цепи не сорвать! Узка моя стезя!
Мне с цепью улетать к возлюбленной нельзя!

Коль дела об одной мы с сердцем не рассудим,
То как же, царствуя, страдать по стольким людям?

Сто утешителей мне надобно иметь.
Сто горьких горестей возможно ли терпеть?

Я на себя с ослов перелагаю грузы,
Посмешищем ослов от этой став обузы.

И солнце и луна — они горят костром,
Сдружившись над земным раскинутым ковром.

Рассеянна душа,— и мраком все одето,
Рассеян сердцем был,— и вот не стало света.

Пусть полон синий сад цветущих звезд игрой,—
Не мощен звездный свет: ведь звезд разрознен рой.

Рассеян свет свечи,— и в нем не стало жара,
Сосредоточенный — властнее он пожара.

Не хочет сердце, нет, чтоб царством правил я.
А с сердцем враждовать не хочет мысль моя.

Вновь сердцу суждена с судьбою темной схватка,
Ко мне, окрепшему, вернулась лихорадка.

Мышь в норку ящериц пробраться не смогла,—
И глупой ко хвосту подвязана метла.

И так уж черный негр обличьем не прекрасным
Страшит, а заболев, он делается красным».

Себя корит Хосров, к себе взывает он:
«Ты силу получил, ты властью осенен.

А коль имеем власть, судьбу смиряем нашу.
Ты властен — женщина с тобой поднимет чашу.

Не должен человек с собою в распре быть.
Всевластный может ли о власти позабыть?

Власть у тебя — и страсть все обрести готова.
«Власть» — лучшего судьба найти не сможет слова.

Все достижения всевластному легки.
Зерном ведь всяких птиц заманишь ты в силки.

Для пропитания посеяна пшеница,
Сей снова, а трава с ней рядом уродится.

Есть власть — и беды все мы можем превозмочь.
Пускай безвластие от нас умчится прочь!»

Так с сердцем пламенным не раз он вел беседу.
Когда придет любовь — терпенья нет и следу.

Но твердо протерпел он разлученья срок,
И час пришел: зарю к нему направил рок.

СТЕНАНИЯ ШИРИН В РАЗЛУКЕ С ХОСРОВОМ

Так в книге начертал великий мастер слова,
Тот словомер, чья речь готова для улова:

Ширин, когда ее оставил шах одну,
Была как бы в цепях, была как бы в плену.

Из влажных миндалей шли розовые струи,
К цветущим миндалям стремясь, как поцелуи.

Овечкой бедною, зарезанной она
Упала в трепете, отчаянья полна.

И в ней не стало сил; она лежит устало.
И с муравьиный глаз ее сердечко стало.

Смел ветер урожай, развеял полный ток!
И наземь ниспадал кровавых слез поток.

Запуталась в силках. Где милый? Стал далек он.
Она в смятении, как беспокойный локон.

Разлука стелет ей свой горестный рассказ.
Колени в жемчугах из моря черных глаз.

То падает она,— пьяна или от муки,—
То в исступлении заламывает руки.

Уста безмолвствуют, иссушен бедный рот.
Сидит у ручейка, что из очей течет.

Прекрасный кипарис дрожит, как листик ивы.
Что мускус рядом с ней и нежный мех красивый!

Вот на земле она. Лежит, как смятый злак,
И мускусных кудрей разбрасывает мрак.

Ногтями, что сродни лишь лепесткам несрина,
Терзает розы щек. О горести пучина!

На сахар уст ключи из миндалей пошли.
Уннаб! Он ноготков кусает миндали.

То мечется, как мяч, свою смиряя рану,
То изгибается, подобная човгану.

Весна — огнем луны преображенный путь —
Уж распадается как пролитая ртуть.

В ночных набегах мук ее души дорога,—
И лагерь сердца пал,— но мук в засаде много.

И прянули они из мрака на конях,
Терпенья первый полк они разбили в прах.

От корня печени до сердца — разграбленью
Все было предано, все предано томленью.

Султан души разбит; насилу спасся он,
Свой препоясав стан, приветствуя полон.

То день она кляла, когда заныло сердце,—
Как бессердечная, в сердцах бранила сердце,

А то кричала: «Рок! Ты горшей с той поры,
Как существует мир, с людьми не вел игры!

Все, что желанно мне, о чем томлюсь в разлуке,
Ты выхватил из рук, сперва давая в руки.

Ширин! Твоя нога задела ценный клад,
Но за находку ты не видела наград.

Весне открывши дверь, сама, ветров усердней,
Убила ты весну, схватив колючки терний.

Ты светоч избрала из светочей, и свет
Его задула ты,— и светоча уж нет.

К живой воде пришла, и вмиг вода пропала
За то, что с жадностью ты к влаге не припала.

Что у печи нашла? Пылание огня.
Он истомил тебя, все милое гоня.

И ныне ты в огне и в тяжких клубах дыма.
Без нужды ныне ты отчаяньем томима».

То с неба возвещал ей благостный Суруш:
«Ты чаемого жди. Есть утешитель душ».

То див страстей ей мозг укором жег суровым:
«Должна были, Ширин, ты мчаться за Хосровом».

Пробыв немало дней в отчаянья краю,
Ширин в другой предел направила ладью.

С дорожной пылью рок ее сродняет строгий.
Она минует пыль мучительной дороги.

И ко двору Бану приблизилась она.
И стала для Бану ее тоска ясна.

Душа Михин-Бану рыдающей внимала.
Разумных слов Ширин услышала немало:

«Немного потерпи, твоя пройдет беда.
Ты цепью скована, поверь, не навсегда.

Что быстросчастной быть, как роза? Будь мудрее.
Тем раньше рухнет мост, чем водный ток быстрее.

Взгляни, дано мячу и падать и взлетать.
Знай, всякий, кто упал,— поднимется опять.

Прозябнуть, а потом — взрасти всем должно зернам.
В срок все, что связано, развяжет рок проворно.

Желанье сладостней, когда его я длю.
Все быстропьющие — мгновенно во хмелю.

Кто понукать коня для бега не устанет,—
Обгонит всех. Потом — от спутников отстанет.

Осел, что шестьдесят легко взял менов,— он,
Приняв еще пяток, не будет утомлен.

А тучи, что летят, как мчащиеся бури,
Все выплачутся вмиг,— и нет уж их в лазури!

Дух в нынешней беде смирением одень.
Кто знает, что тебе пошлет грядущий день?

Ты унижения была сносить готова,
Немало горестей терпела от Хосрова.

Он бесполезен был? Что ж! Скорбь угомони.
Бояться нечего: не съедено яхни.

Настал терпенья час, и счастье светит скудно.
Не торопись, ведь вверх воде взбираться трудно.

Когда придет пора воде помчаться вниз,—
С ней счастье потечет, к тебе придет Парвиз.

Ты скажешь: «Я добро и зло постичь сумела»,
Когда своим ключом раскроешь створки дела.

Сине-зеленою нам кажется парча,
А в складках скрылся цвет багряного луча.

Немало мест, что нам простой землею мнятся,
А там и бирюза и яхонты таятся».

И удалось Бану — кто был бы ей под стать? —
Кумир, что без четы, с терпеньем сочетать.

И опытный Шапур, властитель изречений,
Привел ей несколько тончайших заключений.

И сердце жаркое в покой заключено,
О милом памятью утешено оно.

Ширин сносила дни, что горестно летели,
Без счастья прочного, без сердца в нежном теле.

ЗАВЕЩАНИЕ МИХИН-БАНУ

Бану тоску Ширин стремилась превозмочь.
Опять ее Луна должна украсить ночь.

Но к благу бытия пресытившись любовью
Она, призвав Ширин однажды к изголовью,

Ей подает ключи: «Сокровища принять
Готова будь, Ширин, твоя уходит мать».

С недугом тяжкий спор стал глуше, бесполезней:
От благоденствия Бану пришла к болезни.

Недуга быстрого ее промучил зной;
Отвергло тело — дух, дух — мир отверг земной.

Рок разлучил ее с отрадой жизни краткой,—
И мир столь сладостный она вручила Сладкой.

Ушел ее закат за черный небосклон,—
И в землю снизошла, покинув царский трон.

То мирозданья власть; иного нет удела.
Всем веснам свой предел земля иметь велела.

Хоть склянка из камней, но склянка не снесет
Удар кремня, и все свой обретет черед.

Судьба творит стекло, иначе не бывает,
Но каждое стекло она же разбивает.

Пусть мудрая пчела скопить сумела мед,—
В чем польза, коль сама весь этот съела мед?

Вкруг зримого всего не вихри ли завыли?
Ты зримым не пленись: оно — пригоршня пыли.

И ветер, налетев, раскинет складки риз.
И травы разметет, и сломит кипарис.

В основу ветер взят, и вот — жилье готово.
Не радуйся жилью: плоха его основа.

Из-за чего в силках ты бьешься? Посмотри:
Нам дан гнилой орех, лишь пустота внутри.

Как заяц, как лиса, прельщаться ль в жизни краткой
Сном рока заячьим да лисьею повадкой?

Охотники на львов! Их мощный ряд — не мал.
Но сей лисице барс их в должный срок подмял.

Я взором опыта на мир взглянул,— и что же?
С чесанием руки все наслажденья схожи.

Так хорошо руке! А тронь, а снова тронь,—
И скоро руку жжет мучительный огонь.

Хоть сладостно пьянит благая чаша мира,
Похмелье — лишь оно останется от пира.

Забудь свою печаль: ее не стоит свет.
И радости твоей твой мир не стоит, нет!

Уставил яства мир направо и налево,—
Но вкусишь только то, что умещает чрево.

Сто кладов у тебя иль только лишь динар,—
Лишь то, что сможешь съесть, от мира примешь в дар.

Пока во здравье ты, пока не стал ты хилым,
Твой дух всем сумрачным противостанет силам.

Коль поколеблен дух, коль в нем не стало сил,—
Напрасно бы у звезд здоровья ты просил.

Твой улыбнется рот земному пепелищу,
Коль естество твое усваивает пищу.

Коль человек взомнит: «Уж мне надежды нет»,—
Путей спасения он забывает след.

Мир и дела его — все кажется мне ядом.
Ешь осторожно снедь; мирским не верь усладам.

О жадный! Кто жадней могильных злых червей!
Ты пояс подтяни, как скромный муравей.

Недуг обходит тех, кто скромен, а сегодня,
Как и вчера, умрет обжор дебелых сотня.

Не надо истреблять чрезмерно много трав,
Иль станешь ты искать лекарственный состав.

Коль будешь хлеб вкушать, как долю гюльшакара,
Ты дело не отдашь в неволю гюльшакара.

Как роза, блещет все, что не пошло на снедь,
Но съеденным плодам уж не блистать, а тлеть.

Зачем стяжаешь ты, коль жизни ты не просишь?
Спеша к мирским делам, зачем ты их поносишь?

Тому дает покой житейский горький дол,
Кто в нем подобно мне приюта не нашел.

Кто поселился в нем, тот должен на потребу
Иметь хоть горсть воды к ниспосланному хлебу.

Ты, смятой глины ком,— в смятении не будь!
Ты — прах, но пусть твоя не изнывает грудь!

Стыдится мир того, кто может из-за мира
В уныние прийти, чей дух блуждает сиро.

О пропитанье, друг, ты не имей забот:
Кто жизнь тебе послал, тебе и снедь пошлет.

Как небо ни хитро, как небо ни зловеще,—
Две клячи — день и ночь — оно посменно хлещет.

Знать, о-дву-конь езда ему на ум пришла —
То отседлает свет, то сумрак у седла.

Коль унесен отец сей горестной стремнине,
Как сыну, в свой черед, не близиться к кончине?

Когда индийца — мир — убьет наследник, он
Клинком отмщения не будет поражен.

В ладу с индийцем ты, отца убившим? Воин!
Как не бесстрашен ты,— быть сыном не достоин.

Кинь горбуну стрелу в изогнутый хребет!
Он весь твой род убил, в нем снисхожденья нет.

Пока небесный свод свой лук тугой имеет,—
Жир нагулять себе добыча не сумеет.

Коль по траве олень идет к приюту льва,—
Клинками острыми становится трава.

Ты ль в безопасности? Подумай, друг любезный,
Ведь за тобою — смерч, а пред тобою — бездна.

Страшись! На сей реке спокойствия печать,
Но ей дано людей спокойно поглощать.

Найти ль цветущий сад, что, побежденный днями,
Не стал бы пустырем с обглоданными пнями?

Пред мудрецом наш мир не горестно ль возник?
Кто сладостно живет, тем горек смертный миг.

Тот, кто весь этот свет со скорбью озирает,
Тот, светочу сродни, сияя, умирает.

Взлюбивших мир сравню с кустом цветов лесных:
Лобзают руки тех, что обезглавят их...

Вот проповедник наш, кричит он: «Как солому,
Брось мир,— я подниму, он пригодится дому!»

А вот подвижник наш, в сто человечьих сил
Он молвит: «Скинь его, чтоб я его носил!»

Но если хрупкий мир — расколотая чара,—
Все царства на земле не стоят ни динара.

Гостинец пустоте, небытию припас,—
Та сущность чистая, что обитает в нас.

Сказали мудрецы всезнающие: «Верьте,
Кто плох, а кто хорош,— узнается в день смерти».

Есть женщины, они — мужи в предсмертный миг.
Иной дрожащий муж от смерти прячет лик.

Творец! Когда наткнусь на камень и с разлета
Нырнет моя ладья во мрак водоворота,—

Ты одари меня, под кров благой возьми,
Успокоением возрадуй! Низами.

ВОЦАРЕНИЕ ШИРИН

И перешла к Ширин Михин-Бану держава.
От Рыбы до Луны о ней сверкнула слава.

И справедливости возрадовался люд.
Былые узники свободный воздух пьют.

Все угнетенные забыли время гнета:
Ширин с времен своих отбросила тенета.

Уж не взимался сбор у городских ворот,
Налогов не платил за пажити народ,

Облагоденствовав и город и селенья,
Ширин, не ждя даров, сыскала восхваленья.

И вот и перепел и сокол уж друзья,
И даже волк с овцой встречались у ручья.

Народ, и дальних мест и живший недалеко,
Царицу полюбил бесхитростно, глубоко.

Обилье все росло, все ширилось оно.
Сам-сто смогло давать единое зерно.

Добра исполнен шах — и щедрых трав цветенье
Рождает не цветы, а ценные каменья.

У злонамеренных сады иссушит рок.
Добра исполнен шах — и путь его широк.

И ширь и тесный лог в его краю счастливом
Гордятся временем и шахом справедливым.

У шаха, коль он — шах, дух не снует во тьме.
Нет злодеяния у шаха на уме.

Но о царе царей к Ширин не мчатся вести.
Хоть царство у нее, но сердце не на месте.

Хоть кейхосровову она имеет власть,
В пустыню смотрит взор, а в этом взоре — страсть.

От караванов ждет и ждет, сгорая, снова
Живительных вестей о странствии Хосрова.

Узнав, что счастлив шах, что, как Юпитер, он
От праха до Плеяд свой прежний поднял трон,

Она рассыпала сокровища,— и люду,
Законы дружбы чтя, их раздарила груду.

Но весть о Мариам ей муку принесла:
Законы Мариам строжайшие блюла.

И в Руме Мариам принудила Хосрова
В великой верности дать клятвенное слово.

Ширин, поведавши о горести такой,
Вздыхая горестно, утратила покой.

«Судьба,— твердит она,— мне все свершает на́зло».
Ширин, как мул в грязи, в страданиях завязла.

Она царила год, храня свои края,
Ни птахи не спугнув, щадя и муравья.

Как мрак разбойных глаз, и сердце стало темным,
Как буря локонов, и дух стал беспокойным.

Ширин устрашена: ее тоска вот-вот
Честь справедливых дел в смятении сметет.

Другого не нашел сей кипарис исхода,
Чтоб чистым был диван, как в дни былого года,—

Как только, что сиял пред ней один — Хосров,
Причина всей тоски и всех кручин — Хосров.

Решительности нет, ее душа устала.
Ведь твердости всегда влюбленным не хватало.

Наместник принял власть и все свершал один.
Ношением венца пресыщена Ширин.

ПРИБЫТИЕ ШИРИН В МЕДАИН

Гульгун навьючен; в путь пуститься вышло время.
Ширин в седле, Шапур ее хватает стремя.

Ширин сбиралась в путь, окружена гурьбой
Красавиц; только тех взяла она с собой,

От коих в дни трудов и в час досужий смеха
И помощь ей была и светлая утеха.

Динары и парчу с собой она взяла,
Четвероногих взять приказ она дала:

«Верблюдов и коней, овец, коров!» И долам
Дано наполниться потоком их веселым.

К чертогу горному спешит она; стада
За нею тянутся, как зыбкая гряда.

И в раковине блеск вновь затаился щедрый.
И драгоценный лал вновь погрузился в недра.

Индийской топи мгла клад убрала от глаз,
В кремнистый лог тоски запрятался алмаз.

Но от жемчужины блеснул окрестный камень.
Так мрачный храм огня вмиг озаряет пламень.

От лика Сладостной, что розовей весны,
Тюльпаны меж камней нежданные видны.

От пламени Ширин, что разгорался яро,
В горячем воздухе все больше было жара.

И царь, проведавши, что друг невдалеке,
В надежде возомнил: срок миновал тоске.

Но страх пред Мариам сражал огонь порыва:
Глядела Мариам в глаза его пытливо.

Не знал он, как завлечь Ширин в свой паланкин,
Не ведал, как бы мог он встретиться с Ширин.

Лишь вестью о Луне, лишь ветром он доволен,
Что плыл с ее пути. Он вновь любовью болен.

Взывая каждый миг: «Где милая моя!»
Он извивается в томленье, как змея.

ХОСРОВ УЗНАЕТ О СМЕРТИ БЕХРАМА ЧУБИНЕ

Заря взошла на трон. Отряд прекрасных, схожих
С румийцами, блеснув, напал на чернокожих.

Юсуф нес апельсин,— и расступилась мгла.
Зулейха — лунный свет — от счастья умерла.

Взглянул с приязнью рок. Забыв потоки крови,
Расправил он свои насупленные брови.

Был бирюзовый свод раскрыт, оповещен
Был о победе мир,— и радовался он.

В те дни, отгородясь от возгласов и гула,
Земля от злых бесчинств и распрей отдохнула.

Предвестием благим вздымался звездный кров,
Когда свой царский трон восстановил Хосров.

Шатра Хосровова сверкающие ткани
Возвысились: небес их подтянули грани.

Кейсар, хакан, фагфур, свой потупляя взгляд,
Вкруг царского ковра почтительно стоят.

Вельможи областей, пройдя царевы сени,
В чертоге тут и там склонялись на колени.

А стражи, царственный боясь увидеть взор,
Лишь на ноги свои уставились в упор.

И каждый, кто знавал, как меч разит с размаха,
От страха не дерзал и поглядеть на шаха.

Каменья поясов так озаряли ночь,
Что дерзновенный день ушел понуро прочь.

На пышных воинов глаз поглядел бы в страхе:
Слоны! Их пояса тянулись на фарсахи.

Водою стал огонь: у смелых стыла грудь,
И золото речей преобразилось в ртуть.

Был с юным фарром шах, сидевший на престоле,
И, юный, думал он о светлой царской доле.

Был охранен Хосров: гулямы с двух сторон
Построили ряды, оберегая трон.

И золотых рядов глубокое молчанье
Преображало их в узоры изваянья.

И трон был утвержден, и распрям был конец.
И для приема царь всем растворил дворец.

И вот раскрылся вход, лишь утра глянул глянец,—
И во дворец вошел ликующий посланец.

Пал наземь он, затем сказал, расправив грудь:
«Ликуй! Над миром ты царем для мира будь!

Знай золотой удел, златым престолом данный!
Царь! Чубине удел достался деревянный.

Дом деревянного со счастьем незнаком.
От твоего врага Бехрам очистил дом».

О черством сердце дней, что всех разит упрямо,
Царь притчу вымолвил, припомнивши Бехрама:

«Рок палкой бил меня, а страж небесный, злой
Лишь в колотушку бил. И все мне было мглой.

Но дерева судьбы ко мне пропала злоба,—
И деревянного Чубин добился гроба.

Не только сей Бехрам, но и великий Гур
Ушел от мира в дол, что сумрачен и хмур.

Коль Гура мощного приют последний — яма,
Что сотни черепов! Что этот прах Бехрама!

Покуда жил Чубин, судьба его блюла,
И силу вдастную она ему дала.

Где лев, что, нам грозя над бранною равниной,
На нас кидаться мог со всею силой львиной?

Где меч, что был огнем, что был исполнен сил,
Что знамени Каве удары наносил?

Из рода львиного мужей больших немало
Смущала злая кознь и по ветру пускала.

И множество волчат по наущенью лис,
Чтоб их добычей стать, в тенета забрались.

Над волком властвовать лисицы не могли бы,
Не видя злую сеть. А волк — пред ним лишь рыбы!

И шахов множество совет говорунов
Не во-время к вражде был обратить готов.

Порой сердец владык от мысли недозрелой
Не ткани пышные касаются, а стрелы.

Спадет венец с того, кто смотрит гордо ввысь.
Своею мощностью ты, мощный, не гордись.

Хоть загорается лампадный свет от масла,
Но масла много влил — лампада и погасла.

От порчи нашу снедь предохраняет соль,
Но сыпать в меру соль ты руку приневоль.

Ешь столько, чтоб не внять болезней злым угрозам,
А то и плод хурмы покажется навозом.

Как бедный ты живи: запретное другим —
Тебе дозволится, окажется твоим.

Душе живущего в черте земного града
Спокойно принимать и грусть и радость надо.

В край неназначенный не устремляй свой взор.
Ног не вытягивай за собственный ковер.

Морям не подражай — там ширь ветрами взвита.
И выше своего ты не взлетай зенита.

Познаньями хвались, в неведенье — молчи.
Циновки вяжущий не сможет ткать парчи.

Слыхал: «Миробалан идет миробалану,
А сахар — сахару»,— премудрым вторить стану.

И люди заводить все снова не должны,
Пуская на ветер весь опыт старины,

Светильник прадедов каменьями ломая,
Пожитки у сирот бесчинно отнимая.

Посеяно зерно — и уродится плод.
Всем ведомо: зерно — грядущего оплот.

Не каждое зерно родит прямое древо,
Не в каждой арфе есть прельстительность напева.

Немало лун на мир свой поднимало меч,
Но было велено их тучами облечь.

Ты славой льва не льстись. С него все спросят грозно.
За кровь ответит он, ответит, хоть и поздно.

От полунегра — прочь; глянь — черно-белый конь
Под ним; двуличен он, он — барс, его не тронь.

Быть не должно ни в чем насилье применимо.
Насильники и власть — всегда их дружба мнима.

Проведав, что осел попал на сеновал,
Ведь я б не об осле, о сене горевал.

Как мухе не узреть в халве всю роскошь пира?
Ворону ль убивать за ягодку инжира?

Что золотом чужим свой золотить дворец?
Ты, веры не внушив, истратишься вконец.

Храни в базарный день прилавок свой богатый
Ты от белильщика, от брызг с его лопаты.

Ты не молчи, узнав исход плачевных дел.
Молчаньем предаешь,— того ли ты хотел?

Слыхал я: на цепи сидел мудрец, по виду
Безумный, и терпел порою он обиду.

Задразнит мудреца шумливый круг ребят,—
Бросает камни он, в мужей они летят.

«Ты оскорблен детьми,— твердят ему,— за что же
Мстишь старикам? Ответь, на что сие похоже?»

Он отвечал: «Детей ваш подбодряет смех,
И дети не хотят искать иных утех».

Что царская рука, взбешенная ногами,
Снимает голову, вы ведаете сами.

С презреньем не взирай на бедняка, ведь он
В своих глазах всегда почтеньем окружен.

Ты в людях неплохих не замечай порока.
Ценить их не учись ты у дурного ока.

Один ищейка-глаз в них видит лишь порок.
Взор ворона заметь, не зри павлиньих ног.

У самого тебя слова полны ошибок,
Так не пеняй другим, что их язык не гибок.

На собственный порок ты взглянешь только раз,
А на порок других взираешь сотней глаз.

Не хуже зеркала людей пороки ищешь,
Бесстыдство зеркалу ты предоставь, дружище!

Ведь все же зеркало и честь людей хранит:
Заглазно никого оно ведь не хулит.

Черно лицо того, кто, и не встретясь с вами,
Все ж наизнанку вас вмиг вывернет словами.

Ты не хули врага: ведь коль бессилен он,
Ты, победив его, не будешь вознесен.

Пред зайцем золотым, что на клинке кинжала
Художник вырезал, ты не кичись нимало.

Ведь если б храбрый лев сей поднимал кинжал,
Он зайцев множество кинжалом бы сражал.

С презреньем не гляди на гладь реки безмерной,
Река сумеет стать свирепой и неверной.

Ты не ласкай огня, что свет тебе сулит,—
Наступит час, и вмиг сто житниц он спалит.

Не веселись, коль лев раздвинул пасть в улыбке:
Его клыки — мечи. Раскаешься в ошибке.

Храбрец, о ком идет великая молва,
Льву уподобится, лишь выступив на льва.

И коль пошел Бехрам на храбрый бой с Хосровом,
Он славен, как Хосров, своей враждой с Хосровом.

С не меньшим, чем ты сам, ты, друг, себя сравни,
Иль, свергнутый, в позор свои повергнешь дни.

С великим чти союз, с собой по духу близким:
В союзе с низкими сам сделаешься низким.

Акула хороша: меж бурных волн снует.
А рыбки мелкие — в затоне мелких вод».

И вымолвил Хосров немало слов, что схожи
С прекрасным жемчугом,— и плакали вельможи.

Печальным в этот день Хосров покинул трон.
Ключ розовой воды лил из нарциссов он.

Три дня с Бехрамовым он призраком прощался.
Ни с троном в эти дни, ни с чашей не общался.

ХОСРОВ ПРИЗЫВАЕТ БАРБЕДА

Был на четвертый день возобновлен прием.
Вновь песня громкая разносится кругом.

Длань — море: нет конца дареньям и наградам.
Земля в жемчужинах подобится Плеядам.

Усердьем кравчих царь, пируя, опьянен.
В томленье по Ширин все забывает он.

Приказывает шах призвать на пир Барбеда:
Тоску лишь музыка излечит, не беседа.

Как пьяный соловей, является Барбед.
Переливается в его руках бербет.

Запас ладов явить решается не весь он.
Лишь тридцать отобрал он сладкозвучных песен.

Ладами тридцатью, что льются, как вино,
Ему пьянить людей и радовать дано.

Когда в бербет он бил, то высохшее древо
Рождало влажный звук текучего напева.

Когда запел он песнь: «Дареный ветром клад»,—
Его уста дары рождали с песней в лад.

Когда же «Клад Быка» запел он,— звуков сила
Добилась, что земля все недра растворила.

Когда «Спаленный клад» он спел, то вздохов жар
Сто кладов мог спалить, родясь от звучных чар.

Когда певец запел свой «Занавес жемчужный»,
То жемчуг просверлил Барбед, с бербетом дружный.

Когда «Такдисский трон» он заиграл, то рай
Раскрыл свои врата, в свой призывая край.

Когда «Престольный» он запел и «Колокольный»,—
Колоколам внимал с престола шах довольный.

Когда он сладость пел «Каусова ларца»,
То сладость эту песнь лобзала без конца.

Когда раскрыл уста, чтоб «Месяц над вершиной»
Запеть,— уж месяц плыл небесною долиной.

Когда он «Мускус» пел, то, ароматом пьян,
Был мускусным чертог, был весь чертог — Хотан.

Когда он развернул напев «Убор светила»,—
Убор на много дней светило сохранило.

Когда он «Полдень» спел, всех озарив огнем,
То мудрость, все забыв, очнулась только днем.

Когда «Все в зелени» он начал,— в юной неге
Проникли в желтый сад зеленые побеги.

Когда, сверкая, спел «Дворец румийский», он,
То золотом дворца был каждый одарен.

Когда звучал напев «О кипарисной роще»,
То роща лучшая ветрам казалась тощей.

Когда же «Кипарис» он начал петь,— любовь
Явив, дал кипарис ему берат «на кровь».

Когда всех полонил он «Сладостным напитком»,
Весь хмель от сладких вин он возместил с избытком.

Когда Барбед запел «О счастье душ», то рок,
Перед певцом склонясь, от счастья изнемог.

Когда Барбед сказал: «Напев «Новруза нега»,—
Новруза радости достигнул он с разбега.

Когда «Дворцовый» пел,— он мускус выжимал,
Он мускусом чертог дворцовый овевал.

Когда он «Михргани» раскинул в людном стане,—
С людских сердец он взял, их заласкавши, дани.

Когда он загадал на «Добрый знак»,— весь год
Все знали: будет благ небес круговорот.

Когда «Цветы ночей» в полуночь зазвучали,—
К ночной молитве вмиг земные дали встали.

Когда он затянул «Благую ночь»,— такой
Еще никто не знал полуночи благой.

Когда сдружился он с «Блаженным днем»,— настали
Блаженные часы, мгновенья заблистали.

Когда «Охоту» спел, то стали, слыша клич,
Все, сходные с Зухре, как пойманная дичь.

Когда он заиграл «Взор горной куропатки»,—
Он всех, пленяя взгляд, сразил в певучей схватке.

Когда он подхлестнул «За Сиавуша месть»,
То в уши кровь текла, взывали души: «Месть!»

Когда вознес Барбед «Месть за Иреджа»,— снова
Месть за Иреджа мир зажечь была готова.

Когда «Садов Ширин» рассыпал сахар он,—
Плод горький сладостью его наполнил звон.

Так, светлой радости сказавшие: «Воскресни!»,
Барбед на быстрый лад пел радостные песни.

Все лучше пел Барбед, покуда не затих.
И сотню раз Хосров Барбеду молвил: «Зих!»

Блестящего таков был месяца обычай:
При каждом «зих» певец был с блещущей добычей.

За песню каждую в тот вечер и за трель
Все новый получал он с золотом кошель.

За каждый лад, что был с пропетой песней дружен,
Он получал кафтан в узорах из жемчужин.

Да, коли ты в нужде слыхал бы слово «зих»,
Золототканый ты надел бы снова зих.

А днесь, и вознесен, оставь свои надежды.
У горла шерстяной не затянуть одежды.

Все ж в помыслах пари, а шею гнуть — к чему?
Всех дарственных одежд ты с шеи сбрось тесьму.

Глаза алчбы закрой, сживайся с каждым горем.
Я — капля, но тебя быть научу я морем.

К себе сокровищем венчанных я влеку,
Соломинки не взяв на царственном току.

Я не храню мошны, лишь речь моя богата.
Царь злата не давал, и не просил я злата.

Лишь тем довольствуюсь, что в целый мир проник,
Что мной одарены и море и рудник.

О Низами, забудь про пышные одежды!
Отшельничества плащ оберегай, как вежды.

С обшивкой нищенства вкруг шеи — не согнешь
Ты шеи. Пусть иных владыка ввергнет в дрожь!

ХОСРОВ ПРОСИТ У МАРИАМ СНИСХОЖДЕНИЯ К ШИРИН

Лишь из кармана тьмы явился месяц,— горы
Покрыли им чело, явив свои просторы.

Из трапезной пошел в опочивалью шах.
Опять одну Ширин в своих он видел снах.

Но лишь его слова о Сладкой зазвучали,
Рот грустной Мариам стал горьким от печали.

В своей тоске поник пред Мариам Хосров.
Ису он поминал среди потока слов.

«Я знаю хорошо то, что Ширин далеко.
Мне в рану сыпать соль ее не может око.

Все ж радостны враги, поступок мой браня,
И обесславлена она из-за меня.

Когда б сюда Ширин явилась без опаски,
Все к справедливой бы приблизилось развязке.

Из горного дворца позволь Ширин мне взять,
Среди дворцовых дев приют ей оказать.

Когда на лик Ширин взгляну хоть ненароком,
Пускай расстанусь я с моим горячим оком».

Сказала Мариам: «О миродержец! Ты,
Как звезды, на людей взираешь с высоты.

С тобою распрю мир оставил за вратами,
Склоняешь небеса ты властными словами.

Коль имя Сладостной твоей душе — халва,
Тебе не сладостна и неба синева.

Ты с мягкою халвой свои уста сливаешь.
К чему ж остывший рис ты все подогреваешь?

К чему тебе шипы? Здесь каждый финик — твой.
Верь, лишь бездымною все тешатся халвой.

В один ларец меня упрятать с ней — затея
Не вавилонского ли это чародея,

Что знает множество присказок, и народ
Сзываючи, пустить готов любую в ход?

Нас разлучат с тобой Ширин лукавой руки.
Тебе — довольным быть, мне ж — горевать в разлуке.

Ведь чары Сладостной я знаю хорошо.
Такие сказки я читаю хорошо.

Есть жены, до пяти не сосчитают с виду,
А хитростью пути отрежут Утариду.

На обливных горшках узоры рассмотри:
То — жены: ясный блеск, да мерзостно внутри.

И верности искать в миру, что полон яда,
У сабли, у коня, у женщины — не надо.

Мужскую верность ты жене не вложишь в грудь.
Промолвил «женщина» — о верности забудь.

Мужчины ищут путь, что служит им защитой.
Но в женах не найдут игры они открытой.

Из левого бедра мы вышли. Должен знать,
Что в левой стороне вам правой не сыскать.

Что тянешься к Ширин? Она не знает бога.
Тебе лишь бедами грозит ее дорога.

Узнаешь ревность ты, она — пучина бед.
Когда ж ты не ревнив, ты не мужчина, нет!

Так шествуй же один — и, лилии подобно,
Веселое чело ты вознеси свободно».

И молвит Мариам с горячностью большой:
«Клянусь я разумом и мудрою душой,

И кесаря венцом, и шаханшаха саном,—
Коль двинется Ширин к прекрасным нашим странам,

Петлею мускусной тоску я утолю
Тобой обижена, себя я удавлю.

Пусть ей меж голых гор чертог послужит кровом.
Ведь населенных мест не видеть лучше совам».

Из речи Марим Хосров постиг одно:
Двум женщинам вовек ужиться не дано.

Он после речь свою с конца другого строил,
Терпенье проявил и ласковость утроил.

И приезжал Шапур к Хосрову; из долин
Печальных привозил он вести о Ширин.

И возвращался он с уловкою привычной.
От кровопийцы вез ответ он горемычной.

Ширин такой игре дивится: столько дней
Томленья сносит шах, все думая о ней!

Все ж сердцем ведала: его любовь — не ржава,
Но в терпеливости нуждается держава.

ХОСРОВ ПОСЫЛАЕТ ШАПУРА ЗА ШИРИН

Шапуру вымолвил однажды властелин:
«Доколе тосковать я должен о Ширин?

Ты в башню Лунный свет введи ночной порою,
И словно лал в ларце я там его укрою.

Свой возвратив престол, державу берегу
И быть с желанною открыто не могу.

Страшусь, что Мариам в неистовой печали
Сама себя распянет, как их Ису распяли.

Для сладостной Луны не лучше ль — посмотри —
Мне тайным другом быть; так дружатся пери.

Хоть на ее пути свои обжег я ноги,
Хочу ее беречь, как руку, что в ожоге.

Коль явно все свершу, жене не угодив,—
Вмиг, дива оседлав, она мелькнет, как див».

«Спокоен будь,— сказал художник островзорый,—
Я начерчу тебе китайские узоры».

И прибыл к замку он. Был замок — пенный шквал,
Шквал, что не пену вод, а пену вин взвивал.

Склонясь перед Ширин, сказал Шапур с участьем,
Что следует порой заигрывать со счастьем.

«Чтоб гнаться за тобой, есть Рахш, но остриям
Царевых стрел сверкать мешает Мариам.

Он должен чтить ее. Он молвил мне угрюмо:
«В том клятву шахскую я дал владыке Рума».

Так выйди же со мной, мы сядем на коней,
В укромной башне ждут,— и мы помчимся к ней.

Будь с милым, час назначь утехи, а не плача.
Сумеешь — улетит соперницы удача».

УПРЕКИ ШИРИН ШАПУРУ

Кумир в безлюдье злом, в злой пустоте Луна,
Что вся изнемогла, что все была одна,

Вскричала гневная, блестя очами строго:
«Стыдись речей своих, не ведающий бога!

Сомкни уста! Мой мозг ты словно сжечь готов!
Молчи! Достаточно безумных этих слов.

Дано тебе сверло, да не для всех жемчужин!
Не каждый помысел с умелой речью дружен!

Не к каждому ручью отыщется стезя!
Пусть руки могут все,— всего свершить нельзя!

Ты справедливым был? Об этом я не знаю.
Что ты несправедлив, теперь я понимаю.

Пусть удалит господь тебя от низких дел!
Пускай рассудок твой укажет им предел!

Ты царства моего лишил меня, а ныне
Взомнил души лишить — последней благостыни.

Как лют разбойник мой! Я — словно крепость, он
Метнул в нее огонь,— и мой напрасен стон.

Я — здесь, а там к другой спешит душа Хосрова,
Базар любовный там он затевает снова.

Честь утекла моя, но не замочен он.
Как будто я — ничто, ничем он не смущен.

О, как дозволено разбойнику такому
Меня, достойную, предать бесчестью злому!

Нет! Он в бою со мной так разогнал коня,
Что с ним уже ничто не примирит меня!

Из замка мне бежать, когда б он был и раем,
Не должно, хоть судьбы мы будущей не знаем.

Хотя бы не Шапур, дочь кесаря пришла,—
Ее с позором бы из замка прогнала.

Что басни мне твердить! Ведь не хмельна я, право!
Мен не уловить играющим лукаво!

Да что царя хвалить иль слать ему хулу!
Господь! Ты знаешь все. Ты не прощаешь злу.

Молящему о том свои отдам я губы.
Нет, не берут халвы рукой такою грубой.

Весеннему цветку милей на землю пасть,
Чем в ветре осени метаться и пропасть.

Уж лучше, если псы на ловле схватят,— дабы
Не устрашаться львов, вгрызающихся в слабых.

Приди, все сам скажи и сам ответ мне дай.
Есть ноги у тебя, других не утруждай.

Лев, чей умелый лов народ повсюду славит,
Лишь на своих ногах весть осебе доставит.

Ты ноги мне связал. Своих не мучишь ног.
Ты шлешь ко мне других, хоть сам прийти бы мог.

Не на чужих плечах свои таскаю грузы.
Не зубы посланных перегрызают узы.

Долготерпенья жар горит в моей крови.
Меня «Красавицей Терпенья» ты зови.

Но и в чужом краю, вдали родного дома,
Вольна в поступках я, с неволей незнакома».

Но хоть упрек Ширин о камни бьют стекло,
Смиряет сердолик ее упреков зло.

Весь гнев ее слова излили на Шапура,—
И сердцу легче вновь; взглянув не так уж хмуро,

Шапуру молвила: «О, ты красноречив,
И речь твоя течет, как плавных вод прилив.

Когда приветствовать ты шаха будешь снова,
То передай ему... мое послушай слово:

«Так говорит Ширин: неверный! Не поймет
Моя душа, где речь мне сладкая, как мед?

Я мнила, что бродить не суждено мне сиро,—
Ты ж покупателем другого стал кумира.

Я прошлый облик твой в душе не берегу,
Ведь сердце отворил ты моему врагу.

Да от неправых дел твой дух влечется к правым!
Да вспомнишь вздох Ширин ты сердцем нелукавым!

Ты — счастье спящее. С тобой ли мне дружить?
Ты — рок. Могу ли я с тобой в согласье быть?

Ведь я унижена. Зачем искать такую?
Ведь если я — раба, пошли мне отпускную.

Нет! Я тебе ровня! И мой возвышен трон.
Припомни, что мой рок тебе не подчинен.

Меня поставил вниз, но буду я другою.
Знай: на твои врата я обопрусь ногою.

Рассыплю зерна я кипящих слез,— и вмиг
На мой порог взбежишь; я твой услышу крик.

Ты на моей крови сад насаждал с усладой,
Плоды сбираешь ты. А я? Я — за оградой.

От твоего огня не стало мне теплей,
Но дымом взор мой жжешь все чаще ты и злей.

Как вероломен ты! Ведь ты мой стан разграбил.
И честь, приняв вновь свой царский сан, разграбил.

Ты был скитальцем,— я дружить с тобой хотела.
Ты дело совершил — и нет до Сладкой дела.

Меня ты вверг в позор; он тяжек и глубок.
Ты свой забросил щит в надменности поток.

Ты подписал приказ, ты мне назначил муки.
Уйдя, поверг меня в мучения разлуки.

Картину ты сыскал в румийской мастерской.
К армянской сладости что ж тянешься рукой?

Цветы румийского ты обрываешь дола,
Так не терзай венец армянского престола.

Страшусь: не зажигай ты снова свой огонь.
Огонь рождает дым; ты прошлого не тронь.

Ты не бросай шипов в полу судьбы. Послушай,
Не надо сыпать соль на разлученных души.

Ты ввержен в сладкий сон меж царственных пиров.
Что ж, отвернись от всех скитальческих шатров.

Пускай терзаюсь я, забудь ко мне дорогу,
Чтоб я могла себя отдать служенью богу.

Считай, что заманил ты птицу снова в сеть,
Но птица снова в степь сумела улететь.

Теперь безгорестных ночей я не имею,
И благосклонности твоей я не имею.

О, как терплю я гнет мучительных дорог!
Ведь охромел мой конь, а мой привал далек.

И сколько слез я лью, меня сжигает горе.
Пред ними ад — свеча, и с каплей схоже море.

И в море, где в огне горит моя ладья,
И в райских долах я, и в адских горнах я.

И все ж близ адских бездн, о сладостной отчизне
Припомнив, я тайком ищу истоков жизни.

Могу ли не скорбеть в пустыне без тебя?
Тот год была с тобой, а ныне — без тебя.

Твоей землянки дверь засыпана землею,
Моей воды поток потек над головою.

О, долго ль мне ладью потоком слез вести!
О, долго ль дружеским свиданьям не цвести!

Ведь без тебя мое не завершится дело,
Чтоб зреть ему, должны быть вожделенья зрелы.

Покуда бытия не оборвется нить,
Больной надежд на жизнь не может не хранить.

Рассудок мой велит лишь к мудрости стремиться.
Но выводы любви не на ее странице.

На пегом скакуне уверенный ездок,
Ристалищем любви помчавшись,— изнемог.

Творит ученый смесь, что умудряет разум.
Но смесь дают тому, кто уж теряет разум.

Ты терпеливого влюбленным не зови.
В тревоге сладостной — рождение любви.

Терпенье не идет путем любви счастливым.
Любви блаженный жар не свойствен терпеливым.

Но пусть в тоске Ширин и в горе. Никогда
Пусть шаха не гнетет подобная беда!»

И вот, когда Ширин прочла всю повесть, землю
Поцеловал Шапур и вымолвил он: «Внемлю.

Решенье царственной всех наших слов ценней.
Твоя уместна речь»,— и он поник пред ней.

Пусть мысль его была сверлить его готова,
Не говорил Шапур, сперва не взвесив слова.

Да, слово каждое, что твой рождает рот,
Ты взвесь, как золото, пуская в оборот.

НАЧАЛО ЛЮБВИ ФЕРХАДА

Серебряный кумир был весь исполнен гнева.
Подобная пери, в шелках шуршащих дева,

Там, где меж хмурых гор раскинулась тоска,
Не знала ничего приятней молока.

Хотя бы сто сортов халвы пред нею было,
И то бы молоко ей пищею служило.

Но далеко паслись ей нужные стада,
И путь к ним требовал немалого труда.

Вкруг логова тоски, по скатам гор разлитый,
Желчь источающий, рос лютик ядовитый.

И гнал стада пастух, проведавши про яд,
Туда, где пастбища угрозы не таят.

Ночь локоны свои широко разметала,
В ушко продев кольцо из лунного металла.

В кольце тоски Луна, что жжет, тоской поя,
Кольцом до самых зорь свивалась, как змея.

Пред ней сидел Шапур; готовясь вновь к дорогам,
Он с грустною Луной беседу вел о многом.

В заботы, что несла услада рая, он
Вникал, и обо всем он был осведомлен.

Узнав, что пастбища в такой дали от стана,
Внимающий расцвел, как лепестки тюльпана.

Индусом пред Луной он свой склоняет лик.
Как пред Юпитером Меркурий, он поник.

«Есть мастер-юноша,— сказал он,— будешь рада
Ты встретить мудрого строителя Ферхада.

Все измерения он разрешает вмиг.
Эвклида он познал и «Меджисте» постиг.

С искусною киркой склонясь к кремнистой глыбе,
Начертит птицу он, сидящую на рыбе.

Он розе пурпурной даст пурпур, и меж гор
Скале железом даст китайский он узор.

Пред ним поник весь Рум; и сделав камень плоским,
На нем рисует он, его считая воском.

Помочь твоей беде, я знаю, он бы смог.
Он — ключ, и каждый шип он обратит в цветок.

Без мастера ни в чем достичь нельзя предела.
Но мастера найдешь, и завершится дело.

Мы с ним — ровесники; в Китае рождены.
И мастером одним нам знания даны.

Тот мастер ведал все; как лучшую награду,
Мне бросил он калам, кирку вручил Ферхаду».

Когда умолк Шапур, с души Сладчайшей гнет
Был снят,— докучный гнет хозяйственных забот.

День зеркало свое подвесил, и закрыла
Ночь многоокая все очи — все светила.

И стал Шапур искать, и вскоре разыскал
Того, кто был сильней неколебимых скал.

Он взял его к Ширин. Приветливо, с поклоном,
Как гостя важного, его почтил он троном.

Вошел, с горою схож и всех ввергая в страх,
Ферхад, что груды скал раскидывал в горах.

Был высотой силач, что мощный слон; почила
В Ферхаде двух слонов чудовищная сила.

И каждый страж из тех, кем был гарем храним,
Его приветствуя, склонился перед ним.

Он засучил рукав. Как должен был по званью,
Он, препоясанный, встал пред широкой тканью.

В смущенье был Ферхад: рок на своем пиру
Вел за завесою какую-то игру.

И вот — ночной набег! Внезапное злодейство!
Рок развернул свое за тканью лицедейство.

С улыбкой, что в себя весь сахар собрала,
Вся сладость Сладостной свой голос вознесла.

Два сахарных замка сняла Ширин с жемчужин.
Стал сахар с жемчугом в одном звучанье дружен.

И пальма сладкая те финики дала,
Чья сладость финики терзала, как игла.

И сахар сладость слов — о молоко с хурмою! —
Почтя, сказал, что мед без них пойдет с сумою.

И сахар услыхал: мир сахарный возник,—
И отряхнул полу от Хузистана вмиг.

Ее ведь Сладкою назвали,— и на диво
Беседу Сладкая вела сладкоречиво.

Ну что сказать еще? Да все, что хочешь, друг!
Пленял и птиц и рыб ее речений звук.

Когда уста Ширин свой сахар источали,
С поклоном леденцы Сладчайшую встречали.

Едва на сборище Ширин откроет рот,—
Сердца внимающих в полон она берет.

Сражала речью всех! От Сладкой оборона,
Клянусь, не найдена была б и для Платона.

В Ферхада слух вошла речь Сладостной,— и жар
В нем запылал, и дух в нем стал кипуч и яр.

Смятенная душа вздох извергает жгучий,—
И падает Ферхад, как падают в падучей.

Удар по темени Ферхада жег,— и он
Крутился, как змея, ударом оглушен.

Ширин, увидевши, что сердце у Ферхада,
Как птица трепеща, свой плен покинуть радо,

Взялась его лечить, но лишь сумела сеть,
Рассыпав зерна слов, вновь на него надеть.

«О мастер опытный,— услышал он от Сладкой,—
Ты разрешенною обрадуешь загадкой.

Желание мое, о мастер, таково,
Чтоб услужили мне твой ум и мастерство.

Ты, зная мудрый труд и замыслами смелый,
Сей завершив дворец своей рукой умелой.

Ведь стадо — далеко, а в молоке — нужда.
Дай талисман, чтоб нам иметь его всегда.

Меж стадом и дворцом в фарсанга два преграда:
Уступы скал, и в них проток устроить надо,

Чтоб пастухи в него вливали молоко,
Чтоб мы сказать могли: достали молоко».

И, сладкоречия журчанию внимая,
Впал в немощность Ферхад, речей не понимая.

В свой жадный слух вбирать еще он мог слова,
Но что в них значилось, не знала голова.

Хотел заговорить — да нет! — умолк он сразу.
Он перст беспомощно прикладывает к глазу.

Он вопрошает слуг: «Что приключилось тут?
Я пьян, а пьяные как ощупью бредут.

Что говорила мне, мне говорите снова,
Что просит у меня, о том просите снова».

И слуги речь Ширин пересказали вновь,
По приказанию слова связали вновь.

Когда постиг Ферхад красавицы веленье,
Его запечатлел в душе он во мгновенье.

И в мыслях приступил он к сложному труду,
Подумав: «Тонкое решение найду».

Он вышел, сжав кирку; за ремесло он снова
Взялся; служить любви рука его готова.

Так яростно дробил он мускулы земли,
Что скалы воском стать от рук его могли.

Был каждый взмах кирки, когда ломал он камень,
Достоин тех камней, чей драгоценный пламень.

Он рассекал гранит киркою, чтоб русло,
Что он вытесывал, меж кряжами прошло.

Лишь месяц миновал,— и путь киркой пробитый,
Вместить бы смог поток в разъятые граниты.

От пастбища овец до замковых ворот
Он камни разместил, укладывая ход.

И так он все свершил, что водоемы рая
Пред ним простерлись бы, ступни его лобзая.

Так слитно плитами он выложил проток,
Что между плитами не лег бы волосок.

Ложбиной, созданной рукой творца умелой,
Сумели струи течь, гонимы дланью смелой.

Пусть кажется порой: безмерного труда
Рука преодолеть не сможет никогда.

Но сто булатных гор, воздвигнутых от века,
Сумеют разметать ладони человека.

Где то, чего б не смял всесильный род людской?!
Лишь смерти не сразить невечною рукой.

ПРИЕЗД ШИРИН К МЕСТУ РАБОТ ФЕРХАДА

И вот возникло то, что людям незнакомо:
Стекает молоко в пределы водоема.

И мастером Луне известие дано:
Водохранилище им сооружено.

И гурия, прибыв, всему дивясь глубоко,
Вкруг водоема шла, прошла и вдоль протока.

Ей мнилось: водоем и новое русло
Здесь только божество расположить могло.

Не дело смертного водоразделы рая,
Где бродят гурии, у млечных рек играя!

Услышал от Ширин хваление Ферхад:
«Да будешь промыслу божественному рад!»

И счастлив он, призыв от луноликой слыша.
И был посажен он всех приближенных выше.

«Мне нечем наградить такое мастерство.
Тут и помощникам не сыщешь ничего».

У дивной меж камней, и в полумраке ясных,
В ушах светились две жемчужины прекрасных.

И каждая красой была венцу равна.
Дань города была — жемчужинам цена.

И серьги сняв, Ширин с пьянящею мольбою
Сказала: «О, прими! Продай ценой любою.

Когда смогу добыть я лучшее — ценой
Достойной оплачу все то, что предо мной».

Жемчужины приняв, их восхвалив,— проворно
Ферхад к ногам Ширин бросает эти зерна.

И устремился он, смиряя горе, в степь.
Слезами заливал он, словно море, степь.

Нет! Страстью не затмит он созданного дела!
Он ждал, чтоб даль его забвением одела.

ПЛАЧ ФЕРХАДА ОТ ЛЮБВИ К ШИРИН

Лишь сердцем к образу он Сладостной приник,—
Из сердца глубины любовь исторгла крик.

И вмиг все дни его мучительными стали.
И руки крепкие как бы навек устали.

И от людей бежать пришла ему пора.
Он падал, как больной, поднявшийся с одра.

В смятенье мчался он в ущелия и в степи.
И с ним врывался стон в ущелия и в степи.

Он, стройный кипарис, поникшей розой стал,
Как роза, в ста местах рубаху он порвал.

Рвя тернии с пути, он сгорбился. Несчастный
Шипы из ног своих вытаскивал всечасно.

Что нужды, что полу рвут терны, что от плеч,
Быть может, голову ему отторгнет меч.

Обуреваемый неудержимой страстью,
Он нетерпения охвачен был напастью.

Вокруг него нисар пурпуровый возник:
В тюльпанов заросли он обращал свой лик.

Рыданьем в воздухе свои он ставил мрежи.
Разбили небосвод и стон его и скрежет.

Застигнутый огнем, рассудок изнемог,
Из сердца взвившийся огонь его обжег.

Сто смертоносных ран горят в груди Ферхада,
И дерзкая душа идти на гибель рада.

Для мук и бедствия он как бы стал метой.
Где грань страдания? Не сыщешь грани той.

Людей он избегал в краю сердечной смуты,
Как бы железа — див иль словно ведьма — руты.

Он рад беде, хоть взят печалью за полу:
Рад запустенью клад, забившийся во мглу.

Страдал он, снадобья от ярых мук не зная,
Как разомкнуть навек страданий круг, не зная.

И страстотерпец был безмерно одинок.
Был мир его друзей и спутников далек.

Страсть, сжав его в руках, в него впивалась взглядом.
И забывал Ферхад, что связан он с Ферхадом.

Он чашу бед своих направил бы к Ширин.
Да кто б отнес ее к Прекрасной? Он один.

И прячась и смущен хмельной любви загадкой,
Слова сладчайшие слагает он о Сладкой.

И, сердцеогненный и опьяненный, мнит,
Что сердце каждого подобный жар таит.

Тот, чей замучен дух пыланьем, полагает,
Что вся подлунная в пыланьях полыхает.

Лишь имя Сладостной всплывет в его мечтах,—
Упав, стократно он земной целует прах.

К ней обращая лик, не ведая надежды,
Он душу разрывал, как рвут свои одежды.

Как неуемный конь, Ферхад снует вокруг,
И каждый дикий зверь для страждущего — друг.

Из шири, из силка для всех с пронзенным сердцем,
Шли звери, чтобы грусть делить со страстотерпцем.

Зверь землю подметал, другой — страдальцу смог
Для сна постлать траву, иной лежал у ног.

Ферхад с газелями делил уединенье,
А то с онаграми текли его мгновенья.

Он лани видел плач, свои с ней слезы слив.
Порой расчесывал он космы львиных грив.

Он жизни не берег, он был пресыщен миром,
Несчастье вкруг него тугим крутилось виром.

И радость, что могла б томление спугнуть,
Он гневно прогонял, храня свой скорбный путь.

И к горю, дружному с его стремленьем страстным,
Спешил он, как спешат, скача с конем запасным.

Он лика своего слезами мыл сафьян.
Он мнил: Сухейля свет глазам печальным дан.

Не спал он, хоть и вся спала вокруг природа.
Ведь если друга ждут, не преграждают входа.

Душа отвергла кладь, что называлась «я».
Он жил, чужую кладь в дому своем тая.

Он сбросить навсегда свое хотел бы тело,
И в теле друга быть — душа его хотела.

Но в клетке сломанной уж места птице нет.
Царь вышел воевать, огней в столице нет.

Так волю с волею иной связал он туго,
Что отличить не мог двух слитых друг от друга.

Он, встретив пламень злой иль благодатный свет,
Лишь видел череду благих иль злых примет.

Все образы вокруг он видел; как задачу,
И в них искал примет, вещающих удачу.

Но каждый любящий отвергнет знак дурной
Иль предназначит зло он для души иной.

И образ, будь он плох иль будь он сладок небу,
Пригодным сделает себе он на потребу.

Он к замку подходил в неделю только раз,
От замка Сладостной не отрывая глаз.

И вновь стремился он в спасительные степи,
Вновь славя давшую мучительные цепи.

И к млечному пруду в ночах, издалека
Он брел, что лань, и пил немного молока.

И нету для него иных желаний в мире...
Лишь этот водоем пред ним в подлунной шири.

И, не смыкая глаз, во тьме бродил он тут,
Где расположен был им выложенный пруд.

Стал сопричастен мир его любовным ранам:
Об одержимом весть раскинулась по странам.

ХОСРОВ УЗНАЕТ О ЛЮБВИ ФЕРХАДА

И передал царю один из царских слуг
То, что сказал ему его ближайший друг.

Он слышал, что Ферхад, рыдающий в пустыне,
Лишь о себе весь мир твердить заставил ныне,

Что устремления любовного напасть
В пустыню бедняка заставила попасть.

От страсти к красоте, что всем сжигает очи,
Стеная, бродит он во мраке долгой ночи.

Он говорит: «Душа из-за Ширин больна!»
И речь его громка, и всем она слышна.

Ни стрелы, ни мечи, разящие с размаха,
Ни старцы, ни юнцы в нем не рождают страха.

Но знаю: лишь душой привязан он к Луне,
Лишь слухом о красе довольствуясь вполне.

Серебротелую всечасно поминая,
Про самого себя не помнит он, стеная.

В неделю раз он к ней приходит в замок; есть
Ему услада в том: о ней услышит весть.

Едва лишь внял Хосров нежданному рассказу,
К грабительнице душ страсть возрастает сразу.

В соревновании бойцы отважней бьют,
Два соловья нежней над розою поют.

Коль двое второпях становятся у лавки,
Ты должен от купца ждать на товар надбавки.

Хосрова сердцу вновь ристалище дано:
Тот, сердце бросивший, с Хосровом заодно.

И по-иному шах заревновал подругу.
Придал соратник жар ревнивому недугу.

Все просит мысль его: «Ты делу помоги».
Не в глине ль он увяз? Не вытащить ноги!

Когда недуги нас охватят или скорби,
То стройный кипарис свой стан высокий сгорбит.

Очам болящего подмога не видна,
Ведь мысль болящего, как сам больной, больна.

Во здравье человек — и мысль его здорова,
А хил — всех дел его колеблется основа.

Врач, щупавший, леча, биенье многих жил,
В жару свой щупать пульс другому предложил.

СОВЕЩАНИЕ О ФЕРХАДЕ

И, отобрав людей из приближенной знати,
Шах в совещательной задумался палате.

«Как одержимого неистовство сдержать?
Как этой костью нам игральною сыграть?

Коль сохранить его — мое погибнет дело.
Сразить невинного — мне честь не повелела.

В могуществе царя я мыслил быть один.
На праздник мой прийти решил простолюдин.

Прекрасною Луной мне празднество готово.
Безумца позвала, чтоб радовать Хосрова».

И дали мудрецы царю такой совет:
«Удача лишь тебе свой зажигает свет.

И венценосные перед тобой во прахе.
И прахом ног твоих окрест клянутся шахи.

Да будут, словно мир, твои бессмертны дни,—
Да счастью вечному сопутствуют они!

Ему, чтоб для царя не стало вновь обузы,
Из золота скуем, не из железа, узы.

Ведь зелье от тоски — лищь золото, да, да.
Да! С золотом та смесь целебная всегда.

Ты призови его, ты в нем роди надежды,
Чтоб он на золото свои приподнял вежды,

За золото Ферхад и веру отметет,
За сладость звонкую от Сладкой отойдет.

Ведь с золотом мошна немало глаз гасила.
В железе от него оскудевала сила.

Коль золотой глупца не отмести метлой,
Тогда займи его работой над скалой.

Чтоб до поры, когда его иссякнет время,
Напрасно бы он бил в скалы гранитной темя».

ХОСРОВ ВЫЗЫВАЕТ К СЕБЕ ФЕРХАДА

И, речи выслушав, уж не бродя впотьмах,
Гор сокрушителя велел доставить шах.

И вот ввели его, могучего, как горы.
Вокруг стоял народ, в него вперяя взоры.

В страданье он склонил открытое чело.
Забвение всего на мощного нашло.

Он в тягостной тоске, в смятении глубоком
Стоял, овеянный неблагодатным роком.

На шаха не взглянув и не взглянув на трон,
Ногами в прах, как лев, уперся крепко он.

Он, унесенный прочь томленьем по Прекрасной,
Счел думу о себе и о царе — напрасной.

Ферхаду мощному оказан был почет.
Предложенным дарам ты потерял бы счет.

Слоноподобный сел, почтен многообразно.
Ларь с золотом, как слон, вздымался для соблазна.

Но в госте яхонтов огни сохранены,
И золото и прах для чистого — равны.

Поняв, что лучший дар могучему не нужен,
Хосров разверз уста — ларец своих жемчужин.

На острые слова, что складывал Хосров,
Гость острые слова был складывать готов.

СПОР ХОСРОВА С ФЕРХАДОМ

Хосров спросил: «Ты кто? Тут все я знаю лица».
Ферхад: «Мой край далек, и Дружба — в нем столица».

Хосров: «Чем торг ведут, зайдя в такую даль?»
Ферхад: «Сдают сердца, взамен берут печаль».

Хосров: «Сдавать сердца — невыгодный обычай».
Ферхад: «В краю любви не каждые с добычей».

Хосров: «Ты сердцем яр. Опомниться спеши».
Ферхад: «Разгневан ты, я ж молвил — от души».

Хосров: «В любви к Ширин тебе какая радость?»
Ферхад: «Сладчайшая душе влюбленной — сладость».

Хосров: «Ты зришь ее всю ночь, как небосклон?»
Ферхад: «Когда усну. Но не доступен сон».

Хосров: «Когда гореть не станешь страстью злою?»
Ферхад: «Когда усну, прикрыв себя землею».

Хосров: «А если ты войдешь в ее чертог?»
Ферхад: «Я голову склоню у светлых ног».

Хосров: «А коль она твое поранит око?»
Ферхад: «Скажу: рази, второе — недалеко».

Хосров: «Когда б другой Прекрасную сыскал?»
Ферхад: «Узнал бы меч, хоть был бы тверже скал».

Хосров: «Коль к ней дойти тебе не станет мочи?»
Ферхад: «Что ж! Издали луна ласкает очи».

Хосров: «Быть вдалеке не надо от луны».
Ферхад: «Больным нужна ограда от луны».

Хосров: «Коль «все отдай» она промолвит строго?»
Ферхад: «Я с воплями прошу об этом бога».

Хосров: «Коль вымолвит: «Где ж голова твоя?»
Ферхад: «...то сей заем вмиг с шеи сброшу я».

Хосров: «Любовь к Ширин исторгни ты из тела».
Ферхад: «О, чья б душа погаснуть захотела!»

Хосров: «Найди покой, не жди благого дня».
Ферхад: «Спокойствие запретно для меня».

Хосров: «Твоя стезя — явить свое терпенье».
Ферхад: «Горя, нельзя явить свое терпенье».

Хосров: «Стань терпелив, и в сердце будет свет».
Ферхад: «Хотел бы я... да вот уж сердца нет».

Хосров: «Полно скорбей любви опасной дело».
Ферхад: «Чего милей любви всевластной дело?»

Хосров: «Ей сердце дал, хоть душу сбереги».
Ферхад: «Томлюсь. Душа и сердце — не враги».

Хосров: «Чего-нибудь страшишься в этой муке?»
Ферхад: «Лишь тягости мучительной разлуки».

Хосров: «Хотел бы ты наложницу? Ответь».
Ферхад: «Хотел бы я и жизни не иметь».

Хосров: «Зачем горишь в такой любви великой?»
Ферхад: «Осведомись у сладостного лика».

Хосров: «Ты принужден о Сладостной забыть».
Ферхад: «Но без души, нам сладостной, не жить!»

Хосров: «Она — моя, забудь, что в ней услада».
Ферхад: «Забвения не стало для Ферхада».

Хосров: «Коль встречусь с ней, что скажешь мне — врагу?»
Ферхад: «Небесный свод я вздохом подожгу».

Что вымолвить в ответ, не ведал ум Хосрова.
И увидал Хосров: его бессильно слово.

И вымолвил друзьям: «Меж земнородных нет
Умеющих бросать так огненно ответ.

Я золотом речей его не оплетаю.
Его, как золото, на камне испытаю».

И, как железный меч, он обнажил язык,
Что к глыбе каменной алмаз кирки приник:

«Мы ищем путь прямой, удобный для дороги.
Нам трудно обходить окрестных гор отроги.

Ты в каменной горе пророй просторный путь,
Ведь он послужит мне, об этом не забудь.

Никто бы не сумел за это взяться дело,
Лишь знание твое его бы одолело.

Ты честью Сладостной мне поклонись; другой
Не знаю клятвы я такой же дорогой.

Ты должен выполнить большую просьбу эту.
Ты должен выполнить простую просьбу эту».

И многомощный муж дает ему ответ:
«Я гору уберу, к тому преграды нет.

Давай условимся! Трудом займусь я старым,
Но обязательство я выполню не даром,

И сердце шахское мне клятву дать должно:
Пусть Сахар Сладостной с себя стряхнет оно».

Разгневался Хосров; едва лишь не простерла
Его рука булат, чтоб вражье ранить горло.

Но мыслит: «Не страшусь, хоть все ему суля.
Не взрыть ему горы — там скалы, не земля.

А хоть бы и земля,— и с ней не будет сладу!
А хоть бы врыл ее,— куда снесет громаду?»

И быстро говорит: «Согласен я; когда
Забуду договор — да будет мне беда!

Яви в своем труде, стан подтянув потуже,
Всю силу, что живет в таком могучем муже.»

И вымолвил Ферхад, не ведающий лжи:
«О справедливый шах; мне гору укажи!»

И подведен к горе, что Бисутуном ныне
Зовут, каменотес, терзавшийся в пустыне,

И явно, что Ферхад свой блеск не сохранит,
Что вся гора тверда, что вся гора — гранит.

Но с радостной душой, подбодренный Хосровом,
Шел разрыватель гор, горя порывом новым.

Взлетел он на гору, как бурный ветер яр,
И подпоясался, и первый дал удар.

И вот он с первым же руки своей движеньем
Стал покрывать скалу одним изображеньем:

Киркою стан Ширин он высек; так Мани
Свой украшал Эрженг, творя в былые дни.

И, лишнего киркой не совершая взмаха,
На царственном коне изобразил он шаха.

Так юная творить ему велела кровь.
Он был возвышенным, вела его — любовь.

Но с юным — злая весть должна коснуться слуха —
Что сделала судьба — горбатая старуха!

РАССЕКАНИЕ ГОРЫ ФЕРХАДОМ И ЖАЛОБЫ ЕГО

Недолго высекал те образы Ферхад,
Был изваянием покрыт гранитный скат.

И рассекать скалу с утра до темной ночи
Он начал. Сладостной пред ним сияли очи.

Чтоб гору побороть, свою он поднял длань.
За гранью грозная откалывалась грань.

Ударит он киркой в расщелину гранита —
И башня тяжкая от стен его отбита.

Ударит — гору с гор руки низвергнет взмах,
Свержением громад людей ввергая в страх.

И яхонты сверлил алмазами ресниц он,
И гору умолял пред ним склониться ниц он:

«Гора! Хоть встала ты гранитною стеной,
Ты дружелюбней будь — рассыпься предо мной.

Ну, в честь мою лицо ты раздери немного!
Дай, чтоб кирке моей везде была дорога!

А нет — клянусь Ширин! — кроша тебя, круша,
Покуда будет жить во мне моя душа,

Тебя терзать начнет, клянусь, мое упрямство,
Поставлю душу я с тобой на ратоборство».

По вечерам, когда, сходя с равнин судьбы,
Свет солнца горные окрашивал горбы,

Когда по светлому узор светился мглистый,
И поднимался стяг, и ник султан огнистый,

Близ образа Ширин Ферхад стоял в тиши,
Ища в граните след ее живой души.

Он прижимал уста к стопам изображенным,
В горах цимбалами его звучали стоны:

«Очам художников единственный михраб!
Целительница душ! Твой поникает раб.

Ты, с сердцем каменным! Ты, с телом серебристым!
Ты сердце путника влачишь путем тернистым.

Ты в камне поймана, как драгоценный лал.
Лал сердца моего твой камень разломал».

Пред изваянием смирив свои рыданья,
За них прощенья он просия у изваянья.

Он восходил затем до каменной гряды,
Взваливши на спину все тяжести беды.

И к замку направлял он взор свой неустанно,
Стонал: «О кипарис! О ты, розовостанный!

Вся печень выжата! Ты светом сердца будь!
Ты сбитого с пути направь на верный путь!

Желание мое ты пожелай исполнить!
Дай безнадежный дух надеждою наполнить!

Я знаю, что меня нет в памяти твоей.
От милого тебе свет в памяти моей.

Я ж друг, что о тебе грустит под звездным лоном.
Миросжигающим я мир сжигаю стоном.

Пока в твоей душе царит Хосров один,
Скитальца бедного припомнишь ли, Ширин?

Нет, роза радостна. И в мыслях розы снова
Слова, что сахар шлют для жадного Хосрова.

А сладостную жизнь безрадостный Ферхад
Для розы сладостной отдать сегодня рад.

«Хоть ты, о светлая, подобная алмазу,
Меня покорного не вспомнила ни разу,—

Ты все же — светоч мой. Но надо мною тень
Простерлась черная. Мой сумеречен день.

Мне сделалась земля скупой отчизной — камнем,
И жизнь свою зову я с укоризной камнем.

Не ведал я, душой спеша к такому злу,
Что рок меня схватил с угрозой за полу.

Нет, не из камня я, и ты все не близка мне!
Что ж верности искать в железе мне и в камне?!

Ты душу, о Ширин, не унижай мою.
Не бей меня в камнях, как бьют в камнях змею!

Барашек я. Что ждут, ждут мясники приказа?
Рази! Ведь мясники — твои два черных глаза.

На пастбище твоем остался только я.
Я хил! Отвержен я! Горька судьба моя!

Я мотылек. Страшусь. Я и вдали сгораю.
Сгорю, приблизившись к сверкающему раю.

К тебе приблизиться? Но я ведь только прах.
Быть приближенным? Нет! Меня объемлет страх!

Тебе покорен я! Быть жертвою — отрада!
Убей меня! Клянусь, мне лучшего не надо!

Развей тоску мою. Как справиться мне с ней?
Мне смерть отраднее всей смены этих дней.

Пусть не рождает мать сынов с такой судьбою,
Пусть им звезды моей не видеть над собою!

Иль молвила мне мать: «Далек да будешь ты
От цели сладостной, от сладостной мечты!»

Поспешный меч судьбы не всем приносит муку:
Тем тронет ноготки, а мне отрубит руку.

От рока благости добиться нелегко.
Что ж мне он дарит кровь, тебе же молоко?

Я молоком прошу тебя вскормившим: дома,
Когда ты молоко черпнешь из водоема,

Припомни ты о том, кто весь горит в огне,
И негу сладкую оно пошлет и мне.

Дай молока, пастух! Спою с пустою чашей.
Как дети к молоку, стремлюсь ко встрече нашей.

Вкушая молоко, меня не позабудь.
Я буду молоком, а ты ребенком будь.

Ты сладости таишь. Я таю, голодаю,
Но именем твоим свой рот я услаждаю.

Где утешители? Взираю я вокруг.
Будь утешителем! Ты вымолви: «Мой друг».

Мне увлажни уста: они иссохли. К свету
Ты черный мрак направь, дня укажи примету.

Перед тобой бедняк. Но вымолвить спешу:
Тебе я ценный дар — я душу подношу.

Богатство бедняка,— оно такого рода,
Что, и безденежный, желает он дохода.

Мне душу не сжигай, ведь мой хранитель — ты!
Что мне подлунный мир! Мой утешитель — ты!

Ты блещешь красотой и радостной, и томной.
Не покидай меня с моей душой бездомной.

Ведь ты, Прекрасная, бездомной не была.
Бездомным не желай бездомности и зла!

Я жизнью дорожил, ценил ее когда-то.
Я верил в молодость, далекий от заката.

Но жизнь и молодость во мне уж не поют.
Беда! Моя душа — отчаянья приют.

Тот, кто с тобою был, тебе приветно вторя,
Уходит от тебя в минуту злого горя.

Ты крикнешь: «Руку дай!» — а друг твой дорогой
На скорбный твой порог не ступит и ногой.

Ты кровь мою не пей — молю тебя со страхом,
И в городе твоем я схож лишь только с прахом.

За что же, говори, ты мне готовишь месть?
В чем ты винишь меня? Подай об этом весть.

Вина ль, что пред твоим я преклоняюсь ликом?
Припомнишь о каком ты мне грехе великом?

Ты друга не предай, о сладостный кумир!
Таких безбожных дел еще не ведал мир!

Ты — кипарис, я — ветр, исполненный порыва,—
И ветру бурному кивни ты, словно ива.

Я — прах, ты — дивный клад. Приди ко мне, и я
Прославлюсь. Станет прах — «Священные края».

Коль мне ты не велишь, моя свеча Тараза,
В светильнике твоем растаять — жду приказа:

«Ты должен умереть!» Да лягу я вдали
От лика светлого в объятия земли!

Я — птица полночи. Блеснет ночная риза,
И слышен горький плач и стоны шебавиза.

Приди ко мне хоть раз, как призрак, и услышь,
Как вопли и мольбы тревожат эту тишь.

Будь сердце у тебя суровей камня, все же
Взгрустнешь над бьющимся о каменное ложе.

Мне столько от тебя обид нанесено!
Ты ж почитаешь их за малое зерно.

Как вол измученный, свалился я на землю,
Ты ж гонишь ослика: печали, мол, не внемлю.

Я мертв, но я был твой. Помилосердней будь!
Ведь сердце ты взяла, мою рассекши грудь!

Но я соломинка в руках твоих! Твой взор
Гнетет меня, хоть я колеблю склоны гор.

Незыблемой горы сильней мои ладони.
Страшны ли мне войска, и всадники, и кони!

Коль меч я обнажу пред диким зверем, то
Шебдиз не нужен мне. Мне и Парвиз — ничто!

Ширин, Парвиз, Ферхад — в нас родственного много:
У каждого из нас, ты знаешь, по два слога.

Зачем же одному победы так легки
И всех сильнее мощь парвизовой руки?

Нет, пораженья тень не надо мной нависла!
В таблице вещих звезд мои победны числа.

Но счастья моего отхлынули года,
А над соперником — счастливая звезда.

Мой злобен темный рок, и хитрый он предатель
А счастье знает враг — мой вечный зложелатель.

Но пусть никто вовек не ведает врага,
Чья светлая судьба созвездьям дорога!

Сгораю я в борьбе, я в схватке,— все же вскоре
Мой враг добудет все, а я — добуду горе.

Тот, кто послал меня на схватку со скалой,
Мне гибели желал мучительной и злой.

Я, смерти пожелав, за камнем камень рушу,
Я горя захотел и в горе ввергнул душу.

Кремнист мой путь любви. Вокруг сгустилась тень.
И давит сердце мне безжалостный кремень.

Знай, это не игра. Взгляни: я камни рою.
Я пригожусь тебе. Не тешусь я игрою.

Я в горе жестким стал, созвездиям гроза,
Железа устыдить мне все-таки нельзя.

Я, словно желтый воск, сгораю в жаркой страсти.
Я сердца уберечь уж больше не во власти.

Где серебро мое и золото? Тюков
Тебе не принесу. Я — нищий. Я — таков.

Желт горестного лик. О золото печали!
О горе! Серебром лишь слезы замерцали.

О светоч! Вижу свет в твоем лишь я огне!
Я стражду светлым днем, и стражду я во сне.

И хоть горячим днем мучительно я стражду,
Но в дремах я любви еще страстнее жажду.

И днем со мною ты, и ты — в виденьях сна.
Прибежище мое лишь только ты. Одна.

Приди! Любя весь мир, тебе я отдал душу!
Не див я,— как с людьми я связь свою нарушу!

Нет сердца пламенней среди людских сердец,
Чем у того, кто сжал ваятеля резец.

Злосчастнее меня кто ныне во вселенной?
Я будто в горестной пустыне — во вселенной.

Любвеобильного где друга я найду,
Кто мне промолвит «встань», коль наземь я паду?!

Да! Косяки людей бесчисленны,— но кто же,
Когда скончаюсь я, мое оправит ложе?

Моя душа — в тоске, я в мире — одинок.
Как жертву, голову кладу на твой порог.

Хоть просижу сто лет я в глубине колодца,
Лишь свой услышу стон: никто не отзовется.

Хоть проброжу сто лет, в свои уйдя края,
Пойдет за мною вслед одна лишь тень моя.

Я пес? Иль бешенства низвержен я напастью?
Мечусь, как тот, кто был укушен песьей пастью.

Есть место и для псов, а для Ферхада — нет!
Для трав простор готов, а для Ферхада — нет!

И барса в логове лощина приютила,
И есть меж вод речных приют для крокодила.

А я лишен всего, моя душа во мгле,
И камнем я не стал, и не лежу в земле.

Но если на земле я только горю внемлю,
Чтоб обрести покой, уйти я должен в землю.

Пусть буду на земле бездомным только я!
Как жить, коль никнет жизнь, одной тоской поя?

К тебе меня влечет погибели ветрило,
К погибели меня земля приговорила!

Коль существуешь ты, так что же значу я!
Селение — твое, а где в нем жизнь моя?

Скажу ли: «ты» и «я». Подобною судьбою
Я не кичусь. Ну как склоняться пред собою?

Могу ль я отступать своим путем крутым?
Горенья моего все застилает дым.

Безмерно утомлен, пришел я на стоянку.
Я запоздал прийти,— уйду я спозаранку!

Коня пускаю в путь я верною рукой.
Куда ж мне гнать коня? Где ждет меня покой?

Я в горе каждый миг. Я плачу о кумире,
И счастье не хочу ничье я видеть в мире.

Душа моя, тебе ведь память дорога
О том, как мудрецы низали жемчуга:

«Недужный человек, что страждет и пылает,
Здоровья никому вовек не пожелает».

Как благотворное увидеть мне в любви,
Когда я весь в шипах, когда я весь в крови?

Хося в моем мозгу уж больше нету масла,
Но горе душу жжет; душа все не погасла.

Страданием своим я весь испепелен.
Но в пепле есть огонь: под ним укрылся он.

Я — прах, я ветром взвит. Не жду уж я участья.
В ногах не стало сил, в руках не стало счастья.

Коль ноги обрету,— их тотчас под полу
Я подтяну. Свою покину ль я скалу?

Как точку, спрячу лик под циркулем. Я спрячу
Себя в своей скале, лишь в ней найду удачу.

Я огражу себя оградой многих стен,
Чтоб образы ничьи мой не смущали плен.

Твой образ будь со мной! Ему вручил я душу.
Я верности ему вовеки не нарушу!»

Так восклицал Ферхад, стонал и плакал вновь.
И сердца своего так расточал он кровь.

И ночь ушла из гор, и, полные отваги,
Войска зари, блестя, свои раскрыли стяги.

И вновь безумный — днем, и вновь бессонный — в ночь
Ударами кирки мнил гору превозмочь.

Все ночи наполнял он только жемчугами,
А камни он сверлил пылающими днями.

Так много жемчуга он сыпал и камней,
Что отличать не стал жемчужин от кремней.

И по подлунному промчались весть простору
Об исстрадавшемся, о разрывавшем гору.

И не один к нему пришел каменотес,
Чтоб видеть, как булат вонзается в утес.

И каждый — недвижим; свой закусивши палец,
Глядит, как рвет скалу неистовый скиталец.

ШИРИН НАПРАВЛЯЕТСЯ К ГОРЕ БИСУТУН, И КОНЬ ЕЕ ПАДАЕТ

В один счастливый день тех благостных годин
Сидела меж подруг прекрасная Ширин.

И в дружеских речах, рожденных для услады,
Невзгод и радостей раскидывались клады.

Одна припомнила отраду прошлых дней,
И сердцем радостным все радовались с ней.

Другая, новых дней предсказывала сказку,
Грядущей радости придумала завязку.

Немало плавных слов, ласкающих сердца,
Подруги заплели — не видно и конца.

Но речь звенящая сцепляется не втуне:
Услышала Ширин слова о Бисутуне.

И молвит весело подательница благ:
«Я водрузить хочу на Бисутуне стяг.

Шепнула мне душа, что мне увидеть надо,
Как рушится скала под натиском Ферхада.

Быть может, искорка, ничтожная на вид,
От камня отлетев, мне сердце оживит».

И оседлать коня велит она,— и гибкий
Оседлан ветерок разубранною зыбкой:

Гульгун был далеко,— и, полного огня,
Другого взять Ширин позволила коня,

И скачет, заблестев весною золотою,
Красавицам Ягмы равняясь красотою,

И скачет, заблестев нарциссами очей,
Как сто охапок роз под россыпью лучей.

Пусть большей нежности, чем в ней, и не присниться.
Но на коне Ширин стремительна, как птица.

Она, что гурия, взлетела на седло,
Ничто с ней быстротой сравняться не могло.

Вбивают гвозди в синь ее коня подковы,
И над землей она — бог небосвода новый.

Когда, разбрасывая мускус и несрин,
К горе, вся в серебре, подъехала Ширин,—

От блеска щек кремни раскопанного стана
Зажглись рубинами из копей Бадахшана.

К горокопателю, подобному горе,
Мчит гору гурия, сверкая в серебре.

Ее рубины чтя, покорный приговору,
Ферхад, как рудокоп, рубил упорно гору.

Как смерить мощь его, когда он рыл гранит?
И мер таких наш мир безмерных не хранит!

С гранитным сердцем друг бросал в него каменья,
Но, чтобы гору срыть, он все напряг уменье.

Сам с гору, гору рыл и днесь, как и вчера,
А горе перед ним, как Демавенд-гора.

Но для того отбил края он от гранита,
Что радости он ждал и малой от гранита.

Он омывал гранит рубином жарких слез.
Но час пришел: гранит к нему рубины взнес.

Когда же уст Ширин увидел он два лала,—
Пред ним сокровище в граните запылало.

Булат в его руке стал сердца горячей,
И стала вся скала, что глинистый ручей.

Одной рукой вздымал он, словно глину, камень,
Другой бил камнем в грудь, скрывающую пламень.

Вонзилась в грудь любовь; он видел светлый мир.
Что идол каменный! Ведь перед ним — кумир.

И с молоком в руке у Сладкоустой чаша.
И молвила она: «Испей во здравье наше».

И чаша Сладостной к устам поднесена.
И чаша сладкая осушена до дна.

Коль кравчий — Сладкая,— о счастия избыток!
Не только молоко, яд — сладостный напиток.

Рассудка этот пир влюбленного лишил,
И кравчий пиршество оставить порешил.

Стан Сладкой отягчен: парчи не гибки струи.
Конь Сладкой утомлен под гнетом пышной сбруи.

Будь золотой скакун под нею той порой,
Все ж под серебряной склонился бы горой.

Конь, равный ветерку, что мчится лугом росным,
Упал под ездоком своим жемчугоносным.

Но лишь увидел тот, в ком трепетала страсть,
Что с вихря милая готова наземь пасть,—

Коня усталого, отдавшийся порыву,
Он поднял над землей, схватив его за гриву.

Он в замок снес Ширин; Ферхадова рука
Обидеть не могла на ней и волоска.

И положил ее он на ковер, и снова
Он к Бисутуну шел, к труду опять готовый.

И вновь с киркою он, вернувшись из палат.
И те же камни вновь дробит его булат.

На горный кряж взошел, хоть сердце мучил пламень.
На кряже головой вновь бился он о камень.

Как лань, узревшая на высях призрак трав,
Он бросил солончак, на кладбище взбежав.

ХОСРОВ УЗНАЕТ О ПОЕЗДКЕ ШИРИН. ГИБЕЛЬ ФЕРХАДА

Вседневно хитростно искал владыка мира
Каких-нибудь вестей о действиях кумира.

Он больше тысячи лазутчиков имел.
Был каждому из них дан круг особых дел.

Лишь пальчиком Луна дотронется до носа,
Они спешат к царю для нового доноса.

Когда на Бисутун взошла Ширин и там
Узрела кряж сродни булатным крепостям,—

Все соглядатаи промолвили владыке:
«Ферхад увидел рай в ее прекрасном лике,

И сила дивная в Ферхаде возросла:
Силач взмахнет киркой — и валится скала.

Восторгом блещет он, в его душе разлитым.
Он, меж гранитных глыб, сам сделался гранитом.

Железом, что дробит угрюмых скал табун,
Сутулой сделает он гору Бисутун.

Воинственен, как лев, твой недоброжелатель
И рвет недаром кряж, ведь он — кладоискатель.

Лисица победит, в уловках зная толк,
Хоть в состязание с ней вступит сильный волк.

Хоть груда ячменя увесистей динара,
Весы шепнут: «Динар, ты ячменю не пара».

Коль с месяц он свою еще промучит грудь,—
То из спины горы наружу выйдет путь».

И шах изнемогал от этой ярой схватки.
Как сохранить рубин? Не разрешить загадки!

И старцев он спросил, гоня кичливость прочь:
«Какими мерами могли бы вы помочь?»

И старцы молвили, не медля ни минуты:
«Коль хочешь, шаханшах, распутать эти путы,

Ты дай Ферхаду знать среди его вершин,
Что смерть внезапная похитила Ширин.

Немного, может быть, его ослабнут руки,—
И он прервет свой труд от этих слов разлуки».

И принялись искать глашатая беды,
Чей хмурый лоб хранит злосчастия следы,

Того, кто как мясник в крови вседневной сечи,
Того, кто из усов огонь смертельный мечет.

И вот научен он дурным словам; сулят
Иль золото ему, иль гибельный булат.

Идти на Бисутун, свершить худое дело
Он должен. Для него иного нет удела.

И дерзостный пошел, вот перед ним — Ферхад.
Кирку сжимала длань, не знавшая преград.

Ферхад, что дикий лев, с себя сорвавший путы.
Рыл гору он, как лев, напрягшийся и лютый.

О лике сладостном слагая песни, бил
Он яростно гранит; он словно пламень был.

Ферхаду вымолвил нежданного глашатай,
Как будто горестью неложною объятый:

«Беспечный человек! Вокруг себя взгляни.
Зачем в неведенье свои проводишь дни?»

Ферхад: «Я друга чту, и для него с охотой
Я время провожу, как видишь, за работой.

Того я друга чту, чьи сладостны слова
И кем на жизнь мою получены права».

И вот когда узнал горькоречивый вестник:
Тут ворожит Ширин — пленительный кудесник,

Он, тягостно вздохнув, сказал, потупя взгляд:
«О смерти Сладостной не извещен Ферхад!

О, горе нам! Когда сей кипарис веселый
Был сломлен бурею, подувшей в наши долы,

Мы амброю земли осыпали Луну,
Снесли дорогой слез на кладбище Весну.

И, прах похоронив прекрасной черноокой,
Направились домой мы в горести глубокой».

В Ферхада за клинком он направлял клинок,
Вздымал за стоном стон, чтоб сильным изнемог.

Когда «О Сладкая! — сказать посмел.— О горе!» —
О, как такой вещун не онемел, о горе!

Чье сердце этих тайн хотело б не хранить?
Внимал им или нет — не смеешь говорить!

Когда в Ферхадов слух метнули вестью злою,—
С вершины пал Ферхад тяжелою скалою.

Вздохнул Ферхад, и вздох был холоден: копье,
Казалось, в грудь его вонзило острие.

Рыдая, молвил он: «Не зная облегченья,
Я ведал тяжкий труд, и смерть полна мученья.

Пускай пастух овец бесчисленных пасет,
Волк жертву нищего из стада унесет.

Да, цветнику сказал шербетчик, рвущий розу:
«Вернуть все взятое не забывай угрозу».

Проворный кипарис покрылся прахом! Ах,
Зачем же мне чело не осыпает прах?

Румяных лепестков развеяна станица!
Зачем же мне сады, когда вокруг — темница?

Уж пташка унеслась в край отдаленный свой!
Зачем же не кричу я тучей громовой?

Погас над миром свет, горевший звездным знаком!
Зачем же в этот день мир не покрылся мраком?

В небытии с Ширин свидание мое!
Я, не промедливши, уйду в небытие!»

Оповестил о ней он и моря и сушу,
И, прах поцеловав, свою он отдал душу.

Всем ведомо: судьбе иного дела нет.
Как души отнимать, гасить для смертных свет.

К злосчастному стремясь, рок позабыл о мере,—
И входят бедствия, все распахнувши двери.

Он видит: счастья нет, лишь горечь дни сулят:
Он вложит сахар в рот — тот обратился в яд.

За розу ухватясь, он скажет: «Ты близка мне»,
Не росы на него посыплются, а камни.

Увидит бурный мир, увидит: мир — не гладь.
Из мира этого свою забрать бы кладь!

Поводья свесились, неудержимо время,
А юности нога попасть не может в стремя.

Свой рок преодолеть придет тебе пора,
Лишь только ты уйдешь из этого шатра.

В четвертых небесах прибудешь к серафимам,
Чтоб в сонме светочей все ж сделаться незримым.

Мир — див; храни свой дух — да будет скован див! —
Дух добронравием от дива оградив.

Не делай для себя свой нрав суровый адом.
Пусть раем станет он, ведя других к усладам.

Коль человечен ты, послушай речь мою:
Не только в небесах, но ты и здесь — в раю.

О глаз! Беспечный глаз! Ты мир узри воочью.
Мир обними, как те, недремлющие ночью.

Как долго под землей ты будешь спать, о друг!
Крутящихся небес тебя забудет круг.

Лет пятьдесят игры злокозненной промчится,—
Сей костью глиняной доколь тебе кичиться?

Пусть и пять тысяч лет — срок воровской игры,—
Брось кость, ведь все равно играешь до поры.

Что крепче, чем кремень? Под ветра частым взмахом
Он все же стал песком, он стал зыбучим прахом.

О коврик кожаный — земля! И вновь и вновь
На этот коврик льют одну лишь только кровь!

Кровавые дожди впитала эта суша.
Кто мог бы из-под них спасти и Сиавуша?

В песчинках взвившихся, что закрутил бурун,
Несется Кей-Кобад иль мчится Феридун.

И людям не найти на всем земном покрове
Горсть глины без людской, людьми пролитой, крови.

Кто знает, что таил сей вековечный храм,
Счет вечерам его и счет его утрам?

Столетие пройдет — и все течет сначала.
Лишь век умчится прочь — уж век другой примчало.

И с веком человек свой также кончит век,
Чтоб он на сущность дней своих не поднял век.

Но что в крупицах дней среди тысячелетий
Увидеть сможешь ты иль услыхать на свете?

Все ж и добро и зло в столетье каждом есть,
И в том для мудрого о некой тайне весть.

Коль ты не хочешь быть в гонении бескрайном,
Ты век не поучай другого века тайнам.

Чреда ночей и дней, что пегий конь, летит,
От бега времени ничто не защитит.

Хоть ты на сто наук свершил свои набеги,
Тобой не будет взят в поводья этот пегий.

Себя боготворить не должен ты, о нет!
Забвение себя — спасения завет.

Котел земли кипел по воле звезд, но что же!
Необработанной земля подобна коже.

Небес игорный дом, незримый для очей,
Все деньги отобрал у многих богачей.

Иль кажется тебе, что ты с невестой? Мудрый!
Мечту на ветер брось, не будь с сереброкудрой.

Быть может, грянет смерч, и злой его полет
Невесту — жизнь твою — с землею разведет.

Придет ли смерч иль нет, забудь свою усладу.
Не зажигай в ночи напрасную лампаду.

На горсти праха ты. В твоей горсти лишь прах.
Хоть руку для земли зажег бы ты впотьмах,—

Ей будет нипочем твою увидеть муку,
Ей не присыпать, нет, израненную руку!

Нам тягостная плоть созвездьями дана,
Так часто, мучима недугами она!

Ведь с кровли прыгнуть вниз нетрудно. Только в злости
Твой неизбежный рок твои сломает кости.

Но люди, что во сне не ощущают тел,
Не смогут пострадать от многих сотен стрел.

Свое дыхание, что управляет нами,
Мы ветром осени прикармливаем сами.

Но мертв твой каждый вздох, когда в нем нет любви.
Твой каждый вздох сочтен; ты страстно проживи.

Ты, умирая, смерть встречай бесстрашным взглядом,
Но в страсти, человек, ты должен быть Ферхадом,

Любил, чтоб на кирку приладить рукоять,
Строитель дерево гранатовое брать.

Была ему кирка помощницею верной,
Всегда с подручною в борьбе его безмерной.

Когда его вещун тоскою захлестнул,—
Кирку он за гору в отчаянье метнул.

Кирка впилась в гранит, а рукоять отбило,—
Вошла во влажный прах, а после вот что было:

Гранатовый побег из рукояти взрос,
И, ставши деревом, гранаты он принес.

И каждый этот плод всех снадобий полезней.
И немощных любых излечит от болезней.

Не зрел их Низами, но измышлять не стал,
А в древней книге он об этом прочитал.

ПИСЬМО ХОСРОВА К ШИРИН, ВЫРАЖАЮЩЕЕ СОЧУВСТВИЕ, НО НАПИСАННОЕ В НАСМЕШКУ

Певцу минувшего я словно снова внемлю:
В томленье по Ширин Ферхад покинул землю.

Грустила Сладкая. Ее потуплен взгляд:
Без птицы пламенной ее остался сад.

Низвергся кипарис у струй речного вала,
Весенним облаком Ширин затосковала.

Покрыв его парчой, похоронивши прах,
Стоит лишь с воздухом в беспомощных руках.

Затем надгробный холм — как ведомо по сказам —
Она молитвенным украсила гумбазом.

И поспешили весть Хосрову принести,
Что нету терния на царственном пути.

Раскаялся Хосров в содеянном; жестоко
Он поступил с собой; судьбы не дремлет око.

Был устрашен Хосров, был своевремен страх:
Возмездью, как и все, подвластен шаханшах.

Пускай к кому-нибудь зло от тебя несется,
Ведь это зло к тебе со временем вернется.

Пусть от возмездья шах берегся день и ночь,—
Возмездья в должный срок не смог он превозмочь.

Хосров призвал писца, что мог, как жемчугами,
Бумагу разубрать, покрыв ее строками.

На сахаре велит он глину замесить,
Все написать Ширин, все у нее спросить.

И в первом росчерке пленительной картины,
Как то положено, был назван бог единый:

«Во имя давшего людскому зренью свет
И зренье давшего, чтоб каждый зреть предмет,

Создавшего людей, и духов, и природу,
Придавшего лазурь и сумрак небосводу,

Воздвигнувшего шар прельстительной земли,
Чтоб вечно небеса вокруг него текли».

И после господа и господу угодных
Крылатых — речь повел писец о земнородных:

«Венец прельстительниц! Прекрасная Ширин,
Чьим сладостным устам сродни лишь мед один!

Над телом, чья душа твой образ возлюбила,
Слыхал я, ты шатер прискорбия разбила,

Ты мускусом кудрей прикрыла розы щек,
Льешь на жасмин груди алмазных слез поток,

Согнула кипарис, а щеки, в горе бурном,
Ты садом сделала не розовым — лазурным,

Покров с лица сняла и кос темнее мглы,
Кос гиацинтовых распутала узлы,

Ты поминаньями скончавшегося друга
Спалила этот мир, как воплями недуга.

Да, это дружбы долг. Я знаю, ты права.
И дружба верная обычно такова.

Ты сжалилась, Ширин, над низвергавшим горы
И, на колена став, к нему склонила взоры.

Но горесть большую убитый заслужил.
Ты в мир свой плач пошли, чтоб мир о нем тужил.

Кто от любви умрет? В любовь угасла вера.
Пусть все Ферхада чтут, пусть ищут в нем примера.

Но все ж делам его мы не подводим счет,
И нас к одной тебе сочувствие влечет.

Как вижу, грусть о нем в твоей засела думе.
Разрыва нету с ним: ты с ним, хоть он и умер.

Что ж мукою его убила ты? Ну, пусть —
Убила. Но, убив, зачем вкушаешь грусть?

Да что ж! Ферхада кровь ты ведь испила тоже,
Унизила его — цени теперь дороже.

Хоть над останками останешься сто лет,
Таких униженных, как он, на свете нет.

Пусть, как земля, в руке ты тьму сердец сжимаешь.
Столь обожающих не часто обретаешь.

Но в плаче пользы нет. Зачем рыдать над ним?
Когда жаркого нет, кто поднимает дым?

Ты выполнила все в дни горестного плача,
Но грабит рок всегда. Что горе! Что удача!

Увы! Основано на смерти бытие.
Ничье дыхание не длительно. Ничье.

Ты — день. Он был звездой, что озаряла души.
Когда восходит день — звезда свой пламень тушит.

Он был светильником, ты — ясный свет зари.
Светильник отгорел, ты — утро, ты гори.

Ты — сад, а он — трава,— и вот ее не стало.
Но в цветнике расти траве ведь не пристало.

И ты — свеча, а он — неловкий мотылек.
И мотыльку пропасть настал, конечно, срок.

Ты — пламень, ну а он — алоэ, и не может
Алоэ не сгореть: огонь его изгложет.

Пусть в цветнике не зришь знакомого крыла,
Склоняется к тебе созвездие Орла.

Пусть горсточки воды в твоем ковше не стало,—
Ведь Тигров множество к твоим стопам припало.

Скажи: «О месяц, сгинь! Есть полная луна».
Скажи: «Есть красота. Что родинка одна?!»

Да льются дни Ширин, пусть нету с ней Ферхада!
Пускай цветет несрин! Нам желтых роз не надо».

И, кончивши писать, склонился ниц писец
И положил письмо,— и позван был гонец.

Посланье взял гонец из царских рук, и сразу
Он в путь отправился, покорствуя приказу.

Увидела Ширин: пред ней письмо царя.
И лик ее зардел, как нежная заря.

Взяла она письмо. Мгновения не выждав,
Лишь разломив печать, поцеловала трижды.

Но видит, все прочтя, что мускус в нем не чист.
Что в белом сахаре лег ядовитый лист.

Что в тонком полотне завернута ехидна,
Что в спелых финиках сто острых терний видно,

Что грубые ковры упали на шелка,
Что в струях скрылся яд, хоть сладостна река.

Как пить такой шербет, составленный нечестно?
А гневом закипеть все ж было б неуместно.

Но с горечью, с трудом напиток, полный зла,
По счастью, проглотить Сладчайшая смогла.

СМЕРТЬ МАРИАМ

Не радуйся, Хаким, так волили созвездья:
За все свои дела дождешься ты возмездья.

Знай, будет оценен поступок твой любой!
Рок препоясался — следит он за тобой.

Когда Хосров послал, все зная про Ферхада,
Ширин свое письмо, исполненное яда,

Так было сумрачным угодно небесам,
Чтоб в Руме царствовать не стала Мариам.

Твердят: «Отравы злой ее убила сила.
Ведь это месть Ширин, что также яд вкусила».

Но истину блюди, не слушай, что твердят:
Низвергнул Мариам лишь властной мысли яд.

Индусы, видел я, являли силу мысли,—
Вмиг листья свежие, как мертвые повисли.

И, одурманив люд, они порой луну,
Как шар сияющий, бросали в вышину.

Лишь только Мариам прекрасная навеки
Замкнула сладкий рот и опустила веки,—

Как, ощутив себя уж не в ее руках,
Всю вольность прежнюю вкушает шаханшах.

Когда сгорел престол — как дерево — Марии,
Как пальма, шах расцвел, как «дерево Марии».

Но все же Мариам оказан был почет,—
И в сумрачном дворце день горестно течет.

И месяц шах провел в молитвенном обряде,
Не трогал тронных дел и в черном был наряде.

Лишь обо всем Ширин была извещена,
Почуяла меж роз и тернии она:

Ей было радостно свою оставить гневность,—
Ведь чистоту души уничтожает ревность.

Но все ж росли печаль и сокрушенье в ней:
Прозрела Судный день за сменой смертных дней.

В теченье месяца, чтоб быть душой с Хосровом.
Веселья под своим она не знала кровом.

А месяц миновал — и в душах нету ран.
И мир уже забыл свой горестный изъян.

И предалась Ширин уверенной надежде:
Пошлет ему письмо, и вспыхнет он, как прежде.

Все, все слова души в него метнет она,
Как в почву сеятель бросает семена.

СОЧУВСТВЕННОЕ ПИСЬМО ШИРИН ХОСРОВУ ПО ПОВОДУ СМЕРТИ МАРИАМ, НАПИСАННОЕ В ОТМЕСТКУ

Взяла она калам; за первою вторая
Строка обдумана; реченья подбирая

Столь сладковейные, как майская листва,—
Так заплела она начальные слова:

«Во имя господа, что там, на звездном троне,
Прощает смертного, воздевшего ладони,

Владыки светлого небесной стороны,—
Кому служения людские не нужны.

Питая существа, с них не берет он платы.
И лал вправляет он в камней подземных латы.

И птиц на высях гор и тварь в глубинах рек
Он в горькую тоску ввергает не навек.

За добрые дела он все прощает людям,
Мы в бедствиях всегда к нему тянуться будем.

Все длань его взнесла — от Рыбы до Луны,
Он знает все дела — от Рыбы до Луны.

Два цвета знает он: в тьме — полночь, полдень — ярок.
То горький колоквинт, то сахар их подарок.

В дворце и золотом и черном слышит он
То свадебный напев, то стоны похорон.

Твоей невесте, шах, не стало в мире места,—
Не бойся: для тебя есть не одна невеста.

Она ушла во тьму,— была ведь не впотьмах:
Ведь ведала, что скор на пресыщенье шах.

Пусть лучше у него подруги нет на ложе,—
Ну что ж, насыщен он! Она ушла — ну что же!

Он снова бросит взор на розовый цветник
И молвит: «Предо мной цветок иной возник».

Грущу: ушла во мрак нежнейшая из кукол.
А свет ее, как всех, и нежил и баюкал.

О нежный сердцем шах, не плачь! Иль ты не рад,
Что клад укрыт в земле? Она была ведь — клад.

Ты горе не вкушай, тебя разрушит горе.
Ведь землю жесткую и ту иссушит горе.

Ах, сердце хрупкое от горя кто спасет?
Всех с этой нежностью во взоре кто спасет?

О шах! От Мариам ты отведи поводья,
Не скажет и Иса, где все ее угодья.

Пусть нежная жена сошла в подземный дол,
Не надо покидать свой царственный престол.

Ты в кубок лей вино, не лей в свой кубок слезы.
Горюя, новых бед накличешь ты угрозы.

Живи, покуда смерть не встала у ворот.
Пусть умерла она. Родившийся — умрет.

Смерть смертного узрев, не каждый будет в горе
Дни долгие влачить,— он все забудет вскоре,

Оставившим наш мир обиды не чини.
Терпения хотят — не слез хотят они.

Коль тело смертного подвергнется недугам,—
То власти царственной не быть к его услугам.

Что взносишь над ручьем ты вопли в вышину?
Пусть Тигр уменьшился на капельку одну.

В ответ на то письмо, что разорвать бы в клочья,—
Слов, мной заслуженных, я вижу узорочья».

Вновь сахаром Ширин прельщен он, им одним.
Уж мошки нудные не кружатся пред ним.

Дни распрей с Мариам, как тень, проплыли мимо,—
Стал финик без шипов, нет над лампадой дыма.

Лишь только Мариам, чей был окончен пир,
Покинула навек подлунный этот мир,

Весь мир, сияющий и беспечальный снова,
Марии празднеством стал тотчас для Хосрова.

Когда исчезнет враг, идут легко дела.
Одна лишь горсть воды твой жар смирить смогла.

Три горстки нежных слов, со всей приправой правил
Привета, он к Ширин с поспешностью направил.

И приняла Ширин посланье, как фирман:
Ведь было надобно ей снадобье от ран.

Встарь думала Ширин, что царь — купец богатый,
Что покупатель он, и очень тороватый,

Что паланкин пошлет, что за такой товар —
Невесту царскую! — пошлет ей брачный дар.

Но он с упреками ей слал за свитком свиток,
Она ж вела игру, любви укрыв избыток.

Увидела Ширин, что красота — товар,
И цену подняла: заголосил товар.

Есть покупатели — цена взрастает сразу,
И ценен божий свет, когда он виден глазу.

Совет мой выслушай, возьми вот это в толк:
Ты шелк не предлагай, когда не нужен шелк.

Прислушайся к словам купеческих поверий:
В дни спроса на товар — сними засовы с двери.

Над Тигром пей вино, оно — твоя услада.
Одной корзины нет из всех корзин Багдада.

Души бессонницу дремотой потуши.
Ушедшая из глаз пусть выйдет из души.

Хоть стройный кипарис исчез из сада мира,—
Останься, ты — душа, ты — вся услада мира.

В почете должном будь, и вечно будь один.
Горит прекраснее единственный рубин.

Для солнца кто ровня? Назвать была б обида.
Два солнца чтить нельзя — таков устав Джемшида.

Двум птахам сладко спать под снегом зимних пург.
Ты должен быть один: ты — сказочный Онмург.

Утратил ценный лал, но ты ведь царь, и щедро
Бесценных лалов ряд тебе откроют недра.

Та голова ценней, с которой равной нет.
Ценней алмаз, чей свет — неповторимый свет.

Газель умчалась прочь; но, друг великолепий,
Газелей множество твои вмещают степи.

Пусть зернышко одно утратил твой хырман,—
Да будет целый ток тебе судьбою дан!

Пусть розы нет,— забудь, что есть на свете терны,
Мир воскресит цветы течением размерным.

Останься, пусть ушла румийская краса,—
Не плачь о Мариам: останется Иса».

ПИСЬМО ШИРИН ПРИХОДИТ К ХОСРОВУ

Когда Хосров прочел сладчайшее посланье,
От слова Сладостной стал полон он пыланья.

Сказал он: «Где ж война? Ведь ведает весь свет,
Что камень пращнику бросается в ответ.

Обманывал Хосров. Ей виден был обман.
Лукавила Ширин. Он пил ее дурман.

Измучился Хосров. Лукавств пошли харвары.
И вот решает он ослабить эти чары,

Подружку завести. Он думал об одном:
Хромого ослика подбодрить скакуном.

С самим собой вступить он хочет в сделку. Смело
Решил он повернуть совсем иначе дело.

Пытливо речь его со встречными течет,
Он — опытный купец, все примет он в расчет.

ОПИСАНИЕ СПРАВЕДЛИВОСТИ ХОСРОВА

Он препоясал стан лазурным небосводом:
Вовек с ним равный царь не реял над народом.

В приемный день Хосров начать прием готов.
Пред ним просителей предстало пять рядов.

Ряд первый — богачи в шелках своих богатых.
Второй — лишь бедняки; их рубища в заплатах.

Из бледных, немощных составлен третий ряд:
Чуть дышат слабые, сердца их чуть горят.

Заняв четвертый ряд, стояли те, чьи ноги
Звенели узами, чей взор молил — помоги.

Назначен пятый ряд убийцам; в том ряду
Не спросят: «Ждешь... чего?», чтоб слышать:
«Смерти жду».

Указ о милости висел пред этим рядом.
Убийцы с верою в него вперялись взглядом.

И всем рядам уста везира говорят,
Чтоб каждый ряд взглянул на свой соседний ряд.

И вот богач глядит на нищих,— благодарен
Он на избыток благ, что был ему подарен.

И нищий поглядел на хворых,— он готов
Пасть пред создателем: он дышит, он здоров.

Вот поглядел больной на узника,— природу
Он больше не корит: он ведает свободу.

И узник увидал убийцу,— тяжкий стон
Забыла грудь его: ведь не убийца он.

Вперил убийца взор в указ и поднял вежды
К высоким небесам: пред взором — свет надежды.

Тюки хвалений стлал у царственных ворот,
Как с сахаром тюки, неропщущий народ.

ХОСРОВ, ПИРУЯ, ВОССЕДАЕТ
НА ТРОНЕ ТАКДИС

Он с кубком сел на трон; и временам и срокам
Он путь указывал; он был всевластным роком.

Вкруг трона царского, что назван был Такдис,
Встал венценосцев ряд, глаза направив вниз.

Все образы светил, плывущих в звездном лоне,
Сплели свой гороскоп на этом царском троне.

До сфер сатурновых от высших сфер луны —
Чертоги все на нем,— все изображены.

И неподвижных звезд здесь вычерчена сфера,
И всех путей планет здесь отразилась мера.

Оповещает всех узор его камней
И о часах ночей, и о теченье дней.

По трону этому, взор не подняв к высотам,
Составить гороскоп доступно звездочетам.

Кто видит яркий трон, что смертным взорам пир,
Джемшида чашу пьет и весь в ней видит мир.

Он трон земной иль трон заоблачного стана?
Не царский это трон, он трон «сахибкирана».

Прекрасноликий царь, и боевой он слон,
Лев с гривой, амброю пропитанною,— он.

Весь мир он захватил одним походом скорым.
Он скатерть разостлал по всем земным просторам.

Его меджлиса сад Ирема не бедней.
Круг золотой небес — кольцо его дверей.

Величья хочешь ты — так щедрым стань скорее.
Кошель свой завяжи лишь листиком порея.

Коль бережет богач и маленький лоскут,—
Его дела, поверь, на убыль потекут.

Не сберегай того, что принял ты от мира,
Взимай с него харадж для радостного пира.

Что край твой дал тебе, пусть вновь получит край.
А не желаешь брать — ну что ж, лишь раздавай!

Нельзя, о царь, владеть всем миром одиноко,
Нельзя нам восседать за пиром одиноко.

Разумным ведомо: кто пьет без друга, тот
В свой час назначенный без друга и умрет.

Пить в одиночестве не надо: будет горе
С тобою пить, и мир — как злое станет море.

Ты обрати себя в горящую свечу,
Чтоб мог тянуться люд к блестящему лучу.

Скажи, что ценного Карун унес из мира?
Ларцов не унесешь — не стоят слез! — из мира.

Все то, чего достиг,— ты с мукою достиг:
Что ж мучиться? Ведь все достигнуто на миг.

Страдать — теряя все, страдать — все обретая!
Сокровищ мне милей ты, бедность золотая!

Джемшида превзошел величьем царь Хосров,
И солнце превзойти он щедростью готов.

Весь раздавался клад веселым падишахом.
Он — клад, и клады все ему казались прахом.

В день дважды скатерть стлал; им так заведено:
Снедь с чашами дарил и с кубками вино.

Границы нет столам в тени царева крова.
Дается мошке слон, а муравью — корова.

На скатерти меж яств пустых не видно мест;
Из-за горы сластей не видно, кто что ест.

И сколько здесь быков и птиц и разной рыбы!
Исчислить этого с тобой мы не могли бы.

И ветер, пиршества вкушая аромат,
Вернуть цветам свой долг, уже ненужный, рад.

Чтобы алоэ класть и амбру класть в кадила,
С богатой Индии вся подать уходила.

Когда несли царю назначенную снедь,
До Хузистана мог дух сладкий долететь.

Он поутру вкушал кебаб душистый, сочный,
С жемчужиной большой, прекрасной, непорочной.

Купцам индийским там, где плещет океан,
Груз тайный золота за этот жемчуг дан.

Растертый жемчуг съев, такой достигнешь цели:
Смесь влаги основной в твоем смирится теле.

Ел жеребенка царь; и синеглаз и чист
Был жеребеночек и, как рейхан, душист.

Его на пастбище не с матерью держали,
А молоком овцы старательно питали.

Чтоб это лакомство для пиршества испечь,
Велел Хосров сложить серебряную печь.

И в этой жгли печи не дерево сухое,
А многоценное душистое алоэ.

Вот в печь такую-то и ставили кебаб,
Чтоб гости за столом прославили кебаб.

На золотой поднос кебаб горячий клали,
А вес подноса был почти семьсот мискалей,

И яства этого (как будто утоля
Свой голод) царь съедал лишь с горстку миндаля.

Искал он взором тех, кто схвачен был нуждою,
И вот тому, на ком, всех оглядев чредою,

Взор останавливал,— и печь давал он в дар,
И золотой поднос, сверкающий, как жар.

Да! Скатерти такой вовек не зрило небо!
Не выпекал огонь вовек такого хлеба!

На скатерть синюю, взяв из печи, зарю
Сложили. И она — подобна янтарю.

Ждал, как обычно, царь с днем новым новой встречи,
И снова скатерть стлал, и снова делал печи.

Царь каждый день творил такие волшебства,
Как будто навсегда он взял на них права.

Но что же, выйдет срок — не станет падишаха.
Всей этой пышностью не одолеешь праха.

Иди с удачливым, коль мил тебе почет,—
С удачливым почет поспешно притечет.

Татарская газель пройдет в рейханах луга,
И мускусом ее пропахнет вся округа.

Газель, что пробежит по кругу сорных трав,
Разносит только пыль с дыханием отрав.

Однажды от отца, исполненного света,
Я услыхал слова премудрого совета.

«Близ незадачливых не шествуй по пути,—
Вблизи удачливых жилище обрети».

Коль хочешь числиться меж светлых, ясноликих,—
Свой светоч ты зажги от факела великих.

Ведь тем жемчужина для смертного ценна,
Что в глубине морей великих рождена.

ХОСРОВ ВЫСЛУШИВАЕТ ОПИСАНИЕ ШЕКЕР ИЗ ИСФАХАНА

Как в мире водится, превысивший все выси,
Шах, озаривший мир, однажды был в меджлисе.

Чтоб длань его лобзать, свой препоясал стан
Подвластный ряд владык из всех окрестных стран.

Царь исфаханский тут и рейский, и, блистая,
Здесь миродержцы все — от Рума до Китая.

Глава хотанцев тут, и вождь хабешский тут.
Все с чашами в руке, все в честь Хосрова пьют.

Всех кравчий обошел, свой круг он сделал снова,—
И вот уж нет следа от скромности Хосрова.

Он, скромности покров со слов решив совлечь,
В мир непристойности свою направил речь.

Он вопрошает всех, свои вопросы множа:
«Где краше женщины, пригодные для ложа?»

«Я только нежности,— сказал румиец,— рад.
Клад — прелесть нежности, и в Руме этот клад».

Другой сказал: «Хотан — вот где прекрасны девы!
О них, прославленных, слагаются напевы».

«Ты на Армению с отрадою смотри,—
Сказал другой,— лишь в ней есть женщины пери».

Кашмирец вымолвил: «В пленительном Кашмире
Такая сладость есть, какой не сыщешь в мире».

«Для царственных пиров, всем прочим не в пример,—
Так исфаханец рек,— есть девушка Шекер.

Помыслив об ее усладном сладком стане,
За сладость не сочтут весь сахар в Хузистане.

Мрут зерна финика от сладких уст,— к чему
Их сахар? Он ведь раб у Сахарной в дому.

На край ее луны, чуть приоткрытый, бросив
Свой взгляд, в отчаянье заплакал бы Иосиф.

У смелой Сахарной порок есть лишь один:
Ей все равно, кто царь, а кто простолюдин.

Как ветру, всюду дом Шекер веселой нашей,
И всюду, как тюльпан, она с взнесенной чашей.

И те, с которыми Шекер вступает в лад,—
Опорожнят кошель, растратят целый клад.

И тот, кто пробыл ночь с веселой хоть однажды,
Все помнит эту ночь, все полон страстной жажды».

Царь вспыхнул, вновь горит огонь горячих жил,
Вновь игр любовных царь основу заложил.

Он на Ширин помчит коня напропалую!
Одной красавицей ограбит он другую.

Смыть «Сладость» «Сахаром» и смело, без обуз
Распутать узами весь узел прежних уз.

Затмить жемчужину жемчужиной другою.
Одну парчу — другой парчою дорогою.

Он на базар Шекер спешил для сделки, есть
Услыша,— в сахаре вся сладость тоже есть.

Хоть сердце страсть к Шекер в себе не погребало,
Из Исфахана звать ее не подобало.

Он терпеливо ждал, все ждал,— и целый год
Не примечал никто весь гнет его невзгод.

ПОЕЗДКА ХОСРОВА В ИСФАХАН ЗА ШЕКЕР

Год миновал, и вот шатры царева стана
Везут во след царю в пределы Исфахана.

Царь в дол спустился. Дух, от радости взыграй! —
Здесь шире был простор, чем византийский край.

Все к празднествам влечет — и светлые просторы,
И красота людей, пленяющая взоры.

И стал он пить вино, весельем упоен,
Но к вольной куколке душою влекся он.

Он про ее жилье выспрашивал украдкой,
И вот проведал путь к жилищу этой Сладкой.

С рабом он выехал в полуночном пути
На торжище Шекер — желанное найти.

И вот Хосров стоит пред сахарным порогом,
И новой сладости стал Исфахан чертогом.

И подошла пора всех радостных услад.
Был у Ширин дворец, а у Шекер был сад.

Кольца дверного стук, чуть слышимый для слуха,
И вмиг невольничье кольцом сверкнуло ухо.

И видит раб красу Хосровова лица,—
И тотчас узнает носителя венца.

Царя с Шебдиза снять — почетная услуга,
И пусть пасется конь в росистых травах луга.

Ввести царя в дехлиз — возвышенный удел,
И раб свой гордый лоб в кольцо Сатурна вдел.

Сев на ковер утех, услад предвидя чары,
Не поскупился царь на звонкие динары.

И он позвал Шекер. Он разрешенье дал,
Чтоб сладких уст Шекер пред ним раскрылся лал.

Шекер, неся джуляб, для нег отрадной ночи
Вошла. Сладки уста, полны мечтаний очи.

«Шекер»,— ведь рот ее на сахар тороват;
Он — сладкий леденец, прославленный «набат».

И струи мускуса струились к ней на плечи,
И сахар сыпали приветливые речи.

Как Вис, была Шекер приманчива, нежна;
Как пестуница Вис, польстить была склонна.

Служанки у нее из Греции, Китая,
Найти прекраснее,— была б мечта пустая.

И ночь, их слыша смех, была, как ночь Новруз,
И навык был у них в плетенье нежных уз.

И с чашею Шекер, и взор ее умилен,—
«Такой кумир со мной, а дом мой — необилен!»

Но льет вино в хрусталь, что тотчас засверкал,
Как в воду твердую, огня струистый лал.

Но были сладостней уста ее и краше
Напитка сладкого, сверкающего в чаше.

Осанка царская величия полна.
Безмолвен царь. Поет прекрасная Луна.

Он к полной чаше льнет, и льнет он к новой чаше,
И мнится сон ему все сладостней, все краше.

Когда ж он смутен стал,— запястьями бренча,
Приподнялась она, в ее руке свеча.

И разрешения она спросила, стоя,
И, получив его,— выходит из покоя.

И вот она вдвоем с одной служанкой — с той,
Что схожа станом с ней и схожа красотой.

Свой золотой наряд отдав ей и каменья,
Она идти к царю дает ей повеленье.

Рабыня нежная к царю пришла, и вот
За сахар Сахарной ее он принял мед.

Он обнял тонкий стан, минуты были сладки,
Но был обманут он в хмельном своем припадке.

Была прислужница всех прелестей пример,—
И вот решает шах, что рядом с ним Шекер.

И сладок был Хосров, и в трепетной рабыне
Росло смятение, ей чуждое доныне.

Кто всех любезнее? Хосрова назови.
Царь чародеем был в речениях любви.

Встает рабыня. Свет. Не хочет ночь продлиться.
И царь красавице позволил удалиться.

Она пришла к Шекер, и должно было ей
Поведать госпоже все о царе царей.

Все об его огне, о нежности бескрайной
И также обо всем, что было сладкой тайной,

Чтоб знала все Шекер и чтоб она могла
Беседовать с царем про сладкие дела.

И со свечой Шекер идет к царю, ведь падки
На сахар мы, а свет и сахар вместе — сладки.

И думает Хосров, что с ним была в ночи
Вот эта, в чьей руке сияние свечи.

«Гостей таких, как я,— звучат слова Хосрова,—
Встречала ль ты, скажи, в тиши ночного крова?»

«О царь единственный! — звучит ее ответ.—
Везде я побыла — тебе подобных нет!

В тебе вся красота, твое любое слово
Все сладкоречие вместить в себя готово.

Но есть в тебе порок, прости, склони свой слух,—
В твоих устах есть соль, но есть и скверных дух.

Соль свежесть бережет,— и это беспримерно,
Что полон соли рот, и все ж он пахнет скверно».

Царь лилию спросил: «Что делать?» — «Целый год —
Чеснок и лилия»,— ответ она дает.

На год уехал царь из капища, при этом
Воспользоваться он решил ее советом.

Когда же год прошел от ночи той хмельной,
Природа царская вся сделалась иной.

И вот из чеснока,— шах властвовал над роком,—
Взрастает лилия как будто ненароком.

И вот, как в прошлый год, когда уснул весь мир.
Он к Сладостной Шекер отправился на пир.

И сладость он обрел, как в ночи прошлогодней;
Вновь сладость сахара ему всего угодней.

Минуты протекли; от этих сладких вех
Остался томный след лобзаний и утех.

И снова слился царь с красоткой среброногой,
И вновь был утомлен любовною дорогой.

Рот зацелованный лобзал он, упоен:
Он мнил, что сахар ест, но ел не сахар он.

Лишь свет на войско тьмы набросился с размаха,
Шекер услышала вопрос от шаханшаха:

«Видала ль ты гостей, подобных мне? Меж них
Кто заключал тебя в объятиях таких?»

Был сахарный ответ: «Да, в прошлый год был тоже
Такой же, как и ты, с тобой красою схожий.

Но хоть пленяли взор лица его черты,
Несладко веял рот, как роза дышишь ты!»

Царь молвил: «Знаешь все — ведь опыт твой богатый!
А хочешь ли узнать, порочна чем сама ты?»

«Каков же мой порок,— промолвила она,—
Тот, от которого прекрасная дурна?»

Ответил он: «Порок, что очень схож с недугом:
Ведь часа не пройдет, как ты уж с новым другом.

Роднишься с каждым ты, как тяжкая судьба:
Как мир, играешь ты, в ком страстная алчба.

О птичка, с прелестью и для Китая редкой,
Зачем прельщаешься ты каждой новой веткой?

Где ножны нежности? Тебе все нипочем,
И каждый миг, Шекер, играешь ты мечом».

Она ответила: «О юноша! Но кто же
Мой сахар пробовал? Он мне всего дороже!

Создателем клянусь, не стану я молчать!
Еще лежит на мне священная печать.

Покуда брачный жар со мною не был дружен,—
И я жемчужина нетронутых жемчужин.

Прислужниц огляди, поверь, с одной из них
Ты пребывал, о царь, в объятиях ночных.

Вначале это я сажусь с тобою рядом,
И чашей потчую, и обольщаю взглядом.

Но та, с которой ты весь забываешь мир,—
Не я, но блещущий, подобный мне, кумир».

И, слух свой преклонив к ее устам прекрасным,
Воскликнул шаханшах, горя в порыве страстном:

«Когда жемчужина нетронута,— она
Явить свою печать священную должна!»

РАССПРОСЫ ХОСРОВА О ШЕКЕР И ЕГО СВАТОВСТВО

Когда огонь зари стал ярче и обширней,
Шах, быстрый, как вода, расстался вновь с кумирней.

Всю исфаханскую он созывает знать,—
О сладкоустой все желает он узнать.

И призванные все твердят одно и то же:
О чистоте Шекер все молвили вельможи.

В мешочке сахар скрыт,— Шекер невинней роз,
Горящих белизной под капельками рос.

В ларце она всю сласть своих приманок держит.
Для сладостных услуг она служанок держит.

И пусть для каждого ее оседлан конь,
Но страх с секирою спешит за ней: не тронь!

Услышал шаханшах и от старух: «Доныне
Шекер находится в закрытом паланкине».

Решению небес внимает царский слух:
Был сахар утаен,— укрылся он от мух.

К ней сватов он послал, благим считая знаком
Все бывшее. С Шекер он сочетался браком.

Жемчужину обрел он первый, он один,
И вправил он в кольцо пылающий рубин.

И вскоре в Медаин вернулся он, с ним рядом
Теперь была Шекер, его лаская взглядом.

Мнил Сахар победить Сладчайшую, и вот,
Шекер свой сахарный к нему склоняла рот,

Но Сахар в горести лежит в мешочке сжатым,
Он царством фиников подавлен был богатым.

Пылал он, как свеча, так волила природа,—
Ведь воску весело лишь только возле меда.

Ведь сахара вкусил до преизбытка царь
И к царственной Ширин повлекся, как и встарь,

И, жаждая Ширин, в беспамятстве Хосров,
Как сахар в чашечке, растаять был готов.

Грустит он, разлучен со сладостной душою,
Хоть сладкий сахар ест он с жадностью большою.

Для высшей сладости ведь сахар не в пример.
В ущербе ли Ширин от сахарной Шекер?

Лужайку без цветов зовем мы лишь землею.
Что сахар, если сласть судьбой укрыта злою!

Что сахар! Сладость чти! Подумай, не спеши,
Ведь он из тростника, она же — из души.

Рок сладость унести грозит, мужей пугая.
Лишь детям сахар мил и мил для попугая.

И сладкая вода нам сладостна всегда.
А сахар растворит ведь всякая вода.

Да! У Шекер с Ширин различие во многом,—
Знай: сахар для души лишь может быть чертогом.

Скрыл паланкин Ширин — возьми ты это в толк.
Она — пери. Шекер — ее укрывший шелк.

Знай, размышляющий, хоть ты на сахар падок,
Что только сладостью нам этот сахар сладок.

И ведает Хосров: нет, не Шекер нужна
Ему для радости,— Ширин! Ширин одна!

Хрусталь и лед чисты, но смысл различья важен,—
Хрусталь и чист и сух, а лед и чистый — влажен.

И дух рвался к Ширин. «Зачем в напрасный бой,—
Кричал он,— мне вступать, вступать с самим собой?

Пусть голову мою гнет жернов! Пусть вращаться
Он продолжает! Пусть! С Ширин ли распрощаться?!

И пусть из-за Ширин склоню чело я в прах,
Пусть гибну,— не забыть о сладостных дарах!»

Но с сердцем не пресечь Хосрову разговора.
«Терпи,— твердит оно,— достаточно позора!

Стерпи! Бушует страсть, рассудок твой крутя.
Прельстился сладостью, а ты ведь не дитя!

Поверь, кладут сурьму ведь палочкой особой,—
Спешить в любых делах не следует, не пробуй.

И Сахар у тебя и Сладость, но взгляни,—
Ты с чашей сладкою, а все же горьки дни.

Не двух ищи,— одну. Иль бурный дух застонет.
Перегрузишь ладью — ладья твоя утонет.

Коль ты повергнуться не хочешь, словно тень,
Неспешно восходи на каждую ступень.

Безмерно не спеши, своим желаньям вторя:
Недостижимое тебя повергнет в горе.

Излишнего не жди, стремясь желаньям вслед.
Найти нежданное — победа из побед.

Нет! Действуй, о душа, ты мужественно, смело:
Всегда бесстрашие всего достичь умело.

Нет, лишь терпение вожак мой, лишь оно!
Томиться женственно лишь женщинам дано.

Мужчина ты иль нет? О чем же ты хлопочешь?
Быть женственным, скажи, иль быть с женою хочешь?

Газель смелей тебя. Напрасная молва
По миру ширится, что ты отважней льва.

На стриженого пусть я и похож барана,—
Все ж я в своей шерсти! Не усмехайтесь! Рано!

Я тайну скрыл, и я — настороженный слон.
Я — шелковичный червь: мой кокон — мой полон.

Тюрчанка смелая подумать уж готова,
Что ей Хосров ничто, что сломит Кей-Хосрова.

Взяв сердце, этот курд схватить намерен грудь.
Взяв дом,— к сокровищам прокладывает путь.

Вся окровавлена душа моя борьбою:
Жадна, а ведь чума рождается алчбою.

Надежда, понял я, на верность жен — слаба.
И врач не варит сам целебное «сикба».

Прости меня, творец, но, чтоб смирить всю муку,
Мне должно на Ширин поднять немедля руку.

Чего стыдиться мне, зачем мученья длю?
Я оскорбил ее. Так снова оскорблю!

«Жены не обижай,— мне рек старик в Гиляне,—
Обидишь, так побей, и станет все как ране.

А заупрямится — рази, чтоб ей не встать!»
Нет, женщин ты не бей; их бить — тебе не в стать».

В тоске метался царь, в тоске необычайной.
Где друг? К кому пойдет он со своею тайной?

Верь сердцу своему — оно твой друг навек.
Ты и сердцам друзей не верь! о человек!

Храни свое зерно иль тотчас станешь нищим.
Не позволяй чужим владеть твоим жилищем.

Про тайну каждую, все оглядев кругом,
Так с другом говори, как говоришь с врагом.

Один ты между стен? Совета все ж послушай:
Молчи, за стенами снуют порою уши.

О тайном говорить не надо меж чужих.
Молчи и меж друзей, укройся и от них.

Коль с ближним скрытным быть, взволнованный, угрюмый,
Не можешь — все забудь. О тайнах и не думай!

Не размышляй о том, чего сказать нельзя.
Молчи о том, к чему заказана стезя.

Когда б скрывался ты, к тебе ведь не могли бы,
Твоих не слыша слов, нагрянуть мухтесибы.

То, что нельзя пропеть на пиршестве царей,
Ты и в степи не пой среди своих друзей.

Всегда доверие к приятелям некстати,
И лучших не вручай сокровищ без печати.

Пусть будет от тебя подальше грубиян,—
Он повредит тебя, ведь твой почетен сан.

Ты почву не кори, хоть выбор почвы важен:
Лишь тот взрастает плод, который был посажен.

Уместно трать слова — их следует беречь.
Пусть лишь в хвалу тебе твою повторят речь.

Страшись! Хоть речь твоя полна находок сотней,—
Единый промах твой припомнят все охотней.

Чтоб взвесить речь свою, коль сердцу дорога,
На речь свою гляди лишь взорами врага.

Крои кафтанов ряд на славу и с размаха
Рубаху разорви, коль негодна рубаха.

ОДИНОЧЕСТВО ШИРИН И ЕЕ СТЕНАНИЯ

Проведал все Хосров: у сладостной Ширин
Был утешителем Шапур, Шапур один.

Шапура он вернул, призвал к себе: быть может,
В безлюдье гордая от скуки изнеможет.

И вот Ширин одна; судьба ее строга.
С нарциссов глаз ее струятся жемчуга.

К предельным в горести пришла она невзгодам.
Спустилась ночь,— и ночь ей показалась годом.

Иль пьяный страж ночной трещотку позабыл?
Иль захмелел звонарь? Беззвучен сумрак был.

Небесный свод угас в полуночном потоке,
И не мечтал рассвет о сладостном востоке.

И мир наш перестал вращаться и рождать.
На всем творении — недвижности печать.

Мгла — крылья дьявола. И ночь молчала строго,
И не кричал петух, и не хвалил он бога.

И в сердце у Ширин текла ночная мгла.
Как эта злая ночь, мрачна она была.

И страждет дух ее в таком томленье сиром,
Что распрю тяжкую она заводит с миром.

И молвила она: «Влачишь меня куда?
О время! Это — ночь иль вечная беда?

Иль эта ночь — змея? Мне мрак страшней неведом.
Иль перед черным я предстала людоедом?

Нубийцы — радостны, но сей нубиец злой
В рыданья вверг меня своей суровой мглой.

О черный небосвод! Зачем мне на мученье
Ты ныне позабыл свое коловращенье?

Связал тебя мой мрак? Иль под твои стопы
Мой черный дух метнул железные шипы?

Спасения от мглы я отыскать не в силах,
Я отблесков зари не вижу светлокрылых.

Ночь! Благородной стань, свою припомни честь,
Иль умертви меня, иль молви дню: «Ты есть!»

Ты веришь в господа, так знай в мученьях меру:
От мрака твоего утратила я веру.

Как туча, медлишь ты, часы свои не мча.
Огня ль боишься ты? Страшишься ли меча?

Не барабанщику ль зари сломали руки,—
О звезды! Вам ступни связали мне на муки.

В недвижимой ночи, страшась ее угроз,
Я таю, как свеча, в потоке жарких слез.

Иль потому горю я в горести всечасной,
Что яркая свеча всем кажется прекрасной?

О птица ранняя, вновь песенку пропой!
Рассмейся, утро, вновь восторг являя свой!

Ведь ты же веруешь, предутренняя птаха! —
Так что ж не славишь ты великого аллаха?

О утро, ты огонь,— зачем ты ждешь огня?
Ты высекаешься не нами из кремня».

И сердце билось в ней, как бабочка, но вскоре
Свеча зари зажглась, ее сжигая горе.

ВОСХВАЛЕНИЕ УТРА

О утро свежее! Какой волшебный край!
Все даст оно, коль ты ему промолвишь: «Дай!»

О ты, обретший путь в чертог любого клада,
Ключ утренний возьми — раскроется ограда.

Всем тайным помыслам дает оно ключи.
Ты утру все открой,— не бойся, не молчи.

В час утренний в душе, забывшей все угрозы,
Молитвословные произрастают розы.

И все, кому дана всевышней волей речь,
В своей душе молитв не смогут уберечь,

Но если птица слов из пут несется тесных,
То как же прозвучит молитва бессловесных?

В выси, куда восторг молитвенный проник,
Тварь бессловесная, понятен твой язык!

ШИРИН ВОЗНОСИТ ХВАЛУ БОГУ

Испив благой зари целительный напиток,
Ширин тоски ночной забыла преизбыток.

И дождалась она в терпенье взмаха крыл:
Пропел петух, что всетерпенья ключ открыл.

И в келейке к земле она склонилась ликом,
Припомнив в должный час о господе великом:

«Творец! И ночь мою преображая в день,
Меня, как целый мир, ты радостью одень.

Освободи, господь! Я сжата тесным горном,
Пусть я блесну, как лал, забыв о плене черном.

Всегда откликнуться молящим ты готов,
Услышь, о господи, и мой молящий зов!

Без меры стражду я! Нет сил моих! О боже!
Ты помогаешь всем — так помоги мне тоже!

Клянусь потоком слез всех брошенных сирот
И горем стариков, что в скорби сжали рот,

Клянусь покоем всех скитаться обреченных,
Клянусь покорностью в колодцы заключенных,

Клянусь моленьями под сводами суда,
Клянусь я стоном злых, горящих от стыда,

Клянусь я истиной и тем стихом Корана,
Которым лечится души болящей рана,

Клянусь я верою, что праведным дана,
И тайной, что тобой пророкам вручена,

Клянусь я бедными, что к нам не тянут руки,
Клянусь увечными, что стойко терпят муки,

Клянусь я путником, что скорбью обуян,
И тем покинутым, чей скрылся караван,

Клянусь я пламенем, укрывшимся за тканью,
Клянусь я всем, что нам твоей дается дланью,

Клянусть я верой жен, склоненных пред тобой,
И каждою в твой слух проникшею мольбой,

Клянусь я возгласом последнего взыванья,
Клянусь я именем, что вне истолкованья!

О, сжалься, господи! Я жду твоей руки,—
Из омута беды меня ты извлеки.

На голове моей, создатель, каждый волос
К тебе бы воззывал, когда б имел он голос.

Нет, я не подняла до слуха твоего
Из тьмы достойных слов еще ни одного.

Хотеть постичь тебя! О немощность хотений!
Ты существуешь, ты! А все иное — тени!

За пологом небес ты светишь. Ты — един.
Ты свода синего творец и господин.

Где грани для тебя, творения начало?
Познанье никогда об этом не вещало.

Ты продлеваешь дни, ты сделал смертной плоть.
Что хочешь, соверши, ты знаешь все, господь.

Хоть все, что ты пошлешь, пусть и несчастий стаю.
На жизнь и на смерть я, создатель, принимаю,—

Но все ж я немощна, больна душа моя,
Дай муки только те, что вынесла бы я.

Я в странствии земном все не сыщу дороги,
Но, не сыскав, дождусь благой твоей помоги.

Мне ниспошли дары былых своих щедрот:
Я обретала их вблизи твоих ворот.

Что скрою от тебя? Печаль моя — бескрайна.
Как тайну утаить? Все для тебя — не тайна».

Затем, что дух Ширин совсем не знал о зле,
И вся она, моля, лежала на земле,—

Ее утешил бог, к ней опуская вежды,
И дал железный ключ, ключ от ее надежды.

И радости Ширин расцвел румяный куст,
И вновь был сладок лал ее сладчайших уст.

Достиг Парвиза жар и слов ее и стона
И тронул душу в нем, как своды небосклона.

ПОЕЗДКА ХОСРОВА К ЗАМКУ ШИРИН ПОД ПРЕДЛОГОМ ОХОТЫ

Лишь только свет воздвиг свой позлащенный стяг
И мрак он разогнал, как скопище бродяг,—

Припомнил царь: на дичь так радостна охота!
И счастья попытать пришла ему охота.

В душе была Ширин, как свет былого дня,
И в степи весело направил он коня.

Вот най, вот барабан! Гремят его раскаты,—
И закружился мир, веселием объятый.

Знаменоносцев ряд вздымает шелк знамен.
Кто смел, спешит к царю — ловитвою прельщен.

Царь блещет на коне. Как должно по обрядам,
Венчанный строй владык идет с Шебдизом рядом.

Шел слева Ниатус. Как он, забыв свой сан,
С рукою у седла шел справа богдыхан.

Пылает лик царя. Душа Хосрова рада,
И набекрень надел венец он Кей-Кубада.

И солнце молвило: «К ноге его прильну!»
А конь кольцо рабынь повесил на луну.

Как будто над луной зыбучей тучей вея,
Над головой царя струился стяг Кавея.

Все в золоте мечи вокруг царя горя,
Как будто вкруг царя оград замкнулся ряд.

Сквозь них протиснуться — напрасная отвага.
Никто сквозь этот строй не мог бы сделать шага.

И копья зыблются, и острая трава
Изогнутых клинков спугнуть могла бы льва.

И, растянув свой рот сверкающий, секира
Кричала небу: «Прочь! Идет владыка мира!»

Зонт золотой над ним и сокол на зонте,
И тень черна, и царь в отрадной темноте.

Копыта по камням бьют с мощностью такою,
Что исправляют путь,— бьют будто бы киркою.

И груз железных сил надменно землю гнет,
И воздух чувствует от их движенья гнет.

Конюших толпище обводит выезд кругом.
Им не найдешь числа, как и придворным слугам.

Ведя со спин слонов свой буйный разговор,
Гром барабанный рвет предел окрестных гор.

Звон колокольчиков — жемчужин звонких зерна...
Сквозных курильниц блеск, украшенных узорно.

Вот водоносов строй: их всех сто пятьдесят,
Все розовой водой дорогу оросят.

Сто пятьдесят юнцов с кадилами проворно
В огонь душистые подбрасывают зерна.

И сотни с золотом надели кушаки,
Чтоб золото метать им было бы с руки,

Чтоб всюду на пути увенчанного Солнца
На землю падало сверкание червонца,

Чтоб каждый пешеход, взглянув невольно вниз,
Увидел: проезжал сверкающий Парвиз.

Лишь выступил Хосров на радостную сечу,—
Непостижимый рок пошел ему навстречу.

В смятенье счетчики: войскам, взметнувшим прах,
Нет счета. Так куда ж стремится шаханшах?

И молвил сей огонь, сей царь, подобный чуду:
«В степях, стреляя дичь, дней несколько пробуду».

Соколий барабан свой поднял зов, и вот
Стремительный ловец взвивает свой полет.

И сокол носится, на злую ловлю падкий,
И гибнут голуби, и гибнут куропатки.

Неделю целую все соколы несут
Приказов тяготу; идет над ними суд.

И царь охотится, стрелков с весельем клича,—
Но лучшая царю мерещится добыча.

«К стоянкам новым! В путь!» — приказ всем ловчим дан,
И неустанно царь передвигает стан.

Он тайным умыслом, безмолвно, понемногу
Сворачивал коня, к Ширин сыскав дорогу.

До замка был фарсанг, и слез Хосров с седла,—
Ведь чаша благости поблизости была.

Ночь на вселенную склонилась черной челкой.
Была зима, и ветр струился стужей колкой.

И на огнє, что скрыл в подземные края
Свой жар, ковались рек стальные лезвия.

Хоть в теплом поясе лежит твой край, но все же
Со стужей не шути — иль скорчишься ты в дрожи.

И вот алоэ жгут, и холоду взамен
Мгла дышит амброю. За меном тает мен.

Алоэ веяло, но тою же порою
Весь воздух полнится сребристой камфарою.

И тело мощное усталого царя
Покоя жаждало; уснул он, и заря

Приподняла рубин из мглы подземной пасти,
И ночь, увидев день, изнемогла от страсти.

И с ложа царь вскочил и снова, как вчера,
Веселью предался он с самого утра.

Вновь виночерпию протянута им чаша.
Им все исчерпано, чем жизнь отрадна наша.

Когда же в мозг его вошла хмельная муть,—
Вошло желание в пылающую грудь.

И вспрыгнул он в седло в своем порыве яром.
Помчался он к Ширин, пылая пьяным жаром.

В нем пламя вспыхнуло и пляшет, по полям
Летит. За ним гулям, а вслед — еще гулям.

Кричат Ширин: «Хосров! Он без вельмож и даже
С ним мало слуг!» Ширин в испуге внемлет страже.

И непорочная, страшась позора, шлет
Упрек любимому за дерзостный налет.

Ворота запереть она велит; пред ними
Поставить сторожей с подносами большими,

И с них червонцев груз, сверкающий огнем,
Велит она метнуть пред царственным конем.

Она велит — и вот для отдыха Парвиза
На площади ковры растянуты, как риза.

Велит — и вдоль пути сокровищ бахрома,
И, как алоэ жар, горит она сама.

На кровлю поднялась — о, путь Луны к высотам!
Склонен к дорогам взор, а чуткий слух — к воротам.

И вот не утро ль там прожгло летучий прах?
Иль средь ограды сад в сверкающих цветах?

И светоч, видя свет горящим в отдаленье,
Свой палец маленький кусает в удивленье.

Был белый тополь взят, чтоб выдолбить седло,—
И тополь царственный горел на нем светло.

Вся перевязь на нем алмазами пылала,
И набекрень венец был пламеннее лала.

Лик — роза юная. Вокруг румяных щек
Смесь амбры с мускусом — чернеющий пушок.

Нарциссы он держал, нет их томнее, кроме
Нарциссов глаз его, полусмеженных в дреме.

О розы шахских щек! Их зной росою пьян.
Под розами плясал оседланный фазан.

Гулямы вкруг царя — их кони также в пляске,—
В их пальцах поднятых цветов душистых связки.

Глядит Ширин: Хосров неистов от вина.
Шатается и чувств лишается она.

Очнувшись, поднялась движением усталым
И в затруднении стоит она немалом.

«Смирить свой гнев? Но нет! Уж чувствую: навис
На мне позор и срам,— я стану словно Вис.

Прогнать его? Но нет! Ворвется в сердце мука,
И эта новая убьет меня разлука.

Так что же делать мне? Так вот что! Ото всех
Попытку сделаю укрыть свой тяжкий грех».

Подъехал царь — и рать, готовая заране,
Метнула золото и распластала ткани.

О мир! Везут плоды не сеявшим зерно!
О колесо времен! Как вертится оно!

И царь пустил коня по шелковым настилам,
И к замку прискакал — к пределам, сердцу милым.

И вспыхнул в гневе он у замкнутых ворот,—
И сердце в горестный летит водоворот.

Царю вернуться вспять,— к сему найти ли повод?
Разбить ворота? Нет! Он сжал ременный повод.

И стражу подозвал: «Скажи-ка, почему
Не впущен в замок я? Никак я не пойму!

Иль горек я, скажи, для Сладостной? Иль что-то
Подобное? За что я брошен за ворота?

Ступай к ней и скажи, что от ее раба
Привет ты ей несешь. Вот вся моя мольба.

Скажи ей, что Хосров прельстительный покорен.
Уйти? Иль будет путь открыт и благотворен?

Спроси: коль вечно соль имеет на устах,
Зачем передо мной запоры на вратах?

Пусти меня, я царь, и к твоему порогу,
Моля простить меня, пустился я в дорогу.

Ты ведаешь сама, что никакой вины
Не знаю за тобой. Мы встретиться должны.

Ко мне ты снизойди, молю тебя стократно.
Не повидав тебя, не тронусь я обратно.

Когда б желала ты, чтоб я не медлил,— ты,
Не медля, о Ширин, сошла бы с высоты».

Так шаханшах молил. Смущен он был немало.
А Сладкоустая вздыхала и внимала.

И вот наперснице промолвила Луна:
«Вот поручение. Все выполни сполна.

Снеси вот этот шелк наружу. Шестисводный
Шатер там возведи, узорный и свободный.

Сор вымети внутри. Для царственной души
Шатер ты мускусом, шафраном надуши.

И надо, расстелив ковер золототканый,
В передний угол трон поставить шестигранный.

Затем полу шатра ты вздерни до основ
Тугого купола и молви: «Царь Хосров.

Здесь тюрка нет, и речь ты выслушать готов ли
Индийского раба с дворцовой этой кровли?

Ширин — индийский раб. Она тебе верна,
И вот что молвила, любовью сожжена:

«Шах, если ты мой гость,— там оставайся, где бы
Я ни назначила, и большего не требуй.

Сегодня здесь, в шатре, свою отбросив спесь,
Из осторожности пробудешь. Только здесь.

Я ж подымусь, о шах, к дворца высоким кровам
И там склонюсь во прах пред царственным Хосровом.

Одно лишь должное промолвлю. Лишь одно.
Сказав, я сделаю, что сделать суждено».

И вот, пройдя врата и с утварью и с шелком,
Служанка умная все выполнила с толком.

И в полный золота разубранный шатер
Введя царя, ушла, свой потупляя взор.

Лицо Ширин горит. Полна она смущенья:
Как приготовить ей получше угощенья?

Рассыпав золото, такому дару вслед
Составить следует живительный шербет.

И вот пленительный напиток составитель
Несет шербет к царю в невольную обитель.

Ширин, чету серег подвесивши к луне,
В тень солнце облекла, но все ж она в огне.

Укрылась в рдяный шелк, горящий, как гранаты.
Легли арканы кос на плеч прекрасных скаты.

За каждое кольцо кудрей твоих, кумир,
Носить кольцо раба хотел бы целый мир.

Сверкнула перевязь, ее златые грани
Легли на рдяные струящиеся ткани.

Указ китайских жен свершила: надо в сеть
Жемчужин блещущих чело свое одеть.

И словно молвила: «Я черною чадрою,
Что дышит амброю, Луну свою прикрою».

И Феникс этот стал не Феникс, а павлин.
И, как фазан, взвилась нарядная Ширин.

В веселой гордости блестя своим нарядом,
Увидевши мольбу, маня призывным взглядом,

Игривая Ширин, паря, как в облаках,
И будто бы раба, облобызавши прах,—

Рубины из серег, взор устремляя книзу,
Кидает для подков заржавшему Шебдизу

И мечет жемчуга, что выше всех даров,
Их градом радужным осыпан был Хосров.

СВИДАНИЕ ХОСРОВА С ШИРИН

Узрев Луну, что свет простерла по округам,
Для тополя сего он сердце сделал лугом.

Увидев гурию, что здесь, в земном краю,
Ворота заперла, как гурия в раю.

Увидев светлый ум, готовый к обороне,
Чуть не повергся в прах сверкающий на троне.

И с трона он вскочил, чтоб вмиг облобызать
Пред ней свои персты,— и сел на трон опять.

С мольбой о милости он к ней приподнял длани,
Он осыпал ее сластями пожеланий:

«Как тополь, ты стройна, юна и хороша.
Да будет радостна всегда твоя душа!

Твое лицо — заря; с ним блещет вся природа.
Ты — стройный кипарис, опора небосвода.

От свежести твоей во мне весенний свет.
Поработил меня учтивый твой привет.

Ты ткани и ковры постлала по дорогам,
И мчался я к тебе, как будто бы чертогом.

Ушных подковок лал, исполненный огня,
Дала ты для подков мне верного коня.

За ценным даром вновь я одарен был даром;
От жарких яхонтов мой лик пылает жаром.

Ты — россыпь радостей! Как лучший дар возник
Передо мной твой лик! Да светится твой лик!

Я — молоко, ты — мед. Твои усладны речи.
И выполнила ты обряд почетной встречи.

Но для чего врата замкнула на замок?
Ошиблась ты иль здесь мне что-то невдомек?

Меня назначила ты в плен земле и водам —
Сама же в высоте явилась небосводом.

Но я не говорил, что, мол, вознесена
Хосрова мощь над той, что светит, как луна.

Нет, я ведь только гость. Гостей приезжих взоры
Не упираются в железные затворы.

Опасным пришлецом могу ли быть и я?
Ведь для меня лишь ты — источник бытия!

Приветливых гостей, приблизившихся к дому,
Высокородные встречают по-иному.

Ведь если смертен я,— ты также не пери,
И с райских жительниц примера не бери».

ПЕРВЫЙ ОТВЕТ ШИРИН ХОСРОВУ

Тюльпаноликая не медлила с ответом:
«Да будешь ты вовек благим овеян светом!

На пояс для меча взяв неба синеву,—
Будь мощен, словно слон, будь силой равен льву.

Пусть трон мой наверху, я ведаю о чине,—
Ведь у тебя в дворце на кровле спят рабыни.

Я для тебя лишь стяг — тебе врученный, твой;
Где ж нашим стягам быть? Над нашей головой.

Я — пыль твоих путей. Что гневно так сжиматься
Бровям твоим? Скажи, как пыли не вздыматься?

Ты венценосный царь, тебе дарован трон,—
Я ж от любви своей свой чувствую урон,

На кровле стала... Кем? Давай-ка правду скажем:
Я стала для тебя простым индийским стражем.

Хоть молвил бы мне рок: ты над луною рей,—
Я все ж осталась бы рабой царя царей.

Ты мне сказал: гостей, приблизившихся к дому,
Высокородные встречают по-иному.

Но мной тебе дана прислужников гурьба.
И я перед тобой покорная раба.

Ведь ты не гость! Зачем твой конь у врат зацокал?
За куропаткою ты мчишься, ловчий сокол.

Пусть, приходя в наш дом, гость, как хозяин там,—
Быть своенравными не следует гостям.

И я права, что ты не принят был в хоромах,—
Ты опьяненным был, и это был твой промах.

В затворничестве я, в хмельном разгуле ты,—
Ну как же тут себя сберечь от клеветы?

Когда б ты не забыл обычных наших правил,
То старцев опытных ко мне бы ты направил.

Мне паланкин подай, что пламеннее дня,
И спальню царскую воздвигни для меня.

Такая всадница, как я, седла ведь стоит?!
Дать выкуп за Ширин ведь дело не простое.

Иль хочешь ты меня, мою забывши честь,
Как яство, что тебе с вином подносят, съесть?

Ты ль пьяницам сродни! Им каждый кубок лаком.
Иль розу хочешь смять, как свойственно гулякам?

Здесь колыбель царей — беспутство позабудь,
Ведь ты уж в Исфахан прокладывал свой путь.

Но я сильней Шекер, пусть к ней пылал ты в страсти,
Ведь Сахар, шаханшах, у Сладости во власти.

Стремиться сразу к двум одной душе — нельзя.
И нерешительность для честных не стезя.

Два знака в небесах обрел себе Меркурий.
У Солнца — знак один в сверкающей лазури.

На пользу ль эта смесь? Нет! Нет! Наоборот!
И сладость лишняя тебе изранит рот.

Да! Обрести меня совсем тебе не надо.
Я для тебя — игра, минутная отрада.

Не бей Ширин мечом, не умерщвляй ее.
Достаточно, что Рум вонзил свое копье.

Султан играет в мяч. Лишь в Индии мячами
Играют многими пред жадными очами.

При десяти мечах труднее ждать удач.
В единственную цель пусть ударяет мяч.

Единая кыбла передо мною,— строго
К ней обращаю лик. А у тебя их много.

Пусть у тебя пери и выскользнет из глаз,
Их десять тысяч ты имеешь про запас.

Твой мускусный дворец — весь полон он газелей.
Псом не трави газель, что дышит еле-еле.

Затем, что твой дворец и пышен и широк,
На монастырский двор меня закинул рок.

Свой свет былые дни вдаль от меня умчали,
И я — жемчужина в обители печали.

Ведь глину чистую, хотя она лишь прах,
Кладут на головы, их мóя, шаханшах.

Не мучь меня; в ночи и рыба спит и птица,
Лишь я не сплю, во мне — печалей вереница.

Я крепкие врата замкнула на замок.
Я схожа с птахою, а замок — мой силок.

Я попугай, давно уже привыкший к ранке
На лапке от цепи; одна — подобна Анке.

Ты в радостном шатре — в глухой твердыне я:
Мне камень дан, тебе — все райские края.

Я в ранах от шипов, что ж молвлю в горьком сказе?
Не нужно сада мне да и целебной мази.

Дурной, хороший ли — какой бы ни был он,
Срок жизни мчащейся скользнет за небосклон.

Но лучше, бросив мир, идя дорогой новой,
Расстаться с пленом скал, а не с парчой шатровой.

Созвездий перевязь обвила этот свет.
Хоть полководец ты, его не схватишь, нет!

И сласть, и львица я — не никну я понуро!
Лев, ты не вырвешься, призвав на помощь гура!

Я не дитя, ну нет! Вся речь твоя — к чему?
Я пряник не отдам за сладкую хурму.

Здесь, на току борьбы, упреки, словно зерна.
За каждое зерно спор поведу упорно!

Я родственна Зухре: настроив органон,
Им услаждаю слух; сперва ж незвучен он.

Я чистый пламень: он пред тем, как станет зримым,
В миг разгорания окутается дымом.

Лишь ниспослав огонь, нам небо воду шлет.
Ты к жаждущим направь души своей полет.

Для финиковых пальм в шипах защита. Слушай:
Лишь ощутив мой шип, ты мной насытишь душу.

Что плод без косточки? Он не созреет, нет!
И что звезда без тьмы — она не мреет, нет!

Ты выпьешь много чаш среди земного лога.
Все — горькое, сладка — лишь я; таких немного.

Ты спутников найдешь в орешке бытия.
Они — скорлупка, друг, а ядрышко — лишь я.

Ответь, где видел ты среди людского стана
Подобную Ширин — хранительницу сана?

Когда ты жил, в мечтах меня одну храня?
Каким деянием возрадовал меня!

Когда в отчаянье ты рвал свои одежды?
Пред кем, стремясь ко мне, склонял покорно вежды?

С кем отправлял мне весть? Когда, забыв весь свет,
Лишь помня обо мне, послал ты мне привет?

Ты только пировал, свой кубок сжав рукою,
Когда Шапур творил, Ферхад гремел киркою!»

ПЕРВЫЙ ОТВЕТ ХОСРОВА ШИРИН

С любовной нежностью владыка мира вновь
Сказал красавице: «О роза! О любовь!

Твоих упреков ряд исполнен смертным ядом,
Но ключ живой воды таится с ними рядом.

Я не корю тебя, что ты стоишь в выси.
Но со своей выси мне ран не наноси.

Высокий кипарис! О глаз моих услада!
Все выше восходить совсем тебе не надо.

Моих восторгов жар и мой горящий взгляд
Какой к тебе взметнет метательный снаряд?

Моя тоска, как слон, но ты скажи, готов ли
Твой взор меня узреть с такой высокой кровли?

Ты щедростью Карун — ты бросила мне клад,
Но что ж не впущен я в предел твоих палат!

Чем утолю я грусть, отвергнутый тобою?
К чему приникну я поникшей головою?

Не мучай! Почему мне мука суждена?
Ведь преданность тебе — одна моя вина.

Пусть заблуждался я. В тебе добра ведь много,
И заблужденья путь — обычная дорога.

Да, сам виновен я! Преподан мне урок!
Я не тебя виню — свой обвиняю рок!

Напрасный услыхал я грохот барабана!
Петух проспал свой час, иль прокричал он рано?

И в буре снеговой я чувствовал свой жар.
Меня унизил рок. Его несладок дар!

Ну что же, ведь в любви я позабыл о власти,
Молю о помощи, измучившийся в страсти.

Лукавь со мной иль мучь, мечи свои огни,
Лишь от своих дверей с презреньем не гони.

Пусть голову мою поднимут на кинжале,
Останусь здесь, хотя б мне смертью угрожали.

Пусть ведают не все, но ты ведь знать должна,
Что ты мне как душа, как жизнь моя, дана.

И трезвый и хмельной, днем и во мраке ночи
Все видел я твои мучительные очи.

Когда бы кто другой испил такой шербет,
Клянусь, его позор весь разгадал бы свет.

Я ризы рвал свои, от мук смыкая вежды,
С трудом я царские терпел свои одежды,—

Чтоб строй подвластных войск мой облик узнавал,
Чтоб царство не пришло в смятенье и в развал,

Чтоб подступить, как царь, к воротам этим хмурым,
А не бродягою с цимбалом иль с тамбуром.

Я — правосудие. Для мира — я судья.
Я должен царствовать, свой пламень затая.

Но все ж, чтоб осязать твой ароматный локон,
Я царство бросил бы: в свой мрак меня повлек он.

Пусть телом я вкушал другого тела зной,
Душою улетал я лишь к тебе одной!

Но мной был не дан ход неправому указу,
Несправедливости не сделал я ни разу.

Хоть заблуждался я,— в укорах ты права,—
Но я ведь юным был, а юность — такова».

ВТОРОЙ ОТВЕТ ШИРИН ХОСРОВУ

С павлином схожая, блестя, как розан росный,
Вновь растворил уста ларец жемчугоносный.

И сладкий сердолик зазыблила, меча
Слова узорные, как лучшая парча:

«Покуда кружится в своем вращенье время,
И держится земля, и звезд кочует племя,

Да будет царствовать венчанный судия,
Распространяя власть на звездные края!

Пусть ощущает мир во всем его участье!
И пусть его коня ведет за повод счастье!

Гнев от речей царя в крови моей течет!
Забудь свой царский сан, у нас особый счет.

Еще играешь ты венцом своим царевым,
Подходишь ты ко мне увенчанным Хосровом.

Еще кичишься ты. Кичливость позабудь!
Тщеславье и любовь — у них не общий путь.

Ты не нуждаешься в моей ответной страсти.
Любви желаешь ты иль ты желаешь власти?

Когда на сердце страсть кладет свою печать,
Легко отважным быть, но надо и страдать.

В сердцах у любящих томительные нужды.
Алканья чуждые — любви горячей чужды.

Любви и дела нет до наших властных прав,
Любви пылающей, поверь, не до забав.

Я птица, в дни любви порхавшая над розой.
Мне зной горячих дней не стал еще угрозой.

Была я розою, славянскою княжной,
Водою розовой я стала,— что со мной?

Себя, расцветшую, замкнула спозаранку
Я в замок. Влагу роз так заключают в склянку.

Была я травкою, омытою росой,
С ключами ясными делилась я красой.

И сколько лютых мук я в этом замке, в камне
Терпела! Лишь тоска одна была близка мне.

Меня — я золото — жары очистил гнет.
От стужи сделалась я твердой, словно лед.

Не знала, как избыть мне этот жар и стужу.
Стонала: «Перед кем я душу обнаружу?»

Зачем поник в тоске прекрасный кипарис,
И сумрак тягостный зачем над ним навис?

Еще мои глаза цветам красивым рады.
Еще мне сладок смех, забавы и услады.

Еще мне молятся индусские жрецы,
Еще мои глаза — как тюркские ловцы.

Еще как роза я начальною весною,
Еще мой жемчуг скрыт под строгою волною.

Еще свежи мои душистые уста,
Еще как свежий ключ, как юность — я чиста.

Мой лик на зависть всем красавицам Тараза.
Я — шах: все только ждут очей моих указа.

Подобно яблочку мне подбородок дан,—
И исфаханский плод уносят в Исфахан.

Румийцы ждут меня, в сердцах румийцев рана,
Вдыхать мой аромат приходят из Хотана.

Узки мои глаза с их сладкой чернотой,
Кто с узкоглазыми сравнится красотой!

Хоть подросли мои два маленьких граната,
Я для безумцев — смерть, для мудрецов — расплата.

Я прихотей полна, мой взор убийству рад.
Он многих пламенных убил у этих врат.

Прочь! Или кровь твою прольют вот эти руки.
Они в крови. Смешны и стоны мне и муки!

Иди прямым путем, ведь на кривом пути
Тебе от этих рук лишь гибель обрести.

Ты — сердцем каменный, я — став железной ныне,
Тебе в ответ стою на каменной твердыне».

ВТОРОЙ ОТВЕТ ХОСРОВА ШИРИН

Царь молвил: «О краса! Ты, что у всех в очах!
Проходит этот день лишь в спорах и речах.

Что прелести свои перечисляешь! Право,
Их не вместит речей блестящая оправа!

Светлее света ты, так лей мне в душу свет.
Для света твоего завес на свете нет!

Ты — море: нас даришь ты жемчугом блестящим,
Но больше схожа ты с ключом животворящим.

Удваивал твой лик зеркальный водоем,
Но сладостнее ты блестишь в зрачке моем.

Коль назову тебя — о нега! о прохлада! —
То сладости иной моим устам не надо.

Как солнцем не назвать тебя, тебя одну? —
Ведь светом сладостным затмила ты луну.

Скорбя, душа Шекер погасла, отпылала,
Когда ты меж камней блеснула блеском лала.

Продай хоть волосок, хотя бы часть одну,—
И эту часть куплю за целую страну.

Луна, лишь на себя глядишь ты нежным оком!
Знай: себялюбие считается пороком.

Ты к красоте своей не устремляла б глаз!
Ты сглазишь красоту — так было ведь не раз.

Хоть ты стоишь с клинком и ты мой повелитель,
Не мсть в того, кто сам пришел в твою обитель.

Ты — шах, где ж милости, что славятся молвой?
Ты — Сладкая, но где ж, скажи мне, сахар твой?

Дай мир, забудь войну,— у войн плохая слава,
Со мною примирись, хоть на день, хоть лукаво.

Ужели был я груб? О нет, я не таков,—
В запасе у меня сто тысяч нежных слов.

Красавицы хотят быть с милыми построже,
Но снисхождение ведь свойсвенно им тоже.

Пусть властелин, вспылив, свой и проявит гнев,—
Он снова благостен, свой гнев преодолев.

Не говори со мной, кумир, несправедливо,
Быть милосердною для Сладостной не диво.

Я слушал мудреца, и мне промолвил он:
«Быть обездоленным достойный присужден».

Ты обласкай меня, измучен я, я стражду,
И я пришел, чтоб ты мою смирила жажду.

Недвижный, как свеча, стоять я буду тут.
Влюбленных множество тебя, я знаю, ждут.

Но плачем воск свечи свести не может счеты
С огнем, и не забыл он сладостные соты.

Ты почему в узлах, о сердце тростника?
Тебя связала страсть, по сладости тоска.

В душе у пальмы шип: ствол пальмы, видно, падок
До фиников; их сок его влечет — он сладок.

Когда бы не было так сладко молоко,
Не привыкало бы дитя к нему легко.

Все то, что сладко нам, само стремится к сласти,
А ты, о Сладкая, не знаешь сладкой страсти!»

ТРЕТИЙ ОТВЕТ ШИРИН ХОСРОВУ

Луна блестящая, склонив свое лицо,
Продела в слух царя сладчайшее кольцо.

И, разомкнув замок, что создан был из лала,
Она всем тростникам свой сахар даровала.

Она луне лица велела скрыться. «В тень,—
Сказала тьме кудрей,— лицо мое одень.

И кипарис прямой шагнул вперед с угрозой.
Ширин склонила взор, став огненною розой.

И кровли каменной она целует край,
Как бы шепнув: «Кирпич, от уст благоухай»,—

И, вознеся шарет услужливости, следом
Прибегла к музыке, столь сладостной беседам.

И молвила: «О царь, тебя ведь знает мир:
Ты поднимаешь стяг, что осеняет мир.

Весь Рум и весь Китай — лишь царская обитель,
И Кадар-хан — твой раб, и кесарь — твой служитель.

К желаниям других закрывши плотно дверь,
Стремится лишь к своим,— словам моим поверь,—

Не жар любви, а страсть. Ответь мне, о беспечный,
Где ты и где огонь любви нескоротечный,

Я пешка и могу сбить только лишь слона,
Но власть над королем мне вовсе не дана.

Какой попросит лев приюта у газели?
Орел воробышком насытится ужели?

Я — ключ, мне имя — «жизнь». Вгляжусь в твои черты,
Ты — пламя; «молодость» быть можешь назван ты.

Огню с водою быть не должно ни минуты,
Соединись они — в миру возникнут смуты.

Зачем кружиться мне вкруг буйного огня?
Ему уж более не надобно меня.

Иди, лови Шекер! Искать не надо хода
К Ширин — ведь от нее тебе не будет меда.

Влечется ль к сахару желанье наших уст?
Лишь только для зубов его приятен хруст.

У Сладостной, узнай, базар лобзаний весел:
Вся сласть — в ее устах, и это каждый взвесил.

Когда ты заболел, ты тотчас был готов,
Взяв розу, сделать смесь из нежных лепестков.

Шекер или Ширин? Решай! Мы не могли бы,
Взлетев к Луне, сойти в глухое царство Рыбы.

Но строгий замок мой всем замкам не в пример.
Спокойно уходи на улицу Шекер.

Пусть раны в печени кровавы и глубоки,—
Ногтями не хочу свои царапать щеки.

Мной шах уже не чтим, нет пламени в груди.
Ты почитателя примернее найди.

И если я так зла,— ищи свою дорогу.
За милостью смогу я обратиться к богу.

Я не останусь тут; не стану без конца
Гонца гнать за гонцом, гнать за гонцом гонца,

Чтоб мир оповещать, что царь Парвиз от страсти
К невесте позабыл про свадебные сласти.

Достаточно того, что я попалась в сеть,
И ценности своей мне больше не иметь.

Но чтобы от людей не слышать мне укора,
Закрыла я врата бесчестья и позора.

Моя соперница утешится; свой клад
Я спрячу. Спрятать клад всегда владелец рад.

На мне твое клеймо, но я уже погасла,
Для твоего огня во мне не стало масла.

Все. И тебе, о царь, я не желаю зла.
Будь счастлив и прощай! Будь счастлив! Я ушла!»

И поднялась она, и, чуть склонивши вежды,
Оправила шелка сверкающей одежды,

Отряхивая шелк, как будто целый мир
Наполнил амброю пленительный кумир.

Откинувши чело, она рукою ловкой
Свивала локоны с привычною уловкой.

Хорьковые меха и плавные шелка
Лукаво зыблила прелестницы рука.

Чуть медлила Ширин... иль иссякала сила?
По острию меча Сладчайшая скользила.

И, поправляя цепь запястий, вновь и вновь
Твердила всем про цепь по имени «любовь».

То пояс, то венец — ее косы агаты.
Да! В них нуждаются Хосрововы палаты.

Когда семь прелестей врученных красоте,
Красавица царю явила в высоте,—

То тотчас, отвернув свое лицо, сгустила
На небе мглу: на нем вновь не было светила.

И кровлю медленно Ширин пересекла
И скрылась. А царя вновь охватила мгла.

И царь молил ее, молил ее, чтоб снова
Явилась перед ним — всех снов его основа.

И вышла вновь она, в ресницах не храня
Жемчужных слез, и мир вновь полон стал огня.

Все сделала она, что только делать в силах
Прелестницы, чтоб вновь к себе приблизить милых.

Не избежать сердцам внезапного силка,
Когда красавица проворна и ловка.

ТРЕТИЙ ОТВЕТ ХОСРОВА ШИРИН

Царь выронил свой щит пред этой властной Сладкой:
Не одолеть ее словесной этой схваткой.

И он укрыл свой гнев под сладостной мольбой —
Пред этой Сладостной смирился бы любой.

Он молвил: «Ты мой свет, и сладость ты, и слава,
Хурма моих садов, моих полянок пава.

Ты гордый мой венец, но ты и острый нож.
Меня ты валишь с ног и руку подаешь!

И умерщвляешь ты и оживляешь разом,
Ты то пьянишь мой дух, то отрезвляешь разум.

Поклажу дней своих внесу я в чье жилье?
Тобой лишь увенчать смогу я бытие.

Вновь оскорбилась ты, я вижу, и не внове
Мне видеть, что моей ты вожделеешь крови.

На шею не кидай мне смертную петлю
Так быстро, как мое отринула «люблю».

Промолвил землероб Немвроду: «Надо зерна
Бросать быстрей, людей слать на смерть —
непроворно.

Ты жизни хочешь ли, молений? Вот они!
Заклания, радостей, томлений — вот они!

О, не обманывай, обманов мастерица!
Готов я изнемочь и смерти покориться.

Все заверши — пора! Не будь вдали — пора!
Мне сердце пьяное опохмели — пора!

Глянь, блещет за дверьми наряд мой царский, яркий!
Не хмурь своих бровей прельстительные арки.

Фагфура ты впусти в его буддийский храм!
Нет, Мулианский мост разрушить я не дам!

Что возложила скорбь на сладостное темя?
Скинь с темени печаль, пришло веселья время!

Плачь, если всю лозу грозы покрыла тень!
Засмейся, погляди: так лучезарен день!

Не мучай, как врага, меня резней ночною!
Как с дерзким пленником, не говори со мною!

Ты, стройная газель, скользи меж нежных трав.
Оставь для хищников их леопардов нрав.

Смирись и не гордись! Зачем так долго внемлю
Словам, что павшего втоптать желают в землю?

Ты, куропаточка, свою покинешь высь!
Ведь все-таки я царь, я — сокол. Берегись!

Зачем упорствовать и вновь желать разлуки,—
Ведь все равно в мои ты попадешься руки!

И локон твой в ночи встревожу я рукой,
Как страсть моя к тебе тревожит мой покой.

Но если к своему не пустишь ты порогу,—
Ну что ж! Да будет так! Отправлюсь я в дорогу,

Найдя дорогу вспять — и, как уже не раз,
Под этой вот рукой вновь зарокочет саз.

Скажу тебе: «Хосров, ты чашу всю исчерпай».
Все позабудь, взгляни — с тобою виночерпий».

Над чашею другой склонюсь я головой,
И услажу свой рот я сладкою халвой.

Забуду Сладкую я в сладостной надежде,
Что кубок Сахарной пригублю я, как прежде.

О терпкое вино! Оно для нас — для двух.
От терпкостей Ширин я свой избавлю слух.

В дорогу, сердце! В путь! Мне речи многократной
Не надо! На коня! Мне весел путь обратный!»

ЧЕТВЕРТЫЙ ОТВЕТ ШИРИН ХОСРОВУ

Халлухских девственниц блестящая «шамсе»
Склонилась, как цветок, сверкающий в росе.

«О царь! — промолвила.— Живи в своих мечтаньях
Ты под созвездьями в их лучших сочетаньях.

Тех обними, о царь, кто чашу пьет с тобой.
Пусть буду даже я навек твоей рабой!

Но сахарного мне совсем не надо яда.
Царь! Обольщенную вновь обольщать не надо.

Несбыточных надежд зачем струить ручей!
Не надо ласковых, прельстительных речей!

Под золотым зонтом отправясь для охоты,—
Зачем ты здесь? Ширин не ценит позолоты!

Я знаю: от судьбы царь не увидит зла
За то, что речь его насмешлива и зла.

За то, что он газель затравит на охоте
И что науськает собаку он в охоте,

Но все ж я клад в ларце, а на ларце — печать,
И наскоро тебе сокровищ не почать.

Есть навык у тебя и множество уловок,
Приманчивую речь протягивать ты ловок.

Но мой рассудок, царь, им верить не готов,
Хоть ива и цветет, но не дает плодов.

Река! Но ведь твоей я глубины не знаю.
Я тайн морских, о царь,— они темны,— не знаю.

Коль хочешь с теми быть, в ком не угасла честь,—
То для тебя, поверь, таких сто тысяч есть.

Меня, невесту, скрыл под каменный навес ты.
Порыскай по земле, ищи себе невесты!

На жемчуг слез моих любуйся — ты таков!
Но ты ушных моих не трогай жемчугов.

Молчи! Твои слова язвительнее жала.
Беги от глаз моих! Они страшней кинжала!

Про локоны мои знать хочешь ли? Изволь!
Мой каждый локон — змей, змей черный, словно
смоль.

На сердце без пути — кто в бездорожье весел?
Царь, колокольчик ты бы стонущий повесил.

Чтоб странником в песках дорогу обрести,
Звон колокольчиков вещает о пути.

И птаха никогда в пути не запевала,
Покуда путники не сделают привала.

Ты правишь вкривь и вкось, твоя бессильна плеть,—
Смог, метя в черного, лишь пегого задеть.

Ты метил в Индостан, но волей небосклона
Ты, сбившийся с пути, достигнул Вавилона.

Ты думал в море плыть, а вышел на скалу.
Ждал роз, а лишь тюльпан кладешь в свою полу.

Сладчайшей сладостью мнил усладиться,— все же
Лишь сахара поел. Иль он тебе дороже?

Нет, нет, не перейду я каменной межи.
Вновь камень вкруг меня на камень положи.

В могиле каменной я от людского взора
Укрою навсегда всю тягостность позора.

Ну что ж? Вообрази, о победитель зла,
Что в некий день Шебдиз стряхнул меня с седла.

Ты подойдя ко мне неспешными стопами
И не мечи цветы с их колкими шипами.

Доколе рассыпать цветы тебе? Доколь
Солонку отстранять, вкусив и хлеб и соль?

Иль мало для тебя, что мне лишь мгла знакома.
Что бросила свой край и сень родного дома?

С тех пор погас мой день, исполненный огня,
Когда в Шахруде, царь, покинул ты меня.

Но как мне, жалостной, быть в граде Медаине!
«Назначено в веках все то, что видим ныне».

На примирение не подымая вежд,
Я вижу: этот день не создан для надежд.

Вся снедь еще в котле. Похлебка не готова.
Не сварена халва для пиршества Хосрова.

От страсти воздержись. Я стражу повелю:
«Ты гостя не пускай, ведь гость мой во хмелю»

Когда созреет злак, явясь нам в полном росте,
Тебя, о шаханшах, вновь позову я в гости.

Всему назначен срок. Поток времен могуч.
К дверям сокровищниц лишь только время — ключ.

Коль птица запоет в час ловли,— без усилья
Ее захватят в сеть: она не вскинет крылья».

ЧЕТВЕРТЫЙ ОТВЕТ ХОСРОВА ШИРИН

Шах, видя, что Ширин, как прежде, как всегда,
Готова на ответ, насмешлива, горда,—

Уловкой возомнил достичь ее полона.
Но все уловки — тлен пред силой Вавилона.

Он молвил: «Пламень мой, ты, что меня влача
Всечасно за собой,— мне светишь, как свеча!

Для разума ты рай, для мыслей — в юность дверца.
Душа для сердца — жизнь, а ты — душа для сердца!

Мне сердце не рази, как рок, несущий зло!
Из склянки — хоть пустой — мне умасти чело!

Хоть лживо обласкай, ты, строгая от века!
«Хоть мертвым отпусти на волю Мубарека!»

Иль невиновна ты, свой долгий гнев храня?
Зачем же, гневаясь, винишь ты лишь меня,

Подобно тем слепцам, что, свой ущерб не видя,
Порочат всех других, их горько ненавидя?

В меня из лалов уст ты камни мечешь вновь!
Я пал. К чему ж мою пролить ты хочешь кровь?

Сразить меня тоской пришла тебе охота,—
Вот обо мне твоя — прости, господь! — забота.

На мир ниспала ночь, снег падает, как ртуть.
Брось лед, явись огнем, не тщись его задуть!

Беда, коль в эту ночь весь вспыхну я от снега!
Беда, коль пламень мой ворвется в снег с разбега!

Яви же мне твое жилище, твой порог,
Чтоб я облобызал, как нищий, твой порог,

Чтоб я узрел тебя, склонясь к его ступени,
Глаза закрыв и став смиренно на колени.

К обители твоей пройдет, хоть и с трудом,
Премудрый пешеход, не видящий твой дом,

Не друг тебе, а враг, кто, приготовясь к ловле,
Глядел бы на тебя через оконце в кровле!

И дружески прими ты душу лишь одну,—
Ту, что твой ценит сан, как царскую казну.

Завистник, о Ширин, легко сравнится с прахом.
Он, кинутый во прах, всегда сроднится с прахом.

Не добивай меня! В крови мое лицо.
За дверью не держи, как медное кольцо.

Меня терзаешь ты, меня ты мучить рада,—
Но рай не знает мук. Они — в пределах ада.

Я знаю, у тебя есть райские плоды;
Не видел их никто, лишь райские сады.

Так раствори врата живительного рая,
Чтоб мне бродить в раю, плоды твои сбирая.

Стол — в финиках. Где ж гость? И жажду я, да вот
Все ищет Искендер животворящих вод.

Ты дверь вражды закрой, впусти меня в преддверье,
Позволь тебе служить, яви ко мне доверье.

Но если трепета тебе не превозмочь
И страннику нельзя тут провести хоть ночь,

Ты не таи фатой сокровища Джемшида,—
Фата для светоча — напрасная обида.

Похитила мой ум властительница душ!
Похить же мой огонь, похитив мой сарджуш!

Бальзам! О локон твой! О рот сладчайший, алый!
Вот амбра снадобья, целительные лалы!

Что ж мед сладчайших уст ты прячешь, о краса!
И жалит речь твоя, как злобная оса!

Ведь ты нежна. А что в словах твоих — не злоба ль?
Знай: колкого ежа не порождает соболь.

Свиданием с тобой ты раны мне омой,
Чтоб возродившимся я тронулся домой.

И пусть мои стопы покрыты будут прахом,—
Вновь сердце запоет, уподобляясь птахам.

Не снизойдешь,— так знай, я говорю не ложь! —
Прощенья никогда себе ты не найдешь!

Я вижу, что в меня бросать ты рада камни,
Лежат вокруг меня, как вкруг Ферхада, камни.

Коль камень брошен ввысь и взлет его высок,—
То как бы не пробить свой собственный висок.

Своей рукой к себе ты острый нож простерла.
Разя великого, свое ты режешь горло.

Ты ласковой вступи в любви блаженный край.
Ты не игрок, со мной ты в кости не играй.

Но насмерть опьянишь ты все же не любого.
И не любой, упав, уже не встанет снова.

То в мире ты со мной, то мне грозишь войной,
Прошу, ты не веди такой игры двойной.

Не оскорбляй меня, ведь я тебе не вторю,—
Но закипаю я, подобно злому морю.

Зову тебя вперед, а ты, Ширин, опять,
Как бы крутя канат, все двигаешься вспять.

Мне сердце не рази! За что твоя расплата?
И сердце у меня ведь все ж не из булата!

Не совершай того, что совершает враг.
Быть схожим со врагом — к вражде направить шаг.

Я у тебя прошу правдивого ответа.
Правдива будь, как я: не верь словам навета.

Была лампадой ты, весь озарявшей свет.
А ныне предо мной в тебе и света нет.

Вдали была цветком, явив атласный пламень,
Да вот ладонь мне жжешь. Нет, ты опасный пламень!

Чрезмерность ярости становится войной.
Подобится камням безводный прах земной.

Но под мечом не все падут в смертельной дрожи,—
Есть множество людей, да руки их несхожи.

Быть может, возвратясь, прекрасные черты
Увижу я. Найду я лучшую, чем ты.

Нет, я служу тебе! Былые помню речи.
И верность я храню за канувшие встречи».

ПЯТЫЙ ОТВЕТ ШИРИН ХОСРОВУ

Вновь Сладкая велит скитаться по местам,
Где зреют финики, благим своим устам.

С жемчужин приподняв два рдеющихся лала,
Она жемчужины и лалы рассыпала.

И молвила она: «О юный царь, чей трон
Так блещет! Твой венец! Всех озаряет он!

Твой стоек царский стяг! Твои так стойки ноги.
Как длань твоя — твой меч, необоримый, строгий.

Одев твой мощный стан, горда твоя каба.
Пред властью рук твоих стрела судьбы слаба.

В друзьях будь счастлив ты, от горести далече,—
Горбатый свод небес твои поддержит плечи».

И следом, распалясь, вся пламени полна,
«Гордец воинственный! — промолвила она.—

Ты шах. Так уходи, тебе присуща слава.
А вся игра в любовь для шаха лишь забава.

Влюблен лишь тот, пред кем в обители земной
И небо и земля — в единственной, в одной.

Не упрекай меня влюбленностью Ферхада,—
Скитальца мертвого с печалью помнить надо.

Ферхад, чей жаркий дух и скорбен был и сир,
Лишь брат мой названный, наш посетивший мир.

Для глаз его была я лишь подобьем духа,
Лишь только голос мой его коснулся слуха.

От Сладкой горечь знал. Но запах горьких трав
Он пил, как аромат, а не как дым отрав.

Я сладкому огню речей его внимала.
Подобных ты не знал: ведь слов подобных мало.

Приятней мне шипы из розовых садов,
Чем пышный кипарис, не знающий плодов.

На ложе каменном я лучше бы лежала,
Чем видеть недруга, хоть с золотым кинжалом.

Дай медный мне браслет. Не нужен мне огонь,
Что, плавя серебро, сжигает мне ладонь.

Нам дорог тот огонь, что осветит жилище,—
Не тот, что обратит жилище в пепелище.

Но коль упреками осыплешь ты меня,
То обвинителю я стану неровня.

Порою поутру мы видим,— о досада!—
Порыв нежданных бурь унес листок из сада.

Вот так унес меня порыв моей тоски.
А ты сбирайся в путь! Увязывай тюки!

Я вся в кольце огня; он вьется, вьется снова...
Ты видишь? Так беги! Страшись огня такого.

Что дивного — с небес несется камфора.
Вот и в моей душе холодная пора.

Глянь: облако весь мир осыпать хочет солью.
Ступай! Не сладостью являюсь я, а болью.

Летучей мыши, царь, отраден мрак ночной.
Будь соколом. Взлетай лишь только в час дневной.

Они давно ушли — те сказки, что ты ведал.
Они давно ушли — те ласки, что ты ведал.

Уж ни «шаира» ласк в душе царицы нет.
А вот с арабского: уж ни крупицы нет.

Не турок, я о царь! Я знаю речь араба.
А злоязычья речь да козней — знаю слабо.

Напал злословья мрак на дом, на кокон мой,
А ведь коварен, верь, лишь черный локон мой.

О царь! Твоей души бескрыла птица, ведай.
Твоей души заря не разгорится, ведай.

Со стражами веду иль с шаханшахом спор,
Твой дротик будто бы дейлемский их топор.

Так собирайся в путь! Под эту сень не вступишь,
Хоть молвил, что, любя, ты стал как тень,— не
вступишь.

О мощный! В жадности не следует коснеть.
Для пищи ты ищи питательную снедь.

Стяни потуже грудь, нет пользы в лживом стоне;
На рот свой наложи печать своей ладони.

Что соколы едят? Им лучшее дают,
А падаль мерзкую — стервятники клюют.

Немало я себе уже стяжала славы
За то, что мне милы сладчайшие забавы:

Одним печальных слез я в чашу лью струю,
Мне соименную, другим я сладость лью.

Да, я вода из роз, и я горька. Ну что же,
Ведь в розовой воде всегда есть горечь тоже.

Я крепче, чем «набиз». Пригубишь — и беда! —
Я с ног тебя свалю на долгие года.

Коль создана Ширин для сладкого улова,
Пусть горстку горечи ее содержит слово.

Две сладости зараз? Не жди столь сладких дрем.
Ведь финик — с косточкой, орешек же — с ядром.

Я не сродни ежам, не наношу увечья,
И нежность спрятала в язвительную речь я.

Хурма в шипах. Горит в простой оправе лал.
Клад золотой не раз в развалинах пылал.

Пускай выносливость пойдет твоим вожатым.
Взращенный низостью, не станет сад богатым.

Что сокол без крыла? Не вьется, хоть убей.
И победит его ничтожный воробей.

Отбившийся верблюд! Он и за мышью ловкой
Пойдет безропотно, потянутый веревкой.

Сражаешься со львом и не желаешь пасть?—
Так обнажай клыки, раскрой пошире пасть.

Собаки сцепятся, да вмиг оставят схватку,
Увидев блеск зубов и зная их повадку».

И поклялась она, взор поднимая свой,
Всезрящим разумом, душою огневой,

Предвечным куполом, высоким, бирюзовым,
Истоком пламени и солнцем, вечно новым,

Всей райской красотой, всей прелестью небес
И каждой буквою всех, всех земных словес,

Тем поклялась живым, кто будет жить вовеки,
И тем взирающим, кто не опустит веки,

Тем щедрым богачом, кто всю насытил тварь,
Все души возрастил и всем живущим — царь:

«Всевластный шах! Сдержу я слово обещанья:
Я для тебя ничто — до нашего венчанья!»

И отвратила лик, исполненный огня,
Уже добытый клад рукою отстраня.

ВОЗВРАЩЕНИЕ ХОСРОВА ОТ ЗАМКА ШИРИН

Уж солнце, как газель хотанскую, уводит
Веревка мрака в ночь, и вот на небосводе

Газелей маленьких за рядом вьется ряд,—
То звезды на лугу полуночном горят.

Царь, что газель, в чью грудь стрела вошла глубоко,
Внял яростным словам Ширин газелеокой.

И хлопья снежные помчались в мрак ночной,
И капельки дождя мелькали, как весной.

От горести гора слезливой стала глиной.
И сердце ежилось, бредя ночной долиной.

Снег, словно серебро, пронзал окрестный мрак;
И на Шебдиза пал серебряный чепрак.

Звучал упреками Хосрова громкий голос,
Черноволосую не трону ни на волос!

Как долго он молил, как жарко! Для чего?
Сто слов — да не годны! Все! Все до одного!

Молил он и вздыхал — был словно пьян — все
глубже
Вонзались стрелы в грудь — о, сколько ран! — все
глубже.

И вот еще текла в своем ненастье ночь,
А царь, нахмурившись, от врат поехал прочь.

То он к Шебдизу ник, то, будто от недуга
Очнувшись, все хлестал и торопил он друга.

Он оборачивал лицо свое к Ширин,
Но ехал, ехал прочь. Он был один! Один!

И ночи больше нет — ее распалась риза,
Но нет и сильных рук, чтоб направлять Шебдиза.

Царь воздыханья вез, как путевой припас;
Он гроздья жемчуга на розы лил из глаз.

«Когда бы встретил я,— так восклицал он в горе,—
Колодезь путевой, иль встретил бы я взгорье,

Я спешился бы здесь, и я б не горевал,
Навеки близ Ширин раскинувши привал».

То вскинет руки царь, то у него нет мочи
Не плакать,— и платком он прикрывает очи.

И вот военный стан. Царем придержан конь,
А сердце у царя как вьющийся огонь.

Серебряный цветок освободили тучи,
И месяц заблистал над этой мглой летучей.

И царь вознес шатер до блещущих небес,
Для входа подвязав края его завес.

Но не прельщался царь всей прелестью вселенной,
Он сердце рвал свое, как рвет одежды пленный.

Он, позабыв покой, сжав пальцами виски,
Не поднимал чела с колен своей тоски.

Придворным, и ловцам, и стражам, и дестурам
Царь повелел уйти; остался он с Шапуром.

Как живопись творя, стлал пред царем Шапур
Узоры, говоря: «Не будь, владыка, хмур».

На пламень горести он лил благую влагу.
Смеяться в горький час имел Шапур отвагу.

«Тебя от горечи хочу я уберечь:
Поверь, нежна Ширин. Ее притворна речь.

Столь омрачившимся останешься доколе?
Ты рвешься к финикам, ты знай — и пальма колет».

Хосров — он не сводил с Шапура жадных глаз —
Обильным жалобам открыл потайный лаз:

«Ведь видел ты, с какой пришла ко мне отравой
Та, что весь мир смутит улыбкою лукавой?

И бог не страшен ей! Смела, дерзка она!
Ну что же, женщина — так значит нескромна.

Я шапку снял пред ней и бросил пред собою.
Как стройный кипарис, я встал пред ней с мольбою.

Но оттолкнула трон с порфирою она,
Ствол царственный снесла секирою она.

В мороз ее душа не сделалась горячей.
Ее безжалостность увидел каждый зрячий.

И речь ее была — секира и стрела.
В словах почтительных так много было зла.

Есть тернии в любви, но в этот час вечерний
Без меры я познал уколы этих терний.

Но и в моей груди ведь тоже сердце есть.
И злоба тоже ведь у страстотерпца есть.

Пусть как Харут она, слетевший с небосклона,
Пусть в родинке ее все чары Вавилона,

Но так был холоден ее зимы налет,
Что для меня Ширин уж не Ширин, а лед.

Но от моей любви, терпевший поношенья,
Мне ведом — о Шапур! — источник утешенья!

Ребенка скверный нрав известен мамке. Нет
Соседа, чтоб не знал, каков его сосед.

Ширин — мой тайный враг! Мрак под личиной света.
Таится ненависть под нежностью привета.

Как жаден был мой пыл, как был напрасен он!
И вот, отверженный, рассудка я лишен.

Не слушала она: крутилась непогода;
И речь моя текла как будто больше года.

Мне в тьме полуночной свечи не принесла.
Бальзама мне от ран в ночи не принесла.

Хоть встретить Сладкую для каждого отрада,
Хоть сладостна Ширин,— мне новых встреч не надо!

Ведь встреча всех обид мне не искупит, нет!
Ведь с горьким вкусом хлеб никто не купит! Нет!

Быть под ногой слона, быть мертвым на кладбище
Отрадней, чем просить у злого скряги пищи.

Быть лучше под водой, быть рыбой, чем свои
Моления нести в пристанище змеи.

Отрадней землю рыть. Да! Лишь не довелось бы
В дом недостойного свои направить просьбы!

Жемчужин чистых блеск не в чистых ли морях?
Кто роет черный прах — найдет лишь черный прах.

Покинь пустую копь! Иль, чтоб душа угасла,
Мне быть светильником, в котором нету масла?!

Жизнь стоит ли вручать той прихотливой, той
Лукавой, для кого она лишь звук пустой?

Клянусь, еще таит подлунная долина
С павлином равную подругу для павлина».

Облобызавши прах, Шапур своей чредой
Раскрыл уста; к огню с камфорной шел водой.

«На резкость не гневись. По моему почину
И благородство чтя всему найди причину.

Спор страстных — молния: не сыщешь и следа.
Несхожий бой врагов и нежная вражда.

В запястьях жемчуга не рядом ли с агатом?
Железный виден ключ порой в ларце богатом.

Жестокость красоты назначена в выси,
Лукавство женщины, смирясь, перенеси.

Ведь женщина всегда коварна и строптива.
Невеста без причуд — невиданное диво.

Чтоб на листе была округлою стезя,
Лист колют циркулем — не уколоть нельзя.

Но пусть всевластны все, чей светлый лик прекрасен,
Ведь змейки водяной укус нам безопасен.

Потоков горести надвинулась пора;
Так стойким ты пребудь, как мощная гора.

Страшны холодных бурь плохие дни былинкам.
Коль, мощный кряж, дрожишь, так ты сродни
былинкам.

Отрадно метить в цель, покуда цель трудна.
Льет амбра аромат, пока не сожжена.

Хоть света лунного тебя прельщает нега,—
Небесную луну не схватишь ты с разбега.

Дверь притвори и жди. Ширин, свой кинув стан,
К тебе, как лунный свет, пройдет сквозь роузан.

Красавицы в ночи, как света волоконца,—
Коль двери заперты, проходят сквозь оконца.

Царь! Страждет и Ширин, и в ней повержен дух.
Но, терпеливая, о том не скажет вслух,

Ведь камень со скалы к ней упадет на плечи,
Лишь тронув тень твою. Ты от беды далече.

Тебя не оскорбят: шах недоступен злу.
Шип, сердце ей пронзив,— тебе пронзит полу.

Ночь зачала, так жди, притихни этой ночью.
Что породит она — увидим мы воочью.

У счастья нашего так переменчив нрав!
Кто ждет все тех же струй в источнике,— не прав.

Всех дней круговорот не протечет без плача.
Стыд сменит наш почет, удачу — неудача.

Пусть Счастье шаханшаха и ринулось на Власть,
Зачем на Счастье, Власть, решила ты напасть?

На циркуль погляди: конец с началом круга,
Когда свершится путь, всегда найдут друг друга.

Коль не объезжен конь, уверенный ездок
С опаской сторожит его упрямый скок.

Но, обуздав коня рукою терпеливой,
Позволит ездокам дремать над конской гривой.

Терпеньем разомкнешь все узы всех невзгод,
С ним перетерпишь гром всех грозных непогод,

Оно распутает все спутанные путы,
Тьму обратит в зари блаженные минуты.

Сомненья темные умчались от меня,
Ты скоро будешь, царь, в веселом блеске дня».

Он золотые стлал перед царем посулы,
Он в глушь развалин слал весенних вихрей гулы.

На лик царя навел он мушку счастья: знак
Благой ему открыл в созвездьях Зодиак.

ШИРИН СОЖАЛЕЕТ ОБ ОТЪЕЗДЕ ХОСРОВА

Тот, ветхий днями муж, что положил начало
Рассказа, продолжал. И вот что зазвучало:

Жестокосердная, прогнавшая царя,
Себя бьет камнем в грудь, раскаяньем горя.

Она корит себя, и что ни слово — слезы.
И снова все текут, текут все снова слезы.

Как птица сбитая, металась и не раз
На землю падала, закрыв нарциссы глаз.

Клеймя свой гордый дух, рыдала, в то же время
Бия ладонями и грудь свою, и темя.

И вздохами ее был воздух обожжен.
Земля столь горьких слез не видела у жен.

Нет силы, чтоб сдержать порывы горькой страсти,
Чтоб сердце усмирить, нет во вселенной власти.

Когда ж душа ее вконец изнемогла,
Стыда тяжелого ее объяла мгла.

И вот подпружен конь — Гульгун ее прекрасный.
Душа ее в крови, и конь кроваво-красный.

На рыже-огненном и взвихренном коне
Она — как блеск воды на трепетном огне.

Тропа узка, как бровь; как у прекрасной косы,
И небеса черны, и горные откосы.

И на крутой тропе, стегая жеребца,
На помощь в этой тьме звала она творца.

Но глушь и трудный путь Гульгуну — не препона,
И он помчал Ширин быстрее небосклона.

Одеждою слуги свою стянувши грудь,
Она Шебдизу вслед направила свой путь.

И вот сквозь гулкий гром, сквозь громозвучный топот
Порой был слышен плач, порой был слышен ропот,

И взор вперяла в тьму Луна прекрасных лун...
К шатрам охотничьим примчал ее Гульгун.

Военачальники уснули. Тишь, и даже
У царского шатра нет переклички стражи.

Все, словно опиум впивая лунный свет,
В курильне ночи спят. Нигде движенья нет.

И смущена Ширин: к царевому порогу
Она приблизилась, да в ком найдет подмогу?

Но из-за полога Хосровова шатра
Шапур глядит,— что там? Не света ли игра?

Лишь миг тому назад, охваченный истомой
Сиянья лунного, царь был окован дремой.

И, слугам не сказав, туда, где встал Гульгун,
Шапур идет взглянуть, кого примчал скакун.

Он молвил всаднику: «Как призрак ты прекрасен,
Но если ты не тень, то твой приезд опасен:

Тут и с напавших львов кичливость мы собьем.
Заползшая змея тут станет муравьем».

Но отступил Шапур пред этим нежным дивом,
Смущен его лицом и действием учтивым:

Ширин художника узнала; отняла
Сапожки от стремян и спрыгнула с седла.

Лик разглядел Шапур; длань поднял он к кулаху
И вскинул ввысь кулах, а лбом склонился к праху.

И молвил он: «Луна! Всем страждущим глазам
Прах из-под ног твоих — целительный бальзам».

Ответила Ширин словам его достойным
Со взглядом ласковым, для женщины пристойным.

И за руку она взяла его, и он
Услышал все, и был не очень удивлен.

Услышал он о том, что слезные потоки
Стыда, раскаянья ей обжигают щеки,

Что речь ее с царем была дерзка и зла,
Что недостойные слова произнесла,

Что лишь умчался царь — укоры зазвучали
В ее душе и дух попал в силок печали.

И говорит она: «Меня объяла тьма,
И не внимала я велениям ума.

Решилась я на все: рок становился хмурым.
Ведь свойственен беде прыжок тигриный гурам.

И провидением небесным ты сочти,
Что я разбойников не встретила в пути.

Но так как был огонь стремления безмерен,
То путь мой — путь прямой, он правилен, он верен.

Мое доверие ты принял, и оно
Твердит: «Грядущее тебе же вручено».

Две просьбы у меня. Тебе исполнить надо
Их обе, чтоб ко мне опять пришла отрада.

Вот первая, Шапур: когда придет Хосров
На пиршество, под крик: «Да будешь ты здоров!» —

Ты усади меня в укромный угол. Тайна
Да сохраняется! Не выдай и случайно!

Веселый нрав его, подобную лучу
Всю красоту его увидеть я хочу.

Вторая: если царь глазами уж не злыми
Мой встретит взор, то пусть он скажет о калыме.

Коль хочешь, о Шапур, исполнить все точь-в-точь,—
Все подготовь, Шапур, покуда длится ночь.

Не хочешь — на коня я снова сяду: снова
В свой замок возвращусь, не повидав Хосрова».

Две просьбы услыхав, Шапур отверз уста
И клятвы ей дает; их было больше ста.

Гульгуна в стойло ввел он, будто бы Шебдиза.
В шатер он ввел Ширин, как будто бы Парвиза.

Два царственных шатра имел Хосров; они
Мерцали в жемчугах, как звездные огни.

Ближайший — для пиров, а полускрытый, дальний
Служил для отдыха. Он был опочивальней.

Повел Шапур пери воздушную. Вдвоем
Они вошли в шатер, назначенный для дрем.

И прочь пошел Шапур, ей указав на ложе,
И полог опустил, с небесной ризой схожий.

Царя как бы меж роз уснувшим обретя,
Шапур был радостен, как утро, как дитя.

Вкруг «сада роз» кружась и не стремясь к покою,
Он оправлял свечу заботливой рукою.

СНОВИДЕНИЕ ХОСРОВА И ТОЛКОВАНИЕ СНА ШАПУРОМ

И вот внезапно царь очнулся ото сна,—
И лик его — луна, когда она ясна.

Шапура восхвалил он за его участье:
«Я спал, а ты не спишь, мне посланный на счастье.

Тобою охранен я, в сумраке завес
Увидел сладкий сон, вознесся до небес.

Какой прозрел я свет! Я был в саду, в котором
Светильник пред моим блеснул счастливым взором,

Что означает сон? В сиянии свечи
Слава прозрения, о друг мой, расточи».

Заговорил Шапур: «О царь, все стало ясным.
Твой день оденется сиянием прекрасным.

Прогонят небеса твою былую ночь.
Строптивость милых уст ты сможешь превозмочь.

Так выпьем, чтоб вина расплеснутого пламень
Свернул, как рдяный лал,— сей философский камень.

Пусть утром на пиру все будет нам дано:
И молодой нарцисс, и старое вино.

Когда взойдет заря, являя на просторе
В сиянье камфоры заоблачное море,

Камфорный над вином вдыхая аромат,
В ладье забвения поплыть ты будешь рад».

От счастья, как тюльпан, чело царя,— и снова
Он, как нарцисс, уснул: сон одолел Хосрова.

ХОСРОВ УСТРАИВАЕТ ПИР

В Джемшида яхонтах еще весь небосвод,
Но паланкин зари уж по небу плывет.

Внезапный вышел вор и звезды, украшенье
Невесты солнечной, унес. И все в движенье

Пришло. И певчих птиц он потревожил сон,
И женщин испугал... Вот их запястий звон.

Ресницы вскинул царь, но мрея, как зарница,
Ему сладчайший сон еще как будто снится.

И, встав, он приказал, чтоб для него шатер
Такой раскинули, чтоб стал он выше гор.

И до небес шатер дошел своей вершиной.
Взор оглядеть его не мог бы ни единый.

И, руки на груди почтительно сложив,
Пред входом встал народ. Как этот вход красив!

Вельможи в золоте. Оно горит. Доверья
Не обретешь, сказав, что ярче есть преддверья.

Знамена вкруг шатра, как великанов строй,
Как кудри — кисти их, с их бисерной игрой.

И негры пронесли меж царственного стана
Мрак Эфиопии к подолу Исфахана.

Мрак негров, тюрков блеск друг друга превозмочь
Не в силах; так с луной свой мрак сливает ночь.

И к трону ветерки не находили лаза
В ограде из мечей китайцев узкоглазых.

Шатра веревки все невиданной длины,
У входа пред шатром бессчетные слоны.

Концами двух шатров была лазурь задета —
И в солнечных очах уже не стало света.

В одном шатре Хосров, прекрасный, как Китай,
В другом — Ширин. О взор, луной ее считай!

Так много золота в ковре, что без усилья
Прах золотой с него ветров сдували крылья.

И воздух уносил сей позлащенный клад.
Иль сам ковер и был им принесенный клад?

Но удалили всех. На пир за стол богатый
Лишь избранных друзей в шатер созвал глашатай.

Из юношей двора в сей царственный затвор
Гулямы лишь вошли, шелками теша взор.

Наперсники царя, блюдя обрядность пира,
Садятся с двух сторон вблизи владыки мира.

У трона царского все в яхонтах края,
И изумрудная обводит их струя.

Рабы с кадилами — с плодами золотыми,
Что блещут жемчугом и лалами густыми.

В руке царя зажат, как знак закона, шар,
Он мягким золотом пылает, словно жар.

Мелькают кравчие, вино алеет в чаше.
И музыка звучит все сладостней, все краше.

И с лютнею в руке, всех усмиритель бед,
Мир музыкой объяв, сидел и пел Барбед.

И в звуках золото друзьям бросал он в руки.
Он в души их вливал целительные звуки.

И звук со звуком был так сладко перевит,
Как будто с лютнею явился царь Давид.

Давно уже никто не знал такого дара.
Ты вызывал Иса звучанье мусикара.

И тут был Некиса среди придворных; он
Из чанга извлекал наисладчайший звон.

И трели он взносил, и трепетней их звона
Не ведал небосвод — создатель органона.

Он первый наделил размерным строем руд.
Все, что поют стихи, в пример его берут.

Его созвучия в таком текли узоре,
Что птах завистливых они ввергали в горе.

И так он плавно пел, что звезд полночный ход
Зухре под рокот струн сплетала в хоровод.

Подобному Зухре, ему лишь был он ведом,—
Напев согласный с тем, что начат был Барбедом.

И смолкнул на пиру веселый шум бесед:
Взял Некиса свой чанг, бербет свой взял Барбед.

И звуки понеслись в согласии крылатом.
Так в розе цвет ее согласен с ароматом.

Бербет и чанг пьянят.. И нет сильнее сил...
Тот — сердце жег, другой — рассудок уносил.

Вселял рыданья в грудь их каждый звук упругий,
Пьянели все рабы, все забывали слуги.

Царь приказал — и вот, склонив покорно лбы,
Шатер медлительно покинули рабы.

Все удалились прочь. С царем лишь были трое:
Шапур и два певца сидели с ним в покое.

Трехструнный пел бербет, у трезвого певца
Была хмельная власть — все опьянять сердца.

Чанг Некисы звучал, и в глубях небосклона
Зухре оборвала напевы органона.

И царь открыл певцам, чьи так пьянят уста,
И дверь сокровищниц и всей души врата.

Когда же там, в шатре крутящегося свода,
Луны — на смену дня — мир дождался прихода,—

Вокруг шатра Ширин, разумно выждав срок,
Наш замелькал Шапур, как некий мотылек.

За краем полога речь прозвучала Сладкой:
«Ты одного певца направь ко мне украдкой,

Чтоб он у входа сел; я рядом посижу.
И все, что должно петь, я все ему скажу.

Пусть лад он подберет, чтоб струны зазвучали,
Явив в созвучиях всю боль моей печали».

И тотчас с Некисой Шапур пришел к шатру,
Чтоб начал Некиса и пенье и игру.

«За ткани не гляди. Услышишь голос друга,
И пой, что скажет он. Вот в чем твоя услуга.

С душой неведомой свой слей душевный строй.
Чужой постигнув лад, нас ублажай игрой».

Как пьяный соловей, там пел Барбед с бербетом.
Тут с чангом — Некиса. Ночь мрела дивным светом...

Блеск от светильников был как прекрасный рай.
Дым от светильников — заросший лесом край.

Чанг плакал, а бербет бросал алмазов росы.
В твою полу, о чанг, газель склонила косы.

Шелк этих щедрых струн! О чанг, твое лицо
Горит: твоя серьга — напевности кольцо.

К словам и к музыке царь устремился разом.
Что заиграет чанг? Каким утешит сказом?

«Мутриб! — промолвила заря любой зари.—
Всю грусть мою открой... Не бойся... Говори!»

ПЕРВАЯ ПЕСНЯ НЕКИСЫ, ПОДСКАЗАННАЯ ШИРИН

И начал Некиса; внемля Луне, нечасто
Он струны ударял; он пел размером «раста»:

«О счастье сонное! Очнись и погляди —
Быть может, радости мелькают впереди.

В скалу терпения ударь, заря надежды!
Сияньем озари души понурой вежды!

О счастье! Хоть на миг мне кинь свой светлый луч.
Хочу оковы снять — от них вручи мне ключ.

Расстанься, о судьба, с печалями и мраком,
Над обездоленной блесни отрадным знаком.

О дружелюбный рок! Копье во мрак мечи.
У войска горечи все вышиби мечи.

В душе моей огонь, душа вкусила яда.
Друг, милосердным стать без промедленья надо!

Кто так же немощен в своей тоске, как я?
Скажи: кто так же весь в твоей руке, как я?

Пусть на руки твои лить воду не смогла бы,—
Я б на огне тебе готовила кебабы.

И если не смогу я подносить джуляб,—
Фуку раскупорю, как твой последний раб.

Коль не смогла бы ткать, то в должную минуту
В чертогах у тебя я б разжигала руту.

Пусть мне для вышивки ты не дал бы иглы,
Сметала бы я пыль с шелков твоей полы.

Ты не бросай меня, как тень свою, на землю,
И так поникла я, и так лишь скорби внемлю.

Ведь радуется, знай, сиянью звезд луна.
И веселящая Зухра тебе нужна.

К себе меня возьми, я отплачу сторицей.
Служанкой стану я, не стану я царицей.

Спросил ты обо мне, что молвить я могу?
Не ведаю, когда вконец изнемогу.

Как чужеземец я: он ждет желанной встречи.
Ведь так трудны дела! И так друзья далече!

Как роза смятая, забывшая любовь,
От мира я ушла, чтоб мир не видеть вновь.

Как бранная земля, я стрел познала ярость.
Весною, как тюльпан, свою нашла я старость.

Я все желала взять, и все мне было — тлен.
Моя заносчивость меня повергла в плен.

Мне нет заступника, не ведаю участья.
Нет счастья, что, придя, стыдилось бы несчастья.

Нагой, идя ко дну, промолвил: «В час конца
При счастье я б имел хоть саван мертвеца».

От гордости своей осталась я внакладе.
Коль пожелаешь ты, то мы с тобой поладим.

Мои желания не выполнены. Пусть
Исполнятся твои — свою утешу грусть.

Печаль! Твои уста мне словно зелье злое.
Ты жжешь меня, ведь я — лишь горькое алоэ.

Но быть сжигаемой! Вот пиршество мое!
Горение в любви — для страстных бытие!

Не мне повелевать у царского предела.
Захочешь снизойти — твое, о милый, дело!»

ПЕРВАЯ ПЕСНЯ БАРБЕДА, ПОДСКАЗАННАЯ ХОСРОВОМ

Чанг Некисы умолк. И, пламенен и юн,
Запел Барбед под звон трех полновластных струн.

«Лал Ираки» — напев прославленный Ирака —
Вознесся и достиг пределов Зодиака:

«Душой, не слухом пью мне дружелюбный лад.
И в памяти моей былой мерцает клад.

Где сладкоструйных вод есть ручеек подобный?
Где благовеющий есть ветерок подобный?

Иль гаснущей зари сверкающий павлин
Провеял перьями над розами долин?

Иль дивный кипарис, поднявшись над оградой,
Сказал мне, что венец мне явится наградой?

Иль это лунный луч в мой проскользнул шатер?
И ночь уже не ночь, и свет в мой льется взор.

Иль это веянье есть дуновенье рая?
Мой пробудился дух, от радости играя.

Иль белый сокол здесь? К руке спустился он.
От черных воронов цветник ночной спасен.

Иль благодатный ключ, укрытый под листвою,
Мне душу воскресил живительной водою?

Иль подняла свечу благой судьбы рука,
Сжигая грусть мою, как крылья мотылька?

Иль сладкая Ширин нам льет вино из лала?
Вся мгла окрестная восторгом запылала.

О счастье вымолви сопернице пери:
«Дверь счастья милому с улыбкой отвори».

Не только красотой славна ты. Чтоб сумела
Ты боль мою постичь,— о всем скажу я смело:

Пшеницу я пожал — посеял лишь ячмень,
И не пшеницу дал тебе я — лишь ячмень.

Забудь, что речи вел я гневно и упрямо,
Взгляни: покорен я. Взгляни мне в душу прямо.

Индийцу, хоть он вор, не рубят руку: есть
И благородство в нем, в нем и в преступном — честь.

Нет в сердце у меня и уголка для счастья.
Для горя — целый край, и нет к нему участья.

Тобой растоптанный, я на дороге лег,
И душу божию лягнул надменный рок.

Бег сердца моего путь обозначит кровью.
Какой мучитель злой порой не плачет кровью?

Страх в сердце у меня: страшна разлуки тьма.
Ужасен мыслящим тот, кто лишен ума.

Мне руки закрутил, лишая сил, твой локон.
Мне сердце в тьму свою вмиг погрузил твой локон.

Все не забуду слов, слетевших с алых уст,
И, хоть горьки они, без них шатер мой пуст.

Коль хочешь близости, забудь свои угрозы.
Зачем даешь мне шип взамен душистой розы?

Дай из ларца навек тот сладостный бальзам,
Что исцеленье шлет и сердцу и глазам.

О если б ты, Ширин, таким владея златом,
Решила нищего обрадовать закатом!»

ВТОРАЯ ПЕСНЯ НЕКИСЫ, ПОДСКАЗАННАЯ ШИРИН

Пропел Барбед, и вот, чаруя небеса,
Напев пленительный вздымает Некиса.

Нести охапки роз — отрадней нету груза!
И розы разбросал отрадный «Лад Новруза».

«Мой просиявший взор в нежданный сад проник,—
Ведь закоулок твой для глаз моих — цветник.

Указана тобой моей судьбы дорога.
Для глаз моих бальзам — прах твоего порога.

В дыханье мускуса твое дыханье пью.
В сиянье утреннем тень вижу я твою.

Ты очи для меня, ты свет, что льется в очи.
Ты свет очей, ты сад в сиянье звездной ночи.

Что солнцу блеск дает? Твой лик, лишь он один,
И соли соль дает твой сладостный рубин.

Твоей красой горит вся звездная порфира,
О красоте твоей поют в просторах мира.

Какое пьешь вино, что стал ты, как весна?
Душа твоя к добру вином оживлена.

Ты юность, что душе — услада и отрада.
За юность чья душа отдать себя не рада?

И если зеркало поднимешь ты рукой,—
Свой лик увидевши, утратишь ты покой.

С китайским зеркальцем божок китайский! Надо
И на других взглянуть, к чему самоуслада?

Зачем же к зеркалу твой жадный взор приник?
За новым ликом в нем всплывает новый лик.

Взгляни в мои глаза. Вот зеркало, в котором
Ты встретишь лишь себя, к нему склоняясь взором.

Клянусь тем судией, что небеса таят,
Что без тебя, о друг, дни бытия — лишь яд.

С противоядьем ты, мне ж упиваться ядом.
Твой ясен рок, а мой глядит язвящим взглядом.

Душа моя в огне, но, к жертве не спеша,
Ты так безжалостен, глуха твоя душа.

Я мнила, что когда склонюсь, изнемогая,
Ты поспешишь ко мне, мне помощь предлагая.

Но вот изнемогла и пала я, а ты,
Стопы опутав мне, взираешь с высоты.

Но нам грозит позор, коль убиваем друга.
От честных нам укор, коль убиваем друга.

Ты каждый миг мне в грудь вонзаешь острие,
Яви же хоть на миг сочувствие свое!

Речь поведи о той, что ждет, за тканью кроясь.
Введи меня на пир: на мне служенья пояс!

Я, все утративши, пришла на твой порог:
Ведь дерзки нищие. Не будь со мною строг.

О нет, безумна я! Ведь свой светильник ныне
На ветер вынесла из кованой твердыни.

О друг! Хоть участь мне высокая дана,
Царь подчиняет всех — и я подчинена.

Не убивай раба, хоть взор его и выдал,
Что для его очей твой лик — единый идол.

От милых черт своих меня ты не гони.
Пусть хоть бы издали мне виделись они.

Забыта юность мной, лишь ты передо мною.
В надежде встретиться тропой иду земною.

Минута сладкая мне будто бы видна:
Тобой под говор струн мне чаша подана.

Ночь... Глажу локон твой... Лишь думая про это,
Я таю, как свеча в сиянии рассвета.

Рубином губ твоих упившись навсегда,
Усну я и просплю до Страшного суда.

Вот я целую прах в шатре твоем... Вся сила
Иссякла. Сколько мук в разлуке я сносила!

Поводья держишь ты. Чего ж алкаешь ты?
Скажи, убьешь меня иль обласкаешь ты?

Мне лучше прахом стать, мне лучше быть убитой,
Чем жить мне без тебя, чем быть тобой забытой».

ВТОРАЯ ПЕСНЯ БАРБЕДА, ПОДСКАЗАННАЯ ХОСРОВОМ

Так с чангом Некиса пропел на быстрый лад.
С трех струн поднялся стон Барбедовых услад.

Моля о милости, исполнены печали,
На исфаханский лад слова певца звучали:

«Когда в рассветный час, от чаши полупьян,
Я мимо сада шел и пил его дурман,

И прелестью весны так привлекал мой взор он,
Увидел я: в саду над розой вьется ворон.

Ты роза, но на ней шипам и счета нет.
Ты в замке скрыла клад, лежит на нем запрет.

Как быстро на замок ты свой закрыла замок!
Враг не сломил замка, ты сохранила замок.

Ты гурия, чей лик бесплотен, чьи сады
Таят бессчетные эдемские плоды.

Но пусть мои глаза таким плодам и рады,
От них я горечь знал, не знал от них услады.

Сводящая с ума в душе моей пери,—
И на безумие мое ты посмотри.

Не сплю я, злые сны над разумом нависли:
Томящая пери в мои проникла мысли.

Когда бы я уснул, зажгла бы ты мой сон,
И в жар безумия он был бы погружен.

Безумный от пери, желаньями ужален,
Снует за призраком меж брошенных развалин.

Зачем же, о пери, услада всех услад,
В свой замок спряталась, как скрытый в недрах клад?

Явись, жемчужина! В венце моем отныне
Сияй! Зачем в морской ты прячешься пучине?

Нарцисс твоих очей! Черна их глубина!
Улыбкою своей смутишь ты колдуна.

Клянусь, упрямый твой, как дым, крутимый локон,
Как страшный дым войны,— меня так обволок он.

Клянусь запястьями твоих прелестных ног,—
Их звон всех мертвецов вновь оживить бы смог,—

Клянусь я жемчугом, с твоей парчой содружным,
Клянусь я медом уст и ртом твоим жемчужным.

Клянусь я амброю закрученных волос,
Клянусь тугим узлом твоих текучих кос.

Клянусь призывом глаз, ценнее ценной дани,
Клянусь всей ценностью чуть слышимых признаний,

Клянусь я дугами изогнутых бровей,
Что схожа с подписью всевластною царей,

Клянусь ресницами, что каждую минуту
Грозили б стрелами и самому Харуту,

Клянусь упреками твоих суровых глаз,
Клянусь огнем очей, чей сладостен приказ,

Клянусь ланитою, что нежит наши очи,
Что в свежей нежности — сиянье лунной ночи,

Клянусь твоей косой, которая в мой стан
Из крепости луны закинула аркан,

Клянусь нарциссами, милей нарциссов сада,
И гиацинтами, что всем цветам — услада.

Клянусь кудрявою, что заклинает змей,
Что нижет на ушко кольцо своих кудрей,

Клянусь замочком рта и прелестью жемчужин,
Их — тридцать две, их ряд тобой был обнаружен,

Клянусь я миндалем, тьмой окаймленных глаз,
Их мраком сладостным, сулящим сладкий час,

Клянусь твоим лицом живительным, ведь воду
Такой родник дает всему людскому роду,

Клянусь гранатами серебряных грудей,
Что округлил Новруз — сладчайший чародей,

Клянусь я прелестью прекрасного овала,
Что к подбородочку так взор мой приковала,

Клянусь я белизной тех пальцев десяти,
Что будто молвили: мне, горностай, не мсти.

Клянусь плечами я, что светом серебристым
Блистают, я клянусь блистаньем этим чистым,

Клянусь я слитком тем, которым сотворен
Твой стан серебряный,— так драгоценен он.

Клянусь я той землей, что Сладкую носила,
И клятвы, данной мной, неистощима сила,—

Коль ты придешь ко мне — приди, о, поспеши! —
Я заключу тебя в предел своей души!

Твой стан прижму навек я к царственному стану.
Для всех я стал царем — тебе рабом я стану».

ТРЕТЬЯ ПЕСНЯ НЕКИСЫ, ПОДСКАЗАННАЯ ШИРИН

Лишь только замолчал Барбеда звучный руд,
Как пальцы Некисы звенящий чанг берут.

Напевом «хисари» из паланкина песни
Он вызвал образы всех девушек прелестней.

«О кипарис, взгляни: я пред тобою — прах,—
И тенью осени ты голубою прах.

Пусть на петлю из кос твой взглянет взор проворный.
Где встретишь пленницу с такой веревкой черной?

Хоть своевольною была я, как эмир,
Теперь на мне петля, а между нами — мир.

Хоть видела я мир, встав на своем пороге,
Два мира не смогла вместить в своем чертоге.

В жилище муравья ноги не ставит слон.
И немощен комар! Сродни ль Симургу он?

В колодезь небосвод вместить ли величавый?
Не расцветает рай там, где простые травы,

Ту жизнь, которая и слугам не нужна,
Отдать султану? Нет! Нужна ль ему она!

Забудем, что вчера я спорила с тобою,
Сегодня пред тобой предстала я рабою.

Как мне молить того, кто величав и прав?
Но помощь мне подаст твой милосердный нрав.

Скажу тебе о том, как страсть играла мною,
С тобою поделюсь виною не одною.

И так, целуя прах, склонять я буду стан,
Что милость возвестит гремящий барабан.

Я взрою землю лбом, в слезах мольбы и страха,
И честь свою, о царь, я вырою из праха.

Я влажною щекой прижмусь к ковру не раз,
И небо — «устыдись!»— пошлет тебе указ.

Прочтя твой гороскоп, Луною — я узнала —
Дан Вестнику указ; Луна всего начало.

Тот Вестник — это я, а ты — его Луна.
И потому-то я к тебе привлечена.

О сердце раненом, пройдя свою дорогу,
Известье принесла я к твоему порогу.

И Вестник, что принес тебе вот эту весть,
Приятен: у него тебе подарок есть.

Мой напроказил рот — он маленький, и снова
Пришел он попросить прощенья у Хосрова.

Пускай мой язычок злым пламенем пылал,
Но все ж он заключен, припрятан он за лал.

Мой локон был кичлив, тебе он сдался ныне,
Тобой отринутый, забыл он о гордыне.

Пусть мой по-тюркски глаз разбойничал — поверь,
Прощенья, как индус, попросит он теперь.

Хоть образуют лук бровей моих изгибы,
Он — твой, твои персты схватить его могли бы.

Улыбкой нанесла я вред твоим глазам?
Прах из-под ног твоих сбираю: он — бальзам.

Пусть встряхивала я тьмой локонов, бывало,—
Смотри, цепями кос чело свое я сжала.

Я — факел твой. Бери! Ведь вся я горяча,
Душа моя горит и тает, как свеча.

Назначить можешь смерть ты царственным указом,—
Я вся перед тобой. Рази мгновенно, разом.

Коль наша встреча, царь, пошлет не свет, а мглу,
То со слезами я схвачу ее полу.

Пусть лалу твоему пить кровь мою не внове,—
Знай, укушу его я жемчугом до крови.

Я — сад, но на плоды положен мной запрет.
Ведут в мой сад врата, но доступа к ним нет.

Коль в сад не ты, другой заглянет ненароком,
Вмиг с ног его свалю я виноградным соком.

Лишь сахарный твой рот, желанье утоля,
Найдет в саду тропу к орешку миндаля.

Пусть камнем бьют меня, орешки сбить желая,
Лишь ты поймаешь их, желанием пылая.

С насмешкой улыбнусь я, как фисташка, друг,
Когда узрю персты мне чуждых алчных рук,

Нет, не достать другим перстами померанца:
Они уколются шипами померанца.

И, фиников ища, желание свое
Не утолит никто; уколет острие.

Пусть яблочка мила кому-нибудь хоть долька,
Из воска яблочко получит он — и только.

Когда потонет свет, когда всплывет луна,
Плодами только ты насытишься сполна...»

ТРЕТЬЯ ПЕСНЯ БАРБЕДА, ПОДСКАЗАННАЯ ХОСРОВОМ

Закончил Некиса сию газель, и следом
Заплакала сета, подъятая Барбедом.

В лад «раст» порой вводя прекрасный лад «уштак»,
Барбед пропел газель; она звучала так:

«О светоч красоты! Рок на твою дорожку
Мне бросил козлика приманчивую ножку.

И пусть барашек я, а страсть моя — мясник,
На клич к твоим дверям, как пес, примчусь я вмиг.

Вот сердце. Похищай! Ведь мне его не надо.
Жить, сердце потеряв, его отдав,— отрада.

Как телу тягостен больного сердца груз!
Воровки сердца гнет — всех тягостней обуз.

Нам страждущий слуга не нужен для услуги,
К чему и сердце нам, когда оно в недуге?

Мнил сердце я отвлечь от всех его забот —
Ведь дела нашего был неудачен ход.

Но в сердце силы нет иным заняться делом,
Нет силы не лететь к единственным пределам.

Я не своей душой, а той, чей свет над ней,
Клянусь: моя душа кипит среди огней!

Клянусь твоим зрачком, стреляющим в газелей,
Твоей газелью пьян, как от пьянящих зелий!

Я жду в отчаянье огня твоих очей,
Я мрачен, словно прах без солнечных лучей.

С тобою разлучен, я весь охвачен горем.
Я — рыба бедная, расставшаяся с морем.

Не хочешь ты луну из облака извлечь!
Ждет голову мою венец иль острый меч?

В краю твоей красы твое царит веленье.
Дай нежности приказ оставить промедленье.

Вобрав тебя в свой взор в дыму давнишних дней,
Лобзаю по ночам следы твоих ступней.

Развесили меня огнем любовной песни.
Уже умершему промолви ты: «Воскресни!»

Лобзаньем оживи того, кто тьмой объят,
Влей дух в бездушного, явив свой аромат.

Как благодатно мне твоим упиться ликом
И голос твой впивать в волнении великом!

Зачем от глаз моих ты спрятан, о алмаз,
Как ток живой воды от недостойных глаз!

Творец, что сниспослал и воду нам и сушу,
И телом нас облек, и нашу создал душу.

И — я клянусь тобой — все в силах превозмочь,
Мне день благой пошлет, мою прогонит ночь».

И, услыхав слова искусного Барбеда,
Ширин подумала: «Трудна моя победа».

И, извлекая песнь из горестной груди,
Чангисту молвила: «Все чангом победи.

Спой так, чтоб нам вконец обворожить Хосрова,
Чтоб сбился он с пути, чтоб он не спорил снова».

ЧЕТВЕРТАЯ ПЕСНЯ НЕКИСЫ, ПОДСКАЗАННАЯ ШИРИН

И чангу Некиса,— «Вновь колдовство яви»,—
Промолвил, и запел он в ладе «рахави»:

«Немедля развяжи препятствий нудный узел.
Наш не просторен путь. Зачем его ты сузил?

Ты с другом помирись — в душе у друга гнет.
Вчерашний умер день — сегодняшний умрет.

Ни дружба, ни престол,— верь истине не новой,—
Не обладают, царь, незыблемой основой.

За этот хрупкий мир, за три крупинки дней
Зачем ты держишься? Что жизнь! Забудь о ней.

Лет жизни пятьдесят иль шестьдесят — минуты.
Зачем за сотней пут ты вновь сплетаешь путы?

В день нынешний, о друг, раскупори вино.
Под спудом все, что нам назавтра суждено.

В день завтрашний, о друг, не устремляя очи,
Давай поладим-ка с тобой сегодня к ночи.

Нет, не чуждается вселенная забав!
Коль веришь в этот мир, ты, милый мой, не прав.

Весной вкушай весну, ее предайся узам,—
Не круглый год, о друг, мы тешимся Новрузом.

И розы ты вдыхай весенний аромат,—
Порывы осени ее сомнут, умчат.

Для розовой воды дать лепестки ей сладко,
А то смешаются с землею без остатка.

Там, где и золото не ценится, как смерть,
Мне думать о себе,— ведь я лишь только медь!

Ты свет — я светлячок, и нет во мне отваги
С прибоем сравнивать одну пригоршню влаги.

Твой рынок оживлен обильной красотой,
На мой базар приди — в моих делах застой.

Товар мой не бракуй. Угодно будет небу —
И тороватому он будет на потребу.

Глазурной чаши чти нетреснувшую синь,
Но вновь скрепленную ты также не отринь.

Хоть золото мы чтим в его обилье веском,—
Не дай рассыпаться и золотым обрезкам.

Мне в ухо вдел кольцо, меня забрал в свой край,—
Коль ты купил меня — не перепродавай.

Стремится жизнь моя к единственной отчизне —
К твоей любви. Уйдешь — и мне не надо жизни!

Жду, напрягая слух, я зова твоего;
Ждать стану большего — не станет и его.

В томленье по тебе мое изныло тело,
Одна пила вино, одна я опьянела.

Я словно тень твоя — легла она у ног;
Кинжалом разделить никто бы нас не смог.

Останусь я с тобой, пока не обезглавят.
Пусть окровавят! Пусть! Уста тебя лишь славят.

Коль одиночества избегну я угроз,
Я сделаю шипы пучками алых роз.

Создатель, песнею направь мой путь к победам,
Дай сладкий мне удел, дай отрешенье — бедам!»

И душу сладкая разодрала тоска,
И разодрал Хосров одежд своих шелка,

И восклицает он, и встал он пред Барбедом:
«Пусть твой сладчайший стих — Сладчайшей станет ведом!»

ЧЕТВЕРТАЯ ПЕСНЯ БАРБЕДА, ПОДСКАЗАННАЯ ХОСРОВОМ

Пыланье Некисы застлало взор царя.
И вновь запел Барбед, сей пламенник смиря.

Чрезмерность пламени он погашает ладом.
Лад «зерифкен» он взял — усладу всем усладам.

Под звон струны он спел газель такой красы,
Что впал в отчаянье чанг звучный Некисы.

«Прости меня, кумир! Смотри, с какой мольбою
О снисхождении склонен я пред тобою.

За чашу каждую меня объемлет стыд,
За каждый час измен я горьким горем сыт!

Каламом зачеркни вину мою! Объятый
Тоской,— не спал ночей, и ночи — мой ходатай.

Впредь у твоих дверей не подниму чела.
Верь: голова моя у ног твоих легла.

Когда согласна ты владеть душою пленной,
То я готов служить тебе душой нетленной.

Играй со мной, играй,— я всю твою игру
Готов переносить, покуда не умру.

Я полюбил тебя, и мой удел — печали.
А у любимых нет, нет вовсе дел печали.

В ладу ль нам быть с тобой иль нам не быть в ладу,—
В томленье по тебе отраду я найду.

И если стану я блуждать уныло, сиро,
Ты пребывай одна для всей услады мира.

И коль погаснет жизнь в больной моей крови,
То ты, прекрасная, блаженствуя, живи.

И хоть отрада мне и не дана Прекрасной,
Пусть будет жизнь твоя, как бы весна,— прекрасной.

Ты вечно пребывай. А что мне суждено:
Исчезнуть или нет — не все ли мне равно!

«Несчастный!» — скажут мне, склоняя взор участья,
Отвечу: «Счастлив я — она в сиянье счастья».

Пусть ветры кружатся, мои развеяв дни,—
Пусть дни твои цветут, пусть все цветут они!»

Так жарко пел Барбед... Нежней и полновесней
Еще не плыл напев... Все смолкло с этой песней.

И жар спалил Ширин... В сознанье — полутьма...
Осилил страстный жар пылание ума.

Так вскрикнула Ширин в своем шатре укромном,
Что царь ответил ей таким же вскриком томным.

Он услыхал Ширин. В грудь получив стрелу,
Стрелу ответную бросает он во мглу!

И, воспринявши лад играющей Прекрасной,
Царь громко вторил ей своею песней страстной,

Как тот, кто говорит вершинам гулких гор
И ждет ответных слов, к ним поднимая взор.

Там песнь поет Луна — тут, то склоняясь к праху,
То вскинув голову, влюбленный рвет рубаху.

Когда поднялся стон от пламени любви,
То струны молвили: «Нас больше не зови».

«Шапур!— сказал Хосров.— Ширин чудесней чуда.
Немедля повели, чтоб все ушли отсюда».

Вняв голосу Ширин, весь мир забыть готов,
К ее шатру, горя, бросается Хосров.

Но подоспел Шапур, сказал спокойноликий,
Взяв за руку царя: «Останься, о великий!»

И хоть в пылу забыл Хосров земной предел,—
Подмогу увидав, остановился, сел.

И молвил: «Разъясни, какою властной тайной
Чарует этот зов,— такой необычайный?»

ВЫХОД ШИРИН ИЗ ШАТРА

Едва решил Шапур царю сказать ответ,—
Глядит: на божий свет иной пролился свет.

То вышла из шатра, завес качнувши складки,
Пери; так из-за туч выходит месяц сладкий.

Как путник, чья душа вином любви пьяна,
Легла к ногам царя прекрасная Луна.

Когда любимую увидел он рабою,—
Свой лоб у ног своих увидел пред собою.

И он склонился к ней: «О сладостный венок!
Венок на голове быть должен — не у ног!»

За знаки нежности, участья и почета
Прекрасный одарял Прекрасную без счета.

Облобызавши прах у ног ее,— мечтам
Дает он вознестись к возлюбленным устам.

От пламени, каким был царь Хосров охвачен,
Внезапно лик Ширин потуплен стал и мрачен.

И подивился царь: «Почто прекрасный лик,
Как роза просиял и вот опять поник?»

«Луна заволоклась,— Хосров услышал шепот
Шапура.— И в луне ты можешь вызвать ропот:

Ведь та, что все сердца ввергает в страсть, сама
Честь имени блюдет, хоть сводит всех с ума.

Она отводит лик, страшась, что властный, скоро
Украсишь этот лик ты мушкою позора!»

Царь понял: не взрастить такого деревца,
Коль не привить к себе. И славою венца

Поклялся он Ширин: без свадебного вена
Он не подступит к ней, он весь в оковах плена.

И он сберет вельмож со всех концов земли,
Чтоб выкуп царственный увидеть все могли.

«Но это впереди. Теперь же лейтесь, вина!
Уж этой ночи, друг, промчалась половина.

С тобою радостно пребудем в тьме ночной,
Друг в друге видя мир небесный и земной»

Обеты услыхав, Луна полна услады.
И между уст блестят жемчужные Плеяды.

Подвижные уста — как жемчуга ловцы,
И пляшут локонов душистые концы.

Ее запястий звон, серег ее бренчанье...
Баюкало певцов их сладкое звучанье.

В ее уста проник один глоток вина —
И виночерпия душа опьянена.

Чего бы тут, скажи, для счастья не хватило?
Был месяц — музыкант, лило вино — Светило.

Так сердце царское отрадою пьяно,
Что больших радостей не требует оно.

Рассудок в радости достигнувший предела,
Стремясь к плодам иным, земное бросил тело.

И нежный аромат и ненаглядный лик,—
Тут радости предел пред кем бы не возник!

Так было радостно, что, путая природу,
Вода вошла в огонь, огонь проникнул в воду.

Когда влечение свой обретет зенит,
В железе нету сил: влечение — магнит.

Но, помня договор и все слова обета,
Они сдержали страсть. Крепки права обета!

Сжал сердце Сладостной в ладони царь Хосров.
Его душа — цветок, порвавший свой покров.

То к мускусным кудрям протягивал он руку
И, в тьму одев Луну, с ней познавал разлуку,

То, сняв с ее кудрей серебряный покров,
Как раб, сеть жемчугов ей поправлял Хосров,

То мрак ее косы он обращал в свой пояс,
То ртом склонялся к рту, в сластях рубинных роясь,

То трогал он перстом любимых уст огонь,
То подбородок брал, как яблочко, в ладонь,

То похищал Хосров с руки ее запястья,
Сам в руки взяв ее, как бы в тиски запястья.

То брал с ее ноги запястья, их кристалл
На шее у него, довольного, блистал,

То прижимался к ней, шептал: «Моя лампада!
Свой сумрак осветить душа душою рада».

То говорил Ширин: «Я — тело, ты — душа.
Ты канула во мне, дышу — тобой дыша».

Душа его, что вся лежала в путах милой,
Ублажена была в благих минутах милой.

Лобзаний звук... Иль слух пьет сладких влаг струю?
Забыли небеса про кеманчу свою.

...Страж вновь раскинул гром ночного барабана.
Ширин — чиста, а царь молит все так же рьяно.

И в негах провели они недельный срок.
Ширин была нежна, царь — помнил свой зарок.

Развертывались дни, как сладостная книга,
И не было у них безрадостного мига.

Лобзаний череда... Еще... еще... точь-в-точь,
Как в нард два игрока. Так проходила ночь.

И на седьмую ночь, когда не стало слада
Со страстным пламенем, Хосров промолвил: «Надо,

Чтоб осветила путь прекрасная Луна,
Чтоб в лунный свой предел направилась она.

Бессчетности светил ее подобна свита.
Число всех войск ее лишь богом не забыто.

Пусть в замке ждет вельмож, пусть остается там,
Пока ей паланкин не подадут к вратам».

И как луна вершит на небе путь свой,— снова
К своим вратам Ширин вернулась от Хосрова.

Вновь в камне замерла сребристых звезд игра,
Вновь в мире лунного не стало серебра.

Ветрилом золотым полнеба заблистало,
И в небе кораблей серебряных не стало.

И царские шатры свернули. Поскорей
В своей столице быть желает царь царей.

Веселый лик его увидела столица.
И вновь он пьет вино и снова веселится.

С лицом ликующим великий царь царей
Венцы раздаривал движением бровей.

Имевший прибыль — щедр. Как и людское племя,
Земля полна щедрот, лишь восприявши семя.

Ведь туча влагою без моря не полна.
Без туч была б не так насыщена волна.

Ведь подать с бедняков взимается нестрого,
И за развалины не требуют налога.

Под вечер царь велел, чтоб каждый звездочет,
Взглянул на путь светил, прочел, как он течет,

Чтоб светлым разумом на темных сводах ночи
Нашел бы добрый день меж звездных узорочий.

Чтоб в этот добрый день мог паланкин Луны
Достигнуть солнечной предельной вышины.

И звездочетам высь пути свои раскрыла,
И свадебного дня нашли они светила.

ПРИЕЗД ШИРИН ДЛЯ ВЕНЧАНИЯ В МЕДАИН

Когда невеста дня на бирюзовый трон
Взошла и нежный лик был светом озарен,

День молвил: «В радости тебе навстречу выйду».
И мрака разорвал дырявую хламиду.

Такие вынул царь каменья из ларца,
Что солнце в зависти не подняло лица.

И было: тысяча верблюдов, и браслеты
Им были на ноги бренчащие надеты,

И тысяча коней, от гривы до хвоста
Горела в яхонтах их шерсти чернота.

И мулов тысяча со звездным, с черным взглядом;
Хромым казался день, бежавший с ними рядом.

Красавиц тысячи,— кумирни их приют;
Одним лишь идолам сей облик придают,

И тысячи других жемчугоносных; уши
Их были в кольцах, все ж их радовались души.

Затем несли ларцы. В них не один харвар.
Все с крупным жемчугом. Все луноликой в дар.

Тюки ковровые... Но, право, я б охотней
Их не считал: текли за сотней — новой сотней.

В них было золото, китайская парча,—
Кто в мире шествовал, подобную влача?!

И паланкинов ряд; их десять, все — павлины,
В чьих перьях сто цветов, чьи многоцветны спины.

Но паланкин один назначен только той —
Благой Луне. Он весь — блестящий, золотой.

Взвив пыль, вели коней; мерцали в мутном прахе
И коймы чепраков и золотые бляхи.

Был копьями простор окрестный загражден,
А воздух полонен был волнами знамен.

Вслед за носилками тянулись паланкины.
В них жены, чьи уста — манящие рубины.

Горстями сладости бросая по пути,
Шли схожие с пери — здесь Сладкую нести.

О пышность щедрая! Все было по обрядам.
Да будет царь Хосров дурным не тронут взглядом!

И шли красавицы меж взгорий и долин.
И встретили они прекрасную Ширин.

И на невесту здесь лететь должны орешки,
Но были жемчугом заменены орешки.

И мускус вместо роз вокруг осыпал прах,
Он был в мешочках скрыт; мешочки -- в жемчугах.

Сокровищ блещущих разбрасывая клады,
Так довезли Ширин до городской ограды,—

И этой россыпью, что разметал Хосров,
Тугой подол земли был полон до краев.

Шла, как весна, Ширин, всех предавая чарам.
И каждый шаг ее встречался новым даром.

Дирхемы сыпал царь, повсюду их стеля,—
Была под серебром, как в чешуе, земля.

И вот вошла Ширин, к венчанию готова,
Как Солнце в знак Тельца,— в пристанище Хосрова.

Мобедов царь позвал. Все ведают они
Обряды царские в торжественные дни.

Им царь поведал все; его услышав слово,
Душа внимающих служить Ширин готова.

«Ширин супругою и другом стала мне,—
Нет вена для нее достойного в стране.

Она чиста, хоть я пылал в безмерной страсти.
Она сыскала путь все отстранить напасти.

Я должное свершу, пред ней покорно пав,
И, ею возгордясь, я тоже буду прав.

Чтоб слаще пить вино, ты будь при этом, с розой
Двум птахам и гроза не кажется угрозой.

И если у вола нет пары под ярмом,
К чему послужит плуг? Подумай-ка о том».

И все внимавшие челом коснулись праха,
И все одобрили решенье шаханшаха.

Взяв за руку Ширин, сказал мобеду царь:
«Садись». И все слова, что полагалось встарь

Сказать, сказал мобед по правилам устава,—
И вено за Ширин назначил величаво.

И в жены взял Ширин с обрядностью такой,
Царь в занавешенный послал ее покой.

Всем розам небеса, сперва сказав: «Пробудим
Вас в день весны»,— потом их предлагают людям.

Великий рок, венцу жемчужины даря,
Венец в жемчужинах наденет на царя.

Пловцы ныряют в глубь на поиски жемчужин,
Чтоб стал жемчужин блеск с венцом царевым дружен

Став слаще, чем джуляб, прекрасней, чем пери,
Ширин, позвав царя, промолвила: «Бери,

Пей сладкий кубок мой, пребудь в истоме сладкой,
Ты сладостно забудь все в мире кроме Сладкой».

В словах, являющих величие и честь,
Ширин потайную царю послала весть:

«Не прикасайся ты сегодня ночью к чаше:
Два опьянения не входят в сердце наше.

Что яство для людей, чей ум затмит вино?
Поймет ли — солоно ль, не солоно ль оно?

Хмельной, найдя все то, к чему стремился страстно,
Промолвит: «Я был пьян, все бывшее — неясно».

И те, что во хмелю откроют свой замок,
Потом бронят воров, и всем им невдомек».

По нраву эта весть пришлась владыке мира.
«Исполню,— молвил он,— веление кумира».

Но пьют в веселый день!.. Будь сломлена печать!
Себя на празднике не надо огорчать!

Пел снова Некиса, бренчал бербет Барбеда,—
Звенела над Зухре их нежная победа.

То, полный сладости, пел мелодичный руд:
«Пусть длятся радости, пусть чаши все берут!»

То кубок прозвенит, сверкая пред Барбедом:
«Всегда удачи свет тебе да будет ведом!»

И в сладостных мечтах о сладостной Ширин
Хосров испробовал немало терпких вин.

И промежутки царь все делает короче
Меж кубками. И вот проходит четверть ночи.

Когда же должен был, почтителен и тих,
К невесте царственной проследовать жених,—

Его, лежащего без памяти и речи,
К ней понесли рабы, подняв к себе на плечи.

И вот глядит Ширин: безвольный, допьяна
Царь упоен вином. Себя укрыв, она

Тому, кто все забыв, лежит как бы сраженный,
Другую милую отдаст сегодня в жены.

Она схитрила, что ж,— ты так же поступай
С тем, кто придет к тебе, упившись через край.

Из рода матери всегда жила при Сладкой
Старуха. Словно волк была она повадкой.

И с чем ее сравнить? О диво! О краса!
Скажу: как старая была она лиса.

Две груди старая, как бурдюки, носила.
И плеч ушла краса, колен исчезла сила.

Как лук изогнутый, была искривлена
С шагренью схожая, шершавая спина.

Ханзол, несущий смерть! Кто глянул бы не косо
На щеки,— в волосах два колющих кокоса.

Ширин, надев наряд на это существо,
Послала дряхлую в Парвизу для того,

Чтоб знать, насколько царь повержен в хмель могучий
И сможет ли Луну он отличить от тучи.

Старуха полога раздвинула края,—
Как будто из норы к царю вползла змея.

Как сумрак хмурая — таких не встретишь часто,—
Была беззубая, но все ж была зубаста.

Царю, когда к нему вошла сия лиса,
Уже овчинкою казались небеса.

Но все ж он мог понять,— он на усладу падкий:
Не так весенние ступают куропатки.

Не феникс близится — ворону видит он.
Влез в паланкин Луны чудовищный дракон.

«В безумстве я иль сплю?— он прошептал со стоном.
Где ж поклоняются вот этаким драконам?

Вот кислолицая! Горбунья! Что за стать!
Да как же горькая сумела Сладкой стать?»

Хосрова голова пошла как будто кругом.
Решил он: сей карге он сделался супругом.

...Старуший слышен крик... Промолвила Луна:
«Спасти ее!» И вот к царю идет она.

К лицу прибавив семь искусных украшений,
Откинув семь завес, вошла; плавней движений

Не видел мир. Пред ней — ничто и табарзад.
Вся сладость перед ней свой потупляет взгляд.

Она — что кипарис, сладчайший из созданий.
Она — сама луна, закутанная в ткани.

Что солнце перед ней, хотя она луна!
Ста драгоценней стран подобная весна!

Подобной красоты мир не смущали чары.
Все розы в ней одной, в ней сладости — харвары.

Она — цветы весны. О них промолвишь ты:
Одним счастливцам, знать, подобные цветы!

Блестящий Муштари пред ней померкнет. Пава
Пред плавною Ширин совсем не величава.

Ее уста — любовь. О, как их пурпур густ!
Но все ж ее уста еще не знали уст.

Весь Туркестан попал в силок ее дурмана.
Лобзания Ширин ценнее Хузистана.

О розы свежих щек! Состав из роз, взгляни,
Заплакал от стыда; его печальны дни.

Ты, томный взор, нанес сердцам несчастным раны!
О поволока глаз! Ты грабишь караваны!

Ширин! Ведь ты вино: уносишь ты печаль.
Нет горя там, где ты. Оно уходит вдаль.

О сахар сахара, о роза роз! О боже!
Она явилась в мир сама с собою схожей.

И царь протер глаза: они ослеплены.
Так бесноватых жжет сияние луны.

И, как безумцы все, смущен он был Луною
И хмеля сонного зятянут глубиною.

...И пробудился царь. Ночи свершился ход.
Царь видит пред собой наисладчайший плод.

Невесту светлую ему послало небо,—
Пылающий очаг, назначенный для хлеба.

Ушел небиза хмель за тридевять земель.
Сладчайший поцелуй согнал с Парвиза хмель.

Он словно вин испил необычайных, новых.
И сад расцветших роз был сжат в руках царевых.

Лишь покрывало с уст, как эта ночь, ушло,—
Терпение царя мгновенно прочь ушло.

Краса весь разум наш вмиг обратит в останки.
Мани своим вином отравят китаянки.

Ворвался в Хузистан в неистовстве ходжа,
Лобзаний табарзад похитил он, дрожа.

Таких рассветных вин, как эти,— не бывало.
Таких блаженных зорь на свете — не бывало!

И начал он сбирать охапки сладких роз.
И сам он розой стал в часы веселых гроз.

И молвил он любви, что миг пришел, что надо
Уже вкушать плоды раскрывшегося сада.

То яблок, то гранат он брал себе к вину,
То говорил, смеясь: «К жасмину я прильну».

И вот уже слились два розовых их стана.
И две души слились, как розы Гюлистана.

Сок розы в чашу пал, о радости моля
И сахар таять мог в плену у миндаля.

Так сутки протекли, и вот вторые сутки.
Нарцисс с фиалкой спят, и сладок сон их чуткий.

Так два павлина спят в тиши ночных долин.
Поистине красив склонившийся павлин!

Они, покинув сон, прогнав ночные тени,
Послали небесам немало восхвалений.

И, тело жаркое очистивши водой,
Молитвы должные свершили чередой.

Все близкие к тому, кто был на царском троне,
Окраской свадебной окрасили ладони:

В хне руки Сементурк, в хне руки Хумаюн,
В хне руки Хумейлы, и лик их счастья — юн.

Однажды царь сидел в своем покое, взглядом
Окидывая дев, с ним восседавших рядом.

Им драгоценности он роздал. Запылал
В их ожерелиях за лалом рдяный лал.

Он отдал Хумаюн Шапуру,— сладким садом
Его он наградил, сладчайшим табарзадом.

Затем дал Хумейлу царь Некисе, а вслед
Красотку Сементурк в дар получил Барбед.

Ну а Хотан-Хотун премудрую и видом
Прелестную Хосров связал с Бузург-Умидом.

С почетом отдал царь Шапуру всю страну,
В которой некогда цвела Михин-Бану.

Когда вступил Шапур в предел своих владений,
В них множество воздвиг прославленных строений.

Та крепость в Дизакне, чья слава немала,
Шапуром, говорят, построена была.

И одаряет вновь всей радостью Хосрова
Благожелательство небесного покрова.

Свершенья, молодость и царство — лучших уз
Вовек не видел мир, чем их тройной союз.

И дня без лютни нет, и ночи нет без кубка...
Все в мирных днях забыть — нет правильней поступка.

Лишь радости вкушай, их так приятен вкус,—
И огорчений злых забудешь ты укус.

Он пил, дарил миры, он радовал народы.
И в наслажденьях текли за годом годы.

Когда ж прошли года и духом он прозрел,
То устыдился он всех дерзновенных дел.

И белый волос стал у щек нежданным стражем.
«О молодость, прощай!»— его увидев, скажем.

Быть в мире иль не быть? Граница — волосок.
И волосок — седой. И час твой — недалек.

Для взора смертного все чернотой одето —
Лишь только до зари, до вспыхнувшего света.

Мы греемся в саду, пока снежинок рой
Не ляжет на листву сребристой камфорой.

Постигни молодость! Она — пыланье страсти.
Весь мир, вкушая страсть, в ее всесильной власти.

Но седовласый рок возьмет права, и он
Твою изгонит страсть. Таков его закон.

«Как быть?— у старика спросил красавчик с жаром,—
Ведь милая сбежит, когда я буду старым».

И отвечал старик, уже вкушавший тишь:
«Друг, в старости ты сам от милой убежишь».

Коль ртуть на голове — она бежит от мира,
Бежит от серебра напрасного кумира.

От мрака локонов печаль умчится вдаль.
Черноволосых взор — пугает он печаль.

Войска тоски бегут перед тобой, нубиец.
Ведь только радуясь, живет любой нубиец.

Окраска черная глазам на пользу: рьян
И радостен, юнец стремится в Индостан.

Все понял царь, и внял он белому жасмину.
Он в юных днях — как я — постиг свою кончину.

Хотя Хосров сдержал любой бы свой обет,
Но мир обманывал, и царь страшился бед.

То на златой доске он в нард играл, то бегом
Шебдиза тешился, былым отдавшись негам.

То он Барбеда звал, то слушал водомет,
То обнимал Ширин, как бы вкушая мед.

Ширин и царский трон, Барбед и бег Шебдиза —
Излюбленный предел всех радостей Парвиза.

И вспомнил он, смутясь, все предвещавший сон,
И сад его души был мраком полонен.

Все то, что создали, он знал, земля и воды,
Хоть так прекрасно все,— сотрут, разрушат годы,

До полнолуния растут лучи луны,
Потом — уменьшатся, потом — уж не видны.

Я дереву в саду, в саду плодовом внемлю:
«Созревшие плоды повергну я на землю».

НАСТАВЛЕНИЯ ШИРИН ХОСРОВУ О СПРАВЕДЛИВОСТИ И ЗНАНИИ

Был светлый день; Ширин про мудрость, про дела
Правления с царем беседу повела:

«О царь, есть мудрецы, по их направься следу!
О справедливости давай вести беседу.

Стремился долго ты мечты осуществлять,
Ты чаянья свои осуществишь опять.

Ты милостиво дал цвести твоим пределам,
Но их не погуби несправедливым делом.

Страшись! Отшельники молитвословный жар
Вздымают с просьбою о ниспосланье кар.

И старой женщины молитва на рассвете
Тебя за это все в тугие схватит сети.

Без пользы закричишь, горе глаза воздев,
Когда тебя сметет их справедливый гнев.

Был древле ряд зеркал в руках владык взнесенных —
Зеркал, затмившихся от вздохов угнетенных.

Когда счастливым дням с тобой не по пути,
Удачу не во всем сумеешь ты найти.

Когда листок древес уже свисает хилый,
В нем с ветром осени бороться нету силы.

Насилий не чини, не угнетай свой край
И подданных своих приветливо ласкай.

Я в страхе: может быть, то повторится снова,
Что некий царь сказал. Его я помню слово:

«Я счастьем был храним,— оно ушло, и вот
Оковы разомкнул озлобленный народ».

Он думал, что народ был обделен вселенной.
Он думал, что владел один лишь он вселенной.

Чванливо думая, что в жизни все течет
Лишь только для него,— утратил он почет,

Другой счастливец встал — и царь, всем несший муку,
С напрасною мольбой протягивает руку,

А если б не язвил он сотней жал народ,
Его бы одного всегда желал народ.

Ты знаньем овладел и царством целым тоже,
Ты с черным волосом, но ведь и с белым тоже.

Буть к вечности готов, дни хрупки и легки...
Недолог твой привал — увязывай тюки.

Ты злато с серебром сольешь в единый слиток,
Но Судный день сотрет сокровищ преизбыток.

Храни тебя господь, но все же посмотри,
Что унесли с собой ушедшие цари?

Когда хранишь свой скарб, то он твой враг и мститель.
Раздашь его — и он твоих путей хранитель.

Ты летопись прочти: где Дарий, где Джемшид?
Всех солнечный огонь посменно сокрушит!

Напевов девяти внимая всем усладам,
Ты умудряй свой дух их сокровенным ладом».

ВОПРОСЫ ХОСРОВА К БУЗУРГ-УМИДУ И ЕГО ОТВЕТЫ

Когда узнал Хосров, что драгоценный друг
Желал бы, чтоб вошел он в постижений круг,

Бузург-Умида он к себе призвал,— и снова
Его душа внимать учителю готова.

«Надежда всех людей, Бузург-Умид! Меня
Ты обнадежь, явив свет мудрого огня.

Мне тайну разъясни первичного движенья.
Для нас его закон — начало постиженья».

ПЕРВОНАЧАЛЬНОЕ ДВИЖЕНИЕ

«Первоначальный свет,— тот вымолвил,— таим.
Во тьме пред первою завесой мы стоим.

От позже созданных свет скрыт первоначальный.
Первоначальное таит Первоначальный».

КАКОВО НЕБО

Миродержавный царь спросил его опять:
«Две разновидности желал бы я познать.

Свод неба разъясни; внутри его — природа,
Всю тварь создавшая, а что ж — вне небосвода?»

И тонкомыслящий проговорил в ответ:
«Так высоко взлетать, о царь, не надо, нет!

То, что вне купола, доступно только богу.
Ты ж, смертный, позабудь к безвестному дорогу.

Все то, что в сем шатре,— для смертных рождено.
Земное! Лишь его нам постигать дано.

Об образах всего, что недоступно глазу,
И мыслить дерзостно не следует ни разу.

Пусть шепчут мудрецы, свои толкуя сны,
О всем таинственном — их доводы темны.

Свод неба — словно маг: своим волшебным словом
Для нас все тайное задернул он покровом».

ТЕЛА ЗВЕЗД

Царь молвил: «Оседлав животных неземных,
Несется звездный строй — поведай мне о них.

Я каждую звезду считаю миром цельным
С землею собственной и с воздухом отдельным»

Ответ: «Так мыслили мыслители земли,
Но достоверным все ж мы это не сочли.

Проверены тела и звезды в их просторе —
Мудрей тебя итог письмен обсерваторий».

НАЧАЛО ЖИЗНИ И ЗАГРОБНАЯ ЖИЗНЬ

Спросил он: «Для чего возникли мы из тьмы,
Откуда мы пришли, куда умчимся мы?»

«От века тайна, царь, все что покрывала,
И ты предвечного не трогай покрывала.

От стана первого наш путь уже далек,
Как мы укажем стан, не ведая дорог?

Когда покинешь всех, столь обреченных бедам,
Тебе и твой состав и путь твой будет ведом».

УХОД ИЗ МИРА

«Ты жемчуг,— молвил царь,— ты царств моих краса.
Ты море — и стремишь ты мыслей паруса.

Скорблю: уснувшие, покинув область бдений,
Нам не поведали о тайне сновидений».

И молвил мудрости запечатленной страж:
«Тот по́лноценный мир действителен, как наш».

Тех звуков не вместить земным твоим бербетам.
Их несозвучен строй с твоим подлунным светом.

Чтоб оживить огонь,— его дыханьем тронь,
Но, в воду погрузив, погасишь ты огонь».

О ВЕЧНОСТИ ДУШИ

Умело заданный вопрос и сложный снова
Услышал мудрый муж от светлого Хосрова:

«Коль мир, как нашу плоть, и душу взять готов,
Что ж с нами борется он в тьме тревожных снов?

И коль от наших тел отъял все души кто-то,
То где ж они, скажи, ведь им не стало света?»

«О царь,— ответил тот,— для глаза есть предел,—
Нам души не видны вне полновесных тел.

О душах вне телес оставим размышленья,
Нельзя без циркуля определить движенья.

Вне циркуля телес душа людей вольна:
Движенье циркуля небесного она».

О СОЗЕРЦАНИИ ТЕЛ ВО СНЕ

Царь молвил: «Коль душа действительна и тело
Ее обличием изменчивым одело,

То что за облики нам видятся во сне?
Кто сберегает их, кто движет в тишине?»

Сказал Бузург-Умид: «Свидетельств есть немало,
Что помним смертных мы, которых уж не стало.

И так как памятью ты покупаешь сон,
То души канувших к тебе приводит он».

ВОСПОМИНАНИЕ ПОСЛЕ СМЕРТИ О ЖИЗНЕННОМ ПУТИ

Царь вымолвил: «Скажи, я, не причастный к жизни,
За гробом вспомню ли о канувшей отчизне?»

Премудро прозвучал наставника ответ:
«О ты, что льешь на мир свой величавый свет,

Ты тот, кто перед тем, как снизойти к народам,
Как светоч проходил высоким небосводом.

Но если спросим мы про лик небесный, ты
Не вспомнишь ни одной благой его черты.

Страшусь, что в некий день, уйдя в иные дали,
Забудешь ты черты сей области печали.

Забывший, как текла над ним былая ночь,
Не вспомнит, какова земная злая ночь».

КАКОВЫ ЗЕМЛЯ И ВОЗДУХ

Царь молвил: «Для земли небес коловращенье,
Как и для воздуха, имеет ли значенье?»

«Спроси о мудрости, чей вековечен свет.
Что воздух? Что земля?— услышал он ответ.—

Ведь воздух зыблется от вздоха и от взмаха.
Земля, о царь,— земля: она не стоит праха.

Вселенной первый плод была земля. Внемли:
Род человеческий — последний плод земли».

О СОХРАНЕНИИ ЗДОРОВЬЯ ПРИ ПОМОЩИ РАВНОВЕСИЯ

Царь молвил: «О мудрец, науку врачеванья
Мне разъясни, яви ее истолкованья».

«Проникновенный царь,— был отклик мудреца,—
В себе вместивший мир без края и конца!

Наукой этой, царь, одна хранима тайна.
Велением небес нам эта зрима тайна.

На пользу должно нам вкушать любую снедь,
Но меру должную нам следует иметь.

Посту и пиршеству назначена преграда.
Знай равномерность ты, и большего не надо.

Читал я некогда рассказ, не помню чей:
Дошли два спутника до сладостных ключей.

Один почти не пил: ведь влага гложет жизни.
Всечасно пил другой: ведь влага множит жизни.

Без соразмерности, всем людям дорогой,—
От жажды умер тот, от жадности — другой».

КАК ДУША ВЫХОДИТ ИЗ ТЕЛА

Сказал он: «Разъясни, каким путем безвестным
Взлетают души ввысь к пределам бестелесным?»

Ответил тот: «О том, чего не зрел, молчу.
И лишь о слышанном поведать я хочу.

Четыре, слышал я, премудрые мобеда
Сошлись, и потекла их жаркая беседа.

Все спорили о том, как в скорбный час конца
Уносится душа из тела мудреца.

УПОДОБЛЕНИЕ ПЕРВОГО МОБЕДА

Один сказал: «Сей миг не омут ли бездонный,
В котором спящий дух во мрак затянут сонный?

Все хочет вынырнуть уснувший человек
Из мглы мучительной, но все не вскинет век.

Когда же тяжкий мрак он разомкнет, натужась,
Он вспоминает сон, как вспоминают ужас».

УПОДОБЛЕНИЕ ВТОРОГО МОБЕДА

Второй мобед сказал: «Час смертный — как дворец,
Который до небес наш выстроил творец,

Но падает с него рожденный в темном прахе,
И за зубец стены хватается он в страхе.

Превозмогая боль изнеможденных рук,
Он ждет падения, он ждет безмерных мук.

Хотя вся мощь его пропасть уже готова,
Все ж руки вкруг зубца он напрягает снова.

Но силы больше нет, все близится конец.
И с ним летит во мглу расшатанный зубец».

УПОДОБЛЕНИЕ ТРЕТЬЕГО МОБЕДА

И третий говорит: «Так смерть представить надо:
Пастух в предел волков свое направил стадо.

И волк схватил овцу,— и, напрягая дух,
Со зверем борется из-за овцы пастух,

И тянет он овцу, и тянет все без толка,
И тянет волк овцу, и крепки зубы волка.

Волк ловче пастуха, его хитрей,— и вот
Пастух в отчаянье свои одежды рвет».

УПОДОБЛЕНИЕ ЧЕТВЕРТОГО МОБЕДА

Четвертый говорит: «Скажу о часе мрачном.
Я вижу: человек простерт на ложе брачном.

Он к милой льнет жене, но с ней не сладкий сон,
А жар безумия — и с ней в боренье он.

Как позабыть ее?— Она его услада.
Как укротить ее?— С безумством нету слада.

Но вот в неистовстве она уж такова,
Что он бежит, как лань от яростного льва».

Вот так плели они снов темных вереницы,
Прочтя обрывки слов, не ведая страницы.

И каждый в смертный час был ужасом объят:
Казался им иным окровавленный нат.

Вы сказов множеству про смертный час не верьте,
О люди! Смертный час узнается при смерти

И лишь пророков ряд, тот посетивших свет,
На скорбный наш вопрос сумел бы дать ответ».

О НАЗНАЧЕНИИ ПРОРОКА

И царь спросил о том, кто — послан светлым роком —
Возвышеннейшим стал и славимым пророком:

«Кто он, сей человек, что меж арабов чтим?
И, веруя, как встарь, чем связаны мы с ним?»

И прозвучал ответ: «Вне облачного крова,
Вне дней и вне ночей его благое слово.

Под куполом небес мир порождает нас.
Вне купола звучит его призывный глас.

Про звезды он молчит, про небо не вещает:
Он ученик того, чья длань их созидает.

Свод девяти небес он перешел,— и я
Молчу о нем: ведь мне безвестны те края.

Восторг арабов, царь, измерь ты верной мерой:
Ведь в вере — истина; шутить не надо с верой

И вот от пламени правдивых этих слов,
Как мясо над костром, закорчился Хосров.

Но так как верный путь Хосрову был неведом,
Не для него был глас, подъятый Мохаммедом.

Услышала Ширин, что дружески мудрец
Открыл царю царей познания ларец.

И, восхвалив его и вознеся высоко,
Сказала: «Наших дней всевидящее око!

Отдав царю весь клад роскошных недр земли,
Мне драгоценностей хоть горстку удели.

Ключ, чтоб расторгнуть плен тяжелых уз, найди мне.
Нам о Калиле ты напомни и о Димне».

СОРОК ПРИТЧ ИЗ «КАЛИЛЫ И ДИМНЫ» С ВЫСКАЗЫВАНИЕМ СОРОКА ТОНКИХ МЫСЛЕЙ

Как роза пышная, расцвел Бузург-Умид,
Что много знания и мудрости хранит.

И начал сорок притч рассказывать, и снова
Он мысли тонкие в свое влагает слово.

Сказал он: «Лишь себя ты бойся — не других.
Шатраба бык в когтях не вражеских затих.

Кинь страсть. Будь без нее — и будешь без изъяна
Зажатая в тиски, погибла обезьяна.

Остерегайся — мир введет тебя в обман.
Лисица, снедь ища, прогрызла барабан.

Ты не горюй, не будь ты скупостью объятым
Святошей — он весь век скитался за халатом.

Ты договоры чти, чти дружеский приют.
Иль воздадут тебе, как змеям воздают.

Коварный встретит смерть, всю выпив скорбь до капли.
Клешнею острой рак сжал горло лживой цапли.

Не лихоимствуй, нет! Ведь лиходея-льва
В колодезь кролик вверг, хоть видим был едва.

Как будто мертвым став, ты избежишь невзгоды.
Ведь рыба, сделав так, в свои вернулась воды.

Волк, ворон и шакал, одну составя власть,
Верблюда бедного послали тигру в пасть.

Преодолей врага, с ним в хитрости поспоря,—
Ведь птица Титави перехитрила море.

Про черепаху сказ, про уток и про жердь:
Раскрыв болтливый рот, порой встречают смерть.

Доверчивость отбрось, хоть дух твой к ней стремится,—
Меж обезьяньих лап доверчивая птица.

Чужого не стяжай, ведь даже простеца
Не обмануть: прочти про алчного купца.

Путь хитрый хитрецу не открывай ты в ласке —
Лягушка, мстя змее, сама попалась ласке.

Ты хитрости оставь, не слушай хитреца —
Не съела меди мышь, гриф не унес юнца.

Условным знаком плащ лишь дурни отмечали.
Свой злополучный плащ художник сжег в печали.

Составит знающий настой целебных трав.
Невежу отстрани, страшись его отрав.

Разумный разорвет суровых дней обузы,
Как умный вяхирь смог сетей расторгнуть узы.

Чти верность. Посмотри: мышь перегрызла сеть.
Ей ворон помогал. Так можно все суметь!

За все, что взял, плати с лихвою и проворно.
Мышь золото дала отшельнику за зерна.

Самоуверенным не будь. Прочти главу.
Где волк убит стрелой: схватил он тетиву.

Ты жадность подави, она тебя изгложет,
С разумным вороном сова дружить не может.

И малого врага выслеживай следы:
И заяц смог слонов оставить без воды.

И жадность и обман — опасная дорожка.
Две трети сожрала, став их судьею, кошка.

Страшись! Обманщикам дар живописцев дан.
От этих кошек псом покажется баран.

Приязнь ценнее ссор. Склонилась от испуга,
Забыв свой гнев, жена в объятия супруга.

Ты цел: твои враги враждуют меж собой.
Отшельник был спасен: джин с вором вышли в бой.

Не застилай свой взор мечтаний пеленою.
Доверчивый столяр обманут был женою.

К злодею не стремись, коль сам ты не злодей.
Мышь стала девушкой, но мышь ей всех милей.

Стремись в обратный путь, мирские бросив страхи.
Ведь обезьяна так спаслась от черепахи.

Беспечным ты не будь в земном своем пути.
Ослу от злой лисы спасенья не найти.

Неведомый доход считать нельзя доходом.
Мечтающий бедняк разбил кувшинчик с медом.

Тому неверному не следуй, чья рука
Убила кроткого и верного зверька.

Казнить не торопись, внимай мольбам с уступкой.
Убийца-голубок заплакал над голубкой.

Ты с осторожностью беги земной страды,
Мышь с осмотрительностью вышла из беды.

Ты в выси возлети из темного удела,
Как птица Кубарре за облако взлетела.

Являя истину, избегнешь ты меча.
Лев зверя честного не тронул сгоряча.

Не устрашась врага, свершай добро, читая:
Того, кто спас змею, змея спасает злая.

Судьба берет в расчет людей различный сан.
Сын царский, сын купца — удел им разный дан.

Не заостряй когтей: смерть воздает сторицей.
Убили львят, смеясь над их вскормившей львицей».

И мастер слов явить сей дивный клад был рад.
Стал дух царя ларцом, хранящим этот клад.

И вот под веяньем возвышенного слова.
От дел неправедных прочь повлекло Хосрова.

И справедливости, что некогда спала,
Основа крепкая заложена была.

МУДРОСТЬ И НАСТАВЛЕНИЯ НИЗАМИ

О сердце мудрости, зажги свечу познанья
И поклонись огню — началу мирозданья.

Ты просвети свой дух моей души огнем:
Мой дух — в душе огня, я — пребываю в нем.

Хоть я и немощен, в михрабе мира кроясь,
Но сотню мудрецов я все ж заткну за пояс.

Есть у меня слова всей мудрости земной,—
Я открываю их склоненным предо мной.

Постигнут мной весь круг крутящейся вселенной,
Вся сущность бытия, все тайны жизни тленной.

Все начертанье звезд, всю мысль небесных книг
Я астролябией премудрости достиг.

Меня о тайнах звезд кто спрашивал напрасно?
Все разъяснял я, все, все становилось ясно.

Взгляни на небосвод, он предо мной возник —
Сей полный звездами, сей вековой цветник,

Познаньем цветника я наполняю души,
Я разъясняю всем,— всем, кто имеет уши,

Первоначальное движенье точки той,
Что стала не одной впоследствии чертой.

Когда с чертой черта соединилась — ведом
Мне их предвечный путь,— возникла плоскость следом.
Прошли три линии вкруг центра — я ль не прав? —
И плоскость расцвела, объемным телом став.

Черта — и плоскость вслед; затем тела вставали:
Три измерения тела образовали.

Весь мир я разъяснил в его устройстве: он
С начала до конца размерно сотворен.

Так мысль моя умом сей путь предназначала,
Чтоб был постигнут мир и все его начала.

Предела в мире нет лишь только для творца,
Нет бытию творца начала и конца.

Познай творца. Поверь: в огне такого знанья
Прозрачней кажется завеса мирозданья.

Самопознанья путь: создателя любя,
В стремлении к нему познаешь сам себя.

Так близко зеркало, а небосвод далеко.
Забудь о нем, вперяй лишь в отраженье око.

Подсвечник — небосвод, а ты свеча, ты свет.
Но мира два в тебе. Послушай мой совет:

Скрой тайны. Низами. Сейчас твое призванье —
Вести по-прежнему свое повествованье.

ОПИСАНИЕ ШИРУЙЕ И КОНЦА ЦАРСТВОВАНИЯ ХОСРОВА

Хосров премудрости достигнул высоты,
И наглухо забил он лавку суеты.

Был у Хосрова сын от Мариам. С пеленок
Дыша, он дурно пах. Казалось — это львенок.

Он звался Шируйе. Знал я и ведал свет,
Что он, когда ему лишь девять было лет,

Промолвил про Ширин во дни отцовской свадьбы:
«Ширин под пару мне! Вот мне кого поймать бы!»

О вере ли его поведать, о любви,
Про знанье иль про злость, горящую в крови?

Весь наполнял дворец он мрачным дымным смрадом.
И на него Хосров взирал суровым взглядом.

И так сказал Хосров: «Мудрец Бузург-Умид!
От сына этого душа моя скорбит.

Он отвратителен, а в некие минуты
И страшен. От него в грядущем жду я смуты.

Злокознен он, как волк, что рыщет, что не сыт:
Он и для матери опасности таит.

Хорошего не ждать от тех, кто полон скверны.
Все в пепел обратит огонь такой неверный.

Кого бы речью он сумел к себе привлечь?
Ему лишь самому его приятна речь.

Нет фарра, сана в нем. В нем только смрад пожара.
Он на фарсанг бежит от сана и от фарра.

Он дым, всклубившийся из моего огня.
И, мною порожден, бежит он от меня.

Я голову в венце вознес над целым светом,
Но, коль наследник он,— какая польза в этом?

Не любит он Ширин, сестер не любит он.
И, глядя на меня, он злобой омрачен.

Что красота ему! Он — что осел: закрыто
Ослу прекрасное. Ему милей корыто.

Змееныш мной рожден, так, стало быть, и я,—
Наверно, думает мой «славный» сын — змея.

Чтоб сделаться плодом, цветок возник не каждый.
И сладость сахара сокрыл тростник не каждый.

В былом отцеубийц немало я найду.
Железо — из руды и все же бьет руду.

И множество чужих с врожденным чувством чести
Нам ближе, чем родня, исполненная лести».

«О прозорливый шах! — сказал Бузург-Умид.—
Твой ум — познать и свет и тьму тебя стремит.

Пускай твоя душа в нем злое примечала.
Но сущности твоей в нем кроются начала.

Ты с сыном не враждуй, на нем твоя печать,
От кровной связи кровь не надо отлучать.

Никто не станет, шах, бить деревцо граната,—
В венце своих плодов горит оно богато.

А тута деревцо и треплют и трясут,—
Ведь головою вниз детей повесил тут.

Ты благ — и сын твой благ. Ведь слепок самый точный.
Сажаемый чеснок — и взросший плод чесночный.

Когда кроят парчу, владыка, то к чему
Обрезки отвергать? — Берут их на кайму.

Пускай строптив твой сын, забудь свои невзгоды.
Строптивость не страшна — ее смиряют годы.

Он юн. Но буйных дней промчится череда,—
От буйства в старости не станет и следа».

ХОСРОВ УЕДИНЯЕТСЯ В ХРАМ ОГНЯ. ШИРУЙЕ ЗАКЛЮЧАЕТ ЕГО В ТЕМНИЦУ

Решает царь Хосров, уже усталый телом,
Что должен храм огня быть царственным пределом,

Что суеты мирской забыть он должен след
И лишь огню служить, как праведный мобед.

И в храм ушел Хосров, земному чуждый долу.
И прыгнул Шируйе, как лев, к его престолу.

Ликует львенок, пьет,— сильна его рука.
Но все ж за шахом он следит исподтишка.

И вот отвергшему житейские обузы
Он мрак темничный дал, дал не свободу — узы.

Он злобствовал: блестел зубов его оскал.
И лишь одну Ширин к царю он допускал.

Но говорил Хосров: «Я пью живую воду:
С Ширин и в сотнях уз я чувствую свободу!»

И молвил царь Луне, ему подавшей пить:
«Ты не грусти, Ширин, так может с каждым быть.

Но грянувших ветров нежданные оравы
Терзают кипарис, им незаметны травы.

Стрела, возжаждавши желанного достичь,
Всегда охотится на избранную дичь.

Землетрясение раскалывает горы,—
Возвышенным страшны созвездий приговоры.

Пусть счастья больше нет, твое участье — есть.
Но если ты со мной, то, значит, счастье — есть».

И сладкоустая чело к нему склоняла,
И от чела его печали отгоняла:

«Текут дни радости, дни плача — чередой,
За неудачею удача — чередой.

Коль рок смешает все в неистовстве упорном,
Погибнет тот, кто все увидит в свете черном.

Ты цепи мыслей злых из разума гони,—
С цепями на ногах свои проводишь дни.

Чтоб рок свой победить, в тебе не хватит силы,—
Но многие спаслись и на краю могилы.

Не всех здоровых, ведь, минует страшный жар,
Не каждый жар больных — погибельный пожар.

Порою думаешь: замок ты видишь сложный,—
Глядь, это не замок; ты видишь ключ надежный.

Очисть премудрый дух, забудь свою тоску.
Ведь к горю горе льнет, как влага льнет к песку.

Кто трон твой захватил? Ведь это лишь Муканна,—
Он сотворит луну для вящего обмана.

Но с этакой луной мир все же будет мглист:
Его не озарит железа круглый лист.

В стране, где черный дух во все проникнул тьмою,
Снежинки черными покажутся зимою.

Бесчинствам не дивись, будь стойким до конца,—
Встречай насмешкою деяния глупца.

Бесстыдны наши дни, им в совести — нет нужды.
Чуждайся этих дней, они величью чужды.

К кому по совести относится наш свет?
К тому, что не рожден и в ком уж жизни нет.

Кто на века войдет в непрочную обитель?
Так не грусти, что в ней и ты не вечный житель.

Когда бы мир забыл про смену дней, про тлен,—
То не было бы, верь, и в царствах перемен.

Хосрову небеса, крутясь все снова, снова,
Трон царский отдали, забыв про Кей-Хосрова.

И розовый цветок, украсивший цветник,
Блеснул слезой росы, но тотчас же поник.

Утративши блага, что ценит наше племя,
Вздохни и вымолви: «С меня свалилось бремя».

Пусть ценится людьми все, что имеешь ты,
Пускай твой скарб возьмут, но уцелеешь ты!

Влекомый к радости, ты с лютней схож. Невольно
Вскричишь: когда колки подкручивают — больно.

Как сладко не иметь заботы никакой!
Из всех мирских услад всех сладостней покой.

Дремли, коль у тебя вода с краюхой хлеба.
Беспечность — вот страна под ясным светом неба.

Ты голову держи поднятою всегда.
О ней заботиться — тяжелая беда!

Пусть в крепких узах ты, пусть ты в кругу ограды,
Ведь крепко берегут сокровища и клады.

Ты не считай, что ты низвергнут с высоты.
Два мира — два твоих везира. Ты есть ты.

Ты — сердце мира, царь! Для плеч твоих — порфира.
И снова ты в игре свой вырвешь мяч у мира.

Ты избран меж людьми! Творец, тебя любя,
Весь мир сверкающий раскинул для тебя.

Будь радостен! Забудь тоску земного дола!
Что этот плен венца! Что этот плен престола!

Для царства сделай ты, печали отстраня,
Престолом — целый мир, венцом — светило дня».

И царь внимал Ширин. И каждое реченье
Одушевляло дней поспешное теченье.

И, чтобы скорбь царя утешить, превозмочь,
Не раз Ширин с царем всю коротала ночь.

Полуночь, скрыв луну, как будто гуль двурогий,
Сбивает небеса с назначенной дороги.

Бессильны времена, хоть мощь у них и есть.
И слепы небеса, хоть звездных глаз не счесть.

Ширин стопы царя в цепях червонных, пени
Сдержав, взяла к себе на белые колени.

И сладостный кумир с цепями черных кос
На золотую цепь ронял алмазы слез.

Прекрасная стопы, натертые до крови,
Ласкала и, склонясь, к ним прижимала брови.

Журчала речь ее, как струй чуть слышных звон:
Под звуки нежных слов нисходит сладкий сон.

И в слух царя лила, лила она усладу.
Слова царя в ответ к ее склонялись ладу.

Когда уснул Хосров, когда умолкнул он,
Передался Ширин его спокойный сон.

Спит нежная чета, а звездные узоры
Свои бесстыдные на них бросают взоры.

Хотела крикнуть ночь: «Злодейство у ворот!»,
Но мгла гвоздями звезд ее забила рот.

И бес сквозь роузан, взор устремивши книзу,
Уже пускается к Сладчайшей и к Парвизу.

Он беспощадностью похож на мясника.
Рот — пламень, а усы — два черные клинка.

Как вор укрытый клад, глядя суворо, ищет,—
Так ложе царское, так он Хосрова ищет.

Нашел... и пересек он тяжестью меча
Хосрова печень... Так! Погашена свеча!

И крови под мечом взметнулся ток летучий,
Как пурпур молнии бросается из тучи.

И, разлучив чету, сей бес, удачей пьян,
Как сумрачный орел, взметнулся роузан.

И царь, в блаженном сне погубленный навеки,
Все ж приоткрыл уста и чуть приподнял веки.

Весь кровью он залит... Глядит он, чуть дыша...
Смертельной жаждою горит его душа.

Подумал царь: «Ширин — жемчужину жемчужин —
Я пробужу, скажу: глоток воды мне нужен».

Но тут же вспомнил тот, чей взор покрыла мгла.
Что множество ночей царица не спала.

«Когда она поймет, к какой пришел я грани,—
Ей будет не до сна среди ее стенаний.

Нет, пусть молчат уста, пусть дышит тишина.
Пусть тихо я умру, пусть тихо спит она».

Так умер царь Хосров, ничем не потревожа
Ширин, уснувшую у горестного ложа.

ПРИТЧА

Вот видишь ты цветник в благом сиянье дня,
Под солнцем дышит он, прохожего маня.

И вдруг угрюмый гром обрушен бурной тучей,
И кровь струит рейхан под молнией летучей.

Опустошился сад, проснулся садовод.
Все розы поломал поток бурлящих вод!

Заплачет садовод, и литься станут слезы:
Течь розовой воде, когда не стало розы.

ПРОБУЖДЕНИЕ ШИРИН

Кровавый ток лился, все расширялся он...
Нарциссы глаз Ширин свой позабыли сон.

Порой, в былых ночах, о горестях не зная,
Она бросала сон при сладких звуках ная.

А ныне — не гляди, иль сердце заболит! —
Кровь жаркая царя проснуться ей велит.

Как птица, вскинулась от хлынувшего света.
Ее ужасный сон ей предвещал все это.

И сорвана Ширин с Хосрова пелена,—
И видит кровь она, и вскрикнула она.

Увидела не сад, не светлое созданье:
Встречает взор ее разрушенное зданье.

Престол, что без венца, ее увидел взор,
Светильник брошенный: все масло выкрал вор.

Разграблена казна, ларец лежит разъятый,
Войска ушли. Где вождь? Сокрылся их вожатый!

И мраком слов своих Ширин чернила ночь
И плакала; затем пошла неспешно прочь.

И с розовой водой вернулась к изголовью,
Чтобы омыть царя, обрызганного кровью.

Льет амбру с мускусом — и крови больше нет.
И тело царское сверкает, словно свет.

И тот последний пир, что делают для властных,
Устроила Ширин движеньем рук прекрасных.

И, ароматами овеявши царя,
На нем простерла ткань алее, чем заря.

Усопшего царя как будто теша взоры,
Надела и сама роскошные уборы.

ШИРУЙЕ СВАТАЕТСЯ ЗА ШИРИН

Для сердца Шируйе Ширин была нужна,
И тайну важную да ведает она.

И молвил ей гонец, его наказу вторя:
«С неделю ты влачи гнет выпавшего горя.

Недельный срок пройдет — покинув мрак и тишь,
Ты двухнедельною луной мне заблестишь.

Луна! В твоей руке над миром будет сила.
Все дам, о чем бы ты меня ни попросила.

Тебя, сокровище, одену я в лучи,
От всех сокровищниц вручу тебе ключи».

Ширин, услышав речь, звучащую так смело,
Вся стала, словно нож, вся, как вино, вскипела.

И молвила гонцу, потупясь: «Выждем срок!»
Так лжи удачливой раскинула силок.

И скоро Шируйе такой внимает вести:
«Когда желаешь ты царить со мною вместе,

Ты соверши все то, что я тебе скажу.
Я благосклонностью твоею дорожу.

Уже немало дней я чувствую всей кровью,
Что я полна к тебе растущею любовью.

И если в дружбе я, как ведаешь, крепка,—
Все для меня свершить должна твоя рука.

В своих желаниях я так необычайна,—
Но есть в них, Шируйе, мне сладостная тайна.

В тот час, когда с тобой соединимся мы,
Я все тебе скажу среди полночной тьмы.

Прошу: ты пышный свод дворцового айвана
Снеси, хотя достиг он яркого Кейвана.

И дальше: повели, чтоб выкинули вон
Из царского дворца Хосрова древний трон.

Чтоб след могущества разрушили, чтоб рьяно
Взыграл огонь и сжег весь пурпур шадурвана.

Джемшида чашу, царь, вели сломать, что к ней
Не мог нас привлекать узор ее камней:

И коль Парвиза власть уже не ширит крылья,
Пускай Шебдизу, царь, подрежут сухожилья.

Когда исполнят все, исполнят все подряд,—
Пусть погребения свершается обряд.

Дай шахматы царя из яхонтов на зелье
Целебное — сердцам подаришь ты веселье.

Пусть голубой поднос разломят,— бирюза
Пусть в перстнях и серьгах всем радует глаза.

Не слушай, как Хосров, ты без конца Барбеда,
Навеки изгони ты из дворца Барбеда.

Когда моих забот исчезнет череда,
Служением тебе так буду я горда!

И я склонюсь к тебе той сладкою порою
И тайну замыслов, как молвила, открою».

И серце Шируйе отрадою полно,
По слову Шируйе все было свершено.

Все замыслы Ширин свершились друг за другом:
Все сделал Шируйе, чтоб стать ее супругом.

«Твой выполнен приказ»,— услышала она.
И пылом радостным прекрасная полна.

Все из вещей царя, все из одежд царевых,—
От обветшалых риз и до нарядов новых,—

Все нищим раздавать велит она скорей.
Все на помин души — души царя царей.

СМЕРТЬ ШИРИН В УСЫПАЛЬНИЦЕ ХОСРОВА

Заря меж облаков встает не в зыби ль сладкой?
Но сладкий день, взойдя, принес погибель Сладкой.

Хабешский негр, во тьме несущий камфору,
Рассыпал тюк — и луч прошел по серебру.

Из крепости смотрел на месяц чернокожий —
И вдруг оскалил рот, смеясь, как день пригожий.

Вот кеянидские носилки, лишь заря
Блеснула, сделала царица для царя.

Носилки в золоте; в кемарское алоэ
Рубины вправлены, напомнивши былое.

И царь, как повелел времен древнейших чин,
На ложе смертное положен был Ширин.

В назначенный покой, Ширин услышав слово,
На царственных плечах цари внесли Хосрова.

И там пред мраморным бесчувственным лицом
Носилки обвили торжественным кольцом.

И каждый палец стал у бедного Барбеда
Калам расщепленный. Весь мир был полон бреда.

На этот хмурый мир взирал Бузург-Умид.
Он, миру верящий, от мира ждал обид.

Стенал он: «Небеса да внемлют укоризне:
Лишился жизни шах — и нас лишил он жизни.

Где всех народов щит? Где слава всех царей?
Где стяг и острый меч, то всех мечей острей?

Где тот, чья на миры легла победно риза?
Где скрылся наш Кисра? Где нам сыскать Парвиза?

Коль к переезду ты далекому готов,
Равно, Джемшид ли ты, Кисра, иль ты — Хосров!»

Прислужниц и рабов понура вереница.
Средь них, как кипарис, идет Ширин-царица.

В кольце ее серег сокровища морей,
На плечи за кольцом легло кольцо кудрей.

Насурьмленных бровей растянутые луки,
Хной, как пред свадьбою, окрашенные руки.

И золотой покров течет с ее чела,
И ткань Зухре огнем вдоль стана потекла.

Кто мог бы смертные так провожать носилки?
Прохожих опьянял и страстный взор и пылкий.

Как опьяненная, сопровождала прах,
Идя с припляскою, как будто на пирах.

Все, глядя на Ширин, решали вновь и снова:
«Не в горести она от гибели Хосрова».

И думал Шируйе, в себе таящий тьму,
Что сердце Сладостной склоняется к нему.

И всю дорогу шла с припляскою царица.
Вот купол перед ней... Вот шахская гробница.

Рабыни скорбные столпились за Ширин,
Роняя жемчуг слез на щек своих жасмин.

Внесли царя под свод. Вкруг сумрачного ложа
Встал за вельможею, безмолствуя, вельможа.

И у Ширин жрецом был препоясан стан,
И в склеп вошла Ширин — и ею знак был дан

Гробничный вход прикрыть. И вот в наряде алом
К носилкам царственным идет она с кинжалом.

И, рану обнажив носителя венца,
Прижала алый рот ко рту ее рубца.

И так же в печень, в бок царица захотела
Свой погрузить кинжал, свое пронзая тело.

И ложе царское ее покрыла кровь,
Как будто кровь царя, растекшаяся вновь.

И вот она с царем без возгласа, без речи,
Уста прижав к устам, к плечам прижавши плечи,

Но вскрикнула она, от рта отъявши рот...
И слышит за дверьми сгрудившийся народ.

Что две души слились, что в теле нету муки,
Что нет в душе тоски, что нет сердцам — разлуки.

Тебе, чьим пламенем для смертных озарен
Был этот брачный пир,— да будет сладок сон!

Пусть тот да ощутит всевышнего десницу,
Кто тихо вымолвит, прочтя сию страницу:

«Аллах, оберегай могильный этот прах!
Двух пламенных прости, о благостный аллах!»

Осанна Сладостной, осанна сладкой смерти!
О смертные, любви, все победившей, верьте!

Так умирают те, что страстно влюблены,
Так души отдавать влюбленные должны.

И женщина ли та, в которой столько воли?
Муж с женщиною схож, когда боится боли.

Порою сладостно бегущая с плеча
Скрывает тканых львов изгибами парча.

Взмыл на дорогах зла самум слепой и дикий,
Жасмин он оборвал, снес кипарис великий.

И тучи поднялись из-за морей беды,
И грозы грянули из черной их гряды.

И ветер из равнин как бы единым взмахом
Весь воздух слил в одно с взнесенным черным
прахом.

Лишь о случившемся сумели все узнать,—
Восславили Ширин. И возгласила знать:

«Прославим этот час! Земля, в просторах злачных
Невест, подобных ей, рождай для пиршеств брачных!

Мутриба в Африке, мутриба на Руси
Создать подобный пир — напрасно не проси».

...Все, положив с царем прекрасный прах царицы,
Ушли и наглухо замкнули дверь гробницы.

И размышляли все над сладостным концом.
И на гробнице так начертано резцом:

«Узнай, Ширин, чей прах взяла сия могила,
Себя своей рукой в знак верности убила».

В ОСУЖДЕНИЕ МИРА

Пусть этот хладный мир сердца людей не чтут:
Изменит каждому сей беспощадный плут.

Хоть вам свои дары и даст он многократно,
Но все обманщик злой возьмет у вас обратно.

Он сотней прелестей тебе прикажет жить,—
И мигом сам порвет поспешной жизни нить.

Покуда ты стоишь, ты — талисман. С размаха
Падешь, расколешься — и ты ничтожней праха.

Здесь, в паутине злой, в пристанище тюрьмы
Нет шеи без петли, ее узнали мы.

Как нам взлететь в петле? Кто наш предел так сузил?
Затянутой петли мы не развяжем узел.

Аркана не сорвать отчаянья сынам.
Не вырвался никто, не вырваться и нам!

В суворой области стремиться ль к переменам?
Вам лучше прахом стать, измученные пленом!

Оплачем же себя, оплачем же, а то
Над нашей участью не загрустит никто.

Все слезы лил Платон, все плакал днем и ночью,
А всю ведь истину увидел он воочью.

Спросили у него: «О чем твой плач и стон?»
«Не плачу без причин!» — ответствовал Платон.

В сем мире, хоть он весь — дворец великолепий,
Свои железные нам разомкнуть бы цепи!

Соблазны дней — враги; им не вверяйся, друг.
Они собьют с пути,— все огляди вокруг,

Чтоб с этого гумна не взять ни горсти проса.
Опасно ли оно? Не задавай вопроса!

Как на осле Иса, и ты толпу покинь.
Ты под ноги быка земное просо кинь.

Быкоподобное нам угрожает небо,—
Что ж, на спину быка сложи припасы хлеба.

Хоть ответишь ты звездой в заоблачной реке,
Но все же, друг, сидишь ты на земном быке.

О скольким, в призраки уверовать готовым,
Пустынный солончак смертельным стал покровом!

О скольким, кто упал с верблюда на песок,
Стал равен колоквинт и трав целебных сок!

Небесный свод — тюрьма; в суровых латах мрея,
Так вьется Млечный Путь — сие подобье змея.

Как тяжек рок людской: ты вырваться не смей
Из этих ярких уз,— а над тобою змей!

Сад сбросит свой покров, от холода немея,
И ты поклажу сбрось. Любить не надо змея.

Пусть нету радости в пределах пустоты,
Но благо есть и в том, что змея бросишь ты.

Зачем ты любишь то, что в горький час разлуки
Ты должен передать во вражеские руки?

Как умирает тот, кто с миром был знаком?
Иса — с достоинством, его осел — с пиком.

Не делай зла другим, ведь есть у зла сноровка
В обмене зла на зло; оно торгует ловко.

Побегов новых рост, нам видимый едва,
Дает и птицам жизнь, возносит и древа.

Движение всего, сражая дровосека,
Бьет и охотника. Так суждено от века.

Брось знамя: тесен мир под сумрачным шатром.
Поводья натяни: конь этой жизни — хром.

Не дуй в пустую глубь пленяющего ная,
Скинь путы; уходи, соблазны отвергая.

Зачем тебе страна, где душу давит страх,
Колодка шею жмет, а цепи — на ногах?

Пусть бытие течет — небытие с ним рядом,
И «есть» и «нет» прими с невозмутимым взглядом.

Где жены? Дети? Друг! Назначено судьбой,
Чтоб лишь до кладбища дошли они с тобой.

Пусть грустных спутников стенает вереница,
Лишь одного тебя твоя возьмет гробница.

И вымолвив «прости», уйдут твои друзья
По множеству путей в различные края.

Живя и в смертный час, и если все забудешь
Во сне иль во хмелю,— ты лишь с собою будешь.

От этих призраков, манящих караван,
Поводья отведи: нам свет небесный дан.

Ужель твоя душа в путях житейских рада,
Что всюду пред тобой взымается преграда?

Дыханье потому стремится к небесам,
Что грудь ему тесна,— ты это ведал сам.

Коль мощен разум твой,— взлетай в просторы неба.
Мир убивает всех, ведь смерть — его потреба.

И землю, что людей всегда ввергала в страх,
Ты по ветру пусти,— она ничтожный прах!

В НАЗИДАНИЕ

Увязывай тюки! О сердце, встань на стражу!
Уж на конях друзья, собравшие поклажу.

Пробоина в корме. Прочна ль морская гладь?
Разбушевалась ширь — выбрасывайте кладь!

Ты с бурей не борись: неодолимо горе.
Ныряй! Ведь все равно тебя поглотит море.

Людская красота, хотя бы к звездной мгле
Она возвысилась,— принадлежит земле.

Земля взвилась, как пыль, и камень скал расколот.
Уйдешь отсюда ты, хоть был когда-то молод.

Средь гулей ты пройди земной тропой. Пора! —
Стань ангелом, сойди ты с этого ковра.

Мужи, чей дух в бою не убоялся смерти,
Не умерли, сказав: «В наш вечный дух поверьте!»

Пред тем, не мучая, час гибельный встает,
Кто душу радостно до смерти отдает.

Ты не останешься в земной своей отчизне,
Ты жизнь свою прерви, коль устремился к жизни.

О сколько доблестных, железных, мощных тел
Невольно под землей свой обрели предел!

Исследуй темные подземные глубины:
Земля и сонмы тел слились в состав единый.

Джемшид и Феридун, упавшие ничком,—
В земле. О как, земля, хорош твой каждый ком!

Взгляни, земля в крови на всем своем просторе.
В нем гибла тьма сердец. О гибельное море!

Хоть с боевых слонов ты слышал барабан,
Гремящий в честь твою,— ты свой покинешь стан!

Земному — быть в земле, о доля человека!
И бытие течет в небытие от века.

Глянь, кружится весь мир в хмелю своих отрав.
И руконлещет высь, в восторге засияв.

О Низами! Молчи! Зачем смущаешь души?
Что мир увещевать: он зажимает уши.

К чему все жалобы? Зачем напрасный плач?
Гляди с улыбкою, а эти слезы спрячь!

Разрушатся дворцы, дарованные роком.
Взошедший ввысь — падет внезапно, ненароком.

Вот дерево в цвету, но рок приходит злой
К нему, увядшему, с поспешною пилой.

Весну, горящую отрадою лазури,
Размечут по ветру судьбы суровой бури.

Все нам дарует рок — все отбирает рок.
Бессовестный, даря, дарам назначил срок.

О девять синих сфер! В стекле их — злобный пламень.
В преступный этот свод скорей метнуть бы камень!

Быть может, круг времен, в себе таящий зло,
Расколет злобное лазурное стекло.

Имущество раздай, не в нем твоя свобода!
Знай, будешь скручен ты круженьем небосвода!

Скинь плоть свою, отбрось четыре вещества,
Чтоб семь небес порвать: как цепь, их синева.

Что камень с глиною в сей горестной долине?
В приюте бренности мы все увязли в глине.

Не строит мыслящий в пределах хрупких дней
Дом из непрочных глин и зыблемых камней.

СМЫСЛ СКАЗА О ХОСРОВЕ И ШИРИН

О ты, что мудростью сродни былому сказу,
Не думай, что сейчас ты внял пустому сказу:

Вняв сказу этому, пролей потоки слез,
Омой мою Ширин водой из горьких роз.

Она весенним днем, подобно розе милой,
Склонилась над своей безвременной могилой.

Кыпчакский мой кумир! Мой нежный хрупкий злак!
Погибла, как Ширин, и ты, моя Афак.

Прекрасен лик и стан, и разум твой был ярок!
Дербентом правящий тебя мне дал в подарок.

Ее фата была как воинский доспех,
А рукава узки. К ней не проник бы грех.

Всем недоступная и всех прекрасных строже —
Она стелила мне супружеское ложе.

По-тюркски тронулась в кочевья, словно нож
В меня вонзив, свершив не тюркский ли грабеж?

Но коль тюрчанки нет и тщетны все погони,
Над тюркорожденным, господь, простри ладони.

В НАСТАВЛЕНИЕ СЫНУ СВОЕМУ МУХАММЕДУ

Мой семилетний свет! Да будет славный сан,
В два лука вышиной тебе в грядущем дан.

Тебе я знанье дал, но был ты вскормлен богом.
Иди в его лучах по жизненным дорогам!

Ты — месяц молодой. Ты смейся веселей —
Смеялись в прошлом, сын, и мы немного дней.

Когда ж не месяцем блеснешь, луною людям,—
То меж сиянья звезд твой лик мы видеть будем.

Все страстные слова — нужны ли нам они? —
Рукою властною, о сын мой, зачеркни.

И на науке ты свое воздвигни знамя.
В науке — о мой сын! — божественное пламя.

И, прославляемый премудрыми людьми,
Будь в благоденствии, сын милый Низами!

ХОСРОВ ВИДИТ ВО СНЕ ПРОРОКА

И молвил мастер слов, уста разверзши снова.
О том, что привело к злосчастию Хосрова:

Однажды под луной в полночной тишине
Красоты Мустафы Хосров узрел во сне.

Пророк примчал коня на синие откосы
Небес. И хвост коня змеился, словно косы.

Он ласково сказал: «Совет тебе я дам:
Неверье ты оставь, приветствуя ислам».

И отвечал Хосров: «Никто не сыщет меры,
Чтоб отвратить меня от нашей древней веры».

И всадник прянул прочь; коня в просторы мча,
Парвиза плеткою ударил он сплеча.

И пробудился царь. Его взмятенный разум
Был в вихри пламени и в сумрак ввергнут разом.

Его три месяца на ложе мучил страх,
И сна в смятенье злом не ведал шаханшах.

«Встань! — молвил он Ширин в ночи, когда был мучим
Тоской и ужасом потайным и могучим.—

Пойдем к сокровищам, на них мы поглядим,
Дано им разгонять тоски суровый дым.

Переберем шелка, стоцветные каменья
И благовоний ряд и всех запястий звенья,

И бедным раздадим сокровища казны,
Чтоб стали горести от нас отстранены».

Под свод сокровищниц вошли они,— и рады
Их взоры созерцать разложенные клады.

Гляди: к мешку мешок привязан цепью. Взвесь!
С древнейших дней мешки числом взрастали здесь.

Знай, сорок у царя хранилищ; должно десять
Прибавить к каждому, их тайный клад не взвесить.

И вдоль сокровищниц Ширин с Хосровом шли,
И свой ласкали взор всей прелестью земли.

И спрашивали ключ от каждой двери тайной,
Желая обозреть весь клад необычайный.

И записи принес хранитель и ключи.
Блестели под землей сокровищниц лучи.

И к каждому замку был найден ключ, и каждый
Тайник раскрывшийся все утолил бы жажды.

И вот глядит Хосров: необычайный ключ
Сверкает золотом, как выкованный луч.

И удивлен был царь ключом, а в равной мере
И тем, что для ключа он не увидел двери.

Но молвили ему: «Здесь под землею вскрыть
Ключ сможет некий клад». И царь промолвил:
«Рыть!»

И землю соскребли с укрытого гранита.
Открылся свод, а в нем — все то, что было скрыто.

Ларец из мрамора Хосров увидеть смог.
Был тяжкий на ларце, весь в золоте, замок.

Был вскрыт ларец — и вот предстало царским взорам
То, что скрывал гранит под спудом и затвором.

Был найден талисман в сей мраморной норе:
Квадрат из золота лежал на серебре.

И вязь из серебра на золоте... Во мраке
Кто скрыл неясные таинственные знаки?

И старца привели. Он понял каждый знак.
И вновь обвил царя его смятенья мрак.

И вот как изъяснил мудрец седобородый
Непостижимых черт таинственные ходы:

«Шах древний Ардашир, великий Бабакан,
Пред кем все мощные свой преклоняли стан,

Распознавал всех звезд пути и сочетанья,
Читая в небесах судьбы предначертанья.

И выведал в ночи он у семи планет,
Что в должный срок, когда к нему придет весь свет,

В Аравии, меж вод и меж песков просторных,
Возникнет некий друг созвездий благотворных,

Красноречивый муж и верный и с душой,
Исполненной огня и храбрости большой.

И станет он властней всевластных звездных токов.
И этим явит всем, что он — печать пророков.

В свое владение народы примет он,
И над народами свой утвердит закон.

И вот с его поры тот овладеет троном,
Кто трон свой осенит им созданным законом.

Разумный, поспеши в его поверить свет.
С ним дружба — благостна, с ним ратоборство —
вред».

Когда всмотрелся царь в узоры талисмана,
Открылась у него в душе былая рана.

«Сей образ,— молвил он,— сверкающий в огне,
Есть образ всадника, мне явленный во сне».

И шаханшах горел. В крови его кипучей
Был пламень, и в мозгу огонь струился жгучий.

Спросил он у гонцов, объехавших весь свет,
Подобный человек встречался им иль нет?

Гонцы ответили, что пламенный, который
Всем души осветил и всем очистил взоры,

Есть покоряющий и пламенный пророк,
Что днесь в Каабе спит, как предназначил рок.

То — Мухаммед. Людей призвал он к новой вере,
И ключ его словес открыл мирские двери.

Казнохранилище оставил шах. Туман
Стоял в его очах, узревших талисман.

Ширин, увидевши, как был смущен владыка
От указания начертанного лика,

Сказала: «Ты, что свет на кейкобадский трон
Излил с вершин души, что славой озарен,—

Узнай: тот талисман и то изображенье
Недаром разум твой вновь привели в броженье.

Недаром с древних дней начертан был указ.
Недаром талисман сверкнул для наших глаз.

Пророк, нам явленный,— возвышенный кудесник,
И древний сказ о нем приходит к нам как вестник.

Сияет знаменье всевышнего на нем.
И вера правая пылает в нем огнем.

Поверь! Не суета подобные явленья,
От них в небрежности не ведай отдаленья.

Когда прельстится шах той верою,— в пути
Ему ни терниев, ни пыли не найти.

Карающих небес он ответит возмездья,
И счастья вечного увидит он созвездья.

И прославлять навек начнет его народ,
И царство на века его воспримет род».

И отвечал Хосров: «Твое правдиво слово
Оно как знаменье меня смущает снова.

Ведь с той поры, как бог взвил звездные рои,
В иное верили все праотцы мои.

Как брошу древний путь и свод былого храма?
Пред памятью царей я полон буду срама!

Пусть мой возжаждал дух, судьба несет запрет.
Блаженствует лишь тот, пред кем запрета нет».

Когда земные дни текли пред Мухаммедом,
Он был и западу, как и востоку, ведом.

Нам знаменья являл восторженный пророк,
Твердили знаменья, неверью вышел срок.

То месяц расщеплял он перед смертным оком,
То прятал он луну в плаще своем широком.

То камню он шептал потайные слова,
То с камнем речи вел всех праведных глава.

Он полнил ужасом всколебленные горы.
Как ветер, он взметал окрестные просторы.

Он превращал в ничто сокровища земли,
Слова из уст его сокровища несли.

Народы он поил одной своею чашей,
Он страны пробуждал под всей лазурью нашей.

Для всех составил он благой свой аромат,
Вручить охранный лист народам был он рад.

Хабешцев черный край он обратил в красивый,
И родинку навел он Персии счастливой.

Посланье негусу отправил, и вослед
Хосрову начертал посланье Мухаммед.

ПОСЛАНИЕ ПРОРОКА ХОСРОВУ

«Все создано творцом — и твердь земли и влага,
И бытие творца есть порожденье блага.

Он старше всех начал, ему начала нет,
И не найдет конца его всезнанья свет.

Его обличие не изъясняют речью:
Слова о нем спалят всю душу человечью.

Хоть праведников сонм в ад будет ввержен им,
Приказ всевышнего вовек неоспорим.

Когда б он грешников направил к райским кущам,—
Кто б не склонил чела пред мудрым и всесущим?

Его господству нет нам явственных причин —
Все даст и все возьмет. Он — вечен, он — один.

Велит — и над царем комар смертельный рока,
Велит — и муравей всевластнее пророка.

Симурга ввергнет он в смертельную тоску,
Командованье войск поручит мотыльку.

Чтоб возносить ему свое благодаренье,
Достаточно познать, что все — его творенье.

Молчи о том, что нас в его не взносит высь.
От дел, где нет его, ты тотчас отвратись!

Пусть только лишь к нему возносятся молитвы,
Ты с ним и в мирных днях, и в бурях грозной битвы.

О силе позабудь. Всесильна лишь судьба.
Прими приказ творца с покорностью раба.

Господства не узнать ему подвластным слугам.
Лишь он господствует. Весь мир — к его услугам.

Всесильный с именем Хосрова! Хоть бы ты
К ста Кей-Хосрова чаш склонял свои черты,

Все ж созданный творцом, познаешь ты кончину.
И ты, как все, падешь в смертельную пучину.

Кто знает, сколько зла и козней и сует
В себе таит сей прах, явившийся на свет?!

Когда бы взявший власть не ведал вовсе тленья,
Как страстны были бы к владычеству стремленья.

Слеп позабывший всех, лишь облик свой любя.
В том нет величия, кто видит лишь себя.

Себя со счета скинь; в пространствах мирозданья
Счесть все живущее — напрасное заданье.

Земля — пылинка, царь. Узрел бы и слепой,
Что четверть всей земли — убогий водопой.

В частицу четверти Ирак сумел вместиться.
В Ираке Медаин — ничтожная частица.

Но люден Медаин. О спящий царь царей,
Ты там в толпе людской — один лишь из людей.

Свое значение, свое число, о тленный,
Сравни, подумавши, с безмерностью вселенной!

Но мироздания таинственная сень,
Но вся вселенная пред господом — лишь тень.

Частице вещества, частице малой части
Безумно вожделеть могущества и власти.

Есть над тобой господь. Свидетельствуй о нем,
Не спрашивай, где он. Он всюду, он во всем.

Творец, весь род людской возвысивший высоко,
Дал мне среди людей величие пророка.

Не прославляй огня с язычниками в лад.
В рай шариат зовет. Оставь кромешный ад.

Павлином проходи в садах прохладных рая.
Брось пламень, мотылек,— в нем гибнешь ты, сгорая.

Дым в капищах огня. В дыму весь твой народ.
Ты, возжигающий свой пламенник,— Нимрод,

Ты в горне. Вкруг тебя в смертельном горне пламень.
Стань мусульманином! Отбрось проворней пламень!»

Пророк позвал писца. Тот подошел к нему.
Взял Мухаммед печать и приложил к письму.

И опытный гонец, явив свое пыланье,
К Парвизу поскакал, помчал ему посланье.

Лишь только внял Хосров проворному гонцу,—
Его вскипела кровь и кинулась к лицу.

Посланье он читал,— и в бешенства потопе
Пьянел всевластный царь, как бы вдыхая опий.

Поднялись волосы, стал каждый злей копья.
По жилам потекла кипящая струя.

Вмиг заголовок он письма увидел. Благу
Не внял. Так бешеный не может видеть влагу.

Прочел он в ярости безмерной: «Мухаммед —
Парвизу»,— у царя исчез рассудка след.

Он в царской гордости, ни в чем не зная страха,
Вскричал: «Кто оскорбить решился шаханшаха?!

Кто имя смел свое поставить вверх; внизу
Кто имя начертал, несущее грозу?!»

Зардел Хосровов лик, как будто пламя злое,
В пылу задумал он, и сделал он худое:

Посланье разорвал он грозное — свою
Он славу разорвал во всем своем краю.

Огонь вспугнул гонца,— и вот путем обратным
Он мчится в ужасе пред гневом необъятным.

И об огне, что в дым одел весь небосклон,
Оповестил Зарю всех озаренных он.

И Светоч, разгорясь, как жар, объявший битву,
Вознес взлетевшую, как бабочка, молитву.

И от молитвы той у персов пал Кесра.
Упал с Кесры венец. Прошла его пора.

По мановению святого шариата
Страна Кесры была смятением объята.

Решили небеса престол его подсечь:
Царевич на царя внезапно поднял меч.

Весь небосвод гремел, гремел он вновь и снова —
И рухнул наземь свод дворца царя Хосрова.

И паводок взыграл, Тигр вспенился,— и вот
Упал железный мост в пучину пенных вод.

Самума рдяного забушевала риза,
И уж Гульгуна нет, и в стойле нет Шебдиза.

И при Зикаре спесь с иранца сбил араб.
То голубь сбил орла: орел уже ослаб.

И некто пред царем в полуночь стал с клюкою
И разломил клюку могучею рукою.

И молвил он: «Всю мощь в руках своих таю,
И веру разломлю я ложную твою».

И множество чудес, с грозой небесной схожий,
В стране неправедных явил избранник божий.

Но нет, не слышали призыва! Погляди,
Не каменные ли сердца у них в груди?

Хоть благости свеча не подымает дыма,
Свеча незрячему ведь все равно незрима.

И хоть познанья свет светил им в эти дни,
Не удостоились прозрения они.

Хвала тебе, о тюрк! Ты семь племен возглавил!
От Рыбы до Луны тебя весь мир прославил.

Хвала Луне, что спит, как люди, на земле,
Но озаряет всех, томившихся во мгле!

И утром постучал пять раз он в землю. К ночи
Поставил свой престол меж звездных узорочий.

ВОЗНЕСЕНИЕ ПРОРОКА

Забыв полуночью все то, чем искони
Живет весь бренный люд, к чертогу Умм-Хани

Спустился Гавриил, оставив край счастливый:
Привел он Бурака — коня с огнистой гривой.

Был конь, что райский сад, не ведал он удил.
Он ни с каким тавром по рощам не бродил.

Не облаком был конь, все ж был светлей жемчужин,
Не ветром был, но все ж был с вешним ветром дружен.

Как море, в жемчугах сверкал его чепрак,
Но, верь, морей таких не видывал моряк.

Тяжкоподкованный, могучеспинный, скорый,
Он взором проникал в безмерные просторы.

Слуга семи шатров, миндальноглазый вмиг
Слетел с таким конем к владыке всех владык.

И возлетел пророк, что птица из Медины,
Предела всех высот достиг он в миг единый.

Пророков он хотел считать своей кыблой,
Но, саном выше всех, возглавил он их строй.

И утвердился он в своем верховном праве,
И к всемогущему полет он свой направил.

Оставил ангелов зеленоризных он
И голубой шатер: он выше вознесен.

Ладью стремления он из пучины синей
Направил к берегу — к зенита сердцевине.

И сердце он прорвал у Скорпиона. Льва
Погладил по лбу он, задев его едва.

Солому Млечный Путь постлал пред ним. Проворно
Пал Колос пред конем, ему рассыпав зерна.

Венец величья дал Меркурию пророк
И перстень солнца взял, как будто бы оброк.

Чтоб отражать в выси набег нечистой силы,
Он стрелы Близнецам и лук дал крепкожилый.

Познал он, как Юсуф, струй Водолея вкус,
И в Рыбе побыл он, как некогда Юнус.

У стремени его летящие Плеяды
Нести в его пути охрану были рады.

Под ним, раскрыв крыла, плыл Альтаир — Орел.
Отстал другой — он был, как Лира лир — Орел.

Он, чтоб не жгла очей эдемская дорога,
Взор бросил на печать: «Не отвратись от бога».

И, проскакав простор лазоревый, нашел
Для взлета Бурака за долом новый дол.

И сонмы ангелов — павлины золотые! —
Теряли, взвихрившись, крыла свои густые.

От стремени его отстал и Гавриил.
Мелькнул и Михаил. И вновь коня он взвил.

И Исрафил возник и взял его на крылья.
К рафрафу путника вознес он без усилья.

К Тубе взошел пророк и встал, как на горе,
На высшей высоте — на лотосе Сидре.

В пространствах он читал за свитком новый свиток.
И мчал его Бурак, и пламенен и прыток.

И он свернул ковры заоблачных морей,
И в высоте над ним открылся Эмпирей.

И прянул конь его из двух миров. Как знамя,
«Два лука» утвердил всех правоверных Пламя.

Предвечность отвела все ткани покрывал,
Мрак мироздание уже не покрывал.

Исчезли стороны, и признаки, и грани,
И вся пространственность укрыла лик свой в ткани.

От всех пространств пророк стоял уже вдали,
И мигом он признал, что признаки ушли.

Он слово услыхал вне голоса, вне грома,
И зримым стал господь, хоть был он вне объема.

От созерцания нездешнего в тот час
Стал сердцем взор его, зажегся в сердце глаз.

И каждым волосом он прозревал, и в пляске
Пылала плоть его — все мускулы, все связки.

И вымолвил господь: «О гость в моей выси!
Ты во дворце моем, что хочешь, попроси».

И попросил пророк не клады, не алмазы,
Но чтоб на милости он дал ему указы.

Все дал ему господь. Помиловал и тех,
Кто правоверным был, но все же впал во грех.

И, чудотворности халат приняв от бога,
Вернулся наземь он с могучим даром слога.

Стал кипарисом тот, кто розой был весной.
Взлетел он месяцем, вернулся он — луной.

Он грамоту принес, что душам всем — отрада.
Он нам принес указ, чтоб нам избегнуть ада.

К возлюбленной душе, что души нам прожгла,
Да мчится за хвалой немолчная хвала.

НАСТАВЛЕНИЕ И ЗАВЕРШЕНИЕ КНИГИ

Смотри, о Низами! Одно мое стремленье,
Чтоб дни свои ведя, постигнул ты смиренье.

Смотри: жемчужина, из капли дождевой
В глубь моря пав, царит над царской головой.

Упавшее зерно произрастет, а колос
Поникнет. Не взносись, не возвышай свой голос.

Будь снисходителен: ведь беспощаден рок.
В оковах ноги дней, все сделай в быстрый срок.

С летучим прахом ладь: ведь ветрена погода.
С недугом примирись, коль нет ему исхода.

Зачем бредем в шатре, что нам сковал ступни?
Веревку, сжавшую мне горло, растяни!

Сбрось туфли узкие, вступая в путь безвестный.
Мы можем захромать, когда нам туфли тесны.

Куда идешь — придешь. Твой неуклонен шаг.
Забудь, что видел ты сей горестный кишлак.

Ведь горести к благам спешат всего охотней.
Склоненный к лепесткам шипов ужален сотней.

Был яд и в юных днях, и горький вкус был в них.
Желчь горести текла во всех годах твоих.

И в жизни страждем мы, и мы болезням любы,
Как будто бы волкам, что в нас вонзили зубы.

И в смертный час, поняв минувшего обман,
Гурган покинувши, ты двинешься в Кирман.

Путь из Гургана, друг, в Кирман — далек. Дорога
До смерти коротка: ты близ ее порога.

Одну лишь голову имеешь ты, о тлен,—
И ту в томлении склоняешь до колен!

Угрозу палача увидев над собою,
Согнуться должен ты, смиряясь пред судьбою.

Взгляни на этот край, где бродим долго мы,—
Он — яма узников, он — горестней тюрьмы.

Когда мы в пламени сжигающего зноя,
Спасенье нам — воды струенье ледяное.

Когда ж запляшет снег, мы прячемся скорей
И в мех и в шерсть, и мы — подобие зверей.

Куда нас уведут некрепких ног усилья!
Куда нас вознесут столь немощные крылья!

И все мы зло творим, и наша жизнь — слепа.
Ох, угнетателей бессильная толпа!

Ты раздавил осу, но сам среди развалин
Змеей нежданною мучительно ужален.

Сегодня видел я — по саду я бродил:
Утенок муравью дорогу преградил.

Уже раскрыл он клюв, но миг был неудачен:
Он клювом ястреба внезапно был ухвачен.

Ты, совершивший зло, не охранен от бед:
Возмездие придет — тебе исхода нет.

Сияет небосвод — правдивое зерцало.
Все то, что ты свершил,— все в небе замерцало.

Провозглашает мир, бесчестного страша:
«Тобою лишь твоя осквернена душа».

Иль не сказал тебе дорожный страж: «Упрямо
Ты яму рыл другим — тебя поглотит яма!»

Чьи руки этот мир, как замок, возвели?
Есть праведный судья у неба и земли.

Под камнем в глуби вод, под камнем гор немало
Бесценных жемчугов и блещущего лала.

Кто исцелять слепых способен, как Иса,—
Вмиг тутию найдет, прославив небеса.

Мы слепы. Не для нас целебные составы.
Для нас побегам роз равны простые травы.

Пускай ты каменщик — строитель бытия,
Все ж, как алоэ, друг, сгорает жизнь твоя.

К тебе придет, хоть ты мудрей врача Галена,
Все та же смерть, что шла, в тьму волоча Галена.

Когда ты, встретив смерть, издашь последний стон,
Будь ты бездумный курд иль мыслящий Платон,

Припомни речь того, кто нам сказал: «Поверьте
Совету — умереть хотя бы раз до смерти».

Закрыв глаза, ты злу промолвишь: «Не пугай!» —
Освободился так от клетки попугай.

Коль с лютым волком ты, страх перед ним отбросив,
Среди земных пустынь сдружился, как Иосиф,—

То так твое ярмо прикрепит он к волу,
Что, в скорби радуясь, ты тронешься во мглу.

С тех скатертей семи ни мяса, друг, ни кости.
Без тленья ты не жди, ты ляжешь на погосте.

Зачем ты воду льешь в сосуд нечистый? Взмах
Твоей руки зачем просеивает прах?

Погибнет плоть твоя, не дли в нетленность веры.
Есть девять очагов — небес предвечных сферы.

В час должный бытия ты позабудешь кров,
И с тайны пред тобой откинется покров.

Не видя над собой крутящегося неба,
Сочтешь ненужным все, в чем виделась потреба.

Ты кладь возьми с собой, там нет лугов, строга
И безжемчужна мгла,— тут блещут жемчуга.

Жемчужницы мои, коль сможешь, перечисли.
В их мускусном нутре таится жемчуг мысли.

Пленительных стихов услышишь плавный лад.
Звучит он сладостней всех ласковых услад.

Стихи — не то что речь,— незвучный слог не нужен.
Создание стихов — сверление жемчужин.

Но ряд истертых слов — ряд крашеных старух.
Средь них ты райских птиц не сыщешь даже двух.

Прошли года, и пыль запорошила тело
Жемчужины. Оно, как видишь, пожелтело.

Хоть с новым золотом старинное равно,—
Все ж деньги Деция — ячменное зерно.

Пятьсот семьдесят шесть промчалось лет, и дивом
Возник прекрасный лик в сиянии счастливом.

Невесту выкупил для всех живущих я,
И, чтоб светлей была избранница моя,

Рассеял я свой дух с его сияньем цельным,
И каждый стих одел сиянием отдельным.

Пусть ожидают все с моей душою встреч.
Мой стих — моя душа — сумеет их привлечь.

Здесь — плоть моя, коль я — душа в обличье праха;
Когда Иосиф я, мой стих — моя рубаха.

Таким невестам, знай, не сыщется гробниц:
Уйдут из глаз, а дух наполнят до границ.

Я в тьму потайную живым проникнул светом.
Ты Хызра помянул? Он здесь, в стихе вот этом.

Внимай моим строкам, себе их вразуми:
Ведь в них заключена вся сущность Низами.

Нет! Лучезарному не скрыться под покровом,—
С напрасной тайны ткань спадает с каждым словом.

О друг стихов моих, чрез век спроси у них:
«Где Низами?» — «Он здесь»,— ответит каждый стих.

Даря вам шелк, я стал подобен шелкопрядам,
Я также на листах ряд язв черчу за рядом.

Но все же я в стихах сырой воды не пью,
И я не так, как червь, свиваю нить свою.

Я не сомкну очей, не взвесив россыпь клада,
Хоть клады мне даны и рыть мне их не надо.

Мне повседневный труд — услада из услад.
Ячменное зерно я обращаю в клад.

Взяв горсточку зерна и зерна умножая,
Явлю внимающим я мощность урожая.

Прославь того, кто, взяв лишь горстку ячменя,
Творит сокровища блистательнее дня.

ПОРИЦАНИЕ ЗАВИСТНИКОВ

Скажу завистникам: «Вы испытайте сами
Ночь с воспаленными, бессонными глазами.

Завистник, погляди: ведь рою я точь-в-точь,
Как роет рудокоп свою руду всю ночь.

Чтоб людям отыскать жемчужину жемчужин,
Сную в глубинах я, мне взор пытливый нужен.

Я весь горю в огне, я становлюсь таков,
Чтоб осветилась ночь сияньем жемчугов.

Я жемчуг шлю царю, чтоб, в скупости упорен,
Мне царский весовщик дал горсть ячменных зерен.

Ждут порицатели, чтоб выйти из засад.
Творец! Спаси от них моих речений сад.

Порой случается: ты стих незвучный сложишь.
Всегда из звучных слов творить его не можешь.

Но каждый, кто простер на знание права,
Постигнет, как мои пленительны слова.

Ты лев — так на меня не лай из-за ограды.
Поверь, лишь только псы пугать прохожих рады.

Глупцы! От вашего кичливого меча
Гасилась лишь у вас — не у меня — свеча.

Спор болтунов со мной все становился глуше.
Был длинным их язык — длиннее стали уши.

Уселись, как Иса, скрестив свои ступни.
Увязнув, как ослы,— попались мне они!

Мне страха не узнать пред тварью земнородной.
Стою в кольчуге я, с горящим солнцем сходной.

Пусть от меня звезда зажжет свой яркий свет,
Но солнцем стать, как я, никто не сможет,— нет!

Крупинку каждую, пылинку, волоконце
Могу поднять я ввысь, позолотив, как солнце.

И камень, падавший в мой звонкий стих, не раз
Граненым делался, как блещущий алмаз.

Смотри: индусский вор проник в мои угодья,
Но сам его коня повел я за поводья.

На лад настроить саз всем помогаю я,
И часто соколом зову я воробья.

Лишь твой красивый взор я созерцаю, ворон.
Порой про вора всем я говорю: «Не вор он».

И левым ухом, друг, я пью упреков яд,
А правым слушаю, как рабски мне кадят.

Готовый слушать брань и похвалы заране,—
Свой светоч берегу я в этом урагане.

В иной стране огню зажженному несут
В дар масло нужное, наполнивши сосуд.

Здесь, коль огонь живит весь край своей игрою,
К нему с холодною подходят камфорою.

И яда и сластей я принимаю дань.
И мысли тонкие мне слышатся и брань.

Я — море. Жемчугом я ваш наполнил город,
А вы мне камешки насыпали за ворот.

Но что все камешки для моря! В нем — улов
Мной добываемых прекрасных жемчугов!

Пускай от слов моих уста людские сладки,—
Горьки мои уста, вкусившие нападки.

У крупорушки вол... мы с ним в ярме одном:
Всем сыплет он зерно, прельстившийся зерном.

И схож я с молнией сверкающей, отважной,
Играющей с огнем, ныряя в буре влажной.

Что стонешь ты от змей? О сердце, ты ведь клад!
А ведь нигде от змей для клада нет оград.

Павлин проходит в рай. Но в рай вползти не смея,
Кольцом священных врат стал дьявол в виде змея.

Змей все павлину шлет. Смарагдам нет конца:
Павлин и змей вдвоем на службе у творца.

Вот помесь, погляди: тюрчанкою красивой
И негром порожден рассказ мой прихотливый.

Здесь лал алхимиков, но рядом с медью он;
Здесь драгоценности, но здесь же и дракон.

Тут жемчуг, и над ним кипучих волн громада.
И тут же на кресте стоячая лампада.

Ты жемчуг мой возьми. Что глуби темнота!
Ты светоч отдели от чуждого креста.

К огнепоклонникам тут будто бы дорога,
Но защищен мой сказ от огненного бога.

Невесте сладостной хвалу воздай и честь,
В ней и хвала творцу и о пророке весть».

ТОГРУЛ-ШАХ ТРЕБУЕТ К СЕБЕ УЧЕНОГО НИЗАМИ

В те дни, когда мой ум, колдующий и властный,
Свободен стал от чар сей повести прекрасной,

Сказали мудрые: «Ты слова властелин».
И вспомнил я слова: «Путь разума един».

Я создал паланкин. И не луны осколок,
А солнце затаил его узорный полог.

И был он с радостью большой приобретен.
И вознесен хвалой был до созвездий он.

Каким имуществом, подарками какими
Меня осыпали! Вот полюбуйтесь ими:

В кусках надушенных китайские шелка;
Не развернула их ничья еще рука,

Хуттальский плавный конь, что шествует, гарцуя:
Вся в золоте узда и царственная сбруя.

И говорили мне: «Принять ты будь готов
Пять или шесть рабынь, до десяти рабов».

Но вот случилось так, что будто бы, измучен,
Прилег мой караван, и груз был не навьючен.

Принявши мой рассказ, из горестной земли
В путь дальний тронулся,— и зерна не взошли.

Я горько сетовал: что все мы в мире значим!
Я сердце сжег свое своим горючим плачем.

Но вот вбежал гонец с письмом, и молвил он,
Склонясь: «На тридцать дней ты к шаху приглашен.

Ты свиту царскую, поехав спозаранка,
Достигнешь на краю тридцатого фарсанга.

Ты с шахом горстку дней пробудешь, он могуч,
И дни свиданья с ним — к его щедротам ключ».

Он отдал мне указ: «Вот это — твой хранитель,
Надежный талисман и мощный предводитель».

На голову свою я возложил указ.
Облобызав его, как должно, в третий раз,

Я вник в его слова. Прочтя за словом слово,
Я понял: для меня все лучшее готово.

И, полный рвения, исполненный огня,
Вскочил я, и занес я ногу на коня.

Я устремился в степь. Как будто в пляске скорой,
Я трясся на седле, порой взбираясь в горы.

Мой бег оставил бы онагров за спиной,
Не потягались бы и соколы со мной.

И я плясал в седле, плясал я без опаски.
Конь подо мной плясал, мы с ним летели в пляске.

Поклоны отбивал я, будто бы калам;
Как циркуль, отмерял дорогу по горам.

Молениям внимал на каждом я привале,
Чтоб небеса царю все блага даровали.

И я у всех ключей, где набирался сил,
Молитвы новые о шахе возносил.

И свежий ветер с гор утешным дуновеньем
Мне царской милости казался извещеньем.

И лился аромат, мне радости суля,
И свежей амброю казалась мне земля.

И вот на царский стан я взор уже подъемлю,
Вот пред ковром царя я уж целую землю.

И молвили тому, кем славен стал престол:
«К морскому берегу источник подошел».

Прислал хаджиба царь; сей утешитель горя
Нырнувшему принес жемчужину из моря.

Я к царскому столу хаджибом был ведом:
Ведом был Утарид в Луны небесный дом.

Увидел я царя, увидел — о услада! —
Джемшида трон с венцом, что помнил Кей-Кобада.

От Самаркандских стен, от мест где встал Саксин,
Пришли властители, и каждый властелин

Охотно службу нес в блестящем этом стане,
Свой совершая долг, назначенный охране.

Был царский двор открыт для грузов многих стран,
За караванами шел новый караван.

Недаром цвет шатра был с морем синим дружен:
Таил он мощь акул и красоту жемчужин.

Венец, овеявший весь Кызыл-шаха трон,
Подняв свой дивный блеск, всем бедам нес урон.

Иль в небо кравчие взлетали, набирая
В сосуды винные вино фонтанов рая?

Текло из рук царя обилие щедрот:
Тем дал он города, другим — от них доход.

Я меченосцев ряд описывать не стану.
Как тесен путь меж них был даже Кадар-хану!

И чанг рокочущий, и звучный органон
Взнесли в предел Зухре свой златострунный звон.

По струнам шелковым бьют пальцы; при их взмахе
Рвут, не жалея шелк, рабы свои рубахи.

Напевов множество, и в каждом — новый лад.
Но все лады — исток единственных услад.

«Газелью» Низами красивые газели,
Смиряя чангов стон, как птахи, зазвенели.

Вот чашу полную взял кравчий на ладонь,
Пригубил шах вина сверкающий огонь.

Когда о Низами был извещен владыка,
Еще светлей стал свет приязненного лика.

Мой сан подвижника владыкой был почтен,
Хоть не отшельника у трона встретил он.

И приказал вино убрать он из чертога
И всем встречать меня приветно у порога.

Он виночерпиям другие дал дела.
И музыкантов рать с поклонами ушла.

«Я ради Низами,— промолвил шах,— и руду,
И кубку отдых дам,— внимать стихам я буду.

Его стихи звучат отраднее, чем руд.
Его слова свой лад у музыки берут.

Ведь лучшее вино не пьют с приходом Хызра,
Что хмель, мы припадем к священным водам Хызра!»

И молвил мне Хаджиб: «О ты, чьи славны дни,—
Входи! Хоть ты один,— всем званьям ты сродни».

И я вошел к царю, дрожал я, словно ива:
Ведь лишь пылинка я, он — солнечное диво.

Я к шее голову униженно пригнул
И шею с головой к ногам царя метнул.

И небо поднялось, день обернулся сказкой.
И обнял царь меня, свой взор склоняя с лаской,—

Как будто к муравью склонился Сулейман.
И от волнения мой взор покрыл туман.

Два мира обнял я. «Садись!» — услышав это,
Я сел перед царем — перед потоком света.

Блеснул мне счастья свет, и чтоб он не потух,
Словами должными я царский нежил слух.

И речь моя могла пленить красавиц рая
И ад развеселить, меж пламени ныряя.

Я назиданья стлал, пригодные царям,
И изреченья — путь к познания дверям.

Гостинцев сладостных немало я украдкой
Раскидывал, пленясь царя улыбкой сладкой.

Я говорил,— и царь то был грустнее туч,
А то смеялся он, как в росных розах — луч.

И, говоря, внимал я царскому признанью.
Невежество, заснув, дало проснуться знанью.

Потоком слов своих я кравчих опьянил,
И песни ни одной певец не проронил.

Сказитель, появись, рассыпал жемчуг,— взоры
Узрели на коврах жемчужные узоры.

Владыка, слушая мой прихотливый сказ,
Улыбкой сладкою мне отвечал не раз.

Когда же речь моя сама столь стала сладкой,
То появиться в ней уже пристало Сладкой.

Царь тронул за плечо и глянул мне в лицо,
Вдевая в ухо мне хваления кольцо.

И он все осыпал хвалами вновь и снова
Рассказ мой про Ширин, рассказ мой про Хосрова.

И мне он говорил: «Основу мастерства
Ты сказом заложил. Прославил ты слова.

Предела не было твоим очарованьям.
Ты грудь мне оживил своим повествованьем.

Невесту ты явил, несущуюся вскачь,—
С Луною паланкин. Сказ полон был удач.

По вкусу мне Ширин. За родинку, за кудри
Как отплачу тебе? Всех жен она премудрей.

И я свой помню долг. И я, как и мой брат,
Тебя вознаградить безмерно буду рад.

Мой брат, кому весь мир был только царским станом,
Который был царем, а также пехлеваном,—

Чем он вознаградил твой многолетний труд?
Как много дал шелков и драгоценных груд?

Он оценил тебя, ко мне дошло известье:
Брат из своей казны дал два тебе поместья.

Скажи: пришли ль к тебе сей дар вручать иль нет?
Указа царского узрел печать иль нет?»

Когда увидел я, что дар свой хочет море
Метнуть в ладонь купца, его смиряя горе,

И хочет, чтоб цвела мне данная земля
И чтоб я волен стал,— словам его внемля,

Я вновь призвал к нему тебя, о милость божья,
И жемчуг раскидал у тронного подножья.

И, вознеся чреду молитвословных строк,
Поведал я царю, как мой печален рок.

Сказал: «Моя душу поднять была так рада
Поэмы царский лал. Нужна ли мне награда?

Мой сказ был для хвалы единственный предлог.
Прославить шахский трон я лучше бы не смог.

И если восхвалять мне царский трон — услада,
То о Ширин с Шекер и помнить мне не надо.

Почивший пехлеван мне дал, о шаханшах,
То, что указано сейчас в твоих словах.

Когда ж его корабль навек умчало море,
Грустил я не один: весь свет был ввергнут в горе.

Но коль такой, как ты, властитель всем нам дан
И есть царевичи для украшенья стран,—

То грудами даров, не горсточкой пылинок,
Вновь оживится, шах, мой опустевший рынок».

Приветно принял царь хваления, чей путь
Из глуби сердца шел, пыланьем полня грудь.

Царь, сердца моего услышав благовестье,
Мне дал Хамдуниян — так названо поместье.

И мне велел указ преемственный он дать,
И Кызыл-шаха дал он с грамотой печать.

Прочел я: «Полностью мы даровали это
Семейству Низами до окончанья света,

Все безвозмездно мы вручили Низами
В его владение — ему с его детьми.

А кто сомнения окутан тьмою будет,
Тому я буду враг, а бог — судьею будет.

А к тем, в чьих прозвучат неправедных речах
Упреки, пусть придет их друг единый — страх!

Пусть им гремит с выси проклятья голос громкий,
И да услышат гром их дальние потомки!»

Так надо мною кров был нужный возведен.
Сокровищницу царь открыл: украсил он

Мой дух поддержкою,— и, царственно богаты,
Сверкнули предо мной внесенные халаты.

Царь, дав мне свой указ, ко мне склонил свой взор,
Как бы навек меня включил в свой царский двор.

Счастливая звезда вела меня; нет чуда
В том, что обрел себе я славный трон Махмуда.

Каабу лицезреть я шел в далекий край,
И вот я — Мухаммед, который видел рай.

И вот услышал я завистника, с глазами
Столь вороватыми и с низкими речами.

С лицом Иосифа им порождался волк!
Как всыпать в мед стекло,— он в этом ведал толк.

Он молвил: «Низами не оценен вселенной:
Что за награда, друг, за труд его нетленный?

С Луною сколько звезд в стихах тобой дано!
Поместье получил — да скудное оно.

Поместье жалкую являет нам картину,
Едва займет оно фарсанга половину.

Земля бесприбыльна: уже ведь с давних дней
Абхазцы исполу работают на ней».

И так я отвечал завистнику: «Не думай,
Что дара не ценю, что злой хожу, угрюмый.

Скажу тебе, злодей, тебе ведь нужды нет
В развалины мои вползать как лунный свет.

Ты слушал мне хвалы? Они звучней фонтанов,
Они ценней, поверь, чем сто Хамдуниянов.

Там видишь лишь посев. Приди ко мне, сбирай
Посевы слов моих, ведь в каждом слове — рай!

В колосьях зерна там, а здесь — не на авось я
Жемчугоносные заплел свои колосья!

И если там дожди все погрузят в Евфрат.—
Здесь — ключ живой воды рождать в стихах я рад.

И если там — леса, то слушай, сердце злое:
Здесь — рощи создаю из ценного алоэ.

И благодарен я за то, что люди чтут,
Все то, что сделал я,— весь мой великий труд!

Пусть ветер кое-что там и свалил с размаха,—
Все снова возведет благоволенье шаха!

Жемчужина ценней, чем раковин харвар.
Потопы нам страшны, ручей — исполнен чар.

Великий царь сумел мое служенье взвесить:
Мне не одно хотел поместье дать, а десять.

Когда ж увидел он, как мало нужно мне,—
Поместье это счел достаточным вполне.

Дарящий радостен и одаренный весел.
Ты на злоречие замочек бы повесил».

СОЖАЛЕНИЕ ПО ПОВОДУ КОНЧИНЫ ШАМСЕДДИНА МУХАММЕДА ДЖАХАН-ПЕХЛЕВАНА

О чем я пел, куда стремил свой паланкин?
Где бросил кладь свою? В чем свет моих годин?

Всем прозвучал сигнал — и пыль вражды с размаха
Смела со света в ночь поверженного шаха.

Пять наубатов в день свой гром ему несли,
Ему был мал предел — семь поясов земли.

Все громче вкруг него был грохот барабана,
Но пробил барабан к отбытью каравана.

Все громче вкруг него был ста литавров звон,
Но сам не ведал шах, что на кочевье он.

Сад юности пред ним к плодам закрыл дорогу,—
Ключа живой воды так не испил Двурогий.

Вокруг него взыграл дней многобурных ряд.
Его заря и смерть — две молнии подряд.

Он рану получил от быстрых рук злодея.
Рази злодея, рок, о мщении радея!

Свой светоч в небеса поднять он захотел.
Существ земли и вод оставил он предел.

Хоть жизни океан стал для него не нужен,
Мы много соберем им брошенных жемчужин.

Хоть к жемчугам ушел морей верховных он,
Оставил жемчугов ряд мудрословных он.

Коль кравчим для него предстало милосердье,
Да следует ему людских сердец усердье!

Коль скрыл его плитой подлунный скорбный дол,
Да будет благо вам, всходящим на престол!

Хоть бросил он венец, но возвеличен богом,
Царь всех, что шествует по царственным дорогам.

И будь бессмертен тот, кто взял его венец,
К кому стремится жар всех праведных сердец,—

Благой Нусрет-ад-дин, что всем земным просторам
Дал указание цвести пред нашим взором!

Прибежище царей, великий атабек,
Как вечный Феридун, да славится вовек!

Как счастлив Абубекр, что Абубекру ведом!
Сияет Мухаммед свечой пред Мухаммедом.

Не от него ли ждут венчанные венца?
И слава дней его не обретет конца.

В высотах семь планет его дивятся знанью.
И девять сфер небес верны его влиянью.

На звездах утвержден его высокий трон,
К ногам его коня повергся небосклон.

Да будет мощь его, что славою одета,
Залогом торжества над всем простором света!

Да будет он вовек властителем всего!
Пусть будет пройден путь всех замыслов его!

Будь счастье для него как спутник долгой жизни,
С которым все найдет, все встретит он в отчизне!

О счастье молвил я. Так свет его лучист,
Что, вымолвив о нем, сворачиваю лист.

Творец, прости, коль я порою был небрежен,
Твой снисхожденья свет безмерен и безбрежен.

Да будет счастлив тот, кто молвит мне: «Прими:
От благостных небес их милость, Низами».

КОММЕНТАРИИ

В настоящем томе представлена лирика Низами и его поэмы «Сокровищница тайн», «Хосров и Ширин». Собрание лирических стихотворений (касыд, газелей и четверостиший) является наиболее полным по сравнению с предыдущими изданиями. Вместе с тем здесь приводятся лишь те стихотворения, принадлежность которых перу Низами достаточно подтверждена современной текстологической наукой.

Отмечая исключительную сложность перевода Низами на русский язык и правильного истолкования смысла, вложенного им в те или иные строки, Е. Э. Бертельс справедливо указывал в связи с этим, что особую трудность представляет передача всего того изобилия образов, которыми переполнены стихи Низами:

«Поэзия Азербайджана в XII в. пользовалась особым стилем, который условно можно назвать «орнаментальным». Характерная черта его — стремление к максимальному повышению веса каждого слова в строке путем введения многочисленных фигур, широчайшего использования игры словами, чему в значительной степени содействует полисемантичность лексики персидского литературного языка того времени. Совершенно очевидно, что весьма многие из этих фигур, особенно там, где использованы омонимы, в переводе сохранены быть не могут. Крайнее затруднение вызывают и метафорические эпитеты, приложение которых к данному имени обусловливается вторым и третьим его значением» [1].

Естественно, столь сложный текст требует подробных комментариев. Это особенно относится к поэме «Сокровищница тайн», отличающейся чрезвычайно сложным, затрудненным языком, насыщенным изощренными метафорами, намеками, символическими иносказаниями.

В комментариях разъясняются малопонятные русскоязычному читателю сравнения, образы, сопоставления, идиоматические выражения, ссылки на легенды, притчи, коранические выражения и пр.

В словарь включены собственные имена, географические названия, термины, а также непереведенные слова, заимствованные из специфической лексики различных областей быта, культуры, науки, религии средневекового Азербайджана и других стран Востока.

Написание собственных имен и непереведенных слов по мере возможности унифицировано, однако в иных случаях это не предста-

[1] Е. Э. Бертельс. Великий поэт азербайджанского народа.— В кн.: Низами. Пять поэм. М., 1946, с. 21—24.

вилось возможным. В частности, в переводе К. Липскерова и С. Шервинского принятые переводчиками написания ряда слов и имен оставлены без изменения, хотя сейчас в литературе принята более современная форма написания. Попытка изменить эти написания была бы, на наш взгляд, неоправданной, а иногда и просто невозможной, так как это повлекло бы за собой изменения в размере, рифмовке, инструментовке гласных (чоуган — човган; галия — галие; див — дэв и т. д.). Аналогичную картину мы видим и в написании имен собственных (Хабеш — Хабаш, Юсиф — Иосиф, Зухра — Зухре, Кай-Кубад — Кей-Кубад и т. д.).

ЛИРИКА

КАСЫДЫ

Стр. 63 *...полнозвучный колокольчик.*— Сравнение поэтического «дыхания» со звоном колокольчика объясняется тем, что в старину глава охраны шаха звонил колокольчиками, чтобы стража не засыпала. Кроме того, в походе специальные служители в войсках звоном колокольчиков возвещали о приближении шаха.

Звезды признанные светят, потому что я зажег их. // Я — вода небесных сводов, а они — набор пиал.— В оригинале: «Никто, кроме меня, не стучался доселе в обитель счастливой звезды». Обладателем счастливой звезды считался могущественный, непобедимый царь.

Чтоб объедками со свадьбы хор проныр не пировал.— Намек на то, что другие поэты крадут стихи и поэтические образы у Низами.

Стр. 66. *Воздух каплями дождинок грудь мою спешит наполнить. // Чтоб из раковин без счета жемчуга я вынимал.*— По поверью, жемчуг зарождается в раковине от проникающей туда дождевой капли.

Сам, как в раковине чистой, в браке истинном зачатый, // Двух ублюдков поношенья я выслушивать устал.— Среди многочисленных завистников поэт выделяет двух, которые особенно досаждали ему.

Трижды мерзостен завистник, стану йеменской звездою, // Свет которой блуд и скверну поражает, как кинжал.— Имеется в виду звезда Сухейль (Канопус, см. Словарь).

...щек шафраном не пятнал.— Т. е. не натирал лицо шафраном, подобно ханжам-богомольцам, выставлявшим напоказ свое подвижничество (шафран желтого цвета).

Стр. 67. *Разве от слона защита жалкий глиняный дувал?* — Под слоном имеется в виду кто-то из придворных поэтов-фаворитов, один из недругов Низами.

«Самый лучший стих, который больше лжи в себя впитал» — перефразированный афоризм, приписывавшийся пророку Мухаммеду и гласивший: «Самые лучшие стихи — самые лживые из них».

Я — дирхема полновесный, благороднейший металл.— Смысл бейта:

современники не ставят меня ни в грош, но на том свете я буду достойно оценен.

Стр. 68. *Слышишь, звякнул бубенцами в путь готовый караван, // Кочевать тебе отныне по дорогам горных стран.*— Уход «на тот свет» обычно сравнивался с отправлением каравана в дальний путь.

...кольцо дверное...— В старину на двери домов навешивались массивные кольца, с помощью которых стучались. В данном случае кольцо — символ произвола судьбы, которая играет людьми и бьет их.

На четыре буквы мира положи четыре пальца.— Персидское слово «джахан» (мир) состоит из четырех букв. Класть палец на букву — метафора пренебрежения. Смысл бейта: положи пальцы на буквы слова «джахан» — и вся вселенная покажется незначительной, тогда ты легко сможешь покинуть мир.

Мишуру, отличья знаки, словно пыль, стряхни с одежды...— Придворная знать носила одежду, полы и рукава которой украшались золотой и серебряной тесьмой.

Стр. 69. *И земля беспорочна: вздыбясь, род людской изводит.// И сближенье звезд пророчит смертоносный ураган.*— Здесь намек на сильное землетрясение 1139 г., полностью разрушившее Гянджу. Во второй строке бейта подразумевается предсказание астрологов, согласно которому положение Юпитера и Марса в сентябре 1186 г. предвещало конец света.

...путь проделав в Паланкине истин...— т. е. познав содержание Корана, усвоив содержащиеся в нем речения, вникни в поучения пророка Мухаммеда — таков смысл бейта.

На корабль попав случайно, возвышайся и не падай! // Парус, падать не умея, светом солнца осиян.— Имеется в виду мир, земная жизнь.

Стр. 69. *Облачившись в голубое, ты возвысишься, как небо. // Но осенним прахом станешь, расцветясь, как аргаван.*— Голубая или темно-синяя одежда считалась траурной, ее носили отшельники и аскеты; красный цвет, подобный аргавану (см. Словарь),— символ привязанности к мирской суете.

...закутан в шелк, парчу или сафьян.— Мускус, извлеченный из «мешочка» (железы) самца кабарги, заворачивали в шелковую ткань или сафьян.

В пыльных латаных одеждах...— Имеются в виду странствующие монахи, дервиши.

Стр. 70. *Почему вкусна так шея у вола и полны ляжки?* — Шея, на которую надевают ярмо, и ляжки животных, куда обычно ставят клеймо, считаются лучшей частью туши. Иными словами: труд и рвение приводят к хорошему результату.

...этот цвет для стягов дан.— Стяги аббасидских халифов и сельджукских султанов были черного цвета.

Стр. 71. *...кусок сгубил Адама...*— По мусульманской легенде, Адам был изгнан из рая за то, что отведал пшеницы.

Вспоминай былую слабость, уязвимость бренной плоти // Ты, эмир, рабом побывший, врач, познавший жженье ран.— Намек на Шамс ад-Дина Ил-Дениза (ум. в 1175 г.), родоначальника азербайджанских атабеков, который в отрочестве был рабом.

У седого лицемера щедрость и беспечность ложны: // С камфарой змея в соседстве, что ж искать иных охран? — По поверью, змея любит камфару и потому часто спит возле кувшинов с камфарою.

Время, как лукавый лучник, птицу шариком сбивает. Охотники на птиц пользовались особым видом лука, который стрелял специально изготовленными шариками.

Стр. 72. *Кознями в Гяндже казнимый, словно казнокрад презренный. // В Йемене свой суд творю я, и послушен мне Хотан.*— Если он унижен и бессилен в Гяндже, говорит поэт, то в других странах — в Йемене или Хотане — он значим — по его просьбе могут даже изменить судебный приговор над преступником.

«Скоро...» — ты твердишь Каабе.— Поэт говорит о своей мечте совершить паломничество в Мекку, которое ему так и не удалось осуществить.

Стр. 75. *Со мною на лугах земли в разладе воздух и вода, // Исы дыханье мне не впрок, вода живая мне вредна.*— По поверью, Иса (Иисус) оживлял своим дыханьем умерших.

Стр. 77. *Зри: сидит султан Каабы, семь стран света — его трон...*— Под султаном Каабы (см. Словарь) подразумевается знаменитый черный камень метеоритного происхождения, ставший святыней мусульман, который находится в храме Кааба; камень покрыт с боков зеленым шелком, а сверху — черной парчой. Святыню Каабы поэт сравнивает с троном, так как султаны династии Сельджуков восседали на троне под черным балдахином (под «султаном Каабы» имеется в виду также и сам храм). Под семью странами света подразумеваются семь иклимов — обитаемых поясов земли, по представлению древних народов.

Как Хосров, скрестивший ноги, формой — четвероуголен, // Сам он — центр круговращенья всех народов и племен.— Вокруг Каабы совершаются обрядовые хождения богомольцев; подразумевается также вращение небосвода вокруг храма.

Стройностью — араб, и тюрок — красотой и благородством, // Белый цвет лица одной лишь родинкою оттенен.— Черный камень на фоне беломраморного храма Каабы сравнивается с родинкой на белом лице тюрка.

Так, как родинок отметки,— в мире этом беды редки...— Поэт хочет сказать, что благодаря черному камню Каабы и дверному кольцу самого храма — бедствия в мире стали редкими, а зло зажато кольцом.

В чертеже полнообъемном на таблице милосердья // Центр — Его михраб, а стены — замкнутость шести сторон.— Имеется в виду ограниченность мира — шестимерного, так как в средние века современные три измерения рассматривали как шесть измерений.

Он — орел, слетевший с неба, севший на ковер из камня...— Здесь черный камень Каабы уподоблен орлу, а храм — каменному ковру.

Стр. 78. *То Нусрат ад-Дин славнейший, повелитель в царстве мира. // Меч его грозе подобен, слово каждое — закон.*— Сын Джахан-Пахлавана Ил-Дениза, который правил в 1194—1210 гг. государством иракских сельджукидов со столицей в Азербайджане. К нему обращена касыда Низами, который в деликатной форме просил помочь ему совершить паломничество в Мекку.

Нет другого человека, чтоб вместил в себя два мира. // Мудростью и благочестьем в равной мере одарен.— Смысл похвалы в том, что Нусрат ад-Дин уделял внимание вере и богоугодным делам, под которыми подразумевались благоустройство городов, проведение каналов, строительство медресе, мечетей, забота о подданных и т. д.

Стр. 79. *В нард судьбы играя с небом, ты закрыл ему шесть клеток, // И обрек на пораженье игрока шести сторон.*— Закрыть шесть клеток при игре в нарды (см. Словарь) значит одержать победу над противником. Превратность судьбы небосвода здесь уподоблена игре в нарды. Поэт говорит, что Нусрат ад-Дин был настолько искусен и мудр в своей политике, что закрыл все клетки нарда и, играя с небом (судьбой), одержал над ним победу.

Стр. 80. *Уж время — шашками закрыть шесть клеток мировой доски, // С небес две кости для игры смахнуть движением руки.*— Здесь под игральными костями для нард подразумеваются Солнце и Луна. Общий смысл первого бейта: настало время разрушения вселенной.

А чернота и белизна небес расписки долговой...— Т. е. обещанный людям срок жизни на земле в форме сменяющих друг друга ночей и дней.

Поскольку держит Землю Бык, уравновесив на рогах, // Дома, что воздвигаешь ты, все не надежны, не крепки.— По представлениям древних народов, Земля держалась на рогах быка, любое движение которого вызывало землетрясение.

Как поразить Быку Земли своим копытом Льва небес? // Бык дрогнет, встретив когти Льва и смертоносные клыки.— Имеется в виду созвездие Льва.

Стр. 81. *Ослепнет страшная змея, едва взглянув на изумруд...*— Согласно поверью, если змея взглянет на изумруд, она ослепнет, а изумруд расплавится.

А ты, готовый мотыльком к семи светильникам взлететь...— Имеются в виду Солнце, Луна и пять известных во время Низами планет.

Стр. 82. *Непрочно царство у того, кто кровь ему подвластных пьет, //*

Луна кровь Солнца пьет, и вот ей лик пятнают синяки.— Т. е. луна впитывает в себя лучи солнца.

Мягкосердечен будь, как воск, Давуду кроткому под стать, // Чтоб стала сталь в твоих руках не тверже сеяной муки.— Упоминание о стали вызвано преданием о том, что пророк Давуд первым стал плавить сталь.

Стр. 83. *Страшись в пророчествах дурных истолковать движенье звезд: // Вдруг дымом собственных невзгод заволокло тебе зрачки?* — Низами не советует предсказывать по звездам судьбу, ибо легко впасть в ошибку под влиянием собственных невзгод.

Там — все иное, для иных, султан там нищ, босяк богат, // Тиран унижен, и для них законы эти не жестки.— Речь идет о мифическом посмертном существовании, где всем воздается по заслугам.

И бренность мира ты пять раз...— Число «пять» связано с почетным обрядом, принятым в те времена: перед дворцом царей пять раз в течение суток били в барабан.

ГАЗЕЛИ

Стр. 85. *Ты по ветру пускаешь дни, но забывать не смей: // Жизнь вечная в твоих руках, не оброни ее.*— Низами говорит о том, что от человека, его поведения на земле зависит обретение им вечной, «загробной» жизни.

Стр. 87. *...из рая выгнан вон.*— Здесь намек на мусульманское поверье об изгнании Адама из рая за то, что он съел в раю пшеницу. Поэт сравнивает обитель возлюбленной с раем.

Стр. 93. *...в шатре семи небес...*— По средневековым представлениям мусульман, Земля окружена была семью небесными сферами и двумя надсферами.

Стр. 95. *Тот, кто увидел хоть раз твой лик, мгновенно стан опоясал свой, // Горя желаньем тебе служить,— навек он раб обреченный твой.*— Опоясаться — значит проявить готовность служить кому-либо.

Стр. 100. *Ты Хума поднебесья, презри воробьиные крохи...*— Примерный смысл бейта сводится к следующему: «Если ты по своим помыслам подобен сказочной птице Хума (см. Словарь), то отрекись от гумну подобного мира низких страстей, пусть там копошатся мелкие люди, подобные воробьям и думающие лишь о мирских благах».

Крал карманник, а стража к айару не в пору приходит.— Имеется в виду секта айаров — «ловких, изворотливых мужей», которые с помощью «благородной хитрости» обкрадывали богатых, помогали обездоленным.

Во дворец не пускают, не сетуй: владыку увидишь. // В час охоты черед и псарю с его сворой приходит.— Поэт сравнивает возлюбленную с царем, ее обитель — с царским дворцом, а влюбленного — с царским псарем, который может лицезреть своего повелителя лишь во время охоты.

Стр. 101. *Над головой твоей — благоуханный зонт. // Под черным тем зонтом кому султаном будешь?* — Черные волосы возлюбленной поэт сравнивает с черным зонтом, который держали над головой шаха, султана.

Стр. 103. *Расступился черный мускус, и она всплыла вчера.*— Т. е. черные, благоухающие, как мускус, локоны любимой растрепались в спешке, и ее лицо показалось из-за них, подобно тому, как луна выплывает из мрака.

Стр. 104. *Развалины в себе таят сокровищницу...*— По поверью, в развалинах хранятся сокровищницы, клады. Поэт говорит о своих муках.

Стр. 105. *Пролей же кровь мою, барсам свой освежи.*— Барсам — пучок обрезанных стеблей сахарного тростника. Держа в руках барсам, зароастрийцы (огнепоклонники) возносили молитву божеству растительности.

В этом бейте поэт сравнивает возлюбленную с сахарным тростником — священным барсамом и призывает ее пролить кровь поэта, отчего он испытывает лишь блаженство.

Заключительное полустишие свидетельствует о том, что газель, по-видимому, посвящена ширваншаху Ахсатану I (1160—1196).

Стр. 107. *Труден путь, и черен мир вокруг, не гони коня среди тумана, // Бытие вези в страну души, хоть на миг спасая от изъяна.*— Т. е. откажись от бытия и перейди в духовный мир.

Этих черных воронов гони ты из сада сердца своего, // Хамаюна счастья призови,— жди его, тоскуя неустанно.— В оригинале буквально сказано: «Изгони из сада дружбы грифов вражды // И завлеки в силок Хумая счастья».

Низами, такая тайна здесь, что ее не сможешь ты открыть, // Знаков этих, нет, не разъясняй, бойся этой тайны несказанной.— В стихотворении иносказательно изложена мысль о том, что человек не должен быть рабом земных, низменных страстей, а должен служить возвышенным идеалам, устремляться в сферы духа.

Стр. 109. *Попоной твоего коня я голову прикрою, // Воительница! Вновь ронять мне жалкий меч придется.*— В средние века на Востоке знатных вельмож сопровождали рабы, неся на плече попону коня своего господина. Поэт, таким образом, метафорически говорит, что он готов сделаться рабом своей возлюбленной.

В дар на пиру прими меня — ужели жемчуг слезный // Мне в золотом ларце моем всю жизнь беречь придется? — На Востоке к ногам знатных особ сыпали драгоценные камни. Смысл двустишия: разреши мне припасть к твоим ногам и осыпать их жемчугами своих слез, иначе мне придется всю жизнь держать их в своем сердце (золотом ларце). По тогдашним представлениям, источником слез являлось сердце.

Стр. 113. *Служенья поясом свой стан стянул я, словно муравей, // А ты, мой друг, не Сулейман: рвешь дар ретиво слишком.*— Сулейман однажды во время праздника дароприношений превыше всех оценил подарок муравья, который принес ему ножку саранчи. В стихе поэт сравнивает себя с муравьем.

Стр. 114. *Ведь стан ее — что кипарис, пред ним робеет райский страж, // Я раб ее, она султан, владыка вездесущий мой.*— Имеется в виду Ризван — упоминаемый в Коране страж райских врат.

Стр. 116. *О гиацинтов, свитых в кольца, аромат!* — Гиацинты в восточной поэзии традиционно обозначают кудри возлюбленной.

Стр. 118 *Тюрки рабами индийскими стали — рядом с тобой. //Глаза дурного бы не замечали — рядом с тобой!* — В классической поэзии на фарси тюрки — символ белизны и красоты, а индийцы — черноты.

Стр. 119. *Любимая моя, клянусь: отныне я клеймен тобой, //Дни — спутанней твоих кудрей, а сердце — словно ротик твой.*— Т. е. мои дни запутаны, словно твои кудри, а сердце, сжимаясь, сделалось маленьким, как твой рот.

Держаться б мне твоих стремян — со страху ноги отнялись.— В средние века во время всенародного выезда знатного всадника всегда сопровождали слуги. Поэт хочет сказать, что он готов стать слугой своей возлюбленной, но не способен на это, ибо у него от страданий отнялись руки и ноги.

Стр 122. *Как шипами все тюльпаны в зависти покрыты...*— Т. е. ланиты ее были такими алыми, что тюльпаны от зависти покрылись колючками.

В миг, когда ты пожелаешь губ ее рубин пригубить, // Рану от дурбашей взора ощутишь в груди ты, глянь.— Низами сравнивает ее ресницы с дурбашем — копьем, которое несли впереди шаха, предупреждая о его появлении.

Стр. 132. *Аллаха славь, носи зуннар,— увидят все с тобой меня.*— Зуннар — см. Словарь. Поэт хочет сказать: стань ты даже вероотступницей (христианкой), я приму твою веру, лишь бы быть с тобой.

Стр. 134. *Спустилась ночь. Явись, Луна, в мой дом приди на миг!* — С луной сравнивается возлюбленная, которая должна прийти и озарить своим явлением жилище поэта.

Стр. 140. *Но если по воле небес ты умершь свой гнет, // Не будет душа облегчению этому рада.*— То есть, если ты ослабишь свой гнет по отношению к возлюбленному, моли бога, чтобы он не склонял тебя больше к милосердию. Иными словами, поэт просит свою возлюбленную не ослаблять гнета по отношению к нему, ибо такой гнет ему сладостен.

Стр. 141. *Доколе голова цела, готов служить тебе, // А ты с ней тешиться вольна и словно мяч гонять.*— Имеется в виду игра в човган — см. Словарь.

Стр. 157. *Как пшеница лицо твое. Прикажи устам, чтоб они // За пшеницу грубый ячмень, устыдясь, выдавали реже.*— Выдавать (продавать) пшеницу за ячмень — идиоматическое выражение, означающее «обманывать» «мошенничать», «лукавить».

Стр. 159. *И дом свидания с тобой — он был с двумя дверьми...*— Дом с двумя дверьми символизирует обман, нечестность. В таких домах жили воры, мошенники, находились притоны и т. п.

Стр. 164. *Сделайте из кос любимой мне оковы, // А потом, заковав, меня ведите прямо до ее жилья.*— Сумасшедших в те времена сажали на цепь, т. е. автор дает понять, что он лишился рассудка от своей страсти.

В пятницу меня, хмельного, притащите на базар — // Пусть известно станет миру, что обет нарушил я.— Как известно, пятница — день, когда мусульмане должны особенно строго соблюдать все предписания Корана. С другой стороны, пятница — это большой базарный день, и весь народ станет свидетелем его унижения. Но поэт согласен даже на это ради своей жестокой возлюбленной.

Стр. 165. *Этот стих Низами пусть дойдет до того, кто сложил: // «Ее маленький рот лишь смеющимся виден бывает».*— В оригинале: «Когда я найду след ее рта после смеха». В те времена непременным признаком красоты считался маленький рот. Смысл последней строки: ее рот настолько мал, что его можно увидеть только тогда, когда она смеется.

Стр. 168. *Знают воздух земля и влага, что душа сожжена огнем, // Одного достаточно взора, чтоб понять, как жалко я пал.*— В тексте сложно обыгрываются четыре стихии: вода, воздух, огонь и земля. Поэт хочет сказать: все четыре стихии знают о его позоре.

Стр. 170. *Светоч небесный вчера здесь я нежданно нашел, // Словно свечу — мотылек, в праздник Курбана нашел.*— В день мусульманского праздника Курбана во всех домах, по обычаю, зажигали свечи.

Стр. 173. *Из комнаты новобрачных сбежало сердце мое...*— На Востоке по старинному свадебному обряду жениха и невесту после свадьбы помещали в особой комнате — комнате новобрачных.

СОКРОВИЩНИЦА ТАЙН

ВСТУПЛЕНИЕ

Стр. 185. *«В прославленье аллаха, что благом и милостью щедр»...*— В оригинале — арабская формула, произносимая мусульманами перед началом любого дела: «во имя аллаха всемилостивого, милосердного».

Вот к премудрости ключ, к тайнику сокровеннейших недр.— Намек на известное предание о том, что пророк Мухаммед во время вознесения к аллаху заметил на девятом небе величественный дворец с закрытыми дверьми. Он спросил у архангела Джабраила, что это за

дворец, и услышал ответ: «Это сокровищница под престолом аллаха, и ключ к ней — язык поэтов».

И каламу времен ожерелье надевший на шею... — Согласно мусульманской теософии, аллах начертал на хранимой у него скрижали (лаухимахфуз) план и судьбу вселенной.

Стр. 186. *Даже мудростью тех, кто воспитан с предвечных времен, // Этот трудный вопрос и доныне еще не решен.* — Т. е. даже пророки не в состоянии постичь безбрежности знаний и могущества бога.

В неуемном стремленье к двум-трем деревням разоренным, // Было небо в смятенье, неявное в несотворенном. — Низами подразумевает здесь обитаемую часть земли, бренный, неустроенный мир, раздираемый противоречиями.

Стр. 187. *Стало солнце в кафтане являться, а месяц в халате: // Было этому белое, этому черное кстати.* — Под «белым» и «черным» подразумевается день и ночь. Одеяние солнца уподоблено кабе (кафтану), а луны — джуббе (халату).

Тучи желчный пузырь из морских он исторгнул глубин, // Светлый Хызра источник из злачных извлек луговин. — Хызр — см. Словарь. Смысл бейта: творец создал тучи из морских испарений, а на лугах заставил течь реки с чистой водой.

Ветер слезы земли, лихорадя, загнал нездоровый // В печень камня и яхонт родился, как печень, багровый. — Смысл бейта: Земля страдала от суровых ветров, сердце ее обливалось кровью; Создатель вложил эту кровь в сердце яхонта (рубина), и поэтому последний обрел свой багровый цвет.

Посадил за завесу безмолвную голову сна. — Под «завесой» подразумеваются веки. Во второй строке дан парафраз стиха Корана: «Пусть же посмотрит человек, из чего он создан, он создан из воды изливающейся».

Кинул пряди земли он на плечи небесные прямо, // Непокорности мушку навел на ланиту Адама. — Имеется в виду стих Корана «...и ослушался Адам господа своего и сбился с пути».

С лика золота он отпечаток презрения смыл, // Крови лунные розы он тучкой весеннею смыл. — В оригинале: «А месячную кровь розы он смыл весенними облаками». Т. е. после весенних дождей красные розы стали бледней.

Ржу воздушную снять поручил он светилам лучистым, // Душу утренних ветров он травам доверил душистым. — Поэт говорит, что светом звезд творец смыл с воздуха мрак и наделил травы благоуханием.

Посадил он Венеру на пение, ночи в утеху. — Планета Венера (см. Зухра) считалась покровительницей музыки, искусств.

Полночь — божий разносчик, он мускус продаст дорогой... — В оригинале сказано: «Пупок ночи — из продавцов его мускуса, // Новая луна из его рабынь с кольцом в ушах». Пупок в классической восточной поэзии символизировал благоухание, ибо мускус добывали из желез, находящихся в пупке самца кабарги. Смысл бейта: творец дарует миру столько благоухания, что весенние ароматные ночи — это лучи, разносящие его благовония.

Стр. 188. *О стопу его речи, чьи силы от века велики, // Камень лоб раздробил у шатра, что достоин владыки.* — В оригинале сказано: «Голова речи, у которой руки (очень) длинны, // Разбилась о камень у его чертога...» — т. е. даже всемогущая речь, быстро распространяющаяся по свету, бессильна выразить сущность божества.

Тот, в кого острием его циркуль однажды вонзился, // Тот, как месяц, навек к постиженью его устремился. — В оригинале: «Все, кто сошел с кончика его циркуля, // Подобно луне, ищут его...» — т. е. все, кого создал творец, ищут бога, подобно луне, которая тоже беспрерывно странствует по небосводу в поисках его.

Кто на небе седьмом восседает — стремятся к нему, // Кто по небу девятому ходит, — стучатся к нему. — В оригинале: «Восседающие у Лотоса». Лотос — мифическое дерево, упоминаемое в Коране (сидр, сидрат ал-мунтаха), растущее на седьмом небе у божественного престола, под которым восседают ангелы, архангелы.

Особливо богаты дарами уставших в дороге, // Возвестители божьи, чьи вервием связаны ноги. — В оригинале: «У избранных для даров его — перехватывает дыхание. // У гонцов, шествующих (по пути к нему), ноги связаны...», т. е. даже избранные (пророки) не могут проникнуть в сущность Творца.

Но из праха у врат его зернышко вышло такое, // Что пред садом его сад Ирема — сказанье пустое. — Под «зернышком» Низами имеет в виду сердце — средоточие самых возвышенных чувств и мыслей, символ духовного начала в человеке.

Так и прах Низами, — что изведал поддержку его, — // Нива зерен его и единства его торжество. — В оригинале: «Благословенная им земля (прах) Низами — // Поле, усеянное семенами его единобожия...», т. е. благословенная богом родина Низами (Гянджа) цветет, как поле, на котором щедро взошли семена истинной веры.

ПЕРВОЕ МОЛЕНИЕ
О НАКАЗАНИИ И ГНЕВЕ БОЖИЕМ

Стр. 189. *Если сменою ночи и дня управляешь ты въяве, // То воскликнуть «я — истина!» ты лишь единственный вправе.* — Имеется в виду восклицание «Я — истина» (т. е. «Я — бог!»), приписываемое известному суфию X в. Халладжу, который был за это жестоко казнен.

Кравчий ночи и тот перед чашей твоею смутится... — Имеется в виду луна.

Стр. 190. *Выйди, сдернув завесу, единый во всем искони, // Если*

я — та завеса, завесу скорее сверни.— Поэт считает, что видимый мир, вселенная служат завесой, скрывающей облик творца, и просит бога явиться, сбросив завесу, даже если для этого придется уничтожить (свернуть) самого поэта.

Блага света лиши достоянье поклонников тьмы, // Отведи от случайного в сущность проникших умы.— В оригинале сказано: «блуждающих во тьме», т. е. огнепоклонников, пребывающих во тьме своего невежества. Во второй строке бейта, неточно переданной в переводе, поэт призывает аллаха уничтожить («удалить от внешних свойств») так называемых «субстанционалистов», утверждавших, что аллах имеет человеческий образ.

Столик шестиугольный своим раздроби ты ударом // И расправься решительно с девятиножным мимбаром.— Так поэт обозначает землю с ее шестью сторонами (север, юг, восток, запад, верх и низ).— Под «девятиножным мимбаром» имеются в виду девять небес (мимбар — см. Словарь).

Далее поэт призывает творца уничтожить все, что есть на земле и небесах, и приблизить день так называемого Страшного суда.

Стр. 191. *Взгляд шиповника нежный прозрачен в предутренний час,— // Но не воздух, а пыль твоих ног — исцеленье для глаз.*— В средневековой восточной поэзии это метафорическое выражение символизировало покорность, смирение. Здесь пыль (прах) под ногами творца уподобляется сурьме (или тутие), которые, по тогдашним представлениям, улучшали зрение, исцеляли от глазных болезней.

За завесою светит последнего лотос предела...— Лотос последнего предела — т. е. лотос у божественного престола. В оригинале этот бейт буквально гласит: «Стебли лилии, являющиеся твоими светильниками, // Превратились целиком в язык, славящий тебя».

ВТОРОЕ МОЛЕНИЕ
О МИЛОСЕРДИИ И ВСЕПРОЩЕНИИ БОЖИЕМ

Стр. 192. *Мы — бродяги твои, без тебя мы бездомны и нищи.// Носим в ухе кольцо, словно дверь в твоем горнем жилище.*— Кольца в ушах в те времена носили рабы. На двери (на воротах) крепилось железное кольцо, стуком которого вызывали хозяина дома.

Но хадис «О постигшем аллаха» усвоили мы.— Хадисты — изречения, приписываемые пророку Мухаммеду. Текст данного изречения гласит: «Кто познал аллаха, тот целиком стал языком».

Стр. 193. *Чрез тебя Низами и господство узнал, и служенье. // Ныне имя его вызывает в любом уваженье.*— Сумма числовых значений букв имени Низами составляет 1001. У аллаха столько же имен-эпитетов. Поэт хочет сказать, что он пользуется особым покровительством аллаха, о чем свидетельствует это символическое совпадение.

«Алиф», только лишь был он на первой начертан скрижали, // Сел у двери, ее же пять букв на запоре держали. Дал он петельке «ха» управленье уделом большим, // Стали «алифу»: «даль» ожерельем и поясом «мим». И от «мима» и «даля» обрел он над миром главенство. // Власти царственный круг и прямую черту совершенства.— В этом и последующих бейтах говорится о начертании имени пророка, якобы данное аллахом: «Ахмад» (от того же корня и того же значения, что и Мухаммед — «прославленный»). «Алиф», «ха(й)», «дал(ь)», «мим» — буквы арабского алфавита, из которых складывается имя «Ахмад», формы которого обыгрывает поэт.

«Был пророком» — хадис, что со знаменем вышел вперед, // Поручил он Мухаммеду кончить пророков черед. — Полностью этот хадис гласит: «Я был пророком, когда еще Адам был глиной и водой». Согласно учению ислама, Мухаммед был создан раньше «прародителя» людей Адама, но он явился в мир после всех пророков, ибо после него других пророков не будет.

Стр. 194. *Прах ступней его с глаза дурные поступки сотрет, // С Мекки дань собирает его на чужбину уход.* — По мусульманскому учению, тем, кто совершает паломничество в Мекку, а оттуда в Медину, к гробнице пророка, отпускаются грехи. Здесь содержится намек на уход Мухаммеда и его сторонников в сентябре 621 г. в Медину. Впоследствии между сторонниками Мухаммеда и мекканцами произошла битва, в которой последние были разгромлены, а соратники Мухаммеда захватили богатую добычу.

Стр. 195. *Но когда уже всех обскакали те легие кони, // То удел Низами — лишь забота о конской попоне.*— Иными словами, многие поэты до Низами уже успели красноречиво воспеть вознесение пророка, и ему пришлось, как прислужнику, нести попоны их коней.

О ВОЗНЕСЕНИИ ПРОРОКА

Он в святилище здешнем оставил все стороны света, // Бросил семь поясов и все шесть направлений предмета.— Вознесение пророка (мирадж) описано в Коране. Собственно вознесению Мухаммеда посвящено всего 18 стихов, основное содержание которых сводится к тому, что «вот он стал прямо на высшем горизонте, потом приблизился и спустился, и видел он его при другом нисхождении у лотоса последнего предела». Впоследствии вокруг этих стихов Корана возникла обширная литература, согласно которой Мухаммед совершил свое вознесение на мифическом коне Бураке (см. Словарь) вне времени — «вода опрокинутого его ногой кувшина не успела вылиться»,— но за этот миг Мухаммед оставил материальный мир, преодолел девять небес и достиг обители господа, встретился с ним и вер-

нулся обратно. Описание вознесения пророка так же, как и славословие аллаха, было одним из обязательных элементов структуры средневековых восточных поэм. Низами всегда соблюдал это требование, обнаруживая при этом блестящие познания в области тогдашней астрономии.

У божественной птицы и клетка расправила крылья. // Оболочка его, легче сердца, неслась без усилья.— Подразумевается «душа».

Он последней ступени коснулся ногой, но за ней // Поднялся и еще на божественных сто ступеней.— Иными словами, он поднялся выше той ступени, которая была сферой обитания ангелов и архангелов.

Стр. 196. *Ночью темной, как амбра, жемчужину неба ночного // Бык небесный похитил, изъяв из ноздри у земного.*— В оригинале — сложная метафорическая фигура. Небесный бык — созвездие Тельца. Земной бык — бык, который пасется в подземном царстве, по поверью, освещает себе дорогу жемчужиной, находящейся у него в ноздрях. Пророк сравнивается с указанной жемчужиной, которую небесный бык — Телец похитил у земного быка, и он в один миг оказался рядом с Тельцом.

Неба Колос расцвел при одном появленье пророка. // Этот Колос расцветший от Льва он отбросил далеко.— Здесь Низами обыгрывает лексические и этимологические значения названий созвездий. Персидско-арабские названия Плеяд, Девы и Льва соответственно означают: 1) Хуша — кисть, гроздь, колос; 2) Сунбула — колос; 3) Асад — лев. Смысл бейта в оригинале: Гроздь бросила колос Льву; Плеяды при появлении пророка ярко засияли, пришли в экстаз и отбросили созвездие Девы на Льва.

Но столь грузную гирю не взвесить такими весами,— // Легче гири тяжелой весы оказались сами.— Смысл этого и последующего бейтов: Венера, расположенная в созвездии Весов, взяла весы и начала взвешивать эту ночь, но вес ее с приходом пророка так возрос, что оказался тяжелее самих Весов.

И пока проносился пророк меж сияющих звезд, // Чашу противоядья излил Скорпиону на хвост.— В оригинале сказано: «Он пролил противоядие из (своего) тимьянного благоухания». В средневековой медицине настойка тимьяна использовалась в качестве противоядия против укуса скорпиона.

Стал Иосифом в кладезе, солнцу подобно, пророк, // Стал Ионою Рыб, ибо кладезь от них недалек.— В оригинале сложная игра слов, связанная с именем Иосифа, Ионы, названия созвездия Водолея и др. Во время вознесения пророка солнце находилось в созвездии Водолея, которое было на небе неподалеку от созвездия Рыб — символа дождливости и влаги. Иосиф Прекрасный (см. в Словаре — Юсуф), герой известной библейской легенды, по преданию, был брошен в колодец завистливыми братьями и его вытащили оттуда случайные путники кожаным ведром для вычерпывания воды (водолеем). Иона (см. Словарь) — библейский персонаж, который, по легенде, побывал во

чреве кита. Поэт обыгрывает здесь омонимию слова «кит», которое обозначает «кит» и созвездие Рыбы. Таким образом, смысл двустишия таков: Мухаммед, подобно Солнцу, в начале весны, прекрасный, как Иосиф, оказался в созвездии Водолея, как Иосиф в колодце (кладезе), а оттуда, подобно Ионе, перебрался во чрево кита — созвездие Рыбы.

Стр. 197 *Из нарциссов и роз, что в небесном саду разрослись, // Глаз-нарцисс один насурьмлен был стихом: «Не косись!»* — В Коране (53, 17), где описывается вознесение пророка, сказано: «Не уклонилось его зрение и не зашло далеко». Смысл двустишия: очи пророка, подобные нарциссам, даже не взглянули на чудеса открывшегося перед ним райского цветника, так как он всеми помыслами был устремлен только к аллаху.

А другие остались и внутрь не проникли за ним. // Он же вдруг изменился: не прежним он был, а иным.— Здесь и далее поэт намекает на то, что свидание пророка с аллахом происходило не в материальной сфере, а в духовной.

И по буквам девятого неба провел он калам. // С рукава у небес он списал сокровенный «алям».— «А-лям» — криптограмма, с которой начинаются некоторые главы Корана. Точный смысл ее неизвестен.

Стр. 198. *Лицезрению его были чужды случайность и суть, // За случайность и суть далеко перешел его путь.*— В оригинале буквально сказано: «Созерцать его можно без субстанции и формы, // Ибо он стоит выше субстанции и формы». Здесь, как и в других бейтах этой главы, поэт выступает против воззрений субстанционалистов (антропоморфистов), утверждавших, что аллах подобен некоему сверхчеловеку, что он создал людей по своему образу и подобию. Этот вопрос был предметом ожесточенных схоластических споров в эпоху Низами.

Да не будет же скрыто, что на небе видел пророк. // Да ослепнет сказавший, что бога он видеть не мог.— Этот и следующий бейт по смыслу плохо согласуются с предыдущими и последующими и даже прямо противоречат им. Не исключено, что они представляют интерполяцию или же были искажены переписчиками.

ВОСХВАЛЕНИЕ ПЕРВОЕ

Стр. 200. *Мир, и тот и другой, к торокам приторочен пророка.*— Торока — ремни, которыми закреплялся груз на вьючном животном. Слуги и рабы, сопровождавшие караван, шли, держась за торока. Отсюда «держаться за торока» — символ безропотного служения, рабства.

Девой звездной встает гиацинт среди неба дневного...— В оригинале обыгрывается неполная омонимичность слов «сунбул» (гиацинт, колос) и «сунбула» (созвездие Девы). В классической восточной поэзии с гиацинтами сравнивали красивые локоны. Смысл бейта: блестящие, сияющие кудри пророка, в отличие от созвездия Девы, светят и днем.

Но одной из жемчужин лишил его камень врага. // Отделил от него, обездолив его жемчуга.— Согласно жизнеописанию Мухаммеда,

во время сражения между его сторонниками и мекканцами в 625 г. у горы Ухут у пророка был выбит зуб пущенным из пращи камнем. Далее поэт развивает эту тему.

Муфарриха вкусить разве камню нашлась бы причина, // Если б жемчуга он не разбил, не растер бы рубина? — Меланхолию (черную болезнь) в средневековой медицине лечили муфаррихом — снадобьем, в состав которого входил толченый рубин. В оригинале — сложная метафора, где алые губы пророка уподобляются рубинам, зубы — жемчугам, а смысл всего бейта таков: камень, выбивший зуб пророка страдал черной меланхолией и, чтобы излечиться, он устремился к чудесному снадобью (муфарриху), т. е. к губам пророка.

Стр. 201. *Для чего же колючки, коль розы обильны твои? // Неужели ты четки на хвост поменяешь змеи?* — Розы и четки (в оригинале — бисер) символизируют для мусульман истинную веру, змея и колючки — неверие, ересь.

ВОСХВАЛЕНИЕ ВТОРОЕ

Ты, с чьей плотью пречистые души и те не сравнимы! // Дух твой кликом взлелеян: «Всю жизнь за тебя отдадим мы!» — Имеется в виду возглас: «Да станет твоей жертвой мой дух!», с которым бросались в битву с «неверными» ревностные сторонники ислама.

Мира центр, над тобой милосердия зданье взнеслось, // Ты у слова «страданье» начальную точку унес.— Если в слове «захмат» (страданье) снять диакритическую точку с начальной буквы, получится слово «рахмат» (милосердие, сострадание).

Стр. 202. *Благовонному праху последним приютом дана, // Целиком благовонной арабская стала страна.*— Имеется в виду гробница Мухаммеда в Медине, которая, по представлениям мусульман, наполняет благоуханием всю Аравию.

Чудодейственней прах твой, чем ветер царя Соломона. // Что скажу о садах? — лучше рая их злачное лоно.— Царь Соломон (см. Словарь — Сулейман), обладавший якобы властью над всем сущим, а также над стихиями, и по его желанию ветер веял над его садами и цветниками, наполняя окрестности благоуханием.

На четыре основы твои оперлось мусульманство, // Пять молений на дню — твоего ноубаты султанства.— Основу ислама составляют, собственно, не четыре, а пять «столпов» (основ веры): 1) свидетельство о единстве аллаха и о том, что Мухаммед его пророк; 2) молитва; 3) пост; 4) обязательная милостыня и 5) паломничество в Мекку. Здесь опущена первая основа, так как она подразумевается как нечто само собой разумеющееся. Ноубат, с которым сравнивается обязательная для мусульманина пятикратная молитва,— это игра оркестра (литавры, барабан, трубы) перед дворцом шаха, султана пять раз в день.

Не твои ли шаги...— Здесь и далее имеется в виду описанное выше вознесение пророка (мирадж).

Стр. 203. *Если б зеркала круг не был утром предвечным воздет, // То на низменный прах не упал бы твой истинный свет.*— Смысл двустишия: изначальное утро отражает, как зеркало, свет души пророка. Если бы утро не послужило этим зеркалом, свет солнца не упал бы на землю (на низменный прах).

Эта бедность — руина, где клад твоей сути таится...— По тогдашним поверьям, сокровища бывают сокрыты в развалинах. Бедность Мухаммеда сравнивается здесь с развалинами, а его сущность — с сокровищем.

Цель твоя — небосвод с дуговидным изгибом его, // Дужка горней бадьи — лишь веревка ведра твоего.— В оригинале обыгрывается омонимичность слова «далв», которое означает созвездие Водолея и кожаное ведро, т. е. подобно тому, как Иосиф Прекрасный был вытащен из колодца, ты вознесся выше самого созвездия Водолея.

ВОСХВАЛЕНИЕ ТРЕТЬЕ

Ты, с мединским плащом и мекканской вуалью! Доколе // Солнцу сути твоей укрываться во тьме и неволе? — Мухаммед родился в 570 г. в Мекке и умер в 632 г. в Медине. Могила Мухаммеда сравнивается с покрывалом (плащом), а под вуалью имеются в виду мекканцы, не признававшие до поры откровений Мухаммеда и даже изгнавшие его из Мекки.

Стр. 204. *Правь к Аджаму коня, расставайся с арабской страной,— // Ждет буланый дневной, наготове ночной вороной.*— Здесь и далее поэт призывает пророка восстать из могилы, отправиться из Аравии в другие страны, восстановить там попранные права людей, свергнуть и покарать царей-тиранов, изгнать из осквернённых мечетей нечестивых и корыстолюбивых представителей духовенства, извративших идеи ислама, и т. д. Эта, казалось бы, традиционная часть поэмы, посвященная восхвалению пророка, содержит необычайно резкое осуждение современной поэту действительности и призыв к ее переустройству.

Ты над стражею главный — а где караван защита? // Ты начальствуешь центром — и знамя лишь в центре развито? — Под «караваном» имеется в виду община мусульман. Вторая строка бейта в оригинале выглядит так: «Центр принадлежит тебе, почему же твое знамя там (в Аравии)? Это надо понимать в том смысле, что поэт считал центром мусульманского мира (в его время) не Аравию — родину пророка, а свою родину, ибо государство атабеков Азербайджана в XI в. действительно могло считаться культурным и политическим центром Ближнего и Среднего Востока.

Крикни праведным воинам клич боевой: «О Али!», // Возгласи: «О, Омар!»...— Али — двоюродный брат пророка и его зять; отличался необычайной отвагой, прославился как полководец. Омар — второй халиф. По легенде, там, где ступала его нога, три дня не мог появиться сатана.

Лет пятьсот пятьдесят мы проспали... — В оригинале — «пятьсот пятьдесят лет». Пророк Мухаммед умер в 11 году хиджры.

Как указано в конце поэмы, «Сокровищница тайн» закончена в 1176—1177 гг. Из этого можно на первый взгляд заключить, что поэт работал над поэмой пять лет. Однако в конце книги Низами указывает, что поэма была написана в течение «нескольких утр». Имеющееся в комментируемом бейте выражение «ты спишь пятьсот пятьдесят лет» подтверждает предположение, что такое большое количество посвящений пророку (вместе с главой о вознесении их шесть!) свидетельствует о том, что значительная часть их была написана раньше, а затем включена в поэму. Третье восхваление, которому свойствен молодой задор, резко разоблачающее современное духовенство, было, очевидно, написано в 1174 г. и в 1177 г. включено в книгу.

Стр. 205. *Только занавес тайны рукой твоей будет откинут, // Властницы свои оба мира совлечь не преминут.* — Те оба мира (земной и небесный) от радости сбросят с себя властницу, как суфии в момент экстаза.

ВОСХВАЛЕНИЕ ЧЕТВЕРТОЕ

Тот, кем бейт бытия был во имя посланника начат... — Поэт обыгрывает здесь омонимию слова «бейт», которое означает: 1) дом, здание; 2) двустишие. То есть аллах, начав создавать дом (бейт) мироздания, знал, что пророк явится в конце концов в мир, подобно рифме, заключающей конец стиха. Эта мысль развивается и в последующих бейтах.

Стр. 206. *Ты — Адам, ты и Ной по превыше, чем тот и другой, // Им обоим тобою развязан был узел тугой.* — По мусульманскому преданию, раскаяние Адама было принято аллахом, а Ной (Нух) был спасён от всемирного потопа благодаря заступничеству Мухаммеда. «Развязан был узел тугой» — т. е. была оказана помощь.

Мяч покорности богу в предвечности был сотворен, // На ристалище сердца посланником брошен был он. — Здесь и в последующих бейтах метафорически обыгрывается игра в човган (см. Словарь).

Но когда его конь устремился пшеницу топтать, // Мяч пришлось ему бросить и в угол ристалища стать. — Т. е. когда Адам совершил грехопадение, ему пришлось «выбыть из игры». Под «мячом» здесь и далее понимается пророческая миссия.

Колыбель Авраамова много ль смогла обрести? // Полпути проплыла и три раза тонула в пути. — Под библейским Авраамом имеется в виду пророк Ибрахим (см. Словарь). По легенде, он трижды солгал и поэтому не смог осуществить пророческую миссию. В оригинале буквально сказано: «Пройдя полпути, два-три раза свалился с коня». Сравнения с тонущей колыбелью в подлиннике нет. Видимо, это дало основание А. Е. Бертельсу в комментариях к данному бейту предположить, что

Низами отнес к Аврааму легенду о Моисее, плывшем в колыбели по реке (см.: Низами. Пять поэм. М., 1968, с. 811).

Лишь Давиду стеснило дыханье, он стал поневоле // Низким голосом петь, как певать не случалось дотоле. — По библейской легенде, Давид (Давуд) обладал необычайно красивым голосом и сочинял псалмы, которые пел так, что птицы останавливались в полете, звери в беге, рыбы в море. Но после женитьбы на Урии его голос стал менее благозвучен, и за это он был отвергнут аллахом.

Увидал Моисей, что он чаши лишен послушанья, // И о гору «Явись мне» сосуд он разбил упованья. — Библейский Моисей (Муса), по преданию, обратился к аллаху у подножья горы Тур с призывом: «Господи! Дай мне посмотреть на тебя», а аллах сказал: «Ты меня не увидишь, но посмотри на гору; если она удержится на своем месте, то ты меня увидишь». А когда открылся его Господь горе, // Он обратил ее в прах, и пал Муса пораженным.

Стр. 207. *Иисус был пророком, но был от зерна он далек...* — Здесь имеется в виду то, что Иисус был рожден матерью без отца; это бросило на него тень с самого начала, и он не стал добиваться пророческой миссии.

Шестидневный нарцисс... — т. е. весь мир земной, сотворенный, согласно Корану, за шесть дней. Здесь шестидневный мир сравнивается с особым сортом нарциссов, который называется «абхар», потому что имеет шесть лепестков.

Не бывало, чтоб буквы писал ты своими перстами, // Но они никогда не стирались чужими перстами. — Согласно жизнеописанию Мухаммеда, он никогда ничего не писал, ибо не хотел, чтобы «чужие персты», т. е. руки неверных, коснулись его письмен.

ПРОСЛАВЛЕНИЕ ЦАРЯ ФАХРАДДИНА БАХРАМ-ШАХА, СЫНА ДАУДА

Стр. 208. *В этом временем созданном мире, как точка в кругу, // Пребываю я пленным и с центра сойти не могу.* — Поэт хочет сказать, что он заключен в своем городе (Гяндже), как точка в центре круга.

Пролилось на колени сиянье лица моего... — Здесь и в последующих бейтах говорится о том, что поэт погрузился в глубокое размышление, в результате чего к нему пришло просветление и он, обежав взором мир, узрел шаха.

Стр. 209. *В нем, к кому обращается стих, именуемый «Цели».* — Имеется в виду 19-й стих из 31 главы Корана.

Он рожден от Давида... — Отца Фахраддина Бахрам-шаха звали Давуд — так же, как отца легендарного царя Соломона. Обыгрывая это, поэт хочет сказать, что Бахрам-шах равен по могуществу и славе царю Соломону.

Ловчий, бивший онагров, онагром же прозванный сам. — Имеется в виду легендарный царь Сасанидской династии Бахрам-гур (421—

438), главный герой поэмы Низами «Семь красавиц». Прозвище «гур» (онагр) он получил оттого, что его любимым занятием была охота на онагров.

Стр. 210. *Этот ртути источник по длани его наречен. // Как и ртуть, постоянно бежит и колышется он.*— Источник ртути — солнце. Т. е. длань шаха так щедра, что солнце от зависти бежит прочь, как ртуть.

Тот смеющийся лал, украшающий пояс пророка...— Т. е. рубины у пояса шаха смеются над самим солнцем.

Сразу девять утроб...— Т. е. девять небес, весь мир полны тайной твоего бытия.

Уши рыб, что внизу и вверху...— Имеются в виду созвездие Рыб (вверху) и мифическая рыба, на которой якобы (по представлениям древних) держится Земля (внизу).

Стр. 212. *В птицу счастья, в Хумай, при тебе обратилась сова.*— Сова считалась птицей, приносящей бедствия. Однако в годы счастливого правления шаха даже совы стали подобны птице Хумай, приносящей счастье.

Приближаясь к тебе, станет как бы ступней голова.— Т. е. высокородные гордецы (головы) становятся перед тобой смиренными.

Ты раба своего удовольствуй почетным халатом...— В оригинале «халатом небосвода», т. е. удостой своей милости.

Пусть он тучен от слов и духовными яствами сыт, // За столом у тебя все же нищим и тощим сидит.— В этом бейте поэт намекает на свою бедность.

Рудники — без рубинов, и нет уже в море жемчужин...— Здесь метафорически говорится о щедрости шаха.

О ПОЛОЖЕНИИ И ДОСТОИНСТВЕ ЭТОЙ КНИГИ

Стр. 213. *Я, которым прославлена свежая роза моя...*— С розой Низами сравнивает свою поэму «Сокровищница тайн», уподобляя себя соловью.

В двух краях книги две засверкали. В своей благодати // Два на них Бахрамшаха свои положили печати.— Здесь имеется в виду «Сокровищница тайн», преподнесенная Низами правителю Эрзинджана (в Малой Азии) Бахрам-шаху и поэма «Сад истин» Санаи, преподнесенная около 1140 г. правителю Газны — Бахрам-шаху.

Дар из пучины возник.— По-персидски слово, обозначающее пучину, является омонимом «стихотворного размера». Поэт говорит о том, что его поэма написана иным метром, чем поэма Санаи «Сад истин».

Стр. 215. *...я в кольце, и заказан мне путь. // И тугое кольцо я не в силах сейчас разомкнуть.*— Низами намекает на то, что кругом война и он не может приехать к Бахрам-шаху.

РЕЧЬ О ПРЕВОСХОДСТВЕ СЛОВА

Стр. 216. *В час, как начал надзвездный свои начертанья калам,// С первой буквы о слове он начал рассказывать нам.*— Низами говорит о каламе, которым аллах начертал якобы на скрижали судьбу всех творений до создания вселенной, и утверждает тем самым, что первым творением бога было слово.

И порою оно величавость дает знаменам. // И порою его прихотливый рисует калам.— Имеются в виду надписи на боевых стягах и государственных знаменах.

И калама властней вражьим странам несет оно беды.— Здесь имеется в виду то, что могущественные султаны с помощью своих указов одним росчерком пера присоединяли к своим владениям целые страны.

Стр. 217. *И оно всех селений отраднее в этом селенье...*— В оригинале: «Оно в этой деревне благоустроеннее, чем сама деревня», т. е. путем слова можно создать мир лучший, чем этот бренный мир, напоминающий неблагоустроенную деревню.

Весь предел естества захватили при помощи слова.— Т. е. объяснили законы природы с помощью слов.

ПРЕВОСХОДСТВО РЕЧИ, НАНИЗАННОЙ В ДОЛЖНОМ ПОРЯДКЕ, ПЕРЕД РЕЧЬЮ, ПОДОБНОЙ РАССЫПАННЫМ ЖЕМЧУГАМ

Стр. 218. *Двух сокровищниц ключ — достижений великих основа,— // Есть язык искушенных, умеющих взвешивать слово.*— Две сокровищницы — земная и загробная жизнь; постичь их и прославить может лишь поэтический язык.

Есть два друга у Друга, чья светлая сущность едина, // Все слова — скорлупа, а слова этих двух — сердцевина.— По мысли Низами, у бога есть два истинных друга: пророк и поэт, которые в состоянии познать божественную сущность.

Клювом глины ее исторгали.— Согласно Корану, человек создан из глины. Под клювом же подразумевается рот.

Стр. 219. *Он вдевает кольцо даже в ухо твое, небосвод!* — Низами говорит, что поэт способен своим искусством покорить даже небосвод, сделать его рабом (с кольцом в ухе).

То в ларец бирюзовый — уменья его и не взвесить! // Только шарик вложив, из него достает он их десять .—В этом бейте продолжение мысли о могуществе поэта, который может совершать чудеса: бросит один шарик в бирюзовый небесный свод и вынет оттуда десять.

Если конь его мчится и взлета страшна высота...— В этом бейте говорится, что в пылу поэтического творчества, когда уста поэта произносят высокие слова, душа стремится покинуть тело, чтобы поцеловать уста поэта.

Если речи поклажа для дерзостных станет добычей...— В этом бейте Низами осуждает бесталанных придворных поэтов, унижавших своими писаниями достоинство слова.

Стр. 220. *Тот, носивший парчу, тот, кто шаху казался любезным, // Все же в час неизбежный куском подавился железным.*— Придворные поэты, продававшие поэтическое слово шахам за презренный металл, нередко бывали удавлены, или же по приказу шахов им отрубали голову мечом.

Тот, кто был серебром, тот, кто к золоту ртутью не льнул, // От железа Санджара — ведь он — серебро! — ускользнул.— Тот, кто не льнул, словно ртуть, к могущественным шахам вроде Санджара ради золота, спасался от «железной» кары, ибо представлял собой серебро.

В небесах Близнецы не твоей ли оденутся тенью? — Если поэзия осенит человека, он возвысится так, что даже созвездие Близнецов окажется ниже него.

...«владеющий ладом в эмирстве речений — эмир».— Арабская поговорка, буквально означающая: «Воистину, поэты — эмиры», т. е. повелители речи.

Стр. 221. *Небосводу не надо к тебе наклоняться.*— Поэт призывает подлинных мастеров слова не опускаться, как не опускается небо, ибо лишь в этом случае сохраняется высокое достоинство поэзии.

Взвивший знамя подобное — шар у дневного светила // Отобрал...— «Отобрать шар» или «мяч» — идиоматическое выражение, возникшее из игры в човган (см. Словарь), означает «выиграть», «одержать победу».

Ведь с инжиром поднос стал ненужным для нас потому, // Что все птицы из сада мгновенно слетелись к нему.— В подлиннике сказано: «Инжирное дерево было бы опустошено, если бы всякая пташка лакомилась инжиром», что означает: если всякий рифмоплет мог бы творить прекрасные стихи, сладкие, как инжир, то поэзия давно бы оскудела, как инжирное дерево, ставшее добычей птиц.

Стр. 222. *Мне Гянджа — Вавилон, тот, которым погублен Харут.*— Поэт жалуется на то, что в своем родном городе Гяндже он словно в темнице, ибо здесь не ценят его творчества. Он сравнивает свое искусство с волшебством Харута (см. Словарь).

А Зухра есть Весы, потому что мне взвешивать надо // Речь духовную.— Зухра (Венера) считалась не только покровительницей, но и законодательницей искусств, обладающей непогрешимой мерой (весами) в оценке их достоинства.

О НАСТУПЛЕНИИ НОЧИ И ПОЗНАНИИ СЕРДЦА

Солнце бросило щит, и щитом черной тени земля // Пала на воду неба...— Т. е. когда солнце было побеждено натиском ночи, земля отбросила тень на небеса.

Стр. 223. *«Мир с неверными схож, потому-то и сделался черным!»* — По представлению мусульман, неверные в день Страшного суда предстанут с черными от стыда лицами.

То возьми ты взаймы, что отдать ты бесспорно сумеешь.— Т. е. возьми у природы столько красок, чтобы ты мог расплатиться равноценным произведением.

Стр. 224. *Пусть твой синий кувшин наши взоры утешит сполна...*— Т. е. пусть небесный кувшин таланта изливает струю прекрасных слов.

«Сердце — глина с водой».— Если б истина в этом была, // Ты бы сердце такое у каждого встретил села.— Сердце, по мнению Низами,— вместилище самых высоких помыслов, источник лучших душевных качеств. Эта мысль в дальнейшем неоднократно развивается и варьируется на протяжении поэмы.

Стр. 227. *Семь халифов блистали пред ярким лампадным огнем, // Словно семь повестей, заключенных в сказанье одном.*— Имеется в виду семь органов человеческого тела. В следующих стихах шесть органов перечислены под метафорическими названиями: красный всадник — печень; отрок — желчный пузырь; черный отрок — селезенка, войны — почки; мастер засады — желудок; аркан — кишки.

ПЕРВОЕ ТАЙНОЕ СОБЕСЕДОВАНИЕ
(О ВОСПИТАНИИ СЕРДЦА)

Стр. 228. *И наставник высокий, как будто смирял он коня, // От узлов девяти был намерен избавить меня.*— В оригинале сказано: «От узлов девяти небес освободил меня», т. е. наставник поэта освободил его от всех житейских и телесных уз.

На веревки конец он поставил уверенно ногу...— Речь идет об освобождении поэта от всех оков — телесных и житейских потребностей.

Стр. 230. *Травы змей ослепляли: всегда их слепит изумруд.*— По восточному поверью, ирис убивает, а изумруд ослепляет змей.

Стр. 231. *Белый тюрок жасмина и черный из Индии маг — // Свет звезды Йемена и веры неправедный мрак.*—Смысл двустишия: белый, словно тюрок (см. Словарь), жасмин сиял, подобно Йеменской звезде Канопус (см. Словарь), а черный в своей сердцевине, словно индиец, мак был чернее лица неправедных в день Страшного суда.

Воды белкой казались, и были они — горностай. // Горностай рядом с белкой — отрадою взора считай.— В оригинале: «Вода по мягкости напоминала горностай, // Но удивительно было, что горностай ласкал белку». Мягкость воды уподоблена поэтом меху горностая, окружающие луга — беличьей шкурке. Белка и горностай в природе не ладят между собой, а здесь берега реки и ее вода гармонично сочетались (уживались друг с другом).

Стр. 232. *На ветвях кипариса за раною новая рана: // Их когтит куропатка за смерть золотого фазана.*— По поверью, фазаны часто

умирали около кипариса: куропатка как бы мстит за это. В оригинале вместо куропатки — франколин (турач.)

Совы скрылись, ну что же, ведь это их рок обычайный. // Знать, погибли за то, что владели опасною тайной.— По поверью, совы знают местонахождение скрытых в развалинах кладов и убивший сову может якобы найти эти сокровища.

Стр. 233. *Как еврей, вся земля в ярко-желтом касабе.*— В средние века в мусульманских странах евреи, чтобы их отличали от мусульман, носили желтый кафтан (касаб) или же пришивали к одежде «гияр» — лоскут желтой ткани.

И земля вместе с влагой составила снадобье. Мгла // Благодатной земле все добытое вновь отдала.— В оригинале сказано: «Земля, изготовив из той воды лекарство (и выпив его), // Все проглоченное извергла обратно».

ПЛОД ПЕРВОГО ТАЙНОГО СОБЕСЕДОВАНИЯ

Сахар с розой она победила мгновенною схваткой.— Т. е. дыхание красавицы было ароматней розы и слаще сахара.

Стр. 234. *И в смятенье был месяц, узрев этот белый касаб.*— В тексте обыгрывается омонимичность слова «касаб», которое одновременно обозначает: 1) тонкое льняное платье и 2) тростник, камыш.

В ней и сахар и соль.— Соль — в персоязычной поэзии обозначала примерно: «изюминка», «прелесть».

Амбру с мускусом родинка в ракушке дня растирала.— Т. е. родинка ее источала такое благоухание, как будто эти благовония растирала в ямочках щек красавицы, которые сравниваются с ярким днем.

Стр. 235. *Многодневно чело на свои опускал я колени, // Чтобы нить путеводная злые рассеяла тени.*— Т. е. долго сидел, размышляя, склонив голову на колени.

ВТОРОЕ ТАЙНОЕ СОБЕСЕДОВАНИЕ
(О НОЧНОМ НАСЛАЖДЕНИИ)

Стр. 237. *Меньше перстня обычного стала душа Муштари.*— Т. е. Юпитер так завидовал пирующим, что его душа сжалась и стала меньше перстня (в тексте — завитка локонов).

Стр. 238. *Из комков красной глины бежал воскрешающий ключ.*— Т. е. сердце человека, сотворенного, по мусульманскому преданию, из глины, излучало благодать.

Стр. 239. *Растворилась калитка на вороте гурии. Свет, // Что нежнее зари, нежным взорам направил привет.*— Т. е. воротник красавицы распахнулся, и стала видна ее белая, сияющая грудь.

Жизнь той, что цвела на разостланном богом ковре...— Перевод далек от оригинала, смысл которого таков: прошедшая жизнь сохранилась в стихах Низами. Слух наслаждается, а глаза восхищаются ими.

Стр. 240. *И мой тюрок — мой месяц в касабе сверкающем, белом...*— В оригинале: «Моя тюрчанка, облаченная в белую ткань, словно луна».

Стр. 241. *Чтобы яхонт добыть, месяц роет небесный рудник!* — Под яхонтом имеется в виду Солнце. Луна подобно рудокопу, стремится добыть свет его лучей, чтобы сиять отраженным светом.

Перепрыгнув ручей, на мою оно душу напало...— Здесь и ниже поэт в метафорической форме сетует на наступление утра, разлучившего его с возлюбленной, под которой имеется в виду его сердце, духовная сущность.

Стр. 242. *И ночная змея светлый камень мне бросила в руки...*— По поверью, в голове змеи содержится небольшой твердый шарик, который служит противоядием от змеиного укуса.

Те, чьи взоры могли многоцветной достичь колыбели.— Т. е. достичь небосвода.

РЕЧЬ ПЕРВАЯ
О СОТВОРЕНИИ ЧЕЛОВЕКА

Стр. 243. *Он был сыном последним воздушным, летучих пери...*— Согласно мусульманским верованиям, до Адама аллахом были сотворены ангелы, архангелы и пери. Поэтому Адам считается «последним ребенком пери». Содержание бейта восходит к Корану.

Получил он от неба халифства величье...— Согласно мусульманским верованиям, Адам первоначально был создан, чтобы стать наместником аллаха на земле (халифом), но, поддавшись искушению, он впал в грех — съел в раю пшеницу. И хотя впоследствии он стал на верный путь с помощью покаяния и молитв, сделаться халифом он уже не мог.

«Он творцом был научен».— В Коране сказано: «И научил он Адама всем именам».

«Бог месил его глину».— В Коране сказано: «Он создал его из праха».

Он и чистый и мутный, хоть золото в нем засияло...— Поэт говорит, что сущность Адама мутная, потому что он создан из глины, и чистая, поскольку он обладает душой.

На предплечье его семь небес ниспослали запястье. // Две больших колыбели Адама баюкать могли...— Т. е. семь небесных сводов находятся под властью его десницы. Под двумя большими колыбелями — имеются в виду земля и небо.

Стр. 244. *В сорок дней он дитя; мир познанья младенцу не дорог. // Он — великий мудрец, если лет ему минуло сорок.*— По мнению поэта,

человек достигает совершенства в сорокалетнем возрасте. Но Адам достиг совершенства в сорокадневном возрасте.

Лишь один возмутившийся пасть не хотел перед ним.— Содержание этого и предыдущего бейтов восходит к стихам 28—35 главы 16-й Корана: «И вот сказал Господь твой ангелам: «Я сотворю человека из звучащей глины, облеченный в форму. А когда я выровняю и вдуну от Моего духа, то падите, ему поклоняясь». И поклонились ангелы все полностью, кроме Иблиса. Он отказался быть с поклонившимися... Сказал он: «Я не стану кланяться человеку, которого Ты создал из звучащей, из глины, облеченный в форму». Сказал Он: «Уходи же отсюда! Ведь ты — побиваемый камнями. И, поистине, над тобой — проклятие до дня суда».

Стр. 245. *И на тело его зной набросил пшеничную тень. // Как на лунном шагрене, на ней был заметен ячмень.*— Здесь образно говорится о том, что, после изгнания из рая, под палящими лучами солнца его кожа стала цвета соломы и покрылась пятнами ячменного цвета, подобно лунным пятнам.

Ячменю и пшенице ужель не постыла их ссора? — В оригинале этот бейт выглядит так: «Он прошел испытание прахом, подобно пшенице и ячменю, // Во имя твоего спасения, о ячмень в облике пшеницы!» — под «ячменем в облике пшеницы» поэт имеет в виду грешника.

К тяжкой жесткости сердца пшеничное клонит зерно. // Тяготенье к пшенице. К безумью приводит оно.— В этом и последующих бейтах поэт призывает своих читателей к довольству малым (ячменем, а не пшеницей), духовному совершенствованию.

Стр. 246. *От греха он бежал, и свой черный направил он лик...*— Согласно коранической легенде, Адам был изгнан на остров Сарандиб (Цейлон).

Но грехи синеву он с ладоней отмыл, и у ног // Новый злак он узрел. А индиго текло, как поток.— В оригинале сказано: «Когда его ладонь была отмыта от небесного индиго, // Под ногами его выросла трава цвета индиго». По легенде, Адам пробыл на Сарандибе сорок лет и в течение этого времени постоянно носил одежду цвета индиго, символизирующего траур и раскаяние. Наконец его перестала преследовать судьба (небеса) цвета индиго, и под ногами у него выросла трава цвета индиго (зеленый и синий цвета в средневековой поэзии нередко отождествлялись).

У хранителя рая сокровища взял он и, рай // Покидая, принес их в земной новонайденный край.— По мусульманской легенде, когда Адам находился в раю, хранитель сокровищ рая дал ему семена всех цветов и благородных человеческих начал. Изгнанный из рая на землю, Адам посеял все эти семена.

Стр. 247. *Будь водою ты легкой, которою славятся долы.*— Под легкой водой — поэт имеет в виду чистую воду, без примесей; под тяжелой — воду, содержащую примеси, мутную. Здесь и ниже поэт

излагает свои мысли о необходимости духовного совершенствования. В оригинале сказано: «Жемчужину тела в сухощавости находят», т. е. не надо быть тучным, тяжеловесным, ибо в тучном теле не остается места для духа.

ПОВЕСТЬ О ПАДИШАХЕ, ПОТЕРЯВШЕМ НАДЕЖДУ И ПОЛУЧИВШЕМ ПРОЩЕНИЕ

Стр. 248. *На крученье воды я бесплодный оставил расчет...*— В оригинале: «Образ (помощи от людей) я изобразил на воде»; здесь обыгрывается идиоматическое выражение, приблизительно означающее: «Помощь от людей была вилами на воде писана».

Стр. 249. *Брось потертый ковер...*— «Потертым ковром» назывался бренный, прогнивший мир.

РЕЧЬ ВТОРАЯ
НАСТАВЛЕНИЕ ШАХУ О СПРАВЕДЛИВОСТИ

Стр. 251. *Знай, крупица алмазная веры, ведущей из плена, // Камня магов грузней, хоть он был бы увесистей мена.*— Т. е. крупица веры ценней, чем целый мен (см. Словарь) золота, которое маги-алхимики пытались получить с помощью эликсира из различных металлов.

Тот, дающий припасы — ну, трудно ли нам это взвесить? — // Взяв припас твой единый, припасов пошлет тебе десять.— Имеются в виду припасы на дорогу в «загробный мир» — добрые, богоугодные дела, направленные на благо людей.

Стр. 252. *Это — желтый мышьяк иль подобие блещущих кукол. // Что явил небосвод,— тот, кто жизнью людей убаюкал.*— В оригинале: «Этот желтый мяч стал отравленной куклой из мышьяка». Здесь подразумевается солнце, а в следующем бейте говорится: «*Все — игра этой куклы*», т. е. поэт призывает отречься от благ этого мира, всего, что под солнцем. Далее, солнце сравнивается с лампадой, а душа — с мотыльком, сгорающим в огне. Низами называет блеск мира «ничтожным огнем», перед которым нельзя «бросать щит», т. е. сдаваться на милость его соблазнам.

К той завесе, к которой Иса возлетел без усилья...— Иса (Иисус Христос), по мусульманскому поверью, находился в четвертой сфере небосвода, так же как и солнце.

ПОВЕСТЬ О НУШИРВАНЕ И ЕГО ВИЗИРЕ

Стр. 255. *Следуй солнечным всадникам...*— В оригинале: «Ты ищи тень для солнечных всадников». Речь идет о тружениках, которые встают вместе с солнцем и работают до заката.

РЕЧЬ ТРЕТЬЯ
О СВОЙСТВЕ МИРА

Стр. 257. *Ведь всегда молодым оставался прославленный Сам, // Хоть склонял свои взоры он к сына седым волосам.*— В «Шах-наме» Фирдоуси отец легендарного богатыря Рустама — Зал родился с белыми волосами. Посчитав это за плохое предзнаменование, его отец Сам велел отнести младенца на вершину горы, где обитала легендарная птица Симург (см. Словарь), и оставить там. Симург спас и воспитал Зала, который впоследствии стал могучим богатырем. Согласно легенде, Сам жил много столетий.

На двуцветном ковре быстросменного мира...— Двуцветный ковер — двуликий мир, где день сменяется ночью.

Стр. 258. *Шип, приязненный розе, не будет содействовать злу. // Даже он аромат гиацинту насыплет в полу.*— Как указывает один из средневековых комментаторов, существует вид колючек, вокруг которых будто бы обвиваются стебли гиацинтов, и от этого колючки начинают источать аромат. Смысл бейта: даже шипы, будучи близки цветку, обретают аромат.

Так воскликнет пустыня, своей не осилив тоски: // «Я злодейств не свершала. Мои неповинны пески...» — В оригинале: «Не сыпьте песок на (лобный коврик), ибо я не проливала (чужую) кровь». «Сыпать песок на лобный коврик» — метафорическое выражение, обозначающее «казнить». Во время казней, совершавшихся во дворцах в присутствии правителей, на пол стелили кожаный коврик (нат), на который сыпали песок, чтобы кровь казненного не запачкала пол. Смысл этого и последующих бейтов таков: пустыня говорит, что она никого не губила, а, наоборот, выстрадала воду, заключенную в ее груди, испытала горести, выпадающие на долю страждущих, и тем самым добилась близости к праведникам и райским гуриям.

ПОВЕСТЬ О СОЛОМОНЕ И ПОСЕЛЯНИНЕ

Стр. 259. *И случилось, что ветер светильник задуть захотел.*— В оригинале: «Его дуновение (дыхание) достигло одной лампады». Здесь иносказательно сказано: царь приблизился к одному смертному (землепашцу).

Стр. 260. *Но все тайны зерна и все тайны творящего лона // Говор птиц сделал внятными слуху царя Соломона.*— По легенде, царь Соломон владел языками всех птиц, рыб и зверей. Метафора, связанная с зерном, основана на том, что птицы при виде зерна оживленно щебечут.

Стр. 261. *Что пожрет муравей? Саранчовую ножку одну.*— Намек на легенду о том, что однажды во время праздника дароприношения, когда все явились к Соломону с подарками, он не придал особого значения драгоценным и диковинным дарам, а больше всех похвалил усердие муравья, который принес ему ножку саранчи.

РЕЧЬ ЧЕТВЕРТАЯ
О БЛАГОЖЕЛАТЕЛЬНОМ ОТНОШЕНИИ ШАХА К ПОДДАННЫМ

Рабию ты припомни; она ведь в пустыне однажды // Разлучилась с косой для собаки, понурой от жажды.— Согласно легенде, Рабия, благочестивая женщина из г. Басры, однажды увидела в пустыне собаку, умиравшую от жажды. У нее не было под рукой веревки, поэтому она отрезала свои длинные красивые косы, изорвала одежду, привязала к косам и опустила в колодец, а затем, выжав, напоила собаку.

Стр. 262. *Мысли зорких грозят. Все подверглись их мощному сглазу.*— В этом и последующих бейтах употреблено слово «химмат», что означает «магнетизм», «внушение» (гипноз), здесь оно передано переводчиком как «сглаз».

...ему подвергался Махмуд.— Могущественный представитель династии Газневидов неоднократно совершал походы в Индию, где грабил богатейшие храмы. Согласно легенде, он во время одного из походов тяжело заболел, так как его «сглазили» маги-жрецы этих храмов.

ПОВЕСТЬ О СТАРУХЕ И СУЛТАНЕ САНДЖАРЕ

Стр. 264. *Нет, ты больше не тюрк, ты, я вижу, индусский грабитель.*— Индус в классической восточной поэзии традиционно служил символом тайного похитителя.

Стр. 265. *Что же стало с Санджаром, что встарь захватил Хорасан? // Знай: не внявшему старой — урок был губительный дан.*— Султан Санджар (1117—1157) — последний великий султан из династии Сельджуков, завоевал область Хорасан и другие земли, достиг могущества, однако потом потерпел поражение и несколько лет провел в плену у одного правителя из династии Гуридов.

Где теперь правосудье? Все черным бесправьем объято. // Знать, на крыльях Симурга оно улетело куда-то.— Сказочную птицу Симург никто никогда не видел. По легенде, она обитает на недоступных вершинах горы Каф (см. Словарь). Т. е. поэт говорит, что в его эпоху нельзя отыскать правосудие, как нельзя увидеть Симурга.

РЕЧЬ ПЯТАЯ
О СТАРОСТИ

Стр. 267. *В час, как пламень твой жаркий, смирясь, вкусил камфары.*— Камфара — символ белизны и ледяного холода.

И стирать и окрашивать — все это как бы одно. // Там, где солнце живет, и мессии жилище дано.— В этом и следующих бейтах содержится сложная метафорическая фигура. По легенде, одно из чудес, творимых Исой (Иисусом Христом), которого также называли масихом (мессией), заключалось в том, что он наполнял кувшин краской одного цвета, извлекал оттуда краску другого, нужного ему цвета, а солнце и Иса оба находятся в четвертой небесной сфере, и это не случайно,

ибо ремесло прачечника-солнца подобно ремеслу красильщика-Исы. Солнце любой цвет превращает в белый, подобно тому как прачка, стирая рубашку, отбеливает ее.

Ты, как радостный день и как ночь, что угрюма,— не будь, // Ты зараз черным зинджем и жителем Рума не будь.— Т. е. не будь двуликим, одновременно подобным и черному негру (зинджу), и жителю Рума (Византии). Эта мысль аллегорически развивается в последующих бейтах.

Стр. 268. *Если в этой гробнице бесчисленных узников жар...*— В оригинале употреблено слово «дахме», которое можно перевести как «склеп», «башня молчания». Этим словом обозначалась также площадка на возвышении, где огнепоклонники-зороастрийцы оставляли, согласно обычаю, тела покойников. Под «гробницей» подразумевается земля, а люди уподоблены узникам.

РЕЧЬ ШЕСТАЯ
О СВОЙСТВАХ СОТВОРЕННОГО

Стр. 270. *Тех, что мчатся по кругу, что будто бы в вечной погоне, // Лишь для нас оседлали. Для нас эти синие кони.*— Синие оседланные кони — небесные своды, созданные творцом для людей. Содержание двустишия взято из 19-го стиха 31-й главы Корана: «Разве вы не видели, что аллах подчинил вам то, что в небесах и на земле...»

Стр. 272. *Мускус держится в жестком. Подумай-ка: будет ли толк, // Если мускус рассыплется. Что ему нежащий шелк!* — Мускус хорошо сохраняется в кожаных мешках, а когда его перекладывают в шелковые мешочки, он начинает испаряться.

Будь порою в стенаньях кровавым рубином зари // И затем над зарею рассветом блаженным гори.— В оригинале сказано: «Порой ты, словно ночь, будь подковой (коня) утра, // Порой же будь мишенью для стрел утренних стонов». «Стрелы утренних стонов» — молитвы, которые с рассветом возносят верующие аллаху.

К ценным кладам приводят свирепые, злые драконы...— По поверью, зарытые клады охраняют драконы и змеи.

Стр. 273. *Звездный рок над тобой — не всегда преисполнен он зла — // Не завяжет узла, не распутав другого узла.*— Т. е. вслед за бедствием судьба посылает радость.

ПОВЕСТЬ О СОБАКЕ, ОХОТНИКЕ И ЛИСИЦЕ

Стр. 274. *Мясом жирных лисиц наслаждаться не будешь.*— Это надо понимать не буквально, ибо есть мясо лисицы у мусульман считается кощунством. Смысл слов лисицы таков: «Тебе не удастся больше продавать лисьи шкуры и на вырученные деньги питаться жирным мясом».

Стал Иосифом волк...— Под волком имеется в виду собака, которая исчезла так же вдруг, как пропал Иосиф Прекрасный (см. Словарь), брошенный в колодец.

Стр. 275. *Глянь, в колодках лиса — не твоя ли уверенность это?* — Т. е. ты верил в мое возвращение, и эта вера сделала так, что я вернулась, и лиса стала твоей добычей.

РЕЧЬ СЕДЬМАЯ
О ПРЕВОСХОДСТВЕ ЧЕЛОВЕКА НАД ЖИВОТНЫМИ

Стр. 277. *Хоть жемчужины эти — ничто перед морем твоим,// «О жемчужины мира!» — порой обращаюсь я к ним.*— Здесь жемчужины — все живые существа.

Те, кого ты обуешь, дадут тебе шапку за это, //Чью-то тронешь завесу — твоя будет также задета.— Т. е. заденешь чью-то честь, причинишь кому-то вред. В последующих бейтах поэт несколько раз обыгрывает понятие «завеса» в различных значениях.

Те завесой укрытые, те, что миры создавали,— // Многозвездной завесою тайну твою закрывали.— Поэт говорит о божественных силах, о вершителях судеб мира.

Стр. 278. *Надо сердце забыть, коль оно разлюбило завесу. // Не внимай ничему, что навек позабыло завесу.*— Здесь имеется в виду завеса веры (ислама).

Чище светлой души станет тело твое, только надо, // Чтоб его сорок дней окружала темницы ограда.—Низами говорит, что с помощью подвижничества, поста человек может сделать свое тело чище, чем душа. Содержание бейта восходит к известному изречению, приписываемому пророку Мухаммеду: «Тот, кто предавался аллаху в течение сорока дней, обрел созревшие плоды мудрости».

ПОВЕСТЬ О ФАРИДУНЕ И ГАЗЕЛИ

Стр. 280. *Бубен видит владыка и ждет он отрадного лада. // Лишь ладони играющих — радость для шахского взгляда.*— В оригинале этот бейт гласит: «На взгляд великих некрасиво будет, // Чтобы руки бубнистов били по нежной коже этой газели», т. е. достойные, мудрые люди сочли бы недостойным, чтобы из шкуры этой газели сделали бубен.

Быть с клеймом вознесенных — завидный и сладостный рок. // Ведь с клеймом вознесенных и сам ты безмерно высок.— Вознесенные (букв. возвышенные) — благородные люди, мудрецы. «Клеймо» в первой строке означает страдания, подвижничество, очищающие и возвышающие человека, а во второй строке употреблено в прямом смысле, в значении «тавро».

Много ладов имея, сокровищ немало храня, // Как служения пояс, лежит возле кладов змея.— Смысл строки сводится к тому, что змея, уподобившись поясу служения, указывает на место, где спрятан клад, и если человек опояшется для служения ближнему, то он тоже обретет сокровище — духовное величие.

РЕЧЬ ВОСЬМАЯ
О СОТВОРЕНИИ

Стр. 281. *Перед тем, как вещавшие жизни великой приход // Насладились водой из великого моря щедрот...*— В оригинале: «Намного раньше самых ранних (представителей) бытия». Имеются в виду десять ступеней разума, которые, по теории Аристотеля, существовали между бытием и небытием.

Не кончался еще промедленья безмерного срок, // Еще кукол никто из-за синих завес не извлек.— Т. е. никакие живые существа еще не были сотворены богом, говорит поэт.

Стр. 282. *И лучам Близнецов было сладко сияньем играть. // Вы в сиянье, врачи, не могли нашу кровь отворять.*— В оригинале: «Созвездие Близнецов, которое было опоясано, // Не было озабочено кровопусканием из твоей опухоли». По представлению средневековых астрологов, созвездие Близнецов, видимое в третьем месяце солнечного календаря (22 мая — 22 июня), приносит с собой сильные ветры, и в этот сезон больных лечили кровопусканием. Смысл бейта: ты, человек, еще не существовал, и созвездие Близнецов, опоясанное для служения Господу, не было озабочено тем, чтобы пускать тебе кровь, исцеляя от недомоганий.

Если месяц, плывя, становился на миг темноликим, // Не срамили его медным грохотом, шумом великим.— Раньше во время затмения Луны было принято бить в медные тазы, чтобы громким шумом отогнать злых духов, повинных, как думали, в затмении.

И восход поднял ты, и повел ты его на закат, // Создал истину зорь и рассвет, что обманывал взгляд.— В оригинале: «Светоч утра ты донес до вечера // И прозвал их: «Верный» и «Лживый». «Светоч утра» — солнце; «Верный» — ясное утро: «Лживый» — предрассветный сумрак.

Стр. 283. *Ты в безумье великом. Для разума всюду помеха // Из-за этих небес — из-за серого цвета ореха.*— В этом и последующем бейтах сложная метафорическая фигура. В оригинале: «Масло твоего мозга, что похоже на ртуть, // Замерзло из-за этого ореха цвета белки. // До того как он изготовит тебе тесную, как у ореха, обитель, // Оставь ты этот орех цвета серой белки». По представлению средневековых восточных медиков, охлаждение мозга служило причиной безумия, а орехи использовались тогда в медицине как охлаждающее средство. Отсюда смысл бейта: холодный (подобный ореху) небосвод охладил твой мозг, и ты сошел с ума, погнавшись за благами земной преходящей жизни; оставь эту мишуру, которой хочет завлечь тебя серый, как белка, и круглый, как орех, небосвод (судьба); он готовит для тебя тесную, как орех, обитель (т. е. могилу).

Чтобы жажды не знать...— В оригинале: «Чтобы не знать жажды, будь ты мудрым. // Подобно тростниковой магнезии, сожги весь свой

урожай». Смысл бейта: лучше ты сожги свои страсти, подобно тому как сжигают урожай тростника, чтобы получить табашир (порошок окиси магния), который в средневековой медицине использовали для утоления жажды.

Пред тобой семь столов...— Т. е. семь небесных сфер.

РЕЧЬ ДЕВЯТАЯ
ОБ ОСТАВЛЕНИИ МИРСКИХ ДЕЛ

Стр. 285. *Снедь на завтрашний день ты сегодня, о друг, посылай.*— Под «снедью», «поклажей» поэт подразумевает добрые, богоугодные дела, которые надо творить здесь, на земле до переселения в иной мир.

Стр. 286. *Девяти звездных школ раскрывающий тайны абджад.*— Т. е. раскрывающие тайны девяти небес.

Стр. 287. *В дни, когда на земле ты еще не томился, печален, // И служил не тебе этот мир безнадежных развалин...*— Т. е. в то время когда существовал еще только твой дух, не соединенный с телесной оболочкой.

РЕЧЬ ДЕСЯТАЯ
О КОНЦЕ МИРА

Эта глава написана под непосредственным влиянием предсказаний астрологов, объявивших в 1176 г., что в результате сближения Марса и Сатурна в созвездии Весов летом 1186 г. произойдет грандиозная катастрофа и жизнь на Земле погибнет. Многие поверили в это предсказание и даже готовили себе убежища; верил сначала в это предсказание и Низами, но уже в 1181 г., когда он писал поэму «Хосров и Ширин», он высмеял в ней астрологов и их пророчества.

Действительно, летом 1186 г. в предсказанный день ничего не случилось и стояла прекрасная погода.

Стр. 290. *Будет страшно земле сотрясение Судного дня.*— Имеется в виду Коран (22,1): «О люди, бойтесь Господа Вашего! Ведь сотрясение последнего часа вещь великая».

И земля, обезумев, сорвется с небесных цепей.— Сумасшедших во времена Низами сажали на цепь, этим обычаем рожден поэтический образ.

Стр. 292. *Пусть высоко взойдет, сыпля золото, мощный, по хмура // Будет участь его: смертный час наступил и для Гура.*— Имеется в виду Бахрам-гур (см. Словарь), могущественный царь из династии Сасанидов. В стихе обыгрывается значение слова «гур»: 1) онагр; 2) могила.

Пребывай в этом доме, где заперты окна и двери, // Что на пользу болящим, по слову старинных поверий.— По поверью, свет плохо действует на эпилептиков (безумцев), поэтому их держали в темных помещениях.

Водяным колесом купол неба поднялся...— Имеется в виду гидравлическое колесо, при помощи которого подавали воду в каналы и арыки. Здесь оно сравнивается с небосводом.

Стр. 295. *Ты — не пес, не тебе предназначен ошейник Плеяд...*— По представлению средневековых астрономов, созвездие Плеяд служило ошейником созвездия Большого Пса. Смысл бейта: не возлагай на себя непосильную задачу.

Горький мир ты вкушаешь, хаджа! Разве есть в нем услада? // Не с тобой Низами: для меня его больше не надо.— В оригинале — непереводимое идиоматическое выражение. Горевать — по-персидски «андох хордан», что буквально значит «пить горе». Смысл бейта: вельможный господин, не горюй из-за мирского, не пей из чаши горестей, если же ты осушишь эту чашу, то долю Низами вылей на землю.

РЕЧЬ ОДИННАДЦАТАЯ
О НЕВЕРНОСТИ МИРА

Стр. 296. *С головою утонет в кольце ненадежного мира.*— В оригинале обыгрываются значения слова «ангушт»: 1) палец; 2) кусок. Смысл бейта: кто отведал хоть толику яств этого мира, тот стал его рабом, подобно кольцу на руке, которое является бессловесным слугой пальца.

В дальний путь ты идешь, так иди в этот путь спозаранок. // Снедь в дорогу сбирай, и сбирай ты ее для стоянок.— Т. е. запасайся припасами из добрых, богоугодных дел.

ПОВЕСТЬ О ПРОЗОРЛИВОМ МОБЕДЕ

Стр. 298. *Царь прекрасного замка во мрак синагоги ушел.*— Т. е. соловей покинул сад и переселился куда-то на окраину, где обычно находились синагоги.

РЕЧЬ ДВЕНАДЦАТАЯ
О ПРОЩАНИИ СО СТОЯНКОЙ ПРАХА

Стр. 300. *Коль с верблюдом ты схож,— запляши: ведь пустыня видна. // Если нет — то дабу не бросай ты под ноги слона.*— В средние века, обучая боевых слонов, им под ноги бросали чучела людей и животных (дабу) и таким образом обучали топтать их во время сражения. Смысл бейта: если ты сумел обуздать свои страсти, расставайся с ними весело (в пляске); если же нет — то не топчи чувства и выгоды других, подобно боевому слону.

Стр. 301. *Ты, куда б ни пришел, не всегда предавайся доверью. // Дверь ты должен запомнить, чтоб этой же вышел ты дверью.*— Парафраз поговорки: «Подумай о выходе, прежде чем войти».

РЕЧЬ ТРИНАДЦАТАЯ
О ПОРИЦАНИИ МИРА

Стр. 305. *Как светильник, сжигай пышноцветную розу Джафара.*— Цветок Джафара — самое чистое золото. Могущественный визирь халифа Харуи ар-Рашида (783—809) Джафар Бармекид велел чеканить монеты из чистого золота. Смысл этого и последующих бейтов: золото блага мира — это тщета, отрава (мышьяк), не копи их, щедро раздавай.

Стр. 306. *Хоть бы камнем дамасским проверено золото было...*— Пробные камни, определявшие чистоту золота с высокой точностью, изготавливались в Дамаске.

ПОВЕСТЬ О ХАДЖИ И СУФИИ

Стр. 308. *Всю добычу он съел, не оставил себе и тавра...*— Т. е. он потратил все до копейки, подобно тому как съедают закланное животное, вплоть до последнего куска шкуры, на котором стоит тавро.

Столп достоинств моих и рукни искрометного шквал.— Золото рукни — монеты высокой пробы, которые чеканились именем Руки ад-Дина, правителя Дейлема (Иран). В стихе обыграна омонимия его имени, означающего «опора веры» и слова «руки» (столп, опора).

Стр. 309. *Но, притворщик, скажи: «Мне отшельником быть не с руки».— // И рукою своей ты чужие не трогай мешки.*— В оригинале: «О двуликий, словно небосвод, воздержи руку // От (девиза) «короткий рукав» и вымогательства...» Суфии носили рубища с короткими рукавами, что символизировало отречение от мирских благ. «Укорачивай рукава» — идиоматическое выражение, означающее: «Откажись от всего земного». Смысл бейта: о суфий, отрекись от своего лицемерного девиза, не протягивая руки к чужому добру.

Богдыхана запястье никто не дарует псарю.— Здесь запястье — браслет.

Постигая весь мир, проходя его многие долы, // Я узнал: из-за сладости ведают бедствия пчелы.— Мед сладок, поэтому и грабят пчелиный улей.

Разве водные птицы, скажи, догадаться могли бы, // Что цветные чешуйки являются бедствием рыбы? — Чайка сверху различает рыбу по блестящей чешуе и ловит ее.

РЕЧЬ ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ
ПОРИЦАНИЕ БЕСПЕЧНОСТИ

Стр. 310. *Разум светлый — мессия; всегда он к познанию вел. // Без него ты — погрязший в дорожную глину осел.*— Имеется в виду осел Мессии — Иисуса Христа, на котором он въехал в Иерусалим.

Стр. 311. *Ты «алиф», что влюблен в свой высокий пленительный стан, // Ты безумною страстью к себе самому обуян. Коль с «алифом» ты схож,— птицей будь, потерявшею крылья. // Ты склонись буквой*

«ба», своего не скрывая бессилья.— В этом и последующих бейтах обыгрывается написание букв арабского алфавита. «Алиф» изображается прямой вертикальной чертой, а буква «б» изображается коротким значком, напоминающим человеческую фигуру, склонившуюся в поклоне.

Стр. 312. *Твой пророк от тебя мигом скроется, будто бы тень.*— Намек на то, что пророк Мухаммед, по преданию, не имел тени, так как сам излучал яркий свет.

Мы в тени трепетанье источника видим живого.— По преданию, источник живой воды находится во мраке подземного царства.

Солнце таз золотой на воскресшем зажгло небосклоне, // Чтоб омыть от себя ты свои смог бы тотчас ладони.— Под солнцем здесь и далее подразумевается душа, которая помогает очиститься от скверны.

РЕЧЬ ПЯТНАДЦАТАЯ
ПОРИЦАНИЕ ЗАВИСТНИКОВ

Стр. 315. *Весь в цимбалах ковер, плясунов же, как видно, не стало.*— Смысл этого бейта: в мире много поэтов, но мало людей, понимающих их возвышенное творчество; море бытия полно жемчужин божественной благодати, но нет умеющих нырять, чтобы достать эти жемчужины.

Стр. 316. *Говорят, будто камень, когда ему много веков, // Может яхонтом стать, но иных я знавал стариков.*— Здесь и далее Низами говорит о старых придворных поэтах, которые завидовали его таланту и преследовали его.

Стр. 317. *Не в воде ли вся ракушка, все же нам ведомо: нужен // Только вес малой капли для лучшей из лучших жемчужин.*— По поверью, жемчужина возникает во чреве раковины от дождевой капли, проникающей сквозь толщу воды.

РЕЧЬ ШЕСТНАДЦАТАЯ
О БЫСТРЕЙШЕМ ПРОХОЖДЕНИИ ПУТИ

Стр. 320. *Не склоняйся, не гнись пред каким-нибудь магом лукавым, // Не стремись быть хатиба мечом, притупленным и ржавым.*— Одним из атрибутов хатиба (см. Словарь) был меч, который никогда не извлекался из ножен и был только украшением.

Чти чиханье Адама — дошло до мессии оно.— По мусульманской традиции, Джабраил (архангел Гавриил) уловил и спрятал «первое чихание» Адама и впоследствии вдул его в рукав девы Марии, которая зачала от этого Иисуса Христа.

Тальком будь — и в аду не истлеет твоя лепота.— Тальк — огнеупорный минерал.

Стр. 322. *В уголке не сиди ты с какими-то нищими вместе, // Действуй в первом ряду ради славы и подлинной чести.*— Здесь и в предыдущих бейтах Низами, говоря о богатстве, могуществе, имеет в виду богатство духовное. Смысл бейта: не общайся с нищими духом, ищи себе подобных среди мудрецов и подвижников.

Под четой Близнецов для удачи родись ты на свет // И орех расколи: обещает он счастье иль нет? — Созвездие Близнецов по-персидски «джауза») означает «орехи». В оригинале обыгрываются два значения этого слова. По поверью, человек, рожденный под знаком Близнецов (22 мая — 22 июня), должен стать богатым, умным и счастливым. Древние цари, обладавшие многочисленным потомством, назначали себе наследников следующим образом: раздавали своим сыновьям равное число орехов, и они по одному разбивали их. У кого оказывалось больше орехов с ядром (не пустышек), того считали рожденным под знаком созвездия Близнецов (Ореха) и провозглашали престолонаследником.

Простодушна вода, что веселой волной притекла. // Что к огню из страны, где узлистый алой, протекла.— Поэт говорит о том, что вода проста нравом, поэтому никто ей не причиняет вреда, а узловатое алоэ из-за своей шероховатости достается огню — его сжигают в курильницах.

И в «скрижалях достоинств», в двух книгах писцов девяти...— Под девятью писцами имеются в виду девять небесных сфер, о которых шла речь выше; две книги — день и ночь; скрижаль достоинств — летопись судьбы, куда якобы записываются все добрые деяния и проступки людей.

РЕЧЬ СЕМНАДЦАТАЯ
О ПОКЛОНЕНИИ И УЕДИНЕНИИ

Стр. 324. *Говорящая «я» в оболочке земной заперта.— // Но безмолвствуй о тайне! Предел говорящей — уста.*— В оригинале буквально сказано: «Об этом «я» и речей о «я», заключенных в этой колодке (т. е. теле). Никогда не говори, ибо они могут продолжаться лишь до тех пор, пока дыхание не достигнет губ». Идиоматическое выражение «дыхание достигло губ» обозначает «жизнь достигла предела», т. е. ты можешь кичиться своим «я» лишь до наступления смерти.

Стр. 325. *Не стервятник же ты, ведь не станешь дохлятины жрать,— // Стань же вороном — кровью не следует ног обагрять.*— «Дохлятина» — земные блага, богатство. Лучше быть вороном, не проливать ничьей крови, и тогда твои ноги не будут запачканы (у ворона ноги черные, а не красные).

Круглым хлебцем одним удовольствован день...— Круглый хлебец — солнце.

Стр. 326. *Сердце ж — словно осока, в нем око страдает от ос.*— В оригинале: «Сердце, подобное базилику, станет щитом для горестей». В тексте игра слов, основанная на сходстве слов «сэпэргэм» (благоухающий базилик) и «сепэр-и гэм» (щит; здесь — мишень для стрел горя). Смысл бейта: от обжорства ум убывает, а благоухающее, как базилик,

сердце того, кто воздержан в еде, становится щитом, оберегающим тебя от горестей.

Куропатка ж хохочет, сама себе рот затыкая.— Поэт говорит, что квохтанье куропатки напоминает смех. Этим квохтаньем она выдает себя, и охотник затыкает ей рот стрелой.

В гореванье горенье со смехом во время горенья: // Человеку и молнии жизнь превращают в мгновенье.— В оригинале: «Горение и смех, подобно молнии. // Делают жизнь короткой, как у искры». Молния, ее блеск здесь уподоблены улыбке (смеху). Смысл бейта: неуместный смех укорачивает жизнь и заслуживает осуждения. Эта мысль развивается и далее.

Стр. 327. *Хоть богат караван, колокольчик не радует слуха.*— Отправление каравана в классической восточной поэзии являлось символом перекочевки в иной мир, о чем возвещает звон бубенцов, «не радующий слуха». Всякое благо имеет и свою оборотную сторону, говорит поэт.

ПОВЕСТЬ О СТАРЦЕ И МЮРИДЕ

Стр. 328. *Благочестье в султанской одежде, расшитой богато, // Это — царь Соломон, мастеривший корзины когда-то.*— По преданию, царь Соломон, обладавший неисчислимыми богатствами и неограниченной властью, научился плести корзины и сам удовлетворял свои неприхотливые нужды.

Та свеча восковая, что золото сыплет во тьму,— // Это скрытый аскет, только сбросить бы роскошь ему.— В сердцевине свечи скрывается шерстяной фитиль, подобно тому, как под одеждой у аскета — власяница.

РЕЧЬ ВОСЕМНАДЦАТАЯ
В ОСУЖДЕНИЕ ДВУЛИЧНЫХ

Стр. 329. *Горячи они,— все же прохладней, чем печени их,// Хоть живые,— мертвы и сердец холоднее своих.*— Т. е. двуличные горячи только внешне, а души у них холодны.

Стр. 330. *Много смесей душистых — да мало мозгов у людей.*— Здесь под «мозгами» подразумевается орган обоняния. Т. е. много благоуханных смесей, но мало людей, могущих по-настоящему оценить их аромат.

ПОВЕСТЬ О ДЖАМШИДЕ И ЕГО ПРИБЛИЖЕННОМ

Стр. 331. *Раз явилась старуха к нему. Удивительно ей // Что тюльпаны его ее роз престарелых желтей.*— Т. е. его щеки были бледней ее морщинистых ланит.

Стр. 332. *Лучше это лицо ты монетою желтой зови,— // Хуже всей голове потонуть по заслугам в крови.*— Т. е. пусть лучше лицо твое пожелтеет, словно золотая монета, нежели ты вовсе лишишься его (потеряешь голову). Желтый, т. е. бледный цвет лица — признак смертельной болезни.

Стр. 333. *Те глаза и язык, что с наружною жизнью дружны, // Словно лишняя кожа иль волос, срезаться должны.*— Т. е. глаза и язык, постигшие лишь внешнюю оболочку явлений, можно безболезненно отсечь: дух от этого не пострадает.

Коль любовь за завесой становится чуду подобной, // То лишь выйдет наружу — и похотью станет трущобной.— Смысл бейта: подлинную любовь надо хранить в тайне; когда чувство выставляют всем напоказ, это уже не любовь, а удовлетворение низменных страстей.

...трепальщика нить расщипали на хлопок...— Трепальщик — прозвище Мансура Халладжа (X в.), мистика и одного из основоположников суфизма. По этому учению, весь видимый мир является эманацией божественной субстанции и человек — частица ее. Рассуждая подобным образом, Халладж пришел к выводу: «Я есть бог». За это с него заживо содрали кожу (расщипали на хлопок). Осуждая Халладжа, который публично провозглашал свое учение, Низами тем самым хочет сказать, что его взгляды не имеют ничего общего с учением суфиев (см. Словарь.).

Тайн завесой облек свою душу цветок нераскрытый. // Но, развернув уста, погибает он, кровью залитый.— Подразумевается роза. Пока роза не распустилась, никто ее не трогает, но как только она раскрывается, ее срывают.

РЕЧЬ ДЕВЯТНАДЦАТАЯ
О ПРИЯТИИ ЗАГРОБНОЙ ЖИЗНИ

Стр. 334. *Посмотри, как хорош этот чинный придворный прием, // Как приятен для глаз — словно свет полнолунья на нем.*— Здесь и ниже поэт в иносказательной форме дает описание будущей загробной жизни, уподобляя ее роскошному пиру.

Стражи горних палат...— В оригинале — хранители чертога веры, т. е. пророки.

Стр. 335. *Не вступай в эту келью, подумай, в том будет ли толк.— // Все равно ты обязан вернуть, что получено в долг.*— Под кельей имеется в виду бренный мир, который, говорит Низами, все блага дает человеку только в долг.

Если б не был благим из обители праха уход, // День и ночь, обращаясь, не стал бы сменять небосвод.— Т. е. отправиться в путь в «загробный мир», покинув эту землю.— доблесть, иначе небосвод не стал бы обращаться день и ночь вокруг земли.

Стр. 337. *Я как ангел взнесен, хоть во мне и земная природа, // Я сраженье веду на другой стороне небосвода.*— Т. е. возвысился над небосводом.

Стр. 338. *Утром вновь испытал он слугу, но остался ни с чем: // Был все тем же чеканом чеканен фальшивый дирхем.*— Т. е. цирюльник по-прежнему вел нелепые речи, не соответствующие его положению.

Стр. 339. *На сокровища став, что до срока таиться должны, // Всякий станет речист, отмыкает он двери казны.*— Т. е. придворные поэты начинают извлекать слова из поэтической сокровищницы лишь тогда, когда властители одаривают их сокровищами из казны. В следующем бейте поэт заявляет, что сам он не таков: «*Казна Низами всем открыта, кто ищет совета*».

РЕЧЬ ДВАДЦАТАЯ
О ЗАНОСЧИВОСТИ СОВРЕМЕННИКОВ

Покорили мы ангелов наших, им путы надев...— Имеются в виду два ангела — Ракиб и Атиб, которые, по представлению мусульман, будут сидеть слева и справа от каждого восставшего из могилы в день Страшного суда. Один из них будет перечислять добрые деяния, совершенные человеком при жизни, а другой — его пороки, дурные дела.

Стр. 340. *Прахом сердца ты стань, ибо верность лишь там обитает, // Только в сердце одном справедливости роза взрастает.*— Т. е. покорно служи своему сердцу.

Стр. 341. *Абрис верности их нарисован на тающем льду, // Даже солнце с луной эти люди хулят на ходу.*— Т. е. эти завистники (придворные поэты) считают верность чем-то невероятным, реально не существующим.

Людям с печенью плотной, подобной инжирине спелой, // Подают они уксус, даваемый гроздью незрелой.— Люди с плотной (созревшей) печенью — люди умудренные, зрелые мастера своего дела; уксус обозначает здесь «кислое выражение лица». Смысл бейта: завистливые придворные одописцы при виде зрелых мастеров делают кислое выражение лица, говорят им «кислые» (грубые) речи.

Для слепого что капля могучего Тигра струя, // И нога саранчи тяжеленька для лап муравья.— Подобно тому, как слепой не в состоянии представить величие реки Тигр и воспринимает ее на ощупь как каплю воды, эти ослепленные завистью одописцы не способны оценить величие истинного таланта они подобны муравью, которому и нога саранчи кажется громадным столбом. Намек на известную притчу о царе Соломоне и муравье.

Стр. 342. *Знамя Хызра, развейся! Зови нас на поприще боя! // На священную брань! На неверных — с молитвами Ноя!* — Согласно легенде (изложенной в поэме Низами «Искандер-наме»), Хызр (см. Словарь) был знаменосцем Александра во время его похода в подземное царство в поисках живой воды. Ной своими молитвами вызвал всемирный потоп, в котором погибли все грешники.

Стр. 343. *Не болтай о великих стихах, повторяй их в уме, // Или, как Низами, ты окажешься тоже в тюрьме.* В оригинале: «в темнице города».

ЗАКЛЮЧЕНИЕ КНИГИ

Коль не сделать кинжал, то хоть ножик сковать для царя.— В этом бейте Низами сравнивает содержание своей книги с алмазом, а ее объем — с маленьким ножиком. В следующем двустишии поэт говорит, что у него не было подходящего кузнечного горна (т. е. подходящих условий), чтобы создать большую поэму.

Стр. 344. *Здесь шатер новобрачных, и все, что таится внутри, // Под пером заблистало за три иль четыре зари.*— Т. е. девственные (свежие) мысли (новобрачные), заключенные в этой книге, появились на свет в течение лишь нескольких утренних зорь. Это прямое указание поэта на то, что поэма была создана им за короткий срок.

Вот шашлык из ягненка — что ж дым ты глотаешь и ныне? // Что ты в вялено мясе находишь, в сухой солонине? — Низами сравнивает свою поэму с ягнятиной, а писания придворных одописцев Бахрам-шаха — с сухой солониной.

То по всем городам я не слал бы в подарок их списки.— По нашему мнению, текст этого бейта искажен в процессе переписки и в оригинале должен читаться примерно так: «Из (этого) города в твой (далекий) город не послал бы». Иначе говоря, Низами не рассылал свою поэму в списках по разным городам, он преподнес ее Бахрам-шаху.

Стихотворчеством скован, я в этой сижу стороне, // Но все стороны света охотно покорствуют мне.— В оригинале сказано: «Слово привязало меня к этой твоей стороне». По нашему мнению, «слово» надо здесь понимать не как «стихотворчество», а в другом смысле — как слово, данное кому-то в чем-то. По-видимому, поэт когда-то, скорее всего во время пребывания Бахрам-шаха в Гяндже в 1163 г., дал ему слово написать в его честь поэму, и в бейте содержится намек на это обстоятельство.

Я сказал: «Сокровеннейшим, девственным мыслям моим // Не в чем выйти: по росту одежды не сделали им.— Иносказание: поэт говорит о том, что у него нет возможности облачить свое творение в достойные одеяния, т. е. поручить переписку знаменитым каллиграфам, завернуть в роскошный переплет и т. д.

Стр. 345. *Как петлею Гянджа захлестнула мне шею, однако // Я, хоть петель не плел, покорил все богатства Ирака.*— Поэт говорит, что прочно привязан к Гяндже, и если бы не это, он силою своего таланта прославился бы в Персидском Ираке (см. Ирак), который тогда представлял могущественный султанат.

Пять веков пролетело со времени бегства пророка. // Года семьдесят два ты прибавишь для точности срока.— Бегство пророка Мухаммеда из Мекки в Медину произошло 16 июля 622 г. Дата этого события, называемая «хиджра», послужила началом мусульманского летосчисления. Пятьсот семьдесят два года спустя двадцать четвертое число первого раби соответствует 1 октября 1176 г. Как свидетельствуют исторические хроники, поэма была получена адресатом в начале 1178 г.

ХОСРОВ И ШИРИН

ВСТУПЛЕНИЕ

Стр. 349. *Ведь имя Сладостной и сладость я сплету.*— Имя главной героини поэмы — Ширин значит «Сладкая», «Сладостная»; в дальнейшем поэт обыгрывает лексическое значение этого имени...

В ВОСХВАЛЕНИЕ БОГА

Стр. 350. *Во имя давшего всем существам названья.*— Под давшим всем названья Низами имеет аллаха. В оригинале сказано: «Во имя того, благодаря которому бытие обрело имя», т. е. стало «существовать».

Он — в кротком разуме смиренных мудрецов.— Низами говорит, здесь и ниже, что разум может познать бога лишь тогда, когда становится смиренным, когда человек полностью забывает о собственном «я» и, изумленный безграничностью творения, «не отличает левой стороны от правой».

Стр. 351. *И на доску земли он бросил знаки; зиёем, // Их девять — цифра сфер! — и мир мы постигаем.*— В средние века астрономы считали, что земля окружена семью основными небесными сферами и двумя сверхсферами.

Стр. 352. *Шесть воротов он дал пространства дивной шири, // Объятиям земли — жемчужины четыре.*— Низами говорит о шести измерениях мира (современные три измерения). Четыре жемчужины — четыре стихии: вода, земля, огонь и воздух.

По образу людей ты бога не твори, // Пред силою его в бессилии *цари.*— В данном двустишии поэт выступает против антропоморфистов, которые представляли бога подобным человеку.

В РАЗЪЯСНЕНИЕ ПРЯМОГО ПОСТИЖЕНИЯ И ПОЗНАНИЯ РАЗУМОМ

Стр. 353. *Зачем паломники заоблачной равнины // Текут вокруг земли — сей звездной сердцевины?* — Паломники заоблачной равнины — звезды, планеты и другие небесные тела. Низами, так же как античные и средневековые астрономы, придерживался геоцентрической теории, согласно которой все небесные светила вращаются вокруг земли.

Кому в михраб земли несут они мольбы? // Какой для странствия хотят они судьбы? — По мусульманскому религиозному учению, бог создал звезды, небеса, луну и солнце, чтобы они служили человеку. В последующих бейтах Низами развивает эту мысль.

Зачем влекут шатры по облачным увалам...— Под шатрами подразумеваются небесные своды.

И редко ль думал я, едва смирив свой жар, // Что в храме идольском надел бы я зуннар? — Т. е. изумленный необычайным порядком, царящим на небесах, я чуть было не стал огнепоклонником. Зуннар — см. Словарь. Это и следующие двустишия посвящены осуждению огнепоклонников.

Мы весь тайник творца измерить не могли бы. // Печать на тайнике: мир от Луны до Рыбы.— Под «Рыбой» имеется в виду мифический кит, на котором якобы держится земной шар, как думали в древности. Выражение «Мир от Луны до Рыбы» — метафорически означает: весь подлунный мир. В оригинале обыгрывается сходство слов «мах» (луна) и «махи» (рыба).

Стр. 354. *И в этих куполах какое излученье? // Что видим мы с земли, что ясно нам? — Вращенье.* — *Здесь купола — небесные своды.*

Стр. 355. *Гадают смертные по зернам ячменя. // По черным двум камням, сомненья отстраня.*— Индийские маги старались предугадать грядущие события с помощью ячменных зерен, но это пустая затея,— говорит Низами. Так же бесплодны старания астрологов, пытающихся с помощью каких-то камней предугадать будущий ход событий. В этом и последующем двустишиях солнце, луну и звезды поэт сравнивает с ячменными зернами — с ничтожными крупицами.

МОЛЬБА О ПРОЩЕНИИ

Стр. 356. *...в комке земли и влаги // Найдешь служение; служа тебе, мы в благе.* — Под комком земли подразумевается сотворенный из глины человек.

Троп семьдесят и две, но путь у нас один.— Согласно воззрениям позднейших мусульманских теологов, ислам распался на семьдесят две секты, из которых лишь одна идет по истинному пути.

Стр. 358. *«Быть розовой воде, когда не станет розы».*— Поэт сравнивает себя с розой, а свою поэзию с розовой водой, и поэт просит бога сделать так, чтобы его поэзия и после смерти благоухала и источала сладость, как розовая вода.

В ВОСХВАЛЕНИЕ ПРОРОКА ВЕЛИКОГО ДА БЛАГОСЛОВИТ ЕГО АЛЛАХ И ДА ПРИВЕТСТВУЕТ!

Он дал огонь очей пророческому клиру. // Он — мастерской миров дар наилучший миру.— Т. е. благодаря Мухаммеду, избраннику аллаха, все бывшие до него пророки обрели прозорливость, проницательность говорит Низами, а самого Мухаммеда он считает лучшим творением бога.

Он — утренних садов повеявший рейхан. // В нем ключ от божеских сокровищниц нам дан.— Низами говорит, что через Мухаммеда божественные истины дошли до нас, ибо Коран был дан аллахом Мухаммеду в виде откровений.

Стр. 359. *Сироты льнут и льнут к его дыханья чарам. // Он прозван: «Сирота-жемчужина» недаром.*— Жемчужиной-сиротой назван Мухаммед, в детстве лишившийся родителей и росший сиротой.

Пророкам дав устав, он дал нам книгу книг...— Имеется в виду священная книга мусульман Коран.

«Друг господа» — Халиль, Келим — «Внимавший богу», // Ведут его войска, хранят его дорогу.— Здесь приведены прозвища пророков Ибрагима и Мусы.

Его в пещерной мгле не жалила змея.— Поэт намекает на то, что пророк Мухаммед в молодости часто удалялся от людей в пустыню и проводил время в думах об аллахе среди пресмыкающихся.

«Господь, на Низами ты погляди не яро, // Сними с его души позор его зуннара! — Т. е. сними с его души позор его грехов. Зуннар (см. Словарь) здесь употреблен как символ греховности, неправой веры.

О ТОМ, ЧТО ПРЕДШЕСТВОВАЛО НАПИСАНИЮ КНИГИ

Стр. 360. *Тьму отнял у небес луч утренний — халиф...*— Утреннее солнце уподоблено халифу — духовному и светскому главе мусульман.

Шатер небес возник,— ждать в небесах султана...— Т. е. из тьмы возник небесный свод, дожидаясь своего султана — солнца.

И стражу пятую, подняв свою игру, // Хор пробужденных птах прощелкал поутру.— Во времена Низами по ночам город обходила стража, и пять раз — через определенные промежутки времени — звонила в колокольчики или била в барабан, оповещая жителей о том, что стража бдит. В последний раз стража играла на рассвете. Пение птиц сравнивается с последним звоном (или ударами в барабан) стражи.

И на подвижный трон взнеся Джемшида чашу...— Под чашей Джемшида подразумевается солнце.

...Семи фагфуров край...— Т. е. пространство, занятое семью планетами, семью «императорами» небес.

Восточный хан стихов напал на страны рьяно // И сделал златомеч пером ночного хана.— В этом бейте «восточный хан» — обозначает солнце, а «ночной хан» — поэт, пишущий стихи ночи напролет.

Стр. 361. *Для твоего ключа железо отдал камень.*— Поэт образно говорит о том, что из камня (руды) добыли железо, из которого можно изготовить ключ к замку на двери поэтической сокровищницы, т. е. душа его наполнена драгоценными словами и надо приступать к созданию поэмы.

И обращаешь в гвоздь калам ты Утарида, // И плащ свой рвет Зухре,— в ней зависть и обида.— Т. е. Низами настолько искусен в поэзии, что перед поэтическим пером его тростниковое перо искуснейшего писца Утарида (Меркурия) кажется ржавым гвоздем, а покровительница искусства Зухра (Венера) от зависти рвет на себе одежды.

Коль мы окажемся не истины сынами, // И ты, как Фирдоуси, обманут будешь нами...— По легенде, султан Махмуд Газневид (см. Словарь) заказал Фирдоуси поэму «Шах-наме», обещав заплатить за каждое двустишие по золотому динару, но не сдержал своего обещания — вместо 50 000 золотых динаров заплатил 20 000 серебряных дирхемов. Раздосадованный поэт отправился в баню и все серебро разделил между банщиком и продавцом шербета (сладкого напитка). В этом и последующих стихах поэт намекает на указанную легенду.

Стр. 362. *Дано сверлить рубин лишь с помощью алмаза.*— Поэт говорит о том, что без щедрости правителя не просверлить рубин поэзии. Под алмазом он имеет в виду вознаграждение за труд.

Я над сокровищами будто бы змея, // Лепешку круглую имею на день я.— По восточному поверью, все зарытые в земле сокровища охраняются змеями, драконами, которые, сидя на сокровищах, питаются землею, прахом. Поэт сравнивает свой талант с сокровищем, себя со змеем, сидящим на сокровище, а свою ячменную лепешку — с черной землей, которой питается змея.

О, сколько славных дел взлетело выше праха, // Блистая, как луна, под взглядом шаханшаха.— Под шаханшахом поэт подразумевает атабека Мухаммеда Джахан-Пахлавана Ил-Дениза (1175—1186), правителя Азербайджана, который заказал ему написание «Хосрова и Ширин».

В ПОХВАЛУ ТОГРУЛ-АРСЛАНУ

Стр. 363. *Но шах связал Хабеш с Тамгаджем. И удар // Он за ударом нес: он с Чачем сплел Шуштар.*— Хабеш, Тамгадж, Чач и Шуштар — далекие друг от друга области и города. Смысл двустишия: поэт не мог преподнести законченную поэму султану потому, что тот находился в походах, присоединяя к своим владениям далекие области и города.

Он Анкой на шатре утешил наши взгляды, // Не золотой венец надел он, а Плеяды.— Т. е. он добился невиданных успехов, даже поймал не-

зримую сказочную птицу Анку (см. Словарь) и водрузил ее над своим царским шатром, а золотой и блестящий его венец возвысился над созвездием Плеяд и сиял ярче него.

До всех семи небес он взнес свои шатры, // В Джейхуне взвил коня и прыгнул до горы.— Т. е. султан Тогрул III перешел реку Джейхун (Амударью) и дошел до Памирских гор.

Решил семь областей своим он сделать станом, // И девять высших сфер он сжал своим арканом.— По тогдашним географическим представлениям, обитаемая часть Земли состояла из семи поясов («иклимов»). Превознося завоевания султана, поэт распространяет его власть на весь земной шар и девять небесных сфер.

Стр. 364. *Ты сто сокровищ дал Сити и Мехсити // За каждую газель,— их славе расцвести.*— Сити — буквально означает «моя госпожа», а мехсити — «великая госпожа». В средние века придворных певиц и танцовщиц презрительно звали сити, а их начальницу — мехсити.

Стр. 365. *Великий Соломон был всех мудрей, зане // И Рыбе он внимал, не только лишь Луне.*— Рыба («держащая» землю) здесь символ всего земного, а луна олицетворяет небожителей. Поэт говорит, что мудрый Соломон говорил и общался и с незначительными существами, и с великими небожителями.

Пока стоцветен мир и ярок, о аллах, // Пока в движенье высь и неподвижен прах...— Смысл бейта: аллах, храни султана Тогрула до тех пор, пока существует неподвижная (по представлениям астрономов тех времен) земля и небосвод вращается вокруг нас.

ВОСХВАЛЕНИЕ АТАБЕКА ВЕЛИКОГО ШАМСЕДДИНА АБУ-ДЖАФАРА МУХАММЕДА ИБН ИЛЬДИГИЗА

Стр. 366. *Все явственно для нас. Он — солнце, он — один: // Ведь «Солнце веры» — он, не он ли Шамседдин?* — Шамседдин по-арабски буквально значит «Солнце веры».

Нам был ниспослан дар и новый послан вслед: //Есть двое, каждого назвали Мухаммед.— В этом и следующем бейтах поэт говорит, что пророк Мухаммед, создав новую религию — ислам, объединил арабов и властвовал над ними, а атабек Шамседдин Мухаммед стал владыкой всего иранского царства.

Вот имя! Всем сердцам звучит на свете «эм», // В ушах у двух миров не кольца ль,— эти «эм»? — Имя «Мухаммед» содержит три буквы «м», а буква «м» в арабском алфавите в начале и середине слова пишется в виде кружочка, наподобие кольца. Поэт утверждает, что буквы «м» в имени Мухаммед символ того, что мир является рабом (рабы носили кольцо в ухе) пророка Мухаммеда и атабека Шамседдина Мухаммеда.

367. *Мечом своим он бьет как бы из черных туч.// Сей меч — семь областей нам отомкнувший ключ.*— Атабек Шамседдин Мухаммед, рассекая черные тучи алчности могучим мечом, проливает свои щедроты,

словно дождь, говорит Низами, и этим же мечом он завоевал все семь обитаемых частей земли.

Все, кроме господа, пред шахом склонено,— // И все, что белизна, и все, что так черно.— Белизна и чернота — день и ночь, т. е. подлунный мир.

Шах светлый Ильдигиз, не вняв укорам света, // Четыре дал венца семи просторам света.— Четыре венца — четыре стихии (вода, огонь, воздух и земля); семь просторов — семь обитаемых частей, «поясов» земного шара. Смысл бейта: Шамседдин, отец Мухаммеда Джахан-Пахлавана и Кызыл-Арслана, покидая этот бренный мир, вернул земле четыре стихии, т. е. навел на ней полный порядок.

Стр. 368. *Кому дана судьба такая золотая? — // От Абиссинии все взял он до Китая.*— Китай в поэзии Низами страна тюрок, не соответствующая современным географическим представлениям. Поэт обычно употреблял Китай и Абиссинию как антонимы, для обозначения самых отдаленных краев жизни.

И Рум, лишь в Турцию тот с битвами проник, // Мечом индийским он индийцем сделал вмиг.— Восточные правители обычно держали чернокожих рабов, и «индиец» — символ черноты — в данном контексте обозначает «раб»; тюрки и румийцы (византийцы) в классической поэзии олицетворяли белизну и противопоставлялись чернокожим. Смысл бейта: проникнув в Рум, т. е. Турцию, он превратил белое свободное население в чернокожих рабов.

ОБРАЩЕНИЕ ВО ВРЕМЯ ЦЕЛОВАНИЯ ЗЕМЛИ

Стр. 369. *Был с перстнем Соломон, а с правой верой — ты, // С зерцалом — Искендер, а с верной мерой — ты.*— По легенде, царь Соломон имел перстень, на котором было написано имя бога. Благодаря этому перстню все живые существа, демоны и духи подчинялись ему. Согласно легенде, изложенной Низами в поэме «Искендер-наме», при Искендере — Александре Македонском — впервые было изготовлено зеркало из полированного железа.

Коль на спине слона трон созерцаем ныне, // Когда не твой сей трон, трон созерцаем синий.— В период правления Аббасидов (750—1256) синий цвет служил символом траура. Смысл бейта: мы привыкли видеть тебя на троне, установленном на слоне, но если мы увидим на слоне чужой трон, пусть это будет траурный трон.

Походы кончены; есть через край железа, // Для зеркала стихов немного дай железа! — Речь здесь о том, что шах, железом покорив мир, должен теперь иметь дело с другим железом — сокровищами, зеркалами (они изготовлялись из полированного железа), монетами, чтобы одаривать поэтов.

Стр. 370. *Я птаха первая во всем саду твоем. // Скажи, мне вороном тут быть иль соловьем?* — Поэт говорит, что он первая певчая птица, воспевшая доблести шаха, и если шах будет милостив к нему, он, словно

соловей, сложит песни в его честь; если же шах лишит его своей благосклонности, то он превратится в ворону.

Все для владыки мнил я отыскать подарок.— Поэт намекает на то, что он давно не слагал стихов в честь атабека Шамседдина, и объясняется это тем, что он искал подходящую его величию тему для большой поэмы.

Но людям я всегда — тебе сие не тайна — //Служу молитвами...— В этом и последующих стихах поэт объясняет свой отказ служить при дворе атабека и сопровождать его в походах своим стремлением к уединению, к тихому скромному образу жизни.

В ВОСХВАЛЕНИЕ ШАХА МУЗАФФАРАДДИНА КЫЗЫЛ-АРСЛАНА

Стр. 372. *Он черный Зенг вспоит рекою русской — красной.*— Низами считал красный цвет символом Руси. Смысл стиха: он напоит Занг (см. Словарь) — страну, населенную неграми, красной русской рекой, т. е. прольет столько крови, что страна черных станет красной.

Стр. 373. *Беда ль, коль не могло гостям вина остаться, // Когда могла для них сия луна остаться.*— Бейт переведен неточно. В оригинале сказано: «Если он будет вечен, то пусть исчезнут все пиры, вино и виночерпии, ибо все равно не убавится веселья и радости».

Не убоялся мы затмения светил.— В 1175—1176 гг. восточные астрологи во главе со знаменитым поэтом Анвари (ум. 1189) на основе расположения звезд предсказали, что в 1186 г. произойдет страшная буря и наступит конец света. Этому предсказанию Низами посвятил целую главу в поэме «Сокровищница тайн».

Здесь поэт выражает сомнение в возможности мировой катастрофы и утверждает, что если даже она произойдет, то ничего страшного не случится, ибо у нас есть такой вождь, как Кызыл-Арслан мудрый, как Соломон. В последующих двустишиях поэт развивает эту мысль.

О ПРОНИКНОВЕНИИ В СУЩНОСТЬ СЕЙ КНИГИ

Стр. 375. *Спеши, о Низами, а то минует срок — //Неверны времена и вероломен рок.*— Поэт намекает на то, что благосклонность атабеков Мухаммеда Джахан-Пехлевана и Кызыл-Арслана дает ему возможность писать свободно, не опасаясь преследований, но надо торопиться, ибо времена (обстоятельства) могут измениться.

Как роза, говори лишь только должный срок, // Болтливой лилии привязан язычок.— Смысл бейта: говорить следует кратко, но красиво, как роза, которая цветет недолго, но источает дивный аромат; а не болтать, подобно лилии, которая цветет долго, имеет десять лепестков-языков, но все же нема, так как не источает аромата.

Стр. 378. *И очертания Шебдиза в сердцевине // Скалы, и Бисутун, и замок в Медаине.*— Рельефные изображения, высеченные задолго до описываемых событий на горе Бисутун (см. Словарь), впоследствии связывались с легендой о Хосрове, Ширин и Ферхаде.

НЕСКОЛЬКО СЛОВ О ЛЮБВИ

Стр. 380. *Я препоясался, пылая,— и постичь // Любовь сумеет мир, услышавший мой клич.*— В описываемые времена шахские слуги носили специальные пояса, отличавшие их от других слуг. Они должны были отличаться большой расторопностью и готовностью выполнить любое поручение своего господина. Отсюда пояс стал символом готовности служить. Поэт говорит, что он приготовился написать эту поэму.

В ОПРАВДАНИЕ СОЧИНЕНИЯ ЭТОЙ КНИГИ

Стр. 381. *Ты благостный свой лист сей повестью не комкай.*— Т. е. воспевая любовь огнепоклонников-язычников, ты, мусульманин, не замарай «чистый лист» своих деяний.

Ты соблюдал посты, ты благочестья свет, // Ты костью падали не разговляйся, нет! — Друг Низами называет «костью падали» легенду о любви Ширин, Ферхада и Хосрова, которые были огнепоклонниками-язычниками.

Стр. 382. *Есть у тебя казна с чеканкою Ирака.*— Золотые монеты, чеканившиеся в столицах халифата Багдаде (в Ираке), отличались точностью веса и чистотой пробы.

Стр. 383. *Ты с мясником не схож, и я с бараном — тоже.*— Поэт хочет сказать: не вдувай в меня воздух гордыни подобно тому, как мясник вдувает воздух под кожу зарезанного барана (чтобы легко снять кожу), отчего тот раздувается и кажется больше, чем есть на самом деле.

От веянья Исы не вздрогнет Моисей.— По мусульманской легенде, Иса (Иисус) обладал способностью оживлять мертвых своим дыханием, но он не смог оживить Моисея.

НАЧАЛО РАССКАЗА

Стр, 385. *Парвизом назван был затем царевич мой, // Что для родных он был красивой бахромой.*— В этом бейте непереводимая игра слов: в оригинале поэт обыгрывает слово «парвиз», которое означает «победитель» и «бахрома». Прототипом героя Низами был иранский царь из династии Сасанидов Хосров II Парвиз (590—628).

Его, как мускус, в шелк кормилица укрыла...— Мускус хранили в шелковых мешочках.

Стр. 386. *Как лучник, превращал, на бранном целясь поле, // Он барабан Зухре в свой барабан соколий.*— Иначе говоря, он был настолько искусен в стрельбе из лука, что попадал в барабан Зухры, покровительницы музыки и искусства, так же легко, как в барабанчик для приманивания соколов во время охоты.

Он зло пронзал стрелой — будь тут хоть Белый див.— Белый див — неодолимый злой дух в иранской мифологии, которого сокрушил легендарный богатырь Рустам. Единоборство Рустама с Белым дивом воспето в эпопее Фирдоуси «Шах-наме».

Стр. 387. *Один ученый жил: звался Бузург-Умид.*—Бузург-Умид буквально означает «Великая надежда». Поэт часто обыгрывает лексическое значение этого имени.

Кольца Кейвана свет и весь хребет земли...— Кольца Кейвана — т. е. кольца Сатурна. Е. Э. Бертельс по этому поводу писал: «О кольцах Сатурна Низами знать не мог, так как они были открыты лишь после изобретения телескопа (не ранее начала XVII в.), поэтому нужно думать, что слово «кольцо» здесь употреблено в значении «сфера» (Низами. Хосров и Ширин. Предисловие Е. Э. Бертельс. М., 1955, с. 508). Однако известный астроном Г. Д. Мамедбейли утверждает, что восточным астрономам задолго до европейцев было известно о существовании колец Сатурна (Г. Д. Мамедбейли. Низами как передовой ученый своего времени. «Низами». Сб. статей. Баку, 1940, с. 130 и далее).

Стр. 388. *Чтоб длительную жизнь на свете сын узнал // У длинноруких всех он руки обкарнал.*— Под длиннорукими имеются в виду люди, которые накладывают руки на чужое добро: угнетатели, тираны. Смысл двустишия: Ормуз навел в стране порядок и «укоротил» руки тем, кто грабил своих подданных.

Смотреть на жен чужих — срамнее нету срама. // Не пребывай в дому турецкого гуляма.— Гулям — здесь мальчик. Поэт намекает на разврат при дворах шахов, правителей, на извращенную любовь к мальчикам, которых обычно покупали в Туркестане.

ВЫЕЗД ХОСРОВА НА ОХОТУ

Оно — бегущий царь — алоэ разожгло, // Раскрыло мрак шатра, а знамя унесло.— Заходящее солнце сравнивается с ароматным дымом, который воскуривали, чтобы уберечься от сглаза; блики заходящего солнца уподоблены знамени; мрак шатра — метафорическое обозначение ночного неба. Смысл бейта: заходящее солнце сжигало на своем диске алоэ, распространяя благоухание, предохраняющее от сглаза, и убирало свои знамена, чтобы сшить из них черный шатер.

Стр. 390. *Арфисту ногти — прочь, чтоб голос арфы смолк, // А с арфы смолкнувшей сорвать велели шелк.*— В те времена струны арфы делали из особого сорта шелка.

ХОСРОВ СО СТАРЦАМИ ИДЕТ К СВОЕМУ ОТЦУ

Ведите кипарис к престолу шаханшаха.— Под кипарисом, с которым в персоязычной поэзии сравнивали обычно стройный стан, Хосров имеет в виду себя.

Стр. 391. *И саван он надел и поднял меч,— и в мире, // Как в Судный*

день, шел плач, звуча все шире, шире.— Во времена Низами человек, готовый нести любое наказание, отправляясь на суд, надевал на себя саван и, подняв меч, держал его над своей головой.

ХОСРОВ ВИДИТ ВО СНЕ СВОЕГО ДЕДА АНУШИРВАНА

Стр. 392. *...блеснул в выси кудесник...*— Кудесником названа луна.

За то, что ты вкусил столь горький виноград...— В этом бейте в оригинале непереводимая игра слов: «гур» — гурский раб и «гура» — незрелый, кислый виноград.

РАССКАЗ ШАПУРА О ШИРИН

Стр. 394. *По шестисводному шатру моя дорога.*— Шестисводный шатер — метафорическое обозначение «шестимерного» мира (современный «трехмерный»). Шапур хочет сказать, что он путешествует по всему миру.

Стр. 395. *Шемору видел я, прибывши в ту страну. // «Шемора» — так у них звучит «Михин-Бану».*— Шемора — ассирийская царица Семирамида, которой легенды приписывают основание Вавилона, устройство висячих садов; здесь это имя отнесено к Михин-Бану, имя которой значит «Великая госпожа».

А косы блещущей — ведь это негры ввысь // Для сбора фиников по пальме поднялись.— Стройный стан Ширин сравнивается с пальмой, черные косы — с неграми, а сладкие уста — с финиками; поэт говорит, что косы поднимаются по стройному стану, чтобы поцеловать голову и уста.

Стр. 396. *Улыбка уст ее всечасно солона.*— Т. е. речи ее были остроумны.

Ей нежит ветерок и лик и мглу кудрей, // То мил ему бобер, то горностай милей.— Бобер — черные волосы, горностай — белое прелестное лицо.

Ее прекрасный лик запутал строй планет, // Луну он победил и победил рассвет.— Ее лик был так прекрасен, что планеты, залюбовавшись им, сбились со своего обычного пути и заплутались. Этот лик был белее луны и утра.

Не вскроет поцелуй ее уста — строга: // Рубины разомкнешь — рассыплешь жемчуга.— Рубины — алые губы; жемчужины — зубы.

Источник сладостный! Очей газельих вид // Тем, кто сильнее льва, сном заячьим грозит.— Заяц спит с открытыми глазами, т. е. хотя глаза его открыты, он ничего не видит, словно потерял сознание. Поэт говорит, что при виде прекрасных глаз Ширин даже те, кто сильнее льва, лишаются сознания.

Стр. 397. *Меджнуна бы смутить мечты о ней могли.*— // *Ведь красота ее страшна красе Лейли.*— Лейли — по распространенной арабской

легенде — возлюбленная Кейса, прозванного за свою безумную любовь Меджнуном, что значит «одержимый злым духом». Поэт хочет сказать, что Ширин была намного красивее Лейли, и ее красота смутила бы самого Меджнуна.

Пятью каламами рука ее владеет.— Калам — тростниковое перо. Здесь с каламом сравниваются пальцы Ширин.

По родинкам ее предскажешь путь ночей.— Этот бейт в подлиннике звучит так: «Ночи у ее родинок учатся темноте».

И лал и жемчуг тот, смеясь, она взяла // И от различных бед лекарство создала.— В старину меланхолию лечили снадобьем, в состав которого входили растертые рубины (лалы) и жемчужины. Смысл бейта: при виде ее рубиновых губ и жемчужных зубов больные меланхолией исцелялись.

Стр. 398. *Он к солнцу вскинется — так что ему до стен! // Он перепрыгнет вмиг небесных семь арен.*— Т. е. семь небесных сфер.

Стр. 399. *О нем грустят, как в ночь грустит ночная птица...*— В оригинале — Шебавиз (шеб — ночь), легендарная птица, которая, по поверью, всю ночь стонет, тоскует, дожидаясь наступления утра.

«Все, что возносит он, возвышенным считай: // Ведь живописью он прельстил бы и Китай.— Китайская живопись в средние века пользовалась большой популярностью. Низами был хорошо знаком с ней по иллюстрациям в книгах манихейцев и посвятил ей специальные главы в своей поэме «Искендер-наме». Говоря о китайской живописи, Низами имеет в виду главным образом манихейскую живопись. Последователи Мани (см. Словарь), спасаясь от преследований зороастрийского жречества и сасанидских правителей, переселились в восточный Туркестан и там создавали искусную настенную живопись и иллюстрировали свои книги высокохудожественными рисунками.

Молчи о сахаре.— Речь идет о Ширин, ибо сахар синоним сладости, а имя Ширин означает «сладкая».

ШАПУР В ПЕРВЫЙ РАЗ ПОКАЗЫВАЕТ ШИРИН ИЗОБРАЖЕНИЕ ХОСРОВА

Стр. 403. *И черною доской, промолвив: «Нарды бросьте!» — // Закрыли желтые сверкающие кости.*— Небосвод уподоблен черной эбеновой доске для игры в нарды (см. Словарь), а солнце — желтой игральной кости. Смысл бейта: когда ночь распустила свои кудри, а светоч дня — солнце — заходя, сгорело, то можно было сказать, что в ящик для нард бросили желтый шарик и закрыли черной крышкой — ночным небосводом.

Всплыл яркий Муштари, держа в руках указ: / «Шах — выбрался из пут, Шапуру — добрый час».— Т. е. солнце зашло, наступила ночь, и Шапур может отправляться в путь.

Стр. 404. *...и худжесте увидела она.*— Ширин увидела портрет Хосрова, изображенный на «благородной бумаге» — худжесте.

Стр. 405. *И в клочья рвут они утонченный рисунок: // Бледнит китайский он законченный рисунок.*— Подруги Ширин разорвали в клочья искусный рисунок, перед которым бледнела китайская живопись.

И, дымом от огня затмив звезду несчастий, // Коней погнали в степь, спасаясь от напастей.— Портрет Хосрова уподоблен кадильнице, жаровне. Смысл бейта: портрет Хосрова так взволновал и разгорячил их, что они вспотели, и, желая уберечь себя от чар портрета, окурили себя рутой (см. Словарь) и покинули луг, где расположились.

ШАПУР В ТРЕТИЙ РАЗ ПОКАЗЫВАЕТ ШИРИН ИЗОБРАЖЕНИЕ ХОСРОВА

Стр. 406. *Вот Анка черная, исполненная гнева, // Зерно лучистое в свое внедрила чрево...*— Ночное небо уподоблено черной сказочной птице Анке, а солнце — лучезарному зерну. Смысл бейта: когда ночное небо, похожее на черную Анку, заключило в свои объятия солнце, казавшееся по сравнению с небосводом лучистым зерном, Ширин с подругами выехала в поле.

ПОЯВЛЕНИЕ ШАПУРА В ОДЕЖДЕ МАГА-ЖРЕЦА

Стр. 409. *Все души Птица чар измучила вконец.*— Птицей чар здесь назван чародей Шапур.

Стр. 410. *И схожи локоны с буддийским черным храмом.*— В подлиннике полустишие звучит так: «Ее слова и локоны были подобны мускусной ночной весне».— Т. е. они были иссиня-черные, словно мускус, и источали аромат.

Индус! Ты сердце взял рукою ловкой, дерзкий! // Она, как тюрк, за ним! Не быть с обновкой, дерзкий! — Т. е. Ширин, смелая тюрчанка, бросилась на Шапура, чтобы отобрать украденное им ее сердце.

О тюркская напасть! Покорствуя красе, // Индусами пред ней склонились тюрки все.— Смысл бейта: красота Ширин была подобна неотразимому тюркскому набегу, но перед этой красотой не могли устоять даже тюрки.

Но ведавший язык нарциссов томных — все же // Свой разум он забыл и речь утратил тоже.— Томные нарциссы — красивые, томные глаза Ширин. Смысл стиха: даже Шапур, привычный к прекрасным глазам, лишился дара речи при виде необычно красивых глаз Ширин.

Стр. 411. *И вот велит кумир кумирам быть вдали, // Велит, чтоб звездный круг вдали они плели.*— Кумир — в восточной поэзии синоним красавицы. В буддийских храмах идолов обычно разукрашивали, отсюда и пошло сравнение красавиц с кумирами, идолами, которым поклонялись.

...Шапур не медлил боле,— // Пустил словесный мяч он на пустое поле.— Словесный мяч — образ, взятый из игры в човган; отсюда выражение «выиграть мяч спора». Смысл стиха: Шапур бросил мяч слова на ристалище красноречия, чтобы затем выиграть его.

Стр. 413. *Вкруг розовых ланит еще не видно тени...*— Т. е. на розовых ланитах юного Хосрова еще не появился черный пушок.

Стр. 414. *Так он жемчужину сверлил многообразно.*— Он рассыпал перлы красноречия, чтобы поймать жемчужину — душу Ширин.

Стр. 415. *Яви свою луну, не будь напрасно строгой.*—Шапур просит Ширин показать свое луноподобное лицо.

БЕГСТВО ШИРИН ОТ МИХИН-БАНУ В МЕДАИН

Стр. 416. *И месяц приказал блестящим звездам...*— Ширин, похожая на месяц, приказала окружающим ее, словно звезды, красавицам-подругам сесть на гороподобных коней и помчаться через горы, чтобы добраться за ночь до Барды, к Михин-Бану.

Навесили покров над солнечной главой, // Цветок пылающий укрыли под листвой.— Т. е. пылающее солнце укрыли под голубым небосводом, накинув на него тьму, иначе говоря, наступила ночь.

Стр. 417. *Вот синему ларцу с узором из жемчужин — // Так порешил Китай — замок червонный нужен.*— Двустишие построено на метафорах: синий ларец — небо; узоры из жемчужин — звезды; червонный замок — солнце; Китай — законодатель искусной живописи.

Выходит из ларца мечта китайских нег, // В мечтаньях начертав поспешный свой побег.— Т. е. Ширин вышла из дворца, собираясь бежать в Медаин.

Явились ей служить китайские изделья. // Иль кипарисов ряд — очей благое зелье.— Здесь говорится о красивых подругах и служанках Ширин, стройных и прекрасных, словно кипарис.

Стр. 421. *Не здесь ли зеркало она и гребешок // На землю бросила...*— Образ взят из сказки: волшебница, спасаясь от преследования, бросает на дороге гребешок и зеркальце. Гребешок превращается в лес, зеркало — в море, и волшебница скрывается от преследователей. Смысл бейта: дорога была так непроходима, будто бы здесь были брошены волшебные гребешок и зеркальце колдуньей из сказки.

КУПАНЬЕ ШИРИН В ИСТОЧНИКЕ

Нарциссов тысячи с крутящихся просторов // Скатились. Всплыл рубин меж облачных уборов.— Т. е. ночная мгла исчезла, звезды с небосвода скатились в бездну, а из-за облаков появилось солнце.

Стр. 422. *Вот сахарный Сухейль освобожден от шерсти, // И вскрикнул Тиштрия, увидев прелесть персти.*— Т. е. Ширин, подобная очень яркой звезде Сухейль, сняла с себя шерстяную мужскую одежду, и при виде ее белого тела звезда Тиштрия (Сириус) вскрикнула от восхищения и изумления.

Лазурью скрытые, чуть виделись Плеяды. // Шиповник с лотосом сплетаться были рады.— Здесь: лазурь — шелк небесного цвета, который прикрывал бедра Ширин; Плеядам уподоблена ее слепяще белая грудь, а лотосу — белое тело. Шиповник означает здесь шелк зеленого цвета. В поэзии Низами голубой, зеленый и синий цвета часто заменяют друг друга.

Вот всю ее стеной обводит синева, // Луны над синевой сияет голова.— Синева — вода озера; луна — Ширин.

Сеть, свитую из кос, влачит она в затоне, // Не рыба, а луна попалась ей в ладони.— Т. е. в сеть ее волос вместо рыбы попалось отражение ее луноподобного лица.

О мускус черных кос над бледной камфорой! // Мир гаснул пред ее победной камфорой.— Камфорой названо здесь белое тело Ширин. Второе полустишие переведено неточно. В оригинале сказано: «От ее камфоры мир вкушал лишь камфору». «Есть камфору» — идиоматическое выражение, означающее «быть бессильным, немощным».— Т. е. ее камфорно-белое тело было недоступно простым смертным.

ХОСРОВ ВИДИТ ШИРИН В ИСТОЧНИКЕ

Стр. 423. *Тот враг, что кознями весь край бы заарканил, // Дирхемы с именем Парвиза отчеканил.*— Полководец Ормуза Бехрам Чубине, собираясь захватить царскую власть, решил устранить наследника престола царевича Хосрова. Для этой цели он велел отчеканить монеты с изображением царевича, чтобы отец заподозрил сына в желании захватить престол. Эта хитрость вполне удалась коварному Бехраму.

Стр. 425. *Орел на привязи — и где восторгу мера? // Не дивный ли фазан у чистых вод Ковсера?* — Орлу уподоблен конь Шебдиз, фазану — Ширин.

Нет, не луна она, а зеркало и ртуть. // Луны Нехшебской — стан. Взглянуть! Еще взглянуть! — Т. е. лицо Ширин было подобно зеркалу с ртутной амальгамой. По утверждению средневековых историков, такое зеркало, подобное луне, создал Муканна (см. Словарь). Нехшебское зеркало из ртутной амальгамы излучало свет, заставлявший людей поверить в пророческую миссию Муканны.

Стр. 426. *Она была, что клад, а змеи, тайны клада // Храня, шептали всем: «Касаться их не надо».*— Ширин уподоблена сокровищу, ее косы — змеям, а змеи, по поверью, охраняют клады.

Нет, в руки их не брал, колдуя, чародей, // Сражали колдунов клубки опасных змей.— Т. е. ни один волшебник-змеелов, усыпляющий змей своим колдовством, не держал в руках кос Ширин, ибо эти змееподобные косы жалили их и не подпускали к себе. Здесь речь идет о целомудрии Ширин, о том, что ничьи руки до сих пор не касались ее кос.

Наверно, выпал ключ из пальцев садовода, // Гранаты двух грудей открыли дверцы входа.— Ширин названа здесь садоводом, стражем райского сада, под ключом имеется в виду платье с пуговицами. Смысл бейта: Ширин сняла с себя платье, и гранаты ее грудей стали доступны взорам.

И Солнце в этот день с дороги повернуло // Затем, что на Луну и на сову взглянуло.— Смысл стиха: солнцеподобный Хосров свернул с дороги, чтобы взглянуть на лунноподобную Ширин.

Ведь поднялись Луна из знака Водолея.— Зодиакальному знаку Водолея уподоблено озеро, в котором купалась Ширин, а она сама сравнивается с луной.

Глядит пред ней Хумой оседланный фазан. // И кипарис вознес над тополем свой стан.— Хума сравнивается с Хосровом; оседланный фазан — его конь. В классической восточной поэзии походка фазана считалась необычайно красивой.

Стр. 430. *Царевич ивой стал. Душа его мрачна. // И слезы падают, как ивы семена.*— Т. е. царевич Хосров от горя согнулся, словно плакучая ива.

...Скорбен вид согнувшегося стана. // Стан — ива. Вот и стал он клюшкой для човгана.— Изогнутая клюшка для игры в човган (конное поло) делалась из ивы. Смысл стиха: от страданий стан его согнулся как ивовая клюшка.

Стр. 431. *Где стройный кипарис? Исчез! Его уж нет! // Стан юноши поник, и роз не розов цвет.*— Т. е. он сгорбился — розовые щеки Хосрова поблекли.

ПРИЕЗД ШИРИН В ЗАМОК ХОСРОВА В МЕДАИНЕ

Стр. 432. *За суженым спеша, обычай дев презрев, / Уж не была Ширин в кругу обычных дев.*— В оригинале буквально сказано: «Смыв с лица краски невесты, // Она как новобрачная искала своего (исчезнувшего) мужа». Иными словами, Ширин вела себя не как нареченная, а как законная жена, ищущая своего мужа.

ПОСТРОЙКА ЗАМКА ДЛЯ ШИРИН

Стр. 433. *И сада нежного хранила колыбель, // Ширин, чьих сладких уст касался нежный хмель.*— В подлиннике буквально сказано: «Когда Ширин установила свою колыбель в Медаине, // То она начала источать из своих сладких уст целые блюда меда». Иными словами, обосновавшись в Медаине, Ширин начала угощать окружающих сладкоречивыми беседами.

Стр. 434. *Горянка я. Меж роз я рождена. Тут зной. // Их всех желтит. На мне — нет алой ни одной!* — В подлиннике буквально сказано: «Я горянка, взращенная цветником розы, // От жары мои алые ланиты стали желтыми».

Строителю жужжат: «Из Вавилонских гор // Колдунья прибыла, ее всесилен взор. — По легенде, в вавилонском колодце были заточены падшие ангелы Харут и Марут (см. Словарь), которые обучают людей искусству колдовства. Вавилонская колдунья считалась в народе искуснейшей колдуньей.

ПИРШЕСТВО ХОСРОВА

Стр. 438. *Для вражеских голов угрозу затая, // Ко входу два меча простерли лезвия.*— Т. е. у входа в шатер стояли два стражника с обнаженными мечами, оберегая Хосрова.

Стр. 439. *Иль выучен огонь чредой времен упорных, // Что похищают цвет волос, как уголь, черных.*— Черный цвет может перейти в красный только от огня, а огонь научился отнимать черный цвет у времени, которое превращает черные волосы в белые (в седину).

Сад пламени, а в нем садовник — уголь; он // В саду фиалки жнет, тюльпанами стеснен.— Т. е. уголь темного, фиалкового цвета, разгораясь, становится красным, как тюльпан.

Так люб зиме огонь, как лету вздох рейхана. // Рейханом зимним став, огонь взрастает рьяно.—Здесь язычки пламени уподоблены завиткам рейхана (базилика).

Тут кубки пышные подобны петухам, // Что вовремя зарю провозглашают нам, // Их огненным нутрам завидуя и сладким, // То утки на огне, то следом — куропатки.— Утки и куропатки, глядя на сладкое красное вино, наполнявшее нутро сосудов, сделанных в виде петухов, от зависти горели как на огне.

К гранатам нежно льнут те ветерки, в которых // Есть изворотливость, как в пляшущих танцорах.— В подлиннике сказано: «С цитронами и гранатами, в изобилии украшавшими пиршество, // Весенний ветер играл в прятки, показывал им фокусы».

Стр. 440. *Вздохнула кеманча, подобно Моисею.*— Стоны кеманчи уподоблены словам пророка Моисея (см. Муса), обращенным к богу с просьбой показаться ему.

ВОЗВРАЩЕНИЕ ШАПУРА

Стр. 441. *И вот Шапур вошел — Парвиз его позвал — // И поцелуями он прах разрисовал.*— Т. е. Шапур обцеловал землю перед Хосровом. Слово «разрисовал» здесь подчеркивает, что Шапур был художником.

Стр. 442. *И к шахскому ее направил Туркестану.*— Туркестан — здесь обитель прекрасных, белоликих тюрчанок,— т. е. гарем Хосрова.

Когда его рассказ цветка весны достиг.— Под цветком весны подразумевается Хосров.

Был в лавке лучника твой мастер стрел умелый, // И выбрал нужный лук, давно имея стрелы.— Т. е. Шапур как искусный лучник, обладавший большим запасом стрел, пронзающих сердца, искал хороший лук, т. е. удобный случай, чтобы завоевать сердце Ширин для Хосрова.

Стр. 443. *На рукаве своем «Сих не забыть заслуг» — // Парвизом вышито. Был им возвышен друг.*— Т. е. Хосров Парвиз дал себе зарок: никогда не забыть услуг Шапура и вознаградить его должным образом.

Вновь изумруд верну я руднику. Дурмана // Жди сладкого опять от нежного рейхана. — Здесь изумруд — Ширин; рудник — Хосров; рейхан — Ширин.

ХОСРОВ УЗНАЕТ О СМЕРТИ ОТЦА

Стр. 448. *И развернул Слону рассказ об Индостане.*— Смысл бейта: гонец напомнил Хосрову, жившему на чужбине, о его отечестве.

О крючья черных строк! О черная кручина! // Бесчинна смерть,— и пуст и Зенга трон и Чина.— Зенг и Чин здесь метафорически обозначают весь мир. Кроме того в оригинале поэт обыгрывает слово «чин», имеющее два значения: 1. Китай. 2. «Извилистый», «завиток». Смысл бейта: гонец привез письмо, написанное черными чернилами извилистой, замысловатой вязью и сообщавшее о том, что трон повелителя мира пустует.

Где шах? Лишь ты взирай на все его края. // Ему лишь посох дан, уж нет ему копья! — Под посохом имеется в виду его сын. Смысл бейта: Ормуз, умерев, будет теперь смотреть на мир глазами сына.

Стр. 449. *Постиг он: с индиго хранит поспешный рок // Бакан, и уксус дней от меда недалек.*— Индиго — синий (траурный) цвет, бакан — краска, в восточной поэзии символ радости, веселья. Смысл бейта: рок держит в своей «мастерской» рядом с баканом и индиго, рядом с радостью печаль.

Весь мир — индусский вор: чтоб он не отнял кладь, // Чтоб не скрутил тебя,— с грабителем не ладь.— На мир не следует полагаться, ибо он рано или поздно, словно индийский вор, похитит твою душу, и ты умрешь.

Зачем роскошество — носил бы полотно. // Тебя в предбаннике разденут все равно.— Упоминание предбанника является намеком на то, что труп мертвеца омывают перед захоронением.

ХОСРОВ ВОСХОДИТ НА ТРОН ВМЕСТО ОТЦА

Стр. 451. *Как ночь, его Шебдиз, ну, а Луны — все нет! // Он камнем тешился, но помнил самоцвет.*— Он развлекался в обществе наложниц, которые по сравнению с самоцветом, т. е. Ширин, казались простыми булыжниками.

ШАПУР ПРИВОЗИТ ШИРИН К МИХИН-БАНУ

Стр. 452. *И в шахе виделись ей признаки любви. // Ей шепот лун открыл огонь в его крови...*— Т. е. о любви Хосрова к Ширин постоянно шептались луноподобные красавицы, окружавшие Хосрова во дворце Михин-Бану.

Вино бродящее укрыть она старалась, // Свет глиною укрыть — хоть солнце разгоралось.— Смысл бейта: Михин-Бану старалась успокоить волновавшуюся, словно забродившее вино, кровь Ширин, но это был такой же напрасный труд, как попытка замазать солнце глиной.

БЕГСТВО ХОСРОВА ОТ БЕХРАМА ЧУБИНЕ

Стр. 453. *Хоть знал он, что когда Юсуф умчится вдаль, // Якубу — света нет: все затемнит печаль.*— Бехрам знал, что после того, как он уберет Хосрова, Ормуз ослепнет от тоски по сыну, подобно тому, как ослеп от слез Якуб в разлуке с Юсуфом, и все же он обвинил Хосрова в том, что тот ослепил отца, и под этим предлогом выступил против него.

Стр. 454. *И силу счастья он крепил казной златою, // И слепоту врага он множил слепотою.*— Т. е. расправлялся с помощью «слепого», бесчисленного количества золота.

В сей шахматной игре, что бедами богата, // Без «шаха» для него уж не было квадрата.— Т. е. всюду на территории Ирана Бехрам объявлял ему «шах».

ВСТРЕЧА ХОСРОВА И ШИРИН НА ОХОТЕ

Стр. 456. *И, чтоб связать с землей ширь голубого крова, // Как птицы на древа, на седла сели снова.*— Т. е. чтобы своим полетом связать землю с небом, они сели в седла.

В их души обронен огонь любовных снов. // Как бы вдавились в топь копыта скакунов.— Т. е. сгорая от страсти, они не могли двигаться дальше, словно их кони увязли в болоте.

Когда сомкнулся строй, на склонах ближних гор // Стон сдавленной земли был для Быка — укор.— Т. е. собралось такое множество народа, что от их тяжести земля застонала и пожаловалась Быку.

НАСТАВЛЕНИЕ МИХИН-БАНУ ШИРИН

Стр. 457. *Когда свое зерно крестьянин бросит чистым,— // Родится чистым то, что было в прахе мглистом.*— Если крестьянин сеет чистые, добрые семена в черную грязную землю, то они, несмотря на пребывание в грязи, дадут добрый урожай.

ХОСРОВ И ШИРИН ИГРАЮТ В ЧОВГАН

Стр. 460. *Когда проснулся мир, зарей охвачен алой. // И ясный жемчуг звезд преобразился в лалы, // То солнце, чтоб часов мелькала череда, // Зухре и Муштари вручили повода.*— Когда бледный, как жемчуг, свет звезд сменился алым, рубиновым светом солнца, последнее вручило поводья дня Зухре — Ширин и Муштари — Хосрову.

Стр. 461. *От клюшек ивовых вся площадь лесом стала, // Луна от блеска лун явила цвет сандала.*— В подлиннике сложная цепь образов. Клюшки човгана изготовлялись из табаристанской ивы сандалового (темно-красного) цвета. Смысл бейта: на поле было так много играющих всадниц, что поднятые вверх клюшки из ивы напоминали ивовый лес, а сами всадницы были так прекрасны, что луна, смущенная красотой и белизной красавиц, покраснела, стала пунцовой, как сандал.

И клюшки каждый взмах, что мяч у ветра брал, // Над синим воротом мяч солнечный ломал.— Т. е. играющие в човган красавицы ловко отбирали летящий мяч у ветра и так высоко подбрасывали его, что чуть не разбивали голову солнечному диску.

Летят Шебдиз, Гульгун — являясь как бы знаком // Того, что светлый день стремится вслед за мраком.— Шебдиз — черного цвета; Гульгун — светло-розового. Бег Гульгуна за Шебдизом поэт аллегорически уподобляет содержанию коранической поговорки (за невзгодами следует радость) или же афоризму самого Низами: мрачная ночь чревата светлым днем — ведь Хосров и Ширин немало пережили, прежде чем встретились.

Стр. 463. *Тут пальчик свой к очам преподнесла Ширин.*— Поднести пальчик к очам, точнее, приложить руку к глазам — жест, обозначающий: «Слушаюсь!», «С готовностью повинуюсь!»

ОПИСАНИЕ ВЕСНЫ И ВЕСЕЛЬЯ ХОСРОВА И ШИРИН

Стр. 464. *Прогнали воронов отряды голубей.*— Голуби (в оригинале — горлинки) символизируют весну, вороны — осень. Смысл бейта: роза буйно распустилась и подняла свое знамя в саду, захватив его.

Жасмин за кравчего. Призыв нарцисса: «К чаше!» // Фиалка с розою в хмелю нежней и краше.— В классической восточной поэзии жасмин — предмет сравнения с белолицыми красавицами; здесь он метафорически обозначает кравчего, а нарцисс сравнивается с чашей вина.

В следующих бейтах в кавычки заключены названия цветов: «бычий (или коровий) глаз» — левкой; «слоновое ухо» — ирис; «мышиные ушки» — незабудки, либо майоран.

А воздух, росами осыпав каждый луг, // Дал изумруду перл движеньем легких рук.— Здесь изумруд — зелень, перл — капли росы.

Стр. 465. *Красу окрестностям ее дарует стан, // Как жемчуг ракушке порой дает нейсан.*— Нейсан — апрельский дождь. По поверью, жемчуг образуется от капли дождя, проникшей сквозь толщу воды и попавшей в раковину. Ширин здесь сравнивается с благодатным дождем.

ХОСРОВ УБИВАЕТ ЛЬВА ВО ВРЕМЯ ПИРА

Стр. 466. *Сидят Хосров с Ширин и песен внемлют звуку,— // Они ведь за ногу повесили разлуку.*— Т. е. разлуку предали казни, и она больше не угрожала им.

Стр. 467. *И повелось в стране с хосрововых времен: // Хоть пиршествует царь — меч сохраняет он.*— Раньше во время пира все должны были снимать и оставлять в прихожей свои мечи — на случай ссоры и драки в пьяном виде. По утверждению Низами, после описанного случая Хосров никогда, даже во время пира не снимал меча с пояса.

Как розовой воды коснулся сладкий рот. // И рот в ладонь царя горсть сахара кладет.— Т. е. губы Ширин были так сладки, что ее поцелуй оставил на ладони царя сахар.

Стр. 468. *Когда в руках Ширин вина не примечалось, // То птица райская к ее устам не мчалась.*— Т. е. когда Ширин не пила, была трезва, поцелуй Хосрова не устремлялся к ее устам.

Так мощно он сжимал ее в объятье рьяном, // Что горностай ее в шелку скрывался рдяном.— Хосров так сильно прижимал к себе Ширин, что ее белое и мягкое, как горностай, тело под шелковым платьем краснело. В последующих бейтах образно говорится о том, что страстные поцелуи оставляют на лунном лике Ширин следы, и подобно Луне, шествующей по синему небесному саду, она ходила по синим, т. е. темным садам, держа в руках вместо розы белила, чтобы замазывать синяки на своих розовых ланитах.

РАССКАЗЫВАНИЕ ПРИТЧ ХОСРОВОМ, ШИРИН, ШАПУРОМ И ДЕВУШКАМИ

Простерлась темнота, от мыслей не скрывая, // Что, тьмой укрытая, бежит вода живая.— По поверью, живая вода, которая дарует человеку вечную жизнь и молодость, находится в подземном царстве мрака. Легенда о живой воде и попытке Искендера найти ее подробно изложена Низами в его поэме «Искендер-наме».

И черный паланкин был тьмой лишь для того, // За полог скромности чтоб приняли его.— Смысл бейта: небесный паланкин облачился во тьму для того, чтобы стать завесой, оберегающей целомудрие.

Стр. 469. *А звезды, веселясь, показывали зубы.*— Т. е. звезды гневно скалились, отпугивая рассвет, чтобы он не наступал и не прерывал веселье пирующих.

Стр. 470. *Но все-таки в цепях был ею сдержан див, // И к клятве ангел влек, от дива оградив.*— Т. е. Ширин держала в цепях демона своей страсти, ибо «ангел целомудрия» напоминал ей о клятве, которую она дала Михин-Бану.

...язычников сверкающее чудо...— Имеется в виду Ширин, она уподоблена кумиру идолопоклонников.

И все они, смеясь, рубин пустили в ход.— Т. е. они, смеясь, пили рубиновое вино.

Стр. 471. *Взрыл землю царь Джемшид, клад вынут был Джемшидом.*— Здесь и в последующих притчах мораль одинакова: Хосров нашел Ширин, и это было большим счастьем для них обоих.

Стр. 472. *Но счастье родилось. Какой измерить мерой // Восторг сближения Юпитера с Венерой.*— Согласно средневековой астрологии, сближение Венеры с Юпитером было добрым предзнаменованием.

Стр. 474. *Как роза, все пышней владыка расцветал: // Ведь лалы просверлял сверлящий сердце лал.*— Смысл бейта: Ширин, которая, разговаривая, источала перлы, сама была как перл и своей красотой просверлила сердце Хосрова.

Играли в перстенек в часы ночного пира. // Но лишь заря взошла — убрали перстень прочь.— Игра в перстенек — древняя широко распространенная на Востоке женская игра. Собравшиеся по очереди клали золотое кольцо на тыльную сторону ладони и без помощи другой руки постепенно, подбрасывая кольцо, двигали его к пальцу. Выигрывала та девушка, которой удавалось надеть кольцо на мизинец. «Убрать перстень» — идиоматическое выражение, означающее кончить игру и разойтись по домам.

Стр. 475. *Павлином будь — без змея.*— По мусульманской легенде, дьявол проник в рай в образе змеи. Приняв облик змеи, он уговорил павлина взять его с собой. Змея обвилась вокруг него, и павлин, перелетев через высокий забор, доставил дьявола в рай, и поэтому ноги павлина так уродливы.

Стр. 476. *Как много сахара! Как мало миндаля!* — Смысл стиха: среди множества красавиц Хосров был один.

Стр. 477. *То вить фиалочки вокруг ее ушка.*— Фиалками автор обозначил кудри — возлюбленный играет локонами красавицы.

ХОСРОВ И ШИРИН ОСТАЮТСЯ ОДНИ

Стр. 479. *Ведь индиго, торгаш, находит спрос; уныло // Не хмурься. Вскрой тюки, будь ты хоть в глубях Нила.*— Двустишие в подлиннике буквально звучит так: «Если ты найдешь покупателя для своего индиго, то разложи свой товар, будь ты даже у самого Нила». Слово «нил» одновременно означает «индиго».

ОТВЕТ ШИРИН ХОСРОВУ

Моя уклончивость имеет цель, о да! // Кто сахар есть в жару? Не вышло бы вреда! — Согласно понятиям современной поэту медицины, болезни делились на четыре группы: холодную, горячую, сухую и влажную. На соответствующие группы делились и еда и лекарства. Каждую группу болезней лечили противоположным по характеру лекарством: горячие — холодным, сухие — влажным и т. д. Жар любви Хосрова к Ширин относится к горячей группе болезней, а сахар тоже «горячий», значит, сахар (т. е. сама Ширин) были противопоказаны Хосрову в таком состоянии.

ХОСРОВ УМОЛЯЕТ ШИРИН

Стр. 486. *Хоть молви, что ко мне придет счастливый век: // «Хоть мертвым да пойдет на волю Мубарек».*— Это поговорка означает: отпустить раба на волю после смерти. Мубарек — распространенное имя раба. Смысл бейта: обещай, что ты будешь моей хотя бы после моей смерти.

Стр. 488. *Не в яростном жару у мудрых дело зреет, // «От жаркой* беготни козел не разжиреет».— Смысл стиха: подобно тому, как козел не разжиреет от быстрой (жаркой) беготни, так и Хосров не получит никакого удовольствия, овладев Ширин в яростном пылу спешки.

ХОСРОВ ПОКИДАЕТ ШИРИН И НАПРАВЛЯЕТСЯ В РУМ. ВЕНЧАНИЕ ХОСРОВА С МАРИАМ

Стр. 490. *Я, все забыв, осла завел на эту крышу. // Свести сумею вниз! Я зов рассудка слышу.*— Завести осла на крышу — идиоматическое выражение, означающее: поставить себя в трудное, безвыходное положение. Смысл двустишия: хотя я и оказался в тупике, но сумел выйти из него.

Меня ли разжигать, в меня вперяя очи, // Иль обучать гореть во мраке долгой ночи.— Смысл бейта: Ширин и сама горит от страсти, и незачем распалять ее, она и так терзается ночами от пламени страсти, и не нужно усугублять ее страдания.

Стр. 491. *Был потчеван тобой,— и медлил потому. // Уйду, коль хлеба ты мне сунула в суму.*— По древнему обычаю, провожая гостя, в суму ему клали припас на дорогу. Если гость слишком задерживался, хозяин брал его суму и клал в нее хлеб, давая понять, что гостю пора и честь знать.

Четырехкрылый был под ним орел; дракона // Хранил у пояса Бехрам! — Четырехкрылый орел — конь; дракон — меч.

И вот к монастырю примчался он; монах //Ютился там. То был «Всепостиженья шах».— Т. е. монах был царем среди мудрецов, и его взору было открыто будущее.

Стр. 492. *Не стану говорить; о том сказал иной — // Бреду, а он уснул, пройдя свой путь земной.*— Поэт говорит, что он воздерживается от подобного описания похода Хосрова, ибо это подробно описано у Фирдоуси в его «Шах-наме».

СРАЖЕНИЕ ХОСРОВА С БЕХРАМОМ И БЕГСТВО БЕХРАМА

Стр. 493. *И ржанье скакунов, чья полыхала грудь, // Вливало яростно в земное ухо ртуть.*— Влитая в ухо ртуть прорывает барабанную перепонку. Здесь с действием ртути сравнивается гром барабанов, ржание коней, лязг мечей, которые оглушали бойцов.

Стр. 494. *Орлы кровавых стрел! У них, пробивших латы, // На крыльях коршуна написаны бераты.*— Смысл бейта: на крыльях стрел летели записки — бераты (см. Словарь), гласившие, что им даруются горы трупов.

Кольчугорезы, в медь вбирающие яд, // Кольчугоносцев сном погибельным поят.— Смысл стиха: отравленные кольчугорезы погружали бойцов в смертный сон.

Пред яростным слоном стоял Бузург-Умид. // Он с астролябией; он срок определит.— Т. е. Бузург-Умид собирался по звездам определить наилучший момент для вступления Хосрова в бой.

Стр. 495. *И под слона поверг, промчавшись смертным логом, // Он слонотелого, взмахнувши слононогом!* — Т. е. Хосров напал на слонотелого Бехрама с палицей, напоминавшей по виду слоновую ногу.

И с каждого врага мечом индийским смог он // Вмиг срезать голову, как бы индийский локон.— Под локоном здесь имеется в виду челка, которую носили индийцы.

Бехрам был мощным львом, но бледен стал, понур. // Низвергнут он судьбой, как был низвержен Гур.— Гур — прозвище царя Бехрама (421—438), которого судьба в лице планеты Бехрама — Марса настигла в зените его могущества, и он загадочно исчез в пещере.

ВОЦАРЕНИЕ ХОСРОВА НА ПРЕСТОЛ В МЕДАИНЕ ВО ВТОРОЙ РАЗ

Стр. 497. *Воздвигла Мариам Хосрову пышный трон. // Тем троном был Иса к зениту вознесен.*— Мариам была христианкой, а христиане — византийцы возвысили трон Хосрова «до высот четвертого небосвода», где, по представлениям мусульман, пребывает Иса (Иисус Христос). Смысл бейта: Хосров не смел думать о Ширин от страха перед Мариам, благодаря сородичам и единоверцам которой он возвратил себе трон.

Стр. 498. *Встарь барсу неким львом совет был мудрый дан: // «Ослицу на приплод пусти или в Зенджан».*— Здесь приведена поговорка, смысл которой связан с тем, что на труднопроходимом участке караванного пути (в районе Зенджана) вьючные животные (ослицы, кобылы) не выдерживали напряжения и часто выкидывали приплод. Смысл таков: выбирай одно из двух: или получи от ослицы приплод, или нагрузи ее поклажей и отправь в Зенджан и потеряй приплод.

Стр. 500. *Мышь в норку ящериц пробраться не смогла,— // И глупой ко хвосту подвязана метла.*— Поговорка: «Мышь не могла пробраться в нору скорпиона, и, чтобы помочь себе, она еще привязала к хвосту метлу». Так говорится о человеке, который, желая облегчить задачу, еще больше усложняет ее.

СТЕНАНИЯ ШИРИН В РАЗЛУКЕ С ХОСРОВОМ

Стр. 501. *Так в книге начертал великий мастер слова, // Тот словомер, чья речь готова для улова...*— Имеется в виду автор эпопеи «Шахнаме», т. е. Фирдоуси.

Из влажных миндалей или розовые струи, // К цветущим миндалям стремясь, как поцелуи.— Т. е. из ее миндалевидных глаз изливались кровавые слезы, которые устремлялись к ее ланитам.

ЗАВЕЩАНИЕ МИХИН-БАНУ

Стр. 507. *Когда индийца — мир — убьет наследник, он // Клинком отмщения не будет поражен.*— Смысл двустишия: если убить мир, что подобен индийскому вору (грабителю), за то, что он похитил отца, то никто не взыщет с Хосрова, ибо он заслуженно отомстил за своего отца.

Кинь горбуну стрелу в изогнутый хребет! — Здесь горбун — небосвод.

Стр. 508. *Возлюбленных мир сравню с кустом цветов лесных: // Лобзают руки тех, что обезглавят их.*— В подлиннике сказано: «Мудрецы, которые от этих тайн мира страдают, // Подобно розам, целуют руки тех, кто обезглавит их». Обезглавить розу — значит сорвать ее с куста.

Вот проповедник наш, кричит он: «Как солому, // Брось мир,— я подниму, он пригодится дому! — Осуждая ханжей, поэт хочет сказать, что они проповедуют отказ от благ мира и всего мирского, чтобы эти блага достались им самим.

А ведь подвижник наш, в сто человечьих сил // Он молит: «Скинь его, чтоб я его носил!» — В подлиннике сказано: «Подвижники ощупывают сотни трупов, // Чтобы стащить с них одежду и самим носить ее».

Гостинец пустоте, небытию припас,— // Та сущность чистая, что обитает в нас.— Смысл бейта: мир и все мирское бренно, единственно достойное занятие для человека — жить так, чтобы унести с собой в могилу запас добрых деяний и незапятнанное имя.

ХОСРОВ УЗНАЕТ О СМЕРТИ БЕХРАМА ЧУБИНЕ

Стр. 512. *Водою стал огонь: у смелых стыла грудь, // И золото речей преобразилось в ртуть.*— Т. е. от страха перед царем речи их растекались, словно ртуть, и они бормотали что-то невнятное.

Стр. 513. *Но дерева судьбы ко мне пропала злоба,— // И деревянного Чубин добился гроба.*— Поэт обыгрывает имя «Чубин», которое означает также «деревянный».

Стр. 514. Над волком властвовать лисицы не могли бы, // Не видя злую сеть. А волк — пред ним лишь рыбы! — В подлиннике буквально сказано: «Потому лиса царствует над волком, // Что лиса видит сеть, а волк видит лишь рыбу».

Ешь столько, чтоб не внять болезней злым угрозам, // А то и плод хурмы покажется навозом.— В оригинале: «Не ешь хурмы столько, чтобы она превратилась в колючки // И чтобы она отдавала во рту горечью».

Как бедный ты живи: запретное другим — // Тебе дозволится, окажется твоим.— Употребление в пищу мяса павших или не зарезанных с соблюдением особых правил животных было запрещено исламом, однако запрет переставал действовать в случаях всеобщего голода, недорода и т. д. Поэт советует есть так мало, быть полуголодным, чтобы было дозволено даже запретное мясо.

Стр. 515. *Немало лун на мир свой поднимало меч, // Но было велено их тучами облечь.*— В подлиннике сказано, что многие, подражая полководцам, опоясывались мечом, но многим это стоило головы, многие «луноподобные» оказались в черной земле из-за этого.

Проведав, что осел попал на сеновал, // Ведь я б не об осле, о сене горевал.— Здесь и ниже поэт говорит, что не винит честолюбивых ослов, сластолюбивых мух и воронов, вроде Бехрама Чубине, стремящихся к сеновалу — к власти, к халве — государственной казне и губящих ради одной ягодки целое инжировое дерево, что, увы, в порядке вещей; но нужно

оберегать саму власть, государственную казну и сад страны, а это можно достичь лишь справедливой политикой и заботами о подданных.

Что золотом чужим свой золотить дворец? // Ты, веры не внушив, истратишься вконец.— В подлиннике буквально сказано: «За счет чужого серебра не золоти ты свой дворец, // Ибо от этого пострадает вера, а казна продырявится».

Храни в базарный день прилавок свой богатый // Ты от болельщика, от брызг с его лопаты.— В подлиннике сказано: «На этом возбужденном базаре ты оберегай // Померанец москательщика от колотушки прачек». Двустишие сплошь состоит из метафор: возбужденный базар — это суетный мир; товар москательщика — люди, подданные; колотушки прачек — палки насильников. Смысл стиха: царь, оберегай подданных от произвола своих чиновников, и тогда тебя не постигнут никакие невзгоды.

Стр. 516. *Что царская рука, взбешенная ногами, // Снимает голову, вы ведаете сами.*— Здесь: ноги — слуги, голова — знать, государственные сановники. Смысл стиха: царь, разгневанный слугами, мелкими чиновниками, карает сановников.

Ты не хули врага: ведь коль бессилен он, // Ты, победив его, не будешь вознесен.— В подлиннике сказано: «Нельзя смотреть на маленького врага пренебрежительно, // Ведь у новичков трудно выигрывать в нарды». Действительно, бывает, что новичок, только что научившийся играть в нарды, выигрывает у искусных игроков, потому что на игральных костях выпадает нужное число ходов.

ХОСРОВ ПРИЗЫВАЕТ БАРБЕДА

Стр. 518. *Когда запел он песнь: «Дареный ветром клад».*— Эта песня сложена в честь исторического события, имевшего место в действительности. В 615 г. Хосров II Парвиз с огромным войском выступил в поход против Египта. Персидские войска после долгой осады хитростью взяли Александрию и захватили огромные богатства. Добыча, доставшаяся персам, умножилась благодаря счастливой случайности — ветер подхватил и пригнал к их лагерю корабли, груженные сокровищами жрецов и египетской знати. В честь этого «сокровища, даренного ветром», Барбед и сложил свою песню.

Когда же «Клад Быка» запел он...— Эта песня была сложена Барбедом по случаю захвата каравана быков, нагруженных сокровищами Египта.

Когда «Спаленный клад» он спел...— Сейчас трудно установить, по случаю пожара какой сокровищницы сложил Барбед одноименную песню.

...«Такдисский трон»...— У Хосрова II было несколько тронов, главный из которых назывался «Такдис» (Аркоподобный). Барбедом была сложена песня в честь того трона.

Когда он «Мускус» пел, то, ароматом пьян, // Был мускусным чертог, был весь чертог — Хотан.— Один из дворцов Хосрова именовался

«мускусным», песня Барбеда была сложена в его честь. Мускус привозили из Хотана.

Стр. 519. *Когда же «Кипарис» он начал петь,— любовь // Явив, дал кипарис ему берат «на кровь».*— Т. е. песню, сложенную в честь кипариса, Барбед исполнил так искусно, что кипарис отдал себя в его руки, позволив даже пролить его кровь.

Стр. 520. *И сотню раз Хосров Барбеду молвил: «Зих!»* — Т. е. Хосров часто хвалил Барбеда, восклицая: «Браво!», «Прекрасно!»

Блестящего таков был месяца обычай: // При каждом «зих» певец был с блещущей добычей.— Т. е. каждый раз, когда царь одобрял Барбеда, казначей щедро вознаграждал его.

Да, коли ты в нужде слыхал бы слово «зих», // Золототканый ты надел бы снова зих.— В стихе трижды употреблено слово «зих» и обыграна его омонимия. «Зих» означает златотканую кайму на царском кафтане, халате. В подлиннике бейт выглядит так: «Как прекрасно слово «Прекрасно!» // Может дарить прекрасную одежду с золотой каймой».

ХОСРОВ ПРОСИТ У МАРИАМ СНИСХОЖДЕНИЯ К ШИРИН

Стр. 522. *На обливных горшках узоры, рассмотри: // То — жены: ясный блеск, да мерзостно внутри.*— Мариам сравнивает женщин с глиняными горшками, расписанными снаружи красивыми узорами, но используемыми для мусора.

ХОСРОВ ПОСЫЛАЕТ ШАПУРА ЗА ШИРИН

Стр. 523. *Ты в башню Лунный свет введи ночной порою, // И словно лал в ларце я там его укрою.*— Лунный свет — Ширин; лал — Ширин; ларец — дворцовая башня, крепость.

Стр. 524. *Коль явно все свершу, жене не угодив,— // Вмиг, дива оседлав, она мелькнет, как див».*— Т. е. если Мариам увидит Ширин, то она, словно див-богатырь, оседлает норовистого коня и умчится к себе на родину и, возможно, начнет войну.

«Спокоен будь,— сказал художник островзорый,— // Я начерчу тебе китайские узоры».— Здесь: китайские узоры — тонкий хитроумный план.

УПРЕКИ ШИРИН ШАПУРУ

Стр. 526. *Но хоть упрек Ширин о камни бьют стекло, // Смиряет сердолик ее упреков зло.*— Сердолик здесь: прекрасные уста; т. е. ее алые уста своей красотой смягчали ее упреки.

Стр. 527. *Картину ты сыскал в румийской мастерской, // К армянской сладости что ж тянешься рукой?* — Румийская мастерская — мастерская византийских художников, живопись которых, наряду с китайской, считалась совершенной. Под «картиной румийской мастерской» Ширин имеет в виду Мариам, а под «армянской сластью» себя.

НАЧАЛО ЛЮБВИ ФЕРХАДА

Стр. 530. *В заботы, что несла услада рая...* — Т. е. Ширин.

Стр. 531. *Он засучил рукав, как должен был по знанью, // Он, препоясанный, встал пред широкой тканью.* — Низами относит чисто мусульманский обычай разговаривать с незнакомой женщиной через завесу ко временам описываемых событий.

И пальма сладкая те финики дала, // Чья сладость финики терзала, как шила. — Сладкая пальма — т. е. Ширин повела такие сладкие речи, что финики стали терзаться завистью.

ПЛАЧ ФЕРХАДА ОТ ЛЮБВИ К ШИРИН

Стр. 536. *Вокруг него нисар пурпуровый возник: // В тюльпанов заросли он обращал свой лик.* — Нисар — здесь жемчуга. Смысл бейта: он сыпал пурпурные жемчуга слез вокруг себя, и от них лицо его уподобилось зарослям тюльпанов.

Стр. 537. *Душа отвергла кладь, что называлась «я». // Он жил, чужую кладь в дому своем тая.* — Т. е. он жил, неся в душе образ Ширин и совершенно забыв о своем «я».

ХОСРОВ УЗНАЕТ О ЛЮБВИ ФЕРХАДА

Стр. 539. *Хосрова сердцу вновь ристалище дано: // Тот, сердце бросивший, с Хосровом заодно.* — В подлиннике сказано: «Сердце Хосрова по-своему обрадовалось, // Что ему стал единомышленником еще один лишенный сердца». Иначе говоря, он по-своему был рад тому, что нашелся товарищ по несчастью, что Ширин разбила еще одно сердце.

СОВЕЩАНИЕ О ФЕРХАДЕ

Стр. 540. *В могуществе царя я мыслил быть один. // На праздник мой придти решил простолюдин.* Смысл этого и следующего бейта сводится к следующему: Хосров приложил немало усилий, чтобы достичь вершины царского могущества, стать недоступным простым смертным, и хочет провести праздник в обществе высокопоставленных людей, а ему навязали деревенщину, мужлана. Ширин де посмеялась над ним, пожелав «украсить» его праздник одержимым, который, как и все припадочные, при виде новой Луны (имеется в виду Ширин) падает в обморок. По мнению средневековых медиков, болезнь одержимых, припадочных (эпилептиков) усиливалась во время новолунья.

Стр. 541. *Ведь с золотом мошна немало сил сасила. // В железе от него оскудевала сила.* — Т. е. золото многим ослепляло глаза, при виде золота многие крепкие, как железо, люди лишались твердости духа.

ХОСРОВ ВЫЗЫВАЕТ К СЕБЕ ФЕРХАДА

Но в росте яхонтов они сохранены, // И золото и прах для чистого — равны. — В подлиннике буквально сказано: «Так как в его чистом сердце была лишь одна жемчужина, // То все другие жемчуга, золото и прах для него были одинаковы».

РАССЕКАНИЕ ГОРЫ ФЕРХАДОМ И ЖАЛОБЫ ЕГО

Стр. 548. *И яхонты сверлил алмазами ресниц он...* — Т. е. он высекал из глаза крепкими, как алмаз, ресницами кровавые слезы цвета яхонта.

Стр. 549. *Я — прах, ты — дивный клад. Приди ко мне, и я // Прославлюсь. Станет прах — «Священные края».* — Т. е. если ты посетишь меня, ступишь ногой на землю, где я тружусь, то это место станет священным.

Стр. 550. *Коль мне ты не велишь, моя свеча Тараза, // В светильнике твоем растаять — жду приказа.* — Ферхад называет Ширин светильником, царицей Тараза — города, славившегося своими красавицами.

Стр. 551. *Желт горестного лик. О золото печали! // О горе! Серебром лишь слезы замерцали.* — Я могу принести тебе в дар вместо золота желтизну своего лица, а вместо серебра свои серебряные слезы.

ХОСРОВ УЗНАЕТ О ПОЕЗДКЕ ШИРИН. ГИБЕЛЬ ФЕРХАДА

Стр. 561. *В четвертых небесах прибудешь к серафимам, // Чтоб в сонме светочей все ж сделаться незримым.* — В этом и следующих бейтах выражена мысль о том, что лишь тот избавится от преследований злого рока, кто унесет свои пожитки из этого мира, т. е. умрет и, подобно Мессии (Иисусу Христу), вознесется к четвертому небосводу, где его не будет видно в окружении сонма звезд.

Мир — див; храни свой дух — да будет скован див! — // Дух добронравием от дива огради. — Див здесь символизирует низменные страсти. Смысл бейта: ты можешь спастить от мирских страстей, лишь обуздав их и обретя добрый нрав.

Сей костью глиняной... — т. е. землей.

Стр. 562. *Тобой не будет взят в поводья этот гений.* — Т. е. тебе не удастся обуздать мчащегося коня времени (дни и ночи).

Иль кажется тебе, что ты с невестой? Мудрый! // Мечту на ветер брось, не будь с сереброкудрой. — Невеста — земная жизнь. Сереброкудрая — эпитет, прилагаемый к невесте. Низами хочет сказать, что земная жизнь — древняя, седая (сереброкудрая) невеста, и не надо привязываться к ней.

Быть может, грянет смерч, и злой его полет // Невесту — жизнь твою — с землею разведет. — В этих строчках Низами опять намекает на всемирную катастрофу, предсказанную астрологами в 70-х годах XII в.

Стр. 563. *Ей не присыпать, нет, израненную руку!* — Согласно понятиям народной медицины, земля, посыпанная на рану, останавливает кровотечение.

Свое дыханье, что управляет нами, // Мы ветром осени прикармливаем сами.— Под «осенним ветром» имеются в виду земные страсти. Поэт говорит: дыхание следует питать любовью, тогда оно будет вечным, а без любви нет дыхания, т. е. нет жизни.

ПИСЬМО ХОСРОВА К ШИРИН, ВЫРАЖАЮЩЕЕ СОЧУВСТВИЕ, НО НАПИСАННОЕ В НАСМЕШКУ

Стр. 566. *Пусть, как земля, в руке ты тьму сердец сжимаешь, // Столь обожающих не часто обретаешь.*— Т. е. пусть у Ширин будет тьма сердец, как у земли, в «объятиях» которой лежат тысячи сердец, все равно она не найдет человека, так беспредельно любящего ее, как Ферхад.

Склоняется к тебе созвездие Орла.— Под «орлом» Хосров имеет в виду себя.

Скажи: «О месяц, сгинь! Есть полная луна». // Скажи: «Есть красота, что родинка одна?!» — Смысл строк: если Ширин полная луна, жива и здорова, то пусть не беспокоит ее исчезновение полумесяца — Ферхада; если цветет ее красота, то нечего беспокоиться о том, что пропала родинка, т. е. Ферхад.

СМЕРТЬ МАРИАМ

Стр. 568. *Когда сгорел престол — как дерево — Марии, // Как пальма, шах расцвел, как «дерево Марии».*— В первом полустишии имеется в виду Мариам — супруга Хосрова, а во второй строке — дева Мария. По преданию, однажды преследуемая богоматерь Мария остановилась отдохнуть под высохшей пальмой, а пальма тут же расцвела и принесла ей свои плоды. Смысл бейта: когда Мариам умерла, Хосров, иссохший от тоски по Ширин, расцвел, словно пальма богоматери Марии.

Лишь обо всем Ширин была извещена, // Почуяла меж роз и терний она.— Узнав о смерти Мариам, Ширин оказалась словно между розой и шипами. С одной стороны, она радовалась ее смерти и от этого расцвела, как роза, а с другой стороны, шипы печали и горя терзали ее: ведь смерть суждена всем.

СОЧУВСТВЕННОЕ ПИСЬМО ШИРИН ХОСРОВУ ПО ПОВОДУ СМЕРТИ МАРИАМ, НАПИСАННОЕ В ОТМЕСТКУ

Стр. 569. *Владыки светлого небесной стороны,— // Кому служения людские не нужны.*— В подлиннике сказано: «Господин, который улаживает наши дела // И который не нуждается ни в нас, ни в нашем служении».

Стр. 570. *Грущу: ушла во мрак нежнейшая из кукол. // А свет ее, как*

всех, и нежил и баюкал.— В подлиннике сказано: «Жалко, что та кукла не осталась здесь, // Ибо кто остается здесь, тот предается веселью».

Ширин намекает на то, что Хосров забудет ее и станет наслаждаться жизнью.

Стал финик без шипов, нет над лампадой дыма.— Финик.— Ширин, шипы — Мариам; лампада — Ширин, дым — Мариам.

Стр. 571. *Марии празднеством стал тотчас для Хосрова.*— Празднество Марии — христианский праздник в честь девы Марии. Смысл стиха: когда умерла Мариам, то для Хосрова наступил праздник, такой же веселый, как празднество в честь богоматери Марии.

Одной корзины нет из всех корзин Багдада.— Багдад, столица Аббасидского халифата, в средние века славился своими шумными беспрерывными праздниками, роскошью, веселыми пиршествами, а также тем, что там изготавливались красивые плетеные корзины.

Период процветания Багдада (VIII—IX), когда возникла поговорка: «Багдад не пострадает от исчезновения одной корзины», поэт относит к началу VII в., т. е. ко времени правления Хосрова. Смысл бейта: Ширин со скрытой издевкой «утешает» Хосрова, говоря, что Мариам для его роскошного дворца была словно «старая корзина для Багдада».

Стр. 572. *Утратил ценный лал, но ты ведь царь, и щедро // Бесценных лалов ряд тебе откроют недра.*— Если ты утратил один лал (рубин), т. е. Мариам, то не горюй, ибо таких лалов у тебя целые сокровищницы.

Не плачь о Мариам: останется Иса.— Здесь Мариам сравнивается с девой Марией, а Хосров — с Исой.

ПИСЬМО ШИРИН ПРИХОДИТ К ХОСРОВУ

Стр. 572. *Хромого ослика подбодрить скакуном.*— Т. е. разгорячить, раззадорить Ширин, вызвать ее ревность с помощью другой расторопной в любви красавицы.

ОПИСАНИЕ СПРАВЕДЛИВОСТИ ХОСРОВА

Стр. 573. *Вовек с ним равный царь не реял над народом.*— В подлиннике сказано: «С тех пор, как небосвод препоясался (служить людям), на престол не садился ни один венценосец, подобный Хосрову».

ХОСРОВ, ПИРУЯ, ВОССЕДАЕТ НА ТРОНЕ ТАКДИС

Стр. 574. *Все образы светил, плывущих в звездном лоне, // Сплели свой гороскоп на этом царском троне.*— На троне, имевшем форму арки, был изображен небесный свод со всеми планетами и звездами.

Оповещает всех узор его камней // И о часах ночей, и о теченье дней.— По звездам из самоцветов, изображенным на арке, можно было определять точное время дня и ночи, с точностью до часов и минут.

Кто видит яркий трон, что смертным взорам пир, // Джемшида

чашу пьет и весь в ней видит мир.— Глядя на этот трон, можно было видеть мир, словно в чаше Джемшида.

...он трон «сахибкирана».— Самых могущественных царей на Ближнем и Среднем Востоке называли сахибкиранами — обладателями счастливой звезды. Сахибкиран буквально означает: рожденный под знаком сближения двух счастливых планет — Венеры с Юпитером или Венеры с Солнцем. (Солнце считали в те времена планетой.) В данном стихе под троном сахибкирана имеется в виду престол Александра Македонского, героя поэмы Низами «Искендер-наме».

Круг золотой небес — кольцо его дверей.— Раньше на воротах и дверях вешали металлические кольца, которыми стучали по железным пластинкам, чтобы оповестить хозяев о приходе гостей. Кольцо небосвода в стихе уподоблено этому кольцу на воротах дворца Хосрова.

Стр. 575. *Величья хочешь ты,— так щедрым стань скорее. // Кошель свой завяжи лишь листиком порея.*— Т. е. если хочешь добиться величия, не завязывай туго свой кошелек, будь щедрым.

Взимай с него харадж для радостного пира.— Т. е. самая большая дань, которую можно взымать с мира,— это радость и веселье.

Стр. 576. *Он поутру вкушал кебаб душистый, сочный // С жемчужиной большой, прекрасной, непорочной.*— Согласно представлениям средневековой медицины, жемчуг обладал необычайными целебными свойствами: его порошок входил в состав многих лекарств. Низами говорит, что Хосров ел кебаб, предварительно посыпав его порошком крупного («освещающего ночь») жемчуга, за который платил оманским ловцам жемчугов целый «груз золота».

ХОСРОВ ВЫСЛУШИВАЕТ ОПИСАНИЕ ШЕКЕР ИСФАХАНСКОЙ

Стр. 578. *... есть девушка Шекер.*— Шекер буквально означает «сахар».

Стр. 579. *Как ветру, всюду дом Шекер веселой нашей, // И всюду, как тюльпан, она с взнесенной чашей.*— Как ветру открыты все просторы, так и двери всех домов и дворцов повсюду открыты для Шекер, всюду она с чашей в руках, словно тюльпан. Чаша тюльпана здесь метафорически уподоблена кубку вина.

Смыть «Сладость» «Сахаром» и смело, без обуз // Распутать узами весь узел прежних уз.— Т. е. забыть, вычеркнуть из памяти Ширин с помощью Шекер и, сочетавшись узами брака с Шекер, развязать узы, связывающие с Ширин.

ПОЕЗДКА ХОСРОВА В ИСФАХАН ЗА ШЕКЕР

Стр. 580. *И раб свой гордый лоб в кольцо Сатурна вдел.*— Т. е. раб от гордости поднял голову до кольца Сатурна.

Стр. 581. *Как в воду твердую...*— Твердая вода — лед, который сравнивается с хрусталем.

Стр. 582. *...«Целый год // Чеснок и лилия»,— ответ она дает.*— Шекер советует Хосрову есть целый год чеснок, чтобы избавиться от запаха изо рта.

Стр. 584. *Еще лежит на мне священная печать.*— Шекер клянется, что она девственна.

РАССПРОСЫ ХОСРОВА О ШЕКЕР И ЕГО СВАТОВСТВО

Стр. 585. *И пусть для каждого ее оседлан конь, // Но страх с секирою спешит за ней: не тронь!* — Т. е. хотя Шекер и общается со многими, она держит секиру наготове и никого не подпускает к своей сокровищнице.

Стр. 586. *Знай: сахар для души лишь может быть чертогом.*— Т. е. Ширин — сама душа, а Шекер — сахар, а сахар может служит лишь чертогом, т. е. оболочкой души.

Хрусталь и чист и сух, а лед и чистый — влажен.— Здесь Ширин сравнивается с хрусталем, а Шекер — со влажным льдом, который небезупречен, ибо влажен. Образ восходит к идиоме «замочить полу», т. е. подмочить репутацию, запятнать себя неблаговидным поступком.

Стр. 587. *Все же я в своей шерсти!* — Быть в своей шерсти — идиоматическое выражение, означающее «быть независимым, даже находясь в жалком состоянии».

Я тайну скрыл, и я — пасторожетный слон. // Я шелковичный червь: мой кокон — мой полон.— В подлиннике сказано: «Подобно слонам, никому я не сказал о своей тайне, // Подобно шелковичному червю, скрылся я в своем коконе».— Т. е. он никому не жаловался на свои сердечные раны и уединился в своем доме (коконе). В стихе обыграна неполная омонимия слов «пил» (слон) и «пиле» (шелковичный червь).

Жадна, а ведь чума рождается алчбою.— Хосров говорит, что если Ширин заставила кровоточить его сердце, то он заслужил это, ибо жаждал ее, а жажда всегда приводит к чуме с кровоточащими язвами.

ОДИНОЧЕСТВО ШИРИН И ЕЕ СТЕНАНИЯ

Стр. 590. *Нубийцы — радостны, но сей нубиец злой // В рыданья вверг меня своей суровой мглой.*— На черном лице хорошо заметны их белые зубы, поэтому кажется, что они всегда улыбаются, смеются; в силу этого «нубиец» был символом радости и веселья. В стихе ночь своей чернотой уподоблена нубийцу.

Связал тебя мой мрак? Иль под твои стопы // Мой черный дух метнул железные шипы? — В средние века во время боя под ноги вражеским коням бросали железные шипы, вонзавшиеся им в копыта. Так как Ширин кажется, что ночь тянется слишком долго, она, обращаясь к ней, говорит: «Почему ты не уходишь? Может быть, мои стоны и вздохи бросили шипы под ноги твоего скакуна?!»

Не барабанщику ль зари сломали руки,— // О звезды! Вам ступни связали мне на муки.— В подлиннике сказано: «Допустим, что барабанщи-

ку связали руки, // Разве и Плеядам сломали ноги?!» Созвездие Плеяд появляется на небе перед рассветом, и Ширин кажется, что его отсутствие на небосклоне задерживает наступление утра, и она вопрошает: «Разве Плеядам сломали ноги, что они не появляются?» Под «барабанщиком» здесь имеется в виду барабанщик ночной стражи, который через определенные промежутки времени бил в барабан — в последний (пятый) раз — перед рассветом.

ВОСХВАЛЕНИЕ УТРА

Стр. 591. *В час утренний в душе, забывшей все угрозы, // Молитвословные произрастают розы.*— Утренние молитвы считаются самыми чистыми и искренними, поэтому они в стихе уподоблены свежей розе.

ШИРИН ВОЗНОСИТ ХВАЛУ БОГУ

И дождалась она в терпенье взмаха крыл: // Пропел петух, что всетерпенья ключ открыл.— Имеется в виду петух, который перед тем, как начинает кричать, взмахивает крыльями. Второе полустишие в подлиннике звучит так: «Петух пропел: «Терпение — ключ к радости». Этот афоризм в тексте дан на арабском языке.

Стр. 592. *Клянусь покорностью в колодцы заключенных...*— В описываемые времена узников заключали в глубокие ямы, колодцы.

Клянусь я пламенем, укрывшимся за тканью...— Под пламенем имеется в виду бог.

Клянусь я возгласом последнего взыванья...— т. е. утренними молитвами сирот, их призывом о помощи. Согласно мусульманским верованиям, крик этот подымается выше небесного престола, ибо «когда плачет сирота, дрожит небесный престол».

ПОЕЗДКА ХОСРОВА К ЗАМКУ ШИРИН ПОД ПРЕДЛОГОМ ОХОТЫ

Стр. 594. *С рукою у седла...*— В описываемые времена вельможи, сопровождая сидящего на коне шаха, слезали с коня и, положив одну руку на седло, а другую себе на грудь, шли пешком сзади до тех пор, пока шах не разрешал им сесть на коня.

И солнце молвило: «К ноге его прильну!» // А конь кольцо рабынь повесил на луну.— Т. е. Хосров излучал такой свет, что солнце готово было пасть ниц перед ним, а его конь был так высок, что Хосров вдевал кольцо рабства в уши месяца.

И, растянув свой рот сверкающий, секира // Кричала небу: «Прочь! Идет владыка мира!» — Словом «секира» переведено выражение «дур баш», буквально означающее «Удались!», «Посторонись!» Дурбашем называлось копье с развилинами на конце, с помощью которого стражники расчищали дорогу перед царем, крича: «Удались!», «Посторонись!» Зубцы этого копья поэт уподобляет смеющемуся рту с раскрытыми губами.

Стр. 595. *Зонт золотой над ним, и сокол на зонте, // И тень черна, и царь в отрадной темноте.*— В средние века во время поездок над царем держали черный шелковый зонт, верхушку которого украшал золотой сокол с раскрытыми крыльями — символ шахской власти. Этот зонт здесь уподоблен черной крепости, а золотой сокол — крепостной башне.

В смятенье счетчики: войскам, взметнувшим прах, // Нет счета. Так куда ж стремится шаханшах? — В описываемые времена в войсках сасанидских царей существовали специальные учетчики, проверявшие наличное количество воинов. Смысл стиха: учетчики, считая воинов, сбились со счета и пришли в смятение — такое множество воинов они увидели, и они решили, что Хосров отправляется в поход.

Стр. 596. *Весь воздух полнится сребристой камфорою.*— Под сребристой камфорой подразумевается снег.

Стр. 598. *О мир! Везут плоды не сеявшим зерно!* — Т. е. как странно и несправедливо устроен мир: Хосрову, не посеявшему ни зерна добра, всячески проявляли любовь.

Стр. 599. *Спроси: коль вечно соль имеет на устах, // Зачем передо мной запоры на вратах?* — Смысл бейта: она хлебосольна «на скатерти» красоты, почему же она отказывает в обычном хлебосольстве гостю?

...Шестисводный // Шатер там возведи, узорный и свободный.— Царские шатры обычно были шестиугольной формы и изготавливались из разрисованного шелка.

Здесь тюрка нет, и речь ты выслушать готов ли // Индийского раба с дворцовой этой кровли? — Смысл бейта: здесь нет госпожи, повелительницы, с этой кровли с царем будет говорить черная индийская рабыня, имя которой Ширин.

Стр. 600. *Ширин, чету серег подвесивши к луне, // В тень солнце облекла...*— Т. е. в знак покорности Ширин подвесила к своим лунообразным ушам кольца — эмблему рабства и свое солнцеподобное лицо прикрыла тенью — покрывалом.

«Я черною чадрою, // Что дышит амброю, луну свою прикрою».— Чадру делали из черных конских волос, поэтому они метафорически уподоблены источающим аромат амбры кудрям; луна — лицо.

Стр. 601. *И Феникс этот стал не Феникс, а павлин. // И, как фазан, взвилась нарядная Ширин.*— В подлиннике это двустишие звучит так: «Эта Хума, с красою павлина // Отправилась на крышу, словно фазан в воздух».

СВИДАНИЕ ХОСРОВА С ШИРИН

Стр. 602. *Ушных подковок лал, исполненный огня, // Дала ты для подков мне верного коня.*— Т. е. рубины своих серег, горящие огнем, она бросила под копыта его коня.

ПЕРВЫЙ ОТВЕТ ШИРИН ХОСРОВУ

Стр. 603. *Я стала для тебя простым индийским стражем.*— В средние века стражники набирались обычно из индийцев.

Стр. 604. *Два знака в небесах обрел себе Меркурий. // У Солнца — знак один...*— Планета Меркурий одновременно бывает в двух созвездиях, а солнце, с которым сравнивается Хосров,— одно.

Достаточно, что Рум вонзил свое копье.— Намек на то, что Мариам из Рума.

...Лишь в Индии мячами // Играют многими...— Обычно в човган играли одним мячом, а в Индии при игре пользовались двумя мячами.

Единая кыбла передо мною...— Ширин считала своей кыблой Хосрова.

Стр. 605. *Ведь глину чистую, хотя она лишь прах, // Кладут на головы...*— Ширин сравнивает себя с глиной, которую употребляли для мытья головы — глину при этом клали на голову. «Положить что-либо на голову» — идиоматическое выражение, означающее «оказать кому-нибудь почет».

Созвездий перевязь обвила этот свет. // Хоть полководец ты, его не схватишь, нет! — Смысл строк: нельзя обвить мир руками, так как руки коротки.

Лев, ты не вырвешься, призвав на помощь гура! // Я не дитя...— В подлиннике это двустишие звучит так: «С помощью онагра разве сможешь победить льва (моей красоты)? // Я — Ширин, а не грудной младенец».

Говоря об онагре, Ширин подразумевает Шекер. В стихе поэт обыгрывает полную и неполную омонимию слов «шир» (лев), «ширин» (Ширин) и ширхар («молокосос»). Смысл бейта: тебе не удастся с помощью какого-то онагра, т. е. Шекер, одержать верх над моей могущественной, как лев, красотой, ибо не забывай, что я Ширин, а не младенец.

Я пряник не отдам за сладкую хурму.— Перевод двустишия неточен, она в подлиннике звучит так: «Я не дитя, с которого сладкими речами // Можешь снять одежду за одну хурму».— Т. е. ты не обманешь меня сладкими речами, тебе не удастся овладеть мною.

Я родственна Зухре: настроив органон, // Им услаждаю слух; сперва ж незвучен он.— В оригинале буквально сказано следующее: «Я, подобно Зухре, органон, на котором я играю, // Сначала я напеваю, а затем играю (ласкаю) на нем».

Для настройки расстроенного органона ему натягивали ушки, а «натягивать уши» — идиоматическое выражение, означающее «наказывать кого-либо», «обижать» и т. д.; понятия «играть» и «ласкать» передаются одним глаголом «навахтан».

ВТОРОЙ ОТВЕТ ШИРИН ХОСРОВУ

Стр. 608. *И сладкий сердолик зазыблила...*— Сладкий сердолик — сладкие уста Ширин.

Стр. 609. *Была я розою, славянскою княжной, // Водою розовой я стала...*— Славяне в восточной поэзии всегда ассоциировались с красным

цветом (алыми ланитами и красной одеждой и т. д.). Сравнивая себя с розовощекой славянской княжной, Ширин жалуется на то, что теперь она заключена в крепость, словно розовая вода в склянку.

Еще мне молятся индусские жрецы, // Еще мои глаза — как тюркские ловцы.— Перевод двустишия далек от оригинала, в котором дословно сказано: «До сих пор мои индусы поклоняются огню, // До сих пор мои глаза подобны хмельным тюркам».

Под «индусами» Ширин имеет в виду свои родинки, которые находятся на пылающих (румяных) ланитах и словно молятся на них, а глаза подобны хмельным бесстрашным тюркам, которые смело похищают сердца.

Стр. 610. *Подобно яблочку мне подбородок дан.— // И исфаханский плод уносят в Исфахан.*— Намекая на Шекер, Ширин говорит, что яблочко ее подбородка своею красотой заставит отправить обратно в Исфахан все исфаханские яблоки.

Румийцы ждут меня, в сердцах румийцев рана, // Вдыхать мой аромат приходят из Хотана.— В подлиннике сказано, что одним нежным взглядом Ширин может завоевать Рум — родину белолицых красавиц-тюрчанок, а своим нежным благоуханием купить Хотан, который славится мускусом.

ВТОРОЙ ОТВЕТ ХОСРОВА ШИРИН

Стр. 612. *Недвижный, как свеча, стоять я буду тут.*— Смысл этого и последующих бейтов сводится к следующему: Хосров будет стоять, как свеча, что, сгорая, льет слезы от тоски по меду, из которого сделан воск; потому что он тоже стремится к Сладостной (Ширин). Он спрашивает, почему она хмурая, словно сахарный тростник (наросты на стебле сахарного тростника сравниваются с гневным, нахмуренным челом),— «сахарный стебель» ее весь в наростах от того, что постоянно усеян узами (узлами) сладости. Почему сердце пальмы в шипах? — вопрошает Хосров. Наверное, потому, что пальма тоже подвластна узам сладости.

Сравнивая Ширин с сахарным тростником и пальмой, Хосров хочет сказать, что она надменна и неприступна, вся в узах гнева оттого, что находится во власти уз своей собственной сладости.

Все то, что сладко нам, само стремится к сласти, // А ты, о Сладкая, не знаешь сладкой страсти!».— Т. е. финиковая пальма и сахарный тростник, будучи сладкими, идут по «сладкому пути», доставляют всем сладость, а Ширин — сама сладость — идет по горькому пути, наполняя душу Хосрова лишь горечью.

ТРЕТИЙ ОТВЕТ ШИРИН ХОСРОВУ

Стр. 613. *Я пешка и могу сбить только лишь слона, // Но власть над королем мне вовсе не дана.* В описываемые времена в шахматной игре пешка не могла нападать на короля, а самая значительная фигура, в которую она могла превращаться, был слон.

Какой попросит лев приюта у газели? // Орел воробышком насытится ужели? — Ширин сравнивает себя в газелью, а Хосрова — со львом и орлом.

Шекер или Ширин? Решай! Мы не могли бы // Взлететь к Луне, сойти в глухое царство Рыбы.— Перевод двустишия неточный. В подлиннике сказано: «Ты одновременно хочешь и Шекер (сахар), и Ширин (сладкую), // Но выбирай: или охотиться на луну, или лови рыбу.

Под «луной» Ширин имеет в виду себя, а под «рыбой» — Шекер, намекая на то, что разница между ними столь же велика, как расстояние между небом и землей (т. е. луной и рыбой, на которой стоит земля).

ТРЕТИЙ ОТВЕТ ХОСРОВА ШИРИН

Стр. 616. *Промолвил землероб Немврову: «Надо зерна // Бросать быстрей, людей слать на смерть — непроворно.*— Крестьянин посоветовал легендарному тирану Немвроду, беспощадно убивавшему людей: «Ты не торопись убивать людей, а торопись сеять зерна». В стихе обыгрываются значения слова «коштан» — «убивать» и «сеять».

Фагфура ты впусти в его буддийский храм! // Нет, Мулианский мост разрушить я не дам.— Перевод далек от оригинала, который гласит: «Нельзя закрыть ворота Фархара перед фагфуром, // Разрушить мост на реке Мулиан».

Вторая строка связана со стихотворением Рудаки (ум. в 940 г.): однажды бухарский эмир Наср ибн Ахмед отправился в Герат и разбил лагерь в его окрестностях на зеленом лугу. Место так понравилось ему, что он надолго задержался там, не собираясь возвращаться в Бухару. Тогда по просьбе сановников Рудаки написал ставшую знаменитой касыду: «Призывает меня аромат реки Мулиан». Эмир, прочитав касыду, тут же покинул постель, в чем был вскочил на коня и помчался в Бухару.

Низами, намекая на эту легенду, устами Хосрова говорит: нелепо разрушать мост на реке Мулиан перед властелином, стремящимся в свою столицу.

ЧЕТВЕРТЫЙ ОТВЕТ ШИРИН ХОСРОВУ

Стр. 618. *Хоть ива и цветет, но не дает плодов.*— Ширин сравнивает речи Хосрова с ивой, ибо слова Хосрова никогда не завершаются делом.

ЧЕТВЕРТЫЙ ОТВЕТ ХОСРОВА ШИРИН

Стр. 621. *Все ищет Искендер животворящих вод.*— Хосров сравнивает себя с Искендером, а Ширин — с живой водой, в поисках которой Искендер долго блуждал по свету.

Стр. 622. *Похить же мой огонь, похитив мой сарджуш!* — См. в Словаре «сарджуш». Хосров говорит, что Ширин в свое время дала ему ложку своей сладости, и он, попробовав ее, безумно влюбился, но потом она отняла у него даже эту ложку.

ПЯТЫЙ ОТВЕТ ШИРИН ХОСРОВУ

Стр. 625. *Что дивного — с небес несется камфора, // Вот и в моей душе холодная пора.*— Т. е. какое удивительное совпадение: с неба падает холодный и белый, как камфора, снег, и в душе ее тоже зима, там царит холод. Согласно представлениям средневековой медицины, камфора охлаждала жар, страсть.

Не турок я, о царь! Я знаю речь араба. // А злоязычья речь да козней — знаю слабо.— В подлиннике сказано: «Я тюрчанка, но не та, которая не уважает арабской речи. // Я не та, которая не ведает искусства муки и капризов».

Со стражами веду иль с шаханшахом спор, // Твой дротик будто бы дейлемский их топор.— В подлиннике сказано: «Ты был дейлемцем, но избрал царский сан,// Ты продал топор и купил булаву». Дейлемец — стражник из Дейлема, города и области в северной части Ирана. Дейлемцы отличались белизной лица и высоким ростом, поэтому шахская стража набиралась из дейлемцев. Смысл бейта: Ширин говорит, когда Хосров не был шахом, а был ее стражником, то старался покорить ее с помощью топора, а став царем, выступает против нее, грозя булавой. Булава служила символом царской власти.

Стр. 627. *Уже добытый клад рукою отстраня.*— Под кладом имеется в виду Хосров.

ВОЗВРАЩЕНИЕ ХОСРОВА ОТ ЗАМКА ШИРИН

Стр. 630. *С павлином равную подругу для плавлина.*— Двустишие переведено неточно, в подлиннике сказано: «Мне нужен человек, равный мне по чести, // Ибо подругой павлина может быть лишь павлин».

ОТВЕТ ШАПУРА ХОСРОВУ

Стр. 631. *...к огню с камфорной шел водой.*— Камфора, согласно понятиям средневековой медицины, остужала жар, поэтому речь Шапура уподоблена камфоре: Шапур начал успокаивать пылавшего гневом Хосрова.

Красавицы в ночи, как света волоконца, // Коль двери заперты, проходят сквозь оконца.— В подлиннике сказано: «Женщина и луна, очевидно, созданы из одной материи, если ты закроешь дверь, они проникнут к тебе через отверстие дымохода».

Стр. 632. *Пусть Счастье шаханшаха и ринулось на Власть...*— Счастьем названа Ширин; под Властью подразумевается Хосров.

ШИРИН СОЖАЛЕЕТ ОБ ОТЪЕЗДЕ ХОСРОВА

Стр. 636. *Вокруг «сада роз»...*— Сад роз — Хосров.

СНОВИДЕНИЕ ХОСРОВА И ТОЛКОВАНИЕ СНА ШАПУРОМ

Что означает сон? В сиянии свечи // Слова прозрения, о друг мой, растолкуй».— В подлиннике: «Объясни мне, что значит эта лампада при свете свечи и луны, растолкуй мне этот сон».

ХОСРОВ УСТРАИВАЕТ ПИР

Стр. 637. *И певчих птиц он потревожил сон, // И женщин испугал...— Вот их запястий звон.*— Т. е. при появлении вора (солнца), который сложил в свой мешок джемшидовы яхонты (звезды), птицы всполошились, замахали крыльями, зашумели и женщины, перепугавшись, суматошно забегали, звеня ножными браслетами.

Стр. 639. *В руке царя зажат, как знак закона, шар, // Он мягким золотом пылает, словно жар.*— По преданию, Хосров постоянно держал в руке мягкий золотой шарик — символ справедливости; когда он сжимал его в гневе, золото проступало между пальцами.

Стр. 641. *...заря любой зари...*— т. е. Ширин.

ПЕРВАЯ ПЕСНЯ НЕКИСЫ, ПОДСКАЗАННАЯ ШИРИН

Стр. 642. *И если не смогу я подносить джуляб,— // Фуку раскупорю, как твой последний раб.*— Раскупорить фуку — идиоматическое выражение, означающее выполнение незначительного дела. Смысл двустишия: если ты не удостоишь меня чести подавать тебе розовую воду, быть «кравчей» для тебя, то буду хотя бы рядовой служанкой на побегушках.

Коль не смогла бы ткать, то в должную минуту // В чертогах у тебя я б разжигала руту.— Смысл бейта: если я не сумею украшать твою одежду узорами, то пусть я буду хотя бы служанкой твоей,— буду жечь руту, чтобы уберечь тебя от сглаза.

ПЕРВАЯ ПЕСНЯ БАРБЕДА, ПОДСКАЗАННАЯ ХОСРОВОМ

Стр. 643. *Душой, не слухом пью мне дружелюбный лад, // И в памяти моей былой мерцает клад.*— В подлиннике сказано: «Мое обоняние чувствует аромат друга, // Лампада моей души видит образ моей сокровищницы».

ВТОРАЯ ПЕСНЯ НЕКИСЫ, ПОДСКАЗАННАЯ ШИРИН

Стр. 645. *С китайским зеркальцем божок китайский. Надо // И на других взглянуть, к чему самоуслада?* — Смысл этого и последующего бейтов: не бери в руки китайского зеркала, ибо оно отражает всякого, в чьи руки попадет. Тебе нужно такое зеркало, как мое лицо, ибо оно может отражать лишь твой лик.

Ширин сравнивает здесь непостоянную Шекер с китайским зеркалом, а свой лик — с зеркалом, в котором запечатлен лишь один образ Хосрова.

ВТОРАЯ ПЕСНЯ БАРБЕДА, ПОДСКАЗАННАЯ ХОСРОВОМ

Стр. 648. *Клянусь запястьями твоих прелестных ног...*— Запястья здесь — золотые браслеты на ногах.

Стр. 649. *...мне, горностай, не мсти.*— Т. е. пальцы Ширин были так белы, что кичившийся белизной своего меха горностай мог искусать их от зависти.

ТРЕТЬЯ ПЕСНЯ НЕКИСЫ, ПОДСКАЗАННАЯ ШИРИН

Стр. 650. *Хоть видела я мир, встав на своем пороге, // Два мира не смогла вместить в своем чертоге.*— Ширин уподобляет Хосрова двум мирам — земле и небосводу, стараясь оправдать себя в том, что не пустила Хосрова в замок: ведь два мира не могли уместиться в чертоге.

Стр. 652. *С насмешкой улыбнусь я, как фисташка...*— Полураскрытая фисташка в классической восточной поэзии обычно сравнивалась с раскрытыми в улыбке губами.

ТРЕТЬЯ ПЕСНЯ БАРБЕДА, ПОДСКАЗАННАЯ ХОСРОВОМ

...Рок на твою дорожку // Мне бросил козлика приманчивую ножку.— В прежние времена мясник, чтобы поймать в стаде самого жирного барана, читал специальную молитву, с помощью которой «заговаривал» ноги козла-вожака и вместе с ним обходил стадо. Завидев козла, все овцы собирались вокруг него, и мясник выбирал то, что хотел. Смысл бейта: рок заговорил, околдовал меня, чтобы я всегда крутился вокруг тебя.

ВЫХОД ШИРИН ИЗ ШАТРА

Стр. 658. *Свой лоб у ног своих увидел пред собою.*— Т. е. он невольно поклонился ей в ноги.

Стр. 660. *Стремясь к плодам иным, земное бросил тело.*— Т. е. отбросив плотскую страсть, он воспылал к Ширин возвышенной любовью.

Вода вошла в огонь, огонь проникнул в воду.— Ширин — вода, Хосров — огонь.

И, в тьму одев Луну, с ней познавал разлуку...— Т. е. распускал волосы Ширин, закрывая ими ее луноподобное лицо.

Стр. 661. *Чтоб в лунный свой предел направилась она.*— Лунный предел — созвездие, на фоне которого видна луна. В персидском языке и созвездие, и башня обозначаются одним словом «бурдж». Смысл строки: Хосров приказал проводить Ширин в свой замок.

Стр. 662. *Чтоб в этот добрый день мог паланкин Луны // Достигнуть солнечной предельной вышины.*— Бейт надо понять в том смысле, что Хосров велел астрологам выбрать счастливый день для того, чтобы луноподобную Ширин привести во дворец солнцеподобного Хосрова.

ПРИЕЗД ШИРИН ДЛЯ ВЕНЧАНИЯ В МЕДАИН

Стр. 663. *И на невесту здесь лететь должны орешки, // Но были жемчугом заменены орешки.*— Встречая невесту, близкие жениха осыпают новобрачных сладостями, фисташками, орехами, но вместо этого Хосрова и Ширин осыпали жемчугами и самоцветами.

СВАДЬБА ХОСРОВА И ШИРИН

Стр. 667. *К лицу прибавив семь искусных украшений...* — Здесь речь идет о семи красках, которыми испокон веков пользовались восточные женщины для своего туалета: 1) хна для окраски волос, кончиков пальцев и ладоней рук; 2) басма — для окраски бровей и ресниц; 3) белила; 4) румяна; 5) галия — смесь мускуса, амбры и других благовоний; 6) сурьма и 7) золотая фольга.

Стр. 669. *Окраской свадебной окрасили ладони...* — Участники свадьбы после первой ночи новобрачных окрашивали ладони хной.

Стр. 671. *Все понял царь и внял он белому жасмину. // Он в юных днях — как я — постиг свою кончину.* — Здесь белый жасмин — седина. Смысл двустишия: Хосров еще в молодости, подобно Низами, начал размышлять и печалиться о неизбежной старости и смерти.

ВОПРОСЫ ХОСРОВА К БУЗУРГ-УМИДУ И ЕГО ОТВЕТЫ

Стр. 674. *Свод неба разъясни; внутри его — природа, // Всю тварь создавшая, а что ж — вне небосвода?* — По представлениям средневековых ученых, небосвод, состоящий из девяти сфер, является границей материального мира, а за пределами небосвода находится непостижимая ирреальность.

Стр. 675. *...с воздухом отдельным.* — В подлиннике вместо «воздух» сказано «небосвод».

«Тот полноценный мир действителен, как наш». — В подлиннике буквально говорится: «Этот мир есть наличная форма того мира». — Т. е. Низами говорит, что тот мир (т. е. загробный) носит духовный характер, а этот мир (земной) единственная форма существования духовного мира. Поэтический перевод стиха далек от оригинала, между тем эта мысль поэта имеет важное значение для уяснения сущности его философских воззрений.

Стр. 676. *Нам души не видны вне полновесных тел.* — В подлиннике сказано: «Невозможно видеть душу без тела», поэтому не следует бессмысленно вопрошать о душе без тела, плоти.

...«Коль душа действительна и тело // Ее обличием изменчивым одело,— // То что за облики нам видятся во сне? — В подлиннике сказано: «Шах снова спросил: «Если душа существует, то разве образы тел не абсурдны?» — Т. е. если допустить, что душа продолжает жить и после смерти тела, то откуда же берется образ, внешний вид погибших тел, которые мы видим во сне, где же они живут после смерти хозяев?

И так как памятью ты покупаешь сон, // То души канувших к тебе приводит он. — В подлиннике сказано: «Когда сон и мысль объединяются, то обычно души появляются во сне».

Стр. 677. *Вселенной первый плод была земля. Внемли: // Род человеческий — последний плод земли.* — Этот ответ Бузург-Умида соответствует мусульманскому учению о сотворении человека, согласно которому аллах

сначала начертал на своей скрижали, хранимой в надиебесном мире, план и судьбу всей вселенной, затем создал землю и небо, потом духов, ангелов и лишь после этого сотворил Адама.

Стр. 678. *...Сей миг не омут ли бездонный, // В котором спящий дух во мрак затянут сонный?* — Дословный перевод двустишия: «Первый из них сказал: «Это похоже на то, как во сне человек бросается в водоворот».

СОРОК ПРИТЧ ИЗ «КАЛИЛЫ И ДИМНЫ» С ВЫСКАЗЫВАНИЕМ СОРОКА ТОНКИХ МЫСЛЕЙ

Стр. 681. *И начал сорок притч рассказывать...* — Все эти сорок притч восходят, как точно установил Е. Э. Бертельс, к сорока рассказам, изложенным в «Калиле и Димне». Ниже приводится краткое содержание этих рассказов в изложении Е. Э. Бертельса (Низами. Хосров и Ширин. Пер. К. Липскерова. Предисловие и комментарии Е. Э. Бертельса. М., 1955, с. 533—538).

Шатраба бык в ногтях не вражеских затих. — «Бык Шатраба и лев». Бык и лев, бывшие друзьями, были натравлены друг на друга шакалом; в результате бык Шатраба был разорван львом.

Зажатая в тиски, погибла обезьяна. — «Занятие обезьяны плотничеством». Обезьяна, подражая плотнику, начала выдергивать забитые в бревна клинья; бревно защемило ей мошонку, и она упала без чувств.

Лисица, снедь ища, прогрызла барабан. — «Лисица и барабан». Лисица, увидев на дороге толстый барабан, предположила в нем обилие жира, но, разодрав его, обнаружила пустоту.

...не будь ты скупостью объятым // Святошей,— он весь век скитался за халатом. — «Скупой подвижник, проигравший вору одежду». Вор обманул приютившего его отшельника, завладел подаренной тому царем богатой одеждой, и отшельник в огорчении долго отыскивал вора.

Иль воздадут тебе, как змеям воздают. — «Ворон и змея». Ворон, желая избавиться от съедавшей его птенцов змеи, по совету шакала похитил у женщины ожерелье и на виду у всех отнес в змеиную нору; явившиеся за ожерельем убили змею.

Клешнею острой рак сжал горло лживой цапли... — «Цапля и рак». Цапля, пытавшаяся обманным путем перенести рака, подобно другим рыбам, из пруда в укромное место, чтобы съесть его, была задушена им.

Стр. 682. *...Ведь лиходея-льва // В колодезь кролик вверг, хоть видим был едва.* — «Кролик и лев». Посланный на съедение ко льву кролик обманом погубил льва, заставив его прыгнуть в глубокий колодец.

Как будто мертвым став, ты избежишь невзгоды. // Ведь, рыба сделав так, в свои вернулась воды. — «Три рыбы и спасение одной из них из сети». Выловленная и положенная на берег реки рыба, притворившись мертвой, бросилась в реку и спаслась от ловивших ее рыбаков.

Волк, ворон и шакал, одну составя власть, // Верблюда бедного послали тигру в пасть. — «Сговор шакала, волка и вороны на убийство

верблюда». Шакал, волк и ворон, предварительно сговорившись друг с другом, обманули верблюда, заставив его предложить самого себя на съедение тигру.

Ведь птица Титави перехитрила море.— «Птица Титави против морских волн». Морская птица Титави, враждовавшая с морем, затоплявшим ее гнездо с птенцами, восстановив против моря всех птиц и повелительницу птиц Анку, заставила море смириться и возвратить отнятых птенцов.

Про черепаху сказ, про уток и про жердь: // Раскрыв болтливый рот, порой встречают смерть.— «Утки и черепаха». Черепаху перенюсили утки по воздуху, она держалась ртом за несомую ими тростинку, но, заговорив, упала на землю и разбилась.

Меж обезьяньих лап доверчивая птица.— «Птица, обезьяна и светлячок». Простодушная птица, заметив, что обезьяны приняли светлячка за огонь, спустилась к ним, чтобы разъяснить им ошибку, и за это поплатилась головой.

...прочти про алчного купца.— «Умный купец и простодушный купец». Коварный купец пытался обманом присвоить принадлежащую простодушному купцу часть найденного ими обоими клада, но благодаря вмешательству судьи, который раскрыл обман, понес заслуженную кару.

Лягушка, мстя змее, сама попалась ласке.— «Лягушка, змея и ласка». Лягушка, желая погубить съедавшую ее детенышей змею, указала ласке дорогу к змеиной норе. Добравшись до змеиной норы, ласка съела не только змею, но и детенышей лягушки.

Не съела меди мышь, гриф не унес юнца.— «Поедающая железо мышь и похищающий ребенка сокол». Человек, взявший от своего друга на хранение железо, присвоил его, сказав хозяину, что железо поели мыши. Владелец железа увел домой и по дороге похитил сына обманщика. На вопрос отца о местонахождении его сына он в свою очередь ответил: «Сокол унес твоего сына», после этого тот сознался в обмане и возвратил железо владельцу.

Условным знаком плащ лишь дурни отмечали. // Свой злополучный плащ художник сжег в печали.— «Чужая жена и сжигающий свой плащ живописец». Живописец условился с женой друга о том, что черный плащ будет служить ему отличительной приметой в лунную ночь, а белая подкладка плаща его — приметой в темную ночь. Раб живописца похитил плащ и, выдав себя при помощи плаща за живописца, провел часть ночи с возлюбленной живописца; пришедший несколько позже живописец понял свою оплошность и в огорчении сжег плащ.

Составит знающий настой целебных трав. // Невежу отстрани, страшись его отрав.— «Невежественный врач, смешавший лекарство с ядом». Невежда, выдавший себя за врача, перепутал целебные травы и вместо лекарства приготовил отраву, от которой умерла царская дочь.

Как умный вяхирь смог сетей расторгнуть узы.— «Вяхирь и спасение голубей из сетей». Голубь вяхирь, попавший вместе с другими голубями в сети охотника, уговорил голубей действовать дружно и, взлетев вместе с сетями, долетел до крысы, которая перегрызла узлы сетей и освободила голубей.

...мышь перегрызла сеть. // Ей ворон помогал...— «Союз ворона, мыши и газели». Ворон, мышь и газель были друзьями: мышь выручала из беды попавшую в сеть газель, перегрызая сети, ворон же перетаскивал в клюве мышь с одного места на другое, зацепив при этом свой клюв, чтобы она не выпала из него.

Мышь золото дала отшельнику за зерна.— «Мышь, подвижник и нахождение подвижников золота». Мышь, похищавшая у подвижника продукты, жила в норе с золотом. Выследив эту мышь и подрыв ее нору, гость подвижника обнаружил там золото и разделил его пополам с подвижником.

Где волк убит стрелой: схватил он тетиву.— «Волк, умерший от того, что хотел съесть тетиву лука». Голодный волк напел на дороге убитого охотника со стрелами и луком, убитую охотником газель и пронзенную стрелой дикую свинью. В намерении сохранить находку про запас волк решил удовлетвориться одной тетивой лука. Едва была вырвана тетива, как лук выпрямился и поразил волка.

Стр. 683. *С разумным вороном сова дружить не может.*— «Ворон и сова». Вороны всегда враждовали с совами.

И заяц смог слонов оставить без воды.— «Изгнание слонов от родника воды зайцем». Заяц выдал себя перед слоном за посланца луны, а источник, находящийся в стране зайца,— за лунный источник, и своею хитростью заставил слонов не пользоваться этим источником.

Две трети сожрала, став их судьею, кошка.— «Кошка-подвижница, куропатка и заяц». Кошка, притворившись подвижницей, разбирала спор между зайцем и куропаткой и, заставив их приблизиться, съела обоих.

От этих кошек псом покажется баран.— «Похищение ворами барана-подвижника». Воры поочередно уверяли подвижника в том, что его баран является собакой, и, заставив его поверить этому и бросить барана, похитили животное.

...Склонилась от испуга, // Забыв свой гнев, жена в объятия супруга.— «Муж, жена и вор». Ненавидящая мужа жена при виде забравшегося к ней вора крепко обняла своего мужа, ища у него защиту.

Отшельник был спасен: джинн с вором вышли в бой.— «Оборотень, вор и отшельник». Оборотень, намеревавшийся задушить благочестивца, и вор, стремившийся украсть у этого же благочестивца корову, поспорили друг с другом из-за того, кто должен первым осуществить свое намерение, и в пылу пререканий разбудили благочестивца, который таким образом спасся от обоих.

Доверчивый столяр обманут был женою.— «Жена столяра и отец жены». Столяр, желая проверить верность своей жены, притаился под кро-

ватью, но, несмотря на совершенное на его глазах прелюбодеяние, был обманут своей женой и поверил в ее верность.

Мышь стала девушкой, но мышь ей всех милей.— «Выбор в мужья мыши девушкой-мышью». Превращенная в девушку, мышь вместо солнца, облака, ветра и горы предпочла себе в мужья мышь.

Стремись в обратный путь, мирские бросив страхи. // Ведь обезьяна так спаслась от черепахи.— «Обезьяна и черепаха». Обезьяна хитростью заставила возвратиться черепаху, отвозившую ее к себе домой, чтобы вырвать у нее сердце для лечения своей жены.

Ослу от злой лисы спасенья не найти.— «Обманывание осла лисицей и доставление его льву». Лисица обманным путем привела осла для своего излечения. Когда лев растерзал осла, лисица съела его сердце и уверила льва в том, что сердца у осла вовсе не было.

Мечтающий бедняк разбил кувшинчик с медом.— «Попусту мечтающий отшельник и кувшин с медом и маслом». Отшельник накопил кувшин масла и меда и так размечтался по поводу будущих доходов от их продажи, что в пылу мечтаний разбил кувшин.

Тому неверному не следуй, чья рука // Убила кроткого и верного зверька.— «Убийство отшельником невинной ласки». Отшельник поручил ласке наблюдение за своим ребенком, а сам ушел. Ласка загрызла змею, напавшую на ребенка. Возвратясь, отшельник увидел кровь змеи на мордочке ласки и, не разобрав, в чем дело, убил преданную ласку палкой, думая, что на ней кровь ребенка.

Убийца-голубок заплакал над голубкой.— «Убийство голубки голубем». Голубь заподозрил голубку в том, что она съела заготовленное им на зиму зерно, и заклевал ее насмерть, после чего убедился, что зерно было не съедено, а высохло и уменьшилось от этого в своих размерах.

Мышь с осмотрительностью вышла из беды.— «Разгрызание мышью кошки». Мышь постепенно перегрызла сети и последний узел перегрызла в момент прихода охотника с тем расчетом, чтобы кошка не смогла на нее броситься.

Как птица Кубарре за облако взлетела.— «Кубарре, шах и шахзаде». Птица Кубарре выклевала у царевича глаз за то, что он убил в гневе ее птенца, после чего, опасаясь царского гнева, улетела на высокое место и не поддавалась на увещевания царя, стремившегося возвратить ее и отомстить за глаз сына.

Стр. 684. *Лев зверя честного не тронул сгоряча.*— «Шакал-подвижник и донос на него зверей льву». Подвижник-шакал, за свою честность возведенный львом в высокий сан, был оклеветан другими животными, но в конце концов оправдан и снова назначен на прежнюю должность.

Того, кто спас змею, змея спасает злая.— «Странник, золотильщик и змея». Змея за то, что странник вытащил ее из ямы, спасла его, избавив от казни по подозрению в убийстве царской дочери.

Сын царский, сын купца,— удел им разный дан.— «Четыре сына». Купец, земледелец, царь и богач испытали свои способности, оказавшись в нужде. В итоге оказалось, что больше всего получил сын царя благодаря счастливой судьбе.

Убили львят, смеясь над их вскормившей львицей.— «Охота львицы и поимка ее львят». В отсутствие львицы отправившийся на охоту всадник нашел оставленных в логовище львят и увез их, что и явилось возмездием за совершенное львицей злодеяние.

ОПИСАНИЕ ШИРУЙЕ И КОНЦА ЦАРСТВОВАНИЯ ХОСРОВА

Стр. 686. *И наглухо забил он лавку суеты.*— Т. е. после того, как Хосров постиг суетность жизни, он забил доской дверь этой лавочки сует — мира: он понял, что жизнь — суета сует и отрекся от мирского.

...он дурно пах. Казалось — это львенок. // Он звался Шируйе.— Шируйе — буквально означает «львенок», а из пасти льва всегда исходит зловоние.

Стр. 687. *Что красота ему! Он — что осел: закрыто // Ослу прекрасное. Ему милей корыто.*— В подлиннике сказано: «Он смотрел на нее, словно див на пери, // Так, как осел смотрит на ремесло седельщика».— Т. е. он ненавидел ее как злой дух ангела и как осел седельщика («по вине» которого его седлают).

ХОСРОВ УЕДИНЯЕТСЯ В ХРАМ ОГНЯ. ШИРУЙЕ ЗАКЛЮЧАЕТ ЕГО В ТЕМНИЦУ

Стр. 689. *Кто трон твой захватил? Ведь это лишь Муканна,— // Он сотворит луну для вящего обмана.*— Муканна, подняв бунт против арабских захватчиков в Нахшабе, объявил о чуде, призванном доказать, что он является воплощением божества. «Чудо» его заключалось в зеркале из полированного железа, которое он положил на дно колодца. Муканна уверял всех, что оно является «чудотворной луной».

Ширин сравнивает Шируйе с Муканной (правда, Муканна выступил со своим «чудом» на сто тридцать шесть лет позднее описываемых событий, в 776 г.) и говорит, что, подобно тому, как зеркало заржавело и обман открылся, так будет вскоре разоблачен и обман Шируйе.

ШИРУЙЕ УБИВАЕТ ХОСРОВА

Стр. 691. *...как будто гуль двурогий.*— Под «двурогим» имеется в виду Искендер (Александр Македонский), герой последней поэмы Низами, в которой поэт объясняет, почему Искендера прозвали двурогим.

...звездные узоры...— символ превратной судьбы.

ШИРУЙЕ СВАТАЕТСЯ ЗА ШИРИН

Стр. 695. *Дай шахматы царя из яхонтов на зелье // Целебное...*— Растертые яхонты и некоторые другие самоцветы в средневековой медицине входили в состав целебных мазей.

СМЕРТЬ ШИРИН В УСЫПАЛЬНИЦЕ ХОСРОВА

Стр. 696. *Хабешский негр, во тьме несущий камфору,— // Рассыпал тюк — и луч прошел по серебру.*— Здесь и ниже образное описание наступления утра.

Носилки в золоте; в кемарское алоэ // Рубины вправлены, напомнивши былое.— Речь идет о носилках из благоухающего кемарского дерева — алоэ, которые разукрасили драгоценными камнями и золотом.

Стр. 699. *Мутриба в Африке, мутриба на Руси...*— Мутриб (певец, музыкант) в Африке — ночь; мутриб на Руси — день.

В ОСУЖДЕНИЕ МИРА

Стр. 700. *Быкоподобное нам угрожает небо,— // Что ж, на спину быка сложи припасы хлеба!*— Небо названо быкоподобным потому, что на нем созвездие Тельца. Смысл двустишия: мир этот жесток и превратен, не надейся на него, собери свои пожитки — добрые дела — и вовремя отправляйся в иной мир.

Пустынный солончак смертельным стал покровом! — Пустынным солончаком назван мир, миражи которого манят жаждущих жизни и губят их.

О скольким, кто упал с верблюда на песок, // Стал равен колоквинт и трав целебных сок! — В подлиннике сказано: «Много хаджи (паломников в Мекку) падали с верблюдов, // И упав, не могли отличить колоквинта от щавеля».

Т. е. многие мусульмане, стремясь достичь высшей благодати, совершали паломничество в Мекку, чтобы узреть Каабу, однако в пути часто падали с верблюдов и расставались с жизнью, не будучи в состоянии отличить горькую ядовитую траву колоквинт от целебного щавеля.

Так вьется Млечный Путь — сие подобье змея.— Змею, дракону уподоблен Млечный Путь, лежащий над сокровищем — жизнью; поэт призывает проявить благоразумие и вовремя отречься от сокровища — жизни.

Стр. 701. *Брось знамя...*— Т. е. оставь земную жизнь.

В НАЗИДАНИЕ

Стр. 702. *Кто душу радостно до смерти отдает.*— Т. е. смерть не мука для того, кто задолго до смерти отрекся от мирских привязанностей, умертвил свои страсти, поняв суетность мира.

Стр. 703. *Скинь плоть свою, отбрось четыре вещества, // Чтоб семь небес порвать...*— Четыре вещества — четыре стихии (вода, огонь, воздух и земля), составляющие материальное тело, плоть. Смысл двустишия — если сумеешь отречься от низменной чувственности и посвятишь себя служению духовному миру, то возвысишься над всеми семи небесными сводами.

СМЫСЛ СКАЗА О ХОСРОВЕ И ШИРИН

Стр. 704. *Кыпчакский мой кумир!..*— Речь идет об Афак первой жене Низами.

Ее фата была, как воинский доспех, // А рукава узки, к ней не проник бы грех.— Низами гордился целомудрием и благочестием Афак, которая будучи невольницей правителя Дербента, не покорилась ему, несмотря на все его домогательства.

В НАСТАВЛЕНИЕ СЫНУ СВОЕМУ МУХАММЕДУ

...Да будет славный сан, // В два лука вышиной тебе в грядущем дан.— По мусульманскому преданию, пророк Мухаммед во время своего вознесения к аллаху приблизился к нему на расстояние двух выстрелов из лука. Поэт желает своему сыну счастья служения богу и приближения к нему.

Стр. 705. *Когда ж не месяцем блеснешь, луною людям,— // То меж сиянья звезд твой лик мы видеть будем.*— Обращаясь к сыну, Низами говорит, что он желал бы видеть его, когда сын достигнет совершеннолетия и станет подобен полной луне, в окружении достойных людей, возвысившихся благодаря своим знаниям и мудрости до звезд.

ХОСРОВ ВИДИТ ВО СНЕ ПРОРОКА

Красоты Мустафы Хосров узрел во сне.— Хосров II Парвиз и пророк Мухаммед были почти ровесниками. Хосров умер на четыре года раньше Мухаммеда. Эта глава, очевидно, написана во время второй редакции поэмы. Поэт, вероятно, хотел обелить себя в глазах мусульманского духовенства, обвинявшего его в том, что главными героями поэмы он вывел огнепоклонников (см. в начале поэмы главу «В оправдание этого сочинения»).

Стр. 707. *...он — печать пророков.*— По мусульманскому учению, Мухаммед является последним из пророков, поэтому и сравнивается с печатью под списком посланников аллаха.

Стр. 709. *То месяц расщеплял он перед смертным оком, // То прятал он луну в плаще своем широком.*— Здесь говорится о чудесах, которые якобы мог совершить Мухаммед.

ПОСЛАНИЕ ПРОРОКА ХОСРОВУ

Стр. 710. *Велит — и над царем комар смертельный рока, // Велит — и муравей всевластнее пророка.*— По преданию, легендарного тирана Немврода, преследовавшего пророка Ибрахима (Авраама), погубил москит, который по велению бога проник ему в мозг и терзал до тех пор, пока тот не погиб. Во второй строке намек на эпизод с пророком Эйюбом, который не мог справиться с нашествием муравьев.

Стр. 712. *Брось пламень, мотылек,— в нем гибнешь ты, сгорая.*— Пламень здесь обозначает огонь, которому поклонялись огнепоклонники-единоверцы Хосрова, а мотылек — Хосрова.

..Так бешеный не может видеть влагу.— По поверью, заболевший бешенством не может выносить даже вида воды.

Стр. 713. *И при Зикаре спесь с иранца сбил араб.*— В 645 г. около местечка Зикар арабы-мусульмане одержали решающую победу над иранскими войсками.

Стр. 714. *Хвала тебе, о тюрк!* — Тюрком назван пророк Мухаммед.

Хвала Луне, что спит, как люди, на земле, // Но озаряет всех, томившихся во мгле! — Луна — пророк Мухаммед, который светом своего учения, говорит Низами, озарил весь мир, пребывавший до этого во мраке язычества.

ВОЗНЕСЕНИЕ ПРОРОКА

Стр. 715... *Льва // Погладил по лбу он...*— созвездие Льва состоит из четырех звезд, как бы образующих «лоб» Льва.

Пал Колос пред конем, ему рассыпав зерна.— Колос — созвездие Девы.

Он, чтоб не жгла очей эдемская дорога, // Взор бросил на печать: «Не отвратись от бога».— Согласно Корану, когда Мухаммед пролетал мимо сказочного небесного сада, аллах велел ему: «Не оглядывайся!», дабы Мухаммед не загляделся на необычайную красоту рая и не отклонился от пути.

НАСТАВЛЕНИЕ И ЗАВЕРШЕНИЕ КНИГИ

Стр. 717. *Гурган покинувши, ты двинешься в Кирман. // Путь из Гургана, друг, в Кирман — далек. Дорога // До смерти коротка: ты близ ее порога.*— В оригинале непереводимая игра названиями двух городов в Иране — Гургана и Кирмана, которые одновременно обозначают: «волки» и «черви». Смысл бейта: в смертный час, спасаясь от волков этого мира, мы отправимся в страну червей, которые сожрут нашу плоть, т. е. наш путь до смерти значительно короче, чем путь из Гургана в Кирман.

Стр. 719. *Освободился так от клетки попугай.*— Имеется в виду попугай из широко известной басни: стремясь вырваться из клетки, попугай притворился мертвым, а когда его выбросили, он улетел на родину, в Индию.

Стр. 720. *Все ж деньги Деция — ячменное зерно.*— Т. е. богатство Деция давно истлело, а потому не стоит и ячменного зерна.

Пятьсот семьдесят шесть промчалось лет...— Т. е. поэма была завершена в 576 г. (мусульманского летосчисления), указанная дата соответствует 1180—1181 годам нашего летосчисления.

Стр. 721. *Даря вам шелк, я стал подобен шелкопрядам, // Я также на листах ряд язв черчу за рядом.*— Поэт говорит: подобно тому, как шелковичный червь, пожирая древесные листы, дарует шелк, так и я, исписывая листы, дарую читателям «шелковые» стихи.

ПОРИЦАНИЕ ЗАВИСТНИКОВ

Стр. 722. *Уселись, как Иса, скрестив свои ступни. // Увязнув, как ослы,— попались мне они.*— По преданию, Иса (Иисус), оживляя мертвого своим дыханием, опускался перед ним на колени, Низами говорит, что придворные поэты точно так же становились перед ним на колени, стараясь изречь «животворные» мысли, однако они быстро увязали в грязи, подобно ослу,— не могли сказать ничего путного.

Пусть от меня звезда зажжет свой яркий свет, // Но солнцем стать, как я, никто не сможет,— нет! — Низами сравнивает со звездами придворных поэтов, которые обкрадывают его (озаряют себя его стихами), но они никогда не научатся сиять, подобно солнцу.

Смотри: индусский вор проник в мои угодья, // Но сам его коня повел я за поводья.— В подлиннике сказано: «Посмотри ты на мою выдержку; видя своего индийского грабителя, // Я веду за ним запасного коня, подобно тюркам».— Низами говорит, что он видит, как придворные поэты обкрадывают его, но он, подобно великодушному тюрку, делает вид, что не замечает этого, и даже подает им запасного коня.

Стр. 723. *Вот помесь, погляди: тюрчанкою красивой // И негром порожден рассказ мой прихотливый.*— Этот и последующие два бейта содержат ответ обвинителям Низами, упрекавшим его в «греховности», темы, избранной им для поэмы. Оправдываясь, поэт сравнивает свои стихи с сокровищем, красивой тюрчанкой и лампадой, а сюжет поэмы с драконом, негром и крестом. И предлагает читателям взять сокровище, красавицу-тюрчанку и лампаду, а остальное оставить.

ТОГРУЛ-ШАХ ТРЕБУЕТ К СЕБЕ УЧЕНОГО НИЗАМИ

Стр. 724. *Сказали мудрые: «Ты слова властелин».*— Поэт говорит, что когда он закончил поэму, от всех умных людей поступили поздравления, и тогда он вспомнил арабскую поговорку: «Путь разума один», т. е. если все умные люди хвалят поэму, значит она действительно удалась.

И был он с радостью большой приобретен. // И вознесен хвалой был до созвездий он.— Т. е. когда поэма была завершена, Низами преподнес ее атабеку Мухаммеду Джахан-Пехлевану, заказавшему поэму. Поэма была принята весьма благосклонно, и поэту обещаны китайский шелк, великолепный хуттальский конь, несколько рабов и рабынь и т. д., но обещания эти не были выполнены — заказчик долго находился в походах, а затем умер, и поэт ничего не получил.

Стр. 725. *На голову свою я возложил указ.*— Т. е. выказал глубокое почтение указу.

Стр. 727. *И шею с головой к ногам царя метнул.*— Т. е. поклонился шаху в ноги.

...небо поднялось...— т. е. поднялся Кызыл-Арслан.

Стр. 728. *Сказитель...*— Во время Низами, следуя древнему обычаю,

каждый крупный поэт имел своего сказителя-декламатора, который читал его стихи.

Стр. 730. *Мне дал Хамдуниян — так названо поместье.*— Хадуниян — название деревни, которую Кызыл-Арслан пожаловал Низами.

СОЖАЛЕНИЕ ПО ПОВОДУ КОНЧИНЫ ШАМСЕДДИНА МУХАММЕДА ДЖАХАН-ПЕХЛЕВАНА

Стр. 732. *Ключа живой воды так не испил Двурогий.*— Атабек Мухаммед Джахан-Пехлеван уподоблен Александру Македонскому (Двурогому), который в поисках живой воды проник в подземное царство мрака, но не нашел там источника. Смысл стиха: атабек Мухаммед могучий и мудрый, как Александр Македонский, не обрел вечной жизни.

Он рану получил от быстрых рук злодея.— По свидетельству некоторых историков, атабек Мухаммед был отравлен.

Стр. 733. *Благой Нусрет-ад-Дин...*— сын Мухаммеда Джахан-Пехлевана Нусрет ад-Дин пришел к власти после смерти своего дяди Кызыл-Арслана в 1194 г. и правил до 1201 г. Из этого явствует, что данная глава, как и главы «Хосров видит во сне пророка», «Послание пророка Хосрову», «Вознесение пророка», написаны значительно позже самой поэмы, первая редакция которой была завершена в 1180—1181 гг.

Как счастлив Абубекр, что Абубекру ведом! — Сын атабека Шамседдина Мухаммеда — Абубекр уподоблен халифу Абубекру (632—634).

СЛОВАРЬ
СОБСТВЕННЫХ ИМЕН, ТЕРМИНОВ И НЕПЕРЕВЕДЕННЫХ СЛОВ

СОКРОВИЩНИЦА ТАЙН

Аббасиды — династия багдадских халифов, потомков дяди пророка Мухаммеда Аббаса. Аббасиды правили халифатом с 749 по 1258 г.— до нашествия монголов.

Абджад — название арабского алфавита: особый порядок расположения букв арабского алфавита, каждая из которых имеет свое числовое значение (от 1 до 1000); назван так по первым четырем буквам (а, б, дж, д).

Абу-Талиб — отец четвертого халифа Али (см.), дядя пророка Мухаммеда. Мухаммед, осиротевший в юности, воспитывался в его доме. Абу-Талиб не принял ислама, умер идолопоклонником, но так как он «дышал одним воздухом с Мухаммедом», защищал его от преследований и воспитывал его, то, по преданию, не попал в ад.

Азра — героиня поэмы «Вамик и Азра» поэта Абу-л-Касима Унсури (X—XI вв.); Азра — символ красоты и верности возлюбленному. Сюжет этой поэмы, восходящий к античной литературе, был широко распространен еще в VI в. при Ануширване (см.).

Али — четвертый халиф (656—661), двоюродный брат, зять, сподвижник пророка Мухаммеда; один из полководцев, беспощадно насаждавший ислам.

Алоэ (по-арабски «уд») — благовонное дерево, которое во времена Низами привозили из Индии. Его сжигали в курильницах. Этим же словом обозначалась рута — растение, мелкими зернами которого окуривали от «дурного глаза».

Алмагест (Маджисте) — так на Востоке в средние века называли главный труд Клавдия Птоломея (II в.) «Великое математическое построение астрономии».

Амбра — благовонное вещество, широко применявшееся на Востоке. Добывалось из кишечника кашалота.

Амириты — европеизированное название племен Бан Амир, живших на Аравийском полуострове, откуда, по преданию, происходили Лейли и Меджнун — герои одноименной поэмы Низами.

Ануширван — (букв.— бессмертная душа) прозвище иранского царя из династии Сасанидов Хосрова I (531—579). При Ануширване была произведена опись всех земель и установлены точные размеры налогов, взимавшихся до него произвольно, за это он был прозван «Справедливым».

Арабы — жители собственно Аравийского полуострова, из среды которых вышел пророк Мухаммед (см.). Арабы — символ смуглоты, черноты, обычно противопоставляются в поэзии аджамцам (см.) и тюркам (см.).

Аргаван — распространенное на Востоке дерево (полукустарник) багрянник, иудино дерево, которое весной цветет ярко-красными (розовыми) цветами; синоним багряного, пурпурного цвета.

Арран (Аран) — название древней области в западной части современного Азербайджана. Столицей Аррана была сначала Барда, а затем Гянджа — родина Низами.

Арслан (Кызыл-Арслан) — один из самых могущественных представителей династии атабеков, правивших Азербайджаном. Кызыл-Арслан стал атабеком после смерти своего старшего брата Мухаммеда Джахан-Пахлавана (1175—1186) и правил с 1186 по 1191 г. Он покровительствовал Низами и глубоко почитал его.

Атид — ангел, который вместе с другим ангелом, Ракибом, будет вести счет добрым и дурным делам человека на этом свете во время так называемого Страшного суда (когда, по представлениям мусульман, мертвые восстанут из могил).

Ахсатан I (1160—1196/7) — ширваншах, правитель феодального государства Ширван в Северном Азербайджане.

Аят — «божественное» стихотворное изречение; из аятов состоят главы Корана — суры.

Бабил — древний Вавилон; по преданию в Вавилоне заключен был в колодец до дня Страшного суда падший ангел Харут (см.).

Багдад — столица арабского халифата; с середины VIII в. до монгольского нашествия (1256 г.) был крупнейшим культурным и экономическим центром мусульманского Востока.

Бадахшан — обширная местность, охватывавшая в средние века юго-восток Памира (ныне — Горно-Бадахшанская автономная область Таджикской ССР), где издревле добывали гранаты и рубины (лалы).

Бахман — одиннадцатый месяц иранского солнечного календаря (21 января — 19 февраля), синоним холода, морозов; имя сына Исфендияра, героя поэмы «Шах-наме» Фирдоуси.

Бахрам-гур — герой поэмы «Семь красавиц» Низами, иранский царь из династии Сасанидов Бахрам V (421—438). По легенде, он постоянно охотился на онагров (по-персидски онагр — гур), за что его прозвали Бахрамгуром. В поэзии — символ бесстрашия, удачливости и веселого нрава.

Бахрам-шах — Фахр ад-Дин ибн Давуд ибн Исхак, которому Низами посвятил свою поэму «Сокровищница тайн», правитель Арвинджана в Малой Азии (около нынешнего Арзрума); он был вассалом атабеков Азербайджана и дружил с поэтом; правил с 1166 по 1225 г.

Бейт — двустишие, основная единица стиха в поэзии.

Билкис (Балкис, Бильгейс) — царица Савская, якобы бывшая женой царя Соломона.

Бурак — мифический конь, на котором пророк Мухаммед якобы совершил свой мирадж (см.) — небесное восхождение к аллаху.

Вамик — см. Азра.

Газель — небольшое лирическое стихотворение в персоязычной поэзии, обычно из 6—8 двустиший с монорифмой (аа. ба, ва и т. д.).

Газна — столица государства Газневидов, простиравшегося в X—XI вв. от Китая до пределов Индии. Газна находилась приблизительно на территории современного Афганистана.

Галия (галие) — смесь мускуса и амбры, драгоценное ароматическое вещество для умащивания волос и бровей.

Гуль — в арабских сказках злой дух, который сбивает путников с дороги и губит их.

Гебры — мусульманское название зороастрийцев (см.).

Гилим — палас, ковер без ворса, подстилка.

Гурии — вечно юные прекрасные девы, которые по представлениям мусульман, предназначены в раю для праведных мужей.

Гурхан — один из титулов легендарного царя древнего Ирана — Бахрама (421—438), героя поэмы Низами «Семь красавиц».

Дабу — чучело, которое использовали при обучении боевых слонов.

Давуд (Дауд) — 1. Отец Бахрам-шаха, правителя Арзинджана, которому Низами посвятил «Сокровищницу тайн». 2. Библейский царь Давид. Ислам причислил его к пророкам, предшественникам пророка Мухаммеда. По легенде, Давуд, отец Сулеймана (см.), был необычайно мудр, явился творцом так называемого «Забура», книги псалмов, и обладал дивным голосом; первым из людей выковал кольчугу: железо в его руках становилось мягким, как воск.

Дарий — древнеперсидский царь Дарий III (336—330 гг. до н. э.), последний из династии Ахеменидов, империю которого разгромил Александр Македонский.

Дастархан — скатерть с угощеньем.

Дахме — так называемая «башня молчания»; площадка на возвышении, на которой зороастрийцы (см.) оставляли тела покойников.

Дервиш — мусульманский странствующий монах, член суфийской секты ислама, бедняк; нищий.

Джабраил — «вестник» бога, через которого пророку Мухаммеду якобы был ниспослан Коран — «Божественная речь» и который сопровождал Мухаммеда во время его так называемого вознесения к аллаху.

Джабха (по-арабски обозначает «лоб») — созвездие, состоящее из четырех ярких звезд, находится «на лбу» созвездия Льва, за что и прозвано Лбом.

Джамшид (Джемшид) — мифический царь древнего Ирана, один из героев «Шах-наме» Фирдоуси, символ могущества, богатства и безгра-

ничной власти. По легенде, он обладал чудесной чашей, в которой отражалось все происходящее на земле. Джамшид под конец жизни возгордился, и бог наказал его за это: он был заживо распилен узурпатором и тираном Заххаком (см).

Джубба — широкая верхняя одежда; халат, балахон.

Джуляб — гуляб, сорт груши; сироп из лепестков розы, который кладут в халву.

Див (дэв) — злой дух, дьявол.

Диджла (Диджле) — арабское название реки Евфрат.

Динар — золотая монета.

Дирхем — мера веса, разная в различные времена, а также название серебряной монеты весом около 3,5 г.

Ездигерд — древнеиранский царь Ездигерд I из династии Сасанидов. Имя его в восточной поэзии было символом могущественного правителя.

Занзибарец — житель Занзибара, группы островов у восточного побережья Африки. В поэзии Низами — символ черноты, темной кожи.

Заххак — герой древнеиранского эпоса, тиран и узурпатор, который убил Джамшида (см.) и узурпировал его престол. «Заххак» буквально означает «дракон», «змей». По Фирдоуси, у Заххака из плеч росли две змеи, которых он каждый день кормил мозгом двух умерщвленных с этой целью юношей. Доведенный до отчаяния его тиранией народ восстал и под руководством кузнеца Каве сверг его и приковал цепями к вершине горы Демавенд. Заххак — символ тирании, жестокости.

Зенд (Зенд-Авеста) — неправильное название священной книги зороастризма, распространенное во времена Низами. Книга называлась Авеста, а Зенд — позднейший комментарий к ней на среднеперсидском языке (пехлеви).

Зиндж — негр.

Зороастризм — религия, которая была распространена в древнем Иране и ряде стран Ближнего и Среднего Востока.

Зулейха (Зулайха) — см. Юсиф.

Зульф — кудри, локоны возлюбленной.

Зуннар — грубый волосяной пояс, который обязаны были носить христиане — подданные мусульманских правителей, зуннаром называли также ритуальный пояс, который носили зороастрийцы-огнепоклонники.

Зухра (Зухре) — планета Венера. По преданию, Зухра, красивая девушка из Вавилона, была соблазнена падшими ангелами Харутом (см.) и Марутом. За испытания, выпавшие на ее долю, она была вознесена на небо, где сделалась покровительницей музыки, искусства. На старинных восточных миниатюрах Зухра изображалась в виде красавицы с бубном в руках.

Иблис — у мусульман — главный злой дух. Согласно коранической легенде, за отказ поклониться Адаму аллах проклял его и низверг в геенну огненную.

Ибн Мукла (ум. в 939 г.) — знаменитый арабский политический деятель и каллиграф, создавший почерк «наск», принятый в арабских странах.

Ибн Хани (937—972) — арабский поэт, оратор и софист, славившийся своим полемическим искусством.

Ибрахим — библейский пророк Авраам, причисленный исламом к шести «великим» пророкам. Согласно мусульманской легенде, он был сыном идолотеса Азера. За то, что он проповедовал единобожие, тиран огнепоклонник Нимврод велел бросить его в печь, но когда печь открыли, то увидели, что огонь в печи превратился в цветник роз и Ибрахим отдыхает там. Однажды в месяц жертвоприношения у Ибрахима не оказалось жертвенного животного, тогда он решил принести в жертву своего сына Исмаила, который был олицетворением беспрекословной покорности родительской воле и смирения. Однако бог остановил Ибрахима, когда он уже занес кинжал,— ниспослал ему барана и спас Исмаила. У Ибрахима было прозвище Халилул-аллах (друг аллаха).

Индустан — Индия. В первоязычной поэзии символ черноты, мрака.

Ирем (Ирам) — дивный сад, созданный мифическим тираном Шеддадом, который решил устроить на земле подобие рая. По преданию, Шеддад умер, когда Ирем был создан, не успев войти в него.

Иса — Иисус Христос.

Искандер (Искендер) — Александр Македонский (356—323), послуживший прообразом главного героя поэмы Низами «Искендер-наме».

Исмаил — см. Ибрахим.

Исмаилиты — члены секты, организованной в XI в. Хасаном ибн Саббахом (ум. в 1123 г.). Исмаилиты, захватив неприступную крепость Аламут, создали как бы государство в государстве и посредством тайных убийств политических и государственных деятелей XI—XII вв. терроризировали правителей многих стран Ближнего и Среднего Востока.

Исрафил — упоминаемый в Коране ангел, который звуком трубы (сурны) должен возвестить о начале так называемого Страшного суда, и от звука этой трубы якобы расколется земля, рассыплются в прах горы и мертвые восстанут из могил.

Исхак — библейский патриарх Исаак, признанный одним из пророков, бывших до Мухаммеда. Исхак — имя деда Бахрам-шаха (см.), правителя Арзинджана, которому посвящена поэма Низами «Сокровищница тайн».

Йемен (Иемен) — страна на юге Аравийского полуострова; в поэзии Низами — синоним счастья, счастливого предзнаменования (см. Сухейль).

Ка'ба (Кааба) — храм в Мекке (см.), где хранится священный черный камень, главная святыня мусульман, к которой они совершают паломничество и в сторону которой обращаются во время молитвы.

Каба — род кафтана без воротника, шерстяной халат — обычная верхняя одежда во времена Низами, сохранявшаяся в Азербайджане вплоть до начала XX в.

Калам — перо, изготовлявшееся из тростника.

Каландар — странствующий дервиш, аскет, юродивый, живущий за счет подаяния.

Калым — подать, налог.

Канопус) — см. Сухейль.

Карун — библейский Корей, легендарный богач, который был проклят Мусой (см.) за скупость и поглощен землей вместе со всеми своими богатствами. Предание о баснословном богатстве Каруна идет от мусульманской традиции.

Касаб — тонкая льняная материя.

Каф — по представлениям древних, мифический горный хребет на краю земли; Каф — символ дальности и недоступности.

Кей-Кубад (Кай-Кубад) — мифический шах древнего Ирана, прославившийся своим могуществом и пышными пирами, один из героев «Шах-наме» Фирдоуси.

Кей-Хосров (Кай-Хосров) — мифический шах древнего Ирана, один из главных героев «Шах-наме» Фирдоуси, который отрекся от власти в зените своего могущества и таинственно исчез в горах. В классической восточной поэзии Кей-Хосров — символ могущества, безграничной власти и богатства.

Кейсар (кайсар) — так на востоке называли византийских императоров.

Кесра (кисра) — арабизированная форма персидского имени Хосроу (Хосров), которое употреблялось в значении «царь».

Китай — в произведениях Низами и классической средневековой восточной поэзии страна тюрок, не соответствующая современному географическому понятию «Китай». Говоря «Китай», поэт подразумевал Китайский Туркестан, где жили тюрки. Под Китаем подразумевался также Восток — вообще то, что было к востоку от Ирана, Индии, стран Средней Азии.

Курбан — Курбан-байрам, религиозный праздник жертвоприношения у мусульман.

Ковсар (Коусар, Коусер) — райский источник, упоминаемый в Коране.

Коран — священная книга мусульман.

Кыбла — направление в сторону Мекки (см.), куда мусульмане обращаются лицом во время молитвы.

Кызыл-шах — см. Арслан (Кызыл-Арслан).

Лал — рубин.

Лат — один из главных доисламских идолов в Мекке (см.).

Маджисте — см. Альмагест.

Маг — жрец зороастрийцев; кудесник, волшебник; ислам запрещал употребление вина, и его поставщиками были маги-зороастрийцы и христиане.

Мазендеран — область в Иране.

Максура — специальное место в главной мечети, отведенное для духовных лиц.

Ман (мен) — мера веса, разная в различные времена и в различных странах, обычно от 3 до 12 кг.

Мансур Ибн-Музаффар — компоненты имени атабека — правителя Азербайджана Нусрат ад-Дина Абу-Бакра Пишкина (1194—1211).

Маррих — планета Марс.

Масих (месих, масиха) — мессия, то же, что Иса (см.). Масих в поэзии Низами — символ чистого, божественного дыхания, от которого способны воскреснуть мертвые.

Махмуд — самый могущественный султан династии Газневидов (правил 999—1030 гг.). Его необычайная любовь к своему рабу Айазу (Аязу), возведенному впоследствии в сан эмира, воспевалась в восточной классической поэзии.

Мекка — священный город мусульман в Аравии, куда совершают паломничество и где находится Ка'ба.

Мерв — один из древнейших городов в Средней Азии, на протяжении многих веков бывший крупным политическим и экономическим центром; разрушен в XII в. во время монгольского нашествия.

Мехди — последний, двенадцатый имам, который якобы явится перед «концом света» на белом коне и очистит весь мир от скверны; мессия.

Мимбар (минбар) — кафедра в мечети, откуда проповедники возглашали молитвы и проповеди.

Миср — Египет.

Михраб — стрельчатая ниша в мечети, указывающая направление в сторону Мекки (см.). Во время молитвы лицо молящегося должно быть обращено к михрабу. В поэзии Востока брови красавиц обычно сравнивались с михрабом.

Мобед (Мубед) — зороастрийский жрец; в поэзии Низами часто — жрец у идолопоклонников.

Муса — библейский Моисей, причисленный мусульманами к шести

великим пророкам. По коранической легенде, Муса разговаривал с аллахом на горе Синай, за что получил прозвище «Собеседник аллаха». Мусе приписывают два чуда: однажды он перед фараоном бросил свой посох, который по его велению превратился в змею, а второе чудо заключалось в том, что рука его излучала свет. Поэтому выражение «белая рука» в классической поэзии служит символом необычайной искусности в чем-либо.

Мускус — благовонное вещество черного цвета, добываемое из желез самца кабарги.

Мухаммед (570—632) — создатель ислама и мусульманского государства, пророк мусульман.

Мухаммед — Джахан-Пахлаван Шамс ад-Дин Ил-Дениз, атабек — правитель Азербайджана и персидского Ирака с 1175 по 1186 г. Низами посвятил ему свою поэму «Хосров и Ширин».

Мухтасиб — представитель власти в мусульманском городе, следивший за соблюдением жителями предписаний шариата.

Муштари — планета Юпитер; по представлениям астрологов, олицетворение мудрости.

Мюрид — суфийский послушник.

Най (ней) — свирель; род флейты.

Намаз — обязательная для мусульман ритуальная молитва, совершаемая пять раз в день.

Нарды — древняя восточная игра. На специальной двустворчатой доске игроки делают ходы, определяемые числом, выпавшим на игральных костях, на гранях которых обозначены цифры от одного до шести. Игроки передвигают по очереди 15 шашек по 12 «домикам». В поэзии нарды — символ судьбы, случайности, неизвестности.

Нат — кожаная подстилка, на которой обезглавливали осужденного на казнь во дворце в присутствии правителя.

Ночь Кадр — Кадр буквально означает «могущество», проявление могущественной воли аллаха, предопределение. Так называется 97-я глава Корана, содержащая 5 стихов. Первый стих гласит: «Поистине, мы ниспослали его в ночь могущества» (имеется в виду ниспослание Корана). В стихах 3 и 4 говорится: «Ночь могущества лучше тысячи месяцев. Нисходят ангелы и дух в нее с дозволения господа их для всяких повелений». Ночью Кадр обычно считают ночь на 24-е число месяца рамазана.

Нух — библейский Ной; Нух включен исламом в число великих пророков. По легенде, за грехи, совершенные его народом, аллах по просьбе Нуха ниспослал всемирный потоп, в котором погибли все, кроме Нуха (Ноя), сам он спасся на своем ковчеге, захватив по одной паре всех живых существ. Эта легенда подробно изложена в 71-й главе Корана.

Нусрат ад-Дин — прозвище атабека Абу-Бакра Пишкина (букв.— «Помощник веры») (1194—1211), сына Шамс ад-Дина Ил-Дениза. См. также Мансур ибн-Музаффар.

Нуш-гия — противоядие.

Нуширван — см. Ануширван.

Омар — сподвижник пророка Мухаммеда, второй халиф (634—644 гг.). Согласно легенде, он был настолько праведным, что злые духи не могли ступить в течение трех дней там, где он проходил.

Оман — область в Аравии, славившаяся своим жемчугом, который добывался в Оманском заливе.

Органон — небольшой музыкальный инструмент с мехами и клавиатурой, предшественник органа.

Рабат (рибат) — караван-сарай, постоялый двор.

Рахш — буланый (светло-рыжий) боевой конь богатыря Рустама, героя иранского эпоса и «Шах-наме» Фирдоуси. В поэзии Низами часто употребляется его имя в значении «быстроногий конь, на котором мчится время».

Руд — струнный музыкальный инструмент.

Рум — так называли на Востоке Византию и Малую Азию. В поэзии на фарси — символ белизны и красоты.

Рустам (Рустем) — легендарный богатырь, герой «Шах-наме» Фирдоуси.

Саз — струнный музыкальный инструмент.

Санаи — Маджуд ибн Адам Санаи, классик персидско-таджикской поэзии XI—XII вв., автор поэмы «Хадикат ал-Хакаик» («Сад истин»), которую он посвятил в 1140—1141 гг. правителю Газны Йаминад-ад-Доуле Бахрам-шаху. Адресат «Сокровищницы тайн» тоже носил имя Бахрам-шах (см.).

Санджар — Мелик-шах (1119—1157), последний султан государства Великих Сельджуков в Хорасане.

Сель — бурный поток, несущий грязь и глыбы камней, возникающий в горах во время сильных дождей или таяния снегов.

Симург — мифическая птица, обитающая на горе Каф (см.); царь-птица, символ величия, могущества, всего невидимого и таинственного.

Сулейман — библейский Соломон, мудрый и могучий царь, включенный исламом в число пророков, бывших до Мухаммеда. Сулейману якобы подвластны были люди, звери, пери и джинны, на волшебном ковре он облетал свое беспредельное царство, а благодаря перстню с именем «аллах» подчинял себе все живое.

Суфий (букв.— носящий власяницу) — последователь суфизма, мистико-аскетического направления в исламе. Суфизм возник в VIII—

IX вв. в недрах ортодоксального ислама как оппозиционное течение, как осуждение имущественного и социального неравенства.

Сухейль — Канопус, главная звезда созвездия Корабль Арго. Она хорошо видна в южной части Йемена. Согласно поверью, благодаря сиянию Сухейля в Йемене выделывался сафьян самого высокого качества — адим. Сухейль — символ яркости, света и благородства и в поэзии часто называется йеменской луной. В классической персоязычной поэзии Йемен и Сухейль — однозначны.

Табарзад — кусковой, хорошо очищенный сахар; карамель; синоним сладости.

Табаристан — область на севере древнего Ирана, на побережье Каспийского моря; старинное название Мазендерана.

Табархун — ива пурпуровая, прут сандалового дерева.

Табашир — порошок, получавшийся от сжигания тростника; его использовали для утоления жажды.

Такбир (букв.— возвеличивание аллаха) — произнесение религиозной формулы: «Аллах велик!»

Тараз — область и город в Средней Азии, жители которого отличались белизной, красотой; символ белизны, света, утра. Развалины Тараза находятся неподалеку от современного г. Джамбула.

Туба — по представлению мусульман, райское дерево, в поэзии на фарси — символ стройности, изящества и красоты.

Тутия — целебная глазная мазь; считалась панацеей от всех глазных болезней.

Тюрок — в классической восточной поэзии — символ белизны, красоты, благородства.

Унаби — дерево с красными плодами, с которыми обычно сравниваются окрашенные хной пальцы возлюбленной.

Фаридун (Феридун) — мифический древнеиранский царь, один из главных героев «Шах-наме» Фирдоуси, символ могущества и богатства.

Фагфур — букв.— сын бога, титул китайских императоров на Ближнем и Среднем Востоке.

Фарр — божественная благодать, которой, по представлениям древних иранцев, обладал законный правитель, шах. Фарр изображался в виде ореола, нимба вокруг головы.

Фарсанг — мера длины, расстояние, которое может пройти конь за один час (около шести километров).

Фахр ад-Дин — см. Бахрам-шах.

Хабеш (Хабаш) — Абиссиния, ныне Эфиопия, откуда во времена Низами привозили темнокожих рабов; в поэзии — синоним мрака, ночи, черноты.

Хадж (хаджж) — паломничество, совершаемое мусульманином в Мекку к храму Ка'бы (см.). Хадж (букв.— прохождение через пустыню Хиджаз) является одним из пяти основ ислама.

Хаджадж — Хаджадж ибн Юсуф, наместник и полководец халифа Абд-ал-Малика ибн Марвана (685—720), отличавшийся исключительной жестокостью; символ тирании и деспотизма.

Хайдар (букв.— лев) — эпитет Али (см.).

Хакан — в средние века титул правителя у тюрков, в пределах Китая (Чина) позже обозначал и титул правителя Чина.

Халил — прозвище пророка Ибрахима (см.).

Халиф — глава арабского халифата, сначала духовный глава, затем и правитель государства. Халиф в поэзии Низами служит символом абсолютной власти, верховного правителя.

Ханан (Ханаан) — местность в Иудее, откуда был родом Иосиф Прекрасный (см. Юсуф).

Ханаках (ханака) — обитель дервишей-отшельников, суфиев-аскетов.

Ханут — бальзамические ароматические вещества, которые употреблялись при обмывании тела покойника.

Хар — древний город, отличавшийся богатством, в окрестностях которого были золотые россыпи. На развалинах его вырос город Рей, расположенный к югу от современного Тегерана. Рей был уничтожен во время монгольского нашествия.

Харадж — подать, налог.

Харун ар-Рашид (786—809) — арабский халиф из династии Аббасидов, один из персонажей сказок «1001 ночь»; символ могущества.

Харут — ангел, который, согласно мусульманской легенде, вместе с другим ангелом, Марутом, был послан для испытания на землю в человеческом облике. Он, как и Марут, влюбился в красавицу Зухру (см.) и под влиянием охватившей его страсти совершил насилие над ней. В наказание за это преступление Харут и Марут были низвергнуты в колодец в Вавилоне, где и должны пребывать до дня Страшного суда. Зухра, ставшая их жертвой, была вознесена на небо, где приняла облик Венеры, а Харут и Марут, ставшие волшебниками-искусителями, обучали желающих искусству магии.

Хатиб — проповедник, читающий молитву в мечети за царствующий дом.

Хиджаз — обширная западная область Аравийского полуострова, где находятся священные города мусульман — Мекка и Медина.

Хорасан (букв.— место восхода солнца) — исторически обширная область, занимавшая территорию нынешнего Ирана (от Тегерана до берегов Амударьи) и часть Афганистана.

Хосров — употребляется в значении «шах», «царь». Как имя Юлия Цезаря в Риме и Византии стало нарицательным — кесарь, кайсар, так и имя Хосрова Ануширвана (см.) стало употребляться для обозначения

царя вообще. Кроме Ануширвана, это имя носил Хосров Парвиз (590—628) — один из главных героев поэмы Низами. «Хосров и Ширин».

Хотан — название области в средневековом Туркестане, жители которой отличались белизной. Хотан, как и Тараз (см.), в восточной классической поэзии — синоним света, белизны и красоты.

Хум — большой кувшин для вина и сыпучих тел.

Хума (Хумай) — сказочная птица, приносящая счастье. По поверью, тот, на кого падала ее тень, становился царем.

Хусейн — внук пророка Мухаммеда и сын халифа Али (см.), погибший от ран и жажды во время битвы в 682 г. около Кербелы; один из самых почитаемых мусульманами-шиитами имамов.

Хутба — торжественная молитва, провозглашавшаяся в пятницу в мечети за правителя и за всю общину правоверных.

Хутталан (Хатлан) — область, занимавшая часть территории современного Таджикистана; Хутталан славился породистыми конями, которые вывозились в различные страны Ближнего и Среднего Востока.

Хызр — мифическое существо в зеленых одеждах, открывшее источник «живой воды» в подземном царстве и обретшее бессмертие, вечную жизнь. Считалось, что Хызр мгновенно передвигается в пространстве и приходит на помощь путникам, погибающим в пустыне, покровительствует мореходам.

Хырка — рубище, власяница, которую носили суфии (см.) и дервиши. Хырка считалась священной одеждой, символом благочестия, отказа от мирских благ, смирения и чистоты помыслов.

Чавуш — в караване паломников человек, идущий впереди и исполняющий религиозные песни.

Чанг — струнный музыкальный инструмент, схожий с лирой (современный чанг больше похож на цимбалы).

Човган (чоуган) — конное поло; всадники клюшками отбирают друг у друга шар (мяч и забивают его между двумя столбами. Човганом называлась и сама клюшка для игры; в поэзии — синоним всего изогнутого, в частности — кудрей красавицы, небесной дуги, символизируют также судьбу (небосвод).

Шам — Сирия, Дамаск: место захода солнца; в поэзии Низами символизирует вечер.

Шариат — свод мусульманских религиозных и юридических правил, основанных на Коране.

Шейх (букв.— старец) — вождь племени, глава религиозной общины.

Шихна (шихне) — начальник городской стражи, полиции, градоначальник.

Эмир — букв.— повелитель; титул военачальника или правителя.

Юнус — библейский Иов, по легенде, попавший в чрево кита и сумевший благополучно спастись оттуда.

Юсуф — герой мусульманской легенды (его история изложена в одноименной главе Корана), восходящей к Библии (легенда об Иосифе Прекрасном); Юсуф, любимый сын Якуба, был из зависти похищен своими братьями и брошен в колодец, откуда его извлекли случайные путники. После этого его продали в рабство египетскому вельможе, жена которого Зулейха влюбилась в Юсуфа. Легенда о Юсуфе и Зулейхе послужила основой для многочисленных сказаний и поэм на этот сюжет. В поэзии Юсуф — символ красоты, целомудрия, благородства.

Якуб — библейский Иаков, отец Иосифа Прекрасного — Юсуфа по исламу, один из пророков, бывших до Мухаммеда.

ХОСРОВ И ШИРИН

Абу-Бакр — зять пророка Мухаммеда, после смерти которого стал халифом (632—634).

Абу-Дулаф — см. Асади.

Абхазия — в средние века так называли иногда Грузию.

Авеста — священная религиозная книга зороастрийцев (см. *Зардушт*).

Аджам — название, данное арабами всем неарабским странам, входившим в Арабский халифат (см. халиф). Этим словом чаще всего обозначался Иран и Туркестан (страна, где обитали тюркские народы).

Айаз (Аяз) — любимый раб (впоследствии облаченный в сан эмира) могущественного султана из династии Газневидов Махмуда (999—1030).

Айван — крытая терраса перед домом или портик дворца, приемный зал, отделенный от двора аркой.

Алан — название города в Туркестане, где изготовлялись высококачественные кошмы.

Аланы — ираноязычные племена, обитавшие во II—IX вв. в Приазовье и Предкавказье, предполагаемые предки современных осетин.

Алиф — первая буква арабского алфавита, изображаемая в виде прямой вертикальной линии; в поэзии символ стройности.

Альбурз — горный хребет Эльбурс, огибающий южный берег Каспийского моря.

Анатус — это имя, по-видимому, искажено переписчиками, которые, забыв проставить одну точку над буквой «т», превратили ее в «н». Тиадуси, или Тиатус — восточная форма произношения имени византийского принца Феодосия, брата императора Маврикия (582—602).

Анка — огромная мифическая птица, невидимая взору человека; синоним всего недоступного, нематериального.

Анкарак — гора Аншарак на территории современной Армении. В прежних изданиях эта гора ошибочно отождествлялась с горой Кяпаз, расположенной недалеко от Гянджи; в результате обвала ее после землетрясения образовалось высокогорное озеро Гей-Гель.

Ардашир-абахан — основатель династии Сасанидов в Иране (324—241).

Аржанг (Эрженг) — священная книга манихейцев (см. *Мани*), которая будто бы была украшена прекрасными миниатюрами. В поэзии аржанг — символ всего красивого, изящного.

Ариш — мера длины, примерно соответствующая русскому аршину.

Асади — персидско-таджикский поэт XI века, автор поэмы «Гершасп-наме», которая была преподнесена Абу-Дулафу, правителю Нахичевани.

Аспид — черный сланец, отделочный материал; использовался также для письменных досок.

Атабек (букв.: отец-воспитатель) — после распада Сельджукской империи на мелкие султанаты фактическая власть перешла в руки атабеков — воспитателей сельджукских принцев.

Афрасияб — легендарный царь Турана. Его войны с иранским царем Кей-Хосровом подробно описаны в «Шах-наме» Фирдоуси. В литературе Афрасияб символизировал сильного и жестокого противника.

Ахриман (Ариман) — имя злого духа древнеиранской дуалистической религии. Ахриман — властитель зла на земле, враг человечества, находящийся в постоянной вражде с богом добра Ормузом.

Базарган — см. Бахарзан.

Бакан — лаковая краска.

Балх — один из древнейших городов и культурных центров Востока, столица Бактрии. Он был расположен в оазисе Балхаб на территории Северного Афганистана. В средние века Балх иногда назывался Бами, или Балхи-Бамийан.

«Барсам вач» — зороастрийская молитва с барсамом в руках. Барсам — пучок гранатовых веточек или камыша длиною в пядь, который держал жрец или молящийся в руках перед едой, вознося хвалу Ормузду за то, что тот сотворил растительный мир, кормящий всех живых существ.

Бахарзан — название местности в средневековой Армении.

Бахрам Чубине — полководец царя Ормуза, отца Хосрова (см.). В 589 г. поднял восстание против Хосрова и захватил власть. Хосров отправился в Константинополь и, заручившись помощью византийского императора, одержал победу над Бахрамом. Последний бежал в Среднюю Азию, где был убит подосланными наемными убийцами. Битва между Хосровом и Бахрамом состоялась около Гянджи.

Берат — вексель, доверенность, письмо, указ о выплате денег, выдаче имущества и т. д.

Берберийцы — берберы, жители Северной Африки.

Берда (Барда) — в X в. главный город Аррана. В 943 г. был разграблен и сожжен русами и с тех пор утратил свое значение. Сохранились развалины.

Бижен — один из персонажей «Шах-наме» Фирдоуси. В наказание за любовь к дочери туранского царя Афрасияба, прекрасной Манижe, был посажен в глубокий колодец.

Билаль — по преданию, муэдзин пророка Мухаммеда родом из Эфиопии (Хабеша).

Бисутун — скала у дороги из Хамадана в Керманшах (северо-западный Иран). По приказу Дария I (V в. до н. э.) на ней были высечены клинописная надпись и рельефные изображения, которые впоследствии связывались с легендами о Ферхаде. В этом же районе находятся развалины шахского дворца, известные под названием «Замок Ширин».

Булинас Румийский (Аполлоний Тианский) — философ-неопифагореец, математик (ум. ок. 100 г.), много путешествовавший по всему Востоку. Легенды о нем как о маге-заклинателе, чародее были широко распространены на Востоке.

Буртасы — племя, обитавшее в низовьях Волги, тюркского или финно-угорского происхождения.

Бухари — Мухаммед ибн Ислам ибн Ибрахим (810—870) — бухарский богослов и ученый, прославившийся тем, что собрал подлинные предания (хадисы) о пророке Мухаммеде и назвал свой труд «Ал-Джами ас-Сатих» («Достоверный свод»).

Ваш — город в Туркестане, области, расположенной к северу от Ирана и в древности заселенный восточноиранскими, а позже тюркоязычными народами.

Вир — водоворот.

Вис — главная героиня поэмы «Вис и Рамин» персидского поэта Фахр ад-Дина Гургани, написанной между 1048 и 1056 гг. на сюжет парфянской повести о любви царицы Вис к брату царя Рамину.

Гилян — область в Иране у берегов Каспийского моря, которая славилась своими быстроногими конями и плодовитыми пчелами. «Гил» — по-персидски означает «прах», «земля». Низами думал, что Гилян — множественное число от этого слова и потому он часто употреблял его как синоним бренности мира, грешной земли.

Гоухар — драгоценный камень или жемчужина; слово «гоухар» обозначает также первичную субстанцию. Омонимия эта, восходящая к

мифу о происхождении мира из белой жемчужины, нередко используется в стихах Низами.

Гульгун (дословно: цвета розы) — конь Ширин, рожденный той же кобылицей, которая принесла Шебдиза (см.).

Гульшакар — засахаренные лепестки роз, варенье из лепестков роз.

Гулям — раб, слуга, обычно тюрок или славянин. Из рабов, поставляемых невольничьими рынками, составлялась гвардия халифов других правителей. Отсюда второе значение слова «гулям» — гвардеец, воин.

Гумбаз — гробница с куполом.

Гурган — город в Иране.

Гур — дикий осел, онагр. Название это созвучно слову, означающему по-персидски «могила».

Гур (с гортанным «г») — старинное название области, занимавшее часть территории Афганистана.

Гурия — вечно юная прекрасная дева, предназначенная для «праведников», попавших в рай.

Гюлистан — сад роз, цветник.

Гяз — мера длины, равная старинному «локтю».

Данаб (Денеб) — звезда Альфа в созвездии Лебедя; астрологи считали ее влияние вредным.

Дари — язык персидской классической литературы.

Дастан — сказание, поэма, сюжетный рассказ в стихотворной форме.

Дастур (дестур) — советник шаха в древнем Иране.

Дебир — писец, секретарь, состоящий при шахе.

Дей — десятый месяц древнего иранского солнечного календаря (с 23 декабря по 21 января).

Дейлем — область в прикаспийской части Ирана, жители которой славились железными изделиями, в частности топорами-резаками.

Дехлиз — прихожая, коридор, открытая галерея дома.

Джан — душа, употребляется как обращение.

Джейпал — правитель одного из могущественных индийских государств, оказавший сопротивление Махмуду Газневиду во время его походов.

Джейхун — арабское название Амударьи.

Джим — пятая буква арабского, шестая персидского алфавита.

Джинн — по представлениям арабов, злой дух страшного вида, умеющий мгновенно менять свой облик.

Джоу — ячменное зерно — мера веса в ювелирном деле, равна 1/96 золотника.

Джизья — подушная подать, взимавшаяся в мусульманских странах с иноверцев.

Диван — 1. Правительственная канцелярия, государственный совет. 2. Сборник стихов одного или нескольких авторов.

Диджла (Диджле) — арабское название реки Евфрат.

Дихкан — в доисламский период землевладелец. Позже этим словом стали обозначать землевладельца, крестьянина. У Низами часто употребляется в значении «хранитель древних преданий».

Дувал — глиняный забор.

Дурраджж — см. турач.

Духан — винная лавка.

Занг (Зангивар) — Занзибар.

Заратушта — см. Зардушт.

Зардушт — Зороастр, основатель зороастризма — древней религии Ирана до VII в., главным в этой религии был культ огня.

Захме — медиатор.

Зекат (закят) — налог с имущества в пользу бедных мусульман; милостыня.

Земзем (Замзем) — священный колодец в Мекке, около храма Каабы. Его минеральной воде мусульмане приписывают чудотворные свойства.

Зенджан — один из древнейших городов Ирана, расположенный в оазисе Зенджан-руд.

Зербафт — плотная узорчатая ткань из шелковых и золотых ниток.

Зерифкен — один из ладов древней иранской музыки.

Зикар — название местности, где состоялась первая битва между арабами-мусульманами и войском сасанидского Ирана в 645 г.; тогда арабы нанесли сокрушительное поражение персам.

Зиндан — темница, тюрьма.

Зинд-руд (Зенде-руд) — река в Иране.

Зих — восклицание: «Прекрасно!», «Браво!». «Зих» — одновременно обозначает вышитую кайму на кафтане, халате.

Изед — см. Яздан.

Иклимы — географические области, на которые делили в средние века обитаемую часть суши (Хорасан, Ирак, Зангибар, Рум, Индостан, Египет). Иклимы — также семь обитаемых поясов между воображаемыми линиями, проведенными параллельно экватору от 20° до 53° с. ш. Прочие северные широты считались необитаемыми.

Ильдениз (вернее Ил-Дениз) — название рода племени, из которого происходили азербайджанские атабеки. Так звали основоположника азербайджанских атабеков Шамс ад-Дина Ил-Денияза (1124—1175), отца Шамс ад-Дина Мухаммеда Джахан-Пехлевана и Кызыл-Арслана.

Ильяс — распространенный персонаж восточных легенд (в Библии ему соответствует Илья-пророк), помогающий мореплавателям, спасающий терпящих кораблекрушение. На суше аналогичные благодеяния оказывает Хызр (см.).

Индиго — синяя краска для тканей. Синяя одежда символизирует на Востоке траур.

Индия — во времена Низами включала в себя всю территорию современной Индии, Бангладеш и Пакистан. Индия в классической восточной поэзии из-за смуглости населения служила символом черноты. Индийцы (индусы) обычно служили стражниками у восточных правителей.

Ионийцы — греки, живущие на островах Ионического моря, греки вообще.

Ирак — в средневековой географии существовало два Ирака: 1) Ирак арабский (Ирак-и араб) и Иранский (Ирак-и аджам, букв.: Ирак не арабский). Первый включал в себя почти всю территорию современной Иракской республики, а второй состоял из центральной части современной Исламской республики Иран от Хамадана до Тегерана, включая города Керманшах, Хамадан, Малайыр, Арак, Гулпаяган и Исфахан.

Ираки — один из ладов восточной классической музыки.

Иредж — младший сын Феридуна, легендарного царя Ирана. Феридун в старости разделил свое царство между тремя сыновьями. Иран, центральная часть державы, досталась Иреджу, а братьям его Туран и Рум, и те из зависти убили Иреджа. Так возникла длившаяся веками вражда между Ираном и Тураном. Предание об Иредже подробно изложено в «Шах-наме» Фирдоуси.

Истахр — Персеполь, столица древнего Ирана при царе Дарии III (см.), развалины которой находятся на юге области Фарс, неподалеку от г. Шираза.

Ису — название, которое, как полагают ученые, относится к племени вису (или весь), обитавшему вокруг Белого озера, по рекам Шексне, Мологе и Тверце и в X—XII вв. ассимилировавшемуся с русскими племенами.

Исфахан — один из древнейших городов Ирана.

Исфендиар — легендарный иранский богатырь, обладавший будто бы железным телом, один из героев «Шах-наме» Фирдоуси.

Ифриты — самый страшный и злобный вид нечистых духов в иранской мифологии.

Кабарга — разновидность небольшого безрогого оленя, из мускусных желез самца кабарги добывают мускус (см.)

Каве — персонаж «Шах-наме» Фирдоуси — кузнец Каве, он поднял восстание против тирана Заххака, надев на острие пики свой фартук. Впоследствии фартук Каве расшили жемчугом, драгоценными камнями и сделали шахским штандартом — «Кавеевым стягом».

Кадар-хан — титул древних тюркских правителей.

Калым — 1. Выкуп за невесту ее родителям. Хотя пророк Мухаммед заменил этот обычай выплатой суммы для обеспечения жены на случай

развода, калым все же сохранился в мусульманских странах вплоть до наших дней. 2. Налог, подать.

Камедь — густой сок деревьев, растущих в Аравии и Иране.

Камфора — кристаллическое белое сильно пахнущее вещество, добывается из камфорного дерева, произрастающего в Юго-Восточной Азии; употребляется как возбуждающее средство.

Капелла — звезда первой величины в созвездии Возничего.

Карагач — дерево с плотной древесиной, высотой до 20 м., использовалось как строительный материал, топливо и в декоративных целях.

Касу — см. Кей-Кавус.

Касыда — большое стихотворение с монорифмой (аа, ба, ва и т. д.), нередко панегирического (ода) или философского содержания.

Кебаб — жареное на вертеле мясо, шашлык.

Кей (Кай) — титул древних иранских шахов из мифической династии Кеаянидов, иногда синонимично слову «шах».

Кейван — планета Сатурн, символ необратимого времени, несущего несчастья и смерть.

Кеманча — восточный смычковый музыкальный инструмент, род скрипки с тремя или четырьмя струнами. Этот инструмент и ныне пользуется большой популярностью в Азербайджане.

Кирманшах (Керманшах) — город на северо-западе Ирана, недалеко от которого находится «Замок Ширин» (см. Бисутун).

Кулах — головной убор иранских крестьян, а также дихкан (см.), которые носили высокие войлочные шапки, расшитые жемчугом и драгоценными камнями. В другом смысле кулах — корона, шахский венец.

Лотос — водяное растение из семейства кувшинковых с красивыми крупными цветами, почитавшееся у древних египтян и индусов.

Магриб — западная часть средиземноморской Африки (Алжир, Тунис, Марокко, иногда Египет и арабская Испания).

Майоран — душистое растение, употребляемое как пряная приправа.

Малик — страж ада, упоминаемый в Коране.

Мандур — древнее название Мильской степи на юге Азербайджана.

Мани — основатель манихейства дуалистической религии, вобравшей в себя раннехристианские и зороастрийские верования. Манихейство было распространено в Иране и Средней Азии почти десять столетий. Мани в поэзии Низами упоминается прежде всего как искусный художник.

Медаин — арабское название города Ктесифона — древней столицы иранских царей династии Сасанидов, находившейся неподалеку от современного Багдада. Развалины его известны в народе под названием «Дворец Хосрова».

Меджлис — шахский прием, на котором читали стихи, слушали музыку. Меджлис — это и духовная беседа суфийского (см.) старца со своими учениками.

Меджнун — букв. одержимый, неистовый. Прозвище Кейса, героя арабского сказания, положенного в основу поэмы Низами «Лейли и Меджнун»; в нарицательном значении — безумно влюбленный человек.

Медина — город на Аравийском полуострове, где Мухаммед впервые утвердился как пророк и где похоронен.

Мелик — по-арабски царь, государь; почетный титул многих султанов и правителей.

Меликшах — могущественный сельджукский султан (1072—1092).

Микаил — арабская форма библейского архангела Михаила.

Мирадж — под этим словом мусульмане имеют в виду вознесение пророка Мухаммеда к аллаху, которое он якобы совершил.

Миробалан — терпкий, вяжущий плод, содержащий большое количество танина. Применялся в медицине.

Мискаль — мера веса, равная 4,6 г.

Мугань — степь к югу от нижнего течения р. Аракса в Азербайджане.

Музаффараддин — см. Кызыл-Арслан.

Муканна — букв.: человек с закрытым лицом; прозвище Хашима ибн Хакима из Мерва, поднявшего около 776 г. восстание против арабских завоевателей. Муканна считал себя божественным избранником и закрывал лицо зеленым покрывалом будто бы потому, что обычно люди не могли выдержать исходящего от него ослепительного сияния. Согласно легенде, он изготовил из ртути искусственную луну, которая по ночам светила из колодца.

Мулиан — река (канал) в бухарском оазисе.

Мунджук — эмблема в виде полумесяца на верхнем конце древка знамени. Под мунджуком находилось блюдце из драгоценного металла.

Мусикар — свирель, дудка.

Мустафа — букв.: избранник.— Имеется в виду «избранник аллаха» — почетное прозвище пророка Мухаммеда.

Мутриб — певец и музыкант, трубадур; слова «мутриб» и «трубадур» имеют в основе общий арабский корень «трб», обозначающий радость, веселье.

Мухтасиб — должностное лицо в мусульманском городе, обязанное следить за соблюдением шариата. Мухтасиб осматривал города, базары, проверял правильность гирь, ловил продавцов вина, пьяниц и т. д.

Набат — род леденцов, белые круглые конфеты из хорошо очищенного сахара.

Набиз — алкогольный напиток, вино.

Нейсан (Нисан) — месяц древнего солнечного сирийского календаря, совпадающий с апрелем. В Иране, в Закавказье и Средней Азии — это пора обильных дождей.

Несрин — вид дикорастущего нарцисса.

Новбат — место перед воротами дворца, где пять раз в день били в литавры. Это символизировало могущество султана, царя.

Новруз — один из ладов классической восточной музыки.

Нехшеб — древний город в Средней Азии (впоследствии — Карши).

Ниатус — брат византийского императора, подлинное имя его Тиадус (Феодосий). Ему было поручено командование византийской армией, направленной на помощь Хосрову Парвизу.

Нисар — древний обычай осыпать новобрачных или вступающего на престол шаха золотыми монетами, драгоценными камнями и карамелью.

Нубиец — чернокожий из Нубии; в поэзии Низами — символ черноты, ночи; улыбка нубийца на черном лице — метафора рассвета.

Нушануш — возглас во время пирушки, означающий: «На здоровье, да будет сладостно вино!»

Пажиты Бугры — равнина, «площадь Бугры» на территории современной Армении.

Палуда — вид желе, лакомство.

Парбус — барс.

Парчам — знамя, стяг, к вершине древка которого как символ власти привязывали пучок волос из конского хвоста.

Пери — дух в иранской мифологии, прекрасный лицом и злой душой, в поэзии обычно символ женской красоты.

Пехлеван — богатырь, непобедимый, могучий человек.

Пехлеви — среднеперсидский язык, официальный язык Ирана до прихода туда арабов в VII в. Отсюда — пехлевийский лад, пехлевийский напев.

Раст — один из ладов восточной классической музыки.

Рафраф — название завесы, окружающей пространство между девятым сводом неба и местопребыванием бога.

Рахваи — один из ладов восточной классической музыки.

Рейхан — базилик, пахучая трава, в поэзии символ аромата, благовония.

Ремгеле (Румкула) — историческое название пустыни, расположенной, как указывает поэт, на расстоянии 600—700 км от горы Аншарак в Армении (см. Анкарак).

Рибат (рабат) — караван-сарай, постоялый двор.

Ризван — по представлению мусульман, страж райских врат (упоминается в Коране).

Ричар — пряность; маринад, кислые фрукты.

Роузан — отверстие в потолке для света и воздуха.

Рута — растение, мелкими зернами которого окуривали от «дурного глаза».

Саклабы — арабское название славян.

Саксин — в древности было несколько городов с таким названием. Саксин образован из двух слов: «Сака» — саки (скифы-тюрки) и «сена» — обиталище, край. Позднейшая форма имени — Шакашена, а современная форма — Шака. На территории Азербайджана находятся два города с таким названием. В данном случае Низами имеет в виду город Шеки, расположенный в 80 км от Нахичевани.

Саманиды — независимая от халифата династия иранского происхождения, правившая с 888 до 999г. Хорасаном и Маевраннагром со столицей в Бухаре.

Сандал — сандаловое дерево, обладающее приятным запахом.

Сарджуш — проба пищи из котла, первая ложка пищи для проверки вкуса и готовности к употреблению.

Сиавуш — один из героев древнего иранского эпоса, сын легендарного могущественного царя Кей-Кавуса. Спасаясь от необоснованных подозрений отца, он бежал к патриарху тюрков Афрасиябу, который ласково принял его и выдал за него свою дочь Ферегис. Однако позже Афрасияб, поверив клевете своего брата Гарсиваза, убил Сиавуша. После этого иранцы, чтобы отомстить за кровь Сиавуша, начали длительную войну с туранцами. Предание о Сиавуше было широко распространено в фольклоре и подробно изложено в «Шах-наме» Фирдоуси.

Сидр (букв.: кедр) — мифическое дерево, растущее у небесного престола, дальше которого не могут подняться даже ангелы и архангелы. В Коране это дерево зафиксировано в форме «сидрат ал-мунтаха», что обычно переводится на русский язык как «лотос крайнего предела».

Сикба — особым образом изготовленный бульон.

Сурайя — созвездие Плеяд, состоящее из семи звезд; находится намного выше других созвездий.

Сируш — древний Сраоша, один из ангелов зороастрийского пантеона; вошел в мусульманские легенды как божественный вестник, несущий откровение; внутренний голос.

Тамгадж — область в средневековом восточном Туркестане.

Тиштрия — звезда Сириус.

Тогрул сын Арслана — номинальный султан Азербайджана и Иранского Ирака Тогрул III (1176—1194). Фактическими правителями при

Тогруле III был Мухаммед Джахан-Пехлеван (1175—1186) и его брат Кызыл-Арслан (1186—1191).

Турция — во времена поэта состояла из части Малой Азии (Арзрум, Кония, Сивас, часть побережья Черного моря); в нее не входили столица Византии Константинополь (Стамбул) и прилегающие к нему области.

Туран — мифическая страна иранского героического эпоса, а туранцы — народ общего с иранцами происхождения, но враждебный им. Позже Тураном стали называть область обитания тюркских племен.

Турач (дуррадж) — птица из семейства фазанов.

Турундж — померанец, небольшой горько-кислый плод, похожий на апельсин, из сока которого готовят соусы.

Умм-Хани — одна из жен пророка Мухаммеда, из дома которой он совершил якобы свое вознесение.

Утарид — планета Меркурий, которая считалась искусным небесным писцом.

Ушшак (Ушак) — один из ладов классической восточной музыки.

Фарси — персидский язык классической литературы.

Фархар — восходит к санскритскому слову «вихара» — буддийский храм. Является также названием нескольких городов в китайском Туркестане. Храм Большой Фархар, отличавшийся величием и красотой архитектуры, находился в одноименном городе в Тибете.

Феникс — чудесная птица, которая, согласно древним египетским мифам, достигнув старости, сжигала себя в пламени и вновь возрождалась из пепла молодой и прекрасной.

Фирдоуси — великий персидский поэт (941—1020 или 1125), автор эпопеи «Шах-наме» («Книга царей»).

Фирман — царский указ.

Фука — бродящий напиток, пиво.

Хаджиб — приближенный шаха.

Хазарское море — Каспийское море.

Хазараны (хазаранийцы, хашарцы, хазары) — народность тюркского происхождения, которая с V до XI в. образовала государство на обширной территории, на западном и северном берегу Каспийского моря.

Хаким — мудрец, провидец, суфий, а также врач.

Халлух — город в восточном Туркестане, жители которого — тюрки. В поэзии служит символом красоты и противопоставляется Хабешу — символу черноты и мрака. Халлух славился также своими кабаргами — быками, из желез которых добывали ароматическое вещество — мускус.

Хан — титул тюркских и монгольских правителей, князь, глава племени, феодал, помещик, почетный титул, присоединяемый к мусульманским именам собственным.

Ханзол — колокинт, горький ядовитый плод пустынного растения.

Харвар — букв.: ослиный вьюк; крупная мера веса, колеблющаяся в зависимости от места, где она применялась (от ста до четырехсот килограммов).

Хатун — тюркский титул правительницы или жены хакана, благородной тюркской дамы.

Хирман — ток, амбар, место, куда складывают собранный урожай.

Хисари — один из ладов классической восточной музыки.

Ходжа — феодальный придворный титул, впоследствии господин, почтенный человек.

Хорезм — древняя страна в районе Хорезмского оазиса, в низовьях Амударьи.

Худжасте — высокосортная бумага особого качества и формата.

Хузистан — область на юго-западе Ирана, откуда во времена Низами привозили финики; синоним сладости.

Чач — один из древнейших городов в Средней Азии, славившийся производством лука.

Чин — в персоязычной литературе Чином обозначают Китай.

Шадурван — шахский шатер.

Шаир — по-арабски ячмень, персидский эквивалент его — «джоу», что одновременно обозначает меру веса, равную 1/96 гр., крупица.

Шамсе — металлическое изображение солнца, укреплявшееся на фронтонах дворцов или на вершине куполов мечетей.

Шаханшах — букв.: царь царей, древний титул иранских царей со времен династии Ахеменидов (559—329 г. до н. э.).

Шахиджан — арабизированная форма слова Шахиган («царственный»), служила почетным названием древнего города Мерв (ныне Мары на территории Туркменской ССР). Крупнейшие города имели тогда присвоенные им почетные титулы.

Шахразур — город, расположенный недалеко от древней столицы Ирана — Экбатана.

Шахруд — река в Иране.

Шебавиз — легендарная птица; по ночам она жалобно стонет.

Шебдиз — черный конь Хосрова Парвиза; символ ночи.

Шуштар — Сузы, одна из древнейших столиц Ирана, ныне Шуш — небольшой город на юге Ирана.

Эбен — черное тропическое дерево с ценной твердой благовонной древесиной; символ черноты и крепкости.

Эвклид (Евклид) — знаменитый греческий математик (315—255 гг. до н. э.).

Эдем — по библейской легенде, земной рай, местопребывание первых людей до грехопадения; благодатный уголок.

Ягма — город в восточном Туркестане, славившийся своими красавицами-тюрчанками.

Яздан (Изед) — древнее имя зороастрийского божества.

Ясм — жасмин.

Яхни — сокращение от яхни-плов. Род плова, где вареное мясо или курица кладутся на рис, на дно котла.

СОДЕРЖАНИЕ

Предисловие. Р. Алиев 5

ЛИРИКА

Касыды. *Перевод М. Борисовой*

«Я царем царей в державе мудрых мыслей нынче стал...» 63
«Слышишь звякнул бубенцами в путь готовый караван...» 68
«Я долго шел по лугу лет, и сгорбилась моя спина...» 73
«Зри: сидит султан Каабы, семь стран света — Его трон...» . . . 77
«Уж время — шашками закрыть шесть клеток мировой доски...» 80

Газели

«Тебе открою грусть моих ночей и дней...» *Перевод М. Борисовой* 84
«Откочевать готова молодость, цени ее...» *Перевод М. Борисовой* 85
«Каабой взглядов стала ты...» *Перевод М. Борисовой* 86
«Зерно мучений всех моих — ее лица пшеничный цвет...» *Перевод М. Борисовой* 87
«Раненный в сердце, в кровавых слезах почему?..» *Перевод М. Борисовой* 88
«Весть! Весть о милой пришла! Что же с ней?..» *Перевод К. Липскерова* 89
«Розу пологом колючим твой всесильный взгляд закрыл...» *Перевод А. Тарковского* 90
«Глаза мои с тобой давно дружны...» *Перевод М. Борисовой* . . . 91
«Ну, как живешь?..» *Перевод М. Борисовой* 92
«Где доблестный найдется муж, кого бы мир не гнул?..» *Перевод К. Липскерова* 93
«Где похитительница сердца, что так непостоянна, где?..» *Перевод М. Хатунцева* 94
«Сердца людей забирать в полон умеет зульф благовонный твой...» *Перевод О. Румер* 95
«Взгляни, до каких я бедствий на этом пути дошел...» *Перевод Хатунцева* 96
«Послаще выбирай слова, чтоб сахар их затмить не мог...» *Перевод Хатунцева* 97

«Жить в заботе и невзгодах, расточая зло,— не стоит...» *Перевод Ив. Бруни* 98
«Ты видела, как честь мою урон постиг...» *Перевод М. Борисовой* 99
«Не горюй, ибо друг есть, на помощь который приходит...» *Перевод М. Борисовой* 100
«Луна, за чьим гостить ты дастарханом будешь?..» *Перевод М. Борисовой* 101
«Прекрасна ты! Клянусь аллахом, как раз такая мне нужна...» *Перевод М. Борисовой* 102
«Расступился черный мускус, и она всплыла вчера...» *Перевод А. Тарковского* 103
«Газелеокая! На львов охотиться пристало ей...» *Перевод Н. Хатунцева* 104
«Из ночи в ночь прочней к тебе привязан я...» *Перевод М. Борисовой* 105
«Спать не стоит! Станем лучше веселиться до утра!..» *Перевод К. Липскерова* 106
«Труден путь, и черен мир вокруг, не гони коня среди тумана...» *Перевод А. Старостина* 107
«Любовь помутила разум, окутала тьмы покровом...» *Перевод Н. Хатунцева* 108
«В ночи я знаю: сердце мне от той отвлечь придется...» *Перевод А. Тарковского* 109
«Мне ночь не в ночь, мне ночь невмочь, когда тебя нету со мной...» *Перевод К. Липскерова* 110
«Нет злата у меня, чтоб слух ласкала звоном ты...» *Перевод М. Борисовой* 111
«Впору мне груз твой! Скажешь — немолод,— пусть!..» *Перевод А. Тарковского* 112
«Кумир мой, колдовство не грех, но ты играва слишком!..» *Перевод М. Борисовой* 113
«Эй, бабочка, гаси свечу! Уж светоч здесь влекущий мой...» *Перевод Вс. Рождественского* 114
«О кипарис с плавной поступью мой, роза скупая моя!..» *Перевод К. Липскерова* 115
«Я бросил молодость в пожар моей любви...» *Перевод М. Борисовой* 116
«Из розы сердца моего ты гнетом выдавила кровь...» *Перевод М. Борисовой* 117
«Тюрки рабами индийскими стали — рядом с тобой...» *Перевод А. Тарковского* 118
«Любимая моя, клянусь: отныне я клеймен тобой...» *Перевод М. Борисовой* 119

«У похитительниц сердец мяч отнять сумела...» *Перевод Н. Хатунцева* . . . 120
«В привычке сердца воровать ты, увы, постоянна...» *Перевод М. Борисовой* . . . 121
«Чтоб узнать красу тюльпана, на ее ланиты глянь!..» *Перевод М. Борисовой* . . . 122
«Взяв сердце, душу мне ты треплешь, как тряпье...» *Перевод М. Борисовой* . . . 123
«Хмельное счастье мое очнется ль когда-нибудь?..» *Перевод М. Борисовой* . . . 124
«О мой кумир, сердца не дам, нет, не расстанусь я с ним!..» *Перевод М. Борисовой* . . . 125
«Не сотвори, душа, себя кумиром...» *Перевод М. Борисовой* . . . 126
«Прочтя о горестях моих,— их разве не прогонишь вон?..» *Перевод М. Борисовой* . . . 127
«О милый друг, давно пленен я губ твоих кармином!..» *Перевод М. Борисовой* . . . 128
«Влюблен я, как решить в душе идущий спор?..» *Перевод М. Борисовой* . . . 129
«Я всю ночь не сплю, мечтаю: будь хоть ночь со мною ты...» *Перевод Ив. Бруни* . . . 130
«Другим знавала ты меня, а ты — ты лучше, чем была...» *Перевод Вс. Рождественского* . . . 131
«Ты видишь: я твой давний друг,— зачем томишь тоской меня?..» *Перевод А. Тарковского* . . . 132
«Скорбь моя благословенна, вечно по тебе она...» *Перевод Ив. Бруни* . . . 133
«Спустилась ночь. Явись, Луна, в мой дом приди на миг!..» *Перевод А. Тарковского* . . . 134
«Всю юность отдал я тебе: ты юности беспечной слаще...» *Перевод Н. Хатунцева* . . . 135
«Мне от тоски и горя нету места...» *Перевод М. Борисовой* . . . 136
«Лишь твое услышу имя я из уст чужих...» *Перевод Н. Хатунцева* . . . 137
«О кумир мой желанный, о счастья звезда...» *Перевод Н. Хатунцева* . . . 138
«Кто я такой, чтоб ей сказать: «Моею гостьей будь!»...» *Перевод Н. Хатунцева* . . . 139
«Я тысячу раз погибал от любовного яда...» *Перевод Н. Хатунцева* . . . 140
«Нет, от тебя меня никто не сможет оторвать!..» *Перевод Н. Хатунцева* . . . 141
«Когда ты локоны свои распустишь по плечам небрежно...» *Перевод Н. Хатунцева* . . . 142

«Явись хоть на мгновенье, кумир бесценный мой...» *Перевод Хатунцева* . . . 143
«Влюбленных порицают все — уж так заведено...» *Перевод Н. Хатунцева* . . . 144
«О друг мой, душу проиграть из-за тебя — одно блаженство...» *Перевод Н. Хатунцева* . . . 145
«Из месяца лишь день прошел, из ночи — стража лишь одна...» *Перевод Н. Хатунцева* . . . 146
«От тоски по ней сгорает сердце бедное мое...» *Перевод Н. Хатунцева* . . . 147
«Ты — свет очей. О, погляди хоть раз!..» *Перевод Н. Хатунцева* 148
«Когда твой благосклонный взгляд на лик страдальца упадет...» Перевод Хатунцева . . . 149
«Коль сердцу выпадет удел в тебя, измучившись, влюбиться...» *Перевод Н. Хатунцева* . . . 150
«Когда ее ароматом неслышно ветер повеет...» *Перевод Н. Хатунцева* . . . 151
«Лишь о лике серебротелой я мечтаю неустанно...» *Перевод Н. Хатунцева* . . . 152
«Лишь с луной сравниться может эта дева из Хотана...» *Перевод Хатунцева* . . . 153
«Кумир жестокий! Кроме души у меня ничего не горит...» *Перевод Н. Хатунцева* . . . 154
«Я знаю, сколько бы друзей тебя ни окружало...» *Перевод Н. Хатунцева* . . . 155
«Встань, виночерпий, не ленись! Подай вина — весна пришла...» *Перевод Н. Хатунцева* . . . 156
«О тюрчанка, скажи глазам, чтоб сердца похищали реже...» *Перевод Н. Хатунцева* . . . 157
«Я твердил: „Похитив сердце, будет мне она верна“...» *Перевод Н. Хатунцева* . . . 158
«Всю жизнь лишь горести одни за мной ходили следом...» *Перевод Н. Хатунцева* . . . 159
«Лекарство у тебя, а боль мне душу гложет...» *Перевод Н. Хатунцева* . . . 160
«Пусть ветерок домчит твой аромат...» *Перевод Н. Хатунцева* . . . 161
«Лекарства не было и нет приятнее любовных мук...» *Перевод Н. Хатунцева* . . . 162
«Там, где лик ты светлый явишь, там и лунный свет не нужен...» *Перевод Н. Хатунцева* . . . 163
«В глине горестей погряз я, помогите мне, друзья...» *Перевод Н. Хатунцева* . . . 164
«Ее маленький рот — он хмельнее вина опьяняет...» *Перевод Н. Хатунцева* . . . 165

«Любовь моя безбрежна, а грудь, увы, тесна...» *Перевод Н. Хатунцева* . . . 166
«О ты, гонец благословенный, спеши знакомою тропой...» *Перевод Н. Хатунцева* . . . 167
«Что за страсть это, от которой я теперь так плачевно пал?..» *Перевод Н. Хатунцева* . . . 168
«Ты — султан, я — раб смиренный. Что султану я пошлю?..» *Перевод Н. Хатунцева* . . . 169
«Светоч небесный вчера здесь я нежданно нашел...» *Перевод Н. Хатунцева* . . . 170
«О, пошли мне утешенье, не лукавь ты, как всегда...» *Перевод Н. Хатунцева* . . . 171
«Душа надела траур, тоскуя по тебе...» *Перевод Н. Хатунцева* . . . 172
«Нет перед ней оправданий, чтобы прощенья просить...» *Перевод Н. Хатунцева* . . . 173
«Поспеши мне на помощь, я гибну! Безмерны мученья...» *Перевод Н. Хатунцева* . . . 174
«Лицá серебряный овал в сиянье покажи...» *Перевод Н. Хатунцева* . . . 175
«Родинки ее — как зерна, локоны сплелись в силок...» *Перевод Н. Хатунцева* . . . 176
«Я решил, что письмо любимой о любви своей напишу...» *Перевод Н. Хатунцева* . . . 177
«Красотой подобных тебе я сегодня вокруг не вижу...» *Перевод Н. Хатунцева* . . . 178
«Почему всегда с тобою я не радостен бываю?..» *Перевод Н. Хатунцева* . . . 179

Четверостишия

«Не жалуешь меня — я жаловаться буду...» *Перевод М. Борисовой* . . . 180
«Колосья были склонны к мятежу...» *Перевод М. Борисовой* . . . 180
«Лик твой душист, но кровь — кудрей оправа...» *Перевод М. Борисовой* . . . 180
«Ты знаешь, доживешь ли до утра?..» *Перевод М. Борисовой* . . . 180
«Одна справедливость — основа побед...» *Перевод Н. Хатунцева* 180
«Не надо о страданиях без устали твердить...» *Перевод Н. Хатунцева* . . . 181
«О кумир, что способен, как гурия, сердце пленять...» *Перевод Н. Хатунцева* . . . 181
«Если стану стонать, кто придет мне на помощь в несчастье?..» *Перевод Н. Хатунцева* . . . 181

СОКРОВИЩНИЦА ТАЙН

Перевод К. Липскерова и С. Шервинского

Вступление . . . 185
Первое моление. О наказании и гневе божием . . . 189
Второе моление. О милосердии и всепрощении божием 191
В похвалу благороднейшего посланника . . . 193
О вознесении пророка . . . 195
Восхваление первое . . . 199
Восхваление второе . . . 201
Восхваление третье . . . 203
Восхваление четвертое . . . 205
Прославление царя Фархаддина Бахрам-шаха сына Дауда . . . 208
О положении и достоинстве этой книги . . . 213
Речь о превосходстве слова . . . 216
Превосходство речи, нанизанной в должном порядке, перед речью, подобной рассыпанным жемчугам . . . 218
О наступлении ночи и познании сердца . . . 222
Первое тайное собеседование (О воспитании сердца) . . . 228
Плод первого тайного собеседования . . . 233
Второе тайное собеседование (О ночном наслаждении) . . . 235
Плод второго тайного собеседования . . . 239
Речь первая. О сотворении человека . . . 243
Повесть о падишахе, потерявшем надежду и получившем прощение 248
Речь вторая. Наставление шаху о справедливости . . . 249
Повесть о Нушрване и его визире . . . 252
Речь третья. О свойстве мира . . . 256
Повесть о Соломоне и поселянине . . . 259
Речь четвертая. О благожелательном отношении шаха к подданным . . . 261
Повесть о старухе и султане Санджаре . . . 263
Речь пятая. О старости . . . 265
Повесть о старике кирпичнике . . . 269
Речь шестая. О свойствах сотворенного . . . 270
Повесть о собаке, охотнике и лисице . . . 273
Речь седьмая. О превосходстве человека над животными 276
Повесть о Фаридуне и газели . . . 279
Речь восьмая. О сотворении . . . 281
Повесть о воре и лисице . . . 285
Речь девятая. Об оставлении мирских дел . . . 285
Повесть о подвижнике, нарушившем зарок . . . 289
Речь десятая. О конце мира . . . 290
Повесть об Исе . . . 294
Речь одиннадцатая. О неверности мира . . . 295

Повесть о прозорливом мобеде 298
Речь двенадцатая. О прощании со стоянкой праха 300
Повесть о двух поспоривших мудрецах 302
Речь тринадцатая. О порицании мира 305
Повесть о хаджи и суфии 307
Речь четырнадцатая. Порицание беспечности . . 310
Повесть о царе-притеснителе и правдивом человеке . . . 313
Речь пятнадцатая. Порицание завистников 315
Повесть о молодом царевиче и его старых врагах 318
Речь шестнадцатая. О быстрейшем прохождении пути 319
Повесть о раненом ребенке 323
Речь семнадцатая. О поклонении и уединении 324
Повесть о старце и мюриде 327
Речь восемнадцатая. В осуждение двуличных 328
Повесть о Джамшиде и его приближенном 330
Речь девятнадцатая. О приятии загробной жизни . . 334
Повесть о Харун ар-Рашиде и цирюльнике 337
Речь двадцатая. О заносчивости современников 339
Повесть о соловье и соколе 342
Заключение книги 343

ХОСРОВ И ШИРИН

Перевод К. Липскерова

Вступление 349
В восхваление бога 350
В разъяснение прямого постижения и познавания разумом . . . 353
Мольба о прощении 355
В восхваление пророка великого, да благословит его аллах и да приветствует 358
О том, что предшествовало написанию книги 360
В похвалу Тогрул-Арслану 362
В восхваление атабека великого Шамседдина Абу-Джафара Мухаммеда Ибн-Ильдигиза 366
Обращение во время целования земли 369
В восхваление шаха Музаффараддина Кызыл-Арслана 371
О проникновении в сущность сей книги 375
Несколько слов о любви 378
В оправдание сочинения этой книги 380
Начало рассказа 384
Выезд Хосрова на охоту 388
Хосров со старцами идет к своему отцу 390
Хосров видит во сне своего деда Ануширвана 392

Рассказ Шапура о Ширин 393
Поездка Шапура в Армению за Ширин 400
О происхождении Шебдиза 402
Шапур в первый раз показывает Ширин изображение Хосрова 403
Шапур во второй раз показывает Ширин изображение Хосрова 405
Шапур в третий раз показывает Ширин изображение Хосрова 406
Появление Шапура в одежде мага-жреца 409
Бегство Ширин от Михин-Бану в Медаин 416
Купанье Ширин в источнике 421
Хосров видит Ширин в источнике 422
Приезд Ширин в замок Хосрова в Медаине 432
Постройка замка для Ширин 433
Приезд Хосрова в Армению к Михин-Бану 436
Пиршество Хосрова 438
Возвращение Шапура 440
Шапур второй раз едет за Ширин 443
Хосров узнает о смерти отца 448
Хосров восходит на трон вместо отца 450
Шапур привозит Ширин к Михин-Бану 451
Бегство Хосрова от Бехрама Чубине 453
Встреча Хосрова и Ширин на охоте 455
Наставление Михин-Бану Ширин 457
Хосров и Ширин играют в човган 460
Описание весны и веселья Хосрова и Ширин 463
Хосров убивает льва во время пира 466
Рассказывание притч Хосровом, Ширин, Шапуром и девушками 468
Хосров и Ширин остаются одни 477
Ответ Ширин Хосрову 479
Ответ Хосрова Ширин 481
Ширин снова отвечает Хосрову 484
Хосров умоляет Ширин 485
Хосров покидает Ширин и направляется в Рум. Венчание Хосрова с Мариам 489
Сражение Хосрова с Бехрамом и бегство Бехрама 492
Восшествие Хосрова на престол в Медаине во второй раз . . . 496
Стенания Ширин в разлуке с Хосровом 501
Завещание Михин-Бану 504
Воцарение Ширин 508
Прибытие Ширин в Медаин 510
Хосров узнает о смерти Бехрама Чубине 512
Хосров призывает Барбеда 517
Хосров просит у Мариам снисхождения к Ширин 521
Хосров посылает Шапура за Ширин 523
Упреки Ширин Шапуру 524

Начало любви Ферхада 529
Приезд Ширин к месту работ Ферхада 534
Плач Ферхада от любви к Ширин 535
Хосров узнает о любви Ферхада 538
Совещание о Ферхаде 540
Хосров вызывает к себе Ферхада 541
Спор Хосрова с Ферхадом 542
Рассекание горы Ферхадом и жалобы его 545
Ширин направляется к горе Бисутун, и конь ее падает 554
Хосров узнает о поездке Ширин. Гибель Ферхада 557
Письмо Хосрова к Ширин, выражающее сочувствие, но написанное в насмешку 564
Смерть Мариам 567
Сочувственное письмо Ширин Хосрову по поводу смерти Мариам, написанное в отместку 569
Письмо Ширин приходит к Хосрову 572
Описание справедливости Хосрова 573
Хосров, пируя, восседает на троне Такдис 574
Хосров выслушивает описание Шекер из Исфахана 578
Поездка Хосрова в Исфахан за Шекер 579
Расспросы Хосрова о Шекер и его сватовство 584
Одиночество Ширин и ее стенания 589
Восхваление утра 591
Ширин возносит хвалу богу 591
Поездка Хосрова к замку Ширин под предлогом охоты 594
Свидание Хосрова с Ширин 601
Первый ответ Ширин Хосрову 602
Первый ответ Хосрова Ширин 606
Второй ответ Ширин Хосрову 608
Второй ответ Хосрова Ширин 610
Третий ответ Ширин Хосрову 612
Третий ответ Хосрова Ширин 615
Четвертый ответ Ширин Хосрову 617
Четвертый ответ Хосрова Ширин 620
Пятый ответ Ширин Хосрову 623
Возвращение Хосрова от замка Ширин 627
Ответ Шапура Хосрову 631
Ширин сожалеет об отъезде Хосрова 633
Сновидения Хосрова и толкование сна Шапуром 636
Хосров устраивает пир 637
Первая песня Некисы, подсказанная Ширин 641
Первая песня Барбеда, подсказанная Хосровом 643
Вторая песня Некисы, подсказанная Ширин 645
Вторая песня Барбеда, подсказанная Хосровом 647

Третья песнь Некисы, подсказанная Ширин 650
Третья песнь Барбеда, подсказанная Хосровом 652
Четвертая песня Некисы, подсказанная Ширин 654
Четвертая песнь Барбеда, подсказанная Хосровом 656
Выход Ширин из шатра 658
Приезд Ширин для венчания в Медаин 662
Свадьба Хосрова и Ширин 665
Наставления Ширин Хосрову о справедливости и знании . . . 672
Вопросы Хосрова к Бузург-Умиду и его ответы 673
О назначении пророка 680
Сорок притч из «Калилы и Димны» с высказыванием сорока тонких мыслей 681
Мудрость и наставления Низами 684
Описание Шируйе и конца царствования Хосрова 686
Хосров уединяется в храм огня. Шируйе заключает его в темницу 688
Шируйе убивает Хосрова 691
Притча 692
Пробуждение Ширин 693
Шируйе сватается за Ширин 694
Смерть Ширин в усыпальнице Хосрова 696
В осуждение мира 699
В назидание 702
Смысл сказа о Хосрове и Ширин 704
В наставление сыну своему Мухаммеду 704
Хосров видит во сне пророка 705
Послание пророка Хосрову 710
Вознесение пророка 714
Наставление и завершение книги 717
Порицание завистников 721
Тогрул-шах требует к себе ученого Низами 724
Сожаление по поводу кончины Шамседдина Мухаммеда Джахан-Пехлевана 732
Комментарии 735
Словарь 827

НИЗАМИ ГЯНДЖЕВИ

Собрание сочинений в трех томах

I том

Редактор *Шахла Аскерова*
Художник *Б. Хананьев*
Художественный редактор *В. Мартынов*
Технический редактор *Д. Ярошенко*
Корректоры *И. Вебер, Р. Кулиева*

ИБ № 5392

Сдано в набор 14.06.90. Подписано к печати 04.12.90. Формат 84×108$^{1}/_{32}$. Бумага типогр. № 2. Гарнитура Тип Бодони. Печать высокая. Усл. печ. л. 45.36. Усл. кр.-отт. 47.46. Уч.-изд. л. 39. Тираж 30 000 экз. Заказ 0—2142. Цена 6 р.

Государственный комитет Азербайджанской Республики по печати.

Азербайджанское ордена Дружбы народов Государственное Издательство «Азернешр». 370005. Баку, ул. Гуси Гаджиева, 4.

Головное предприятие республиканского производственного объединения «Полиграфкнига». 252057. Киев, ул. Довженко, 3.

6p.